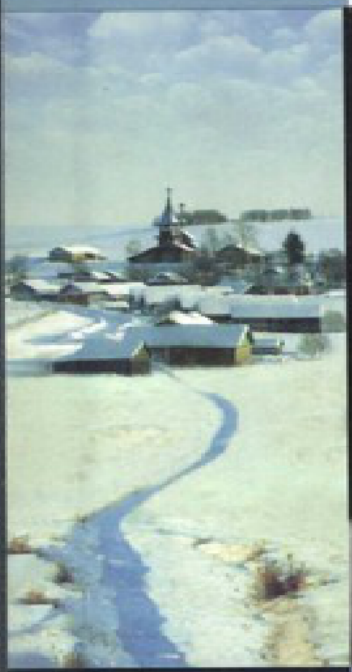
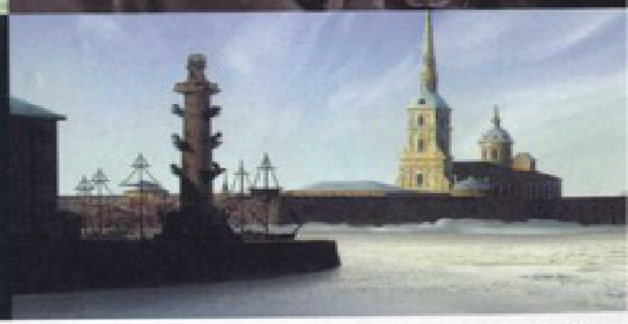
ЛОМОНОСОВ







Валерий Шубинский

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Первая в постсоветское время биография ученого-энциклопедиста и поэта, одного из основоположников русской культуры Нового времени. Используя исторические исследования, свидетельства современников, архивные документы, автор стремится без идеализации и умолчаний воссоздать яркую, мощную личность М. В. Ломоносова в противоречивом, часто парадоксальном контексте России XVIII века. При всем разнообразии занятий Ломоносова — создателя нового русского литературного языка и классической системы стихосложения, химика, оптика, океанографа, исследователя атмосферного электричества, историка, астронома, администратора и даже участника политических интриг — в центре его деятельности лежало стремление к модернизации страны, унаследованное от Петровской эпохи. Страстный, горячий, торопливый во всех начинаниях, невероятно энергичный и работоспособный, порою нетерпимый и болезненно мнительный, Ломоносов был обаятелен и в своем величии, и в своих слабостях.

- Валерий Шубинский
- ОТ АВТОРА
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - Глава первая ПО БРЕГУ СТУДЕНОГО МОРЯ
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. В. ЛОМОНОСОВА
- ЛИТЕРАТУРА
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136

- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140

Валерий Шубинский
Ломоносов: Всероссийский человек

Грома, искр и льда философ,
самый ражий из детин —
славься, славься, Ломоносов,
молодой кулацкий сын!

Ты оттуда, где туманы,
где валится с неба снег,
вышел, выродок румяный,
всероссийский человек…

Сергей Петров



М. В. Ломоносов. Гравюра Э. Фессера и Х. А. Вортмана с портрета работы Г. К. Преннера, 1757 г.

ОТ АВТОРА

Есть две вещи, которые — может быть, в не меньшей степени, чем знание материала — необходимы для работы над биографической книгой: любовь к ее герою и способность внутренне самоотождествиться с ним.

С первым проблем не было. Автор этой книги всегда с нежной любовью относился к Ломоносову, его эпохе, трудам — прежде всего, конечно, литературным. В ходе работы с материалом, при знакомстве со все новыми сторонами мощной и противоречивой личности героя он меня все больше завораживал. Даже в своих слабостях (а я с самого начала решил не затушевывать их), даже в своей неправоте (я не считал необходимым становиться автоматически на сторону своего героя в любом конфликте) он ярок, трогателен и величествен, как весь русский XVIII век. Масштабы его замыслов и трудов не могут не впечатлять, а недостатки и неудачи лишь придают ему человечности.

Гораздо сложнее обстояло дело со вторым условием. Я не был уверен, что всегда смогу проникнуть во внутренний мир Ломоносова, понять его психологию, осознать мотивы его поступков. Я только твердо знал, что мой личный опыт для этого не годится. И тут мне неожиданно пришел на помощь опыт, если можно так выразиться, исторический, — опыт советской эпохи. Вспоминая свое общение с ровесниками моих родителей, моих дедушек-бабушек, я невольно находил в них некоторые черты, родственные Ломоносову и его современникам: может быть, потому, что история России циклична и советская эпоха в некоторых отношениях «накладывается» на первую половину и середину XVIII века. Ведь и Петровские реформы были в своем роде попыткой революционной, насильственной модернизации страны, насильственного прорыва в будущее. Эта модернизация, далеко не во всем удавшаяся, требовала от человека полного самопожертвования. Ломоносов жил, когда этот проект уже переживал кризис, но еще продолжал действовать.

Именно поэтому Ломоносова в советское время так любили. И именно поэтому то, что писали о нем в советское время, часто кажется нам странным и неприемлемым — как и то, что писали в XIX веке. Такие времена и такие фигуры нуждаются во взгляде со стороны, но все же не совсем стороннем — взгляде пристрастном и родственном. И сейчас самое время для такого рассмотрения.

Эта книга не претендует на научность, но я старался быть фактически точным. Имена собственные, как правило, транскрибируются так, как это было принято в эпоху Ломоносова

(«Миллер», а не «Мюллер»). Если не указан автор перевода иноязычной цитаты, то его имя значится в источнике литературы, приведенном в библиографии в конце книги.

Многообразие занятий героя заставляло меня обращаться за консультациями к ученым различных специальностей. Пользуюсь случаем выразить благодарность доктору химических наук В. А. Дымшицу, кандидату физико-математических наук М. Ф. Лытовой, доктору исторических наук профессору Г. А. Кавторадзе, а также первым редакторам книги (Ю. А. Виноградову и А. Л. Дмитренко) и рецензентам, в особенности Льву Усыскину. Помощь в подборе и аннотировании иллюстративного материала оказали сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), среди которых особо хотелось бы поблагодарить Т. М. Моисееву и М. А. Янес.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая ПО БРЕГУ СТУДЕНОГО МОРЯ

1

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря.
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь советник царям.

На эти строки (содержащие евангельскую реминисценцию[1]) Пушкина вдохновил сюжет, с которого неизменно начинается любая биография Михайлы[2] Ломоносова. О том, что профессор, статский советник и пиит появился на свет в семье «простого рыбака», «в курной избе», с удовольствием вспоминали и современники, и потомки. Первые — чтобы одернуть выскочку, вторые — чтобы прославить самородка. В противовес поучительной притче рождались разного рода легенды; самая простодушная и распространенная из них называет Ломоносова внебрачным отпрыском Петра Великого.

Что же на самом деле знаем мы о рождении и детстве Ломоносова? Не так уж мало. Гораздо больше, чем о большинстве его современников.

Начнем с даты рождения. На надгробном памятнике начертан только год — 1711. Эти сведения, безусловно, восходят к близким ученого и поэта, а значит, в конечном итоге, к нему самому. Позднее в литературе мелькали разные даты — от 1709 до 1715 года.

Церковные записи о рождении и крещении Михайлы Васильева сына Ломоносова не сохранились. Во второй половине XIX века они, однако, как будто бы еще существовали. М. И. Сухомлинов, основываясь на «Памятной книге куростровской церкви», в 1896 году датировал рождение Ломоносова 8 ноября[3] 1711 года. В пользу этой даты говорит и имя нашего героя: в XVIII веке детей иногда называли именем святого, на день празднования которого пришлось их появление на свет, — в этом случае день рождения, который к тому времени изредка, под влиянием немцев, отмечали в городах, совпадал с именинами: на 8 ноября по старому стилю (для XVIII века это соответствует 19 ноября по новому стилю) как раз приходится день Михаила Архангела.

Но есть другие достоверные документы, дошедшие до нашего времени. В Петровскую эпоху в России начались регулярные переписи населения, без которых невозможно правильное налогообложение. В данных ревизских сказок от февраля 1719 года и от сентября 1722 года фигурирует малолетний Михайло Ломоносов, сын государственного крестьянина Василия Ломоносова, соответственно семи и одиннадцати лет. Взрослому Ломоносову — студенту, а затем профессору — тоже несколько раз приходилось указывать свой возраст. Если считать, что при этом он всегда был точен и пунктуален и что так же точен и пунктуален был во время петровских переписей его отец, мы должны датировать его рождение промежутком между февралем и сентябрем 1711 года. В сентябре 1710 года родители Михаилы еще не были венчаны. Потому естественнее предположить, что он появился на свет не раньше июля следующего года. Историк А. И. Андреев в 1951 году предположил, что Ломоносов мог быть крещен по Михаилу Малеину, игумену Афонской Кименской обители, жившему в X веке: день памяти этого святого приходится на 12 июля по старому стилю. (Был еще святой Михаил, Муромский чудотворец, но день его памяти отмечают 21 мая, что в нашем случае слишком рано…) Однако в справочниках по-прежнему указывают 8 ноября, и юбилеи празднуют, исходя из этой даты. Впрочем, это не так уж и важно, тем более что год сомнений не вызывает: разночтения в этой области — результат небрежности и неосведомленности некоторых ранних ломоносовских биографов.

Не вызывает сомнений и место рождения: деревня Мишанинская Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии. Правда, и здесь не обошлось без разночтений: вплоть до начала XX века биографы называли родиной Ломоносова деревню Денисовку (Денисовскую). Но на сей раз все объясняется просто: еще при жизни «профессора и статского советника» деревня Мишанинская была поглощена разросшейся Денисовкой. Ныне это село Ломоносово.

Что это означало — родиться в это время в этом месте? Давайте уделим несколько слов земле, на которой Ломоносов появился на свет, и людям, среди которых он родился и рядом с кем прошло его детство.

Гольфстрим, которому Северная Европа обязана мягким климатом, уже сравнительно мало влияет на погоду на южном берегу Белого моря и в бассейне Северной Двины. И все же зимы здесь по русским меркам не особенно суровые: средняя температура января —12–14 градусов ниже нуля, а ведь полярный

круг не так уж далек. Лето чуть прохладнее, чем в Петербурге: средняя температура июля от 15 до 17 градусов. Таков климат этих мест сейчас; в XVIII веке, в разгар так называемого малого ледникового периода, было немного холоднее.

Огромная часть этих земель (как и весь север Европейской России) была в то время покрыта густым хвойным лесом. Необъятные ели, сосны, лиственницы, чудом пережившие индустриальную революцию, и по сей день составляют главное богатство здешних мест. Деревообрабатывающая промышленность — основа местной экономики, и даже в крупных городах можно встретить множество деревянных домов.

Люди появились здесь в эпоху мезолита, за 1700 лет до нашей эры. Об этнической принадлежности древних аборигенов этих мест нельзя, конечно, сказать ничего определенного, но в первые века новой эры здесь проживали племена финно-угорского и самодийского корней. Иные из них упомянуты арабскими географами. По мнению некоторых исследователей, именно в устье Двины, близ нынешних Холмогор, находилась столица легендарного финно-угорского государства — Биармии. Славяне, поселившиеся в VII–VIII веках юго-западнее этих мест, на Ильмене, звали жителей двинских земель «чудью заволочской». Распространение славянских колонистов на север приостановилось тогда примерно на широте нынешней Костромы, и лишь в XI–XII веках они стали осваивать огромное пространство от Белого озера до Белого моря. Заселение шло двумя потоками: с юго-запада — из Новгорода и с юга — из Суздальской земли, но новгородцев, видимо, было гораздо больше. Поселенцы, как часто бывает, быстро сроднились с автохтонным населением. Так появились русские северяне — поморы.

Сегодня среди поморов существует (или еще недавно существовало) движение, требующее признать их особым этносом. Разумеется, отдельным от русских народом поморы никогда не были, но у них есть все, что полагается этнической группе, — собственный диалект (северной, новгородской группы), свои традиционные костюмы, своя кухня, включающая многочисленные рыбные блюда.

Жители севера Восточно-Европейской равнины издавна занимались земледелием — рожь, просо, овес, ячмень при этом климате вызревают, но урожаи все-таки слишком скудны. По свидетельству писателя П. И. Челищева, еще в конце XVIII века большинству холмогорских крестьян приходилось докупать зерна на три-четыре месяца. Гораздо больше дохода приносило молочное животноводство (уже в эпоху Ломоносова существовала холмогорская порода скота). Кроме этого, предприимчивые

северные мужики выжигали уголь или гнали из хвойной древесины смолу на продажу, женщины, чтобы заплатить подать, пряли холсты. Но ничто не могло сравниться с еще девственными природными богатствами здешних мест. В лесах водились горностаи, куницы, выдры, гнездились рябчики, тетерева, куропатки; Белое море и впадающие в него реки (Двина, Онега, Мезень) кишмя кишели рыбой — не говоря уж о Баренцевом море и океане. Постепенно многие поморы стали рыболовами и «промышленниками», то есть охотниками на сухопутного и морского зверя. В русском языке той поры слово «промышленность» означало, прежде всего, добычу собольего меха, тюленьего жира, моржового клыка и т. д.

Даже антропологически поморы, рослые круглоголовые блондины, выделяются среди русских. Ломоносов, судя по существующим изображениям, соответствовал именно этому типу. С прочими европейскими северянами типичного помора сближает гордый неуступчивый нрав. Такими вылепила их суровая природа, социальная история позволила этим чертам развиться и закрепиться: на Русском Севере, как и в Скандинавии, никогда не было крепостного права (по крайней мере в тех формах, в которых оно существовало в средней России). И Ломоносов не составлял исключения: он был человеком большого упрямства и большой гордости. А вот северной флегматичности и сдержанности в нем никогда не наблюдалось.

Правда, не всегда (и не со всеми) поморы проявляли свою гордость. Историк В. В. Крестинин, сам выходец из «двинского народа», в 1790 году вспоминал: «В начале нынешнего XVIII века подвинские и важеские поселяне подавали с низкими земными поклонами в Архангельской портовой таможне присутствовавшим бурмистрам и ларешным заставные ярлыки и выписи уездной таможни на привозные товары. Сим коленопреклонением доказывали они наружное свое раболепство, произведенное внутренним страхом перед начальниками посадского чина, которые совсем не так были грозны, как воеводы и дьяки». Но ведь и все русские люди той поры вели себя похожим образом. Да и правильно ли понимает Крестинин то, что описывает? Земной поклон с преклонением колен, который для человека эпохи Просвещения был величайшим унижением человеческого достоинства, за сто лет перед тем мог быть просто ничего не значащим ритуальным жестом, который так же мало свидетельствует о «раболепстве», как, к примеру, выражение «ваш покорный слуга».

Жили поморы в просторных домах из тяжелых тесаных бревен. Узкие слюдяные окна украшали резные наличники.

Хозяева размещались во втором этаже: внизу хранили зерно, муку, вяленую рыбу; к дому примыкал крытый скотный двор. Дома были почти одинаковыми и у бедняков, и у состоятельных людей. Издалека эти высокие бревенчатые срубы с широкими сенями, окруженные со всех сторон хозяйственными пристройками, напоминали маленькие крепости. В таком доме, а вовсе не в «курной избе» и не в «рыбацкой лачуге», и прошло детство Ломоносова. На каждом дворе непременно стояли хозяйственные постройки — для хранения снастей. Быт был суровым, без излишеств, но прочным и основательным.

Зато словесная культура была по-настоящему богатой. Так же как в холодной, отрезанной от Европы Исландии сохранились в неприкосновенности древние скандинавские саги — именно Русский Север стал настоящей сокровищницей для собирателей былин и духовных стихов. При этом северные сказители истово хранили не только память о позабытом феодальном мире Киевской Руси, но и названия никогда не виданных ими деревьев и трав, растущих в совсем иной климатической зоне и упоминающихся в былинах. И конечно, на северных окраинах находили убежище гонимые «раскольники» — прежде всего старообрядцы, последователи протопопа Аввакума, принесшие с собой многочисленные старопечатные и рукописные книги. Но об этом мы поговорим позже.

В основном поморы жили к юго-востоку от Белого моря. На запад от устья Двины тянулся Летний берег, на восток — Зимний берег. Восточнее устья Мезени, там, где покрывавшее приморские холмы редколесье переходило в тундру, начинались становища самоедов (ненцев). На юго-западе, в устье Онеги, нашли приют беглецы-раскольники. Западный берег моря был населен в основном карелами. На крайнем северо-западе, на Кольском полуострове, уже существовали отдельные русские форпосты (крепости, монастыри), не говоря о многочисленных летних промысловых становищах. Собственно, именно Мурман был настоящей сокровищницей для поморских рыбаков. Но жить в этих дальних, непригодных для земледелия местах постоянно пока что мало кто отваживался. В основном их населяли аборигены — лопари (саамы), по языку родственные финнам, но жившие, как и ненцы, традиционным оленеводческим и рыболовным хозяйством. Массовое переселение поморов началось позднее, в XIX веке. Другое дело — южный (Кандалакшский) берег полуострова и его восточный (Терский) берег от устья реки Варзуги на юге до мыса Святой Нос на севере: их колонизация шла полным ходом. Но, ловя треску, навагу, сельдь, охотясь на моржей и тюленей, на своих старинных судах

— ладьях и кочах — уже в XVI–XVIII веках поморы добирались и гораздо дальше: до Шпицбергена (Груманта), Ямала. Само собой, им приходилось по мореходным и торговым делам общаться с западноевропейцами (в основном норвежцами).

До XV века двинские земли и Беломорье принадлежали Новгороду, чья власть была во многом номинальной. В 1471 году, во время первого похода Ивана III на непокорную республику, десятитысячное новгородское войско во главе с князем Горбатым-Шуйским было наголову разбито на берегах Шиленги 3970 москвичами во главе с воеводами Василием Обрасцом и Борисом Слепцом. До нас дошли сведения, что победители потеряли всего десять человек убитыми. Так вошли эти места в состав московских владений. Новые правители на первых порах сохранили власть выборных начальников — земских и сотских, потом стали присылать наместников. Но не все казенные чиновники добирались до места службы, и остатки патриархальной демократии сохранялись среди поморов еще во времена Ломоносова.

В 1553 году, при Иване Грозном, в устье Двины вошел английский корабль. Так начались (точнее, возобновились после почти пятивекового перерыва) регулярные контакты между британцами и русскими. Впервые за послетатарское время морская торговля стала важным фактором экономики; тридцать лет спустя, в 1584 году, царь Федор Иоаннович распорядился заложить город-порт в устье Двины. К тому времени уже два столетия в восьмидесяти верстах выше по течению существовал город Холмогоры (Колмогоры)[4], а в устье, на острове Пур-Наволок, еще в начале XII века был основан монастырь Михаила Архангела. Выстроенный по царскому указу рядом с монастырем «новый Холмогорский город» (Новохолмогоры) с 1613 года — года восшествия на престол Михаила Романова — стал официально именоваться Архангельским городом, или Архангельском. В этом же году город подвергся нападению уже разгромленных под Москвой поляков; нападение было отбито. В 1700 году, в самом начале Северной войны, городом пытались овладеть шведы, но так же безуспешно. То, что Архангельск привлекал завоевателей, неудивительно: до основания Петербурга это был единственный морской порт России, через который осуществлялась ее связь с внешним миром. Но и после создания новой столицы Архангельск сохранял важное значение: теперь как один из главных центров судостроения.

В 1682 году была создана особая Холмогорская и Важская епархия, возглавлявшаяся архиепископом Афанасием (1641–1702), в миру Алексеем Артемьевичем Любимовым, человеком, по

меркам своего времени, весьма просвещенным, автором «Толкования на Псалтирь», собственной редакции «Шестоднева» (своеобразной средневековой естественно-научной энциклопедии) и ряда сочинений утилитарного характера: «Описание трех путей в Швецию» (своего рода путеводителя для купцов), «Реестр из докторской науки» и пр. Петр Великий, посещая в 1693, 1700 и 1702 годах Архангельск и Холмогоры (в последний раз он был здесь за девять лет — а не за девять месяцев! — до рождения Михаила Ломоносова), не упускал случая встретиться с ученым и широко мыслящим иерархом. Охотно посещали его и иностранные купцы.

Около Холмогор Двина делится на несколько рукавов, соединенных протоками. Между ними — 29 островов: Ухт-остров, Нарья, Луготин, Наль-остров и др. Когда, спустя четверть века, Ломоносов окажется в Санкт-Петербурге, где ему придется прожить почти всю оставшуюся жизнь, может быть, чем-то город в невском устье, стоящий на десятках островов, напомнит ему родные места… Самый большой из двинских островов — Куростров. От Холмогор он отделен узкой протокой — Холмогоркой. Люди на Куростров живут, по крайней мере, с XIII века. В то время там находилась усадьба новгородского посадника (то есть в данном случае — наместника). А прежде, по преданию, здесь было святилище финского бога Юрмолы. «Ельник» — так называлась часть острова, где находилось это языческое капище, — еще в дни Ломоносова пользовался дурной славой; люди там не селились.

В административном отношении остров был разделен на две волости: Ровдогорскую и Куростровскую; их отделял друг от друга Езов луг. Часть пахотных и сенокосных земель на острове принадлежала Антониеву Сийскому монастырю (расположенному девяносто шестью верстами выше по течению); крестьяне, жившие на этих землях, числились за монастырем и несли повинности в его пользу — вплоть до 1762 года, когда Петр III упразднил монастырское землевладение. Большинство же куростровцев были черносошными крестьянами, то есть свободными землевладельцами, обязанными только податью царю. Подать считалась «по сохам», «по веревкам» (то есть по номинальной площади земли), «по животам» (по количеству скота). Лишь пришлых, беспашенных, людей обкладывали податью «по головам». При Петре была введена всеобщая подушная система обложения.

Кроме земледелия, скотоводства и морского промысла, жители острова подряжались иногда на строительные работы, занимались резьбой по моржовой кости (таким ремеслом

славилась семья соседей и родичей Ломоносовых — Шубных; из этой семьи вышел известный скульптор Шубин). Особую группу составляли «кречачьи помытчики» — ловцы соколов и кречетов для царской охоты. На этот промысел куростровцы держали монополию: никто, кроме них, не имел права ловить ценных птиц. Крылатых хищников, которых когда-то в Беломорье было немало, приманивали живыми голубями и ловили сетями. Уже при царе Михаиле Федоровиче в Москву поставляли до ста кречетов в год. К концу правления его сына, большого любителя соколиной охоты, написавшего ее «Устав», поголовье хищных птиц на южном берегу Белого моря резко сократилось. Кречачьи помытчики в поисках добычи добирались до Мурмана, где на правах «государевых людей» всячески грабили и обижали аборигенов-лопарей. К 1729 году (накануне прощания Ломоносова со студеной родиной) на острове жили девятнадцать кречачьих помытчиков, ловивших двадцать кречетов и тридцать челегов (соколов) ежегодно.

Всего же Куростровскую волость в начале XVIII века населяло 763 души обоего пола, живших на 219 дворах. В 1710 году на одном из этих дворов, «на деревне Мишанинской» проживали «Лука Леонтьев сын Ломоносов штидесяти пяти лет. У него жена Матрона пятидесяти восьми лет, сын Иван двенадцати лет, две дочери: Марья пятнадцати лет; Татьяна восьми лет. Земли тритцать три сажени. У него же житель на подворьи Василий Дорофеев сын Ломоносов тридцати лет, холост. У него земли тритцать четыре сажени»[5].

2

Распространенное в XVIII–XIX веках предание о том, что фамилию Ломоносов ученый получил уже в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, оказалось ложным. Род Ломоносовых известен на Куростров. Фамилия может происходить вовсе не от сломанного носа, а от ломоноса — растения семейства лютиковых. По предположению холмогорского священника и историка-дилетанта А. Градилевского, Ломоносовы могли (вместе с Бажениными, Вельяминовыми и др.) бежать на Север из Новгорода после разорения его Иваном Грозным в 1570–1571 годах. Так или иначе, Леонтий Артемьев сын Ломоносов в 1678 году был крестьянином деревни Мишанинской. У него было три сына — Иуда, Лука и Дорофей. Про Дорофея, родного деда нашего героя, мы знаем меньше всего. По всей вероятности, он рано умер, успев, однако, жениться (на девушке из семьи Шубных

или из Лопаткиных) и родить четверых сыновей. Иуда и Лука Ломоносовы были мореходами. Иуда владел промысловым становищем на Мурмане «в Виселкине губе», на паях с холмогорцем Андреем Зыковым. О Луке, пережившем своих братьев, известно больше всего.

Лука Леонтьевич Ломоносов (1646–1727) ходил на чужих кораблях «кормщиком» (капитаном) — по большей части на Мурман, за треской; под старость, по-видимому, завел собственное судно на паях с тремя другими рыбаками, жителями Сумского посада. Глава всего рода Ломоносовых, он пользовался уважением среди односельчан. В 1701 году его выбрали церковным волостным старостой, потом — одним из «выборных людей» Куростровской волости, потом — земским старостой Околопосадской трети Двинского уезда. Таких старост было двое, и они должны были помогать главе местного самоуправления — бурмистру. Закончилась общественная деятельность Луки Ломоносова скверно: дело в том, что опытный корабельщик не умел, как ни странно, ни читать, ни писать и был совершенно неопытен в канцелярских делах. В результате (уже в 1713 году) обнаружилась недостача 30 рублей, которые были отданы без расписки как «переводные за подьячих» некоему горожанину Ивану Федорову сыну Попову. Деньги — огромные по тем временам! — были взысканы пополам с двух старост.

Женат Лука Леонтьевич был только единожды, но матрона Матрена рожала детей до пятидесяти лет, так что Татьяна, младшая дочь Луки Леонтьевича, была четырнадцатью годами моложе своего племянника Никиты Федоровича Большого. Как и его братец Никита Федорович Меньшой (одинаковые имена у родных братьев в то время не были редкостью), он служил таможенным подьячим. Большой — в Архангельске, а Меньшой — в самом Санкт-Питербурхе. Лука Ломоносов был, как мы уже заметили, неграмотен. Его сыновья Федор и Иван уже грамоту знали, а внуки выбились в таможенные служащие, в «государевы люди»… Вот три жизненных пути для тогдашнего помора: либо тихо сеять рожь и ячмень, разводить коров — и остаться обычным черносошным крестьянином; либо пуститься в дальние походы за рыбой и морским зверем, рисковать жизнью, но, может быть, разбогатеть и прославиться среди односельчан; либо, освоив грамоту, податься в город — в приказные крючки. Никита Большой и Никита Меньшой выбрали третий путь. Лука и его племянник Василий Дорофеевич — второй.

Видимо, младший сын покойного брата Дорофея был Луке Ломоносову ближе родных сыновей и внуков. Во всяком случае, они жили общим домом и держали общее хозяйство. На двоих у

них было шестьдесят семь саженей земли на Налье-острове и еще четырнадцать саженей усадьбы. Для крестьянского надела на две семьи — маловато. Впрочем, другие наделы на Куростров были еще меньше. Землепашеством и дяде, и племяннику, все лето проводившим в морских плаваниях, заниматься, видимо, было некогда. Кто же работал в поле? Может быть, младшие родственники или батраки? Сам Михайло Ломоносов с удовольствием вспоминал о морских походах с отцом и ни разу — о занятии каким бы то ни было сельским трудом. Впрочем, это было не то, чем в XVIII веке принято было гордиться.

В любом случае, земля была недвижимым имуществом, которое при необходимости можно было обменять на деньги. В 1698 году Лука Ломоносов дал в долг братьям Чурносовым (Чюрносовым) 20 рублей под залог «поля орамой земли». Заложенный участок не был выкуплен и перешел в собственность Ломоносова, который точно так же четыре года спустя заложил его под те же 20 рублей Афанасию Шубному — и тоже не выкупил. В 1714 году, оказавшись в затруднительном положении из-за помянутой выше истории с казенной недоимкой и наложенным за нее штрафом, дядя и племянник (уже женатый) продали некоему Козьме Сазонову уже собственную «пожню сенных покосов»… Возможно, мореходы Ломоносовы отдавали свои не слишком большие земельные владения исполу тем же Шубным или Сазоновым, а при нужде закладывали и продавали их? (Тут надо пояснить, что формально земля, на которой жили черносошные крестьяне, принадлежала государству и находилась в коллективном пользовании крестьянского «мира», но вплоть до середины XVIII века поморы распоряжались ею как своей собственностью; позднее это было запрещено.)

Вскоре после переписи 1710 года, предположительно в ноябре, Василий Ломоносов женился на двадцатилетней Елене Ивановне Сивковой, недавно осиротевшей дочери дьякона Николаевского Матигорского прихода, чьи предки были монастырскими крестьянами. В отличие от своего мужа-корабельщика и его дяди-старосты, дочь дьякона была, видимо, грамотна. Но научить сына Михайлу грамоте она не успела: в 1719 или 1720 году Елена Ломоносова умерла.

Год, два или три спустя Василий Ломоносов женился вторично — на Федоре Михайловне Узкой или Усковой. От этого брака родился сын Иван, проживший, видимо, недолго. Вскоре и Федора Ломоносова умерла. На судьбе ее пасынка второй брак отца никак не сказался, не считая того, что Василий Дорофеевич решил наконец жить отдельно от дяди и построил свой дом. Этот дом не сохранился; зато сохранились остатки рыбоводного пруда

— единственного на Куростров — устроенного Василием Дорофеевичем. Человек он был, несмотря на неграмотность, изобретательный, смелый и расторопный; некоторые из своих черт сын унаследовал от него.

3

Для Куростров устройство первого рыбоводного пруда стало событием. За сотни и тысячи верст отсюда, в большом мире, происходили тем временем события другого масштаба, так или иначе повлиявшие на жизнь нашего героя.

Шла Северная война. Полтавская битва случилась за два года до рождения Ломоносова, Гангутский бой — когда Михайле исполнилось три года. А 1711 год был для Петра Великого не очень счастливым.

Неудачи начались 9 января: молодой курляндский герцог, только что женившийся на семнадцатилетней племяннице царя Анне Иоанновне, едва выехав из молодого Санкт-Питербурха (где проходили торжества) в свою столицу Митаву, скоропостижно скончался. Злые языки говорили — перепил на собственной свадьбе. Свадебное пиршество в самом деле было долгим, не по-петровски пышным и притом по-петровски затейливым: царь-преобразователь самолично взрезал пироги, из которых выпрыгивали живые карлицы, а потом — тоже самолично — запускал фейерверки. Пили много все, но царь-великан и его опытные сподвижники находили силы одновременно заниматься своими обычными государственными делами. Не то юный герцог: он пьянствовал почти без просыпу, в короткие минуты протрезвления, устраивая, в добавление к царским, собственные изысканные аттракционы (скажем, поженил двух карликов и самолично присутствовал при их брачной ночи). И вот — печальный финал. Невеста-вдова, новоявленная герцогиня Курляндская, отправилась в чужую страну одна. Вернется в Россию она через девятнадцать лет — императрицей.

Тем временем Петр, по совету великого математика и философа Готфрида Вильгельма Лейбница, осуществил очередную реформу государственного управления: организовал Сенат. Дав инструкции господам сенаторам, царь отправился на юг, на реку Прут, где рассчитывал при поддержке молдавского господаря Дмитрия Кантемира и валашского господаря Бранкована (вассалов султана, переметнувшихся к Петру так же, как Мазепа к Карлу) посрамить Турцию. Обоснованно опасаясь претензий России на черноморские берега, османское

правительство заключило союз со шведами. В начале 1711 года крымский хан Девлет-Гирей, вассал Порты, вторгся на российские (восточноукраинские) земли и дошел до Самары — будто на дворе не XVIII, а XVI век, и на троне не Петр Великий, а Иван Грозный! Царь решил положить этому конец.

Но начавшийся в июне поход Петра едва не закончился катастрофой.

> За Могилою рябою
> над рекою Прутовою
> было войско в страшном бою.
>
> В день неделный ополудно
> стался час нам велми трудный,
> пришол турчин многолюдный… —

так описывал эти события Феофан (Прокопович), приближенный церковник и придворный поэт Петра. Русская армия во главе с царем оказалась окружена превосходящими силами турок, татар и ушедших в Бендеры казаков Мазепы. Кантемир поддержал царя, но помощь от Бранкована так и не пришла. Петр распорядился, на случай своего пленения, не считать его царем и не выполнять его приказы. Он явно готовился к худшему. Посланному на переговоры с турецким пашой дипломату Петру Шафирову разрешалось идти на любые уступки туркам и шведам, лишь бы сохранить Ингрию. Но то ли выручили драгоценности, которыми сопровождавшая Петра в походе Екатерина, Марта Скавронская (еще не законная царица), якобы подкупила турецкого военачальника, то ли помогли дипломатические таланты Шафирова, то ли пришлась кстати ненадежность готовых взбунтоваться янычар — но условия перемирия оказались на редкость мягкими и благоприятными для России. Требовалось лишь вернуть захваченный в предыдущую войну Азов, разорить крепости, свежепостроенные по Дону, и пропустить бежавшего в Турцию после Полтавы Карла XII домой через русскую территорию (шведский король, однако, не спешил воспользоваться открывшейся возможностью, и туркам пришлось выдворять его силой). Турецкая сторона требовала еще выдать предателя Кантемира, Петр отказался. Высокоученый господарь отправился в эмиграцию в Москву вместе с семьей, в том числе с двухлетним сыном Антиохом. Все это имело самые прямые последствия для истории русской поэзии, а значит, и для жизни Ломоносова.

Прямые участники этой истории явно оказались в выигрыше.

Шафиров, бывший переводчик Посольского приказа (родом из крещеных евреев, поселенных в Москве при Алексее Михайловиче), возвысился в глазах Петра. В данном случае Шафиров интересен для нас вот почему: вице-канцлер (с 1717 по 1723 год), а позднее председатель Коммерц-коллегии, совмещавший, как большинство петровских сподвижников, служение державе с собственными торговыми интересами, был одно время совладельцем Кольской китобойной компании, с которой имел дело Василий Ломоносов. Еще больше повезло Екатерине: растроганный Петр наконец вступил с ней в законный брак. Результаты: династический кризис, гибель царевича Алексея и в конечном итоге — воцарение Елизаветы Петровны. Так уже в момент появления на свет Ломоносова зарождается его будущая эпоха. Не будь в 1740–1750-е годы на троне «дщерь Петрова», все в судьбе нашего героя могло сложиться иначе.

Не слишком печалясь о поражении, Петр отправился на другой театр военных действий — в Польшу, а оттуда — в Дрезден и Карлсбад, где лечился на водах. Предполагаемый день рождения Ломоносова Петр встретил в Кёнигсберге. Оттуда он отправил в русское посольство в Голландии депешу, в которой упоминал о необходимости более тесного союза с этой страной. Оттуда — через Мемель, Ригу, Ревель, подолгу останавливаясь в каждом городе, — он под Новый год наконец добрался до Санкт-Питербурха. Это еще не столица: переезд туда двора и правительства начнется лишь в следующем, 1712 году. Пока что шла работа по прокладке Большой Першпективной дороги, позднее — Невской першпективы, потом — Невского проспекта, от города к основанному годом раньше Александро-Невскому монастырю…

Ломоносову исполнилось десять лет, когда Россия со Швецией заключили мир, а Сенат преподнес Петру титулы Императора, Великого и Отца Отечества. Тринадцать — когда Петр учредил Академию наук. Спустя всего несколько месяцев царь-великан, проводив в путь камчатскую экспедицию Беринга, распрощался с этим миром. Два года спустя не станет его супруги и наследницы. Ломоносову будет шестнадцать, когда двенадцатилетний Петр II сошлет в Березов «полудержавного властелина» Меншикова и вернет столицу в Москву. Три года спустя туда придет с рыбным обозом молодой помор. Но императора-отрока в живых он уже не застанет: тот умрет несколькими месяцами раньше.

Впрочем, до тех пор Михайле Ломоносову предстоит увидеть и узнать еще многое.

4

28 декабря 1714 года Петр отдал архангельскому вице-губернатору следующее распоряжение: «Объявите всем промышленникам, которые ходят на море для промыслов своих на лодьях и кочах, дабы они вместо тех судов делали морские суда, галиоты, гукоры, каты, флейты, кто из них какие хочет, и для того (пока они новыми судами морскими справятся) дается им сроку на старых ходить только два года, а по нужде три года…»

Строить новые корабли старого образца запрещалось под угрозой штрафа. Только гукоры, галиоты и флейты. Типичное петровское цивилизаторское самодурство. Указ был нелепый и невыполнимый. На старых кораблях продолжали плавать, более того, запрещенные лодьи, кочи, карбасы и соймы продолжали строить, не страшась штрафа. Чертежи судов европейского образца, посланные в Архангельск, лежали невостребованными. Причиной был не просто консерватизм поморов: широкие, почти круглые по форме кочи, конечно, уступали европейским кораблям по быстроходности, зато могли дрейфовать зимой, будучи выдавленными на лед, которым более узкие корабли были бы просто раздавлены. Именно такие древние корабли послужили образцом для Нансена при постройке «Фрама».

Но не в обычае Петра было сдаваться и позволять своим подданным делать, что они пожелают. В 1719 году он издал новый указ: все корабли старого образца «заорлить» (то есть заклеймить государственным гербом) — «и дайте на тех заорленных доходить». Подход несколько более либеральный, чем прежде… Зато за строительство нового корабля древнего поморского образца полагались теперь каторжные работы. Это тоже плохо подействовало — старинные лодьи строились и ходили по Белому морю еще полтораста лет. Но в первый момент поморы, видимо, испугались. Строить судна старого типа было боязно, новые — непривычно.

И вот тут-то Василий Ломоносов — небогатый промышленник, кормщик на чужих судах — понял: настал его час.

Как сообщается в примечании к первой биографии Ломоносова, составленной М. И. Веревкиным, отец ученого «первой из жителей сего края состроил и по-европейски оснастил, на реке Двине, под своим селением, галиот и прозвал его Чайкою: ходил на нем по сей реке, Белому морю и Северному океану для рыбных промыслов и из найму возил разные запасы, казенные и от частных людей, из города Архангельского в Пустозерск,

Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по брегам Лапландии, Семояди и на реку Мезень».

По документам судно Василия Ломоносова было не галиотом (двухмачтовым судном с небольшой осадкой, годившимся лишь для неглубоких голландских каналов), а упомянутым уже гукором (*hoeker;* в России их называли также «укеры», «гукари», «гики»). Это тоже парусный грузовой двухмачтовик, правнук голландской рыбачьей лодки, но с более глубокой осадкой и круглой кормой. В Европе гукоры использовались как военные транспортные суда. Команда на таком судне обычно состояла из семидесяти человек. Сколько точно народу было на корабле Василия Ломоносова — неизвестно; неизвестны и имена этих людей. Возможно, некоторые из них были не наемными работниками, а пайщиками, совладельцами судна. Как резонно предполагает А. А. Морозов, собственные средства на постройку и оснащение большого корабля у Василия Дорофеевича найтись едва ли могли. Речь идет о 400–500 рублях, между тем общий доход даже от очень удачной путины составлял всего 150–160 рублей.

Кроме рыболовства, доходы Ломоносова-отца связаны были в основном с транспортными подрядами. Русские люди, жившие в «беспашенных» местах — на Терском берегу, на Мурмане, на Мезени, на Печоре, — зависели от поставок «провианта» из устья Двины. Это был прообраз нынешнего «северного завоза». Сведения, приведенные Веревкиным, подтверждаются документально — записями в «Книге записной Архангелогородских привальных и отвальных и других сборов» и другими казенными бумагами. Как мы уже упоминали, среди клиентов Василия Ломоносова со товарищи было, между прочим, «Кольское китоловство» — созданная в 1723 году частно-государственная компания. Гукор «Чайка» доставлял из Кольского острога в Архангельск бочки ворвани и мешки с добытой от ее продажи разнообразной валютой[6].

Постепенно Василий Ломоносов разбогател — «нажил кровавым потом», как выражался его сын, «довольство по тамошнему состоянию». Вроде бы у него появились, кроме «Чайки», и другие корабли; об этом пишет в биографии Ломоносова Б. А. Меншуткин; есть упоминания о принадлежавшем ему корабле «Михаил Архангел». В честь именин сына? «Довольством» своим он был обязан, однако же, не только собственному «кровавому поту», но и обстоятельствам эпохи. У него не было причин роптать на царя-преобразователя, которого, между прочим, ему приходилось видеть в юности. Во время приезда Петра в Архангельск в 1700 или 1702 году Василий Ломоносов был свидетелем следующей сцены. Голенастый царь,

осматривая барки с товаром, привезенным из Холмогор, оступился и упал в барку с глиняными горшками. «Горшечник, которому судно сие принадлежало, посмотрев на разбитый свой товар, почесал голову и с простоты сказал царю:

— Батюшка, теперь я не много денег с рынка домой привезу.

— Сколько ты думал домой привезти? — спросил царь.

— Да ежели бы все было благополучно, — продолжал мужик, — то бы алтын с 46 или бы и больше выручил.

Петр дал холмогорцу червонец, чтобы он не пенял и не называл его причиной своего несчастия». (46 алтын — это 1 рубль 38 копеек; петровский червонец чеканки 1701 года — 2 рубля.) Эту историю хозяин «Чайки» позднее рассказал сыну, а тот пересказал ее уже в Петербурге своему другу Якобу Штелину, собиравшему анекдоты про Петра Великого.

По свидетельству того же Веревкина, отец Ломоносова «начал брать его от десяти- до шестнадцатилетнего возраста с собою каждое лето и каждую осень на рыбные ловли в Белое и Северное море». Северное — это в данном случае, конечно, Баренцево — внешнее, открытое море, часть Северного Ледовитого океана. Куда именно плавал Ломоносов с отцом? Веревкин указывает один маршрут: «…до Колы, а иногда и в Северный океан до 70 градусов широты». По свидетельству самого Ломоносова, он «пять раз» выходил в океан из Белого моря.

Не надо думать, что Михайло плавал в привольной роли хозяйского сынка. Ему, несмотря на малолетство, приходилось трудиться в море наравне с бывалыми рыбаками, артельщиками-котлянами. На корабле каждый рот и каждые руки были на счету, да и нравы на севере были суровые, патриархальные: по свидетельству Крестинина, «за каждую одежду или обутку дети принуждены были родителей благодарить земными поклонами. Во время веселий с ближними или знатными гостями имели обычай приказывать своим детям, при поднесении хмельных напитков, земными поклонами приветствовать ближнего или каждого гостя из присутствующих в беседе…». Понятно, что в море эта строжайшая субординация соблюдалась особенно строго. Малолетние рыбаки, выполнявшие обязанности юнг, звались «зуйками» (зуек — мелкая чайка, кормящаяся близ становища). Это отлично характеризует их статус.

Всякое плавание начиналось с посещения Архангельска. В начале XVIII века город, по описанию голландского ученого К. де Бруина, выглядел так:

> «Город расположен вдоль берега реки на три или четыре часа ходьбы, а в ширину не свыше четверти часа.

Главное здание в нем есть палата, или двор, построенный из тесаного камня и разделяющийся на три части. Иностранные купцы помещают свои товары и сами имеют для помещения несколько комнат в первом отделении, находящемся налево от реки. Здесь же помещаются и купцы, ежегодно приезжающие сюда из Москвы…

Входя в эти палаты, проходишь большими воротами в четырехугольный двор, где по правую и левую руку расположены магазины… Во второе отделение вход через подобные же ворота, где находится другая палата, в конце которой — дума со множеством покоев, несколькими ступенями поднимаешься на длинную галерею, где на левой руке помещается приказ или суд, а внизу его дверь, выходящая на улицу. Судебные приговоры исполняются в этой же палате… Третьи ворота ведут опять в особую палату, предназначенную для товаров русских людей, в которой и купцы, хозяева этих товаров, также имеют помещения для себя, но не такие удобные, как помещения наших купцов…

Кремль, в котором живет правитель (воевода), содержит в себе лавки, в которых русские во время ярмарки выставляют свои товары, Кремль окружен бревенчатой стеной, простирающейся одной частью до самой реки.

Что до зданий, все дома этого города построены из дерева, или, лучше сказать, из бревен, необыкновенно на вид толстых, что кажется чрезвычайно странным снаружи для зрителя. Однако же есть и хорошие дома внутри, снабженные порядочными покоями, в особенности принадлежащие иностранным купцам…

Улицы здесь покрыты ломаными бревнами… Вдобавок в городе находятся беспорядочно разбросанные развалины домов… Но снег, выпадающий зимою, уравнивает и сглаживает все».

В Архангельске Василий Ломоносов загружал на борт зерно и другие припасы для Кольского острога (если целью плавания был Мурман) или для других отдаленных мест. Путь на Мурман, занимавший месяц-полтора, проходил через горловину Белого моря, усиженную в летнее время сотнями птиц. Здесь промышляли добытчики ценного гагачьего пуха. Но у Ломоносовых был другой промысел.

Примерно в этом месте судно пересекало невидимую линию,

о существовании которой ни Ломоносов, ни его отец не знали. Но не заметить ее пересечения было невозможно: это был Северный полярный круг, и за этой чертой солнце во второй половине июня никогда не заходило.

Ломоносову принадлежит первое и лучшее в русской поэзии описание полярного дня на Белом море:

> Достигло днéвное до пóлночи светило,
> Но в глубине лица горящего не скрыло;
> Как пламенна гора казалось меж валов
> И простирало блеск багровый изо льдов.
> Среди пречýдныя при ясном солнце ночи
> Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
>
> *(Петр Великий)*

Чтобы попасть в Баренцево море, нужно миновать мыс Святой Нос, около которого часто свирепствуют штормы и бури. Место это окружено легендами: рассказывали, что некогда здесь водились «морские черви», точащие суда, пока некий поп Варлаам из Керети не усмирил их. Варлаам этот, посланный на служение в Колу, из ревности убил жену. Затем он сел в лодью, положил туда же труп — и пустился по воле волн. Достигнув Святого Носа, он сотворил молитву и усмирил червей, и за это простился ему грех. Другая легенда гласила, будто близ Святого Носа находится пещера, каждые шесть часов поглощающая море, а потом извергающая его обратно. Вероятно, именно поэтому происходят приливы и отливы…

Дальше путь шел в Колу (Кольский острог). В деревянной (построенной в основном из топляка, обильно сносимого морской волной к северным берегам) крепости в глубине Кольской губы, между устьями рек Кола и Тулома, стоял гарнизон в 500 человек. Кругом простирались скалистые тундры и лесотундры, богатые грибами и ягодами, но никем никогда не паханные. (Хотя зима на Мурмане из-за Гольфстрима заметно теплее, чем на Двине, а Баренцево море вообще не замерзает, — прохладное и недолгое лето, а главное, каменистые почвы делают хлебопашество невозможным.) Жители Колы держали коров, но кормили их тресковыми головами, смешанными с отрубями, — из-за чего молоко приобретало отвратительный для непривычного человека вкус.

Рядом с Колой находился Кольский Печенгский монастырь. История его такова: в 1532 году отшельники Митрофан и Феодор основали на реке Печенге, у нынешней норвежской границы,

обитель. Насельниками ее были в основном крещеные лопари. В 1590 году 116 из 120 живших там человек погибли от рук шведских разбойников. Бежавшие в Колу чудом спасшиеся монахи основали здесь, по указу Федора Иоанновича, новый монастырь, унаследовавший имя прежнего. Когда-то он процветал, но в конце XVII века начал приходить в упадок. «Чайка» завозила сюда, вероятно, не только «хлеб, рожь, овес, горох, воск, фимиам, мед, масло, крупы, конопляное масло», на которое монастырю со времен Василия Шуйского причиталось годовое содержание, но и «горячее вино», которым чернецы скрашивали несуровую, но долгую Кольскую зиму.

Отсюда Ломоносовы отправлялись, вероятно, на собственный рыбный промысел. На Мурмане, в промысловой избушке с грубым очагом-каменкой посередине проводил Михайло летние месяцы. Здесь он увидел природу совсем новую, непривычную для себя: огромные всхолмленные луга, серебристый ягель на склонах, стелющиеся ветви карликовых осин, а к западу — редкое криволесье. Здесь, где встречались рыбаки с самых разных берегов Белого моря, многое, должно быть, можно было услышать о самых отдаленных и загадочных местах: вплоть до волшебной Мангазеи, города, построенного далеко на востоке, в студеных, но богатых мехом и пухом странах — построенного, а потом погибшего…[7] (Там, в Сибири, сталкивались друг с другом свободные русские северяне-поморы и свободные южане-казаки, разделенные в обычной жизни тысячами верст рабства. Точнее, самые дерзкие и бесшабашные из тех и других.) Рассказывали, конечно, и про китовую ловлю, и про страшные ледяные горы, плавающие в морях. И про мореходов из западных стран — «норвегов», голландцев, англичан.

Здесь, на Мурмане, юному Ломоносову приходилось встречаться и с коренными жителями этих мест. Они вызывали у него снисходительную усмешку. В своей работе «О сохранении и размножении российского народа» он пишет, доказывая важность мясного питания: «Проживают и лопари, питаясь почти одною рыбою, да посмотрите же, коль они телом велики и коль многолюдны. <…> На 700 верстах в длину, а в ширину на 300 лопарей толь мало, что и в большие солдатские поборы со всей земли по два солдата с числа душ наймают из нашего народа, затем, что из них весьма редко, чтобы кто и по малой мере в солдаты сгодился». В замечаниях на «Историю Российской Империи при Петре Великом» Вольтера он развивает эту тему: «Лопари отнюдь не черны и с финнами одного поколения, равно как и с корелами и многими сибирскими народами. <…>

А отличаются лопари только скудостью возраста и слабостью

сил, затем что мясо и хлеб едят редко, питаясь одною почти рыбою. Я, будучи лет 14, побарывал и перетягивал тридцатилетних сильных лопарей. Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма загорают, ни белил, ни румян не знают, однако мне видать их нагих случалось и белизне их дивиться, которою они самую свежую треску превосходят, свою главную и повседневную пищу».

Другой маршрут пролегал на Соловецкие острова. Соловецкий монастырь, одна из древних твердынь русского православия, переживал не лучшие времена. Основанный в 1429 году Савватием и Германом, много лет возглавлявшийся игуменом Зосимой (Зосима и Савватий вошли в число самых почитаемых русских святых), монастырь на диких северных островах достиг расцвета при игумене Филиппе (Колычеве), восемнадцать лет управлявшем им и отстроившем его в камне. В 1566 году Филипп, к которому благоволил Иван Грозный, был вызван в Москву — на митрополичий престол. Так хозяйственный монастырский предстоятель превратился в героя и мученика. Чуть ли не единственный в тогдашней России, он вслух обличал царские жестокости и нечестия — и был за это сослан в Тверской Отроч монастырь, а потом убит. Видимо, его непокорный дух передался выстроенному и прославленному им монастырю. Через столетие без малого после смерти Филиппа соловецкие старцы отказались признать реформы Никона. Монастырь стал оплотом старообрядческого сопротивления. После восьми лет осады (известной как «Соловецкое сидение») он был взят царскими войсками; десятки монахов были убиты и замучены. Это произошло в 1676 году. Спустя восемнадцать лет молодой царь Петр посетил опальный монастырь, что означало его «прощение» (с описания этого посещения начинается незавершенная ломоносовская эпопея «Петр Великий»). Но к 1720-м годам он едва начал оправляться после разгрома. Многие вожди «раскола» томились тут же, в монастыре, в его знаменитой подземной тюрьме — как и многие государственные преступники. Но их юный Ломоносов видеть не мог.

А видел он прекрасные белокаменные храмы, могучие, сложенные из ледниковых валунов стены монастыря-крепости, трудовую жизнь монахов и послушников; слышал, вероятно, рассказы о подвигах и мученичестве былых насельников. В «Петре Великом» создан величественный образ монастыря:

Уже на западе восточными лучами
Открылся освещен с высокими верьхами
Пречудных стен округ из диких камней град,

Где вольны пленники, спасайся, сидят,
От мира отделясь и морем и святыней,
Пример отеческих от древних лет пустыней,
Лишь только лишены приятнейших плодов
От древ, что подают и пищу и покров;
Не может произвесть короткое их лето;
Снегами в протчи дни лице земли одето,
Сквозь мрак и сквозь туман, сквозь буйных ветров шум,
Восходит к небесам поющих глас и ум…

Но чуть дальше Ломоносов вспоминает и о недавних кровопролитиях, омрачивших покой обители, о Соловецком сидении:

…грубых тех невежд в надежных толь стенах
Не преклонил ни глад, ни должной казни страх.
Крепились, мнимыми прельщены чудесами,
Не двигнулись своих кровавыми струями,
Пока упрямство их унизил Божий суд…

Любопытно, что в поэме не упоминается о Филиппе Колычеве, но рассказывается легенда о пленных татарах, якобы присланных на Соловецкие острова Иваном Грозным и построивших монастырские стены. Легенда эта, не подтвержденная никакими фактами, вероятно, бытовала в монастыре, коль скоро автор «Петра Великого» припомнил ее. Помнили не человека, бросившего вызов тирану, а завоевания «великого Иоанна», и с ними пытались связать историю Соловков.

Судя по тому, что писал Ломоносов впоследствии уже не в стихах, а в деловой прозе, не ускользнула от него и изнанка монастырской жизни: «Вошло в обычай, что натуре человеческой противно… что вдовых молодых попов и дьяконов в чернецы насильно постригают. <…> Смешная неосторожность! Не позволяется священнодействовать, женясь вторым браком законно, честно и благословенно, а в чернечестве блуднику, прелюбодею или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны совершать дается воля. Возможно ли подумать, чтобы человек молодой, живучи в монашестве без всякой печали, довольствуясь пищами и напитками и по внешнему виду здоровый, сильный и тучный, не был бы плотских похотей стремлениям подвержен, кои всегда тем больше усиливаются, чем крепче запрещаются» («О сохранении и размножении российского народа»). Трудно сказать, конечно, отразились ли в этом пассаже

личные наблюдения.

О непосредственном общении отца и сына Ломоносовых с монахами известно мало. В ноябре 1746 года[8] Ломоносов послал Варсонофию, в 1727–1740 годах настоятелю Соловецкого монастыря, а затем Архангельскому и Холмогорскому архиепископу, свой перевод «Физики» Вольфа с приложением письма, в котором между прочим писал: «Те благодеяния, которые Ваше преосвященство покойному отцу моему показывать изволили, понуждают меня, чтоб я хотя письменно Вашему преосвященству нижайший мой поклон отдал. Приятное воспоминание моего отечества никогда не проходит без представления особы Вашего преосвященства, яко архипастыря словесных овец, между которыми имею я некоторых одной крови». Разумеется, это всего лишь стандартные формулы вежливости. В 1727 году 33-летний игумен только возглавил монастырь, а в 1728 и 1729 годах Михайло с отцом, видимо, не плавал. О Варсонофии есть разные отзывы (А. А. Морозов обнаружил письмо, характеризующее игумена как деспота и самодура, за ничтожные провинности выгонявшего монахов на мороз, закрывшего основанную его предшественником школу). Но интерес к вольфианской физике для русского архиерея XVIII века — вещь необычная.

Еще один путь пролегал на восток — к Мезени и дальше, за Канин Нос, в устье Печоры, в Пустозерск, такой же заброшенный в тундре город-крепость, как Кола, — с той разницей, что здесь к крепостным стенам примыкал настоящий посад и что самоеды, жившие вокруг, были совсем на мирных лопарей не похожи. Вот как описывает их Ломоносов: «…ростом немалы, широкоплечи и сильны и в таком количестве, что если б кровавые сражения между многими их князьями не случались, то знатная северо-восточного берега часть ими населилась многолюдно»[9]. С 1499 года, когда на Пустом озере, некогда соединенном протокой с Печорой, был основан первый русский город за полярным кругом, и вплоть до середины XVIII века их буйные набеги не давали покоя местным жителям. В крепости, как на Кавказе или в оренбургских степях, держали заложников — аманатов, там находился, на случай «прихода воровской карачейской самояди», постоянный воинский гарнизон — частью из крещеных самоедов же и состоящий. При этом именно ненцам (и их южным соседям, коми-зырянам) обязан был город на Пустом озере своим первоначальным процветанием: через него шла торговля пушниной с туземцами. Шла, пока в 1620 году царь Михаил Федорович, обеспокоенный экспансией заморских купцов, не запретил им посещать Пустозерск. С тех пор город имел не

столько промысловое, сколько административное значение — вплоть до упразднения в 1780 году Пустозерского уезда. Кроме того, это было любимейшее в XVII веке место ссылки. Здесь сидел в земляном срубе, а потом был сожжен протопоп Аввакум. Здесь в то же время пять лет (1677–1682) прожил в ссылке бывший начальник Посольского приказа и хранитель государевой печати Артамон Матвеев; его преемник на этих постах — фаворит царевны Софьи и неудачливый реформатор князь Василий Голицын прибыл сюда в 1691 году, причем занял тот же дом, в котором прежде жил Матвеев. В Пустозерске заканчивалась карьера многих представителей власти, и от его жителей юный Ломоносов мог узнать подробности о недавнем прошлом страны.

Опыт этих путешествий, продолжавшихся шесть лет, навсегда остался с ним. Одной из последних его работ было сочинение «О плавании в северных морях» (1763), в котором Ломоносов с присущим ему темпераментом выразил свое убеждение: север — не мертвая пустыня, а места, которые могут быть освоены человеком и поставлены ему на службу; северные моря — такая же доступная мореплаванию стихия, как моря запада и юга. И решение этой задачи, по естественным географическим и климатическим причинам, — право и долг именно России.

На рукописи этой работы Ломоносов набросал рисунок, наверняка загадочный для его современников, но хорошо понятный биографам. Это был план течения Двины близ Холмогор, с Куростровом и соседними островами. Ломоносов не был здесь к тому времени тридцать четыре года.

5

Зимой корабли ставили «на костер», или «на колки», — втаскивали на вбитые в реку бревна. Начинались долгие почти бессолнечные месяцы. Лишь временами в небе вспыхивало разноцветное свечение — северное сияние, происхождению и классификации которого Ломоносов позднее уделил несколько страниц в своих научных трудах.

Чем занимался юный помор на родине в свободное от плаваний время?

Любимым развлечением двинских парней были кулачные бои. «Многочисленные кулачные бойцы прежнего времени, холостые и женатые люди, не запрещали праздным своим ребятам упражняться в кулачных поединках. Самые девки тогдашнего времени между своими веселостями не стыдились употреблять наподобие кулачного боя игру, называемую тяпанье,

то есть обоюдные ударения по плечам едиными дланями рук, производящие даже до чувствительной боли, терпимой охотно» (Крестинин). Однако нравы у этих валькирий были строгие. По свидетельству добродетельного приходского священника Градилевского, «всякие уединения молодежи партиями или парами разных полов строжайше воспрещались, даже разговаривать с парнями девицы не решались, когда ходили в торжественном увеселительном кругу».

Вероятно, кулачные бои проходили в основном в теплое время, зимой были другие увлечения — строительство снежных городков и т. д. Но сын Василия Ломоносова уже с юных лет был охоч до книжного учения. Именно это и было его главным занятием в зимние месяцы.

Первым учителем его был сосед Иван Шубной, юноша лет шестнадцати (впоследствии — отец скульптора). Вторым — Семен Никитич Сабельников, дьячок, учившийся в Холмогорской певческой и подьяческой школе при архиепископском доме.

Обучение грамоте в то время означало освоение другого языка, резко отличавшегося от разговорного. Как известно, со времен князя Владимира языком русской церковной письменности был церковнославянский, то есть болгарский или македонский диалект древнеславянского языка, на который перевели Библию Кирилл и Мефодий. В то время наречие, на котором говорили в Киеве и Новгороде, лишь немного отличалось от этого языка. Но спустя несколько столетий славянские языки разошлись друг с другом, в русском отмерла часть времен, изменились падежные и глагольные окончания, исчезли многие выраженные кириллицей звуки… Церковная служба шла по-прежнему на языке Кирилла и Мефодия, церковная литература специально создавалась, по мере сил, на нем же, но язык летописей, деловых документов, политической полемики, «повестей» и даже агиографии был плодом компромисса между «славянщиной» и живой разговорной речью. Характер и степень компромисса определялись особенностями жанра и вкусами автора. В XIV–XV веках, когда на Русь приехало много ученых людей с Балкан (так называемое «второе южнославянское влияние»), письменный язык приблизился к церковно-славянскому, потом опять отдалился. Писатели XVII века, стремясь к возвышенности стиля, порою искусственно конструировали церковнославянские обороты, реально никогда не существовавшие. В этом отношении дело обстояло примерно так же, как с латынью в Средние века на Западе. Но французский или итальянский клирик понимал, что «вульгарное» наречие, на котором говорят на улице, — это принципиально другой язык,

восходящий к латинскому, но далеко от него отошедший. А для русского средневекового книжника «славенской» и «руской» — это были две формы (высокая и низкая, письменная и разговорная, церковная и светская) одного «славенороссского» языка. Правильное разграничение двух «нераздельных и неслиянных» языков и кодификация взаимоотношений между ними — заслуга в конечном итоге уже самого Ломоносова.

Обучение азбуке начиналось с заучивания букв. Каждой из них соответствовал, в представлении учителя и ученика той поры, не изолированный звук, а начинающееся с этой буквы церковнославянское слово (аз, буки, веди, глаголь, добро и т. д.). Потом — по складам — учились читать. Склады — это произвольные сочетания букв (часто не существующие в реальных словах), количество которых — по мере учения — постепенно увеличивали (к примеру: аб, ав, аг, ад… ая; абв, абг, абд… абя и т. д.). Выучив произнесение какого-нибудь «вгдпря», ученик легко переходил к чтению осмысленных текстов. За азбукой, включавшей различные нравоучительные высказывания, следовал часослов (сборник молитв и иных текстов, входящих в ежедневное богослужение, кроме собственно литургии), а затем — Псалтырь. Можно предположить, что именно тогда юный Ломоносов впервые пережил потрясение при чтении псалмов Давида — древнейших образцов высокой лирической поэзии, некогда прозой переведенных семьюдесятью толковниками с древнееврейского на древнегреческий, а с него солунскими просветителями — на славянский.

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его и в законе Его поучится день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходищих вод…»

В каноническом синодальном переводе (появившемся спустя полтора века после описываемых нами событий) первый псалом звучит так: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод…»

Но Ломоносов не переводил церковнославянский текст даже мысленно: как любой грамотный человек своего времени, он существовал в двух языковых стихиях одновременно.

После Псалтыри иногда учили еще Новый Завет. Человек, умевший читать Библию, считался грамотным.

Разумеется, такое обучение требовало немалого усердия и дисциплины. Как свидетельствует Крестинин, «при первом представлении в школе нового ученика должен был учинить

земной поклон новому властелину, учителю. И сему прилежало еще обычно напоминание со стороны родителей, дабы наказывать всякого трудника в грамоте на теле за вины, по праву родительской власти». Свободолюбивый Крестинин считал телесные наказания, наряду с всевластием родителей в семье и грубыми развлечениями, источником «рабского духа». Но английских школьников пороли до XX века, а свой национальный кулачный мордобой просвещенные мореплаватели провозгласили благородным спортом и заразили им весь мир. И никакого рабского духа у них при этом никогда не наблюдалось — совсем напротив.

Что касается Ломоносова, то он поспешил применить приобретенные знания на практике. Как рассказывали в конце XVIII века посетившему Холмогоры академику Лепехину, сын Василия Ломоносова «охоч был читать в церкви псалмы и каноны, и по здешнему обычаю жития святых, напечатанные в прологах, и в том был проворен, и при том имел у себя прирожденную глубокую память. Когда какое слово прочитает, после расскажет сидящим в трапезе старичкам сокращение на словах обстоятельно». Живее и достовернее говорится о выдающихся способностях мальчика в примечаниях к «Академической биографии» Веревкина. Основой послужили рассказы самого Ломоносова Штелину. «Через два года учинился, ко удивлению всех, лутчим чтецом в приходской своей церкви. Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так велика, что нередко биван был не от сверстников по летам, но от сверстников по учению, за то, что стыдил их превосходством своим перед ними произносить читаемое к месту расстановочно, внятно, а притом и с особой приятностью и ломкостью голоса». Другими словами, уже у юного Ломоносова были и просветительский раж, и высокомерие, стоившее ему впоследствии немалых неприятностей.

Поморам, в большей степени, чем другим русским сельским жителям, втянутым в рыночные отношения, приходилось подписывать много важных хозяйственных документов. Между тем старики и люди среднего возраста часто были неграмотны и заверять своей подписью бумаги приходилось научившимся читать и писать юнцам. Самый ранний сохранившийся автограф Ломоносова (4 февраля 1726 года) — в «Тетради подрядной камени, кирпича и древ церковного строителя Ивана Лопаткина». Алексей Аверкиев Старопопов и Григорий Иванов Иконников подрядились поставить Лопаткину «тес сосновый, не губастый, нещелованный и неперекосной». За неграмотных подрядчиков «Михайло Ломоносов руку приложил». Подписи

четырнадцатилетнего мальчика, вероятно, придавало вес имя его почтенного и состоятельного (но неграмотного) отца.

Круг чтения «книжного» средневекового человека обязательно включал житийную («Пролог», «Четьи-Минеи») и учительную литературу. Трудно сказать, много ли таких книг было на Куростров. Рядом, у архиепископа в Холмогорах и в Антониевом Сийском монастыре, были большие библиотеки — но они, конечно, не были доступны сыну рыбака из деревни Мишанинской. Но все же юный Ломоносов не только читал, но и переписывал такого рода произведения (труд переписчика еще был востребован — печатных книг было мало). Сохранилась одна переписанная им книга — «Служба и житие Даниила Мироточца». Можно предположить, что в его распоряжении был и уже поминавшийся рукописный «Шестоднев» архиепископа Афанасия (или одного из его предшественников), из которого будущий естествоиспытатель мог почерпнуть фундаментальные позднесредневековые представления о структуре мира.

«Облу же глаголют сотвори Бог землю, аще и горы на ней устрой. И яко зерно перцово глаголют сию неции быти круглостью, зане аще и неравно, но обло. Тако же и земля.

<…> Велики суть небеса и многим больши земля. И земля посреди их, яко тычка в крузе, и на чем и с водами, сиречь с морми, Божиим повелением поставлена и утверждена»[10].

В мире, учил «Шестоднев», существуют четыре первоначальные стихии: воздух, огонь, вода и земля. Круглый мир с землей посередине подобен яйцу, включающему в себя все элементы мира и представляющему собой модель макрокосма:

«Кто различное естество дал есть яйцам, малыми же образы стихия показует, тонкое им вложив, яко воздух, желтое, яко огнь, белое же, яко воду, а жесткое, яко землю, еже объимает естество»[11].

Как рассказывают биографы, Ломоносов стал спрашивать местного священника, существуют ли нецерковные, светские книги. Священник ответил, что такие книги существуют, но чтобы читать их, надо выучить латынь, а латыни учат только в больших городах — Москве, Петербурге и Киеве. То ли он больше ничего не знал, то ли не хотел сбивать отрока с пути благочестия. Кстати, школа, в которой обучали, между прочим, латинскому языку, преспокойно существовала с 1723 года на другом берегу протоки — в Холмогорах при архиепископском дворе. Учиться в ней Ломоносов не мог (туда брали только детей священнослужителей), но неужто он о ней не слышал?

Впрочем, вскоре мальчик увидел книги светского содержания в доме своих куростровских знакомцев — Дудиных. И книги эти

были не на латинском, а на «славенороссском» языке.

Отец Павел Дудин, служивший в холмогорском соборе, владел недурной библиотекой. Некоторые (в основном богословские — «Беседы Иоанна Златоуста», «Поучения Аввы Дорофея», «Маргарит, сиречь духовный луг») книги из библиотеки Дудиных купил сам архиепископ — частью при жизни отца Павла, частью после его смерти (1695) у его сыновей.

Почему один из сыновей отца Павла, Христофор Дудин, не принял сана и поселился на Куростров, неизвестно. Умер он 12 июня 1724 года. Еще при жизни «старика Дудина» двенадцатилетний Ломоносов видел у него несколько книг, которые произвели на него сильное впечатление. У самого Христофора Павловича ничего выпросить не удалось, но уже после его смерти Ломоносов, ценою всяких «угождений и услуг» его сыновьям, сумел получить в собственность три книги: «Грамматику» Мелетия Смотрицкого, «Псалтирь Рифмотворную» Симеона Полоцкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого.

Вообще-то в 1720-е годы новоизданные светские книги даже внешне отличались от церковных. Их печатали «гражданским шрифтом», разработанным лично Петром. Буквы были не такой, как в традиционной кириллице, формы, а некоторых (например, большого и малого юсов) и вовсе не было. Но «Псалтирь» и «Арифметика» были напечатаны еще до реформы (соответственно в 1680 и 1703 годах), а новое издание «Грамматики», осуществленное в 1721 году, было отпечатано в церковной типографии (а на церковные издания гражданский шрифт не распространялся).

«Грамматика» была самой поздней по году издания, но самой старой по времени написания из доставшихся Ломоносову книг. Мелетий Смотрицкий (1578–1633), современник Шекспира, православный подданный польского короля, шляхтич, не признавший Брестскую унию (заключенную в дни его молодости), не только получил отличное средневековое схоластическое образование, но и впитал многое из новой науки. Достаточно сказать, что он учился в Нюрнбергском, Лейпцигском, Виттенбергском университетах и получил степень доктора медицины. Вернувшись из гамлетовской и фаустовской Европы, он поначалу возглавил в Киеве церковную школу (из которой позднее выросла Киево-Могилянская академия), а потом стал настоятелем православного монастыря в Вильне. Прославившись антикатолическими сочинениями, он в 1627 году (поссорившись с единоверцами из-за вопросов церковного управления) внезапно переменил флаг и умер пылким прозелитом греко-католицизма.

«Грамматика», впервые вышедшая в 1619 году, относилась

скорее к западному варианту «славенороссского» языка, то есть к церковнославянскому с элементами тех диалектов, из которых позднее выросли украинский и белорусский языки. Кроме того, ее сухой ученый слог мог быть труден для ребенка. И тем не менее для Ломоносова она оказалась важной — настолько важной, что он вспоминал об этом десятилетия спустя. Возможно, сама мысль, что язык, то есть попросту слова, которыми ежедневно говорится обо всем на свете, — это нечто, подлежащее анализу и регламентации, что существует «художество благо глаголати и писати учащее» (так определяет сам Смотрицкий свой предмет), потрясла его воображение.

Смотрицкий делил грамматику на четыре части: орфографию, этимологию, синтаксис, просодию. «Чему учат сии четыре части? — Орфографиа учит право писати и гласом в речениих прямо ударяти. Этимология учит речения в своя им части точие возносити. Синтаксис учит словеса сложие сочиняти. Просодиа учит метром ли мерою количества стихи слагати».

Последний пункт должен был задержать внимание Ломоносова. Здесь шла речь о доселе неизвестной ему сфере бытия. Разделение художественной речи на стихи и прозу кажется нам само собой разумеющимся. Но так было не везде и не всегда. Мольеровский господин Журден, напомним, не догадывался, что всю жизнь говорит прозой. В Древней Руси об этом не догадывались самые изощренные книжники.

Смотрицкий одним из первых ввел в православную восточноевропейскую культуру новое для нее понятие «поэтического искусства». Как человек классического образования, он был сторонником античных метров. Но римский и греческий, так называемый метрический стих (пентаметр, гекзаметр и другие освященные веками размеры) основан на чередовании длинных и коротких слогов. Чтобы создать русский гекзаметр (первый подход к задаче, которая осталась к концу жизни Ломоносова нерешенной, — об этом мы еще поговорим), виленский ученый схоласт приписывает одним славянским гласным (например, «и») — долготу, другим (например, «о») — краткость. Такие стихи нужно было произносить, растягивая соответствующие слоги и при этом «смазывая» ударения (которых Смотрицкий в расчет не принимал).

> Са-арматски-и новора-астныя-я Мусы-ы стопу перву,
> Тща-ащуся Парна-ас во оби-итель ве-ечну зая-яти…[12]

Разумеется, такой образец поэтической речи вдохновить не мог. Но вот Ломоносов открывает вторую книгу — «Псалтирь»

Симеона Полоцкого и читает:

Блажен муж, иже во злых совет не вхождаше
ниже на пути грешных человек стояще,
ниже на седалищах восхотя сидети,
тех, иже не желают блага разумети, —

Но в законе Господни волю полагает
тому днем и нощию себе поучает.
Будет бо яко древо, при водах сажденно,
еже дает во время плод свой неизменно…

Это — хорошо знакомый Ломоносову первый псалом. И вот эти привычные слова сложены на какой-то особый лад и каким-то особым образом врезаются в сознание. Конечно, Ломоносову были известны и народные песни, и былины, и духовные стихи. Но все это, по тогдашним представлениям, не имело и не могло иметь отношения к книжности[13]. Церковное пение? Но церковные песнопения (как, впрочем, и фольклорные тексты) были устроены по совершенно иному принципу. И потом — они не имели автора или восходили к древнему, почитаемому церковью источнику. Здесь же Ломоносов столкнулся с невиданным: какой-то человек совсем недавнего прошлого, простой монах, «старец», так переставил слова псалма, что они образовали строки одинаковой длины с созвучием на конце. И это — в печатной книге, а что такое печатная книга в начале XVIII века — объяснять не надо. Значит, подобные игры не только разрешены, но и одобрены; и сам человек, умеющий в них играть, гордится этим как особой благодатью.

Автор «Псалтири Рифмотворной» Симеон Полоцкий — до пострижения Самуил Гаврилович (по устаревшим данным Емельянович) Петровский-Ситнианович — родился в 1629 году в городе, от которого пошло его прозвище. Выпускник Киево-Могилянской коллегии и иезуитской школы, он, как и Мелетий Смотрицкий, был противником унии. В ходе войны Московского царства с Польшей Полоцк попал под власть православной России, и Симеон переселился в Москву, где стал учителем наследника престола царевича Алексея Алексеевича, а после его смерти в 1670 году — нового наследника Федора Алексеевича. Заодно он учил его сестру Софью и многих других лиц. Если в 1667 году, когда Москву посетил голландский дипломат и ученый Николас Витсен, он нашел там лишь одного человека, знающего иностранные языки, а уже через десять лет, в краткое правление царя Федора III (1676–1682), чуть не весь двор бойко изъяснялся

по-латыни и по-польски — в этом заслуга в первую очередь именно царского учителя. Уроки латыни брали у Симеона даже дьяки Приказа тайных дел. Вероятно, особистам Тишайшего царя язык Цицерона нужен был для чтения дипломатической переписки. Симеона использовали и в качестве церковного полемиста — именно его выставил царь для публичного диспута с протопопом Аввакумом. Но в первую очередь он был рожден поэтом. Каждое утро он аккуратно исписывал полтетради стихами — а почерк у него был убористый. Точнее, не стихами, а виршами.

Вирши (слово заимствовано из польского языка и, как многие польские слова, позднее приобрело в русском уничижительно-вульгарный оттенок, но тогда оно звучало вполне почетно) в Москве сочиняли еще в начале XVII века, а в Западной Руси и того раньше. Едва ли не первым «славенороссским» виршеписцем был, между прочим, Герасим Смотрицкий, отец Мелетия. В отличие от нерифмованных метрических стихов (слово греческого происхождения) из «Грамматики» Смотрицкого и от народных нерифмованных тонических духовных стихов — вирши были написаны по польскому образцу: каждая строка состояла из определенного количества слогов, и соседние строки были между собой зарифмованы. Такой стих, основанный на счете слогов, называется силлабическим. В польском языке (а также во французском, итальянском, испанском, грузинском и др.) он звучит естественно. Дело во внутреннем строе каждого из этих языков, например, в особенностях ударений: во французском они падают на последний слог каждого слова, в польском — на предпоследний, кроме односложных слов, разумеется. Длина слов хотя и различна, но, как правило, варьирует в определенных пределах и стремится к статистически постоянной величине — поэтому достаточно ограничить длину строки, а внутри строки ритм возникает сам собой. В русском же языке силлабический стих звучит не так органично.

Но об этом русские стихотворцы догадались только спустя столетие, причем одним из первых это понял Ломоносов. А пока что грамотные русские люди чрезвычайно обрадовались новому развлечению. Причем если на западе, на Украине и в Белоруссии, уже в первой половине XVII века умели писать правильные силлабические стихи, то москвичи усвоили поначалу только самое простое — рифму. Пусть, на наш слух, изысканностью и разнообразием рифмы XVII века не отличались (сплошь женские, по польскому образцу, и по большей части глагольные) — так ведь все было внове!

Рифмованными введениями снабжали свои хроники

мемуаристы Смутного времени — дьяк Иван Катырев-Ростовский, князь Семен Шаховской-Харя. В начале правления Михаила Федоровича бывший фаворит Лжедмитрия I, князь Иван Хворостинин, был даже арестован и сослан в монастырь за сочинение злопыхательских и поносных виршей, из которых сохранилось лишь две строки: «В Русском государстве сеют землю рожью, а живут все ложью». В монастыре князь-диссидент исправился и стать писать другие вирши, обличающие «католицкую» и «люторскую» ересь. Рифмованные прокламации писал Тимофей Анкудинов, последний из двадцати шести самозванцев первой половины XVII века, выдававший себя за «царевича Ивана», сына Василия Шуйского (в этом качестве он объявился в 1646 году в Стамбуле; позднее выдан России и в 1653 году четвертован в Москве).

Симеон ввел в эти упражнения строгий порядок. Виршеписцы приучились считать слоги. В каждой строке полагалось быть тринадцати, реже — девяти или одиннадцати слогам. Однообразие размеров компенсировали, соединяя поэзию с другими искусствами: стихи записывались в виде креста или различных геометрических фигур, включались в орнамент и т. д. Что касается тематики, то здесь выбор был невелик: либо однообразные панегирики членам царской семьи, либо переложения священных текстов, либо разного рода поучения. Но сочинялось все это в огромном количестве. Современный поэт Лев Лосев, охарактеризовавший это время так: «Все те, кто знали грамоте в Москве, писали только вирши и доносы», — не столь уж далек от истины.

Наследие Симеона состоит, строго говоря, из трех больших книг: «Псалтири», «Рифмологиона» (сборника панегириков и стихов на случаи придворной жизни) и «Вертограда многоцветного». Третья книга самая интересная. Трудно сказать, прочитал ее Ломоносов еще на Куростров или уже в Москве, но прочитал несомненно. «Вертоград» — это сборник стихотворений поучительного содержания, причем поучение, как правило, иллюстрируется притчей. И как часто бывает в сатирической и дидактической литературе, описание и нарратив оказывались важнее морали. Например, стихотворение «Купецтво» — замечательный каталог торговых хитростей той поры.

В притчах Симеона добродетель побеждает порок, но часто очень нетривиальными способами. Некий сын кормил старого отца бобами, а сам втайне ел «печена певня». Закончилось это тем, что:

…петел на снедь во жабу страшну преложися,

и в ненасыщенные злаго мужа очи
и на лице безстудно неизбежно скочи —

и загрызла его жаба ядовитыми зубами «даже до смерти». В конце Симеон, сжалившись над читателем, прибавляет:

Инии пишут, яко бысть ему ослаба
за слезы: прежде смерти отпади та жаба.

Другая история: некая роженица назвала Богоматерь «свиньей» — и родила вместо ребенка поросенка, «черна и мертва». Или еще история: некий «странноприимец» согрешил: украл свинью у соседа. И вот нему пришел нищий и попросил «власа остричь».

Начен же стирищи, к заду главы приде
и ту две оце светле зело виде.

Нищий с глазами на затылке объясняет бедняге, что он — Христос и «отвсюда тайны созерцает».

Тема очима видел с небеси,
егда свинию ты чюжду крал еси…

В общем, «страшилки» не хуже Стивена Кинга. Следующая история вызывает радостное чувство узнавания:

Епископ Могунтийский нищих не любяще,
туне ядущи мыши оных нарицаше.
Егда же глад в стране великий сотворися,
тогда число убогих вельми умножися.
Он нищененавистник скупством держим бяше,
от демона лукавый совет восприяше;
собра нищих множество в житницу пространну
милостину сказуя им уготованну…

Епископ сжег нищих заживо и был за это съеден мышами… «Суд Божий над епископом» Саути, который русские читатели помнят в знаменитом переводе Жуковского, написан полтора столетия спустя. Сюжет заимствован Симеоном и Саути из средневековых немецких хроник (Могунция — латинская

транскрипция Майнца).

Симеон изыскивал самые невероятные и эффектные истории в самых разных византийских и западноевропейских источниках, демонстрируя эрудицию и известную изобретательность. Дело в том, что именно в ту эпоху получили широкое распространение занимательные сказочные и бытовые повести — переводные («Бова», «Еруслан») и оригинальные («Фрол Скобеев»), Книжник из Полоцка, борясь с этой «массовой беллетристикой» XVII века за внимание читателя, сам рассказывал страшные и на сегодняшний взгляд забавные сказки, но с благочестивой моралью, а главное — в стихах.

Впрочем, интерес Симеона к страшным и причудливым историям мог иметь и другую причину. Русская культура начала выход из Средневековья на три-четыре века позже, чем ее западные сестры. Пропустив Возрождение, она как раз поспела к эпохе барокко. Европейская культура, открывшаяся московитам, представила резкие контрасты света и тени, высокого и низкого, большого и малого, нанизывающиеся одна на другую сложные метафоры, кривые, изогнутые линии, пышный декор, запутанные и экстравагантные сюжеты. Во Франции Буало, Мольер и Расин во второй половине XVII столетия уже успешно боролись с этой «безвкусицей», но в тогдашней Италии, Германии, Польше она процветала и давала великие художественные плоды. В Московском царстве конца XVII века элементы барокко соединялись с отечественными средневековыми традициями: крестово-купольные пятиглавые храмы с высокими сенцами украшали изысканные пилястры и пышный растительный орнамент. Это называется «нарышкинским барокко» — по имени родичей молодого царя Петра, охотно строивших такие церкви. О барокко говорят иногда и в связи со стихами Симеона. Но чаще термин «русское барокко» применяется к эпохе Елизаветы Петровны, Растрелли и Ломоносова.

Все три книги Симеона были напечатаны им в собственной типографии, которую подарил ему в 1678 году державный ученик. Там Симеон мог печатать все, что пожелает, — в первую очередь, конечно, собственные произведения — без позволения патриарха (к крайнему возмущению последнего). Но в том же 1680 году, когда вышла «Псалтирь», ее автора не стало, а два года спустя и молодой царь, едва приступив к намеченным реформам, заболел и умер. При его брате и преемнике Петре I «культурная революция» пошла в совершенно ином направлении.

Автор третьей доставшейся Ломоносову книги, Леонтий Магницкий, был порождением уже этой эпохи.

Леонтий Филиппович Магницкий (1669–1739) учился в

Славяно-греко-латинской академии, у истоков которой стоял Симеон Полоцкий и в которой спустя несколько лет предстояло учиться Ломоносову. Вообще биография Магницкого удивительно напоминает биографию Ломоносова: он тоже происходил из крестьянского сословия и ушел из родной деревни «с рыбным обозом». В академии юный Леонтий хорошо усвоил те богословские, философские и филологические знания, которые там преподавались, но душа его лежала к «цифирной науке». Самоучкой молодой человек упражнялся в ней. Для этого он изучил (вдобавок к уже хорошо известным латыни и греческому) немецкий, итальянский и голландский языки и читал всю попадавшую в руки математическую литературу на этих языках. Четвертью века раньше эти упражнения, может быть, пропали бы втуне, но тут как раз начались петровские времена, стране требовались навигаторы и кораблестроители, а им математические знания были необходимы. Леонтий Филиппов (так, по отцу, звался он смолоду) попался на глаза Петру Великому, который осыпал его милостями. Именно он, по преданию, и дал знатоку цифирной науки фамилию Магницкий «в сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя». С 1701 года Магницкий преподавал в Школе математических и навигацких наук (кроме него там преподавали еще один голландец и два англичанина), а в 1715-м, когда была основана Морская академия в Петербурге и иностранные преподаватели переехали туда, он возглавил московскую Навигацкую школу, ставшую подготовительным заведением. «Арифметика» служила учебником для Навигацкой школы.

Во вступлении к книге Леонтий Магницкий демонстрирует риторические приемы, которым учился в академии. Но содержание его риторики было во многом новым. «Ни едина в видимых тварех тако не одобрена, и возвеличена, якоже человек. Аще бо и вся добра, яко Моисей глаше: и виде Бог вся сотвори, и се добра зело. Добра зело, но человека ради. Аще земля, аще вода, или прочие стихии, или паче реции, самое небо со всеми светилы, но вся сотворена сия человека ради». Это была европейская ренессансная антропоцентрическая картина мира, из которой в условиях петровской тоталитарной технократии делались неожиданные и далеко идущие выводы. И видимо, эти слова врезались в сердце мальчика Михайлы, сына предприимчивого судовладельца. Весь удивительный мир, открывшийся ему в детстве, — с китами, плавучими ледовыми горами, северными сияниями, немеркнущим летним солнцем,

разноцветными птицами и огромными рыбами — принадлежит человеку и создан для человека. Человек может и должен осуществить свои права, а для этого служат ему цифирная наука и другие точные науки.

Дальше шли вирши (не слишком блестящие), а потом — собственно задачи. Первая часть книги Магницкого действительно была посвящена арифметике: сложению, вычитанию, умножению, делению. И примеры были соответственные: разделить жалованье на взвод солдат, подсчитать дневную торговую прибыль… Это были знания, необходимые всем и каждому. Вторую часть составляли учености, специально предназначенные для навигаторов. Для них Магницкий толковал об извлечении корней (сам термин, как и значительная часть русской математической терминологии, изобретен им), о прогрессиях, о логарифмах, «О земном обще измерении, и иже к мореплаванию прилежат», «О широте восхождения и захождения» и т. д.

По «Арифметике» Магницкого учились в России очень долго — по крайней мере до середины XVIII века — и, конечно, не только навигаторы. Тираж ее — 2400 экземпляров — был по тем временам огромен и уникален. Вероятно, во многом именно благодаря Магницкому и его учебнику к 1740 году элементарные математические знания распространились так широко, что (по наблюдению датского путешественника П. фон Хавена) русские даже превосходили в этом отношении большинство народов Западной Европы.

Таковы были книги, которые сам Ломоносов назовет позднее «вратами моей учености».

6

Василию Дорофеевичу самому знание грамоты и счета без сомнения пошло бы на пользу, а уж грамотный сын мог стать для него незаменимым помощником. Но вышло по-другому. Из-за любви юного сына к учению его отношения с отцом разладились.

У этого была особая причина. В 1724 году, после смерти Федоры, Василий Ломоносов женился в третий раз — на молодой вдове Ирине Семеновне, урожденной Корельской, дочери монастырского крестьянина из Матигорской волости. Как всякому ребенку, уже в сознательном возрасте потерявшему мать, Ломоносову были, вероятно, не слишком приятны второй и третий браки отца. Это позднее, ратуя ради «сохранения и размножения российского народа» за разрешение четвертого и

пятого браков (православная церковь их запрещала), он приводил в пример своего отца, который в третий раз овдовел еще полным сил и мог бы жениться. Но и в эти годы у него не нашлось добрых слов для второй мачехи: «Я рос… имеючи отца хотя по натуре и доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я сижу по-пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод…» (из письма Шувалову от 31 мая 1753 года).

Именно с этим разладом связан, вероятно, неожиданный поворот в судьбе юного Ломоносова — то, о чем сам он вспоминать не любил, но без чего рассказ о его юных годах будет неполным.

Уже первые биографы ученого лаконично отмечают, что на тринадцатом году он «уловлен был раскольниками, так называемого толка беспоповщины» и «держался оного два года, но скоро познал, что заблуждает». Но уже в начале XX века в точности этого свидетельства усомнились — в том, что касается возраста юного «раскольника». Двенадцати, тринадцати, четырнадцати лет Ломоносов каждое лето уходил в плавание с отцом, а зимой истово учился грамоте. Но как сказано в «Академической биографии», с отцом на «Чайке» мальчик плавал «до шестнадцати лет» — стало быть, лишь до 1727 года. А в духовной росписи Архангельской епархии за 1728 год указано, что в то время как Василий Дорофеев Ломоносов и его жена Ирина исповедовались и причащались, «сын их Михайло» ни разу не был у исповеди и причастия «по нерадению». Вероятно, именно в эти годы, между 1727-м и 1730-м, юный Ломоносов принадлежал к «расколу», то есть к старообрядцам-беспоповцам, чья главная колония, Выговская пустынь, находилась в четырехстах верстах от Холмогор — на реке Выг.

Тех, кто не согласился в 1651 году с реформами Никона, официальная церковь называла «раскольниками», сами они себя — «староверами» или «древлеправославной церковью». Термин «старообрядчество» — современный и отражающий нынешние представления. В самом деле, сегодняшнего человека не может не поражать контраст между незначительностью изменений, их чисто внешним, ритуальным характером (написание «Иисус» вместо «Исус», трехкратное, а не двукратное произнесение «аллилуйя» во время службы, крещение тремя, а не двумя перстами и т. д.) — и вызванным ими взрывом. Но не будем забывать о магической роли, которую играл для средневекового

христианина обряд. Лишь он открывал дорогу к спасению; при несоблюдении ритуала или отсутствии у священника ритуальных полномочий никакая вера и никакие добрые дела сами по себе не помогали.

Впрочем, дело было, вероятно, не только в этом. Огромная человеческая энергия, накопившаяся за тихие, почти бессобытийные полвека после Смуты, требовала выхода. Какую-то ее часть оттянуло начавшееся освоение Сибири, остальное спровоцировал и пробудил к жизни своими реформами властный патриарх. Два с половиной миллиона человек, не желавших пойти на компромисс, — десятая часть населения страны! Эта цифра впечатляет, тем более что против этого стойкого меньшинства было употреблено насилие — в таких масштабах, как никогда прежде в России против инаковерующих. Протопоп Аввакум, его сподвижник инок Епифаний, боярыня Феодосия Морозова и другие вожди раскола были сожжены или погибли в заточении. Смерть на костре приняли и многие их последователи. По-видимому, даже с «жидовствующими» в начале XVI века расправлялись с меньшим размахом: там счет сожженных шел самое большее на десятки (известны имена восьмерых), в случае старообрядцев — на сотни, а если верить В. Н. Татищеву, то и на тысячи. Пик казней пришелся на 1680-е годы — на эпоху Федора Алексеевича и царевны Софьи; с началом Петровских реформ они практически прекратились. (Это существенно: сегодня многим кажется, что у преобразований, сопровождавшихся жестокостями и ломкой культурной традиции, была «мягкая» альтернатива; но тот «греко-латинский» путь реформ, по которому начали было вести страну ближайшие предшественники Петра, мог оказаться не менее кровавым.) Но, видимо, больше старообрядцев погибло все же не от рук господствующей церкви, а в ходе самосожжений. Только с 1667 по 1700 год добровольную «огненную смерть» приняли (по прямому благословению Аввакума) по меньшей мере 8834 человека. Поскольку для старообрядцев в мире больше не было церкви (рукополагать священников мог лишь епископ, а единственный не признавший реформы Никона епископ Павел Коломенский в 1656 году умер; священников, рукоположенных до 1651 года, тоже вскоре практически не осталось) и даруемой ею благодати и, следовательно, спасение души было невозможно, все нравственные представления смешались: самоубийство, самый запретный из смертных грехов, становилось проявлением святости, единственным путем бегства от захватившего мир Князя Тьмы.

Не столь радикально настроенные «староверы» искали какие-то пути существования в мире без церкви.

«Беглопоповцы» принимали священников, рукоположенных никонианами, но согласившихся перейти в «раскол». Позднее, в 1844 году, они уговорили перейти в старообрядчество боснийского епископа Амвросия, который положил начало новой иерархии (известной как Белокриницкая церковь). Другая их часть примкнула к созданной в 1800 году, при Павле I, Единоверческой церкви: единоверцы сохраняли дониконовы книги и обряды, но подчинялись православным иерархам (за полтора столетия острота конфликта стерлась и обе стороны стали терпимее).

«Беспоповцы» попытались обходиться без священников. Таким образом, православные церковные консерваторы парадоксальным образом превратились в своего рода «протестантов». Во главе общины беспоповцев стоял знающий мирянин — справщик. Из таинств оставалось только два — крещение и исповедь, поскольку их можно было осуществлять и без священства. Оставался открытым вопрос о браке. В 1760-е годы справщик Покровской часовни в Москве Василий Емельянов стал благословлять брачные союзы, и многие последовали его примеру. До тех пор (а в некоторых из многочисленных «толков» и позднее) вожди беспоповцев теоретически требовали от своих последователей безбрачия; на практике те сожительствовали без благословения церкви или венчались в «никонианских» церквях.

Беспоповцев называли также «поморским согласием», потому что именно на севере страны, на реке Выг, в Повенецком уезде Олонецкой губернии, нашли они себе приют. «Общежительство» было основано в 1694 году Данилой Викуловым; восемь лет спустя его возглавил (и возглавлял до самой смерти) Андрей Денисов (Андрей Денисович Вторушин, 1674–1730). После смерти его сменил брат Семен (1682–1741). Именно в эпоху Денисовых начинается расцвет «пустыни», и именно в эту пору был создан «символ веры» северного старообрядчества — «Поморские ответы».

История их создания такова. Петра, как уже выше отмечено, духовная жизнь старообрядцев особо не беспокоила: лишь бы подати платили исправно (а подать для последователей «раскола» была установлена двойная). Указом ингерманландского губернатора Меншикова в 1704 году было подтверждено право Выговской (иначе — Выгорецкой) общины молиться «по книгам печати давних лет выходов», а в следующем году они были приписаны к Олонецким заводам. Среди «раскольников» и в самом деле были хорошие рудознатцы и умелые ремесленники, и заводское начальство им благоволило. К тому же у них нашлись покровители в столицах — от того же Меншикова, вероятно,

соблазненного богатыми дарами, до вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны. Но время от времени церковь предпринимала попытки сломить этот бастион, становившийся все неприступнее. В частности, в 1722 году на Выг был послан в качестве миссионера иеромонах Неофит, который передал в Выговскую пустынь 106 вопросов, на которые «раскольники» представили ответы на пятистах страницах. 2 февраля 1723 года в Петровском заводе состоялся публичный диспут, после чего выговских старообрядцев до поры оставили в покое — а «Поморские ответы» стали основой их вероучения.

В этом документе Андрей Денисов и его последователи проявили себя хорошими дипломатами. Твердо отстаивая свои богословские взгляды, они умело ушли от самых опасных вопросов. «Аще новостей от никоновых лет, новопечатными книгами внесенных опасаемся: а судом полагати ваше учительство мы последние скитяне не дерзаем: в древлецерковных же святоотеческих преданиях пребываем не во осуждение вашего любомудрия: но во спасение душ своих… <… > Мы аще о внесенных от Никона новопреданиях сомневаемся, но не сомневаем о богопоставленном самодержавствии богохранимого и богопомазанного самодержца: но его боговенчаное и богопочтенное, премудрое и всемилостивейшее величество, всепресветлейшего императора Петра Великого, отца отечества, богохранимого самодержца, всемилостивейшего нашего государя, всеговейно почетаем и всесердно прославляем. <…> Мы его императорского православия не испытаем, но всякого блага его боголюбивому величеству доброхотно желаем…» Примирившись де-факто с властью, «поморцы» понемногу начали отказываться и от эсхатологических настроений — и, во всяком случае, от отождествления явившегося в мир Антихриста с конкретным лицом. В начале XVIII века таким лицом считался либо Никон, либо царь Петр, который хоть и перестал сжигать последователей «древлего православия», зато гораздо резче, чем его предшественники, отвернулся от «святоотеческой старины» (знаменитый злорадный лубок «Как мыши кота хоронили» родился после смерти царя-реформатора именно в старообрядческой среде).

Разумеется, были еще рецидивы: так, при Елизавете Петровне возобновившиеся гонения спровоцировали новый всплеск самосожжений. (Эти события отражены в ломоносовском «Гимне бороде».) Но в 1762 году Петр III окончательно признал за «раскольниками» право на жительство в империи. Так закончился трагический и героический период русского старообрядчества.

Постепенно не только структурой общинной жизни, но и

нравами последователи Аввакума стали напоминать протестантов: трудолюбие, трезвость, честность, книжность, опрятность во все века выделяли их среди других русских людей. Из старообрядческой среды вышли некоторые богатейшие фамилии России. Парадоксально: те, кто изначально считал земной мир погибшим, безраздельно отданным во власть дьявола, лучше и крепче всего в этом мире обустраивались.

Начиналось же земное обустройство старообрядцев с Выгорецкой пустыни. О том, как выглядела она на рубеже веков, дает представление «изветная челобитная» крестьянина Мартемьяна Никифорова сына Ивантеева, прожившего «в расколнем стану» несколько месяцев в 1698–1699 годах, как он уверяет, не по своей воле:

> «И у них, пущих воров у Данилки и у Дениска с сыном и племяником[14] построены особые белые кельи на жилых подклетах, подобные светлицам, и печи в тех их особых кельях ценинные, и в тех же кельях держат часы стенные. И живут они, расколники, в покое, платье носят пущие воры и подговорщики по вся дня шелковое. А против их воровского стану учинен у них, у воров, черес Выг реку мост болшей, по обе стороны с перилами. И на той реки на Выгу построено у них, воров, две мелницы немалым заводом.
>
> <…> А в вышеписанном их в воровском стану у Выгу реки в часовни икон многое число, и пашни распаханы о реку Выг в обе стороны верст по десяти, и хлеб родится самой доброй, и всякие овощи растут, и хлеба в анбарах и земляных ямах есть многое число. И ездят со всякими торгами к городу Архангельскому и в Весь Ехонскую и к Москве и в иные городы… и живут на промыслу у моря и в Колском острошку на зимовье и всякие звери добывают. И в том же их воровском становище приготовлено лесу бревен больше двух тысечь, а сказывают они, воры, что тот лес у них готовлен бутто на церковное строенье.
>
> <…> А у них, расколников, в том их воровском пристанище ружей, пищалей, и винтовок, и копей, и рогатин, и бердышей есть многое ж число, а пищали и бердыши делают они, раскольники, в том воровском стану сами, и мастеровые люди у них есть, а порох и свинец привозят из городов, и у них, раскольников, есть пушка, а где они пушку взяли, того я, сирота, не ведаю.
>
> <…> А хлеб они, расколники, привозят из низовых

> городов обманною статьею и называюцца приказчиками иноземцев, которые живут на железных заводах, также и иных именами.
>
> <…> А скота у них есть лошадей самых добрых болши ста да коров ста с полтора, да иных пожитков многое число и всякой промышленной завод есть…»

Это в 1699 году. А в 1785-м, по данным академика Н. А. Озерецкого, на Выге было 40 скитов и 120 «пашенных дворов», в которых жило 1185 раскольников и около 600 «работников» (в основном, видимо, трудников, вовлекаемых в старообрядчество). Огромная по тем временам библиотека (194 рукописных и 150 печатных книг, в том числе и светских), иконописная мастерская — в общем, все, что полагается настоящему монастырю.

Но все же это не был монастырь. Большая часть тех, кто жил на другом берегу реки на «пашенных дворах», не готовы были к настоящей монашеской жизни, к отказу от семьи и собственности. Если после 1730 года, при Семене Денисове и его преемниках, к «неправедной» жизни тех, кто своими трудами кормил «общежительство», стали относиться снисходительно — то старший Денисов был суров и поблажек никому не делал. Но, вероятно, лицемерия и тайной грязи здесь было предостаточно.

Юный Михайло Ломоносов, если верить легенде, появился на Выге как раз в последние годы жизни Андрея Денисова. Вполне возможно, что он в самом деле уходил на какое-то время из дома: исповедовать «раскол», живя под одним кровом с отцом и мачехой, было едва ли возможно. Ведь даже одной посудой с «никонианами» пользоваться старообрядцам зазорно. Да и никто не позволил бы юноше такого своеволия… Правда, как будто не было необходимости уходить за четыреста верст, чтобы оказаться в среде раскольников: те в Архангельске имели «прикащика», склад и пристань, занимались рыболовством, охотились на морского зверя на Мурмане, Шпицбергене и Новой Земле — а для юного Ломоносова это было занятие привычное. (Кроме того, с 1710 года староверы располагали пашней в Каргопольском уезде на реке Чаженке, затем, развивая торговлю, на Онежском озере построили пристань Пигматку.)

Предположение Д. Д. Галанина о том, что именно покровительство братьев Денисовых, их тайные связи помогли Ломоносову в обход правил поступить в Славяно-греко-латинскую академию, совершенно фантастично (тем более что обойти эти правила было, как мы убедимся в следующей главе, довольно просто). А вот что юноша некоторое время мог обучаться в школе,

готовившей старообрядческих наставников для всей страны, — это более правдоподобно. Но достоверно о пребывании Ломоносова у «древлеправославных христиан» мы знаем лишь одно: оно закончилось глубочайшим разочарованием. Все последующие его упоминания о последователях Аввакума и Андрея Денисова полны глубокого презрения. Удивительного в этом (учитывая человеческий склад нашего героя и всю его последующую жизнь) мало; гораздо важнее понять, что именно в «расколе» могло его привлечь — его, уже одолевшего «Псалтирь Рифмотворную» и изучающего по книге Магницкого математические и навигацкие науки.

Можно так попытаться ответить на этот вопрос. Люди, окружавшие Ломоносова, жили для того, чтобы жить. Жизнь многих из них была, казалось бы, вовсе не скучной: они рисковали собой, уходя в море, они видели дальние страны и дивных тварей. Но с годами все это становилось будничным и однообразным. В конечном итоге чем бы человек с Куростров ни занимался: пахал землю, резал кость, ловил кречетов, охотился на китов, служил подьячим, — все для того, чтобы накопить немного денег, построить дом чуть побольше, чем у других, жениться, родить детей и умереть. Большинству людей во все времена этого достаточно. Но во все времена есть люди, нуждающиеся в чем-то большем, в какой-то сверхцели. В традиционной позднесредневековой России сверхцель, в сущности, могла быть одна: спасение души для будущей, лучшей жизни. В миру это было, по общему мнению, затруднительно, поэтому яркие и талантливые люди уходили в монастыри. Самое значительное и необычное, что было сделано в стране между XIV и XVII веками, было сделано монахами. Монах Андрей Рублев написал «Троицу», монах Стефан в одиночку перевел Библию на коми-пермяцкий язык, монах Филипп единственный бросил прямой, в лицо, вызов царю-мучителю. Для каждого из них это было путем к личному спасению.

Но Ломоносова монастырская жизнь, которую он видел в Соловках, должно быть, разочаровала. И в какой-то момент он пошел за теми, кто предлагал альтернативный путь, кто был, казалось бы, честен и бескомпромиссен в своем стремлении к Царству Горнему. И опять его ждало разочарование. Тем не менее чему-то научился он и у старообрядцев. В Выгорецкой пустыни он, вероятно, встречал олонецких заводских рудознатцев — общение с ними могло впервые пробудить в нем интерес к свойствам веществ и материалов. Наконец, здесь у него была отличная возможность углубить свое знакомство с древнерусской письменностью, с теми «словенскими книгами церковного круга»,

которые он позднее назовет «великим сокровищем, из которого знатную часть великолепия, красоты и изобилия великороссийский язык заимствует». Читал он и собственно старообрядческую литературу. Мы знаем, как поразили Ломоносова стихи Симеона Полоцкого. О впечатлении, произведенном на него писаниями современника и идейного противника Симеона, писателя гораздо более талантливого — протопопа Аввакума, мы не знаем. Но в том, что Ломоносов Аввакума читал, сомнений нет.

Видимо, вскоре по возвращении восемнадцатилетнего или девятнадцатилетнего Ломоносова в лоно семьи и церкви отец собрался «женить его на дочери неподлого[15] человека в Коле». Другими словами, юношу решили отправить на край света — на исправление. Подальше от книг, подальше от дурящих голову «совратителей» с Выга. Подальше с глаз мачехи… (Позже собственная дочь Ирины Семеновны будет «совращена» в тот же раскол, что и ее сводный брат, — нераскаянной староверкой доживет она до старости и умрет без причастия.)

Неудивительно, что Михайло сделал все, чтобы избежать женитьбы. Он «притворил себе болезнь, и того исполнено не было». Возможно, этот эпизод подтолкнул его к решению, которое было принято им в конце 1730 года и с которого начинается его подлинная биография.

Но это уже — второе звено ломоносовской легенды…

Глава вторая
ШКОЛЯР В ДВУХ СТОЛИЦАХ

1

В «Академической биографии» Ломоносова содержится красочное описание его побега из родного дома, основанное, без сомнения, на собственных рассказах покойного Михайлы Васильевича.

«Из селения его отправлялся караван с мерзлою рыбою. Всячески скрывая свое намерение, поутру смотрел, как будто из одного любопытства, на выезд сего каравана. Следующей ночью, когда в доме его отца все спали, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за оным вслед. В третий день он настиг его в семидесяти уже верстах. Караванной приказчик не хотел прежде взять его с собою, но, убежден быв просьбами и слезами, чтобы дать ему посмотреть Москву, согласился…»

Биографы упоминают, что Ломоносов взял с собой две свои любимые книги — «Грамматику» и «Арифметику». Про «Псалтирь Рифмотворную» ничего не сказано.

Однако достоверно известно, что побег юноша готовил загодя. 7 декабря 1730 года, за два дня до этого, он (по изысканиям академика Лепехина) «взял себе паспорт неявным образом посредством управлявшего тогда в Холмогорах земские дела Ивана Васильева Милюкова, с которым, выпросив у соседа своего Фомы Шубного китайчатое полукафтанье и заимообразно три рубля денег, не сказав своим домашним, ушел в путь…».

Действительно, в волостной книге Куростров значится, что «1730 года декабря седьмого отпущен Михайло Васильев сын Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался». В 1734 году сам Ломоносов свидетельствовал, что «пашпорт» был дан ему в Холмогорской воеводской канцелярии за подписью воеводы Григория Воробьева. Впоследствии (вероятно, по поступлении в Славяно-греко-латинскую академию) этот паспорт он «утратил своим небрежением».

Путешествовать по России без документов было опасно (за бродяжничество грозил кнут, а при повторном случае — каторга), паспорт же человек из податного сословия (крестьянин или мещанин), даже лично свободный, мог получить, лишь

гарантировав уплату подати. Вполне вероятно, юный книгочей просто обманул поручителя и земского старосту. В конце концов, отлучки в Москву по торговым делам были обычным делом, а старик Ломоносов был человеком почтенным и вполне платежеспособным. И действительно, Василий Дорофеевич продолжал платить подушную подать за сына до самой смерти, в том числе и после того, как Михайла был приказом ревизора Лермантова (наверняка, кстати, родственник поэта) объявлен в бегах. После смерти Ломоносова-отца подушная за его сына вносилась «из мирской общей суммы» Куростровской волости — вплоть до 1747 года, когда сын владельца «Чайки» уже давно был профессором и личным дворянином.

Михаилу Ломоносова это обстоятельство беспокоило мало, как и три рубля, занятые у Фомы Шубного. Легкое (скажем так) отношение к долгам было присуще ему и позднее. Так же легко переступал он через человеческие чувства и человеческие отношения, когда речь шла о том, в чем он видел свое жизненное предназначение. Правда, пока что он, скорее всего, даже для себя осознать не мог, в чем это предназначение состоит.

Сперва Михайло пришел в Антониев Сийский монастырь, где «отправлял некоторое время псаломническую должность». В монастыре жил (в качестве работника) его дядя — Иван Дорофеевич Ломоносов, который, однако, не дал знать своему брату, что его беглый сын объявился. Резонно предположить (как это и делает Морозов), что к рыбному обозу он пристал уже здесь. В монастыре, по свидетельству Лепехина же, юноша заложил взятое у Фомы Шубного «полукафтанье» (из «сермяжного сукна черкасского покроя») за семь рублей. Получается, что Ломоносов отправился в путь с десятью рублями — суммой, равной месячному окладу опытного подьячего или годовой подушной подати с девяти человек[16]. Правда, те, занятые у Шубного, три рубля могли уйти как раз на оформление «неявным образом» паспорта. И более чем сомнительно, чтобы «полукафтанье» черкасского покроя (короткую куртку, казакин) можно было заложить за семь рублей… В Москве в то время беличья шуба стоила два рубля с полтиною! (Все помянутые сведения Лепехин получил в 1772 и 1787 годах у пожилого куростровца Степана Кочнева; прошло много лет, деньги во многом обесценились, Лепехин и его информатор могли ошибиться[17].) Так или иначе, какие-то средства у юноши были. Но едва ли большие, да и распоряжаться деньгами молодой человек, до того живший в родительском доме на всем готовом, скорее всего, не умел (во всяком случае, несколько лет спустя, в Германии, он проявит полную в этой области неопытность). Наверняка вся имевшаяся у

него при себе сумма была растрачена быстро и неразумно еще по дороге в Москву или в первые недели пребывания в старой столице.

Путь от монастыря до Москвы занял три недели. Точный маршрут именно этого обоза неизвестен, но вообще-то обычный путь шел через Усть-Вагу, Шенкурск, Заозерье, Низово, Золотой, Ергинку, Ратчину, Самжену, потом — через Рабангу (это уже на Сухоне), потом — Вологду, второй большой город, который Ломоносову довелось повидать. Дальше — Обнорский Ям, Телячье, Ухорский Ям, Данилов, Вокшерский Ям, Тверово… Опять большой город — Ярославль. Еще несколько деревень, в том числе одна из них с невеселым названием Трупино, а потом — митрополичий Ростов Великий, и сразу же за ним — Переславль-Залесский… Тарбеево, Сергиев Посад, Братовщина… И вот — Москва.

По этому пути каждый год ехали рыбные обозы; им же следовали в Москву в свое время, до основания Петербурга, заморские купцы и дипломаты. Для Ломоносова этому маршруту суждено было стать главным в его жизни… И сегодня для нашего слуха в сухом перечислении этих деревень есть особая музыка — как в знаменитом перечне греческих судов в Гомеровой «Илиаде». Ведь в каком-то смысле путь Михайлы Ломоносова из Холмогор в Москву с рыбным обозом не менее важен для русской цивилизации, чем поход на Трою — для эллинов.

Какой была Москва, встретившая в январе 1731 года девятнадцатилетнего помора?

Прежде всего, она снова — хоть и ненадолго — стала столицей. В 1727 году двенадцатилетний Петр II, внук царевича Алексея, возведенный на престол усилиями Меншикова, попав под влияние князей Долгоруких, отправил «полудержавного властелина» в ссылку. Власть оказалась в руках Верховного тайного совета, состоящего по большей части из членов двух фамилий — Долгоруких и Голицыных. В январе 1728-го Петр II отправился в Москву — короноваться в Успенском соборе, да так в Москве и остался. В старую столицу перебрались двор, коллегии и гвардейские полки. Императорской резиденцией стал Слободской дворец близ Немецкой слободы. Юный государь, забросив учебу, проводил время в беспрерывных забавах, бражничестве и многодневных охотах в подмосковном имении Долгоруких — Горенках, в обществе своего неразлучного друга Ивана Долгорукого и своей юной тетушки Елизаветы Петровны. Тем временем страна спустя рукава управлялась нерадивыми и корыстными вельможами.

Испанский посол Лириа доносил своему правительству: «Все идет из рук вон плохо; император не занимается делами и не хочет о них слышать. Жалованье никому не платят. <…> Ворует каждый, кому не лень. Все члены Верховного Тайного Совета больны, и по этой причине в этом собрании, душе здешнего Правительства, заседаний не происходит. Все подчиненные отделы также прекратили свою деятельность…»

Так выглядела в глазах иностранного дипломата страна спустя несколько лет после смерти Петра I.

Для Москвы, однако, перемены пошли на пользу. Население города, резко уменьшившееся после переноса столицы в Петербург, вновь достигло допетровских цифр. Постоянных жителей в столице было 138 тысяч 792 человека, с учетом же приходивших на заработки крестьян в Москве жило не меньше 200 тысяч человек. После долгого перерыва в городе начали строить новые каменные дома и церкви. Еще при Петре приказано было замостить улицы; с тех пор каждый въезжающий в город должен был пожертвовать «по три камня диких ручных, а чтобы те камни меньше гусиного яйца не были» для устройства мостовой. В год приезда сюда Ломоносова город обнесли деревянным частоколом (известным как Кампанейский вал, — инициаторами были винные откупщики, «компанейщики», старавшиеся не допустить контрабандного ввоза в Москву водки), а годом раньше на главных улицах установили масляные фонари. В основном же город был таким, как и до Петра, — лабиринт узких кривых улочек, застроенных деревянными домами, жмущимися к кремлевской и Китайгородской стенам, поднимающиеся над ними узорчатые церковные купола, а на Москве-реке — каменные палаты бояр (примером их может служить доселе сохранившийся дом Аверкия Кириллова).

1730 год стал для Москвы, да и для всей России, поворотным. В ночь с 18 на 19 января от оспы умер Петр II. Таким образом, прервалась по мужской линии династия Романовых; все последующие государи носили это имя без особого права. Члены Верховного тайного совета нашли для себя разумным и безопасным пригласить в Москву вдовую Анну Иоанновну из Митавы. Как известно, курляндской герцогине были предложены «кондиции»: «в супружество не вступать, и наследника не определять», а главное, без согласия Верховного тайного совета (из восьми персон) не начинать войны, не заключать мира, не вводить налогов, не производить никого в чины выше полковника, не жаловать земель и т. д. Анна согласилась — и 10 февраля 1730 года приехала в Москву. Через две недели по просьбе «всего шляхетства» она собственноручно разодрала

кондиции и восстановила самодержавие.

Эти две недели, при всей их фарсовости, не вычеркнуть из отечественной истории. В первый и последний раз вплоть до декабристов широкие круги столичного офицерства не просто выступали на стороне того или иного претендента на престол, а всерьез обсуждали систему управления страной. Кашу заварила «ученая дружина» — Феофан (Прокопович), Василий Татищев, московский архимандрит и поэт-латинист Феофил (Кролик), князь Антиох Кантемир и еще несколько священников и дворян, составлявших цвет тогдашней образованной России.

Уже упомянутый Феофан (Прокопович) (1681–1736), архиепископ Новгородский и Ладожский, киевлянин по рождению, учившийся в Риме, блестящий оратор и даровитый поэт, фанатичный сторонник Петровских реформ, поражал современников не только познаниями и талантами, но и свирепостью и неразборчивостью в средствах в борьбе с личными и идейными врагами. Для этих целей он охотно обращался к услугам Тайной канцелярии. При Верховном совете ему пришлось несладко: в качестве автора «Духовного регламента», упразднившего патриаршество и подчинившего церковь государству, он нажил себе немало врагов, и враги эти, при Петре I и Екатерине I вынужденные безмолвствовать, теперь готовы были свести с ним счеты. Феофан отводил душу, сочиняя аллегорические стихи про «пастушка» (то есть духовного пастыря), плачущего «в долгом ненастии»:

Коли́ дождусь я весе́ла ве́дра
и дней красных,
Коли явится милость прещ́е́дра
небес ясных?

Князь Антиох Дмитриевич Кантемир (1709–1744), офицер Преображенского полка, младший сын высокоученого, но незадачливого господаря Дмитрия Кантемира, в двадцать лет уже был знаменит как поэт. У молодого князя были свои обиды на «верховников» — его обошли при разделе отцовского наследства (в пользу брата, который был зятем князя Дмитрия Голицына, одного из вождей «верховников»). Василий Никитич Татищев (1686–1750), выходец из древнего, некогда княжеского, но обнищавшего и утратившего титул рода, в молодости офицер, обратил на себя внимание самого образованного из петровских сподвижников, начальника артиллерии, потомка шотландских королей Якова Брюса. После двух с половиной лет изучения в Германии фортификации, геометрии, геологии и других

практических наук он стал ближайшим помощником и доверенным лицом Брюса, потом организовывал металлургические заводы на Урале, изучал финансы в Швеции (Северная война уже закончилась), по возвращении откуда был назначен начальником Монетной конторы. В этой должности он и находился в 1730 году. Татищев известен как первый русский историк и географ, но все его научные труды были написаны уже позднее. Пока он мечтал в основном об административной карьере и, вероятно, считал свое положение в государстве не соответствующим своему образованию и своим способностям.

Пушкин назвал Татищева «умным, ученым, но бессовестным». Эта характеристика вполне применима и к Прокоповичу, а отчасти, может быть, даже и к Кантемиру… Но члены «ученой дружины» думали все же не только о себе, что можно сказать далеко не обо всех их современниках. Им было досадно смотреть, как погибает на глазах дело, с которым они себя идентифицировали, как распадается государство, как гибнет хрупкое петровское просвещение. Лучшей формой правления они, естественно, считали абсолютную монархию — к этому толкал весь их жизненный опыт. Впрочем, они понимали, что Анна — не Петр, и некоторые из них в качестве меньшего зла готовы были предпочесть власти десяти «олигархов» конституционную монархию шведско-польского образца, с парламентом, состоящим только из дворян. Татищев, который жил в Швеции и знал, как такая система работает, составил один из множества альтернативных проектов нового государственного устройства.

Анна предложила дворянским представителям, собравшимся в Слободском дворце, обсудить этот (представленный князем Черкасским) проект. Но гвардейцы во главе с Кантемиром, заполнившие покои, заставили незадачливых конституционалистов проголосовать за новый адрес, в котором без затей говорилось о восстановлении самодержавия. Верховный тайный совет был распущен — а «настоящего» парламента России пришлось ждать еще 175 лет. Феофан (Прокопович) торжествовал:

> В сей день августа наша свергла долг свой ложный,
> растерзавши хирограф на себе подложный,
> И выняла скипетр свой из гражданского ада,
> и тем стала Россия весела и рада.

Члены «ученой дружины» (включая, вероятно, и Татищева) пока что считали себя победителями. Но десять лет спустя некоторые из тех, кто голосовал за разрыв «кондиций» и

рукоплескал ему, вновь задумают ограничить самодержавие — и примут за это смерть на плахе.

Все это происходило примерно за год до прихода в столицу рыбного обоза из Холмогор. А еще год спустя Анна с двором, коллегиями, полками и прочая навсегда переедет из Москвы, где прошли ее не слишком веселые детство и юность, — в Петербург, где она так любила бывать в бытность герцогиней Курляндской.

2

Как сказано в «Академической биографии», «первую ночь проспал Ломоносов в обшевнях у рыбного ряду. Назавтрее проснулся так рано, что еще все товарищи его спали. В Москве не имел ни одного знакомого человека. От рыбаков, с ним приехавших, не мог ожидать никакой помощи: занимались они продажей только рыбы своей, совсем о нем не помышляя. Овладела душой его скорбь; начал горько плакать; пал на колени; обратил глаза к ближней церкви и моли усердно Бога, чтобы тот его призрил и помиловал».

Юноша совсем растерялся и начал раскаиваться в совершенном поступке. Но тут ему улыбнулась удача. Приказчик, пришедший на рассвете покупать рыбу, оказался земляком-куростровцем; он узнал Михайлу и приютил у себя дома. По показаниям самого Ломоносова, он жил по приезде в Москву «сыскного приказу у подьячего Ивана Дутикова».

Ломоносов приехал учиться. Но где именно — и чему именно? Едва ли он сам четко понимал это. Есть сведения, что первым местом, куда направился молодой помор, была Навигацкая школа. Выбор более чем естественный для юноши, чья жизнь до сих пор была связана с кораблями и морем. Тем более что там преподавал собственной персоной автор «Арифметики» Леонтий Магницкий. Располагалась Навигацкая школа в знаменитой Сухаревой башне, построенной в 1692 году. В самом начале XVIII века здесь находилась лаборатория и обсерватория Якова Брюса и москвичи боязливо поглядывали на эту обитель колдовства и чернокнижия. Потом там начинали свой путь мореходы молодого российского флота…

Но Ломоносова ждало разочарование. Кроме первой в жизни самоличной встречи с человеком, написавшим книгу, Сухаревой башне нечем было его порадовать. Преобразованная, как уже сказано, в начальное училище, в Цифирную школу, Навигацкая школа не могла дать Ломоносову новых знаний. Основы арифметики он освоил самостоятельно, а всему остальному

теперь учили будущих мореходов в Петербурге.

Однако в Москве было учебное заведение несравнимо более высокого уровня. Официально оно называлось Славяно-греко-латинская академия, в просторечии же академию эту, располагавшуюся в Заиконоспасском монастыре, называли просто «Спасскими школами», а ее учеников — «спасскими школьниками».

Если история Навигацкой школы связана с именем автора «Арифметики», то у истоков Славяно-греко-латинской академии стоял сочинитель «Псалтири Рифмотворной». В 1680 году, незадолго до смерти, Симеон подал молодому царю Федору проект нового большого учебного заведения. Проект был подписан уже после смерти Симеона, в начале 1682 года. По этому плану в новой академии предполагалось преподавать следующие науки: грамматику, пиитику, риторику, диалектику, философию разумительную и естественную, богословие созерцательное и деятельное, право церковное и гражданское и «прочие свободные науки». Обучение предполагалось на трех языках — латыни, греческом и церковнославянском, отсюда и название. В академию планировалось принимать учеников любого происхождения, по окончании же академии они должны были причисляться к сословиям «благородным» (то есть к дворянству и духовенству). Преподаватели и студенты освобождались от светского суда за «неправомыслие» — их дела должен был разбирать внутренний суд академии. Для своего времени все это звучало смело. На содержание академии должны были идти доходы от семи монастырей и от одной волости, принадлежащей дворцовому ведомству; кроме того, принимались и частные пожертвования.

Смерть сначала Симеона, потом царя задержала осуществление этого проекта. Место Симеона занял его ученик Сильвестр Медведев. В юности — подьячий приказа Тайных дел, посланный вместе с товарищами учиться латыни у царского наставника, он предпочел «государеву слову и делу» келью ученого монаха. Но с учителем своим он не мог сравниться ни талантами, ни знаниями, ни авторитетом. К тому же он опрометчиво принял участие в богословском диспуте о времени пресуществления Святых Даров, причем позиция, которую он отстаивал, совпадала с точкой зрения католической церкви; это дало патриарху, давно точившему зуб на Симеона и его окружение, повод обвинить Сильвестра в отступничестве от православия. Богословским союзником Сильвестра стал другой претендент на ректорство в академии — Андрей Белобоцкий, поляк с дипломом испанского университета в Вальядолиде,

зачем-то эмигрировавший в Московию и перешедший в православие. В 1685 году, при царевне Софье, в Москву были приглашены братья-греки Иоанникий и Софроний Лихуды. Оба они также были не вполне девственны по части «католицкой ереси» — за плечами у них остались девять лет обучения в Венеции и Падуе. Но в вопросе о времени пресуществления Даров они придерживались твердой антипапистской точки зрения. Сразу же по приезде в Москву греческие ученые сошлись на диспуте с Андреем Белобоцким и разгромили его. Однако дискуссия продолжалась, и в течение последующих четырех лет Лихуды и Сильвестр Медведев обменялись несколькими полемическими сочинениями. В конце концов церковный собор признал правоту братьев-греков. Сильвестр покаялся и был «прощен»; но к тому времени власть в стране уже оказалась в руках молодого Петра и его родичей Нарышкиных, и в феврале 1691 года «Симеонко, что был старец Сильвестрко»[18], был обезглавлен как сторонник царевны Софьи и участник заговора Шакловитого. Андрей Белобоцкий еще при Софье и князе Василии Голицыне был послан переводчиком в русское посольство в Китай; вернулся в Москву он уже в начале XVIII века.

Что же до академии, то она с самого приезда Лихудов оказалась в их руках. В эти годы грамматика преподавалась на греческом, риторика, логика и физика («естественная философия») частью по-гречески, частью по-латыни. Качество обучения не только древним языкам, но и базовым основам европейской средневековой схоластической образованности было в то время, видимо, высоким. Об этом свидетельствует хотя бы следующий факт: Петр Васильевич Постников, закончивший академию в 1692 году, уже два года спустя первым из русских получил докторскую степень в Падуанском университете. Мы уже упоминали о Магницком, учившемся в академии в эти годы. Но вскоре положение изменилось: в 1694 году в результате интриг Лихуды были изгнаны из академии, а возглавили ее их недоучившиеся ученики. После этого в академии несколько лет учили только греческому языку, грамматике, пиитике и риторике. Преподавать философию и богословие новые учителя не могли, а обучение латыни было прекращено по требованию иерусалимского патриарха. «Протоуниверситет» превратился в обычную монастырскую школу, причем плохо содержавшуюся.

В начале XVIII века Петр I обратил внимание на состояние Спасских школ и выделил средства на их возрождение. При Петре академия стала «кузницей кадров» не только для всех епархий России, но и для государственного чиновничества. Из 236 выпускников 1701–1728 годов лишь 68 пошли по духовной части,

остальные определились на государственную службу. Для службы этой (в самых разных областях — от посольств до аптечного ведомства) нужны были люди, хорошо знающие латынь. Поэтому в это время в академии преобладал «латинский» уклон. Уже в 1700 году преподавание велось не по-гречески, а по-латыни, а в следующем году это было закреплено царским указом. В конце концов, преподавание греческого было перенесено в особую школу при церковной типографии, которая лишь в 1738 году была воссоединена с академией. «Спасские школьники» могли посещать ее «своей охотой».

Ректором в 1708 году стал архиепископ Феофилакт (Лопатинский), крупный церковный писатель и мыслитель, выходец с Украины, товарищ Феофана (Прокоповича) по Киево-Могилянской академии — и убежденный оппонент его в богословских и церковно-административных вопросах. Оба, Феофан и Феофилакт, были «западниками», но если первый больше симпатизировал протестантизму, то второй — католицизму.

Естественно, он со своей стороны способствовал «латинской» ориентации школы. В 1722-м Лопатинский оставил ректорский пост, но его традиции сохранялись.

По собственным свидетельствам Ломоносова, он подал заявление в академию и был туда зачислен не то 15 января, не то «в последних числах» января 1731 года. В «Академической биографии» это описывается так: «У караванного приказчика был знакомый монах в Заиконоспасском монастыре, который часто к нему хаживал. Через два дня после приезда его в Москву пришел с ним повидаться. Представя он ему молодого своего земляка, рассказал об его обстоятельствах, о чрезмерной охоте к учению и просил усиленно постараться, чтобы взяли его в Заиконоспасское училище. Монах взял то на себя и исполнил самым делом…» Таким образом, и здесь не обошлось без помощи земляков. В городе жили пять-шесть человек с Куростров (Тихон Шенин, братья Пятухины). Едва ли они искренне сочувствовали стремлению Михайлы к получению образования: оно должно было казаться им «чрезмерным», если не попросту — нелепой придурью. Но, возможно, они считали, что, помогая юноше, оказывают услугу его отцу. Между тем бедный Василий Дорофеевич не имел о сыне никаких известий. «Дома… долго его искали, и не нашед нигде, почитали пропадшим, до возвращения обоза по последнему зимнему пути…» («Академическая биография») — то есть до апреля.

При поступлении в академию Ломоносову пришлось обойти по крайней мере одно препятствие. В примечании к

«Академической биографии» сказано: «А как не принимают в сию семинарию положенных в подушный оклад, то назвался Ломоносов дворянином». Это подтверждается и собственными показаниями Ломоносова, сделанными в 1734 году при «разоблачении». Дело в том, что первоначальное правило, допускавшее в академию людей «всех званий», было позднее изменено. В Указе от 7 июня 1728 года было сказано следующее: «Обретающихся в московской Славяно-Греко-Латинской Академии в школах солдатских детей обуча, отослать в полки в службу и впредь для обучения не принимать таковых, о которых тех полков, в которых отцы их служат, от командиров будет прислано письменное уведомление, что они ныне и впредь в полки не надобны; а помещиков людей и крестьянских детей, также непонятных и злонравных от помянутой школы отрешить и впредь таковых не принимать».

Петровская эпоха с ее воинствующим плебейством закончилась, и представители привилегированных сословий — «шляхетства» (образовавшегося в результате объединения боярства с дворянами и «детьми боярскими») и духовенства — стремились максимально отделиться от презренного податного населения. К тому же Синод (что бы там при Петре ни происходило) по-прежнему видел в академии прежде всего школу по подготовке грамотных священников и, конечно, стремился укомплектовать ее священническими сыновьями. Между тем на самом деле в 1728 году лишь 109 учеников (из 362) происходили из «поповых, дьяконовых и церковнических детей». Меньше трети… В последующие годы этот процент практически не менялся. Дворян было очень мало (в 1730 году всего четыре «спасских школьника» происходили из «шляхетства»), по большей же части в академии по-прежнему учились дети солдат, мастеровых, посадских и даже сироты из богадельни. Не крестьяне, конечно, но тоже — «записанные в подушный оклад». У академического начальства просто не было выхода. Между 1725 и 1730 годами общее число «спасских школьников» и так сократилось с 629 до 236 человек (потом, правда, снова стало расти). Ректор академии Герман Копцевич бил тревогу и просил Синод отменить ограничительные правила 1728 года, так как «число учеников во всей Академии зело умалилося и учения распространение пресекается». Ограничения не отменили — но смотрели на них сквозь пальцы. Тяга к образованию в тогдашней России была критически слаба, и сословная спесь боролась с необходимостью хоть как-то набрать необходимое количество учащихся. Попы и дьяконы не хотели отдавать сыновей в школы: для рукоположения в родном медвежьем углу достаточно было

славянской грамоты. Когда одного из ломоносовских учителей, Тарасия Посникова, уже в 1740-е годы назначили директором новосозданной семинарии в Вязьме, поповичей пришлось определять туда насильно, и бедняга Посников столкнулся с настоящим террором: его избивали, его дом поджигали… Тем более не было охоты посылать своих чад в Москву — далеко от дома и налаженного хозяйства.

Но Ломоносов почему-то назвался дворянским сыном. Должно быть, юноша по наивности решил причислить себя к высшему сословию империи, надеясь таким образом поднять свой статус. При желании его слова легко можно было проверить. И уж в этом случае, попадись он на лжи в 1731 году, ему было бы несдобровать! Однако Копцевич, по помянутым выше причинам, предпочел принять слова жадного до учебы молодого помора на веру; до проверки дело дошло лишь три года спустя.

Другим препятствием был возраст. Формально Ломоносов укладывался в возрастные ограничители: в академию принимали юношей от 12 до 20 лет. Нашему герою было девятнадцать. Но большинство товарищей были намного моложе его. В знаменитом письме Шувалову от 10 мая 1753 года Ломоносов вспоминает, как «школьники, малые ребята, кричат и перстами указуют: смотри де, какой болван пришел в двадцать лет латине учиться». А ведь Михайло привык к тому, что у себя на Куростров он слыл едва ли не самым грамотным человеком. Болезненно самолюбивый, он с трудом переносил насмешки «малых ребят» — и помнил о них четверть века спустя…

3

«Латине» начинали учить в первом классе — «фаре» (еще было подготовительное заведение — «славяно-русская школа», где учили чтению и письму). Затем следовали «инфима», «грамматика», «синтаксима», «пиитика», «риторика», «философия» и «богословие». Каждый класс назывался по главному предмету, который в нем изучался. При хороших способностях можно было закончить академию за двенадцать-тринадцать лет (половину из них занимало обучение в классах «философии» и «богословия»), но были случаи, когда ученики сидели в Спасских школах лет по двадцать — в буквальном смысле слова до седых волос! Понятно, что в старших классах учеников было гораздо меньше, чем в младших; многие отсеивались и определялись на службу, не доучившись до «философии» и «богословия».

Обучение в «фаре» сводилось к чтению и письму по-латыни. В

«инфиме» уже давали некоторые грамматические сведения в церковнославянском и латинском языках. В классе грамматики обучение славянской грамматике заканчивалось, латинской — продолжалось. Вместе с грамматикой давались начальные сведения по географии и истории, а «понеже по регулам грамматическим нуждно есть делать экзерциции, сиесть обучатися в переводах, то можно велеть ученикам переводить географию или историю, отсего два или три учения вдруг одного часа и одним делом подаватися» (так рекомендовал «Духовный регламент»). В этом же классе начинали учить арифметике и катехизису. В «синтаксиме» продолжалось преподавание тех же предметов. В это время Ломоносов начал одновременно с занятиями латынью в академии изучать греческий язык в школе при типографии.

Ломоносов прошел курсы двух классов — «фары» и «инфимы» (преподаватель Модест Ипполитович) — за полгода. Уже 15 июля 1731 года он был переведен в «грамматику», а в декабре — в «синтаксиму». Этот класс он также одолел всего за полгода. Другими словами, холмогорец Михайло проявил изрядные способности и очень быстро нагнал своих сверстников. За полтора года — четыре класса. Позднейшие историки академии упоминали это как своего рода «рекорд». Причем успехи Ломоносова нельзя объяснить хорошей базовой подготовкой. То есть, разумеется, о славянской грамматике и об арифметике у него к моменту поступления в академию уже было представление, но латыни и греческого (да и никаких других иностранных языков) он никогда прежде не изучал. Позднее латынь стала языком его научных работ, и под конец жизни он пользовался (по словам историка Августа Шлёцера) славой «первого латиниста не только в России». Греческий он изучил в достаточной степени, чтобы в оригинале читать классических писателей и критически оценивать славянский перевод Библии.

Историки любят подчеркивать, что важным методом обучения в академии считалась розга. Конечно — как во всех школах тогдашней Европы. Но все же были и другие, более изощренные методы воздействия на учеников. Например, допустивший ошибку носил на шее «калькулюс» — свернутый листок бумаги с латинским текстом, спрятанным в футляр. От этого позорного знака старались избавиться. А сделать это можно было, только поймав на ошибке другого. Выдвинувшихся учеников назначали «сенаторами», а неудачники должны были играть роль «плебса». Из числа «сенаторов» назначались «аудиторы» и «цензоры». Эти, говоря современным языком, «ролевые игры» развлекали юношей и создавали стимул для

обучения. Одной розгой от русского человека первой половины XVIII века многого добиться невозможно: к физическому насилию он был привычен. К тому же это облегчало работу преподавателя: «сенаторы» проверяли письменные работы товарищей, следили за порядком в классе.

Одним из учителей Ломоносова в классах грамматики и синтаксиса был помянутый выше Тарасий Посников — единственный из преподавателей, не принадлежавший к духовенству и не желавший принимать монашество. Именно это закрывало ему дорогу к преподаванию в старших классах, несмотря на отличное образование: он семь лет был петровским «пансионером» в Париже. (Одного из его товарищей, «парижских студентов», Ивана Каргопольского, судьба позднее занесла на север, в Холмогоры, где он преподавал в школе при архиерейском дворе. Считается, что Ломоносов мог с ним встречаться и именно от него услышать о «Спасской школе».) Феофилакт (Кветницкий), у которого с июля 1732 года Ломоносов начал учиться в классе пиитики, монашество принял совсем недавно. Тем не менее и им начальство не всегда бывало довольно: преподавателю пиитики случалось являться в классы в «не совсем исправном» (общепринятый эвфемизм), то есть попросту в нетрезвом виде.

Но преподавал он, видимо, неплохо. Как раз в 1732 году Кветницкий сам написал учебник по своему предмету. Поэзию Кветницкий определяет как «искусство о какой бы то ни было материи трактовать мерным слогом с правдоподобным вымыслом для увеселения и пользы слушателей».

Учебник делился на две части — «Общую» и «Частную» («прикладную») пиитику. В первой главе «общей» пиитики Кветницкий защищает право поэта на вымысел и пытается определить природу этого вымысла. «Поэтически вымышлять — значит находить нечто придуманное, то есть остроумное постижение соответствия между вещами несоответствующими». Если это изящное барочное определение и принадлежало самому Феофилакту — структура учебника в любом случае была традиционной. О пиитическом вымысле толкует в первой части своего учебника «Пиитики» (написанного в 1705 году) сам Феофан (Прокопович).

Во второй части Кветницкий касается украшений поэтической речи — тропов (таких, как метафора, метонимия и т. д.) и фигур. В этой части филологическая наука довольно консервативна: современные ученые пользуются теми же терминами, которые были в ходу в России еще триста, а в Европе — и пятьсот лет назад, и в тех же значениях. Третья часть посвящена латинской версификации, системе стоп, размерам античного стиха (ямб,

трохей, дактиль, анапест), проблемам поэтического стиля, а также классификации стихов по родам и видам. Без такой классификации схоластическая ученость обойтись не могла. Кветницкий классифицировал стихи по «материи» (героический, эпический, буколический, комический и др.), по именам употреблявших их поэтов (сапфический, пиндаров и др.), по числу слогов в строке, по форме стопы.

Частная, или прикладная, пиитика состояла из отдельных глав, посвященных наиболее распространенным видам поэзии. При этом семь из двадцати глав относились к «куриозным» стихам, столь распространенным в эпоху барокко («фигурным» — в форме чаши или креста, «кабалистическим» стихам — со множеством взаимно противоречащих смыслов, палиндромам и т. д.). Последняя глава посвящена была поэзии на «славянском» языке. Помимо языка, отличие ее от латинской заключалось, как отмечал преподаватель, в отсутствии деления строки на стопы и в наличии рифмы. В остальном же — никакой разницы: «… эпиграммы, элегии, оды, сцены, эклоги, сатиры и прочее не менее увлекательно, как и изящно могут писаться также и славянским стихом».

Такой либеральный взгляд на возможности «простонародного» языка был для средневековой схоластики не очень обычен. Особенно если учесть, что на практике-то особенно выдающихся стихов на «славенороссском» языке все еще не существовало. Но не надо забывать, что в России церковнославянский язык был языком богослужения и утверждение его возможностей было (особенно на Украине и в Белоруссии) важным аргументом в споре с католиками. Но сам Феофилакт наверняка жил в мире классической латинской поэзии. В своем руководстве он упоминает имена Вергилия, Овидия, Ювенала, Горация, Марциала. Без сомнения, стихи этих поэтов звучали на уроках и заучивались наизусть. Много и плодотворно читал их конечно же и Ломоносов. Изучая греческий, он, должно быть, пробовал читать Гомера, Пиндара и, может быть, Анакреона.

Сложнее — с новыми европейскими поэтами: ведь новым языкам в академии не учили. Прокопович в своем учебнике поминает Торквато Тассо и Якопо Саннадзаро — классиков итальянской поэзии эпохи Ренессанса. Но скромный Феофилакт Кветницкий в Италии не бывал… Скорее всего, до него и его учеников могла дойти лишь новолатинская и, возможно, польская поэзия. Последняя уже сделала к тому времени немалые успехи. Творчество таких выдающихся польских лириков ренессансной и барочной эпохи, как Миколай Рей, Ян Кохановский, Себастьян

Фабиан Кленович, Миколай Семп Шажинский, Ян Морштын и другие, было конечно же хорошо известно Симеону Полоцкому да и многим его последователям и во многом служило для них образцом. Во всяком случае, русский стихотворный канон XVII века был, как уже сказано выше, целиком скопирован с польского.

Конечно же юный Ломоносов читал все, что мог прочитать в стихах на «славенороссском» языке. Надо сказать, что со времен Симеона Полоцкого изменилось очень немногое. Многочисленные последователи придворного поэта царя Алексея не обладали его скромными, но несомненными достоинствами — даром рассказчика, фантазией, высоким простодушием…

Правда, появились новые жанры. В их числе были, в частности, канты. В современном литературоведении «кантами» называют вообще любые рифмованные, силлабические или (впоследствии) силлабо-тонические стихи XVIII века, предназначенные для вокального исполнения и слагавшиеся вместе с напевом[19]. Благодаря рукописным песенникам такого рода словесность довольно широко распространилась среди грамотного городского населения. Ломоносов, по всей вероятности, впервые столкнулся с такими «стихами для пения» лишь в Москве. При Петре канты были, однако, и частью официального быта. Без исполнения стихов-песен панегирического содержания не обходилась ни одна официальная церемония. Само собой, и ученики Славяно-греко-латинской академии привлекались к их сочинению и исполнению. Так, при возвращении Петра-победителя в 1709 году из-под Полтавы у триумфальной арки на Никольской улице его встречали «спасские школьники» в белых одеждах и венках, с зелеными ветками в руках, распевавшие:

Преславная Российская земля веселися,
Царска держава скипетром хвалися,
Святым апостолом Петром дана тебе.
Царю Российску, на земле и в небе;
Благолепную царску диадиму
Восприял от руки Божией возложиму
На главу Цареву бессмертныя славы,
Да утверждаются Российския державы
Христовым каменем, названным опока,
Его же Бог посла к Риму с востока…

Наряду с официальными панегириками и произведениями духовного и дидактического содержания в Петровскую эпоху появилась и любовная лирика. В основном это были анонимные

силлабические вирши и канты. Вот характерный пример таких стихов:

Радость моя паче меры, утеха драгая,
Неоцененная краля, лапушка милая
И веселая, приятно где теперь гуляешь?
Стосковалось мое сердце, почто так дерзаешь?
Вспомни, радость прелюбезна, как мы веселились
И приятных разговоров с тобой насладились.

Уже по этим трогательным, но неуклюжим строчкам видно, с каким трудом человек петровского времени искал верные слова для выражения своих чувств. То, о чем прежде не полагалось писать, да и говорить «книжными» словами, стало важнейшей частью дворянского общежития. Язык не поспевал за изменениями нравов. Противоречивость эпохи проявлялась и в том, что галантные вирши часто сопровождались непристойными акростихами.

Резко выделялись среди поэтов той поры инициаторы и герои государственного переворота 1730 года — Феофан (Прокопович) и особенно — Антиох Кантемир. Оба они были наделены природой великолепным ритмическим и языковым слухом, позволявшим ощупью находить верную дорогу при отсутствии языкового канона и при сомнительном, не соответствовавшем духу языка каноне версификационном. Грозный архиепископ Новгородский баловался стихами на разные случаи монастырской жизни — сочинял эпитафию скончавшемуся иеродиакону-мизантропу, славил отменное пиво, которое варит отец эконом… Все эти «пустячки» были не лишены своего рода тяжеловесного изящества. Вот, к примеру, стихотворение, явно сошедшее с пера не властного и сладкоречивого князя церкви, не придворного интригана и льстеца, а кабинетного ученого (в Феофане причудливо сочетались эти три лица) — «К сложению лексиков»:

Если в мучителския осужден кто руки,
ждет бедная голова печали и муки.
Не вели томить его делом кузниц трудных,
ни посылать в тяжкия работы мест рудных.
Пусть лексики делает: то одно довлеет,
всех мук роды один сей труд в себе имеет.

Князь Кантемир уже в совсем юном возрасте приобрел известность как сочинитель любовных «виршей» и как

переводчик. В числе переведенного им были сатиры Буало. Под их влиянием в 1729 году молодой молдавский князь написал первую собственную сатиру — «На хулящих учения», разошедшуюся в списках и ставшую сенсацией. Прокопович приветствовал молодого друга:

Объемлет тебе Аполлон великий,
Любит всяк, иже таинств его зритель;
О тебе поют парнасские лики,
Всем честным сладка твоя добродетель…

В самом деле, можно понять то необычайное впечатление, которое произвела на современников первая русская сатира, — даже если учесть, что в ее раннем варианте стих Кантемира не так изыскан и гибок, как в окончательном, созданном несколько лет спустя. Сам жанр «высокой сатиры» был нов на русском языке. Образованные люди той поры, конечно, читали Ювенала (наверняка с ним был знаком и «спасский школьник» Ломоносов). Но проекция этого почтенного жанра на русские нравы времен Петра II и Анны Иоанновны выглядела, должно быть, ошеломляюще.

Вслед за ритуальной похвалой «младому монарху» под пером Кантемира возникали узнаваемые образы «хулителей учения». Тут и корыстолюбивый епископ в карете, в «ризе полосатой», считающий, что «ереси и расколы суть ученья дети», и щеголь, который «тужит, что бумаги много исходит на печатание книг, а ему приходит, что не в чем уж завертеть завитые кудри», и «пьяница, раздут с вина, чуть видя глазами, раздран, смраден, по лицу испещрен угрями», и дворянин-консерватор:

«Живали мы — говорит — не зная латине
Преж сего, хотя просты, лучше, нежли ныне.
В невежестве гораздо больше хлеба жали.
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли…
…Землю в четверти делить без Евклида смыслим,
Сколько копеек в рубле, без алгебры счислим…»

Язык этих стихов разительно отличался от языка и Симеона, и даже Феофана. Кантемир бесстрашно изгнал из своих стихов все грамматические и почти все лексические церковнославянизмы, впервые сделав славяно-русский язык — просто русским. Но этот язык не похож и на простодушное наречие массовой любовной лирики петровской поры. Никаких

неловкостей, никаких варваризмов. Такого сочетания естественности и сочности оборотов с благородством тона русская муза не знала еще долго — вплоть до Державина.

И конечно, сам пафос его сатиры был близок сердцу немалого числа грамотных людей той поры. Начав с похвал Петру II, сатирик в конце почти прямо проговаривается: «Златой век до нашего не коснулся роду». Это наверняка намек на эпоху Петра Великого, которая для людей, рожденных в 1709 (как Кантемир) или в 1711 году (как Ломоносов), уже была окружена возвышенным ореолом. Казни не вспоминали — вспоминали победы, вспоминали не «всешутейший собор» с его безобразными забавами, а «академика и героя», покровительствовавшего просвещению. А теперь…

> Наука ободрана, в лоскутах обшита,
> Из всех знатнейших домов с ругательством сбита;
> И в самой богадельне места не находит…

Сто лет спустя под пушкинским пером два зачинателя русской поэзии — «сын молдавского господаря» и «сын холмогорского рыбака» — горделиво станут рядом. Но в жизни Кантемир с Ломоносовым, скорее всего, никогда не встречались. Правда, домашним учителем Кантемира был выпускник Славяно-греко-латинской академии Иван Ильинский; сам поэт в отрочестве несколько лет посещал Спасские школы, совершенствуясь в древних языках. А в 1731 году он перевел на русский с латинского «Оду к императрице Анне Иоанновне на день ее рождения», сочиненную по-латыни учениками академии. Но Ломоносов в то время лишь начинал учить язык Горация. Да и слишком велика была социальная пропасть между гвардейским офицером, доблестным авантюристом, решающим судьбы государства, другом Феофана Прокоповича — и нищим школяром-первокурсником, еще толком не освоившимся в чужой ему столице. А уже год спустя молодой князь был — в награду за оказанные государыне услуги — назначен послом в Англии. Еще через шесть лет он получил новое назначение: в той же должности во Франции. Там, на родине Буало, его переводчик и последователь в молодом еще — даже по тем временам! — возрасте окончил свою жизнь.

Не встречался, вероятно, Ломоносов в эти годы и с другим своим предшественником, позднее какое-то время — почти другом, а потом, до конца жизни, злейшим врагом Василием Кирилловичем Тредиаковским (1703–1769), тоже бывшим (в 1722–1726 годах) учеником Спасских школ. Но наверняка

переведенный им роман французского писателя Поля Тальмана «Езда в остров Любви» (1730) молодой Ломоносов прочел. Это был первый на русском языке любовный роман, даже не без фривольности, имевший сенсационный успех и вызвавший неодобрение церкви — трудно представить, что юные монастырские школьники не читали его из-под полы. Сам Тредиаковский в письмах советнику Академии наук Шумахеру (в нашей книге это имя будет еще много раз упомянуто) так описывал оказанный ему прием: в то время, как одни наперебой расхваливают его книгу, «повсюду меня разыскивают и просят у меня оную», другие «почитают меня первым совратителем юношества российского, тем паче, что допрежь сего не ведало оно тех прелестей и сладкого тиранства, кое любовь причиняет…». Это была слава! Увы, спустя пятнадцать-двадцать лет Тредиаковский, измученный насмешками, будет скупать и уничтожать этот свой ранний опыт. Так быстро все менялось в русской литературе той поры.

«Езда в остров Любви» была непохожа на роман в привычном для нас понимании. Это было аллегорическое сочинение, жеманное и несколько тяжеловесное, как требовал тогдашний вкус. «Отплытие на остров Цитеру», на остров Любви, — это был любимый сюжет Антуана Ватто и других французских живописцев эпохи рококо. Под пером Тальмана и Тредиаковского любовники перемещаются из одной области «острова Любви» в другую. Долго пребывая в «местечке, которое называется Малые Прислуги», «где другого ничего не видно, как только что везде любовные потехи», однако «все с пристойностью удивительной там чинится», посетив замок Искренности, миновав пустыню Разлуки, они наконец добираются до замка Прямые Роскоши. Олицетворенные Жестокость, Почтение, Предосторожность, Ревнивость, Рок чинят им всяческие препятствия. В конце концов красавица Аминта покидает героя, но он утешается, ухаживая за двумя другими красавицами — Сильвией и Ирисой. Чувства, которые герой испытывает к ним, характеризуются им как Глазолюбие или Честное Блядовство. Звучит довольно забавно, но Василий Кириллович героически пытался найти подходящие для выражения новых чувств русские слова… Конечно, не всегда ему улыбалась удача. Однако если не в самом романе, то в переведенных Тредиаковским стихах из «Езды в остров Любви» есть что-то очень живое и обаятельное, привлекающее по сей день:

В сем месте море не лихо,
Как бы самый малый поток.

А прохладный зефир тихо,
Дыша от воды не высок,
Чинит шум приятный весьма
Во играний с волнами.
И можно сказать, что сама
Там покоится с вещами
Натура, даря всем покой…

Был в тогдашней Москве по крайней мере еще один талантливый поэт, с которым Ломоносов в молодые годы теоретически мог общаться лично. К сожалению, имя его ныне помнят лишь специалисты. Неизвестны даже годы его жизни и его отчество. Петр Буслаев (так звали этого человека) где-то на рубеже 1730-х закончил Славяно-греко-латинскую академию и принял сан дьякона в Успенском соборе в Москве. Дальше дьякона высокоученый молодой человек не продвинулся, да и тот сан сложил с себя, овдовев. В 1755 году его уже не было в живых[20]. Единственное известное произведение Буслаева — «Умозрителство душевное описанное стихами о преселении в вечную жизнь… Марии Яковлевны Строгоновой…» — написано, по-видимому, в 1733-м и напечатано в 1734 году. Это была погребальная поэма на смерть покровительницы, вдовы знаменитого купца и фабриканта, первым из Строгановых (Строгоновых) получившего дворянство[21] и баронский титул. Поэма начинается описанием видения, посещающего умирающую баронессу и «предстоящих»:

…показался красен человеков паче,
Властительно блистая, как бог[22], не иначе;
В свет очам ненасытный оболчен был красно,
Сладко было нань зрети, с радостью ужасно.
Тело ж все было в крови, как от мук недавно:
Пробиты руки, ноги и бок виден явно.
Однакож славы сие не отымало,
Но любовь божественну казало немало,
Очи являли милость, лице же все радость,
Весь он был желание, весь приятна сладости.

Затем являются «Небесна Царица» («Облачена вся в солнце, луна под ногами, на голове ж корона царская с звездами») и множество святых. И наконец:

Пламенновидны силы крест Христов казали,

Тернов венец и ужи, чем Христа вязали,
Трость, копие и гвозди — страстей инструменты,
От чего трепетали света элементы.

Поэма Буслаева показывает не только его собственный незаурядный талант, но и ту сравнительно высокую поэтическую культуру, которую прививали в Спасских школах. Сохранились образцы стихов, которые в качестве учебных заданий сочиняли ученики — на «славенороссском» языке и по-латыни. Вот, скажем, пример рацеи, стихотворного приветствия, в данном случае к Рождеству:

Кий язык может молчать, как родилося Слово
От Пречистыя Девы? Что есть чудо ново;
Слышно ль, чтоб неорана земля плод носила:
А Дева незамужна Отрока родила,
Чему с родом народа Ангели дивятся,
А паче темные дуси трепещут, боятся.
Божия Слова Христа ныне нам рожденна
О Его ж рождестве вся ликует вселенна,
Паче ж вам, благородие, прошу веселиться,
Жив лета Мафусаила, на небе воцариться.

Эти вполне грамотные и не лишенные выразительности силлабические стихи мог написать и Буслаев, и Ломоносов, и кто-то другой. Сохранилось, однако, одно учебное стихотворение, точно принадлежащее перу Ломоносова. Это — самое раннее известное нам произведение поэта и ученого (датировать его надо, вероятно, 1732 годом) — «Стихи на туесок»:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши сели,
В радости запели;
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах! плачут убоги,
Меду полизали,
А сами пропали.

«Туесок (туес)», — согласно Словарю Даля, — на северном и

сибирском диалектах «берестяная кубышка, с тугой крышкой и скобкой или дужкой в ней». Стихи эти, написанные во искупление какого-то проступка (зная Ломоносова, можно предположить — скорее, дисциплинарного, чем учебного), для снятия калькулюса, были одобрены Кветницким, написавшим на рукописи — «Pulchre» («Прекрасно»), Может быть, в стихотворении содержится намек на сущность проступка «спасского школяра»; может быть, «туесок» здесь — футляр от калькулюса. Точно можно сказать одно: это не единственное стихотворение, написанное Ломоносовым в 1732–1735 годах. По его собственному свидетельству, за успехи в русском и латинском стихотворчестве он был прозван в академии «Вергилием». Подобные гордые прозвища также были формой поощрения учеников.

Сдав экзамены за курс поэтики, Ломоносов уже в сентябре 1733 года начал учиться риторике у Порфирия (Крайского), также по его собственному учебному пособию. Крайский, как и Кветницкий, лишь в 1732 году постригся в монахи. Вся жизнь его была связана с академией: он был родственником Сильвестра Крайского (ректора в начале XVIII века, до Лопатинского), семнадцать лет проучился в академии (что не свидетельствовало о блестящих способностях), а потом несколько лет, до пострижения, преподавал в младших классах.

В основе курса Крайского лежала «Риторика» Николая Каусина (Коссена), французского проповедника, иезуита, духовника Людовика XIII. Сохранился объемистый студенческий «конспект» Ломоносова по этому предмету, который он наверняка использовал в 1743 году, составляя собственный учебник риторики — первый на русском языке. Впрочем, Ломоносов продолжал изучение этой дисциплины позднее, в Марбурге.

При Петре I в русской церкви после многовекового перерыва стали читать публичные проповеди. Поэтому неудивительно, что в академии такое внимание уделялось преподаванию риторики. Однако курс Крайского уделял основное внимание красноречию не церковному, а светскому. Ученые священники часто произносили речи на торжественных государственных церемониях. Непревзойденным образцом ораторского искусства считалась речь Прокоповича на похоронах Петра I.

Курс риторики, кроме уроков композиции, стиля, изучения риторических тропов и фигур, включал рекомендации по тренировке памяти. Для этого предлагалась особая диета, исключавшая молоко, сыр, соленое мясо и т. д. По крайней мере, один час в день занимали практические занятия — риторические «разговоры», диспуты и т. д. Само собой, школяры должны были упражняться в сочинении речей на разные случаи.

Именно учась в риторическом классе, Ломоносов начал тяготиться занятиями в академии и стремился нащупать другую дорогу. Но попытки эти, о которых — чуть ниже, в то время успехом не увенчались. В июле 1735 года, проучившись на сей раз положенных два года, он благополучно сдал экзамены за курс риторики и начал обучение в классе философии.

Курс философии в Славяно-греко-латинской академии делился на три части: логику, физику и метафизику. Основы курса были заложены еще Лопатинским, хотя сам он находился в опале: в результате интриг Прокоповича его старый враг в 1735 году был арестован. Через год после ареста Прокопович умер. Перед смертью он в бреду беспрестанно повторял имя Лопатинского. Но в судьбе бывшего ректора академии смерть Феофана ничего уже изменить не могла: карусель закрутилась, Тайная канцелярия начала работу… Сперва Феофилакт три года подвергался «допросам» (то есть пыткам), а потом был заточен в Выборгском замке до самой смерти Анны Иоанновны. Из заточения он вышел немощным старцем, чтобы вскоре умереть.

Философские воззрения академистов основывались на Аристотеле — как его понимала средневековая схоластика. (Потом, при изучении богословия, ученики, впитавшие западнохристианскую схоластическую ученость, переключались на чтение восточнохристианских церковных писателей, за которыми стояла совершенно иная мировоззренческая традиция.)

Логику в академии преподавал в 1730-е годы Антоний Кувечинский. Качество преподавания логики было, видимо, более удовлетворительным, чем последующих курсов. В 1732 году академик Готлиб Байер, проэкзаменовав четырех студентов-старшекурсников, переведенных из Славяно-греко-латинской академии в Академический университет в Петербург, дал такую оценку их знаниям: «Экзаменовав их в логике аристотелевской, нашел, что оные хорошо ее знают на свой лад; в физике же принципы их стары и сбивчивы, также и в терминах запутаны так, что и я сам не мог толком все уразуметь».

До «физики» Ломоносов, собственно, не добрался. Тем не менее юношей он был пытливым, учился старательно, а потому более чем вероятно, что некоторые элементы того мировоззрения, которое господствовало в академии, мог усвоить через чтение, беседы с преподавателями и товарищами.

Прежде всего, Лопатинский резко разграничивает мир материальный и мир нематериальных сущностей (отсюда жесткое разделение курса на «физику» и «метафизику»). Материальный мир принципиально постижим, информация, которую дают нам органы чувств, объективна и достоверна. Количество материи

постоянно: «Первоматерию нельзя никогда ни создать, ни разрушить, также ни увеличить, ни уменьшить, ту, которую создал Бог в начале мира, и какой и в каком количестве создана, такою остается до сих пор и будет оставаться всегда». Позволим себе заметить: это тот самый «закон сохранения материи», открытие которого приписывают, в частности, Ломоносову и который (как теоретический принцип) на самом деле известен с древнейших времен. При этом в отличие от томистов (последователей Фомы Аквинского), полагавших, что материя получает свою сущность от формы (которая носит идеальный характер), Лопатинский, как и другой русский религиозный мыслитель той поры, местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский, приписывал материи самостоятельное бытие. Свойства материи определяются соотношениями четырех элементов: теплоты, сухости, холода и влажности.

В курсе Лопатинского излагались (критически, но довольно подробно) взгляды мыслителей-атомистов, которые сам преподаватель частично разделял. Однако признавая, что «тело разлагается на корпускулы, которые представляют собой очень маленькие частички того или иного вида», он, как и Прокопович и их учителя из Киево-Могилянской академии, изменения материи объяснял не движением корпускул, а изменением соотношения элементов. Рассказывал Лопатинский и про гелиоцентрическую систему. Для него это была лишь спорная гипотеза. Сам он не был сторонником идей Коперника, как Прокопович; скорее, он стоял на точке зрения Тихо Браге: признавал практические выводы из учения Коперника и его последователей, но не само учение.

Одной из проблем, занимавших Лопатинского, была проблема движения. Почему движется брошенный камень? Сам бросающий его человек не может быть непосредственной причиной движения. Ведь этого человека могут через секунду убить — а камень все равно продолжит полет. Может быть, его подталкивают частицы воздуха (как считали многие древние мыслители, в том числе перипатетики, последователи Аристотеля)? Но почему же летит камень, брошенный против сильного ветра? В конце концов Лопатинский, вслед за У. Оккамом, Ж. Буриданом и некоторыми другими средневековыми философами, пришел к выводу, что бросающий придает бросаемому предмету «особое свойство», под влиянием которого тело и продолжает движение.

Конечно, все это выглядело наивно уже с точки зрения физики XVIII века. Лопатинский ничего или почти ничего не знал про Декарта, Ньютона, Лейбница. Но с нынешней точки зрения и

передовая физика XVIII века иногда кажется почти такой же наивной. Многие проблемы, которые заботили зрелого Ломоносова, многие концепции, которые он разделял, мало на нынешний взгляд отличаются от проблем, заботивших средневековых схоластов, от концепций, ими исповедовавшихся. Выходец из средневековой школы, он лишь наполовину был человеком Нового времени — как и почти все его сверстники (не только в России, но и на Западе).

Многие современники Ломоносова часто нелестно высказывались о Славяно-греко-латинской академии.

Шведский ученый Карл Рейнхольд Берк, приезжавший в 1735 году в Петербург, характеризует ее — со слов своих русских знакомых — так: «Тамошние профессора — дрянные, не способные научить слушателей чему-либо помимо кое-какой кухонной латыни, новогреческого языка (ибо лишь немногие из них сами в состоянии разобрать Новый Завет) и кучи вздора из схоластической логики». А вот как отзывается о Спасских школах В. Н. Татищев: «Язык латинский у них несовершенен… Философы их куда лучше, чем в аптекарские ученики, не годятся. <…> Физика их состоит в одних званиях и именах, новой же и довольной, как Картезий, Малебранш и другие изрядно преобъяснили, не знают. <…> И тако в сем училище, не шляхтичу, но подлому учить нечего, паче же во оной больше подлости, то шляхтичу и учиться не безвредно».

Конечно, эти оценки пристрастны. Разрыв между «шляхетным» и «семинарским» типами образованности только намечался. Дворяне учились актуальному, семинаристы или бывшие семинаристы — фундаментальным знаниям: тому, что считалось фундаментальным в данную эпоху. Борьба этих двух социально-образовательных типов пронизывает всю историю русской культуры XVIII–XIX веков, вплоть до эпохи Фета и Чернышевского. Беда в том, что в 1720-е, да еще и в 1740-е годы ни «шляхтичи», ни «поповичи» особенно учиться не хотели. На этом фоне Спасские школы были действительно светлым явлением: там хоть кто-то всерьез учился хоть чему-то.

4

В эти годы мы с трудом различаем рослого северянина в домотканом кафтане «черкасского сукна» в толпе других «спасских школьников». Лично о нем — о его интересах, поведении, пристрастиях, жизненных условиях — известно не так уж много. Сам он вспоминает про обучение в Москве

немногословно, но выразительно: «С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после смерти его чужие расхитят. С другой стороны, бедность несказанная: имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и денежку[23] кваса, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды» (письмо Шувалову от 10 мая 1753 года).

В действительности у Василия Дорофеевича была еще маленькая дочь Марья, рожденная то ли в год ухода Михайлы из дому (1730), то ли в год смерти своей матери (1732; возможно, Ирина Семеновна умерла в родах). Тем не менее он тосковал по сыну, пытаясь привлечь его уже испробованным однажды оружием — женитьбой на дочери «хорошего (то есть состоятельного, уважаемого. — *В. Ш.)* тамошнего человека». Но помогать деньгами сыну, пока тот оставался в Москве, он отказывался, а Михайло из гордости, должно быть, и не просил, предпочитая перехватывать понемногу у торговавшего в Москве земляка Федора Пятухина. В общей сложности он наодалживал семь рублей. В 1736 году Пятухину повезло: он повстречал Михайлу, как раз когда тот, перед отправкой в Германию, получил на руки огромную, по его представлениям, стипендию — и с нее сразу отдал весь долг.

Три (а с учетом занятых денег — четыре) копейки в день, около рубля в месяц — это было, может быть, не так уж «несказанно» мало: многие мелкие подьячие получали сходные жалованья. Но у них был свой дом и натуральное хозяйство, а «спасским школьникам» надо было еще и позаботиться о жилье — общежития при монастыре не было. Некоторые жили в кельях у знакомых монахов, другим приходилось платить за угол в городе. Бумага, о которой Ломоносов специально упоминает, тоже стоила дорого. Вместо карандашей использовали свинцовые палочки, которые делали из расплющенной дроби.

Лекции продолжались в среднем часов пять в день, остальное время отводилось для самостоятельных занятий. Занятия продолжались и во время летних каникул (15 июля — 1 сентября), хотя и в более свободном режиме. Дважды в месяц ученикам устраивался выходной — не по календарю, а по погоде. Если на дворе стоял солнечный день, школяры собирались под окнами ректора и просили: «Reveredissime Domine Rector! Recreationem rogamus!» («Почтеннейший господин ректор! Просим отдохновения!») После совещания с префектом ректор мог удовлетворить просьбу, при условии, «чтобы гуляние было с

играми честными и телодвижными».

Помимо собственно учебных занятий в академии устраивались театрализованные представления на библейские сюжеты, а для старшекурсников — философские и богословские диспуты, которые, впрочем, также представляли собой нечто вроде театральной постановки: реплики были расписаны заранее. Наконец, в распоряжении учеников находилась монастырская библиотека. Как свидетельствуют первые биографы Ломоносова, он любил там рыться, в то время как его товарищи «проводили время в резвости».

Первоначально основу библиотеки составляли книги из личных собраний Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, всего 603 фолианта на латинском, греческом, польском и немецком языках. В основном это были учебники (например, 23 экземпляра латинской грамматики Эммануила Альвара), словари и богословские труды. Были там, однако, и некоторые римские классики — Тит Ливий, Цицерон, Плавт, Плиний Младший — и еще несколько более или менее случайных сочинений: «Книга письменная летописательная Киевского княжества», вирши киевского архиепископа и пиита Лазаря (Барановича) и др.

Вторую, численно меньшую (385 книг), но качественно лучшую часть собрания составляли книги, оставшиеся от Гавриила (Бужинского), архиепископа Рязанского, и переданные в библиотеку академии (префектом которой Бужинский некогда был), «ради всеконечной ее скудости», в октябре 1731 года. Приемом и описью библиотеки ведал Тарасий Посников.

Библиотека Бужинского включала, прежде всего, неплохую коллекцию античных авторов: здесь были Гомер, Гораций, Вергилий, Теренций, Сенека, Фукидид. Разумеется, словари и учебники иностранных языков также были собраны несравнимо полнее, чем у Симеона и Сильвестра. Но особенное место занимала современная западная научная литература, прежде в библиотеке академии отсутствовавшая. Большинство книг были написаны по-латыни или на новых европейских языках, некоторые успели при Петре издать в переводе на русский. В библиотеке академии Ломоносов мог познакомиться с юридическими сочинениями Гуго Гроция и Самуила Пуффендорфа, с «Государем» Макиавелли, с космологическими трудами Галилея и «Началами философии» Декарта.

Кроме того, Ломоносов, как прочие «спасские школьники», имел право пользоваться библиотекой при типографии. Едва ли у него была возможность покупать книги, но он, без сомнения, часто посещал Спасский мост, соединявший Кремль и Китай-город: именно там, на Спасском мосту, в те годы велась

разнообразная книжная торговля. Лучшей считалась лавка Василия Киприянова. Киприянов был одним из самых образованных и ярких людей в тогдашней Москве. В свое время он основал первую в России гражданскую типографию (в которой, в соответствии с потребностями технократической Петровской эпохи, издавал в основном математические труды и географические атласы), был библиотекарем Навигацкой школы и подлинным составителем так называемого Брюсового календаря[24]. На старости лет, в новой, послепетровской России он оказался не востребован государством и занялся частным торгом. В лавке Киприянова пытливый юноша мог часами рыться в недоступных его кошельку книгах (хозяин, бывший библиотекарь, относился к этому снисходительно); может быть, ему временами перепадали «чай и кофь, вареные с сахаром», которыми угощали посетителей.

А тем временем Михайле миновал двадцать один год, двадцать два, двадцать три. По представлениям той эпохи — возраст уже довольно зрелый. В настоящем — полуголодное существование, долгое, по несколько лет, изучение наук, на которые ему, с его способностями, нужно было куда меньше времени. Проходить курс ускоренно, как в «фаре» и «инфиме», в старших классах было невозможно, а на многочисленные вопросы, возникавшие при чтении книг из библиотеки Бужинского, у академических преподавателей ответа не было. А какова перспектива? Перед глазами Ломоносова были примеры Посникова, Буслаева и других неприкаянных интеллектуалов. Образование отнюдь не открывало дорогу к церковной карьере. Священнические места открыто продавались, и ученейший богослов, не имеющий ни денег, ни влиятельных родственников, не мог рассчитывать на сколько-нибудь хороший приход.

Вне церкви тоже возможностей было мало. Отучившись несколько лет в академии, изучив латынь, можно было уйти из нее и поступить, скажем, в хирургические или аптекарские ученики. Жалованье в Московском госпитале было примерно такое же, как в академии (рубль в месяц), но на казенном коште и с казенным жильем. Но и это был тупик. Самое большее, что в отдаленной перспективе улыбалось ученику без университетского диплома, — должность «хирурга», то есть младшего лекаря, помощника, ассистента. К тому же немецкие врачи и аптекари больше доверяли ученикам-соотечественникам и охотнее продвигали их. Оставалась канцелярская, приказная служба. Но уж в «приказные крысы» Ломоносова точно не тянуло.

Понятно, что в этих условиях недоучившиеся «спасские школьники» хватались за любую вакансию. Время от времени

такие вакансии открывались. В 1733 году Ломоносову был, по его свидетельству, предложен приход в Кеми, но он отказался. Однако в следующем году он едва не стал священником.

В начале 1734 года обер-секретарь Сената И. К. Кириллов подал на высочайшее имя «изъяснение о Киргиз-Кайсацкой и Каракалпакской Ордах». «Орды» эти, то есть союзы кочевых скотоводческих племен, территориально и этнически соответствующие нынешним Казахстану и Каракалпакии (северо-западной части Узбекистана, примыкающей к Аральскому морю), как раз в это время согласились на «покровительство» России. Кириллов предлагал приступить к решительной колонизации края. На реке Ори предполагалось построить большой город (он-таки был основан и получил название Оренбург), на Аральском море — порт или, по крайней мере, пристань под российским флагом. Следующий этап — наладить торговлю с азиатскими державами и т. д. Так начиналось продвижение России вглубь Центральной Азии, которое завершилось полтора века спустя походами Скобелева и Кауфмана.

Иван Кириллович Кириллов (Кирилов) (1695–1737) был человеком того же типа, что и Татищев: государственный чиновник — по должности и убеждению, ученый — по призванию. Правда, по происхождению он был не старинным дворянином, а поповичем, и «шляхетство» свое выслужил на скромной подьяческой службе. Ему принадлежит первый отечественный статистический справочник — «Цветущее состояние Всероссийского государства…» (1727), под его руководством составлен первый географический «Атлас Всероссийской империи» (1734). Кириллов сыграл и важную роль в организации Второй Камчатской, она же Великая Северная, экспедиции Витуса Беринга, среди участников которой было и несколько недавних «спасских школьников», в том числе Степан Крашенинников.

Наряду с другими специалистами Кириллов предполагал включить в состав своей Оренбургской экспедиции «ученого священника», «понеже он нужен в таком новом месте и между многим махометанским и идолотарским народом для проповеди слова Божия и наставления желающих св. крещения». Первоначально на эту вакансию намечался Михайло Красильников, уже не очень молодой 35-летний выпускник Славяно-греко-латинской академии. Но Красильников, утвержденный на должность 18 июля 1734 года, в последний момент ехать в глухую степь отказался. Тогда Кириллов остановился на другом кандидате — учителе Вологодской школы при архиерейском доме Николае Герасимовиче Соколовском, выпускнике Киево-Могилянской академии. Но отчего-то Синод

настаивал, чтобы священник в экспедиции Кириллова был «из московских церквей», а буде из попов Первопрестольной желающих не найдется — «из учащихся в Московской Академии». Священников, удовлетворяющих условиям Кириллова, в Москве нашлось шестеро, и никто из них ехать на реку Орь не захотел: у них уже были приходы, семьи, верный кусок хлеба. 29 августа был направлен запрос в Спасские школы, и уже через три дня ректор рапортовал, что «школы риторики ученик Михайло Ломоносов» готов ехать со статским советником Кирилловым. В тот же день (2 сентября) Кириллов провел собеседование с юношей и доложил, что «тем школьником по произведении его в священники он будет доволен». В тот же день Кириллов покинул Москву, сообщив, что «для принятия и отправления того священника оставит в Москве афицера, а о даче ему жалования, подвод и прогонных денег в Штаб-контору промеморию». Кроме Ломоносова в экспедицию предполагалось отправить еще четырех младших учеников Спасских школ «для обучения ботаники, аптекарскому, лекарскому, живописному и другим наукам».

В Кеми Ломоносов оказался бы среди знакомых мест и знакомых людей. Но это было бы возвращение в прежнюю жизнь едва ли не с потерей статуса: лучше быть сыном судовладельца, в будущем — состоятельным, «хорошим» человеком, хозяином, чем сельским попом из недоучившихся школяров. Орская степь — это была полная неизвестность. Это и привлекало юношу…

Оставались рутинные бюрократические процедуры. Тут-то и случилось неожиданное. Или — вполне ожидаемое…

Четвертого сентября Ломоносов был «в ставленическом столе (Славяно-греко-латинской академии. — *В.Ш.*) допрашивай» и показал, что «отец у него города Холмогоры церкви Введения пресвятыея Богородицы поп Василей Дорофеев, а он Михайла жил при отце своем; а кроме того нигде не бывал, в драгуны, в солдаты и на работу Ея Императорского Величества не записан… от перепищиков написан действительного отца сын и в оклад не положен…». Единственное препятствие — «токмо он Михайла еще не женат…» (священник, если он, конечно, не собирался постригаться в монахи, должен был жениться до принятия сана — на ком придется, коли нет в запасе избранницы. Но Михайло был и на это согласен!). «А расколу, болезни, глухоты и удесах повреждения никакова не имеет; и скоропись пишет». И, наконец, заключительное суровое условие: «буде я на сем допросе сказал что ложно, и за то священного чина будет лишен, и пострижен и сослан на жестокое подначальство в дальний монастырь».

Михайло сперва не принял эту угрозу всерьез. Он уже знал, что в Спасских школах вообще лучше быть поповичем, чем

дворянином, и уж тем более это удобнее для принятия духовного сана. Он был убежден, что никто ничего проверять не будет. Ведь три года назад не проверяли. Но на сей раз юноше пришлось иметь дело не с благожелательным ректором Копцевичем, а с въедливым представителем Синода. Может быть, в каких-то внутренних бумагах академии Ломоносов числился дворянским сыном и несовпадение данных остановило внимание церковных «кадровиков»? Так или иначе, в тот же день Московская Синодального правления канцелярия подала в Камер-коллегию (орган, ведавший налогообложением и переписями населения) запрос: «…города Холмогоры церкви Введения пресвятыя Богородицы поп Василей Дорофеев и при нем попе сын его Михайло… при той церкви действительными ль написаны?»

О запросе стало известно самому Ломоносову — и он, не дожидаясь последствий, во всем признался: «что он не попович, а дворцовой крестьянский сын», что при поступлении в академию обманом назвался сыном дворянина… «А что он в ставленническом столе сказался поповичем, и то учинил с простоты своей… А никто его Ломоносова, чтоб сказаться поповичем, не научал».

Вместо Ломоносова ехать с Кирилловым вызвался ученик школы богословия Стефан Левитский, но столкнулся с препятствием: как и Ломоносов, он был не женат, а срочно подобрать невесту не смог: «…за отдалением от Москвы оной Оренбурхской экспедиции в жены никто не дает». В конце концов Кириллову пришлось завлекать священника повышенным жалованьем и солидным (200 рублей) подъемным пособием. На эти условия соблазнился священник Антипа Мартемьянов. Он и отправился в новосозданный Оренбург.

Наш герой остался на прежнем месте: его простили. В Оренбургскую экспедицию не пустили, но и из академии не выгнали. Легенда, увековеченная в первой биографии, приписывает это покровительству одного из могущественнейших людей той эпохи. «Покойный новгородской архиерей Феофан Прокопович, в Киеве его узнав и полюбя за отменные в науках успехи, призвал к себе и сказал ему: „Не бойся ничего; хотя бы со звоном в большой Московской соборный колокол стали тебя публиковать самозванцем, я твой защитник“». Но Прокопович с 1732 года жил в Петербурге и в Москву не приезжал, да и в Киев тоже. А вот о том, был ли в Киеве Ломоносов, мнения существуют разные.

Как утверждает «Академическая биография», Ломоносов, «побуждаемый жадностью к наукам, прибегнул к архимандриту с усильною просьбою, чтоб послал его на один год в Киев учиться

философии, физике и математике, но и в Киеве, против чаяния своего, нашел одни пустые словопрения Аристотелевой философии: не имея же случаев успеть в физике и математике, пробыл там меньше года, упражняясь больше в чтении древних летописцев…». Штелин, основывавшийся на рассказах самого Ломоносова, датирует поездку в Киев 1733 годом.

Киево-Могилянская академия была старейшим высшим учебным заведением Российской империи. Основанная в 1632 году по инициативе известного Петра Могилы, она официально получила статус академии лишь в 1701-м (до этого именовалась Киево-Могилянской коллегией); однако для Спасских школ образцом был именно Киев. С киевской коллегией и академией связаны имена таких писателей и ученых, как Лазарь (Баранович), Кирилл Старовецкий-Транквилион, Иннокентий (Гизель), Димитрий Ростовский (Туптало), Стефан (Яворский). Феофан (Прокопович) в молодости, до вызова в Москву, был ректором Киево-Могилянской академии. Поскольку он интересовался естественными науками и математикой (в числе оставшихся по его смерти вещей были земной и небесный глобус, компас, секстант, микроскоп и прочие не очень типичные для священнослужителя предметы), при нем и в академии некоторое внимание уделялось этим дисциплинам. Но это время давно миновало — в 1730-е годы в Киеве учили тому же, чему и в Москве, и так же, как в Москве. Ломоносову не понадобилось много времени, чтобы заметить это. Кроме того, киевские ученики находились в еще более бедственном материальном положении, чем московские: им попросту приходилось просить милостыню.

Но когда же имела место его поездка — если, конечно, ее не выдумал зачем-то на склоне лет сам Ломоносов или после его смерти Штелин? Нет никаких данных о пропусках им (ни в 1733 году, ни позднее) занятий в Славяно-греко-латинской академии, нет Ломоносова и в списках учеников академии Киево-Могилянской. А. А Морозов предполагает, что путешествие в Киев могло состояться в июле — августе 1735 года, во время летних каникул (вакаций).

А уже осенью этого года судьба сама неожиданно предложила молодому человеку, мучительно ищущему способ изменить свою судьбу, выход из положения.

5

Тринадцатого октября 1735 года появился указ Сената,

предписывавший «из учеников, которые есть в Москве в Спасском монастыре, выбрать в науках достойных 20 человек, и о свидетельстве их в науках подписаться ректору и учителям, и выслать в Санкт-Петербург в Академию наук, дав им ямские подводы и на них прогонные деньги».

Предыстория этого указа такова.

Как известно, Санкт-Петербургская академия наук, с гимназией и университетом при ней, была учреждена указом Петра I 28 января 1724 года. (По утвержденному Петром проекту она именовалась Академией художеств и наук, но с 1726 года это название ни в каких документах не употреблялось.) Немногие просвещенные сподвижники Петра, в том числе, к примеру, Татищев, с сомнением относились к самой идее создания академии: при недостатке начальных школ толку от такой академии, укомплектованной иностранными учеными, будет, казалось им, немного. Но Петр торопился: силы его были на исходе, и он стремился оставить своим преемникам как можно больше готовых учреждений, которые можно будет лишь поддерживать. «Я имею жать скирды великия, — говорил он Татищеву, по свидетельству последнего, — только мельницы нет, да и построить водяную воды поблизости нет, а есть воды довольно в отдалении, токмо канал делать мне уже не успеть, для того что долгота жизни ненадежна; и для того зачал перво мельницу строить, а канал велел только зачать, которое наследников моих лучше понудит и к построенной мельнице воду провести…»

Петровские эмиссары устремились по всей Европе в поисках ученых, согласных приехать в Россию, в поисках научных инструментов, коллекций и т. д. Денег на все это Петр не жалел. Главным переговорщиком был еще молодой тогда человек по имени Иоанн Даниил Шумахер.

Шумахер родился в 1690 году, смолоду изучал в Страсбургском университете богословие и право, и даже — как ни странно звучит это с учетом дальнейшей его биографии — писал стихи, и не без успеха. В 1714 году он приехал в Россию. Здесь служил сперва секретарем Медицинской канцелярии и помощником придворного лекаря, потом — библиотекарем Императорской библиотеки. Переговоры, которые он вел в Германии, оказались удачными. Правда, именно того ученого, на которого Петр особенно рассчитывал, — Христиана Вольфа, философа и физика, ученика Лейбница — соблазнить Петербургом так и не удалось. Но зато Вольф, которого искренне увлекали преобразовательные проекты «царя московитов», приложил, по просьбе своих русских корреспондентов, огромные

усилия, чтобы склонить к переезду в Россию других, более молодых и легких на подъем, но уже заслуженных ученых. В Россию приехали уже стяжавшие себе славу математик Я. Герман, философ Г. Бюльфингер, историк Г. Байер, астроном Ж. Делиль. Еще больше было талантливой молодежи, для которой Петербург мог стать началом блестящей академической карьеры. (Может быть, примерно с таким же чувством ехали молодые советские кандидаты наук 1960-х годов в новосибирский Академгородок.) Достаточно вспомнить лишь четыре имени: Николай Бернулли[25] и его брат Даниил, а вслед за ними — совсем юные Леонард Эйлер и Иоганн Георг Гмелин… Из этих смелых молодых людей вышли великие европейские ученые, составившие славу своего века.

О том, как происходила «вербовка», дают представление воспоминания историка Герарда Фридриха Миллера. В своем сугубо официальном труде, посвященном Санкт-Петербургской академии наук, Миллер позволяет себе личную нотку, когда речь заходит о его юности, о его прибытии в Петербург.

Молодой человек учился в Лейпцигском университете. «Здесь оказался я под началом гофрата Менке, и пользовался великолепной его библиотекой, и через него же познакомился я с господином Колем, который собирался в Петербург. Менке и Коль начали меня убеждать, что и я могу поехать в Петербург адъюнктом[26], на что я без согласия отца моего решиться не мог. Я попросил Коля, чтобы он, по прибытии в Петербург, написал мне, и коли ему там понравится, можно было бы прислать мне официальное приглашение от президента академии. Я же предполагал еще попытать счастья в Лейпциге; и поскольку многие приходили туда позднее и рады донельзя были магистерской степени, так же и я, исполнив все положенное, уже готов был получить звание бакалавра, как там водилось. И тут получил я письмо от лейб-медика Блюментроста, каковой, основываясь на словах Коля и не сомневаясь, что и у меня то же намерение, прислал мне денег на дорогу. На такое предложение нечего мне было более возразить, хоть мой отец и писал мне, что провожает меня, как в могилу. Столь далеким казался путь в Россию!»

Через пять лет, двадцати пяти лет от роду, недоучившийся лейпцигский бакалавр стал в Петербурге профессором. Он пережил всех, прибывших вместе с ним в 1725–1726 годах в Петербург, и умер в 1783 году. Годом раньше не стало Даниила Бернулли, но он, в отличие от Миллера, жил в России совсем недолго.

Президентом Академии наук стал Лаврентий Лаврентьевич

Блюментрост, потомственный лейб-медик, учившийся в Галле и Оксфорде и заслуживший особую милость Петра приобретением анатомической коллекции Рюйша, доселе щекочущей нервы посетителей Кунсткамеры. Смерть царя-преобразователя не помешала открытию академии: Екатерина I, сама едва знавшая грамоту, уважала волю мужа. Картина с изображением этого собрания (на котором присутствовали все члены императорской фамилии и главные сановники) ныне украшает Менделеевскую гостиную перед большим конференц-залом академии. Первоначально академия располагалась в доме Шафирова на Петербургской стороне (хозяин дома, попавший в 1723 году в опалу, после смерти Петра был почти прощен, но жил в Москве; ему еще предстоял новый карьерный взлет при Анне Иоанновне). В июле 1725 года в распоряжении академии оказался недостроенный дворец царицы Прасковьи Федоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича (хозяйка дворца умерла в 1723 году, не успев в нем поселиться). С 1728 года туда переехала Академическая гимназия; здесь же проходили собрания, «конференции» академии. Дворец находился на Васильевском острове, куда к тому времени переместился с Троицкой площади центр города. Рядом с этим дворцом, начиная с 1718 года, строилось здание Кунсткамеры, тоже принадлежавшее академии.

Но уже в конце 1720-х годов начались трудные для академии времена. 6 мая 1727 года (в день прибытия в Петербург Эйлера) умерла Екатерина I. Вскоре опала постигла Меншикова, и, наконец, в 1728 году двор уехал в Москву. Вместе с ним отправился Блюментрост (несколько позже в опалу попал и он: между 1725 и 1733 годами умерло семь августейших особ, в том числе три государя; естественно, велик был соблазн обвинить в этом врача). Академия была покинута на попечение Шумахера, назначенного советником Академической канцелярии. Вслед за тем отпущенные средства стали поступать с перебоями, жалованье академикам задерживали на несколько месяцев. Профессора еле дожидались истечения пятилетнего контракта, чтобы покинуть Петербург. Шумахер, чтобы заполнить вакансии, в 1730 году добился производства в профессорское звание молодежи: Эйлера, Крафта, Гмелина, Миллера. Кандидатура последнего вызвала у профессоров сомнения (наукой как таковой он до того времени занимался мало, за исключением составления экстрактов из иностранных ученых работ), но Шумахер настоял на своем. Однако уже через год-другой он неожиданно начал травить и притеснять своего бывшего протеже.

Академии пришлось идти на самые фантастические предприятия, чтобы поддерживать свое существование: например,

получать в Берг-коллегии железо, якобы для починки кровель, и сбывать его на сторону. Именно в это время Шумахер смог в полной мере проявить свои качества: и, безусловно, положительные (хозяйственную сметку, административный инстинкт), и не столь привлекательные. Именно он завел при Академии наук отличную по тем временам типографию, переплетную, граверную и камнерезную мастерские. Некоторые гравюры, созданные в академических мастерских, прекрасно сохранились — например, знаменитые петербургские виды Михаила Махаева. Посторонние затраты, разумеется, вызывали недовольство ученых, с задержкой получавших жалованье, не имевших возможности приобретать необходимые инструменты и т. д. Однако мастерские не только способствовали развитию ремесел и искусств в России, но и дали академии возможность в трудные годы получать дополнительный доход от частных заказов, а после возвращения двора в Петербург вновь добиться полноценного государственного финансирования. Анне Иоанновне и Бирону, которого упросили принять на себя звание «протектора» академии, разумеется, интересна была, прежде всего, внешняя, показная сторона ее деятельности: анатомические, минералогические, этнографические собрания Кунсткамеры, книги с золочеными корешками в роскошных шкафах, картины и гравюры, и в особенности — фейерверки и придворные празднества. Здесь Шумахер знал толк. И вот результат: исправное поступление денег в рамках сметы, а сверх того — солидные (до 110 тысяч рублей) дополнительные денежные пожалования, монополия на издание переводных книг и торговлю книгами иностранными.

Самой академии толку от этого было, однако, меньше, чем можно было бы ожидать. Шумахер, еще недавно скромный библиотекарь, почувствовал себя хозяином над именитыми профессорами и блестящими коллекциями академии. Он завел огромный штат канцеляристов, кунсткамерных, типографских и прочих служителей, огромный настолько, что денег на жалованье опять не хватало. «Академические служители такую претерпевали нужду, что принуждены были брать жалование книгами и продавать сами, получая вместо рубля по семидесяти копеек и меньше…» Это уже свидетельство самого Ломоносова. Но ни барон Герман Кейзерлинг, ставший президентом Академии наук в 1733-м, ни его (с 1734-го) преемник, курляндский барон Иоганн Корф, называвший Шумахера «неученым сочленом и канцелярским деспотом», обойтись без этого деспота не могли. Он держал в руках все нити управления академией. Кейзерлинг и Корф были образованными людьми, но не учеными и не

администраторами, а придворными. Свое влияние они использовали для получения средств. Что происходило с этими средствами дальше, в деталях знал только господин советник Академической канцелярии.

Что же касается профессоров, то Шумахер управлял ими, искусно стравливая между собой «стариков» и молодежь. Уже в первые годы существования Академии наук ее работа была омрачена затяжным конфликтом между Якобом Германом и Бильфингером — с одной стороны, и Даниилом Бернулли — с другой. Однако, покинув Петербург, ученые быстро помирились.

В 1734 году достроили Кунсткамеру. На первом этаже здания разместились минералогические и анатомические коллекции, второй и третий этажи заняли административные помещения и библиотека. В башне располагалась обсерватория. Научные «конференции» по-прежнему проходили во дворце Прасковьи Федоровны, там же оставались гимназия и Географический департамент. Залы Кунсткамеры были открыты для желающих, но часто и те, кого любопытство приводило в дом с башенкой, мало понимали суть деятельности академиков. Чужеземцы, занимающиеся звездочетством и хранящие в спирту зародыши нерожденных младенцев и двухголовых телят, были в глазах большинства петербуржцев просто заморскими колдунами.

Правда, до известной степени способствовала знакомству с происходящим в академии новосозданная газета «Санкт-Петербургские ведомости», которую редактировал молодой Миллер — и не столько даже сама газета, сколько «Исторические, географические и генеалогические примечания…» к ней. Молодой адъюнкт придумал блестящий ход: в связи с очередным газетным сообщением (переведенным по указанию Миллера из немецкой газеты кем-нибудь из его русских учеников) доносить до любознательного русского читателя всю имеющую отношение к делу информацию и таким образом знакомить его с современным миром, современной наукой и, в частности, с трудами академии. Получился своего рода журнал «Хочу всё знать». Разумеется, временами 23-летний Миллер резвился: в связи с эмиграцией в Виргинию группы брауншвейгских религиозных диссидентов подробно обсуждался вопрос, была ли незамужняя английская королева Елизавета, в честь которой названа колония (virgin — девственница), девственницей на самом деле. Но в то же время — особенно после того, как к сочинению «Примечаний» привлечены были и другие академики, — в них часто появлялись действительно полезные и интересные сведения, в том числе и на близкие впоследствии Ломоносову-ученому темы: «О костях, которые из земли

выкапываются, а особливо о так имянуемых мамонтовых костях», «О северных сияниях», «О зрительных трубах»… Авторы статей не просто излагали факты: они сообщали читателю разные научные гипотезы, касались еще не решенных передовой современной наукой проблем. Например, нахождение в Сибири мамонтовых костей заставило ученых сочленов предположить, что именно северные страны — родина слонов (эта идея была, как известно, возрождена в сталинские годы). Другие гипотезы (слоны пришли в Сибирь с войском Александра Македонского или были принесены волнами Всемирного потопа) отвергались. Касаясь вопроса о происхождении грома и молнии, «Примечания» солидаризовались с теми «новыми фисиками», которые считали, что «гром свое происхождение из облаков имеет», и задавались вопросом: «Какая материя в облаках имеется, от которой такое зажжение и треск, и от того часто убиение и сожжение случается?»

Хуже всего обстояло дело с тем направлением деятельности, для которого академия, собственно, в первую очередь и создавалась: с обучением русского юношества. Согласно утвержденному Петром проекту при Академии наук предусматривались университет и гимназия. Вольф прекраснодушно полагал, что благодаря педагогической деятельности приехавших в Россию по его рекомендации европейских ученых «уже через несколько лет» их место займут русские. Увы! Лишь в 1733 году первый русский, Василий Евдокимович Адодуров (Ададуров), был произведен в адъюнкты математики. Вслед за ним этой же чести удостоился Тредиаковский, который, сдав экзамен, был признан достойным звания адъюнкта элоквенции (то есть филологии, словесных наук). Однако затем ему предложили равноценную по рангу и более денежную должность секретаря академии. Фактически обязанности Тредиаковского заключались в сочинении стихов на случаи придворной жизни, в переводе стихотворных произведений профессоров-иностранцев и «совершенствовании русского языка». О том же, чтобы подготовить настоящих ученых из числа «местных кадров», особенно никто не заботился. Первые иностранные профессора привезли своих учеников, которым и продолжали читать лекции. Разумеется, желающие местные юноши, знающие латынь, могли на этих лекциях присутствовать. В их числе были, в частности, Антиох Кантемир и только что помянутый Адодуров. Всего в первые годы в академии обучалось 38 студентов, из которых русских было семь. Гимназией в первые годы существования ведал все тот же неутомимый молодой Миллер, учеников там было много, и учили их неплохо. Но после

переезда двора в Москву, а особенно после отъезда за границу старших профессоров (вместе с их учениками) университет фактически закрылся. Пришла в упадок и гимназия, разделившаяся на две школы — «немецкую» (начальную) и «латинскую». Обеими ведали случайные люди, а профессор истории Готлиб Зигфрид Байер, формально ставший с 1736 года во главе гимназии, уделял своим обязанностям, видимо, мало внимания. Миллер сперва уехал на несколько месяцев в Германию, потом, поссорившись с Шумахером, счел за благо отправиться в экспедицию Беринга — подальше от Академической канцелярии. В 1735 году в «немецкой» гимназии учили немецкому языку, начаткам истории и географии, рисованию и танцам. Числилось там 120 человек в возрасте от 6 до 22 лет, из которых дай бог половина в самом деле училась. Многие «отстали без абшида», то есть просто ушли, не подавая рапорта; были среди гимназических «мертвых душ» дворянские недоросли, таким образом уклонявшиеся от обязательной явки на государеву службу. В действительности в гимназии учились дети петербургских иностранцев, с одной стороны, и сыновья солдат, мелких приказных, плотников — с другой. Последние получали от казны месячное пособие в один рубль — примерно такое же, как и «спасские школьники». (Постепенно их становилось все меньше: школы чистили от «подлых».) В старшей, «латинской» гимназии числились 40 человек, но неизвестно, сколько из них учились на самом деле и далеко ли продвинулись они в «высших науках». За редчайшими исключениями, все они были детьми иностранцев, и никто из них не рвался продолжать образование, по крайней мере в России.

Поэтому, когда в 1732 году решено было возобновить университетские занятия, не нашлось иного выхода, кроме как обратиться в ту же Славяно-греко-латинскую академию с просьбой прислать нескольких знающих латынь юношей из числа ее учеников. Прислали двенадцать, в том числе Крашенинникова. Но до чтения лекций дело так и не дошло. Сам Ломоносов в «Истории Академической канцелярии» так описывает судьбы этих первых двенадцати студентов-москвичей: «Половина взяты с профессорами в Камчатскую экспедицию, из которых удался один Крашенинников, а остальные от худого присмотру все испортились. Оставшаяся в Санкт-Петербурге половина, быв несколько времени без призрения и обучения, разопределены в подьячие и к разным делам». Относительно «удавшимся» можно счесть еще и Горланова, который был копиистом при Миллере, а потом преподавал в Академической гимназии латынь. Остальные «испортились» так: один остался в Сибири, другой за пьянство

отдан в солдаты, третий признан неспособным ни к чему, кроме «потрошения птиц, также сохранения и сушения трав», и отстранен от академии.

Было бы все же не до конца справедливо возлагать ответственность за все эти безобразия только на Шумахера и Академическую канцелярию. В России не было привычки всерьез учиться, не было достаточных стимулов для учения, не было социальной ниши для ученых людей. Дворяне (те, кто хотел действительно получить хоть какое-то образование, а не просто отсидеться от службы) предпочитали отдавать своих детей в Сухопутный шляхетный корпус, открытый в 1731 году в бывшем Меншиковом дворце, где им давали минимальные знания и умения, необходимые в армии и при дворе. Латынь, элоквенция, физика, естественная история и прочее к ним, очевидно, не относились[27], а карьера профессора (не дающая ни чинов, ни прочного статуса) мало прельщала юных аристократов. Для священников существовала Славяно-греко-латинская академия (которая тоже, как мы видели, не ломилась от желающих учиться). Оставались выходцы из податных сословий и из мелкой служилой среды, но стремление к получению образования с их стороны государством, как мы уже замечали, особо не поощрялось, да и академическое начальство относилось к ним не без предубеждения.

Через три года, когда барон Корф решил все же организовать положенный по штату университет, «латинская гимназия», видимо, по-прежнему не могла предложить достойных (и желающих учиться!) абитуриентов. Ученый барон планировал переманить из Сухопутного корпуса тридцать молодых «шляхтичей» — но это оказалось совсем безнадежным делом. В конце концов решили выписать еще одну партию знающих латынь молодых людей из Москвы. Славяно-греко-латинская академия на запрос Сената согласилась выделить, как в 1732 году, лишь двенадцать юношей (учеников школ пиитики, риторики, философии и богословия) вместо двадцати. Что же до остальных, то, как докладывал «архимандрит и ректор Стефан», «еще 8 школьников нет откуда выбрать, понеже в вышеозначенных школах учеников всех налицо немного; а между тем не вси в понятности и надежде равны и к сей посылке достойны. <…> А таковой малости школьников, что в вышших школах, наипаче в философии и богословии, причина, что до тых школ мало доходят, понеже инии посылаемы бывают в Санктпетербург для изучения ориентальных диалектов, и для Камчадальской экспедиции, инии в Астрахань для наставления калмыков, инии в Сибирскую губернию и с действительным статским советником

Василием Татищевым, инии в Оренбургскую губернию и с статским же советником Иваном Кирилловым, инии же берутся и в Московскую типографию, и в Монетную контору, многие и бегают, которых и сыскать невозможно; еще же суть, что и по разным приказам помещаются, а искомые укрываются».

Вместе со Стефаном эту докладную подписали преподаватели соответствующих школ: учитель философии, он же префект Антоний (Кувечинский), переведенный в «учителя риторики» Кветницкий и новый учитель пиитики — Иона (Лещинский).

Ломоносов, по свидетельству биографов, вызвался ехать в Петербург добровольно, «упросив архиерея» включить его в состав группы. Вместе с ним поехали Василий Лебедев, Яков Виноградов и Яков Несмеянов из школы богословия, Александр Чадов, Дмитрий Виноградов, Иван Голубцов из философии, Прокофий Шишкарев и Симеон Старков из риторики, Алексей Барсов, Михайло Коврин и Никита Попов из пиитики (так гласили, по крайней мере, документы). Кажется, лишь трое из двенадцати новоявленных студентов добрались до настоящей науки: Ломоносов, Никита Попов и Дмитрий Виноградов. Два последних были, кстати, самыми юными из посланных в Петербург «спасских школьников»: Виноградову пошел лишь шестнадцатый год, Попову не было пятнадцати. А 24-летний Ломоносов был старше всех.

6

В Петербург группа прибыла как раз в Новый год. Через два дня, 3 января 1736 года, двенадцать студентов поступили на содержание Академии наук. Как выглядел город в то время? Вот как описывает его П. фон Хавен, прибывший в русскую столицу спустя семь месяцев после Ломоносова.

> «По обеим берегам реки стоят прекраснейшие каменные здания, все одного типа, четырехэтажные и окрашенные в желтый и белый цвет. Не менее получаса плывешь вверх по Неве, пока наконец не подплываешь к корабельному мосту, ведущему с Дворцовой стороны на Васильевский остров. Однако самое прекрасное в панораме, постоянно находящейся перед глазами, — это крепость, представляющая собой не меньшее украшение, чем находящийся внутри нее кафедральный собор…»

Плашкоутный (наплавной) мост, который имеет в виду фон Хавен, находился к западу от Адмиралтейства, близ Исаакиевской

церкви (маленькой церкви, на месте которой в следующем столетии вырос огромный собор). За переход моста брали с пешехода копейку, а с подводы — пятак. Но зимой такие мосты, конечно, снимали: Неву переходили по льду, который был тогда каждую зиму толст и прочен. Когда весной шел ледоход, на набережной стоял такой грохот, что разговаривать было невозможно. В эти дни (и еще несколько недель поздней осенью) остров (который в конце правления Петра предполагали сделать центром города) был отрезан от других районов. К тому же он сильнее всего страдал во время наводнений. Потому Анна Иоанновна все-таки решила устроить свою новую резиденцию на левом берегу Невы. За несколько месяцев до приезда Ломоносова молодой архитектор-итальянец «граф Варфоломей Расстреллий» начал перестраивать частные дома близ Адмиралтейства под большой императорский дворец. Получилось не слишком красиво (сам же Растрелли спустя пятнадцать лет снесет свои ранние строения и начнет возводить на его месте нынешний Зимний дворец), но просторно. Анне Иоанновне с ее огромным штатом егерей, карликов и шутов было где развернуться. Пока, впрочем, государыня продолжала жить в старом дворце (на месте нынешнего Эрмитажного театра). Дворец на Васильевском острове, который начали строить в первые месяцы правления Петра II, так и стоял недостроенным. К западу от него начинался Меншиков дворец, в котором разместили Сухопутный шляхетный корпус; к востоку от недостроенного дворца перпендикулярно Неве тянулись корпуса Двенадцати коллегий. Перед ними начиналась огромная площадь. С севера ее ограничивали торговые ряды, с востока — Нева, делящаяся в этом месте на два рукава, с корабельной пристанью на излуке, с юга — зеленый дом с башенкой, и другой, примыкающий к нему — бывший дворец царицы Прасковьи. В этих двух домах, как уже сказано выше, и располагалась Академия наук.

Новоявленные студенты сперва жили у академического эконома Матвея (Матиаса) Фельтена, тестя Шумахера и отца знаменитого архитектора. На содержание и обучение каждого студента Сенат определил 150 рублей в год. Однако на деле выделено было лишь 360 рублей на всех — «до указу», и лишь в конце февраля. Месяцем раньше Корф распорядился выдать из собственных средств академии сто рублей на пропитание студентов и «на покупку им постелей, столов и стульев». В качестве общежития академия арендовала подворье «новогородских семи монастырей» на нынешней Первой линии.

Студенты были поручены Адодурову. Молодой адъюнкт был почти их ровесником (ему пошел двадцать седьмой год) и близок

им и по происхождению (из поповичей, начинал обучение в Новгородской семинарии). Проявив в молодости математические способности, снискав благосклонное внимание Бернулли, он впоследствии с успехом занимался русской филологией, лексикографией и переводами (с русского на немецкий и с немецкого на русский). Уже в 1731 году 22-летний Адодуров составил и выпустил латинско-русско-немецкий словарь с приложением русской грамматики (представлявшей собой, впрочем, лишь сокращенный пересказ устаревшей грамматики Смотрицкого). Шесть лет спустя он выпустил учебник русского языка для немцев. В академии многие получали профессорское звание за меньшие заслуги. Но Адодуров профессором Петербургской академии наук так и не стал. Его тянуло ко двору и в политику: в 1740 году он привлекался по делу Волынского (которому переводил на немецкий какие-то «челобитные»); в 1744-м он был назначен преподавать русский язык будущей Екатерине II, в 1758-м сослан в Оренбург за политические интриги в пользу своей ученицы, а по ее воцарении, естественно, достиг вершины своей карьеры, став куратором Московского университета, а затем — сенатором. Иностранцы, общавшиеся с ним в поздние годы, восхищались его образованием и манерами — «это русский, давший себе труд поработать над собой». При этом он был достаточно дипломатичен, чтобы покорно сносить самодурство Шумахера и высокомерие немецких профессоров.

Похоже, академическое начальство само не знало, что делать с москвичами. Они должны были учиться в университете, но университета не было! Какое-то время Христиан Герман, учитель гимназии, давал им уроки немецкого, но вскоре под ничтожным предлогом отказался продолжать занятия. Наконец Адодуров составил для них специальную программу обучения, включавшую немецкий язык, математику, историю и географию, совершенствование в латыни (чтение классиков), а также каллиграфию и танцы. Лишь после выполнения этой программы можно было, по мысли адъюнкта, приступать к чтению лекций «по высшим наукам», поскольку никто из присланных молодых людей, по его словам, «не имел твердого основания» в латыни. И это после многих лет обучения в Спасских школах, где латынь была главным предметом! В какой мере справедлив этот отзыв? Не забудем: Ломоносов и Дмитрий Виноградов уже через несколько месяцев успешно слушали лекции (в основном по-латыни) в одном из лучших университетов Европы. Едва ли все остальные были так уж несопоставимо хуже (некоторые — точно не хуже; но об этом чуть ниже…). Даже наименее знающих при желании можно было, вероятно, довести до необходимого уровня

за два-три месяца по-настоящему интенсивных занятий.

Но желания не было. Программу Адодурова никто выполнять не спешил. Тем временем деньги, выделенные на содержание студентов, кончились… Видимо, лишь часть их действительно была израсходована по назначению.

Двадцатого октября бывшие «спасские школьники» по инициативе одного из них, Прокофия Шишкарева, подали жалобу в Сенат: «И како явились мы в той Академии сего 736 года генваря 2 дня, при которой и доныне как без учения, так и без определения находимся, от чего в великую пришли нужду и убожество, так что не только верхнего, но и нижнего не имеем платья…»

Не получив ответа, студенты подали жалобу снова. К тому же они проявили самоуправство, унеся к себе на новгородское подворье давно обещанные им столик и зеркало из личных комнат Фельтена.

Шумахер был не на шутку испуган: отныне ему непросто в очередной раз просить у Сената деньги на содержание студентов и браво докладывать о существовании и образцовом состоянии университета. По свидетельству Ломоносова, советник Академической канцелярии, возвратясь из Сената, «студентов бил по щекам и высек батогами, однако ж принужден был профессорам и учителям приказать, чтобы давали помянутым студентам наставления, что несколько времени и продолжалось, и по экзамене даны им добрые аттестаты для показу…». Факт наказания батогами подтверждается документально. Затем студенты были проэкзаменованы Байером, причем знания троих — Барсова, Попова и Михайлы Гаврилова[28] признаны совершенно неудовлетворительными. Причина проста: Славяно-греко-латинская академия обманула Сенат, прислав под видом учеников класса пиитики начинающих из синтаксимы. Напротив, главный бунтарь, Шишкарев, впечатлил Байера хорошим знанием латинского и греческого языков, знакомством с сочинениями Вергилия, Овидия и Цицерона и собственными поэтическими опытами по-латыни. Вслед за этим все студенты, способные и неспособные, были (по рекомендации Байера) определены… в гимназию, где числились до апреля 1738 года.

Судя по всему, Байер хотел, чтобы москвичи не только усовершенствовались в латыни, но выучились и немецкому, прежде чем их можно будет допустить к слушанию лекций. Затем распоряжением Корфа Голубцову, Шишкареву, Барсову и Лебедеву, проявившим способности к языкам, велено было продолжать совершенствоваться в латыни и немецком, «дабы они при переводе книг… или в гимназии учительми с пользою

употреблены быть могли». Остальных Корф велел выучить как следует математике и астрономии, с тем чтобы они могли служить при обсерватории. Про обучение московских юношей «высшим наукам» никто, видимо, уже и не думал. Однако до мая 1740 года все они числились «студентами» и, вероятно, в это время и впрямь прослушали какие-то лекции. Но содержали их скудно. 12 октября 1738 года молодые люди ходатайствовали о выплате определенной им, но задерживаемой трехрублевой стипендии. 6 ноября, так, вероятно, и не получив обещанных денег, просили Академическую канцелярию оплатить услуги медика, пускавшего пятерым из них кровь. 19 февраля 1739 года они подали, по инициативе по-прежнему неукротимого Шишкарева, прошение об увеличении месячного пособия с 3 до 6 рублей, «понеже не токмо на нужды наши, каково мытье одежды, покупка обуви и прочее, но и на пропитание не хватает». В мае 1740-го они были вновь проэкзаменованы, после чего Попов, Голубцов и Лебедев были определены в переводчики, Барсов — в академические корректоры, прочие оставлены в академии, «дабы они могли быть впредь геодезистами». Чему учили будущих геодезистов и учили ли хоть чему-то — неизвестно. По утверждению Ломоносова, они были в конечном итоге «разопределены по другим местам». Но в начале 1740-х годов все они, еще в студенческом звании, в самом деле состояли при географическом департаменте и занимались вычерчиванием карт.

Ломоносову участвовать в первых русских студенческих беспорядках не пришлось. В октябре 1736 года он уже был далеко от Петербурга. Ему повезло.

Дело в том, что в том же 1735 году, когда решался вопрос об отправке двенадцати учеников из одной академии в другую, энергичный (особенно если дело касалось замыслов, а не их осуществления) Корф списался с известным немецким ученым-минералогом Иоганном Фридрихом Генкелем и попросил его подобрать для России «искусного и знающего горное дело химика». Химик требовался для Камчатской экспедиции: дело дошло до поиска в Сибири полезных ископаемых.

В ответ на предложение Генкель посоветовал послать в Германию нескольких русских молодых людей, знающих основы современной физики, латынь и немецкий, чтобы выучить их всему необходимому. Надо сказать, что западным ученым было выгодно заниматься подготовкой кадров для Российской империи, чего нельзя сказать о тех, кто перебрался в Петербург, или о русских чиновниках. Это естественно: тот же Генкель был лично заинтересован в получении от правительства Анны Иоанновны хорошо оплаченного заказа на подготовку нескольких

русских студентов.

Дальнейшее вновь напоминает театр абсурда. При официальном наличии при Академии наук немецкой и латинской гимназии — в Петербурге практически не находится знающих латынь и немецкий юношей, готовых учиться в Германии нужным для страны наукам. То есть список, представленный Корфом в Сенат, выглядел вполне солидно: в нем фигурировал 31 гимназист (29 иностранцев и двое русских) и с ними еще двенадцать «спасских школьников». Но годным к отправке в Германию сочли лишь одного из гимназистов — Густава Ульриха Рейзера, сына директора Берг-коллегии Викентия Рейзера («рожден в Москве и имеет от роду семнадцать лет»). Товарищами ему были избраны два школяра из Москвы: Дмитрий Виноградов, младший из двух братьев («попович из Суздаля, шестнадцати лет»), и Ломоносов («крестьянский сын из Архангелогородской губернии, Двиницкого уезда, Куростровской волости, двадцати двух лет» — происхождение Михайлы уже никого не волнует, но лета он себе, видно, решил убавить: еще подумают — староват для учебы…). Решение об этом было принято 5 марта 1736 года и утверждено Кабинетом министров 13 марта. Предполагалось, что по окончании курса студенты поедут «для окончания тех своих наук и смотрения славнейших химических лабораторий в Англию, Голландию и Францию».

Но почему именно Ломоносов и Виноградов? Может быть, они вызвались добровольно? А может, показали лучшие успехи в немецком на быстро закончившихся уроках Германа? Впрочем, почти полное незнание немецкого языка двумя из трех студентов не так уж беспокоило академическое начальство и Берг-коллегию: как указывал в донесении в Сенат Корф, «еще в бытность свою здесь чрез три месяца столько научиться могут, сколько им надобно».

Кандидатуры студентов возражения не вызвали. Но тут возникли новые проблемы: Сенат, по докладу Корфа, выделил на проект 1200 рублей в год. Предполагалось, что на каждого студента придется по трети: 250 — на проживание в Германии и книги, 150 — на «компенсации преподавателю» и на разъезды. Однако Генкель лишь за свои уроки в химии и металлургии в течение полутора лет потребовал сумму, соответствующую 1200 рублям, что, как подсчитала Академическая канцелярия, соответствовало 266 рублям 66 и двум третям копейки в год на человека. Концы с концами не сходились. Между тем и Сенат выделить больше уже оговоренных средств не соглашался.

После долгих размышлений у Корфа, Шумахера и берг-советника Рейзера возник новый план: сперва отправить юношей

в Марбург, к Вольфу, «чтобы они усвоили начальные основания металлургии, химии и прочих относящихся сюда наук, к изучению которых здесь не предоставляется случая». Вольф получал 250 рублей в год пенсии от Петербургской академии, а потому, как предполагалось, должен был бесплатно осуществлять «руководство» тремя русскими студентами. А там — к Генкелю (Рейзер предполагал, что если молодые люди появятся во Фрейберге не прямо из Петербурга, знаменитый бергмейстер будет посговорчивее и не потребует за свои уроки больше 300 рублей, а это им — красная цена). А потом, может быть, — в Англию, в Голландию, во Францию…

Так вот Ломоносов оказался на особом положении. Пока его товарищи мыкались «без учения и без определения», он — всю весну и лето — с нетерпением ждал отправки в чужие края. Сенат довольно быстро (к середине июня) выделил потребную сумму, но Шумахер, разумеется, сразу же употребил ее для затыкания очередных дыр в академическом бюджете. Лишь к концу навигации удалось изыскать 900 рублей в компенсацию истраченных, которые и были выданы отправляющимся за границу юношам на руки. Как стало ясно позднее, это был не самый разумный шаг.

Пока что двум «спасским школьникам», видимо, довелось взять несколько уроков физики у профессора Крафта. По всей видимости, Крафт должен был хоть как-то подготовить будущих марбургских студентов к отправке за границу, чтобы Санкт-Петербургской академии не совсем уж ударить в грязь лицом; студенты ему понравились, и 30 августа он писал Вольфу о «трех прекрасных молодых людях», которые отправляются в немецкий университет.

Георг Вольфганг Крафт (1701–1754), автор серьезных учебников «Введение в математическую и естественную географию» и «Краткое руководство для познания простых машин и соответствующих устройств» (по первому из них сам Ломоносов позднее читал лекции), талантливый исследователь, находившийся в курсе самой передовой по тем временам научной мысли, между прочим, первым наладивший в Петербурге метеорологические наблюдения, — в то же время снискал милость Анны Иоанновны составлением гороскопов ей и ее родственникам. Трудно сказать, конечно, в какой мере сам герр профессор верил в астрологию[29]; со студентами он конечно же говорил о другом. В его лаборатории Ломоносов мог впервые услышать что-то об экспериментальной науке, пришедшей на смену схоластическим умствованиям, увидеть настоящие научные инструменты. А лаборатория была богатой — без всяких скидок

на молодость и провинциальный характер Петербургской академии. Как свидетельствуют документы, в ней было около 400 приборов и инструментов (из них 180 относились к механике, 101 — к оптике, 40 — к магнетизму и 25 — к теплоте и метеорологии).

В лаборатории Крафта произошла еще одна важная для последующей деятельности Ломоносова встреча. Сверстник Ломоносова, Георг Вильгельм Рихман, числившийся, как и сам Ломоносов, «студентом» несуществующего университета (но притом проучившийся несколько лет в университетах настоящих, в Йене и в Галле), состоял при профессоре физики в качестве «лаборатора» и помощника. Вероятно, именно в 1736 году состоялось знакомство двух молодых людей. А. А. Морозов предполагает, что на Рихмана была возложена опека направляющихся в Германию молодых людей (которые больше не находились под покровительством Адодурова); может быть, он давал Ломоносову и Виноградову уроки немецкого.

В основном же Михайло (нетрудно себе это представить) гулял по городу (если было чем заплатить за переход по мосту!), любовался строящимися кораблями (знакомая ему, помору, картина), одинаковыми, выстроенными по типовым проектам домиками «для именитых», «для зажиточных» и «для подлых», уходящими ввысь церковными шпилями, пышными охотничьими выездами императрицы-великанши и ее красавца-фаворита. Жители города охотно рассказывали (в том числе и иностранцам) о несметном числе рабочих, умерших на строительстве. Называли невероятные, многократно преувеличенные цифры — двести, триста тысяч погибших… Никто, в том числе и иностранцы, особо не удивлялся: эта широкая, равнинная, малозаселенная страна приучала к большим масштабам. Не смущали эти страшные цифры и школяра-помора. Должно быть, именно в этот момент, глядя на молодую столицу, на разумно и красиво обустроенный кусок природного пространства, он понял: это — то, чему можно посвятить жизнь, и это — то, что стоит любых жертв. Именно в этот момент он внутренне присягнул «сверхпроекту», рожденному безумной и могучей волей первого императора.

Возможно, Ломоносова и его товарищей хоть и не учили особенно, но иногда пускали в дом с башенкой — посмотреть на собрания минералов, на леденящие кровь зародыши из собрания Рюйша, на знаменитый вращающийся Готторпский глобус, земной снаружи, звездный внутри… Может быть, ему довелось хоть краем глаза увидеть сокровища, присланные из Камчатской экспедиции, собранные там Миллером и Гмелином и как раз в 1736 году прибывшие в Петербург, — чучела зверей, языческие

идолы, плащи шаманов…

По крайней мере, у него вскоре появились деньги. 7 августа он получил на руки паспорт, а вскоре — целых 300 рублей. Таких денег молодой человек никогда прежде не видел. По всей вероятности, он сразу начал их тратить. На что? Вернул долг встреченному Пятухину. Приоделся… Накупил в академической лавке книг (в том числе «Новый и краткий способ к сложению русских стихов» Тредиаковского).

В Петербурге было где промотать деньги. А, как мы увидим чуть ниже, бережливостью молодой Ломоносов не отличался. Но, к счастью для него, времени оставалось немного. 18 августа отъезжающие получили последние наставления и рекомендательные письма. 8 сентября корабль отошел от причала Кронштадта.

Глава третья
ГОДЫ УЧЕНИЯ — ГОДЫ СТРАНСТВИЙ

1

Из Кронштадта корабль вышел (впервые с семнадцатилетнего возраста Михайло ступил на корабельную палубу, для товарищей же его это была, видимо, вообще первая встреча с морем) — но уже через два дня вернулся из-за бури. Студенты снова оказались в Петербурге, чтобы 19 сентября возвратиться в Кронштадт. Там они четыре дня ждали отправления судна.

Двадцать девятого сентября молодые люди были в Ревеле, октября прибыли на шведский остров Готланд, 16 октября миновали Травемюнде и, наконец, 20-го причалили в Любеке. Оттуда Рейзер направил письмо к Корфу, где сообщал, что в этом городе он и его товарищи собираются, «с милостивого дозволения Вашего Превосходительства», на несколько дней задержаться для отдыха. О том, что трое студентов «чуть не погибли» во время бури (как впоследствии вспоминал Ломоносов), Рейзер ничего не пишет. Затем — через Гамбург, Ниенбург, Минден, Рительн и Кассель — они 3 ноября прибыли в Марбург. На дорогу Ломоносов потратил 100 рублей и еще 32 рейхсталера (что соответствовало по тогдашнему курсу 25 рублям 60 копейкам). 17 ноября они были официально зачислены в Марбургский университет.

Можно приблизительно представить себе первые впечатления Михайлы Ломоносова за границей. Несомненно, его должны были заинтересовать города, не похожие с виду на русские. Центральная часть Ревеля (Таллина) и Висби (главного города и порта на Готланде) с тех пор изменились мало, так что особо напрягать воображение не приходится. Узкие, как в Москве, но замощенные и хорошо подметенные, как в Петербурге, улицы, высокие и острые церковные шпили, фахверковые перекрытия — а главное, сплошь камень, кирпич, глина. Ведь в 1736 году даже Петербург, кроме главных улиц, был в основном деревянным. К тому же в сердце любого русского города той поры, включая и столицу, оставались незастроенные, заросшие травой и кустами участки; горожане зимой и летом ходили в эти оазисы живой природы по нужде. В Европе ничего подобного не было: там цивилизация продвинулась уже так далеко, что в каждом доме обустроена была выгребная яма. Вонь стояла не на улице, а в

человеческом жилище. Тела людей тоже тяжело пахли: еженедельное мытье в тогдашней Европе было редкостью, бани не были в обычае. Зато пьяных студентам встречалось не в пример меньше, чем на родине.

Вряд ли, наскоро проезжая Германию в 1736 году, Ломоносов что-то успел понять и узнать о тамошней жизни. Но впоследствии он часто путешествовал по этой стране, общался со многими людьми, наблюдал.

Формально Германия представляла собой империю — Священную Римскую империю германской нации. Империя эта, основанная в 962 году, считалась прямой преемницей Империи Карла Великого, а через нее — Западной Римской. Другими словами, германские императоры, кайзеры, возводили свою власть к самим Цезарю и Августу — со столь же сомнительным правом, что и русские цари. Но, в отличие от русских царей, они обладали лишь номинальной властью. С 1273 года время от времени, а с 1437 по 1740 год непрерывно императорский престол занимали австрийские эрцгерцоги — Габсбурги. Собственные их владения, включавшие разноплеменные земли (будущая Австро-Венгрия), были велики и богаты, и там эрцгерцоги правили самовластно. Но в других германских землях эрцгерцог, он же император, лишь раздавал титулы и привилегии и распоряжался устройством ярмарок. Немцы почти гордились, что на их земле 360 с лишком княжеств — «по числу дней года». Кроме княжеств были еще имперские города (с формально избираемыми, фактически наследственными бургомистрами) и полторы тысячи «имперских рыцарей», которые независимыми государями не считались, но в пределах своих владений творили что хотели: они подлежали лишь имперскому суду, а последний хронически бездействовал. Был еще рейхстаг, в который князья посылали своих представителей. Он обсуждал в основном вопросы этикета.

Страна очень медленно оправлялась от последствий страшной Тридцатилетней войны (1618–1648) между католическим Югом и протестантским Севером, уменьшившей население Германии на треть: с 15 до 10 миллионов человек. Многие шахты все еще, почти век спустя, стояли заброшенными, городские ремесла пришли в упадок, но чуть ли не каждый князь (курфюрст) — чуть ли не каждый из трехсот шестидесяти румяных правителей в одинаковых пудреных белых париках до плеч, ныне совершенно неотличимых на вид на потемневших портретах! — считал своим долгом построить в своих владениях маленький Версаль или Трианон. Карл Вюртембергский импортировал в свое княжество снег, чтобы покататься на

санях, — немудрено, что ему понадобился еврей Зюсс, чтобы финансировать такого рода развлечения. Его современник и тезка, Карл Фридрих Вильгельм Ансбахский, однажды на глазах у приближенных застрелил трубочиста, чтобы развлечь свою любовницу, которая хотела полюбоваться падением человека с кровли. Другими словами, господствовал абсолютизм — чаще непросвещенный. Впрочем, иногда князья начинали усиленно заботиться о нуждах своих подданных, шпицрутенами насаждая картофелеводство или шелководство, пока не увлекались чем-то другим. Само собой разумеется, вся Германия щетинилась шлагбаумами, у каждого из которых брали пошлины, и каждый владетельный государь обладал обильным административным, канцелярским, фискальным и прочим штатом, содержащимся за счет его пространной и обильной державы. Мануфактуры — там, где они существовали, — принадлежали соответствующему князю. Свободных крестьян (хотя бы в том смысле, в каком были свободны черносошные архангельские мужики) было очень мало, но формы зависимости различались: от северо-западных наследственных арендаторов-оброчников до прусских *Leibeigenen,* «крепостных людей», которых можно было продавать без земли (в России работорговля, невиданная в последние пятьсот лет западнее Эльбы, восточнее американского побережья и севернее Средиземного моря, в 1730-е годы тоже вполне допускалась, но еще не получила такого грандиозного распространения, как в гуманные вольтерьянские времена Екатерины Великой).

В общем, и с уровнем жизни, и с правами человека, и с демократией дело в тогдашней Германии обстояло неважно… Единственное, что могло привлечь и привлекало таких людей, как Ломоносов, — это знания, наука, технология. Вот если бы дать эти знания и умения в руки сильных людей, обустраивающих по уму не маленькие княжества, а огромную централизованную страну! В XVIII веке так рассуждал не один Ломоносов. Так же думали и многие немцы, восхищавшиеся перспективами Российской империи и отправлявшиеся туда в поисках счастья. Положительные последствия «мелкодержавия» еще не были очевидны; а такой положительной стороной был, несомненно, полицентризм, доныне сохраняющийся в Германии и так выгодно контрастирующий с российской концентрацией власти и денег, образования и культуры в столицах.

Город Марбург упоминается, по крайней мере, с 1065 года. В XVIII веке он принадлежал ландграфству Гессен-Нассау. Ландграфом с 1730 года был Фридрих (Фридерик) I, он же шведский король (престол унаследовал после смерти Карла XII, на сестре которого он был женат). Но уже в 1735 году он

фактически передал власть в Гессене-Нассау своему брату Вильгельму.

Еще при старом ландграфе Карле, отце Фридриха и Вильгельма, в 1727 году состоялось торжественное празднование двухсотлетия Марбургского университета. «Господа студенты веселились вдоволь, но не произошло ни малейшего несчастья, за исключением только того, что все стаканы, бутылки, столы, стулья и скамьи были разбиты вдребезги». А был это первый протестантский университет в Германии, и начал он свою историю с легкой руки ландграфа Филиппа, поклонника Лютера. В 1529 году в Марбургском замке состоялся знаменитый диспут между Лютером и его сподвижником Меланхтоном, с одной стороны, и швейцарским религиозным реформатором Ульрихом Цвингли, с другой, о таинстве евхаристии.

Расцвет университета начался в 1723 году. Именно в этом году в Марбург из Галле пришлось переехать уже не раз упоминавшемуся Христиану фон Вольфу — ученому и мыслителю, чьим словам в то время восторженно внимала вся просвещенная Европа.

Вольф родился в 1679 году в Силезии, в Бреслау, в семье башмачника, давшего обет сделать сына ученым человеком. Тех препятствий, которые были у Ломоносова, Вольфу, тоже выходцу из простонародья, преодолевать не пришлось. Последователь и продолжатель великого Лейбница, он стал — в глазах просвещенной Европы — его законным преемником. Огромной популярности Вольфа способствовало то, что писал он, в отличие от большинства ученых той поры, в основном не по-латыни, а по-немецки. Именно он, по существу, разработал немецкую философскую терминологию. В 27 лет он, закончив Йенский университет, получил кафедру в Галле, в Пруссии, но в 1723 году ему пришлось покинуть этот город. За прошедшие годы на прусском престоле просвещенного Фридриха I, основателя королевства, сменил его сын Фридрих Вильгельм I. Пруссия, суровое государство на северо-востоке, на колонизованных славянских и балтийских землях, на глазах становилась мощнейшей силой в Германии, ядром новой — не фиктивной, а всамделишной — империи. Фридрих Вильгельм видел силу державы по большей части в хорошо вооруженном, сытом и методически обученном войске. Он поощрял распространение военно-технических знаний, уважал медицину, но презирал все прочие науки и искусства. В своем деспотическом педантизме он доходил до фарса, и, скажем, крыловская басня о льве, невзлюбившем пестрых овец, имеет своим прообразом вполне реальный указ прусского короля: Фридрих Вильгельм велел

оставить в своем королевстве только овец белой масти, а прочих истребить. Янтарную комнату, созданную для его отца, он обменял на роту русских гренадеров: единственной иррациональной слабостью короля было болезненное пристрастие к великанам. Ученые при Фридрихе Вильгельме играли роль шутов. Прусская Академия наук, основанная при Фридрихе I Лейбницем, которую второй прусский король не распускал, только чтобы не лишиться постоянного предмета для грубых острот, оказалась в руках ничтожеств и невежд. Вольфа они ненавидели и завидовали ему. Ко всему прочему в Пруссии как раз в эти годы распространился пиетизм — мрачная и нетерпимая, фундаменталистская форма лютеранской религии. В 1723 году профессор Вольф позволил себе в торжественной речи одобрительно отозваться об этическом учении Конфуция. На него донесли, и профессору пришлось перебраться из Галле в Марбург, где ему с радостью предоставили пост регирунгсрата (постоянного члена университетского совета).

Вольф был человеком энциклопедических интересов — так же как впоследствии его ученик. Он занимался философией, математикой, физикой, механикой. Ни в одной области он не сделал крупных открытий. Самый выдающийся вклад Вольфа в математику — то, что он первым начал использовать точку для обозначения умножения, а двоеточие для обозначения деления. Он великолепно знал современную ему экспериментальную физику, но в основном ограничивался демонстрацией опытов, уже осуществленных другими. В философии он остался популяризатором (а иногда и вульгаризатором) идей Декарта и Лейбница. Но именно Вольф соединил всю позитивную ученость своего времени в стройную и логически непротиворечивую систему и изложил их понятным широкому читателю языком. Лучшего учителя было не придумать.

Марбургский университет при Вольфе перестал быть специально «протестантским» и превратился в светское учебное заведение, характерное для Нового времени. Начал выходить ученый журнал, улучшилось качество преподавания. Лекции самого Вольфа, читавшего живо и «без бумажки», вызывали неизменный энтузиазм студентов.

2

В письме от 7 ноября Рейзер сообщает, что «господин регирунгсрат Вольф хочет сам принять на себя труд руководить нашими занятиями».

Еще в марте 1736 года, когда обсуждалась программа обучения во Фрейберге, Рейзер-отец определил ее так:

> «Поелику конечная цель пребывания трех студентов во Фрейберге состоит в том, чтобы они приобрели познания в систематической химии, то сие недостижимо, ежели они не изучат также физики… Другая цель в том состоит, дабы ученых горных инженеров на службу Империи представить; для сего необходима физическая география, каковая касается гор, долин, вод и прочего. Сея наука нераздельна с Historie Mineralum и учит также все разновидности земель, камней и минералов на глаз различать, чему лучшим руководством послужить могут частые и усердные посещения какого-нибудь хорошего собрания минералов. Если же они и изучат свойства земель, от того не будет пользы, если не научатся извлекать их на поверхность из глубины. Для сего служит механика…»

В итоге программа включала следующие пункты: физика, «поскольку она нужна для химии металлов»; основы химии; физическая география, «поскольку это необходимо для изучения минералов»; *Historiam Fosslium* & *Mineralum* (наука об окаменелостях и минералах). Все эти предметы должен был преподавать сам Генкель. Кроме того, студенты должны были изучать механику, гидравлику, гидротехнику, плавильное дело, геометрию, черчение, совершенствоваться в русском, немецком и латинском языках, а также изучить французский и английский.

В инструкции, данной студентам при отъезде в Марбург, список предметов практически тот же. В Марбурге предполагалось изучать «естественную историю, физику, а из математики геометрию, тригонометрию, механику, гидравлику и гидротехнику», чтобы затем перейти к техническим горно-инженерным дисциплинам. Из списка изучаемых языков исчез непопулярный английский, но посещение Англии, Франции, Голландии и Саксонии в плане все еще значилось. Тут у академии был собственный интерес. Недоданные за первый год 300 рублей вскоре после отъезда студентов (11 октября) были, решением Академической канцелярии, «зарезервированы» на будущее путешествие трех студентов по Европе. (Фактически эти деньги уже были истрачены на другие надобности.) Такую же сумму решили откладывать для этих целей из ежегодно отчисляемых Сенатом денег. А значит, пока суть да дело, в течение трех, четырех, пяти лет эти ежегодные 300 рублей можно пускать на всякие неотложные (с точки зрения Шумахера) академические

нужды.

Представление о том, как строились занятия на самом деле, дает рапорт трех студентов, посланный в Петербург в июне 1737 года.

> «Прибыв же в Марбург… мы немедля со здешним доктором медицины Конради о его практико-теоретическом курсе химии условились за 120 талеров, чтобы он нам Шталеву химию по-латыни прочитал, и все к оной относящиеся опыты на практике показал. Поелику же он обещанного не исполнил, да и исполнить не мог, то мы от сего курса, с милостивого соизволения господина регирунгсрата Вольфа, через три недели отказались и стали января сего 1737 года слушать курс здешнего профессора Дуйзинга по Тейхмайеровой „Instituziones Chimiae“ и поныне еще слушаем. О механике же читает сам регирунгсрат в своем курсе математики, а вслед за тем будет толковать гидравлику и гидростатику. Что же касается каждого из нас особливо, то я, Г. У. Рейзер, слушал вместе с другими у господина регирунгсрата архитектуру, а занимался с ноября прошлого года у учителя французского языка, а с апреля — у учителя рисования, сперва по два, а ныне по четыре часа в неделю. Я же, Михайло Ломоносов, и я, Димитрий Виноградов, до апреля месяца брали уроки немецкого языка, арифметики, геометрии и тригонометрии[30], а с мая месяца учиться начали французскому языку и рисованию».

Поскольку из изучаемых предметов именно химия стала одной из научных специальностей Ломоносова, стоит специально остановиться на том, что именно мог почерпнуть он из курсов профессора Юстина Дуйзинга в свой первый марбургский год.

Как известно, химии в современном понимании предшествовала алхимия. Но хотя два слова разделяет всего лишь утраченный арабский артикль, преемственность между определяемыми ими научными дисциплинами не такая уж прямая. И в древности, и в Средние века людям было известно немало химических технологий, связанных, положим, с выплавкой металлов, изготовлением красок или простейших лекарств. Но алхимики к этим ремесленным познаниям никакого отношения не имели и уж точно не стремились развить их или усовершенствовать. У алхимии были другие, более высокие задачи. Некоторые из них носили характер вполне практический и даже меркантильный (превращение неблагородных металлов в

золото и пр.). Но для истинно великих арабских и европейских алхимиков это не было самоцелью.

Натурфилософия Аристотеля и его позднеантичных последователей оставила грядущим векам в наследство определенные представления о природе вещества, которые очень долго были незыблемы для ученых людей Европы и Ближнего Востока, вплоть до составителей процитированного нами в первой главе древнерусского «Шестоднева». В основе мира лежат четыре элемента — земля, вода, огонь и воздух (воплощением огненного и воздушного начал считались сера и ртуть). Но грекам и римлянам не приходила в голову мысль проверять эти представления экспериментальным путем. Между тем средневековые алхимики именно к этому и стремились. Более того: они верили, что практическое овладение силой элементов даст человеку магические возможности.

На рубеже Нового времени цели и интересы алхимиков начали меняться. Так, Теофраст Парацельс (1493–1541) соединил алхимические опыты с медициной и фармацией. Но переворот в химической науке связан с изменением не только целей работы, но и базовых постулатов. Человеком, сделавшим здесь первый и важнейший шаг, был лорд Роберт Бойль (1627–1691), автор книги «Химик-скептик». Бойль немало занимался практическими вопросами, в основном касающимися чеканки монет, но притом подчеркивал, что «рассматривает химию… не как врач или алхимик, но как философ».

С древности, наряду с идеей элементов, существовали и иные концепции — атомистические. Отец атомистической философии Демокрит считал, что мир состоит из мельчайших частиц, атомов, идеально круглых, совершенно однородных. Но античная атомистика не объясняла разнообразия сущего, а потому не могла соперничать с идеей нерасчленимых первоэлементов. Взгляды Бойля отличались и от взглядов перипатетиков, последователей Аристотеля, и от представлений Демокрита. Он верил в существование мельчайших частиц (корпускул), но считал, что они различаются по свойствам, размерам и массе. Соединением различных корпускул и объясняются свойства веществ.

Бойль не только совершил теоретический переворот в науке о веществе, но и сделал ряд важнейших открытий в области химии и физики: он открыл существование кислотно-щелочных индикаторов, разделил соли на кислые и щелочные, наконец, открыл обратно пропорциональную зависимость между объемом газа и давлением при постоянной температуре (закон Бойля — Мариотта). Именно с трудов Бойля и его современников (таких, как Иоганн Иоахим Бехер) начинается история химии в

нынешнем понимании.

На место старых ложных теорий часто приходят новые. Младший современник Бойля, Георг Эрнст Шталь (1659–1734), врач Фридриха Вильгельма Прусского, впервые описал окислительно-восстановительные реакции, которым дал объяснение, соответствующее уровню знаний того времени и, казалось бы, вполне логичное.

Собственно говоря, увидел Шталь вот что: окалина («известь»), образующаяся на олове при выплавке, снова превращается в олово при соприкосновении с древесным углем. Шталь провел опыты с другими неблагородными металлами и получил тот же результат. Прусский химик пришел к такому выводу: металлы состоят из «извести» и особого «огненного вещества» — флогистона. При горении флогистон выходит из металла. Уголь — почти чистый флогистон. При соприкосновении с ним флогистон снова соединяется с «известью», и образуется металл.

Потребовался гений Лавуазье, заложившего основы современной химии, чтобы опровергнуть эту теорию. В 1730-е годы до этого было далеко, идея флогистона была модной научной новинкой. Существование флогистона разрушало традиционную систему «элементов» и тем самым подтверждало правоту Бойля[31].

Сам Вольф в первый год занимался с русскими студентами, по всей вероятности, в индивидуальном порядке, так как Ломоносова и Виноградова можно было учить лишь по-латыни: немецкие лекции им, с их уровнем знания языка, были еще недоступны. Но уже в сентябре 1737 года Ломоносов пишет по-немецки письмо Корфу, желая наконец-то самолично, а не через Рейзера выразить президенту Академии наук свою благодарность и заодно продемонстрировать свои успехи в его родном языке. С этого времени студенты могли посещать лекции Вольфа на общих основаниях. 25 марта 1738 года они отправляют новый рапорт, в котором сообщают, что «после отправления прошлого рапорта… у господина регирунгсрата Вольфа прошли механику, аэрометрию и гидравлику, а у господина доктора Дуйзинга — теоретическую химию (Collegium Chymae theoreticum), а ныне слушаем курс догматической физики и логики у господина же регирунгсрата Вольфа».

Влияние Вольфа как ученого и мыслителя на Ломоносова было глубоким и продолжалось до конца жизни. Не все биографы русского ученого считали его благотворным. Дело в том, что философия Вольфа уже через полвека после его смерти оценивалась довольно иронически. Вольф был, в некоторых

отношениях, основоположником классической германской философской школы. Но рок основоположников горек: после Канта и Гегеля принимать всерьез старого профессора из Марбурга и Галле было трудно.

В основе учения Вольфа лежала идея всеобщей причинности — «предустановленной гармонии». Только осознав эту причинность, можно понять смысл каждого из физических и духовных явлений мира. Осознание этой причинности — функция «первой философии». Другие науки посвящены отдельным сторонам этого цельного и всеохватывающего бытия: физика изучает тела — «простые субстанции», движение которых объясняется механической причинностью, пневматология — область духов, математика — величины вещей, этика, естественное право и политика — волю как свойство души. Заслугой Вольфа считается разработка психологии как отдельной науки. Занимался Вольф и вопросами права, будучи в этой области последователем Гуго Гроция и Пуффендорфа. Все, что наблюдал Вольф в мире, — от законов гидравлики до тончайших движений человеческой мысли, от государственных институций (выстроенных в соответствии с принципами естественного права) до атмосферных явлений, — все это были колесики в огромной, идеально сконструированной машине, заведенной Творцом. «Ничто существующее не существует без достаточного основания». Вслед за Лейбницем Вольф считал наш мир «лучшим из возможных». Бог мог сотворить мир, в котором не было бы зла, но в этом мире не было бы и свободы воли, а она — несомненное благо.

Впрочем, блага в нашем мире, если как следует в нем разобраться, все же значительно больше, чем зла. Мир этот создан исключительно для человека, потому что лишь он обладает разумом и способен познать Бога. Животные существуют, чтобы человек насыщал себя их мясом. Земля вращается вокруг своей оси, чтобы сменялись дни и ночи, что создает удобства для людей: ночью сподручнее охотиться на птиц и ловить рыбу. Вольф считал, что все это можно доказать математически. Его работы написаны «математическим методом» — в форме следующих друг из друга постулатов и теорем.

Будучи сам человеком душевно чистым, добрым и честным (что так отчетливо проявилось в отношении к Ломоносову и его товарищам), Вольф с детским простодушием верил в совершенство творения и всесилие разума. Его младшие современники, французские просветители, были мрачнее и насмешливее. Вольтер, у которого юный прусский престолонаследник, будущий Фридрих Великий, настойчиво

спрашивал мнения о философии Вольфа, дипломатично отвечал: «Я еще не успел прочитать всю метафизику Вольфа… Но то немногое, что я успел в ней прочитать, показалось мне золотой цепью, спущенной с неба к земле. Правда, в ней имеются звенья столь слабые, что опасаешься, как бы они не порвались; но столько искусства вложено в их изготовление, что я восхищен ими…» Спустя двадцать лет он высмеял Вольфа в своем «Кандиде». «Все к лучшему в этом лучшем из миров» — каким мрачным сарказмом звучат эти слова в устах неунывающего безносого Панглосса!

Ломоносова в учении Вольфа должны были заинтересовать три вещи: антропоцентризм, универсализм и — особо — учение об элементарных частицах, монадах. В Германии Ломоносов впервые столкнулся с объяснением мира через атомистические концепции. У Лейбница монада — это духовная сущность, дающая материи способность к развитию и познанию. Монад бесконечное множество, между ними нет двух одинаковых, но при этом каждая из них содержит в себе все остальные и весь мир в целом. Для Вольфа это было уже сложновато. В его представлении мир делим на бесконечное множество бесконечно различных материальных частиц, кроме которых существует еще и бесконечное множество различных нематериальных сущностей — «простых вещей», которые и придают материи ее свойства. Ломоносов для себя упростил эту мысль еще больше. Он не был философом, и его интересовал в первую очередь материальный мир — мир, в котором ставили химические опыты, писали стихи и управляли государствами. Соединение «корпускул» различной формы как причина всех химических и физических явлений — это было понятно, логично и совпадало с рассуждениями Бойля. О нематериальных монадах Ломоносов не хотел и думать. Еще в 1754 году, незадолго до смерти Вольфа, когда в Германии разгорелся спор между сторонниками и противниками монадологии, Михайло Васильевич рвался вступить в бой и уничтожить своими аргументами «мистические теории» «шершней-монадологистов», и лишь опасение «омрачить старость» своему учителю удержало его от этого.

Гораздо больше, чем эти «мистические теории», Ломоносова занимали физические опыты, которые демонстрировал Вольф. В 1746 году, уже будучи профессором Петербургской академии наук, он перевел на русский язык краткое латинское изложение трехтомной «Экспериментальной физики» своего учителя. В предисловии к этому труду сквозит искреннее восхищение современной наукой, открывшейся сыну холмогорского рыбака в дальней Германии.

«Мы живем в такое время, в которое науки, после своего возобновления в Европе, возрастают и к совершенству приходят… Сие больше от того происходит, что нынешние люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве. Главнейшая часть натуральной науки физика ныне уже на одном оном свое основание имеет. Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов…»

Все это открыл для себя уроженец деревни Мишанинской в Марбурге. Этот маленький городок стал для него тем же, чем для юного скифа Анахарсиса, героя платоновского диалога, Афины.

3

Марбург был небольшим городом — в нем и сейчас живет всего 76 тысяч человек. Изменился он мало. Военной промышленности в нем не было, и бомбардировщики в XX веке пролетели мимо. Самые высокие точки остроконечного городка — собор Святой Елизаветы и замок, расположенный на холме. Замок и церковь были построены потомками святой Елизаветой Венгерской (Тюрингенской), правившей этими землями в XIII веке. Именно в этом замке, где некогда спорили Лютер и Цвингли, в 1730-е годы был богословский коллегиум (факультет). Три других коллегиума располагались в бывших католических монастырях, заброшенных в дни Реформации. Юристам отвели монастырь доминиканский, а философам и медикам — францисканский. Русские студенты числились на медицинском факультете, поскольку именно там учили химии, и состояли, таким образом, под тайным покровительством святого Франциска, нищенствующего поэта, визионера, друга и покровителя всех живых тварей.

Ломоносов, высокий, широкоплечий, в недавно купленном камзоле, в коротком пудреном парике с косой, в шелковых чулках, обтягивающих рельефные икры, в сделанных на заказ огромных башмаках, украшенных блестящими стразами (едва ли у него, при огромном росте, были непропорционально маленькие ступни, как у Петра I), должен был забавно смотреться в узком уличном проеме.

Он был настоящим Гулливером среди маленьких людей и маленьких домов. В России в 1730-е годы средний рост мужчин был 156 сантиметров, а человек ростом в два аршина (142 сантиметра) считался годным к военной службе. Вряд ли немцы

были намного выше…

Есть лишь одно упоминание о Ломоносове в те годы, принадлежащее юристу Иоганну Пютеру, приехавшему в Марбург в 1738 году тринадцатилетним мальчиком. Он жил напротив Ломоносова. «Я часто наблюдал поутру, как он ел свой завтрак, состоящий из нескольких селедок и доброй порции пива. Я познакомился с ним ближе и сумел оценить как его прилежание, так и силу суждения и образ мысли». Ломоносов жил вместе с другим русским студентом, скорее всего, с Рейзером, а не с Виноградовым.

Но это было позднее. Пока же, по приезде в Марбург, Ломоносов поселился в доме Екатерины Елизаветы Цильх, урожденной Зергель, вдовы пивовара и ратмана Генриха Цильха. Цильх, который вел свой род из городка Зонтра в Гессене, был старостой общины реформатов (кальвинистов) в лютеранском по преимуществу городе; к той же общине принадлежал Дуйзинг, который и мог рекомендовать им своего студента в качестве квартиранта. Разумеется, он не стал бы этого делать, зная, какие скандальные для добропорядочной бюргерской семьи последствия будет иметь появление в доме русского великана. У вдовы Цильх росли сын и две дочери. Елизавета Христина была младшей. В 1736 году ей было всего шестнадцать…

Собственно, это все, что мы можем сказать. Вплоть до начала 1739 года мы (помимо утреннего меню) знаем из документов лишь об учебных успехах нашего героя — с одной стороны, и о его запутанных денежных делах — с другой.

У Ломоносова, как и у его друзей, по приезде в Германию оставалось 200 рублей, то есть 250 рейхсталеров. К концу сентября, когда должны были прийти (но еще не пришли) деньги на следующий год, он, судя по посланному отчету, успел потратить 209 рейхсталеров. Из них на книги ушло 60 талеров, на одежду, парик, белье, башмаки, чулки — 88 талеров, на уроки фехтования, рисования, танцев и французского языка — 39 талеров и на дорогу из Любека — 32.

В этом перечне нет платы за лекции Дуйзинга, за жилье и стол. За квартиру Цильхам Ломоносов платил 20 талеров в год, причем плата, видимо, вносилась задним числом[32]. Столовался он вместе с товарищами у Вольфа; к июню 1737 года они ничего еще не заплатили за питание, и Вольф счел необходимым деликатно напомнить об этом.

Не надо забывать, что Виноградов и Рейзер были совсем зелеными юнцами — даже для того века, когда люди взрослели быстрее, — а Ломоносов никогда в жизни не держал в руках сколько-нибудь ощутимой денежной суммы. Тратить деньги они

не умели, вести отчетность — тоже, а на 375 рейхсталеров в год жить в Марбурге, казалось бы, можно совсем неплохо… Молодые люди быстро почувствовали себя состоятельными кавалерами. В случае Ломоносова социальный скачок был, видимо, слишком резким. Парик, камзол и шпага (без которой студент не имел права выходить на улицу) сами по себе делали недавнего «спасского школьника» «благородным». Шпагу приходилось пускать в ход: дуэли, в России строжайше запрещенные указом Петра I (смертная казнь и дуэлянтам и секундантам за один выход на поле!), здесь были в ходу. Студент, не снявший шляпу при встрече с собратом, должен был оружием отстаивать свою жизнь и честь. Обучение фехтованию было практической необходимостью.

Можно не сомневаться, что на самом деле к сентябрю от привезенных из России денег давно уже не осталось ни гроша. Однако стипендия на следующий год пришла лишь в ноябре, и то не полностью: Ломоносов получил от Вольфа (на чье имя посылались деньги из Петербурга) 282 рейхсталера (что составляет больше посланных 200 рублей — возможно, Вольф менял деньги по особому, выгодному курсу). Из Сената в Академию наук средства на обучение трех студентов поступали исправно и в срок, однако по старой привычке они использовались для затыкания неотложных «дыр», а затем возмещались из других источников. Все же полученная каждым из студентов сумма составляла две трети причитавшегося годового содержания и ее, по идее, должно было хватить надолго. Но, даже судя по официальным отчетам трех марбургских студентов (сильно приукрашивавшим истину), деньги были почти полностью истрачены ими к марту — за три месяца! Лично Ломоносов потратил 237 рейхсталеров, из них на книги — лишь 18 (можно лишь умилиться благостности некоторых биографов советской поры, объясняющих марбургские денежные проблемы Михайлы Васильевича единственно необузданной любовью к чтению). На стол, комнату, дрова, свечи, бумагу и прочие необходимые нужды ушло 113 рейхсталеров. Остальное — на портного, цирюльника, уроки фехтования…

Тем временем учебные занятия шли своей чередой.

Еще в июне Вольф докладывал Корфу, что студенты изучили основы математики и могут приступать к курсу физики[33], с похвалой отзывался об усердии Ломоносова и Виноградова в изучении немецкого и беспокоился о том, «у кого здесь они могли бы поучиться естественной истории». Изучать этот предмет приходится самостоятельно. 15 (26) марта Ломоносов пишет Корфу: «В последней присланной нам инструкции Ваше

превосходительство приказать изволили, дабы каждый из нас приобрел себе соответствующие сочинения по естественной истории и металлургии, а также некоторые руды. Но так как книг сих нельзя добыть раньше пасхальной ярмарки, а зимнее время неудобно для посещения рудников, где могли бы мы добыть руды для лучшего познания минерального царства, то мы по совету г. регирунгсрата отложили сие до будущего лета…» Заканчивает Ломоносов просьбой о присылке дополнительных денег «как на вышеозначенные предметы, так и на наше содержание». Деньги (в количестве 300 рублей) были получены лишь в начале августа… В то же время расточительность студентов начала смущать президента Академии наук. Тем более что спустя несколько дней, 30 марта, Вольф в очередном письме деликатно попросил Корфа повлиять на студентов, чтобы «при их отъезде не обнаружилось каких-нибудь долгов, которые могут их задержать». Вероятно, до регирунгсрата дошли какие-то слухи…

Уже 29 мая Академическая канцелярия вынесла решение:

«…К ученикам писать на немецком диалекте, чтоб они репорты в Академию наук присылали порядочно, по обстоятельствам, а именно — о науках, которые в присутствии господина Вольфа чинили и до которой они уже нынче дошли — показать; часы, в которые профессор или учители их обучают; а в экономии — всякой расход: что на платье, в том числе на сукно, на подкладку и другие к тому потребности, и за работу мастерам дано денег; какие именно куплены книги, оным с показанием цены прислать в Академию наук реестр; танцевальным и фехтовальным мастерам отказать; платья же чрезвычайно дорогова и других уборов против препорции не делать, и весьма то отставить… наипаче от излишнего долгу как возможно себя беречь и довольствоваться определенным токмо годовым жалованием, тремя стами рублей в год каждому, из которых и до наук надлежащее купить. А лишних долгов академия за них платить не будет, токмо за неисполнение и их вины штрафовать…» В тот же день инструкция на немецком языке, почти дословно совпадающая с грозным решением канцелярии, ушла в Марбург.

Но было поздно. Письмо Вольфа от 17 августа рисует угрожающую (но, как оказалось, еще не полную) картину происходящего: «Из полученных денег уплатили они за стол и возвратили безделицу, кою я им дал взаймы; остальное же они удержали для своих нужд и на сей раз также не смогли расплатиться с долгами, поелику иначе бы снова остались с пустыми руками…

Вся ошибка происходит с самого начала. Деньги, что

привезли они с собой, они промотали, не заплатив ничего, что полагалось, потом же, приобретя себе кредит, наделали долгов… Я не мог уведомиться о количестве сделанных ими долгов, ибо в сем случае у меня не было бы отбоя от кредиторов, а между тем я не знаю, должно ли мне вступаться в это дело. Кажется, в своих последних счетах они показали уплаченным то, что еще не уплачено…»

Вольф с удивлением отмечает, что присланные из Петербурга молодые люди «как будто еще не знают, как обращаться с деньгами и вести порядочное хозяйство». На самом деле гораздо удивительнее другое: пусть Ломоносов не общался с отцом, но у его товарищей ведь были родители… Отец Рейзера непосредственно организовывал отправку студентов в Германию, и у него, образованного немца, несомненно, были знакомые в том же Марбурге. Почему он не попросил их проследить за бытом и денежными делами своего еще, в общем, невзрослого сына?

Если добрый Вольф боялся «вступаться» в дела с кредиторами, то исключительно по деликатности. Он просит Корфа сообщить: «Надлежит ли мне поточнее разузнать об их долгах, пока не поздно еще поразмыслить и изыскать средство, дабы отвратить беду… Может быть, не бесполезно обязать их в будущем рапорте своем сделать счет своим долгам, на меня же возложить надзор за тем, чтоб они ничего не забыли. Однако же я бы желал, чтобы это им было присоветовано с нарочитой мягкостью, дабы не возбудить против меня какого-нибудь неудовольствия и не потерять их ко мне доверенность…».

Судя по последней фразе, у Вольфа уже сложились некие личные отношения с русскими студентами. С кем же именно? Ответ дается в том же письме от 17 августа.

«У господина Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова среди них; и, приложив надлежащее старание, он может многому научиться, к чему также показывает большую охоту и страстное желание. Господин же Виноградов, как мне кажется, во всем самый дурной из них…»

Дмитрием Виноградовым Вольф был недоволен: и в части учебных успехов (он «выучил, кажется, только немецкий язык»), и в отношении поведения. Юноша окончательно потерял голову. Одалживал деньги у всех встречных, сделанных долгов не помнил, а на тех, кто напоминал ему о них, «нападал со шпагой»… Учитывая скромные успехи этого студента, Вольф даже советовал отозвать его в Петербург. Но, не любя Виноградова, Вольф и ему «помогал… с помощью тогдашнего проректора выпутываться из разных историй» (из письма к Корфу от 13 января 1739 года).

Однако же из Виноградова впоследствии вышел толк. Впрочем, видимо, неслучайно ему и во время службы на Фарфоровой мануфактуре, его знаниями и усердием созданной, избегали выдавать жалованье на руки.

Пока же все три студента составляют, по указаниям из Петербурга, более подробную опись своих расходов. Интереснее всего, конечно, список купленных книг. Больше всего приобрел Ломоносов — 58 названий (у Виноградова — 40, у Рейзера — 35)! Кроме трудов Вольфа и химических книг Шталя, Бехера, Бургаве и других словарей и учебных пособий, Ломоносов приобретает сочинения Вергилия, Овидия, Марциала, Сенеки, Цицерона. Когда-то он изучал этих писателей в Славяно-греко-латинской академии, но собственных, ему принадлежащих книг у него в те годы не было и быть не могло. Из новоевропейских писателей он покупал книги Эразма Роттердамского, Фенелона («Похождения Телемака» — французский оригинал), современного беллетриста Мариво и сравнительно недавно угасшего в молодом возрасте немецкого поэта Иоганна Христиана Гюнтера. Эта последняя книжка оказалась особенно важна для его дальнейшей судьбы. Круг книг, купленных Рейзером и Виноградовым, примерно таков же: латинские классики и текущая немецкая и французская словесность. Древних каждый покупал для себя, книгами современников, видимо, обменивались.

Между тем деньги продолжали таять. Из 128 рейхсталеров, полученных Ломоносовым в августе, уже к октябрю было израсходовано 98 — и это согласно официальному отчету, который, видимо, был не вполне откровенен. Скорее всего, студенты, увязшие в долгах, частично возвращали их — и тут же занимали снова, под все большие проценты, и в результате сумма долга росла.

С января 1739 года Вольф, получивший очередные деньги для студентов, выдавал им по талеру в неделю, «чтобы уберечь их от новых долгов». К этому времени студенты старые долги свои как-то каталогизировали. Вышли суммы огромные. За Ломоносовым числилось 484 рубля долга; по большей части он был должен неким Рименшнейдеру и Вираху — видимо, ростовщикам. Кроме того, были мелкие долги учителю фехтования, портному, учителю французского и пр. Взяв на себя хлопоты, Вольф сумел договориться с кредиторами и уменьшить сумму долга каждого студента. Так, долг Ломоносова уменьшался до 437 рублей (у Виноградова — 576, у Рейзера — 358). Но и это превышало годовую сумму, отведенную Сенатом на его обучение. 9 марта Академия наук послала Вольфу вексель на 1162 рубля, то есть 1400 рейхсталеров, что чуть-чуть превышало общую сумму долга.

Студентам же велено было готовиться к отъезду из Марбурга во Фрейберг к Троицыну дню. С Генкелем удалось договориться: он умерил свои аппетиты до 500 рублей ежегодно в течение двух лет. Академия компенсировала расход тем, что уменьшила стипендию студентам «за показанные их роскоши и невоздержанное житье» до 150 рублей. Вольф настойчиво советовал «поскорее отозвать» студентов из Марбурга, «потому что они не умеют пользоваться академической свободой и потом уже успели окончить то, чему должны были тут выучиться».

Но тут выяснилось, что на самом-то деле долги студентов были еще больше. Ломоносов и его товарищи побоялись сказать всю правду разом и этим усугубили свою вину. При окончательном расчете, сделанном уже после отъезда трех незадачливых студиозусов из Марбурга, долг составлял уже 1926 рейхсталеров[34] — вместо 1371! Академия наук предложила Вольфу, «в случае если бы посланные 1400 талеров оказались недостаточны», оплатить остаток из своих средств, «дабы от излишнего пребывания в Марбурге не образовались новые долги». И Вольф заплатил из своих средств 416 рейхсталеров — сумму, превышавшую годовую пенсию, приходившую ему из Петербурга (разумеется, затем, задним числом, эти средства были ему компенсированы). Должно быть, в те дни он с раздражением думал о своей помощи в организации Санкт-Петербургской академии и с радостью — о том, что все же не поехал сам в Россию, где вырастают этакие безалаберные остолопы и где даже Рейзера, мальчика из хорошей немецкой семьи, умудрились испортить. Утешить его могла лишь философия. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Происшествие с русскими мотами и растратчиками, вероятно, имело некий недоступный ограниченному сознанию смысл.

Вольфа раздражала, помимо прочего, беспечность студентов, которые «со своей стороны совершенно веселы, как будто вели себя совершенно добропорядочно». Причина, по-видимому, в том, что юноши не понимали разницы между собой и вольными немецкими буршами. Долгами в Марбурге трудно было кого-то удивить. Морозов приводит, скажем, указ гессенского ландграфа от 1746 года, предписывавший, «чтобы никто, будь то христианин или еврей», не выдавал студентам ссуду больше чем на пять талеров без соизволения родителей или опекунов и чтобы владельцы кофеен, бильярдных, аптекари и прочие не отпускали им ничего в кредит. В противном случае власти снимали с себя всякую ответственность. Собственно, по буршевской этике долг перед трактирщиком, ремесленником, а особенно ростовщиком вообще не принимался всерьез. Давать деньги в рост единоверцу

считалось зазорным, ссудные кассы держали либо евреи (по отношению к которым никаких моральных запретов, в общем, не существовало), либо плохие, безнравственные христиане, которых тоже сам Бог велит обмануть. Особенность положения Ломоносова и его товарищей заключалась в том, что по их долгам отвечали другие: Вольф и Петербургская академия. Они не могли просто так покинуть Марбург, оставив с носом Рименшнейдера и Вираха.

О беспокойстве, вызванном этой историей в Петербурге, свидетельствует «особое мнение», поданное в Академическую канцелярию академиком Христианом Гольдбахом, который предлагал немедленно доложить о случившемся императрице, «дабы избегнуть могущих быть неприятностей». Но ни Корф, ни Шумахер его не поддержали, так как студенты, судя по документам, еще не превысили лимит отведенных для них средств[35], и потом на рассмотрение дела в Кабинете Ее Величества уйдет время, а студенты тем временем останутся в Марбурге и наделают новых долгов. Так что лучше поскорее отправить их во Фрейберг. Шумахер не желал привлекать внимания верховной власти к своим собственным делам, в частности, к сомнительной практике «резервирования» средств на будущие путешествия в Англию, Францию и Голландию (с использованием этого резерва на текущие нужды академии). Что касается Корфа, то на него могли подействовать свидетельства все-таки успешного обучения студентов — в первую очередь Ломоносова.

Наконец, 15 октября 1738 года, ушел в Петербург первый «специмен» (контрольное сочинение студента) «Образчик знания физики: о превращении твердого тела в жидкое, зависящем от движения предсуществующей жидкости»[36]. Автором этой работы был Ломоносов. В марте следующего года он послал на родину второе сочинение по физике. То была «Диссертация физическая о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул, которую упражнения ради написал Михаил Ломоносов, математики и философии студент в 1739 года марте месяце»[37].

Эти работы свидетельствуют о хорошем усвоении идей Вольфа и представляют собой попытку самостоятельного, хотя и осторожного развития этих идей. Разумеется, оба «специмена» носят скорее спекулятивно-рационалистический характер, следов самостоятельной экспериментальной работы в них мало, — да и странно было бы пока ожидать иного. Ломоносову импонировала склонность учителя к построению простых, зримых, логичных моделей, и он перенял эту склонность.

В первой работе он объясняет твердое состояние тел

«скрепленностью» (связанным состоянием) составляющих их корпускул, а жидкое (что в то время означало также «газообразное») — разобщенностью корпускул. При растворении под механическим воздействием движения свободных корпускул «предсуществующей жидкости» (то есть растворителя) связи между корпускулами разрушаются. (Проблем растворения Ломоносов касается и в своих зрелых работах.) Вторая работа — попытка связного построения собственной «корпускулярной теории». Что заставляет корпускулы, мельчайшие частицы вещества, сцепляться между собой? В то время в мировой науке шел спор между картезианцами, последователями Декарта, считавшими, что «никакое тело не может двигать другое, если само не движется», и ньютонианцами, верившими в существование притяжения. Вольф принадлежал к числу картезианцев. Другими словами, он считал, что движение может быть передано лишь через механическое воздействие. Этому ошибочному догмату, унаследованному от учителя, Ломоносов остался верен до конца жизни, и с учетом этого положения строилась вся его картина мира. Поэтому Ломоносов объяснил скрепление частиц так: между корпускулами находится «жидкая нечувствительная материя», которая выталкивается из мест механического соприкосновения корпускул. В результате образуется избыточная плотность этой «жидкой материи» рядом с этими точками соприкосновения, и вот эта-то материя, согласно закону Бойля — Мариотта, давит на корпускулы и прижимает их друг к другу.

Работы были написаны вольфовским «математическим методом». Вот как это выглядело.

Определение I

§ 1. Корпускулы — сущности сложные, не доступные сами по себе наблюдению, то есть настолько малые, что совершенно ускользают от взора.

Присовокупление I

§ 2. Так как основание того, что свойственно природным телам, нужно искать в качестве корпускул и способе их взаимного расположения (Космология, § 33), то и основание различия, наблюдаемого в их сцеплении, надо искать в них же.

Присовокупление II

§ 3. Корпускулы совершенно недоступны для зрения (§ 1), поэтому свойства их и способ взаимного расположения должно исследовать при помощи рассуждения.

Определение II

§ 4. Корпускулы, имеющие основанием своего сложения элементы, называются первичными.

Определение III

§ 5. Корпускулы, имеющие основание своего сложения в других, меньших, чем они, корпускулах, называются вторичными.

(Физическая диссертация… Перевод Б. Н. Меншуткина)

Этот второй «специмен» в Петербурге был дан на рецензию самому яркому из плеяды молодых немецких ученых, сформировавшихся в России, — Леонарду Эйлеру. Отзыв оказался благоприятен. Так началось заочное общение двух великих людей — заочное, потому что в 1736 году, когда Ломоносов был в Петербурге, молодого профессора Эйлера он вряд ли видел (тот был тяжело болен), а пять лет спустя Эйлер и Ломоносов разминулись лишь на несколько месяцев: первый уехал из России в Германию, второй вернулся из Германии в Россию; в 1766 году пожилой и полуслепой Эйлер принял приглашение Екатерины II и провел остаток жизни на берегах Невы, но Ломоносова уже не было в живых.

Зато посланный одновременно с первым «специменом» перевод оды Фенелона не произвел на петербургских академиков (не знавших, по большей части, русского языка) никакого впечатления. Впрочем, при всей формальной революционности этого произведения (впервые в русской поэзии написанного правильным силлабо-тоническим стихом) и его литературных достоинствах, оно должно было в первую очередь продемонстрировать успехи Ломоносова во французском языке. Сам Вольф оценивал эти успехи скептически: «Во французском языке они, сколько судить могу, не сильно преуспели, ибо учитель не хотел их наставлять, пока они не заплатят по счету, они же, чтобы сберечь деньги, оставили эти занятия». Ломоносов свободно читал по-французски, но, видимо, не писал и не говорил: в то время это было еще не обязательно. Французский

стал языком светской жизни лишь в последней трети XVIII века, а для общения с коллегами по Академии наук достаточно было немецкого.

Рейзер тоже послал «специмен», а Виноградов — нет. 4 апреля Вольф пишет: «Студенты Рейзер и Ломоносов ведут себя добропорядочно, также живут в добром между собой согласии, и есть добрая надежда, что на их обучение деньги не зря были употреблены. Господин Ломоносов также обнаруживает более мягкости во нраве, чем прежде. Что же делать с господином Виноградовым, не ведаю. Про доставление обоих первых Specimina я несколько раз договаривался с ним, и он обещал мне принести их, однако же он этого не сделал. И я уж не верю, что он может нечто написать. Он любитель безделья и беспорядочной жизни. Я постоянно в опасении пребываю, чтобы он не попал в переделку какую-нибудь или не подвергся академическому взысканию…»

Ломоносов действительно жил теперь тихо. Но делить кров с Рейзером (покинув дом Цильхов) его заставило обстоятельство, открывшееся уже после отъезда русских студентов из Марбурга. В ночь с 8 на 9 ноября 1739 года девица Елизавета Христина Цильх родила дочку, очень похожую на постояльца ее матушки.

Был ли Вольф осведомлен об этом последствии пребывания своего ученика в Марбурге? Видимо, на тот момент — нет. И хорошо: он бы расстроился. Герр регирунгсрат действительно был очень расположен к самому старшему из своих русских учеников, явно отдавая ему предпочтение не только перед Виноградовым, но и перед довольно бесцветным, по всей видимости, Рейзером. И Ломоносов, в свою очередь, привязался к учителю. Он, давно бросивший отца — единственного близкого ему человека, почувствовал, должно быть, нечто отцовское в заботе аккуратного, благостного, добропорядочного немецкого профессора. К тому же он был старше других и первым понял, что он и его товарищи натворили. По словам Вольфа, Ломоносов «высказывал больше всего раскаяния» в сделанных долгах. Впрочем, в день отъезда и его товарищи, «увидев, сколь много за них уплачивается денег», устыдились и со слезами на глазах просили у Вольфа прощения.

Позднее Ломоносов придумает для себя психологически удобную версию событий. Как сообщается в его «Краткой истории о поведении академической канцелярии…», студенты «пришли в нужду и впали в долги» из-за «неисправной пересылки денег на содержание». Восемнадцатью годами раньше, в 1746 году, в донесении Академии наук, он утверждает, что «определенные триста рублей в год на оное содержание в Германии не были

довольны, для того что за позднею пересылкою денег из Академии наук принужден я был по большей части жить в долг и так за вещи, до моего обучения и содержания потребные, платить много больше, нежели когда б я оные покупал за наличные деньги». Но анализ фактов показывает, что это неправда. Задержки с получением денег были невелики, не больше месяца-двух. Сумма, определенная трем студентам, даже за вычетом «зарезервированных» 100 рублей, была более чем достаточна для жизни. Ни Вольф, ни сами студенты в 1739 году не обвиняли в случившемся Академию наук.

На прощание Вольф выдал Ломоносову аттестат: «Молодой человек с прекрасными способностями Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, преимущественно же физики, и с особенною любовью старался приобретать основательные познания, нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то со временем, по возвращении в отечество может принести пользу государству, чего от души и желаю». Такой же аттестат, по просьбе Ломоносова, дал ему и Дуйзинг.

Двадцатого июля студенты, получив по 4 рейхсталера на дорогу (Вольф на всякий случай вручил им деньги, только когда они уже сели в карету), отправились, наконец, во Фрейберг. Вольфу пришлось постараться, чтобы задиру Виноградова не задержали старые счеты с обиженными им студентами, «да и Ломоносов также выкинул штуку, каковой лучше бы не делать и каковая тоже могла бы привести к задержке».

По отъезде молодых людей выяснилась причина их расточительности: они «чрезмерно предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу. Покуда они были здесь, всяк боялся сказать хотя бы слово, поелику они своими угрозами всех держали в страхе».

В общем, догадаться было нетрудно. Воображение рисует сегодняшнему человеку колоритные картины: кабачок в университетском городке, пивные кружки, свиные головы, дымящиеся сосиски, шнапс рекой, пение «Гаудеамуса» или, скажем, старых вагантских гимнов, или любовной песенки покойного Гюнтера, переходящее в какое-нибудь «Uzh kak pal tuman na more sinee», которому научили буршей их русские товарищи, не дураки выпить, подраться и побегать за девушками… Ну, и девушки, конечно, нестрогие красавицы, которых, несмотря на все протестантское благочестие, здесь должно было хватать… И драчки, где на помощь поповичу-мушкетеру Виноградову приходили огромные поморские кулаки.

4

Во Фрейберг студенты прибыли через пять дней, через Херсфельд, Готу, Наумбург, Вейсенфельс и Лейпциг. Путь лежал в Саксонию, в Восточную Германию, диковатую, крепостную. Курфюрст саксонский Август III был по совместительству польским королем, как и его отец, Август Сильный. Власть саксонских курфюрстов в Польше поддерживала Россия, дважды лишавшая престола их главного соперника, Станислава Лещинского, шведского, а затем французского протеже.

На рассвете 25 июля студенты явились к берграту (горному советнику) Иоганну Фридриху Генкелю, своему новому учителю. Все вопросы, касающиеся их быта, были на сей раз решены заранее в мельчайших подробностях, вплоть до меню (обед из двух блюд — суп, рыба или жаркое; ужин — суп, холодное жаркое или бутерброды). Согласно инструкции Корфа, студенты должны были размещаться в одном доме, но в разных комнатах, «дабы прилежного как можно менее мог совратить ленивый». Генкель поселил студентов у себя, а провизию им приносили из дома его тестя. Расходы были прописаны до мельчайших деталей. На берграта был возложен строгий надзор за молодыми людьми. Он встретил их довольно грозно. Студенты, чье раскаяние еще не успело остыть, выслушали увещевание «со всем смирением» и получили по 10 талеров на руки на первое время.

Во Фрейберге жило девять тысяч человек, из них около пятисот составляли рудокопы. Здесь, в Саксонских горах, добывали серебро. Когда-то из этого серебра чеканилась монета для всей Европы — с 1186 года, когда город возник, до XVI века. Богатые дома, оставшиеся от Средневековья, напоминали о поре расцвета. Потом, к несчастью для обитателей Саксонских гор, открыли Америку — и оттуда потек в Европу золотой и серебряный демпинг. Все же шахты кормили горожан. Прибитые к дверям многих домов молоток и лом ясно обозначали профессию владельца.

Генкель, выпускник Йенского университета, приехал сюда в 1713 году — четверть века назад, и в качестве не горного мастера, а врача. Было ему в то время тридцать пять лет. Вообще-то первоначально он готовился к карьере богослова и проповедника, но помешал слабый голос. Во Фрейберге доктор Генкель сделал многое для изучения профессиональных заболеваний рудокопов. Движимый не только филантропическими соображениями, но и научной любознательностью, он лечил бедняков бесплатно. В 1721 году он стал фрейбергским физикусом (главным врачом). Но все большее место в его занятиях занимали минералогия,

металлургия, горное дело. В XVIII веке медицина включала в себя фармацию, а значит, и химию. Немудрено, что врач Генкель, живший и работавший среди шахт, общавшийся с маркшейдерами, горными мастерами, пробирерами, заинтересовался свойствами металлов и руд и технологией их добычи.

В 1730 году Генкель отказался от должности физикуса и подал ходатайство о назначении на более высокооплачиваемую должность берграта — горного инженера. Два года спустя просьба была удовлетворена Августом Сильным. К тому времени Генкель уже успел прославиться своими химическими и минералогическими трудами — «Сатурнианская флора, или О родстве растений и царства минералов» (1722), «Пиритология, или История колчедана как благороднейшего минерала…» (1725) и др. Его приглашали, еще при Блюментросте, на должность профессора химии в Петербург, но он отказался. Технолог-практик, презиравший оторванную от жизни университетскую науку, Генкель в то же время был влюблен в мир минералов и временами говорил о них как настоящий поэт. Если труды Вольфа были написаны сухим математическим языком, то Генкель предпочитая пышный и витиеватый барочный слог. Этот стиль нравился его читателям — специалистам-горнякам. Сам Генкель считал их лучшими людьми на земле, а их дело — самым важным. Про свойства колчедана и венгерского асбеста, алебастра и малахита, железных и серебряных руд он знал больше, чем кто-либо в тогдашней Европе. В минералогию он внес много нового. Он (едва ли не первым!) не просто описывал минералы, но и изучал их структуру, проводил лабораторные исследования. Минералогический кабинет и оборудованная по последнему слову науки лаборатория были его гордостью. Вопросы же, интересовавшие Вольфа — будь то оправдание Творца или механизм движения корпускул, — Генкеля не занимали вовсе. Здесь он довольствовался общепринятыми и к тому времени уже несколько старомодными истинами.

Женившись в пятьдесят лет (вторым браком) на молодой женщине, Генкель во многом изменился. Он, проведший всю жизнь близ серебряных копей, становился все более неравнодушен к звону монет. Считая, что «у царицы денег много», он видел в подготовке русских студентов прежде всего средство заработка. Но получая за эту работу экстраординарный гонорар, он и исполнить ее старался на совесть.

Программа включала минералогию, металлургию, «описательную подземную геометрию», искусство строения рудников, пробирное искусство, искусство строения печей и еще

целый ряд технических дисциплин, наконец, горную коммерцию и горное право. Наряду с самим Генкелем курс читали молодой пробирер Иоганн Август Клотч и заслуженный старый маркшейдер Август Бейер. С первых же месяцев Генкель стал водить молодых людей в шахты. В первые полгода они посетили несколько шахт с колоритными названиями — трижды «Божье Благословение», дважды «Красный рудник», «Мефусалем», «Коровью шахту»…

Разумеется, положение трех русских было не таким, как в Марбурге. Там они были вольными студиозусами со шпагой на боку, здесь — учениками-подмастерьями в «шахтерском городке». И все же с плебейской публикой Фрейберга, с обитателями его кабачков Ломоносову иногда было, может быть, психологически проще, чем с надменными студентами-щеголями из Марбурга. Впоследствии Генкель с раздражением упоминал о том, что Ломоносов «участвовал в драках в винном погребке» и «братался со здешними молокососами-школьниками». Денег на руки он получал очень мало, но на посещение винного погребка как-то выкраивал, и даже (несмотря на строжайшее запрещение выдавать что бы то ни было трем гостям из Марбурга в кредит) ухитрился наделать новых долгов (немного — талеров сорок). Надо сказать, что его товарищи во Фрейберге вели себя посдержанней. Правда, Виноградов сперва чуть было не завел дружбу с неподобающей компанией, но благодаря надзору герра берграта вовремя одумался; в скором времени этот сорвиголова, гроза марбургских кабачков, стал примерным студентом и чуть ли не любимцем сурового учителя.

Генкель первоначально и к Ломоносову отнесся неплохо. Даже после окончательного разрыва строгий наставник счел своим долгом признать, что «помянутый господин Ломоносов изрядные успехи показал как в теоретической, так и в практической химии, преимущественно металлургической, и особливо в пробирном искусстве, также и в подземной геометрии и в познании руд, рудных жил, равно как и земель, камней, солей и вод, и немалое искусство проявил в механике, в коей он, по отзывам знатоков, весьма силен, так что и преподавать ее может, каковыми своими качествами он и желает, по-видимому, отличиться, поелику спускаться в рудники ему не слишком по сердцу». Генкель даже отличал Ломоносова среди тройки; зачастую тот провожал его домой в содержательных беседах о свойствах минералов. Но вскоре берграт заметил, что Ломоносов «не лучших нравов и привержен к вину, а потому я неоднократно, хотя и тщетно, его увещевал, однако ж, ибо он обнаружил светлый ум и успехи в металлургии, надеялся на его

исправление». Это — первое по времени упоминание о слабости нашего героя к спиртному. Вольф ничего подобного не пишет: у него на лекциях ни пьяным, ни с похмелья студент из России, вероятно, не появлялся. Организм Ломоносова был, конечно, еще молод и крепок, и даже немного перебрав вечером, он утром был бодр и полон сил. Но с Вольфом Ломоносов не жил под одним кровом, а с Генкелем — жил, и вредные привычки студента не могли оттого укрыться… Впрочем, ученые и литературные занятия Ломоносова той осенью и зимой были так обширны и разнообразны, что если он при этом еще успевал выпивать и драться в винных подвалах, это может вызвать только восхищение.

Что же до спуска в шахты, то в учебнике Ломоносова по металлургии, написанном впоследствии, есть ссылки на личные впечатления. Например, еще во Фрейберге молодой ученый (к Ломоносову в 1740 году это определение уже применимо) обратил внимание на циркуляцию воздуха в шахтах, от которой «употребительные у рудокопов ночники и свечки погасали». Этому феномену он впоследствии посвятил особую статью. Заметил он и детей, которые выполняли тяжелую и вредную работу — вручную толкли руду; когда-то и сам Генкель, еще в бытность врачом, решительно выступал против использования малолетних на этих работах. Ломоносов думал о механизации… Судя по собственным воспоминаниям, он «не гнушался ползать по темным грязным рудникам». Но, может быть, он — крупный, плотный, тяжелый — не так охотно спускался по многометровым лестницам в узкие шахты, как того ожидал строгий учитель.

В глазах Генкеля, эмпирика и практика, Ломоносов довольно быстро зарекомендовал себя как высокомерный умник, хлебнувший новомодных, оторванных от жизни ученых бредней. Вероятно, это произошло после того, как Ломоносов выразил недовольство лекционной программой. А он был ею недоволен. По словам Ломоносова, Генкель «в первые четыре месяца едва пройти успел учение о солях, на что и одного месяца было бы довольно; остального же времени хватило бы для всех главнейших предметов, как то металлы, полуметаллы, земли, камни и сера. Однако же при этом большая часть опытов по неловкости его была испорчена. Рассказы о подобных роковых происшествиях (о коих он повествовал нам с примесью jocis frogidis[38] и пустословия) составляют половину нашего дневника…» (из письма Шумахеру от 16 ноября 1740 года). Заслуженному старому ученому (а шестьдесят лет в то время было старостью) изменяла рука, опыты не получались, он не мог стерпеть позора перед учениками — и раздражался. А тут еще

этот выскочка Lomonosoff лезет со своей «разумной философией»… «Когда я однажды, по его приказанию, начал излагать химические явления, то он тотчас же оборвал меня, ибо я толковал их не по его перипатетическому рецепту, а на основании законов механики и гидростатики, и с обычной надменностью своей поднял мои слова на смех…» — сетовал Ломоносов позднее.

Но в первые месяцы у Ломоносова был сильный покровитель, который его — да и его товарищей — не давал в обиду, смягчая и строгость академических инструкций, и крутой характер Генкеля.

Готлиб Фридрих Вильгельм Юнкер (1703–1746), университетский товарищ Миллера, приехал в Россию в 1731 году. Он был не ученым, а поэтом, причем посредственным. Звездой первой величины его считали лишь в Санкт-Петербурге. В 1734 году он получил звание профессора элоквенции. Это не всем понравилось. Как потом вспоминал сам Ломоносов, «профессор Вейтбрехт умел хорошо по-латине; напротив того, Юнкер едва разумел латинских авторов[39], однако мастер был писать стихов немецких, чем себе и честь зажил и знакомство у фельдмаршала графа Миниха. Шумахер, слыша, что Вейтбрехт презрительно отзывается о Юнкере как о неученом, поднял его на досаду, отчего произошла в Конференции драка, и Вейтбрехт признан виновным, хотя Юнкер ударил его палкою и расшиб зеркало».

Попав в фавор к Миниху, Юнкер, кроме сочинения од, стал выполнять и его деловые поручения. В частности, ему был поручен надзор за солеварнями на Украине. Для изучения технологии солеварения он отправился в Германию. Он получил чин «надворного камерального советника», а в Академии наук за ним оставили звание почетного члена. Шумахер ценил его как человека, имеющего связи при дворе. Оказавшись во Фрейберге вскоре по прибытии туда студентов, поэт-солевар пожелал с ними познакомиться. Впечатление его было весьма благоприятным: студенты «хотя и были одеты неряшливо, однако по части наук, кои им велено были изучать, положили надежное основание, свидетельствующее об их должном прилежании в Марбурге, чему порукой и сам господин берграт».

Юнкер просил Корфа и Шумахера великодушно простить трем студентам прежние ошибки. Если Корф, раздраженный, видимо, огромными расходами на портных, значащимися в счетах, запретил Ломоносову, Виноградову и Рейзеру шить и покупать себе новое платье впредь до окончания срока учебы, то Юнкер, поразившись оборванному виду студентов (должно быть, в Марбурге они больше заказывали кринолины для своих подружек), позаботился о их одежде. Ломоносову пошили две

рубашки, китель, портупею, купили башмаки и туфли. Кроме того, по настоянию Юнкера студентам наняли учителя рисования. На все это Генкель запросил из Петербурга дополнительных 50 рублей в год на каждого студента и получил согласие.

Юнкер занимался не только бытом Ломоносова и его товарищей — он, на правах представителя Академии наук, вмешивался в их обучение, рекомендуя каждому из студентов специализироваться на одной из отраслей горного дела. Ломоносову, по его мысли, следовало бы (как знатоку механики) поглубже заняться строением рудников и горными машинами. Рейзеру предлагалось погрузиться в изучение руд и минералов, Виноградову — плавильных процессов.

Ломоносов пользовался особым покровительством Юнкера, без сомнения, — из-за своих литературных занятий и интересов. Именно в месяцы общения с немецким поэтом Михайло Васильевич создал «Письмо о правилах российского стихотворчества» и «Оду на взятие Хотина» — одно из тех свершений, которым обязан он своей долгой и высокой славой (подробнее об этом — в следующей главе). Именно Юнкер в декабре увез трактат и оду своего молодого собрата в Петербург.

А будучи в Германии, Юнкер использовал Ломоносова как секретаря и переводчика (на русский язык с немецкого) «нужных рапортов и екстратов о соляном деле для подачи в Петербурге по возвращении». Возможно, эта работа как-то оплачивалась. Но главное — Ломоносов «много пользовался в знании соляного дела» у понаторевшего уже в этой области Юнкера. Кстати пришлось и то, что Ломоносов еще в детстве бывал с отцом на беломорских солеварнях.

Но как только Юнкер уехал, начались конфликты. Во-первых, 600 рублей на обучение студентов из Петербурга поступили, а 500 рублей жалованья Генкеля — еще нет. И Генкель под этим предлогом перестал выдавать студентам карманные деньги. «Мы принуждены были по десять раз приходить к нему, чтобы выклянчить какую-нибудь безделицу… И из-за того принуждены мы были вечно сидеть без денег и не могли завести знакомства с людьми, кои полезны были бы нам для изучения горного дела». На беду Ломоносов узнал, сколько берет Генкель с местных саксонских учеников: плата была в десять раз меньше той, которую получал он из Академии наук. Впечатленному этим открытием студенту не хватило осторожности сохранить его при себе. Разговоры дошли до Генкеля, и с этого дня Ломоносов окончательно перестал пользоваться его расположением.

Первая ссора выглядит нелепо и почти комично. Оба участника предъявили академии свои версии. Вот что писал

Генкель:

«Я поручил ему… заняться у огня некой работой такого рода, каковую я обыкновенно и сам исполняю и от которой никто не отказывался, он же наотрез отказал мне и притом не один раз, а дважды с нарочитыми словами, что он не желает сего делать, и я, уже видя, что он отлынивает от работы, ведя себя как барин, стал тем более принуждать его к этой работе, чтобы испытать его послушание, указывая, что иначе он ничему не научится и ни к чему не будет годен, ибо солдату надлежит понюхать пороху. Не успел я ничего более сказать, как он с шумом и необыкновенными жестами отправился в свою комнату, коя отделена от моего музеума лишь кирпичною перегородкой… Тут он принялся ужасающе бушевать, так что слышала вся моя семья, колотил что было мочи в помянутую перегородку, кричал из окна, ругался, и даже по самому простонародному немецкому обыкновению во все горло крикнул из окна на улицу: Hunng fuit[40], несмотря на то, что напротив жил полковник и в то же время по улице проходил офицер. Затем он, сначала не в пьяном виде, ходил по городу из одного места в другое, наконец напился, произносил против меня неприличные слова, и чтобы приобрести к себе расположение, старался восстановить против меня моих добрых приятелей и даже самого хозяина, рассказывая им, что я дурно о них отзывался. Проходя мимо моих домашних, он вел себя очень дурно, и, что всего хуже, часов в десять, придя домой, закричал во все горло, чтоб я его…»

Генкель поручил Ломоносову растирать сулему. Студент действительно проявил «барство», отказавшись от этой неприятной и нетворческой, рутинной работы. Эта гордыня, как и мотовство в Марбурге, — результат слишком стремительного обретения «благородного» статуса. Статуса, за который особенно боишься… Бешеная вспышка Ломоносова и его последующее поведение, скорее всего, объясняются просто: горячий поморский парень неправильно истолковал слова Генкеля про то, что «солдат должен понюхать пороха». Молодой человек подумал, что Генкель грозит ему солдатчиной. Как мы увидим дальше, вспыльчивость и непомерное самолюбие — черты, которые Михайло Васильевич пронесет через всю жизнь.

Два дня Ломоносов не ходил на занятия. Одумавшись, он написал Генкелю письмо с извинениями — по-латыни. Впрочем, едва ли это можно назвать извинениями…

> «Ваши лета, Ваше Имя и заслуги побуждают меня изъяснить, что произнесенное мной в огорчении, возбужденном бранью и угрозой отдать меня в солдаты,

было свидетельством не злобного умысла, а уязвленной невинности. Ведь даже знаменитый Вольф, выше прочих смертных поставленный, не почитал меня столь бесполезным человеком, каковой токмо на растирание ядов был бы пригоден. Да и те, чрез предстательство коих я покровительство всемилостивейшей государыни нашей имею, не суть люди неразумные. Мне же воля Ее Величества совершенно известна, и я, в чем на Вас самих ссылаюсь, мне предписанное соблюдаю строжайше. Но то, что Вами сказано было в присутствии сиятельного графа и прочих моих товарищей, терпеливо сносить мне никем велено не было…»

В заключение молодой наглец сообщил, что, несмотря на все, должен присутствовать на занятиях, и осведомляется у старика берграта: «Присутствует ли еще в Вашем сердце гнев, ничтожной причиною возбужденный? Что же до меня, то я, повинуясь естественной склонности, готов все предать забвению… Помянуя прежнюю Вашу ко мне благосклонность, желаю, чтобы случившееся забвению предать, как нечто вовсе не бывшее, ибо я уверен, что Вы в учениках своих скорее друзей, а не врагов видеть желаете».

Генкель на это и отвечать не стал. Еще через два дня Ломоносов, по уговорам Рейзера и Виноградова, пришел к нему и попросту попросил прошения. Генкель «как следует намылил голову» дерзкому студиозусу и допустил его к занятиям.

Все шло как будто благополучно. Ломоносов увлеченно учился (держа при себе свое мнение о лекциях Генкеля), ездил на шахты Брайнсдорф и Гиммельфюрст. Похоже, отношения между учеником и учителем на время почти наладились, коли Генкель дал Ломоносову для работы пробирные весы с разновесами. К маю основной курс закончился; следующий год предполагалось посвятить практике. Правда, еще должен прочитать свой курс лекций горный инспектор Иоганн Керн, специалист по драгоценным камням, но лекции сорвались, так как «Генкель вздумал вычесть у него слишком много из суммы, назначенной ему Академией наук».

Ломоносов жил уже не у Генкеля (после скандала, который видела вся улица, почтенный берграт не мог держать этого юнца в своем доме), а у некоего «доктора медицины». Оплачивалась комната из высланных на содержание студентов денег; однако потом Генкель, поссорившись с доктором, заставил Ломоносова переехать к другому его знакомому — адвокату. При этом студенту пришлось из своих скудных средств заплатить хозяину

прежней квартиры неустойку.

Обеды в судках тоже прекратились. Генкель решил, что тесть слишком много с него берет, и стал вместо этого выдавать каждому из студентов по 4 талера в месяц на каждого. Этого не хватало даже на самое скромное питание. Теперь уже недовольны были все трое. Но бунтовал один Ломоносов. Несколько раз он подходил к Генкелю с просьбами, но тот был непреклонен и отказывался поднять сумму, хотя бы студентам «пришлось просить милостыню». Он все еще не получил своих 500 рублей, а кредитовать никого не хотел: он был не похож на Вольфа. Ломоносов в ответ дерзил учителю.

Между 16 и 19 мая (по новому стилю) 1740 года все три студента явились к Генкелю. Ломоносов от их имени изложил просьбу. Берграт был непреклонен — «ни одного пфеннига!» и грозился позвать городскую стражу.

Это стало последней каплей. В тот же день Михайло покинул город, прихватив Генкелевы пробирные весы. Перед этим он, по свидетельству Генкеля, «в ужасающе пьяном виде шатался по городу, а при встрече с моими домашними вел себя весьма неучтиво».

Он направлялся в Лейпциг, где на ярмарке (как сказали ему) должен был находиться русский посол Герман фон Кейзерлинг (тот самый, который до Корфа возглавлял Академию наук), у которого он рассчитывал искать справедливости. Но Кейзерлинга в Лейпциге не оказалось: он уехал в Кассель, чтобы присутствовать там на бракосочетании принца Фридриха. Зато на ярмарке Ломоносову встретилось «несколько добрых друзей из Марбурга». Они как раз направлялись в Кассель и взяли «брудера Михеля» с собой. Но и в Касселе Кейзерлинга уже не было.

Еще из Лейпцига Ломоносов написал письмо Шумахеру, в котором объяснял (со своей точки зрения) случившееся. В ожидании какого-то решения он отправляется в Марбург — собственно, больше ему было деваться некуда. Но Вольф (получивший наконец-то назад свои выплаченные в счет студенческих долгов деньги) принял его без восторга: архангельский самородок уже порядочно утомил профессора своими неразрешимыми житейскими проблемами. К тому же герру регирунгсрату было явно не до того — он, что называется, сидел на чемоданах: как раз умер чурбан Фридрих Вильгельм I, на престол в Пруссии взошел просвещенный Фридрих II, впоследствии Великий, и конфуцианца Вольфа с извинениями и всем полагающимся почтением пригласили назад в Галле. Вольф дал понять Ломоносову, что «вступаться в это дело» (конфликт с Генкелем) не собирается.

В Марбурге Ломоносов поселился у Цильхов. Трудно сказать, явился он к своей, так сказать, семье сразу или лишь после того, как не удалось воспользоваться гостеприимством Вольфа. Живя во Фрейберге, он, как выяснил строгий Генкель, «состоял в подозрительной переписке с некой особой из Марбурга». Весьма вероятно, что это была Елизавета Христина Цильх. Во всяком случае, первым, что пришлось теперь сделать Ломоносову, было венчание в местной реформатской церкви, каковое и имело место 6 июня 1740 года — чуть ли не на следующий день после возвращения в Марбург. Как значится в церковной книге, в этот день были обвенчаны — «Михаил Ломоносов, кандидат медицины, герра Василия Ломоносова, купца и торговца из Архангельска, что в России, родной сын от законного брака, и Елизавета Христина Цильх, оставшаяся от покойного герра Генриха Цильха, бывшего члена городского совета и церковного старшины, законная дочь». Ломоносов назвался «кандидатом медицины» (которым он не был, хотя и обучался на медицинском факультете) и сыном купца, вероятно, чтобы смягчить сердце будущей тещи. Впрочем, разве его отец не был судовладельцем, не торговал рыбой, не занимался фрахтом? По европейским представлениям, вполне купец!

Но что было делать дальше — неясно. В долг никто не давал (иллюзий относительно кредитоспособности Ломоносова в Марбурге уже ни у кого не осталось), ответ из Петербурга не приходил, жить в доме Цильхов и за их счет тоже было неудобно. Кейзерлинг, посол и в Саксонии, и в Польше (благо правитель там был один), мог с равной вероятностью находиться и в Дрездене, и в Варшаве. Другой ближайший русский посол, граф А. Г. Головкин, имел резиденцию в Гааге. Ломоносов знал его: он посещал Фрейберг, встречался с русскими студентами, в чем-то помогал им, и в его присутствии произошла неприятная сцена из-за растирания сулемы. К нему наш герой и отправился, полагая, что тот поможет ему вернуться в Россию.

Ушел Ломоносов из Марбурга довольно необычно — «не простившись ни с кем, ниже женою своей, одним вечером вышел со двора и пустился прямо по дороге в Голландию».

С этого момента и до середины октября не сохранилось никаких документов. О том, что происходило с Ломоносовым в это время, мы знаем только с его собственных слов. Потеряла его и академия. Генкель тем временем успел послать в Петербург письмо со своей версией событий. Корфа к тому времени сменил на должности президента еще один барон — Карл фон Бреверн.

Академическая канцелярия 31 июля (10 августа) приняла решение: написать Кейзерлингу, чтобы он как можно скорее,

«морем или сухим путем», отослал Ломоносова в Петербург, снабдив его деньгами на проезд. Письмо, извещающее об этом решении, было отослано Генкелю с таким объяснением: «Понеже почти приходится думать, что с этим человеком трудно будет достичь предположенной цели, то почтено за благо отозвать его назад и употребить в соответствии с его способностями». Генкеля просили не сообщать Ломоносову о принятом решении — «дабы этот человек не получил повод скрыться». В глазах академии Ломоносов был в этот момент «невозвращенцем», скрывающимся беглецом, которого необходимо было вернуть на родину принудительно. При этом Шумахер и фон Бреверн хорошо понимали, что (учитывая положение дел в Германии) это практически невозможно.

Между тем Ломоносов сам направлялся в русское посольство — только в другое. При этом путь его был наполнен приключениями, годными для какого-нибудь романа той эпохи.

Шел он пешком (денег на пролетку не было) и на третий день дошел только до Дюссельдорфа. Здесь с ним случилось знаменитое событие.

Вот как о нем рассказано в «Академической биографии» Веревкина. Ломоносов «ночевал по близости от сего города в небольшом селении на постоялом дворе. Нашел там прусского офицера с солдатами, вербующего рекрут… Путник наш показался пруссакам годною рыбою на их уду. Офицер просил его учтивым образом сесть около себя, отужинать с его подчиненными и вместе выпить так называемую круговую рюмку. В продолжение стола расхваливаема была королевская прусская служба. Наш путник был так уподчиван, что не мог помнить, что происходило с ним ночью. Пробудясь, увидел на платье своем красной воротник; снял его. В карманах нащупал несколько прусских денег. Прусский офицер, назвав его храбрым солдатом, дал ему между тем знать, что, конечно, сыщет он счастие, начав служить в прусском войске. Подчиненные сего офицера именовали его братом… „Как? — отвечал Ломоносов, — я ваш брат? Я россиянин, следовательно, вам не родня“. — „Как? — отвечал ему прусский урядник, — разве ты не совсем выспался и забыл, что вчерась при всех нас вступил в королевскую прусскую службу; бил с г. поручиком по рукам; взял деньги; пил с нами круговую рюмку за свое и полку нашего здравие и братался с нами. Не унывай только и не думай ни о чем, тебе у нас полюбится, детина ты доброй и годишься на лошадь“. Таким образом сделался бедный наш Ломоносов королевским прусским рейтаром…».

Фридрих Вильгельм умер, но охота на великанов

продолжалась. У Ломоносова хотя бы обманом выманили согласие на службу — а бывало, рослых иностранцев, проходивших через прусские земли, просто силой захватывали и ставили под ружье. Герард Фридрих Миллер, такой же огромный, как Михайло Васильевич, в юности, еще до отъезда в Россию, чуть не стал жертвой этого оригинального способа комплектования вооруженных сил.

Ломоносова отвели в крепость Вессель, где он начал службу. Сколько продолжалась она, неизвестно. Чтобы обмануть похитителей, Ломоносов «стал притворяться веселым и полюбившим солдатскую жизнь». Караульня, в которой он жил, находилась вблизи городского вала. Однажды на рассвете он на четвереньках поднялся на вал, «переплыл главный ров, а за внешними укреплениями и равелиной проминовал с крайним трудом контрескарп, покрытой ход, палисадник и гласис и увидел себя наконец на поле». Прусские крепости строились на совесть! «Оставалось зайти за прусскую границу. Бежал из всей силы целую немецкую милю. Платье на нем было мокро. Стало меж тем рассветать. Услышал пушечной выстрел из крепости, обычный знак погони за сбежавшим рекрутом. Овладевший им страх удвоил его силы… Непрестанно оглядываясь, увидел вдали скачущего за собою человека во весь опор, но успел между тем перебежать за Вестфальскую границу…»

Оттуда через Франкфурт, водным путем по Рейну Ломоносов добрался до Амстердама. Первый дипломат, к которому он пришел, Зигфрид Ольдекоп, принял его хорошо и отправил «на шлюпке» в Гаагу к Головкину. Но Головкин отказался помочь студенту-беглецу.

Вернувшись в Амстердам, Ломоносов неожиданно встретил знакомых архангельских купцов. На их кораблях в принципе можно было бы бесплатно добраться до России. Но купцы уговорили земляка не пускаться в путь без приказания академии и «изобразили без счета опасностей и злосчастий», ожидающих его в этом случае. Послушавшись их, наш герой отправился обратно в Марбург.

Обратный путь был долог; Ломоносов, кажется, побывал на знаменитых рудниках в Гарце; пользуясь взятыми с собой пробирными весами, он смог там, вероятно, попрактиковаться в искусстве пробирера, да и денег заработать. Познакомившись со знаменитым бергратом Крамером, он с пользой для себя у него поучился. Теперь он не был вольным студиозусом. Спесь сошла под палкой прусского вахмистра. Ломоносов вспомнил, кто он. Безродный служилый человек большой суровой державы, посланный за море за полезной наукой, он замечал в первую

очередь то, что пригодится для будущей службы. Так, в Голландии его впечатлили в первую очередь торфяные разработки…

И все же природная любознательность, вместе с практической необходимостью, заставляла его наблюдать за обычаями и нравами немецких земель, вслушиваться в их диалекты, отличные друг от друга куда больше, чем поморский и московский говор. Иногда его посещали странные мысли и воспоминания. Так, увидев между Касселем и Марбургом «ровное песчаное место, горизонтальное, луговое, кроме того, что занято невысокими горками или бугорками… кои обросли мелким, скудным лесом… при всем лежит великое множество мелких, целых и сломанных морских раковин, в вохре соединенных…», он вдруг припоминал как две капли воды похожее место на родных беломорских отмелях — и думал, что и эта, в глубине континента находящаяся равнина когда-то была, может быть, морским дном.

В Марбург Ломоносов вернулся, судя по всему, растерянным до предела, не зная, что предпринять. Он готов был возвратиться во Фрейберг и просить прощения у Генкеля. Написал Рейзеру, прося походатайствовать у Генкеля о высылке 50 талеров на дорогу; Генкель отказался высылать деньги без дозволения академии. Берграт и в самом деле срочно отписал в Петербург. Едва ли он жаждал снова увидать неучтивого студиозуса, но деньги-то на обучение этого Lomonosoff он получил и оприходовал, и возвращать их ему не хотелось. Тем временем и сам Ломоносов написал Шумахеру. Описав все свои злоключения, он просил не возвращать его во Фрейберг, а «освободить от тиранической власти гонителя моего» и послать в какое-нибудь другое место, например в Гарц. О Генкеле Ломоносов отзывался без пиетета: «Сего господина токмо те, кои тесно его не знают, почитать за идола могут, я же на всего великие познания не променял бы свои, хотя малые, но основательные… самые обыкновенные процессы, о каких во всех химических книгах сказано, держит он под спудом, так что их арканом из него вытаскивать должно, горному же искусству у любого штейгера, весь век в шахте проведшего, лучше, чем у него, можно выучиться». Прошли годы, прежде чем строптивый помор, хлебнувший передовой науки, смог отдать должное своему строгому и корыстному, но знающему наставнику.

Шумахер в ответ сухо известил Ломоносова, что принято решение о его возвращении в Россию, и потребовал отбыть в Петербург немедленно по открытии навигации. Это письмо было получено только в феврале. Вексель на 100 рублей, необходимых на дорогу, был отправлен ему через Вольфа (уже переехавшего

обратно в Галле). Однако за десять месяцев жизни без стипендии образовались, конечно, новые долги — еще рублей на сто. Некий марбургский «добрый приятель» Вольфа по его просьбе согласился поручиться за Ломоносова. Такова была последняя услуга, оказанная философом незадачливому ученику. Больше они не виделись. В 1753 году, незадолго до смерти, Вольф, прочитавший работы Ломоносова в академических «Комментариях», написал ему любезное письмо. Известен оттуда короткий фрагмент — в переводе самого Ломоносова: «Вы великую честь своему народу принесли… Желаю, чтобы и другие последовали вашему примеру». В конце жизни Вольф с радостью убедился, что его усилия и хлопоты в случае Ломоносова не пропали даром.

Все эти месяцы Ломоносов переписывался с Виноградовым. До нас дошло лишь последнее письмо, написанное в середине апреля 1741 года. Письмо написано по-немецки и подчеркнуто сухим тоном: «Monsier! Не предполагал я, что дружеству, Вами мне предложенному, наступит конец так быстро… На первое письмо, кое послал, исполнившись надежды после ваших обещаний, ждал я ответа шесть недель; нынче уже двенадцать недель, как жду ответа на второе…» Дальше Ломоносов сообщает о своем отъезде и просит прислать три оставшиеся в Марбурге его книги («Историю России» Петера де Эрлезунда, «Риторику» Николая Каусина и стихи Гюнтера) и деньги за другие, менее нужные ему книги, которые он, вероятно, поручил Виноградову продать.

Шумахер принял решение о возвращении Ломоносова в Россию по своим аппаратным причинам, более или менее понятным. Умирала Анна Иоанновна, назревал династический кризис, какой будет новая власть — не знал никто. Может быть, полезно будет предъявить ей хоть одного русского ученого, выучившегося за границей и годного к научной работе в академии; а может быть, выгодно будет публично наказать выскочку-простолюдина за непослушание и мотовство. В любом случае, в дни неразберихи никто не будет особенно подробно проверять академическую бухгалтерию. А значит, можно будет и дальше получать на обучение этого Ломоносова деньги из Сената, оставляя их в распоряжении академии. Заметим, что план сработал: по 400 рублей ежегодно на каждого из трех студентов поступали вплоть до 1744 года, несмотря на солидные неприятности, которые были у самого Шумахера в эти годы. При этом с 1742 года, когда закончились лекции у Генкеля, деньги эти вообще никуда не переводились и использовались для других целей. Виноградов и Рейзер остались без всяких средств и лишь с

помощью Рейзера-отца через посольство спустя два года сумели вернуться в Россию. В год их возвращения во Фрейберге умер 66-летний Генкель.

Но почему Ломоносов так охотно ехал на родину? Поставим вопрос иначе: почему в XVII веке в стране было столько «невозвращенцев» (вспомним хотя бы знаменитого дьяка Григория Котошихина или воина Ордина-Нащокина, сына начальника Посольского приказа) и почему в XVIII веке их почти не было? Борис Годунов послал учиться в Европу восемнадцать дворян — не вернулся ни один; все петровские пенсионеры вернулись. А ведь жизнь в стране не стала за сто лет ни свободнее, ни богаче. Дело, видимо, в другом… В чем же? Может быть, в том, что какие бы мелкие и корыстные твари ни управляли Россией, безумный петровский сверхпроект продолжал действовать, давая людям цель в жизни — цель, которую другие общества той поры дать не могли.

И Ломоносов ехал домой — туда, где у него не было ни друзей, ни семьи. (Все это осталось на чужбине.) Он бодрился, уверяя Виноградова, что письма Вольфа и Шумахера дают «добрую надежду касательно моего производства». Ему не хотелось ударить в грязь лицом перед товарищами по учебе, но у него были все основания ожидать в России сурового суда, кнута, колодок, в лучшем случае — квалифицированной, но подневольной работы в сибирской экспедиции или на уральских заводах. Правда, он посылал в Петербург свои естественно-научные и филологические «специмены», но не знал, как они приняты.

Жене он не велел писать — приказал ждать его письма. Женитьба без дозволения была еще одной виной, за которую он не хотел пока нести ответ. Между тем у Ломоносова был ребенок, и Лизхен ждала второго.

Тринадцатого (24) мая Ломоносов получил в Марбургском университете подорожную в Любек и спустя несколько дней на попутном судне отправился оттуда в Петербург.

Глава четвертая
«ПЕРВЫЙ ЗВУК ХОТИНСКОЙ ОДЫ…»

1

До сих пор мы говорили о подготовке нашего героя к трудам и свершениям, о мире, в котором он вырос. С этой главы начнется описание его работ, описание мира, сотворенного им.

Интерес к словесности и поэзии, возникший у Ломоносова еще в Москве, никуда не делся. Молодой человек понимал, что учиться в Германию его послали наукам совершенно другим. И, тем не менее, он не забывал поэзии. Из России он привез с собой книгу, купленную в университетской лавке, — «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» Василия Тредиаковского.

Уже в предисловии автор храбро объявил все стихи, писавшиеся по-русски до него, «не прямыми (то есть не настоящими) стихами».

Почему? «В поэзии вообще две вещи надлежит примечать. Первое: материю, или дело, каково надлежит писать. Второе: версификацию, или способ сложения стихов. Материя всем языкам в свете общая есть вещь. <…> Но способ сложения стихов весьма есть различен по различию языков…» Русскому языку чуждо не только квинтитативное (основанное на долготе и краткости слогов) стихосложение, которое пытался внедрить Мелетий Смотрицкий, но и силлабический стих, уже восемьдесят лет считавшийся каноническим. Русские силлабические стихи «приличнее… называть прозою, определенным числом идущею, а меры и падения, чем стих поется и разнится от прозы, не имеющей…».

Длина слога в русском языке, объясняет Тредиаковский, зависит не только от того, падает ли на него ударение. Русский стих, так же как и древнегреческий, и латинский, должен делиться на стопы. Только у древних стопа — это устойчивое сочетание коротких и длинных слогов, а у нас — слогов ударных и безударных.

Сегодня мы знаем, что в русской стопе может быть и два, и три слога[41]. Но Тредиаковский трехсложники решительно отмел. Двухсложных же стоп он, следуя античной традиции, выделил четыре вида: спондей (оба слога ударные), пиррихий (оба безударные), хорей или трохей (первый ударный, второй

безударный) «и напоследок иамб» (первый безударный, второй ударный).

Каждая строчка в правильных русских стихах, по мысли Тредиаковского, может состоять из стоп всех четырех видов, но чем больше хорея и чем меньше ямба — тем лучше. Лучший, высочайший (героический) русский стих — тринадцатисложник. Почему? «Употребление от всех наших старых стихотворцев принятое». В качестве примера «хорошего» тринадцатисложника Тредиаковский приводит первый стих первой сатиры Кантемира — «без сомнения главнейшего и искуснейшего пииты российского». Тринадцатисложный стих ассоциировался с античным гекзаметром; сам Тредиаковский именно так (гекзаметром) его везде и называет.

В начале своего трактата демонстративно порывая со всей прежней русской профессиональной стихотворческой традицией, Тредиаковский не мог отказаться от ее инерции. Это проявилось не только в пристрастии к тринадцатисложнику. Тредиаковский продолжал считать в стихах не только стопы, но и слоги, хотя это было совершенно излишне. Главное же — он категорически не принимал чередования («сочетания») мужских и женских рифм[42]. Более того, он считал мужские рифмы применимыми только «в мало важных и шуточных стихах, да и то по нужде». Если бы русские поэты начали чередовать мужские и женские рифмы, «такое сочетание стихов так бы у нас мерзкое и гнусное было, как бы оное, когда бы кто наипоклоняемую, наинежную и самым цветом младости своей сияющую европскую красавицу выдал за дряхлого, черного и девяносто лет имеющего арапа». Можно представить себе, как мрачно хмыкал, читая эти строки (а он, скорее всего, читал их), правнук ревнивого Ибрагима Ганнибала, современника Тредиаковского, между прочим[43].

Источник своей реформы сам Тредиаковский определил так: «Буде желается знать… то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ее весьма не красный, по неискусству слагающих; но сладчайшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ее стоп, нежели иногда греческих и латинских, падение подало мне непогрешительное руководство к введению в новый мой гекзаметр и пентаметр оных… двусложных тонических стоп».

Уже одно то поразительно, что Тредиаковский вообще обратил внимание на «поэзию простого народа» в эпоху, когда все образованные люди стремились изо всех сил дистанцироваться от всего грубого, мужицкого, «неевропейского». Тем более естественным казалось бы такое стремление для него, ученого выходца из низов. Но нет — адъюнкт Тредиаковский вслушивался

в песни мужиков, матросов, фабричных, семинаристов. Впрочем, вплоть до 1730-х годов «простонародные песни» в старом духе охотно пели (и слагали) и молодые дворяне[44].

Но кроме народных песен Тредиаковский испытал еще и влияние немецкой поэзии. Любимой его культурой была французская, язык французский он знал в совершенстве, смолоду писал на нем стихи (не хуже какого-нибудь приличного второстепенного французского поэта той эпохи). Но в Академии наук ему приходилось постоянно переводить с немецкого льстивые оды Юнкера и других профессоров Анне Иоанновне и ее приближенным. А петербургские немцы писали, естественно, стихом с упорядоченными ударениями, силлабо-тоническим стихом, уже плотно устоявшимся в Германии. Когда кто-то из них, немного выучив русский, пробовал на нем слагать «вирши», он, опять-таки следуя привычке, начинал писать силлабо-тоникой. Никакого влияния, правда, эти их произведения не имели, потому что уж очень бросались в глаза неуклюжие обороты и прямые ошибки в поверхностно знакомом языке. Вот, скажем, стихи двуязычного поэта Петровской эпохи Иоганна Вернера Пауса (Паузе):

Доринде! Что меня сожгати,
бывати в пепел последи?
Тебя могу я нарицати
свирепу, хоть смеешься ты.
Почасте рожам ты подобна,
Почасте и кропивам ровна.
«Рожам» — в смысле, розам…

В «Эпистоле от Российский поэзии к Аполлину» Тредиаковский перечисляет поэтов всех времен и народов: Гомера, римских классиков, Расина, «двух Корнелей», «Молиера», «Малгерба», «де ла Фонтена» и даже «молодого Волтера» (великому писателю и философу, которого мы обычно представляем себе седовласым старцем, было в 1735 году едва за сорок). Понаслышке, видимо, поминает он итальянца Тасса, англичанина «Милтона» и испанца Лопе де Вега — по классику на страну! — и наконец, завершает длинным перечислением имен немецких поэтов — больших и малых. Особое место в этом перечне занимает, естественно, Юнкер (от которого Тредиаковский, по всей вероятности, услышал все остальные немецкие имена):

Правильно германска[45] уж толь слух услаждает,

Что остр Юнкер славну мзду ею получает:
Юнкер, которого в честь я здесь называю,
Юнкер, которому, ей, всяких благ желаю.

Вслед за немцами бегло поминаются неевропейские народы. Выпускник Сорбонны в общих чертах знал, что в турецкой, персидской и «арапской» земле и даже в «Индии» тоже есть какая-то поэзия (в обоих словах — «Индия» и «поэзия» ударение — для рифмы — на последнем слоге).

Наконец, Тредиаковский обращается к Аполлону с таким призывом:

Но приди и нашу днесь посетить Россию,
Также и распространи в ней мя, поэзию.
Встретить должно я тебя всячески потщуся,
И в приличный мне убор светло наряжуся;
С приветственным пред тобой я стихом предстану,
Новых мер в стопах, не числ, поздравлять тем стану…
…Старый показался стих мне весьма не годен,
Для того что слуху тот весь был неугоден…

Уже в тридцатые годы XVIII века Тредиаковский в полной мере проявил свои человеческие качества. Человеком он был талантливым (в большей степени как филолог, чем как поэт), невероятно работоспособным, блестяще образованным, вечно ищущим, экспериментирующим, и притом — знающим себе цену, пекущимся о своем приоритете, неравнодушным к писательской славе, которую ему довелось испытать смолоду, отнюдь не лишенным авторского самолюбия… Но лишенным простого человеческого самоуважения, обделенным чувством достоинства. Конечно, ему привелось жить в жестокие и варварские времена. Может быть, ни одного крупного русского поэта так не унижали, как Василия Кирилловича. Но и никто так не позволял себя унижать.

Тредиаковский, поднося оды Анне Иоанновне, полз на коленях по тронному залу — от самой двери. Неизвестно, кто придумал этот ритуал. Но поэт не возражал. Послушно писал он панегирики и «поздравительные стихи» приближенным царицы, да и академическому начальству — тому же Корфу. А включить влиятельного сослуживца в список лучших поэтов всех времен и народов, начинающийся Гомером, — это уж сам бог велел… То, что Юнкер, немецкий пиита, занимает в российской академии профессорскую кафедру, а он, Тредиаковский, сверстник Юнкера,

русский пиита, и притом гораздо более ученый человек, о профессорстве может только мечтать, никак Василия Кирилловича не оскорбляло.

Высшей точкой унижений стал февраль 1740 года, когда Тредиаковского несколько дней методически били — кулаками, палками и его же собственной шпагой (плашмя) — по приказу Артемия Волынского, героического борца с бироновщиной. В промежутке между избиениями Тредиаковского в маскарадном платье и в маске привели в Ледяной дом, где он должен был прочитать поздравительные стихи в честь брачующихся шутов Квасника (в прошлой жизни — князь Михаил Голицын) и Буженинова. Шутовская свадьба, кстати, была парадным смотром Академии наук. Крафт строил невиданные в мире фонтаны (ледяные дельфины, изрыгающие горящую нефть) и руководил отливкой ледяной мебели и утвари. Участвующие в маскарадном представлении аборигены демонстрировали национальные костюмы и предметы быта — богатейшие этнографические коллекции, присланные из Сибири участниками Второй камчатской экспедиции. Нашлось дело и поэту…

Кабинет-секретарь Артемий Волынский велел избить Василия Тредиаковского за сатирическую песенку или басенку, сочиненную, конечно, не по собственной инициативе, а по приказу «патрона» — графа Куракина. Вскоре Волынский, Хрущов и обер-архитектор Еропкин, создатель генерального плана Петербурга, были арестованы и казнены за заговор против Бирона. Жалоба Тредиаковского, которой иначе не заметили бы, пошла в дело как отягощающее вину обстоятельство. Тредиаковский получил (из конфискованного имущества Волынского) «за бесчестье и увечье» 360 рублей, сумму, превышавшую его годовое жалованье. Но жаловался он скорее не на бесчестье, а на увечье, на то, что его побили больно и с последствиями для здоровья. Как будто он, в недавнем прошлом парижанин, студент Сорбонны и сочинитель галантных французских стихов, просто не понимал, зачем у него на боку шпага и что она символизирует.

Трудно представить себе избиение Симеона Полоцкого, скажем, боярином Ординым-Нащокиным. Впрочем, Тредиаковскому, по слухам, приходилось терпеть побои даже от придворных шутов — Балакирева и Педрилло. Петровские реформы поначалу не уменьшили, а увеличили количество произвола, который к тому же перестал быть государственной монополией. Прежние социальные страты, принадлежность к одной из которых обеспечивала человеку хоть какой-то, освященный обычаем, уровень прав, хоть какую-то защиту,

распались, новые еще не до конца сложились, а новоевропейская идея внесословного и внеобщинного достоинства человеческой личности на самом Западе тогда была внове и имела мало сторонников, а до России просто не дошла.

Но в любые времена многое зависит и от самого человека. Мы уже видели примеры поведения Михайлы Ломоносова. Плебей по происхождению, погрязший в долгах студент, он уже в эти годы никому не позволял разговаривать с собой в грубом и высокомерном тоне, не говоря уж о рукоприкладстве. Ломоносов сам бывал грубоват, резок, раздражителен, болезненно мнителен, несправедлив; мог он быть и нелеп, а иногда даже смешон. Но ни разу за всю жизнь он не выглядел жалким. А Тредиаковский, увы, выглядел именно так. И дожив до эпохи более мягкой, он по-прежнему часто вел себя неуверенно и неблагородно. Он был выдающимся человеком, но при этом слишком слаб, а русский XVIII век требовал силы недюжинной.

2

Новая система стихосложения была, разумеется, опробована Тредиаковским на практике. Еще в 1734 году написал он «Оду торжественную о сдаче города Гданска». Поводом для написания этой оды (образцом русскому поэту послужила знаменитая ода Буало «На взятие Намюра») стал завершающий эпизод войны за польское наследство, в которой после смерти Августа Сильного участвовала Россия. Людовик XV попытался вернуть на престол своего тестя Станислава Лещинского — он правил в 1704–1709 годах и был низложен после Полтавской битвы, Анна, как прежде Петр Великий, стояла за саксонский дом. В Гданске (Гданьске) держал оборону Станислав, уже изгнанный из Варшавы. Взятие города означало окончательную победу саксонцев и русских.

Ода начиналась так:

Кое трезвое мне пиянство
Слово дает к славной причине?
Чистое Парнаса убранство,
Музы! Не вас ли вижу ныне?
И звон ваших струн сладкогласных,
И силу ликов слышу красных;
Все чинит во мне речь избранну.
Народы! Радостно внемлите;
Бурливые ветры! Молчите:
Храбру прославлять хощу Анну.

Спустя восемнадцать лет, чтобы доказать свое первенство перед Ломоносовым в написании «правильных» стихов нового образца, Василий Кириллович задним числом переделал все свои произведения 1734–1742 годов. «Оду о сдаче города Гданска» он тоже переписал — гладеньким (насколько у Тредиаковского это получалось) хореем:

Кое странное пиянство
К пению мой глас бодрит?
Вы, Парнасское убранство,
Музы! ум не вас ли зрит?
Струны ваши сладкогласны,
Меру, лики слышу красны;
Пламень в мыслях восстает.
О! Народы, все внемлите;
Бурны ветры! не шумите:
Анну стих мой воспоет.

Стало ли лучше? Трудно сказать. Нашему слуху, несколько утомленному классическим русским стихом, напряженный, ломаный ритм ранней редакции, возможно, даже приятнее. Но нам трудно представить, как ошеломляюще ново звучала гармония русской силлаботоники для первых слушателей первых хореических и ямбических русских стихов.

Пока что новаторские идеи академического секретаря приобретали популярность, как несколькими годами раньше — его любовный роман. Надменные дворянские юноши из Шляхетного корпуса, чуть не все сплошь грешившие стихотворчеством, стали писать по рецептам бедного пииты. Одним из этих молодых «благородных» стихотворцев был Александр Сумароков (1717–1777), выпускник 1740 года. Другим — Михаил Собакин (1720–1773), не ставший, в отличие от Сумарокова, профессиональным писателем, но оставивший в русской поэзии след длинным стихотворением «Радость столичного граду Санкт-Питербурху…», описывающим торжественный въезд Елизаветы Петровны в столицу после коронации в Москве 22 декабря 1742 года.

Стогнет воздух от стрельбы, ветры гром пронзает,
отзыв слух по всем странам втрое отдавает.
Шум великий от гласов слышится всеместно,
полны улицы людей, в площадях им тесно.

Тщится всякий упредить в скорости другова,
друг ко другу говорят, а не слышат слова.
Скачут прямо через рвы и через пороги,
пробивался насквозь до большой дороги.
Всяк с стремлением бежит в радостном сем стоне
посмотреть Елисавет в лаврах и короне.
Старость, ни болезнь, ни пол, ни рост не мешают,
обще с удовольством зреть въезд ее желают…

Пожалуй, получилось половчее, чем у самого Василия Кирилловича, — но в полном соответствии с его рекомендациями.

В свою очередь, и Антиох Кантемир, который, сидя «полномочным министром» в Лондоне, как раз в 1735 году вновь начал, после четырехлетнего перерыва, писать стихи, с интересом прочитал труд Тредиаковского. Книга в целом ему понравилась. «Приложенный от сочинителя труд столь больше хвален, что в самом деле народ наш лишается некаким образом предводителя в стихотворном течении. Многие часто с прямой дороги сбивалися. Наипаче же хвален, что с необыкновенной стихотворцам умеренностью представляет свой опыт к испытанию и исправлению тех, кто из нас имеет какое-либо искусство в стихотворстве». Вот Кантемир и решил «подправить» коллегу, написав собственный трактат — «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов российских».

По мнению Кантемира, при сочинении российских стихов «рассуждение стоп… излишно». Достаточно всегда делать ударение на двух слогах — предпоследнем в строке и предпоследнем перед цезурой (интонационным словоразделом на середине строки). Кантемир был человеком галльской культуры. Французский и польский стих оставались в его глазах образцами для русского. Несмотря на многие годы, проведенные в Англии, и вероятное знание английского языка, шекспировский ямб, видимо, не пленил его слух и не изменил его представлений о просодии. Но, по его мнению, русское стихосложение все же отличается от французского. Потому он защищал право на существование белого (нерифмованного) русского стиха и анжамбеманов (переносов фразы из строки в строку) — впрочем, сам князь Антиох этих терминов не употреблял.

Стиховедческие теории поверяются практикой. Кантемир «исправил» все свои ранние сатиры и новые стихи писал согласно «Письму Харитона Макентина». Получалось, надо сказать, довольно красиво — гораздо лучше, чем у Тредиаковского.

Вот белый стих Кантемира:

Земля выпивает дождь,
А деревья землю пьют;
Моря легкий воздух пьют,
И солнце пиет моря;
Месяц же солнце пиет;
Для чего убо, друзья,
Журить меня, что пью?

Это из Анакреона. Рядом — оригинальная лирика в анакреоническом духе:

Приятны благодати,
Танцы вы водя под древом,
Двигайте ноги легонько,
Велите играть тихонько,
Или, далее отшедши,
Приятные благодати,
Танцы вы свои водите;
Любимица моя близко,
Спочивает тут под древом,
Взбудить ее берегитесь;
Когда взглянут тыя очи,
Уже будут ничто ваши;
Уж вам, красны благодати,
Не похочется плясати.

А вот рифмованные стихи — начало послания к князю Никите Трубецкому:

Беллоны часто видев, не бледнея,
Уста кровавы и пламень суровый,
И чело многим покрыто имея
Листом победным, я чаял, ты новый
Начал род жизни; я чаял, ты, спелый
Плод многовидных трудов собирая,
В покое правишь крайние пределы
Пространна царства, что вблизи Китая…

Этими звонкими и мужественными строками еще в XIX веке восхищался Батюшков.

Тредиаковский возражения Кантемира принял ревниво: может быть, потому, что сравнение стихов было не в его пользу. В своем позднейшем труде «О древнем, среднем и новом российском стихотворстве» он отдает должное Кантемиру-поэту, но о его трактате язвительно замечает: «Хотя автор благопохвальным умствованием показал ученому российскому свету великую остроту вымысла, однако, если кто вынет из системы его все ненужные обходы, крюки и кривизны, тогда всяк выйдет по ней прямо токмо к среднему нашему стихосложению, сиречь к прозаическим строчкам… Видно… что система сия сочинена конечно чужестранным человеком». Впрочем, и трактат Кантемира, и его стихи ждали печати до 1762 года и составить Тредиаковскому полноценной конкуренции не могли.

Неизвестно, каким путем пошло бы развитие русской просодии, если бы не Ломоносов. Может быть, из упорядоченной силлабики Тредиаковского и позднего Кантемира вполне мог развиться другой вариант классического русского стиха? Исключить это нельзя, тем более что перед нами живой пример: украинская поэзия. На восточной Украине литературным языком до середины XIX века был русский (иногда с незначительным вкраплением украинизмов), а старая, силлабическая система стихосложения держалась очень долго. И вот уже в 1750-е годы на основе этой системы возник уникальный, ни на что не похожий песенный логаэд[46] Григория Сковороды:

> О дубрава! О зелена! О мати моя родна!
> В тебе жизнь увеселенна, в тебе покой, тишина…

А начиная с эпохи Шевченко, когда украинский язык стал языком национальной поэзии, заимствованная у «москалів» силлаботоника продолжала соседствовать с народной силлабической «коломыйкой».

Но едва ли стоит жалеть об упущенных возможностях. Во многом благодаря гению и труду героя нашей книги русская поэзия обладает просодическим инструментарием, по богатству, разнообразию и разработанности почти не имеющим аналогов в мировой культуре. Не случайно русские поэты и сейчас, в эпоху господства во всем мире верлибра, не спешат с этим инструментарием расставаться…

3

В 1735 году Ломоносов был, однако, еще далек от создания

русской силлаботоники. Купив книгу Тредиаковского, он в течение последующих четырех лет исписывает ее поля язвительными замечаниями на всех известных ему языках, кроме разве что греческого.

В 1936 году литературовед П. Н. Берков проанализировал и классифицировал эти пометки.

Во-первых, Ломоносов исправил стиль своего предшественника — в стихах и в прозе. В частности, он откорректировал славянизмы Тредиаковского. Вопрос о том, как следует использовать в современном (им) русском языке слова и обороты, заимствованные из старославянского, был одним из главных в последующей филологической полемике Ломоносова и Тредиаковского. Пока что марбургский студент замечает: «Новым словам ненадобно старых окончанием давать, которые неупотребительны, на пример пробуждена in accusativo[47] вместо пробужденово». Стилистические замечания касаются и смысловых неточностей, двусмысленностей, тавтологий («Чрез стих разумеется всякая стиховная строка…»). Ломоносова уже в эти годы раздражал слог Василия Кирилловича. Он язвительно отмечал и передразнивал рифмовку однокоренных слов («народы» — «роды»), «затычки» для размера, неловкие обороты. Разумеется, бешеный нрав нашего героя сказывался и здесь. Разъярившись, Ломоносов начал заочно оскорблять автора «Нового и краткого способа…». Тот говорит, что не стал бы отдавать в печать своих элегических стихотворений, если бы «некоторые мои приятели не нашли в них, не знаю, какова, духа Овидиевых элегий». «Бздуха» — поправляет на полях Ломоносов. Тредиаковский строго корит «слагателей стихов… которые не знали в том ни складу, ни ладу». «Как ты», — совершенно по-школьнически отвечает Михайло Васильевич. Строчка «Не молчит и правда устами» вызывает не менее школьнический комментарий: «Я думаю, что жопою». И так далее… Все это мало похоже на серьезную полемику. Но Ломоносов и не собирался полемизировать. Ответ его Тредиаковскому должен быть другим. На тезис о невозможности чередования мужских и женских рифм он ответил так: «Herculeum argument ex Arcadie stabulo»[48]. То есть: как Геркулес доказал, что очистить Авгиевы конюшни возможно, совершив это, так же и он, Ломоносов, на практике опровергнет своего предшественника. (Правда, может быть, Ломоносов имеет в виду, что стихи Тредиаковского — это именно то, чем были запружены конюшни аркадского царя.)

Готовясь к этому подвигу, холмогорский Геркулес пока что взахлеб читал немецкие стихи.

Немецкая поэзия к XVIII веку прошла уже долгий путь, но до

XVII века это был путь средневекового стихотворчества. Сперва галантные песни слагали рыцари-миннезингеры, потом пришла пора бюргеров-мейстерзингеров, таких как знаменитый башмачник Ганс Сакс. Утонченной ренессансной лирики Германия не знала, своего Ронсара тут не было.

В первой половине XVII века появилось несколько авторов, перевернувших немецкую поэзию. Первым из них был уже упоминавшийся Мартин Опиц (1597–1639). Живший в эпоху Тридцатилетней войны, вынужденный часто менять государства и покровителей, умерший нестарым, этот поэт успел дать немецкому стиху и немецкому поэтическому стилю прочные законы. Ведь и немцы пользовались прежде, в XV–XVI веках, силлабическим стихом (хотя немецкая народная поэзия, как и русская, построена по тоническому принципу). Опиц утвердил в своей стране силлаботонику. Но этим не исчерпывались его заслуги. В «Книге о немецком стихотворстве» (1624) Опиц описал для своих соотечественников всю систему жанров и форм современной европейской поэзии; немало занимался он, вместе со своими учениками и сподвижниками по так называемой силезской школе, унификацией и «очищением» немецкого литературного языка. В своей лирике Опиц скорбел о бедствиях войны и воспевал, следуя горацианской традиции, мирное поселянское житье. Еще он писал пасторали, эпические поэмы, создал трагедию на библейский сюжет («Юдифь»), перелагал псалмы — в общем, был чрезвычайно плодовитым литератором. Его современник и ученик, изысканный лирик Пауль Флеминг (1609–1640) в 1633 и 1636 годах с посольством Адама Олеария посещал Россию, которая ему очень понравилась. Впрочем, на фоне охваченной бесконечной войной (и одновременно массовой охотой на ведьм и колдунов) Германии что угодно выглядело раем. Во всяком случае, Флеминг посвятил Москве, Новгороду, Волге ряд прочувствованных стихотворений.

В следующем поколении барочная изысканность и барочный драматизм (которые сказываются уже у Флеминга и Опица) достигли крайней точки. Это поколение выросло и сформировалось в тяжелые времена. Андреас Грифиус (1616–1664), величайший немецкий поэт и драматург своего столетия, самыми мрачными красками описывал окружавший его мир:

Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч
Похитили наш труд, вконец нас одолели.

В руинах города, соборы опустели.
В горящих деревнях звучит чужая речь.
Как пересилить зло? Как женщин оберечь?
Огонь, чума и смерть… И сердце стынет в теле…[49]

Роскошь, которой окружали себя властители великих империй и карликовых княжеств, смутные слухи о научных открытиях, перевернувших представления о вселенной, бедствия войны, страстные религиозные споры, разруха, эпидемии, ведьмы, вопящие на кострах, — таким был мир, огромный, непредсказуемый и несоразмерный человеку. Эпоха барокко была последним выдохом Средневековья, последней попыткой реванша — хотя и без присущей настоящему Средневековью архитектонической цельности. Но в России XVIII века Средневековье еще далеко не кончилось. Так же, впрочем, как и в Германии XVII века. Переломная эпоха рождала вдохновенных и дерзких мистиков. Среди них — знаменитый Якоб Бёме, Ангелус Силезиус («силезский ангел», собственно, Иоганн Шеффлер) и, наконец, Квиринус Кульман. Об этом человеке Ломоносову наверняка приходилось слышать.

Кульман считал и папу, и лютеранских проповедников слугами Антихриста. Он проповедовал скорое наступление «Пятого царства», где монархом будет сам Христос. В Пятом царстве, или «иезуелитской монархии», не будет ни религиозной розни (евреи и мусульмане признают Христа), ни социальных противоречий; между прочим, процветут и точные науки. Свои идеи Кульман излагал в стихах, необычных по форме, предвещающих самые дерзкие модернистские эксперименты XX века. Он ездил в Турцию, чтобы склонить в свою веру султана, но не преуспел. В 1689 году он с аналогичной целью прибыл в Москву. Момент был выбран на редкость неудачно: короткая фанатичная эпоха царевны Софьи. Кульмана арестовали по доносу пастора из Немецкой слободы… и сожгли. В Германии костры, на которых сжигали еретиков, мало-помалу погасли несколькими десятилетиями раньше.

Были в Германии той поры не только мистические безумцы, но и мастера изысканной и изощренной светской лирики. Христиан Гофман фон Гофмансвальдау (1617–1679), почти сверстник Грифиуса, считался ее непревзойденным мастером. Красочный, метафорически усложненный стиль этого поэта и его последователей, представителей так называемой второй силезской школы, был германской аналогией итальянского маринизма или испанского гонгоризма. Эти стили были названы

по именам своих основателей — Джамбаттисты Марино и Луиса де Гонгора-и-Арготе. Оба они жили на полвека раньше своих немецких последователей. Но Германия быстро «догнала» своих южных соседей. По богатству, разнообразию и изысканности в тогдашней Европе мало что могло сравниться с немецкой лирикой эпохи барокко.

В 1730-е годы в архитектуре и живописи германских государств продолжалась эпоха барокко, и ее кульминация была еще впереди: роскошные дворцы и парковые павильоны Сан-Суси появятся лишь в 1740-е годы при Фридрихе Великом. Но в литературе уже настала пора новых веяний. Иоганн Фридрих Готшед (1700–1766), поклонник французского классицизма, последователь Корнеля и Расина, пропагандировал их творчество в Германии и сам написал трагедию «Умирающий Катон» (Ломоносов прочитал ее в Марбурге). Другие поэты первой половины XVIII века тоже все дальше уходили и от усложненного стиля поэтов первой и второй силезской школ, и от их пессимизма. Фридрих Гагедорн (1708–1754) был мастером анакреонической лирики, Бертольд Генрих Брокес (1680–1747), горячий поклонник идей Христиана Вольфа, прославился описательными и дидактическими стихами, в которых воспевал всеобщую предустановленную гармонию, богатство и красоту мира, сотворенного для блага человека. Брокесу вторили его подражатели, в том числе Христиан Фридрих Эндерлейн, слепой от рождения поэт из Фрейберга[50].

Одна великая эпоха немецкой лирики уже прошла, другая еще не наступила. Но поэтов в Германии в те годы было много и общий уровень их мастерства был высок. Там были и слагатели религиозных гимнов (Неймейстер, Шмольк), и придворные поэты (Кёниг, Бессер, Нейкирх). Все они как-то соперничали, полемизировали между собой — в общем, царило обычное в зрелой культуре суетливое разнообразие.

Из всех немецких поэтов ближе всего сердцу Ломоносова оказалось творчество Иоганна Христиана Гюнтера (1695–1723). Последний из крупных представителей поэзии немецкого барокко, он родился слишком поздно… или слишком рано. Ему бы быть сверстником Гёте и Шиллера. Или Брентано и Шамиссо. Или даже Гейне. В романтическую эпоху этот беспутный гуляка, скандалист, бунтарь воспринимался бы более естественно. Гюнтер прожил двадцать восемь лет: столько, сколько было Ломоносову в момент его блистательного поэтического дебюта. В этом поэте Ломоносов видел много близкого и родственного себе. Гюнтер тоже был в ссоре со своим отцом, бранился с учителями и покровителями, отличался надменным нравом, ходил по

кабачкам, залезал в долги. Недоучившийся врач, так и не закончивший Лейпцигского университета, он чуть ли не всю свою короткую жизнь лихорадочно скитался по городам Силезии и Саксонии. Ломоносов не расставался с книгой Гюнтера и до конца жизни наизусть помнил его стихотворения.

Начинал Гюнтер с изысканно-ювелирных стихов в духе Гофмансвальдау («Весна осени в саду любви»), потом прославился легкими и беззаботными студенческими песнями (их пели, вероятно, и в Марбурге). Эта часть его наследия популярна до сих пор, так же как любовная лирика («Песни к Леноре»). Однако есть у Гюнтера и стихи, полные настоящего трагизма…

Мечтая временами о карьере «придворного певца» (плохо подходящей его нраву), Гюнтер отдал дань и панегирической лирике. Самое знаменитое его произведение в этом жанре — ода «На мир, заключенный в 1718 году его императорским величеством с Высокой Портой» («Ода принцу Евгению», 1718), на победу австрийцев во главе с Евгением Савойским над Турцией и на заключение мира.

Начинается ода на высокой, торжественной ноте:

> Грядет Евгений — муза, пой!
> Рывок, осада, вновь сраженья.
> И там, где лавр сорвал герой, —
> Рубежные все шире звенья.
> Победный меч ему вручен,
> И коль порой помедлит он
> С ударом — паче враг страшится,
> И дух тех паче воспарил,
> Кто в блеске молний, плеске крыл
> К луне, как строй орлов, стремится[51].

Классициста Готшеда раздражали «неточности» Гюнтера, его слишком мощные и смелые метафоры. Но особенно возмущало его, что рядом с высокими «парящими» строфами в Гюнтеровой «Оде принцу Евгению» находится место для вот такой картинки. Наступил долгожданный мир, и бравый ветеран в кругу семьи, за столом рассказывает о прошедшей войне:

> Все слушают, раззявя рот,
> Речь Ганса, храброго героя,
> А Ганс в три горла ест и пьет
> Да привирает тоже втрое:
> «Зять! — говорит он, — тут вот, знай,
> Стояли мы, а тут Дунай —

(И пивом пролитым начертит)
— А турок тут, и грянул бой
(Гром порази меня!) такой,
Что не забыть того до смерти!»[52]

Эти стороны творчества любимого поэта Ломоносова не были востребованы его русским учеником (как и многие другие). Но полвека спустя это неожиданное сочетание высокого и низкого, космического и бытового, юмора и пафоса дало всходы в одах Державина.

Вооруженный чтением немцев, Ломоносов обратился к французской поэзии. Французская система стихосложения его разочаровала. В «Письме о российском стихотворстве» он оценивает ее сурово: «Французы, которые во всем натурально хотят поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам в том, что о сочетании стоп надлежит, примером быть не могут; понедже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя». И тем не менее именно на примере перевода с французского Ломоносов решается осуществить свое «геркулесово доказательство», введя в русскую поэзию чередование мужских и женских рифм. Это была «Ода к уединению» Фенелона.

Франсуа де Салиньяк де ла Мот Фенелон (1651–1715), герцог-архиепископ Камбре, первым перевел на французский (прозой) «Одиссею», писал стихи, повести, трактаты о воспитании, но прославился романом «Приключения Телемака». Сюжет этого романа лег впоследствии в основу «Телемахиды» — эпоса, который писал в последние годы жизни Тредиаковский и который стал предметом бесконечных (и во многом несправедливых) насмешек.

Стихи Фенелона в переложении Ломоносова звучат так:

Горы, толь что дерзновенно
Взносите верьхи к звездам,
Льдом покрыты беспременно,
Нерушим свод небесам:
Вашими под сединами
Рву цветы над облаками,
Чем пестрит вас взор весны;
Тучи подо мной гремящи
Слышу и дожди шумящи,
Как ручьев падучих тьмы.
Вы горам фракийским равны,

Клал одну что на другу
Исполин, отвагой славный,
Чтоб взойти небес к верьху.
Зрю на вас, поля широки,
Где с уступами высоки
Горы, выше облаков,
Гордые главы вздымают,
Бурей ярость посрамляют
Всех бунтующих ветров.

Еще немного неловко в языковом отношении, но какой легкий стих, какая непринужденная интонация! Автор «Нового и краткого способа…», считавший чисто хореические стихи «лучшими», писать их еще не умел: французское стихосложение, в котором он упражнялся, не могло дать ему такого навыка. Ломоносов, который с высокой вероятностью пробовал писать стихи по-немецки, именно таким образом мог на практике освоить правильные силлабо-тонические размеры.

Переводчик Фенелона хорошо понимал, что в Петербургской академии оценить его работу могут лишь Тредиаковский и Адодуров. На их отзывы он, вероятно, и рассчитывал. Не получив их, он уже во Фрейберге, в сентябре 1739 года, принялся за новый, воистину «гераклов» подвиг.

4

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла,
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала…

Владислав Ходасевич написал эти строки в 1938 году, через двести лет без одного года после описываемых нами событий.

Кто же и за что пал в 1739 году в Хотине?

Османская империя с момента своего возникновения обречена была на геополитическое соперничество с Московским царством, а затем Российской империей. В XVII веке предметом

спора трех соперников — Москвы, Варшавы и Стамбула — стала Украина. Правобережные и левобережные гетманы склонялись то к одному, то к другому покровителю, польские короли заключали кратковременные союзы с царем против султана и с султаном против царя. Еще одним участником конфликта было Крымское ханство, последний осколок Золотой Орды, состоявший под османским покровительством.

В конце XVII века экспансия турок в Европу была остановлена. В 1683-м Ян Собеский разбил их под Веной, в 1696-м Петр взял Азов, а год спустя Евгений Савойский совершил блистательную победу над султанским войском на реке Зенте. Принц Евгений и дальше успешно воевал с Портой, дав Гюнтеру повод для его славной оды, но у Петра дело складывалось хуже: Прутский поход, как мы помним, закончился неудачей, и Азов пришлось вернуть. Но от надежд на реванш ни Петр, ни его преемники не отказывались.

В 1735 году представился повод для новой войны. Турция собиралась начать войну с Персией — руками своих вассалов, крымских татар. 70-тысячный татарский корпус должен был пройти через русскую территорию. Россия, связанная в тот момент с Персией негласным договором, пропустить татар отказалась. Против крымцев (война Турции официально не объявлялась) двинулась 44-тысячная армия Миниха, спешно переброшенная из Польши (Гданьск уже пал). Предполагалось, воспользовавшись отсутствием большей части крымского войска в стране, нанести удар по Бахчисараю и осадить Азов.

Сначала дело пошло неудачно. Русский экспедиционный корпус (как это уже не раз бывало прежде) не выдержал похода по безводной степи и вынужден был повернуть назад. Но Миних не сдавался. Он готовился к новым битвам: развернул строительство галерного флота; позаботился о лучшем снабжении солдат в походе провиантом; согнав для каторжного труда тысячи крестьян — так же решительно и беспощадно, как прежде на постройке Петропавловской крепости и рытье Ладожского канала, — отремонтировал и укрепил Украинскую оборонительную линию между Северским Донцом и устьем Орели. Планы у полководца были великие: в 1736 году предполагалось взять Азов, в 1737-м — занять Крым, в 1739-м — водрузить «знамена и штандарты Ея Величества» в Константинополе. Так, из уст бывшего солдата-наемника, до тридцати четырех лет менявшего страны, как перчатки, чтобы стать в конце концов фанатиком и верным слугой российского имперского проекта, впервые прозвучала «боспорская мечта», полвека спустя, при Екатерине и Потемкине, ставшая чуть ли не

главным двигателем внешней, да отчасти и внутренней политики.

Эта мечта осталась навсегда неосуществленной, но пока что и до «покорения Крыма» было далековато. Правда, Азов взяли — и это несмотря на то, что численность его гарнизона оказалась втрое больше, чем предполагал Миних. Но «правильная», по всем рекомендациям военно-инженерной науки той поры, осада сделала свое дело. В Петербурге ликовали, а русский посол в Стамбуле А. А. Вешняков, успокаивая турок (дескать, Россия хочет лишь «наказать крымцев за набеги»), тем временем призывал свое правительство к решительным действиям: «Страх перед турками держится на одном предании, ибо теперь турки совершенно другие, чем были прежде: сколько прежде они были воодушевлены духом славы и свирепства, столько теперь малодушны и боязливы… Татары, зная все это, теперь, как здесь говорят, в верности Порте начинают колебаться. Насчет христианских подданных турки опасаются, что все восстанут, как только русские войска приблизятся к границам».

И действительно, Миниха и посланного к нему в товарищи фельдмаршала Ласси ожидал новый успех. 20 мая 1736 года русские успешно штурмовали Перекоп и уже через месяц овладели столицей Крыма — Бахчисараем. Но армия была истощена, измучена голодом и жаждой, и к тому же ее косили эпидемии: в бою потеряли 1800 человек, от болезней — 30 тысяч. После всех побед из Крыма пришлось отступить.

В следующем году Миних задумал новый поход — к Очакову и в Бессарабию. При подготовке к этому походу он уделил особое внимание медицинскому обслуживанию солдат, но счет умерших от «мора» по-прежнему шел на тысячи. Очаков, знаменитую приднестровскую турецкую крепость, взяли (на сей раз почти случайно: фельдмаршал готов был уже оплакивать поражение и чуть ли не пустить себе пулю в лоб, когда в крепости начался пожар и гарнизону пришлось капитулировать), подошедшей турецкой флотилии отбить его не удалось, но для дальнейшего похода у русских сил не осталось. Надежды на австрийских союзников тоже не оправдались: они потерпели поражение в Боснии. Принца Евгения больше не было в живых…

В июле 1737 года начались мирные переговоры — в подольском городе с неудачным для этого случая названием Немиров. В самом деле, договориться не получалось. Россия послала делегацию с участием самого Шафирова, который некогда так блестяще спас положение в дни Прутского похода. Увы, знаменитый дипломат был уже стар, а его товарищи — Волынский и Неплюев — оказались неважными переговорщиками. Россия требовала весь Крым и Молдавию с

Валахией, Австрия — Боснию и Сербию, турки не соглашались вообще ни на какие уступки.

Между тем положение катастрофически менялось не в лучшую для России и ее союзников сторону. Поход в Молдавию, который все же начала армия Миниха, не заладился. Несмотря на все запреты фельдмаршала, офицеры из знатных семей брали с собой по 10–15 возов обоза, и в результате армия двигалась позорно медленно. Тем временем Крым, где на престоле за время войны сменилось уже три хана, снова набрал войско и восстановил перекопские укрепления.

В марте 1739 года тетраумвират, отвечавший перед Анной и Бироном за текущее положение дел в стране, — Остерман, Миних, Волынский и князь Черкасский — представил императрице новый план кампании. Главный удар должен был быть нанесен по крепости Хотин. Потеря этой крепости облегчила бы положение Австрии и переломила бы ситуацию в пользу антитурецкой коалиции.

Город Хотин существовал еще в IX–X веках, но своим местом в истории он обязан двум разыгравшимся у его стен битвам. Первая состоялась в 1621 году, когда головорезы-запорожцы Петра Сагайдачного остановили наступление турок и спасли Речь Посполитую. Второй надлежало свершиться в 1739 году.

Хотин был великолепно укреплен. Его цитадель, возведенная в XV веке господарем Стефаном Великим, до сих пор поражает воображение. В начале XVIII века европейские инженеры возвели внешние укрепления по последнему слову фортификационной науки того времени. Именно в Хотине советские кинематографисты снимали осаду Ла-Рошели и других знаменитых крепостей.

Шестидесятитысячная русская армия двигалась от Киева через Васильков (тот самый, которым не в добрый час овладел в январе 1826 года восставший Черниговский полк). Входившие в нее казачьи части, пользуясь тем, что основные силы неприятеля отошли к Хотину, разграбили и сожгли Могилев-Днестровский и Сороки (ныне неофициальную столицу восточноевропейских цыган, а тогда в основном еврейское местечко). Это заметно подняло боевой дух войска.

Дальше русские наступали двумя колоннами. А. И. Румянцев (отец фельдмаршала, дед дипломата и библиофила) демонстративно шел на Хотин, а основные силы во главе с самим Минихом продвигались к крепости тайно, через Черновцы и ущелья Хотинских гор (южных отрогов Карпат).

Шестнадцатого августа 1739 года у селения Ставучаны, в тринадцати верстах от Хотина, 58-тысячная армия Миниха

встретила 80-тысячное турецко-татарское войско. Миних и здесь воспользовался обманным маневром.

Утром следующего дня девятитысячный отряд под командованием Георга Бирона (брата фаворита) переправился через реку Шуланец и нанес удар по правому (более укрепленному) флангу турок, а при первом же сопротивлении повернул назад. Приняв это за бегство всей русской армии, турецкий военачальник Вели-паша перебросил дополнительные силы с левого фланга на правый, чтобы «развить успех». В этот момент на левом фланге начали форсировать реку главные силы русских. Ни артиллерия, ни конница турок не могли сдержать их наступления. Сам Хотин на следующий день сдался без единого выстрела. Русские потеряли убитыми всего 13 человек. Уже 1 сентября победоносная русская армия вступила в Яссы. Казалось, что Молдавия и Валахия (современная Румыния) в руках у Анны. «Означенная виктория дает нам надежду к великому сукцессу, понеже армия совсем в добром состоянии и имеет чрезвычайный кураж», — докладывал охваченный эйфорией Миних. Для него это было апофеозом, вершиной карьеры. Этот бой был выигран им не благодаря удаче или численному превосходству, а исключительно военным искусством. Теперь он доказал всем, что он не только хороший инженер, дельный администратор, ловкий придворный, неотразимый кавалер, но и выдающийся военачальник. Ему уже исполнилось 56 лет — старость по меркам того века! — но он был силен и бодр, как юноша. Главное в жизни — впереди. Все, однако, сложилось иначе. Из двадцати восьми оставшихся лет двадцать Миниху предстояло провести в ссылке, в заснеженном Пелыме…

Да и победа оказалась в общем-то бесполезной: очередные поражения австрийских союзников и их выход из войны заставили русских согласиться на не слишком почетный мир. В результате четырехлетней тяжелой и в целом успешной войны империя получила назад только Азов, и то без разрешения его укреплять.

Но студент из Фрейберга, до которого дошла весть о великой виктории, всего этого, конечно, знать не мог.

5

Штелин утверждает, что «Ода государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина»[53] была написана в подражание «Оде принцу Евгению» Гюнтера и что «целые строфы оттуда переведены». Штелин был

одним из первых читателей оды, но в данном случае его подвела память. Историк Шлёцер, почти ненавидевший самое память о Ломоносове (и имевший к тому свои основания — см. *Главу девятую),* просто пишет, что тот «не столько подражал Гюнтеру, сколько переводил его» — но он явно повторял чьи-то чужие слова. Морозов, сравнив тексты двух од, пришел к однозначному выводу: совпадает строфика, отдельные риторические фигуры, есть сходство в тоне, в композиции, но нет ни одного текстуального совпадения.

Если Гюнтер сразу берет быка за рога, то русский поэт более робок: он начинает, как велят законы риторики, с экспозиции.

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,
Которой завсегда журчит
И с шумом вниз с холмов стремится.
Лавровы вьются там венцы,
Там слух спешит во все концы;
Далече дым в полях курится.

Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю,
Теку поспешно к оных лику.
Врачебной дали мне воды;
Испей и все забудь труды;
Умой росой Кастальской очи,
Чрез степь и горы взор простри
И дух свой к тем странам впери,
Где всходит день по темной ночи.

Удивительный контраст даже с лучшим у Тредиаковского той поры! Не говоря уж о звоне и музыке новорожденного русского ямба — на две строфы лишь одна стилистически наивная и неловкая, на нынешний слух, строка: «Внимая нечто, ключ молчит, которой завсегда журчит».

Дальше начинаются разветвленные барочные сравнения, обличающие в молодом русском поэте изощренного читателя силезских лириков. «Тьмы татар» (противники именуются только так: слово «турок», видимо, кажется Ломоносову не освященным старославянской традицией и потому менее поэтичным) движутся

на русских так:

Корабль как ярых волн среди
Которые хотят покрыта,
Бежит, срывая с них верьхи,
Претит с пути себя склонити;
Седая пена вкруг шумит,
В пучине след ее горит…

Навстречу им русские:

Как сильный лев стада волков,
Что кажет острый ряд зубов,
Очей горящих гонит страхом,
От реву лес и брег дрожит,
И хвост песок и пыль мутит,
Разит извившись сильным махом.

Как почти всегда в барочной поэзии, образ оказывается сам по себе не менее, если не более важен, чем та мысль, тот реальный процесс, который он иллюстрирует.

Все это — лишь прелюдия, которую венчает гениальная пятая строфа:

Не медь ли в чреве Этны ржет
И, с серою кипя, клокочет?
Не ад ли тяжки узы рвет
И челюсти разинуть хочет?
То род отверженной рабы,
В горах огнем наполнив рвы,
Металл и пламень в дол бросает,
Где в труд избранный наш народ
Среди врагов, среди болот
Чрез быстрый ток на огнь дерзает.

Тут не знаешь, чем больше восхищаться: мощью и энергией первого четверостишия или великолепной звукописью пятой, шестой и седьмой строк, изобретательностью, с которой Ломоносов описывает «высоким» риторическим языком артиллерийскую канонаду, притом почти имитируя ее звон и мерный грохот… Или совершенно незабываемым и неповторимым — «в труд избранный наш народ». (Избранный,

благословенный, Новый Израиль, призванный победить «агарян» — «род отверженной рабы», но избранный — «в труд». Какая отчетливость и какая смелость исторического самосознания — в эпоху растерянных себялюбцев!) Или неожиданным — «среди врагов, среди болот»?

Сражение, описанное Ломоносовым, — лишь яркий до неправдоподобия сон. Реалистических батальных сцен, которые есть у Гюнтера, здесь не встретишь, и если у немецкого поэта на пирушке по случаю заключения мира пьет и хвастается такой живой и узнаваемый Ганс, то в конце оды Ломоносова «солдатскую храбрость» и наступившую «тишину» воспевает совершенно безликий «пастух». В чисто риторических местах влияние предшественника сказывается сильнее:

> Над войском облак вдруг развился,
> Блеснул горящим вдруг лицом,
> Умытым кровию мечом
> Гоня врагов, Герой открылся.

Имеется в виду Дмитрий Донской. Затем являются Петр (единственный, названный по имени) и «смиритель стен Казанских» — Иван Грозный. Все они благословляют Анну, продолжательницу их дела. У Гюнтера так же точно появляются победители «агарян» — Скандербег и Годфрид Бульонский… А также Ахилл и Эней, признающие превосходство принца Евгения. Поразительно, кстати, что у Ломоносова имя полководца, одержавшего победу (Миниха), не упоминается вообще, а из вражеских военачальников фигурирует лишь почему-то Колчак-хан, чья роль в битве была второстепенной (он командовал одним из флангов). Подробности сражения интересуют его мало, как и мечта о Константинополе. Хотинская победа — лишь повод для языковой, ритмической, звуковой работы, для ярких образов, неожиданных оборотов («Но враг, что от меча ушел, страшится собственного следа») и смелых гипербол. Геополитика — лишь источник пышных топонимов:

> Дамаск, Каир, Алепп сгорит;
> Обставят росским войском Крит;
> Евфрат в крови твоей смутится[54].

Но впервые эти имена и названия были так произнесены русской музой…

«Письмо о правилах российского стихотворства», приложенное к оде, удивляет — в сравнении с трудом Тредиаковского, совсем не кратким — своим лаконизмом. Ломоносов не исследует, не доказывает — он конспективно излагает выводы, к которым пришел после нескольких лет работы с русским стихом, и предписывает правила будущим поэтам.

Для начала — три основополагающих правила. «Первое и главнейшее мне кажется быть сие: стихи следует сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить». Но и ограничений, чуждых духу языка, быть не должно. А поскольку «наше стихотворство лишь начинается, того ради, чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надо смотреть, кому и в чем лучше подражать».

Первые собственно версификационные нормы, которые постулирует Ломоносов, совпадают с уже сказанным Тредиаковским: «…в российском языке только те слоги долги, на которые падает сила», и при писании стихов следует «нашему языку свойственные стопы, определенным числом и порядком утвержденные, употреблять».

Но с принципом построения стихов, предложенным Тредиаковским, Ломоносов не согласен. «Не знаю, чего бы ради иного наши гекзаметры и все другие стихи, с одной стороны, так запереть, чтобы они ни больше, ни меньше определенного числа слогов не имели, а с другой, такую волю дать, чтобы вместо хорея употреблять ямба, пиррихия и спондея?» Русский язык «не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную с ними, а себе купно и свойственную версификацию иметь может». Смешение немецкой силлаботоники с латинским и греческим квантитативным стихом основано на том, что Ломоносов (как и Тредиаковский) называет ударные слоги «долгими» (что не совсем точно). Однако размеры и их названия в силлаботонике действительно заимствованы из античного стиха.

В отличие от Тредиаковского, Ломоносов насчитывает четыре «чистых» размера. Первый — ямб. Пример:

Белеет будто снег лицом…

Второй — анапест (трехсложная стопа с ударением на третьем слоге):

Начертан многократно в бегущих волнах…

Третий — хорей:

> Мне моя не служит доля…

Четвертый — дактиль (трехсложная стопа с ударением на первом слоге):

> Вьется кругами змия по траве, обновившись в расселине…

Трудно сказать, почему Ломоносов не включил в свой канон амфибрахий (трехсложная стопа с ударением на втором слоге). В XIX веке этот размер, наравне с дактилем и анапестом, стал одним из самых употребительных в русской поэзии. Зато предложенные Ломоносовым «смешанные размеры» (соединение ямбов с анапестами и хореев с дактилями) на практике не разрабатывались ни им самим, ни кем-либо другим. Самому Ломоносову в 1739 году казалось, однако, что именно смешанные ямбо-анапестические стихи — «наилучшие, велелепнейшие и к сочинению легчайшие». Приведенный им пример таких стихов напоминает, на нынешний слух, тактовик — немного урегулированный чисто тонический стих:

> На восходе солнце как зардится,
> Вылетает вспыльчиво хищный всток,
> Глаза кровавы, сам вертится,
> Удара не сносит север в бок.
> Господство дает своему победителю,
> Пресильному вод морских возбудителю,
> Свои что зыби на прежни возводит,
> Являет полность силы своей,
> Что южной страною владеет всей,
> Индийски быстро острова проходит.

Но главная заслуга Ломоносова, собственно, не в этих экспериментах, а в создании русского ямба и упорядочивании русского хорея. К этим размерам он относился поначалу даже слишком пуристически, считая употребление пиррихиев (то есть пропуск одного-двух положенных ударений в строке) возможным лишь изредка и только в песнях. В действительности без таких пропусков писать ямбом по-русски затруднительно. У самого Ломоносова уже в «Хотинской оде» появляются такие строки, как

«И челюсти разинуть хочет». Позднее он время от времени пытался писать идеально «правильными» ямбами, но в начале 1740-х годов постепенно отказался от таких попыток. Литературовед М. И. Шапир объясняет это политическими обстоятельствами: не пропуская ударения, невозможно было вставить в ямбический стих имя государыни «Елизавета». Но таких длинных слов в русском языке много, особенно слов высокого штиля, милого сердцу Михайлы Васильевича. Догматизм в вопросах метрики не только вел бы к ритмическому однообразию, но и слишком сузил бы словарь.

Продолжая спор, начатый пометами на полях «Нового и краткого способа…» и переводом Фенелона, Ломоносов настаивает на допустимости в русской поэзии мужских рифм и их чередования с женскими: «По моему мнению… подлость рифмов не в том состоит, что они больше или меньше слогов имеют, но что оных слова подлое или простое что значат». К сожалению, мы практически не знаем тех ранних экспериментальных стихов, на основании которых Михайло Васильевич пришел к своим выводам. Только несколько отрывков счел он возможным включить в свое «Письмо». Вот пример «вольного» трехстопного хорея:

Нимфы окол нас кругами
Танцевали поючи,
Всплескиваючи руками,
Нашей искренней любви
Веселяся привечали
И цветами нас венчали.

Этот опыт (как и стихи Кантемира «К спящей полюбовнице») родился, несомненно, из работы над переводами Анакреона[55]. Один такой перевод, выполненный, как и переводы Кантемира, белым стихом и относящийся к 1738 году, дошел до нас:

Хвалить хочю Атрид
Хочю о Кадме петь,
А Гуслей тон моих
Звенит одну любовь.
Стянул на новый лад
Недавно струны все,
Запел Алцидов труд,
Но лиры звон моей
Поет одну любовь.
Прощайтеж нынь, вожди,

Понеже лиры тон
Звенит одну любовь.

Ломоносов в Германии ходил по кабачкам и бегал за девушками и в то же время зачитывался Гюнтером — мастером любовной лирики и застольных песен. Все это должно было отразиться в творчестве. Но свою «легкую» поэзию Михайла Васильевич даже сохранять не стремился. Он был казенным, служилым человеком, а для государственных нужд из Гюнтера востребованной оказалась лишь «Ода принцу Евгению». Ломоносов-поэт как раз воспевал «вождей» и пренебрегал любовью. Однако альтернатива всегда стояла перед его сознанием. Через двадцать лет автор «Разговора с Анакреоном» с горечью признается в этом себе самому.

В декабре 1739 года «Хотинскую оду» и «Письмо» привез в Петербург Юнкер. Академики заинтересовались ими больше, чем переводом из Фенелона. По свидетельству Штелина (сменившего в качестве профессора элоквенции Юнкера; в отличие от своего предшественника, Штелин читал и говорил по-русски), Корф отдал письмо и «Оду» на рассмотрение ему и Адодурову. Адъюнкт Адодуров вместе с Тредиаковским и группой академических переводчиков (Иваном Ильинским, Иваном Горлицким и др.) входил, помимо прочих своих обязанностей, в так называемое «Российское собрание», учрежденное Корфом и занимавшееся публичным чтением и разбором академических переводов на русский язык.

По словам Штелина, «мы очень удивлены были таковым, еще небывалым в русском языке размером». Ода «была напечатана при Академии, поднесена императрице Анне, роздана при дворе, и все читали ее, удивляясь сему новому размеру». Тем временем Тредиаковский, которому труды Ломоносова тоже были даны на рецензию и который справедливо усмотрел в «письме» полемику со своими идеями, написал ответ. Но Адодуров и Иоганн Тауберт (новый адъюнкт, занимавшийся переводами с русского на немецкий), видимо, не согласные с контраргументами Тредиаковского и не одобрявшие его резкого тона (ведь ломоносовская ода уже была одобрена при дворе!), уговорили Шумахера «сего учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних, бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж денег напрасно не терять».

Однако напечатана «Хотинская ода» в то время не была:

Штелин опять напутал. Академия уже отметилась по поводу победы, выпустив «Эпикинион, или Песнь победительную» — опус профессора Харьковской славено-латинской коллегии Стефана Витынского, написанный по правилам «Нового и краткого способа…». Про свой успех Ломоносов узнал, лишь вернувшись в Россию.

Глава пятая
ВЕЛИКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СМУТА

1

По пути в Россию, на корабле, с Ломоносовым случилось, может быть, самое необычное, поэтическое и печальное происшествие в его жизни.

Ему приснился сон. Он увидел маленький безымянный остров на Белом море, к которому однажды была прибита бурей «Чайка». Он мог отчетливо разглядеть остатки гукора, потерпевшего крушение, и на прибрежных скалах — тело своего покинутого много лет назад отца.

Приехав в Петербург, Михайло пошел на биржу и без труда отыскал там архангельских знакомых, ведших свою торговлю. На расспросы о Василии Дорофеевиче они ответили, что тот прошлым летом[56] продал все свое имущество, оставил дочь на попечение родственников и отправился на долгий промысел в море. Больше никто его не видел.

Потрясенный Ломоносов решил, что отца надо искать на приснившемся ему островке. Сам он покинуть Петербург и поехать в Холмогоры не счел возможным, но «написал тамошним родным своим, поручив брату своему исполнить оное предприятие за его счет». Видимо, не родному брату (доживи Иван Ломоносов, родившийся в 1722 году, до взрослого возраста, о нем были бы и другие упоминания), а кому-то из дальних родственников. В самом деле: следующим же летом денисовские промышленники, пристав к острову, нашли тело своего земляка, кормщика и хозяина Василия Дорофеева Ломоносова, на том самом месте, которое привиделось его сыну Михайле. Там они и предали прах старого рыбака земле.

Больше ничто не связывало Ломоносова-сына ни с его северной родиной, ни с прежней жизнью.

По прибытии в Петербург, 8 июня, Ломоносов немедленно явился к Шумахеру и был принят, против опасений, вполне любезно.

Ему было выплачено подъемное пособие (50 рублей), отведена казенная квартира («в трех покоях, печи израсчатыя, двери и полы ветхия», стены обиты красными и зелеными «шпалерами») в «Боновом доме» (прежде принадлежавшем

генералу Герману Иоганну Бону; на месте дома № 43 по 2-й линии Васильевского острова), — судя по описанию, типичном петербургском доме «для именитых»: крытая «гонгами» и покрашенная красной краской крыша, пилястры, наличники, «лестница столярной работы». Первоначально Ломоносов занимал лишь две из этих отведенных ему трех «камор». Вместе с ним жил один приставленный к нему служитель. В том же доме проживал (в маленькой двухкомнатной квартирке с женой, ребенком и работницей) садовник (и староста евангелической церкви) Иоганн Штурм. Пятикомнатную квартиру занимал профессор естественной истории Иоганн Амман.

В распоряжение Аммана Ломоносов и был командирован, «дабы оный доктор обучал его естественной истории, а наипаче минералам, или что до оной науки касается». Бюрократическая логика опять вступает в противоречие с житейской. Зачем было спешно вызывать студента из-за границы, если его надо доучивать? И чему, «что касается до минералов», мог научить ботаник Амман Ломоносова, который несколько лет специально занимался изучением горного дела и минералогии?

В действительности, вероятно, никто и не предполагал, что Ломоносов будет у Аммана учиться. Его, как и других молодых людей, числившихся при Академии наук «студентами», собирались использовать на вспомогательных работах. Амману, зятю Шумахера, было поручено составление каталога минералогического собрания Кунсткамеры, точнее — завершение работы над каталогом, который начал составлять в свое время Гмелин. Но последний в 1733 году уехал в экспедицию Беринга, оставив работу незаконченной. Амману, в ведении которого был и «ботанический огород», было недосуг этим заняться, да и здоровье, вероятно, подводило (несмотря на молодость: в декабре того же года 34-летний профессор скончался). Поэтому работа над каталогом была доверена Ломоносову, который отредактировал и дополнил разделы, посвященные рудам, солям и землям (вчерне подготовленные Гмелином), и самостоятельно описал мраморы, «Маргариты», драгоценные и «курьезные» камни. Особой научной квалификации для такой работы не требовалось, но Амман остался доволен и не изменил в представленном Ломоносовым тексте ни слова.

Механический труд в коллекциях Кунсткамеры не приносил удовлетворения, но оставлял время для настоящей научной работы. За два месяца Ломоносов написал «Commentario de instrumento caustico catoptrico-dioptrico» («Рассуждение о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте») — труд, содержащий оригинальную (но малоэффективную, как оказалось)

конструкцию солнечной печи. Вместе с написанными еще в Германии «Физико-химическими размышлениями о соответствии серебра и ртути» эта работа в августе 1741 года была представлена в Академию наук. На заседании 24 августа она была рассмотрена наряду с присланными из Германии отчетными работами Виноградова и Рейзера и ботанической «диссертацией» еще одного кандидата в адъюнкты — Григория Николаевича Теплова. Работы Ломоносова были отданы на отзыв Крафту. Последний сперва сам ознакомился со «специменами», а затем, по заведенному порядку, публично читал их перед членами Академической конференции. Чтение продолжалось в несколько приемов, по частям, и лишь к 13 ноября было закончено. Так же неторопливо представлялись почтенному собранию труды других молодых русских ученых. Но хуже всего было то, что ученые мужи не торопились высказать свое авторитетное суждение, хотя этого требовали уже не только Ломоносов (от своего имени и от имени Рейзера и Виноградова) и Теплов, но и Академическая канцелярия. 20 ноября шестью профессорами (среди которых был и будущий друг Ломоносова — Рихман) «относительно диссертаций, представленных студентами, постановлено, дабы те, кои желают получить свидетельства о своих успехах, явились к экзамену, живущие же в чужих краях обратились за свидетельством к тамошним профессорам». Зачем же было три месяца заслушивать доклады?[57]

Ломоносову это неопределенное положение надоело, и в январе 1742 года он подает прошение на высочайшее имя, в котором между прочим указывает, что за границу он был в свое время направлен «с таким обнадеживанием, что ежели я нижайший указанные мне науки приму, то определить меня нижайшего экстраординарным профессором». Но Ломоносова посылали в Германию, чтобы подготовить к работе в Камчатской экспедиции (которая как раз успела подойти к концу, пока посланные в Германию студенты прошли курс наук), и официально никто ничего другого пообещать ему не мог. Об «экстраординарном профессорстве» в 1736 году речь могла идти только в частном разговоре и лишь как об отдаленной перспективе.

Так или иначе, ходатайство Ломоносова не успело даже уйти в Сенат.

Седьмого января Шумахер наложил на его прошение следующую резолюцию:

«Понеже сей проситель адъюнкт Михаил Ломоносов специмен своей науки еще в июле прошлого 1741 года в конференцию подал, который от всех профессоров оной

конференции так опробован, что сей специмен и печать произвесть можно; к тому ж покойной профессор Амман ево Ломоносова канцелярии рекомендовал; к тому ж оной Ломоносов в переводах с немецкого и латинского на российский язык довольно трудился, а жалования и места ему до сих пор не определено; то до дальнего указа из Правительствующего Сената и до нарочного от Академии наук определения быть ему, Ломоносову, адъюнктом физического класса»[58] с жалованьем 360 рублей в год. 28 января эта резолюция (в урезанном виде — без упоминания о возможной публикации работ Ломоносова и о рекомендации Аммана) была утверждена Академической конференцией.

Шумахеру очень не хотелось, чтобы жалоба Ломоносова ушла в вышестоящие инстанции. До ученых трудов по физике и химии ему дела не было, понимать их он не мог. Но политические события бурного 1741 года, с одной стороны, и литературные труды претендента на адъюнктское место, связанные с этими событиями, с другой, — все это делало назначение Ломоносова чрезвычайно своевременным…

2

События заключались в следующем: Анна Иоанновна, страдавшая «болезнью почек, осложненной критическим возрастом», 5 октября 1740 года слегла в постель, а 17-го скончалась.

Еще в самом начале правления, разодрав «кондиции», Анна велела подданным заранее присягнуть наследнику, которого она себе впоследствии изберет. Предполагалось, что это будет сын ее племянницы Анны Леопольдовны, принцессы Мекленбургской. Когда последняя выросла, ее — против воли — выдали замуж за принца Брауншвейгского Антона Ульриха (альтернативой, еще более отвратительной, был сын Бирона, который, став в 1737 году герцогом Курляндским, не прочь был официально породниться со своей державной любовницей). 12 августа 1740 года у августейшей четы родился сын, названный в честь прадеда Иваном и немедленно провозглашенный наследником престола. В возрасте трех месяцев ему суждено было стать императором Иоанном III — так назывался он в дни своего правления: счет русских царей велся тогда (вполне логично) с венчания Ивана Грозного на царство; позднее Карамзин стал вести счет с Ивана Калиты: в результате грозный царь стал Иоанном IV, отец Анны Иван Алексеевич — Иоанном V, а ее внук и преемник, Иван

Антонович — Иоанном VI.

Возник вопрос о регенте. Группа сановников — Миних, Остерман, Левенвольде, Головкин и Черкасский — официально ходатайствовала перед умирающей императрицей о назначении Бирона. Тщеславный фаворит, сын солдата-саксонца и латышской крестьянки, непопулярный и среди русских, и среди немцев, мечтал о статусе единоличного правителя огромной державы и не понимал, что его регентство — часть нехитрой двухходовки, разыгранной опытными придворными интриганами. У власти в России герцог Курляндский находился ровно три недели. Лишившись Анны, он оказался беззащитен. 8 ноября Бирон был арестован Минихом — одним из тех, кто ходатайствовал о его назначении, и отправлен в ссылку, в Пелым… Людей, которые еще недавно вместе с Бироном управляли страной, больше никто с ним не ассоциировал. Теперь они выглядели, наоборот, избавителями страны от тирана. Правительницей стала Анна Леопольдовна, а фактическим главой кабинета — Миних (которого, однако, вскоре потеснил Остерман). Антон Ульрих, неплохо показавший себя в свое время под началом Миниха при Очакове, получил (третьим из пяти за всю отечественную историю) чин генералиссимуса и формальную должность главнокомандующего армией. Тихий и довольно бесхарактерный человек, он все же чаще и охотнее, чем его супруга, занимался государственными делами. Ей — нервной, томной, немного распущенной молодой даме — было как-то не до того, да и не к тому ее готовили… Тем более что у нее сразу же после рождения сына появился «официальный» фаворит — саксонский посланник граф Линар. Последнего для порядка помолвили с фрейлиной Юлией Менгден, верной наперсницей Анны Леопольдовны, чья неразлучная близость с регентшей также давала повод к предосудительным слухам.

И вот в правление этой компании Ломоносов появился в России. Работая под началом Аммана, он сочетал научные исследования со стихотворчеством, за короткий срок сочинив две оды государю-младенцу и его родителям. В этих одах Ломоносов смог закрепить ритмические, языковые и прочие находки, впервые появившиеся в «Хотинской оде», заодно исподволь приучая немногочисленных русских читателей к четырехстопному ямбу. Тем более что как раз эти две оды были напечатаны (в «Прибавлениях к „Санкт-Петербургским ведомостям“») и имели успех при дворе. (Зато спустя несколько месяцев обе они были, в связи с изменившейся политической обстановкой, преданы забвению и вплоть до 1838 года не перепечатывались и не включались в собрания сочинений

Ломоносова.)

Судя по всему, Ломоносов не мог все же с полной серьезностью отнестись к задаче прославления новорожденного монарха. Или эта задача противоречила складу его дарования. Во всяком случае, некоторые строфы первой из двух од звучат вполне пародийно:

Целую Ручки, что к державе
Природа мудра в свет дала,
Которы будут в громкой славе
Мечем страшить и гнать врага.
От теплых уж брегов Азийских
Вселенной часть до вод Балтийских
В объятьи Вашем вся лежит.
Лишь только Перстик Ваш погнется,
Народ бесчислен вдруг сберется,
Готов идти, куда велит.

Вторая ода — «Первые трофеи Иоанна III» — лучше и стройнее. Как и «Хотинская ода», она посвящена победе русского оружия — на сей раз над Швецией, при Вильманстранде. Здесь опять появляются сильное дыхание, неподдельный пафос и эффектные образы:

Подобно быстрый как сокол
С руки ловцовой вверх и в дол
Бодро взирает скорым оком,
На всякий час взлететь готов,
Похитить, где увидит лов
В воздушном царстве свой широком;
Врагов так смотрит наш солдат,
Врагов, что вечный мир попрали,
Врагов, что наш покой смущали,
Врагов, что нас пожрать хотят.

Ломоносов не упускает случая лягнуть опального Бирона («Проклята гордость, злоба, дерзость в чудовище одно срослись…»), а Антона Ульриха несколько игриво называет «отца отечества отец».

Впрочем, долго упражняться в двусмысленных величаниях такого рода не пришлось. Уже 9 декабря 1741 года произошел новый переворот: гвардейцы-преображенцы на руках через заснеженную площадь внесли в Зимний дворец лунолицую

рыжеволосую красавицу — Елизавету Петровну, а императора-младенца и его родителей арестовали. Водевиль обернулся трагедией. Иоанн III, чьи ручки и ножки от имени благодарной России рвался целовать Ломоносов, прожил горькую и тоскливую жизнь в заточении и погиб при довольно подозрительных обстоятельствах в двадцать четыре года. Его мать угасла молодой в ссылке. А Антон Ульрих и его младшие дети, два сына и две дочери, само существование которых было государственной тайной, принуждены были долгие годы томиться в тех самых Холмогорах, близ которых появился на свет наш герой, пока Павел I, сжалившись над последней оставшейся в живых принцессой, не отпустил ее к родственникам в Брауншвейг.

Так началась эпоха, с которой связаны главные труды и свершения Ломоносова. Елизавета Петровна была по-человечески ярче своих ближайших предшественников и предшественниц, и на двух десятилетиях ее правления лежит явственный отблеск ее личности. Пожалуй, никто не охарактеризовал ее лучше, чем В. О. Ключевский: «Елизавета казалась барышней, получившей воспитание в девичьей. Всю жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать… В обращении она была то чересчур проста и ласкова, то из-за пустяков выходила из себя и бранила всякого, кто бы ни попадался, лакей или царедворец, самыми неудачными словами, а фрейлинам доставалось и больнее. Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток… С вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене, благоговейно чтила святыни и обряды русской церкви, выписывала из Парижа описания придворных версальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли и до тонкостей знала гастрономические секреты русской кухни… Мирная и беззаботная, она вынуждена была воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но с правления царевны Софьи никогда в России не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло такого приятного воспоминания».

Благочестие и патриотизм Елизаветы проявлялись с первых дней ее правления — не всегда, правда, к пользе страны. Общеизвестно, например, что она нанесла тяжкий урон экономике левобережных украинских губерний, запретив въезд туда еврейским купцам: православная царица не желала

«интересной выгоды от врагов Христовых». Менее известен другой эпизод: выдающийся португальский врач Антонию Рибейра Санхес (Санчеш, Санже), уехавший в 1747 году из Петербурга в Париж с пенсией и званием почетного члена Академии наук, был спустя два года лишен и того и другого, так как выяснилось его происхождение из марранов (насильственно крещенных испанских и португальских евреев, в чьей искренней преданности христианству католическая церковь не без основания сомневалась). Заступничество Эйлера не помогло, и лишь Екатерина, которой Санхес в свое время спас жизнь (излечив ее от «чирья в боку»), вернула ему пенсию[59]. С другой стороны, именно в эти годы возобновились преследования старообрядцев: у них-то об эпохе Елизаветы остались не самые приятные воспоминания, как, впрочем, и о «легкой жизни» при Софье.

Но первыми ощутили беспокойство многочисленные петербургские «немцы» (в которые простонародье зачисляло вообще всех западноевропейцев). Елизавета подчеркнуто окружала себя русскими, давала «коренным россиянам» преимущество при назначении на государственные должности. Народ быстро воспринял эти сигналы и сделал свои выводы. Накопившиеся, подавлявшиеся при Анне чувства стали вырываться наружу. Гвардейцы отказывались подчиняться офицерам-иностранцам. Нерусские ремесленники и специалисты опасались того, что спустя полтора столетия будут называть «погромами». При этом все понимали, что без «немцев» обойтись уже невозможно: не только в Петербурге и Москве, но и в провинции дворяне (и часть горожан) привыкли носить европейскую одежду, пользоваться часами, смотреться в зеркала, при болезни обращаться к врачу. Государству нужны были инженеры, горные мастера… Однако русские люди, за редкими исключениями, полезными современными профессиями не владели, и после смерти Петра делалось очень мало, чтобы обучить их. Эта зависимость от чужеземцев усиливала раздражение, тем более что многие «немцы» вели себя, в самом деле, очень высокомерно. Быстро почувствовав, что по здешней общественной иерархии они стоят пусть ниже русских аристократов, но несравнимо выше русских простолюдинов, они не скрывали своего к ним презрения.

Все же на сей раз обошлось без кровавых происшествий, а постепенно немецкие, голландские, шведские, швейцарские и прочие иммигранты ассимилировались в России. Достаточно вспомнить, что сыновья немца-врача Иоганна Хемницера и немца-чиновника Карла Кюхельбекера стали знаменитыми русскими

поэтами, а писатель с остзейской фамилией фон Визен уже в 1769 году в своем «Бригадире» язвительно осмеивал пренебрежение русских дворян родным языком и собственной культурой. Но ученых, приехавших в Россию по большей части на время, живущих замкнутой колонией, почти не покидающих Васильевского острова, где кроме них обитали в основном немцы-ремесленники, эти ассимиляционные процессы практически не затрагивали. Окруженные «дикой» страной, которая вдруг стала проявлять враждебность, они были растеряны и по привычке надеялись только на защиту Шумахера.

Однако Шумахер и сам был не на шутку смущен происходящим. 1 июля 1742 года он писал Штелину (находившемуся в Москве в связи с готовящейся коронацией): «Вы должны убеждаться более и более, что Академия наук не может существовать без могущественной защиты и покровительства, стало быть, самое благоразумное держаться с академическими делами в отдалении до назначения нового президента…»

В числе кандидатур на пост президента называли Лестока, лекаря и недолгое время фаворита Елизаветы Петровны. Другие говорили, что в соответствии с духом нового царствования Академию наук должен возглавить «россиянин». Всплывало имя Кантемира, уставшего от дипломатической службы и рвавшегося из Парижа домой. Но так никого и не назначили.

Что-то предпринимать, однако, было необходимо. Почти из всех экземпляров вышедшего накануне роскошного гравированного альбома «Палаты Академии наук» был вырезан лист с посвящением Анне Леопольдовне и заменен другим — с посвящением новой государыне; академическим поэтам, в том числе так кстати назначенному адъюнктом Ломоносову (в результате чего в академии было уже не три, а целых четыре адъюнкта и приравненных к оным лица из «природных россиян», что также было не лишним в свете проводимой Елизаветой Петровной национальной политики), приказано было взяться за перо. Штелин спешно сочинил оду, а Ломоносов перевел ее на русский язык. Это была прежняя практика времен Анны, когда двор был, по крайней мере наполовину, немецкоязычным, а Бирон, второй человек в стране, вообще не знал русского языка. При Елизавете немецкий оригинал никого не интересовал в принципе. Ода, впрочем, была одинаково дурна и в оригинале, и в переводе. Ломоносов очень торопился и потому несколько схалтурил.

Надежда, свет России всей,
В Тебе щедрота Божья зрится,

Хоть внешней красоте твоей
Довольно всяк, кто зрит, дивится,
Душевных лик Твоих доброт
Краснее внешних всех красот…

Так или иначе, с этой совместной работы началось его сотрудничество с Якобом Штелином (Яковом Яковлевичем Штелиным, как его стали именовать под конец жизни) — сотрудничество, перешедшее с годами в дружбу. Малоталантливый стихотворец, сочинитель придворных «аллегорий» и программ для фейерверков, надзиратель за академическими граверами, Штелин смог впоследствии найти свою нишу в науке: сегодня его помнят как первого историка русского изобразительного искусства и как составителя уже цитировавшихся выше «Анекдотов о Петре Великом». Жанр «исторического анекдота» (в старом понимании — непридуманной истории, байки на реальной основе) стал коньком профессора элоквенции. Его «Анекдоты, почерпнутые из жизни Ломоносова» (на них нам тоже уже не раз приходилось ссылаться) содержат очень живые и колоритные детали и свидетельствуют об искренней привязанности к покойному другу. При этом Штелин Ломоносова не идеализировал — видел и масштаб его личности, и его слабости. В конспекте похвального слова, подготовленном им вскоре после смерти ученого, содержится такая характеристика: «Пылает любовью к отечеству и желает распространить в нем просвещение… Исполнен страсти к науке; стремление к открытиям… Мужиковат; с низшими и в семействе суров; желал возвыситься, равных презирал…» Все это близко к истине. Ломоносов с трудом терпел рядом с собой людей, которые могли с ним соперничать. Штелин к таковым не относился. И потом — с ним можно было содержательно беседовать о Гюнтере и других немецких поэтах…

Для предстоящей коронации Штелин сочинил пролог «Россия по печали паки обрадованная» к итальянской опере «Титово милосердие». Ломоносову пришлось работать над переводом в ускоренном темпе, что было оценено Шумахером. «Если Ломоносов встретит одобрение, то это доставит мне удовольствие, потому что при переводе этот человек не жалел ни трудов, ни усердия…» Однако перевод, по-видимому, не понравился при дворе, не был напечатан и не сохранился. Шумахер был недоволен, и именно в этот момент началось их с Ломоносовым взаимное охлаждение.

Кроме пролога, Ломоносов весной 1742 года перевел стихи

Юнкера к коронации (в этом переводе был впервые на практике испробован русский александрийский стих); несколько раньше он написал оригинальную оду «На прибытие из Голстинии и на день рождения Его императорского Высочества Великого князя Петра Федоровича». Первым, о чем позаботилась по восшествии на престол Елизавета, было престолонаследие. Молодая и (как официально считалось) незамужняя женщина, она вызвала в Россию и объявила своим наследником племянника, голштинского герцога, обеспечив таким образом династические интересы и навсегда отделив от них собственную личную жизнь. Воспитателем новоявленного цесаревича был назначен, кстати, Штелин. Ломоносов воспользовался случаем, чтобы воспеть возвращение на престол «Петрова племени».

Петрополь по тебе терзался,
Когда с Тобою разлучался
Еще в зачатии твоем.
Сердца жаленьем закипели,
Когда под дерсским кораблем
Балтийски волны побелели.

Думал ли поэт о том, какая судьба предстоит этому — уже второму воспетому им! — августейшему мальчику? Незадачливый, но добросердечный Петр III в свое краткое правление успел встретиться с узником Иоанном VI и пообещать ему свободу. Увы, жестокая логика политической борьбы не оставляла ни тому ни другому никаких шансов.

Пока же, в 1742 году, Шумахер, поняв, куда дует ветер и в чем его в первую очередь будут упрекать, решил возобновить регулярные лекции в Академическом университете. В начале августа появилась печатная программа лекций. Она начиналась так: «Ныне начинаем опять под державою Всеавгустейшиея Императрицы Елизаветы Петровны… публичные и приватные в науках наставления; которые по установлению Родителя Ея, блаженного и вечнодостойного памяти Императора Петра Великого, Академии нашей основателя… и прежде охотно всегда продолжали…» То есть: возобновляем то, чего никогда не прекращали.

«Двоякая на нас должность лежит: Первая, что в приватных наших собраниях в совершенство приводить и вновь изобретать науки и всякие честные художества. Сие самое безпрерывно от начала Академии продолжается по два раза в неделю, в понедельник и в пятницу; которых собраний плод уже находится, в восьми книгах, уже и окончательно изданных под титулом:

„Комментарии Санкт-Петербургския Академии наук“.

Другая наша должность та, чтобы свободные от приватных наших собраний дни употреблять в пользу тех учеников, которые в сей Империи к наукам определяются и производятся из Академической гимназии в Академию…»

В числе других преподавателем университета был назначен адъюнкт Михайло Ломоносов. По вторникам, средам, четвергам и субботам с трех до четырех часов дня он должен был «в географии физической чрез господина Крафта сочинения толковать». Кроме того, он вызвался давать «частные наставления в химии и истории натуральной о минералах, также обучать в стихотворстве и стиле российского языка».

Немногочисленные молодые люди, числящиеся «студентами», были распределены между преподавателями, которых оказалось гораздо больше. К Ломоносову был приписан студент Клейнфельд. Кроме этого единственного студента, лекции его (как и других профессоров и адъюнктов) могли посещать все желающие на правах вольнослушателей.

Лекции начались 1 сентября, а к концу месяца и самому Ломоносову, и его собратьям по академии стало во многом не до того. Началась великая академическая смута.

3

Начиная публичные лекции, Шумахер знал, что меч над его головой уже занесен.

Первым подал голос французский астроном и географ Жозеф Николя Делиль (1688–1768) — представитель славной научной династии, приглашенный в Россию лично Петром. Отношения с Шумахером не сложились у него с самого начала, но Делиль не собирался покидать Петербург — он вступил с «канцелярским деспотом» в открытую борьбу. Еще в 1734 году, при назначении Корфа, он произнес речь, в которой протестовал против того, что «академики находятся в зависимости от канцелярии и подчинены ей даже по таким делам, по которым решение могли дать только специалисты и ученые». Делиль много лет возглавлял обсерваторию, а с 1735 года также Географический департамент академии, где под его руководством создавались первые более или менее точные карты страны. (При этом он, исполняя тайное задание своего правительства, пересылал копии карт во Францию.) Но в 1740 году он был смещен, а его место занял его бывший ассистент Гейнзиус.

Зная о роли, которую в перевороте 1741 года сыграло

французское посольство, астроном и картограф решил свести счеты с Шумахером, а заодно и со всей тесной компанией профессоров-немцев, в которой он чувствовал себя чужим[60]. Делиль, кстати, имел некоторое право смотреть на них свысока: после отъезда Эйлера он, бесспорно, был самым выдающимся в Петербургской академии ученым.

В январе 1742 года Делиль подал в Сенат донесение, в котором обвинял Шумахера в двух вещах: в создании при академии чрезмерного количества «ремесленных» подразделений, искажающих ее характер, и в дискриминации «природных россиян». По словам Делиля, хотя он «от самого приезда требовал русского студента от Академии, однако получить не мог, для того что помянутый Шумахер всегда сколько ему возможно было русских от всякого происхождения отдалял». Вместо русского ассистента ему навязали Гейнзиуса. Вообще академия, подчеркивает Делиль, всегда пренебрегала обучением русских людей, что противоречит планам Петра Великого.

Делиль хорошо почувствовал момент и ударил своего врага по самому больному месту. Но жалоба французского профессора сама по себе не имела бы таких последствий, не появись у него сильный русский союзник. Это был Андрей Константинович Нартов (1693–1756), бывший токарь и механик Петра Великого, чье влияние при дворе Елизаветы во многом было обусловлено его близостью к ее отцу. Нартов даже написал и напечатал личные воспоминания о Петре! С 1735 года он заведовал инструментальными мастерскими академии, затем был назначен академическим советником.

Нартов 8 февраля 1742 года, вслед за Делилем, подал собственную жалобу на Шумахера. Обе жалобы долго лежали без движения (не до того было: готовилась коронация), пока в августе неугомонный токарь не решил отправиться в Москву, чтобы лично говорить с императрицей о своих проектах, касающихся переустройства инструментальных мастерских, перевооружения артиллерии «и о прочих высочайших… для пользы отечества» делах. Сенат выписал Нартову командировку, а «порученные ему дела» были пока что переданы, по его просьбе, Делилю. Шумахер писал Штелину: «Г. советник Нартов получил из Сенатской конторы паспорт на проезд в Москву, конечно, для подтверждения поданных Делилем пунктов и своих собственных клевет. Я не обращаю на то внимания, потому что у меня совесть чиста. Делиль уже более двух лет не имеет сношений с Академией, а теперь Сенатская контора по представлению Нартова без ведома Академии передала этому Делилю экспедицию инструментальных и лабораторных наук — так

титулуется теперь инструментальная мастерская! Это позор!»

С собой Нартов взял жалобы еще целого ряда сотрудников Академии наук. Среди них не было, однако, ни одного профессора или адъюнкта. Это были «маленькие люди»: комиссар Михаил Камер, канцелярист Дмитрий Греков, копиист Василий Носов, три студента — Иван Пухорт и «спасские школьники» Прокофий Шишкарев и Михайло Коврин, ученик гравера Андрей Поляков, переводчики Иван Горлицкий и Никита Попов (последний — тоже из «спасских»).

Заводилой среди них был, видимо, Горлицкий, писавший Нартову в Москву: «Что же о нас, благодатию Божиею до сего числа здравы пребываем, ожидая тщением вашим милости всещедрого Бога чрез помазанницу его получить, а супостатов ходатайством Пресв. Богородицы и всех святых под ноги верных рабов и сынов российских покорить дай Боже…» Уже этот текст достаточно характерен. А вот цитата из доноса Горлицкого: «Шумахер с единодушными клевретами своими, немцами, что ни делал, все то чинил для собственной корысти и для пользы народу своему, по единаковой природе и по ревности единого закона, не минуя похвалы, славы и чести его, а России в крайнее поругание во многие веки…» Доносчик требовал, чтобы академию обязательно возглавлял православный, потому что «разнствие закона по нужде противиться заставляет». Переводчик Иван Горлицкий (1690–1777), выпускник Славяно-греко-латинской академии, еще при Петре учился в Париже, и в академии служил с ее основания. В 1733 году ему было предложено держать экзамен на звание адъюнкта вместе с Тредиаковским; но, в отличие от последнего, Горлицкий отказался, заявив, что петербургским профессорам должно быть достаточно диплома Сорбонны. За время службы в академии Горлицкий перевел на латынь «Степенную книгу» (по заданию Корфа)[61] и выполнил ряд других работ, требовавших достаточно высокой квалификации. В то же время в его переводах, по свидетельству не только немцев, но и нейтральных Адодурова и Тредиаковского, иногда попадались ошибки, свидетельствующие о незнании «простейших наук». В 1742 году ему было уже за пятьдесят. Конечно, уязвленное самолюбие, невозможность самореализоваться не лучшим образом повлияли на его характер. Выспренний тон и слабая аргументированность его письменных филиппик, как и сбивчивые показания на следствии, производят довольно жалкое впечатление. К тому же Горлицкий, видимо, уже в эти годы впал в экзальтированную религиозность; под старость он написал трактат «Мистическое, сиречь Таинственное богословие» (оставшийся в рукописи). Худшего союзника Делилю

и Нартову было не найти.

Обвинения, которые предъявлял Шумахеру сам Нартов, были, конечно, куда более конкретны и обоснованны. Во-первых, советник Академической канцелярии обвинялся в сокрытии дарованного Петром академии регламента, «чего ради многие учителя, не видя Его Императорского Величества намерения и усмотрев происходящие при том непорядки, принуждены были, без показания плода, в свое отечество возвратиться». Во-вторых, в денежном самоуправстве. В-третьих, в том, что «в прежнее правление для показания себя в свете вымыслил за должное явить описание академического установления, якобы то его трудами произошло». Речь идет об описании академии, изданном в 1740 году. У Нартова были особые основания обижаться на эту книгу: он в ней не был упомянут. «По высочайшей их Императорского Величества милости в той Академии нахожусь членом, а он, Шумахер, злости ради с прочими и не включил». Но членами академии считались только профессора, а кандидатами в члены — адъюнкты. Нартов к их числу не относился и относиться не мог, хотя без изготовленных под его руководством машин и приборов, конечно, научная работа тех же Крафта и Делиля была бы невозможна.

На такие жалобы, пусть даже исходящие от верного отцовского слуги, Елизавета, скорее всего, не прореагировала бы. Но Нартов обвинил Шумахера и в вещах более серьезных. Речь шла о стратегии развития Академии наук. «Обучение российского народу молодых людей оставлено, а производят в науках чужестранных, от которых Российской Империи никакой пользы быть не может, кроме казенного убытка, который при том исходит на жалование и прочее, с чем оные по времени имеют бежать в свое отечество, а российского народа люди в чужих краях обучаются на своем или на казенном коште. Хотя же для лучшего произведения наук Российских людей можно бы сыскать ученых несколько человек из россиян».

Русские переводчики и «студенты» также обвиняли Шумахера в дискриминации, в том, что квалифицированным русским переводчикам платят меньше, чем немецким писцам, что их заставляют вместо научных трудов переводить канцелярские бумаги, что людей, способных преподавать в гимназии, используют на механических работах в Географическом департаменте, что русских с трудом производят в адъюнкты и никогда — в профессора. Поминали Адодурова, Тредиаковского, Ивана Ильинского — поэта и филолога, учителя Кантемира, который так и умер в чине академического переводчика. Наиболее подробно и аргументированно излагал свои претензии

к академии 22-летний Попов.

Попов жаловался, что из-за тупой канцелярской работы он и его товарищи «все то, чему прежде научилися, в неволю забвению предавать обречены». Что в гимназии латынь преподают немцы, не знающие русского языка, а потому «русские, которые одному латинскому языку хотят учиться», должны сперва осваивать немецкий. Однако и немецкий «ради худого предводительства или еще и недостаточного знания по-русски учителей, ныне меньше шести или семи лет выучить не можно». Поскольку латынь изучают «через немецкий», практики переводов с латыни на русский нет. Впрочем, среди учеников латинской гимназии мало русских, а большинство обучающихся там немцев — иностранные подданные, однако с них, вопреки закону, не берут платы за обучение.

Как и другие «подписанты», Попов жаловался на неравные с немцами-переводчиками материальные условия. «От сего порядку, что немцам содержание двойное против русских или против должностей их… дается, происходит то, что немцы понятнее и трудолюбивее русский почитаются, за тем, что они ни о чем домашнем попечения не имеют, все в довольстве к содержанию своему имея. И то есть истинное рачение об обучении всяким наукам, в чем они и самым делом много успевают. Тоже бы и русские учинили без всякого сомнения, если бы их так же содержали».

Ломоносова в числе жалобщиков на Шумахера не было. Как раз в тот момент, когда императрица рассматривала жалобу, он оказался героем другой, чисто бытовой склоки.

В Боновом доме по-прежнему жил Ломоносов со слугой и еще две семьи. Первая — профессорская. Умершего Аммана сменил в качестве профессора естественной истории Иоганн Сигезбек (Сигизбек), протеже Лестока. Сигезбек не был сколько-нибудь крупным ученым; в историю естествознания он вошел лишь как непримиримый враг Линнея. Особенно возмущала Сигезбека неприличная теория шведского ботаника о наличии у растений пола. Линней отомстил, назвав «сигизбекией» отвратительную на вид азиатскую колючку. Правда, в Петербурге старый обскурант (он выступал и против учения Коперника) оставил по себе скорее добрую память. При нем в «Ботаническом огороде» стали выращивать в оранжерее многочисленные «заморские планты» и продавать их семена «приватным» садоводам. Сам Сигезбек пол имел — у него были супруга, трое взрослых сыновей и пять дочерей.

Про общение Сигезбеков с Ломоносовым ничего не известно (хотя общаться приходилось, и довольно тесно: в Боновом доме

на все три «квартеры» была одна общая кухня; по существу, это была большая, говоря языком XX века, коммуналка). Но у Штурма он бывал и даже перехватывал у него денег. К лету 1742 года долг составил целых 65 рублей — притом что жалованье у адъюнкта было, конечно, выше, чем у садовника; правда, в том году всем сотрудникам академии жалованья по существу не платили, ограничиваясь единовременными пособиями «из книжной лавки»: финансирование, стабильное при Анне, пресеклось из-за неурядиц междуцарствия. Старые сотрудники академии имели сбережения, которые понемногу проедали, но Ломоносов приехал из Германии без гроша.

Вероятно, его все больше томило это неопределенное положение. Речь шла не только о деньгах, но и о самой работе. Перевод с немецкого панегирических стихотворных произведений, которому он посвятил несколько месяцев в начале года, не мог по-настоящему захватить его. Тем более не соответствовали его способностям и амбициям переводы научных статей Крафта. По собственной инициативе Ломоносов начал работать над учебником по «горной науке», но не знал, будет ли этот учебник востребован. Между тем проект устройства химической лаборатории, поданный им летом 1742 года, положили под сукно.

Адъюнкт физического класса отводил душу тем способом, к которому он пристрастился то ли в Славяно-греко-латинской академии, то ли уже в Германии. В начале XX века старожилы еще показывали в Тучковом переулке место, где некогда стоял кабак, где Ломоносов якобы пропил казенные часы. Этот эпизод никакими документами не подтверждается, но если кабак в переулке был, то великан-адъюнкт наверняка слыл его завсегдатаем. Об «одном недостатке» Ломоносова тактично упоминает в начале 1742 года еще симпатизировавший ему Шумахер. Впрочем, «недостаток» этот был распространен в то время очень широко. Но если другие пили тихо и необременительно для окружающих, то в случае Ломоносова все было иначе. Алкоголь не влиял на его интеллект и работоспособность, но усиливал и без того дикую вспыльчивость и бешеное самолюбие.

Двадцать пятого сентября Ломоносов, вернувшись домой в подпитии, не обнаружил своей «епанчи» (длинного широкого плаща). В поисках исчезнувшей вещи он шатался по дому, пока не встретил кухарку Штурма, солдатку Прасковью Арлукову, и о чем-то с ней говорил. Что она сказала Ломоносову, неизвестно. Но тот немедля отправился, вместе со слугой, в комнаты садовника. У Штурма были гости: переводчики Грове и Шмидт,

лекарь Брашке, унтер-камерист Люрсениус, бухгалтер и книготорговец Прейсер, бухгалтер Битнер, столяр Фрич (Фриш) и копиист Альбом. Ломоносов (предоставим слово самому Штурму) «пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил и, схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти; и выскочив я из окон и почал караул звать; и пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых и жену свою прибитую». Восемь мужчин не смогли совладать с двумя пьяными буянами — вероятно, слуга Ломоносова был под стать ему ростом и силой. Беременная жена Штурма выпрыгнула в окно — с подбитым глазом и синяками на руках и плечах. Саму Прасковью Арлукову, накликавшую беду, Ломоносов «бил по щекам и каблуками» и тоже подбил ей глаз. Пятеро солдат и капитан, явившиеся по вызову Штурма, увидели такую картину: избитые гости разбежались, а Ломоносов в одиночестве бесновался в квартире. Он уже разбил зеркало и сейчас рубил шпагой дверь. С трудом его связали и доставили на съезжую, откуда послали «с промеморией в Десьянс Академию» (то есть Академию наук). Как благородного человека, личного дворянина, при шпаге, его не могли подвергнуть обычному наказанию. Но, как видно, полицейские, скручивая буяна, здорово поработали. Вместо Академической канцелярии Ломоносов пришел домой и слег в постель. Посетивший его врач поставил следующий диагноз: «А как его спросил, чем он неможет, то отвечал он мне на сие, что у него почти все члены болят, а особливо чувствует в грудях лом и плюет кровью. Притом же показал он мне левое колено, которое совсем распухло, так что тою ногою ни ступить, ни ходить не может. Еще показал он мне рубец на брюхе по левую сторону, про что он сказывал, что в том месте рублено шпагою. Еще видел я у него на правой руке на ладони рубец, и притом припухлый и синий глаз. Понеже вышеозначенный адъюнкт Ломоносов за распухлым коленом вытти из квартиры не может, а особливо для лома грудного сего делать отнюдь ему не надлежит, того ради во-первых для отвращения харкания кровью надобно принимать ему потребные к тому лекарства, и притом советую ему пустить кровь…»

Выздоровев, Ломоносов пригрозил Штурму расправой, и тот написал новую жалобу: Ломоносов «8-го числа сего месяца (октября. — *В. Ш.)* двум моим девкам сказал, что он мне руку и ногу переломит и таким образом меня убить хочет. И понеже

таким образом через то пришел я в такой страх, что не смею вытти из покоя и отправлять мою должность…». Штурм требовал срочно выселить необузданного адъюнкта и притом взять с него расписку, «что он меня как на улице, так и в квартире в покое оставит».

Конечно, всегда надо выслушать обе стороны. Возможно, лекарь Брашке сказал гостю нечто оскорбительное, а не просто увещевал его. И все же в жалобах Штурма звучит такая боль обиженного «маленького человека», что очень трудно в данном случае подыскать Ломоносову оправдание. Остается принимать его таким, как есть. Ничем, кроме любви к выпивке и уязвленного плебейства, не походил он на «светлую личность» второй половины XIX века. В остальном был он не только писателем, но и человеком эпохи барокко, с ее причудливыми наворотами и резкими контрастами. Молодой Ломоносов порою вел себя, с нынешней точки зрения, дико, но и нравы в тогдашнем Санкт-Питербурхе были дикие. Академический уголок на Васильевском мало в этом смысле отличался от других районов, а Бонов дом вообще был притчей во языцех. Так, Степан Крашенинников, поселившийся здесь в бытность адъюнктом ботаники, 16 июня 1746 года жаловался на одного из сыновей Сигезбека, который «без всякой причины… за волосы таскал и ногами топтал» его, Крашенинникову, служанку — «а чтобы она при том не кричала, то зажимая ей рот, едва оной не задушил». Такого рода жалобы поступали в Академическую канцелярию, кажется, нередко.

Штурм не получил законного удовлетворения. К тому времени, как он подал второе прошение, положение в Академии наук изменилось самым радикальным образом и пьяная драка в Боновом доме отошла на второй план[62].

4

Тридцатого сентября, через пять дней после так драматично закончившихся поисков епанчи, Елизавета подписала указ об аресте Шумахера, контролера Гофмана, канцеляриста Паули и побитого Ломоносовым в квартире Штурма бухгалтера Прейсера. Создалась следственная комиссия, в которую вошли петербургский обер-комендант С. Л. Игнатьев и президент Коммерц-коллегии князь Б. Г. Юсупов. Во главе комиссии был поставлен адмирал граф Н. Ф. Головин (сын петровского канцлера). Академической канцелярией, а значит, и самой академией пока что приказано было руководить Нартову.

Профессора восприняли эти известия с потрясением. Крафт

16 октября писал Эйлеру: «В нашей Академии случился казус, который всех нас привел в отчаяние, печаль и ужас, именно: ночью 7 октября советник Шумахер посажен под строгий домовой арест; при сем опечатаны его бумаги…» Крафт был родственником и другом «канцелярского деспота»; другие профессора относились к нему не столь тепло, но все они работали под его руководством многие годы и помнили, что именно этот неоднозначный человек как-то провел Академию наук через многочисленные политические рифы и обеспечил ее существование. К тому же он был «своим». Оказаться под властью «русского мужика» Нартова было и унизительно, и страшно.

Нартов тем временем разработал проект радикальных реформ в академии. Прежде всего, предполагалось разделить собственно Академию наук и задуманную еще при Петре Академию художеств и ремесел[63], в ведение которой предполагалось передать ремесленные мастерские. Пока что были резко сокращены штаты, уволены «лишние» сотрудники. В гимназии Нартов отстранил учителей Миллера, Генриха Юстуса (который приехал из Германии вслед за своим младшим братом Герардом Фридрихом) и Христиана Германа, уличенных в том, что они отлынивали от работы в гимназии, давая в то же время уроки у себя дома за деньги, а заодно и их помощника, «информатора Фишера», малополезного по незнанию русского языка и склонности к пьянству. Вместо них были приглашены преподавать в гимназию Тредиаковский, Горлицкий и переводчик Гронинг (Гренинг).

Далее, Нартов обнаружил огромные долги в книжной лавке. Сумма вышла колоссальная — свыше 32 тысяч рублей (что соответствовало, к примеру, жалованью Ломоносова за 88 лет)! Книги в долг получали Сенат (на 6,5 тысячи рублей!), Синод, двор, частные лица… Анна Леопольдовна, Антон Ульрих и Юлия Менгден вместе взяли без оплаты книг на 665 рублей (вряд ли царственным ссыльным позволили захватить эту библиотеку в Холмогоры, но долг остался на них, а не на казне). Президенты академии не отставали от прочих. Особенно большим книголюбом был Корф (4 тысячи 339 рублей долга).

Нартов рассчитывал получить этот долг назад и вновь добиться регулярного (как при Анне) выделения Сенатом денег для Академии наук. Реформатор не понимал, что «ремесленные» отделения академии и завуалированные взятки важным лицам (в том числе роскошно изданными книгами, отпущенными якобы в долг) как раз и были залогом исправного государственного финансирования. В результате весь 1743 год профессора тоже просидели без жалованья, что симпатий к Нартову не прибавило.

А разговор о книжных долгах повредил ему к тому же в глазах следственной комиссии. На самом ее председателе Головине было 97 рублей долга академической книжной лавке, и отдавать их он не собирался.

Особенно настроили академиков против Нартова его планы сократить число профессоров (оставив по одному на каждую дисциплину) и опечатывание документов академии, произошедшее 10 октября. Поводом послужил донос сторожа Глухова о том, что унтер-библиотекарь Тауберт, «приходя в Канцелярию и старую судейскую, берет разные письма большими связками и носит к себе наверх». 25-летний Иоганн Каспер (Иван Иванович) Тауберт, в прошлом студент, произведенный в адъюнкты в 1738 году[64], а спустя три года назначенный на внешне скромную должность «унтер-библиотекаря», уже в эти годы был очень близким Шумахеру человеком. В его ведении была не только библиотека, но и коллекции Кунсткамеры.

Но опечатаны были не только канцелярские бумаги, но и чисто научные документы, в частности шкафы Географического департамента. Инициатива, почти несомненно, исходила от Делиля (напомним: как раз накануне он был отстранен от заведования этим департаментом), но формально приказ отдал Нартов. Этого ему простить не могли.

Столкнувшись с немотивированной (как ему должно было казаться) обструкцией профессоров, Нартов пришел к выводу, что они — соучастники Шумахера и «враги России», и стал относиться к ним соответственно. В свою очередь, недружественные поступки нового «советника» усиливали ненависть к нему. Стороны даже не пробовали объясниться и понять доводы друг друга. Отказ выдавать для работы получаемые Санкт-Петербургской академией иностранные ученые труды стал последней каплей. Профессора в бешенстве писали в комиссию, что Нартов «сам никакой не знает науки, и о соединении наук, во всем свете происходящем, весьма никакого не имеет понятия» и потому чинит препоны нормальной научной деятельности. Мотив невежества Нартова, «простого токаря», который якобы не владеет никакими иностранными языками и «с нуждою имя свое и по-русски подписать может», возникает во многих документах следствия. Это было, конечно, очень большое преувеличение, чтобы не сказать — прямая ложь: Нартов, выпускник Навигацкой школы, позднее учился механике в Париже и Лондоне, и живые иностранные языки, конечно, знал (как бы он иначе вообще общался с профессорами?). В древних языках он был, правда, не так силен: свой оставшийся в рукописи труд о станкостроении он озаглавил по-латыни — «Театрум

махинарум», но это данное для наукообразия название наивно написал кириллицей. Но Шумахер, хоть и окончил университет, не претендовал на статус ученого, а Нартов, как всякий классический русский самородок, больше всего на свете мечтал о сочленстве в клубе европейских ученых светил. Последние же, кажется, видели в инструментальном мастере рядового представителя академической обслуги, несмотря на его высокий чин[65].

Во всех этих событиях самое непосредственное участие принимал Ломоносов. Из всех собственно научных работников академии, профессоров и адъюнктов, он единственный встал на сторону Нартова и Делиля. Можно предположить, что Нартов искал расположения и других русских адъюнктов. Но Адодуров, Тредиаковский и Теплов проявили осмотрительность. Василий Кириллович, однако же, воспользовался ситуацией, чтобы попросить, наконец, произвести его из адъюнктов в экстраординарные профессоры (поскольку должность ординарного профессора элоквенции была занята Штелиным). Ему отказали.

Ломоносов на короткое время стал одним из помощников и доверенных лиц Нартова. Вместе с Горлицким, Камером и другими он занимался опечатыванием академических бумаг. Это сопровождалось конфликтами и взаимными оскорблениями. Так, 12 октября профессор Христиан Винсгейм (Винцгейм) пожелал взять для работы какие-то бумаги из запечатанных шкафов. Ломоносов, который вместе с Камером и Пухортом выдавал ему эти бумаги, не сделал этого автоматически, а предварительно их просматривал и расспрашивал профессора «о том, почему то или другое написано», при этом (по словам Винсгейма) высказываясь «ругательно и с насмешкою об ученых делах». Экстраординарный профессор Христиан Винсгейм не был крупным ученым, но был опытным и достойным специалистом, многолетним помощником Делиля и Крафта, квалифицированным и старательным астрономом-наблюдателем и исполнительным администратором. В числе его трудов — первые русские астрономические календари, первый (оставшийся неизданным) учебник географии для русских. Современники характеризуют его как добродушного, но слабохарактерного человека. Такие люди часто бывают чрезмерно самолюбивы. К тому же Винсгейму было уже под пятьдесят, и его не мог не покоробить наглый тон свежеиспеченного адъюнкта, годящегося ему в сыновья. А Ломоносов, увлеченный новыми обязанностями, не умел и не хотел поставить себя на место своего собеседника. Возможно, что, сунув нос в выдаваемые бумаги, он не только выполнял

служебный долг, но и удовлетворял свое любопытство. Ему интересен был механизм функционирования академии, и он уже входил в роль ее реформатора. Он уже обдумывал — с молодым задором и самонадеянностью — как заново организовать работу Географического и других департаментов…

Через два дня — другой эпизод, еще больше разъярivший профессоров: Ломоносов вместе с Горлицким явился в Академическое собрание, где в то время шла ученая конференция, «под видом осматриванья печатей». Согласно жалобе, их появление сопровождалось «великим шумом и смятением» и помешало академикам работать.

Казалось бы, все эти конфликты сами по себе не стоили выеденного яйца. В академии прежде происходили скандалы куда более шумные и масштабные. Но большинство, поддерживающее Шумахера, и меньшинство, стоящее за Нартова, дошли до крайней степени взаимного ожесточения. Разумеется, многие с обеих сторон действовали в сугубо личных интересах. К тому же всех озлобило двухлетнее безденежье. А все же в конфликте Ломоносова и Нартова с немецкими учеными было серьезное содержание. Взаимное непонимание было связано с особенностями разных менталитетов. Европейское ученое сословие генетически восходило к средневековым клирикам и унаследовало от них чувство «экстерриториальности» и корпоративный дух. Профессора из Германии нанялись на службу к русским царям, как нанимались к мелким князькам у себя на родине. Устраивая придворные фейерверки, сочиняя оды и гороскопы, они покупали себе право на сытый желудок большую часть времени посвящать тому, что им в самом деле было интересно.

Иногда их исследования были чрезвычайно важны и ценны для мировой науки, но почти всегда — совершенно непонятны и чужды населению страны. Россия была лишь источником финансирования и отчасти объектом исследования. Как язвительно заметил позднее граф Н. И. Панин, такая академия могла бы существовать и в Крымском ханстве, если бы хан давал на нее деньги. Подобное положение дел не могло тянуться долго; Петр создал Академию наук не для того, и профессора должны были это понимать. Именно потому реформы Нартова вызвали у них такое неприятие: граждане интернациональной «республики науки» вдруг почувствовали над своей головой свист петровской дубинки — и очень испугались.

В каком-то смысле они были правы. Русские разночинцы, получившие образование за счет государства, — и Нартов, и несравнимо более ученый Ломоносов — никак себя от этого

государства не отделяли. Если угодно, их сознание было по-своему тоталитарным. Казенный интерес, народное просвещение, научные исследования, личные дела — все это было для них теснейшим образом взаимосвязано, включено в иерархическую структуру. А структура эта определялась все тем же петровским «сверхпроектом», которому эти люди были преданы безусловно. Не случайно некоторые историки (например, П. П. Пекарский) при описании этого конфликта явно принимают сторону «немцев»: русскому интеллигенту второй половины XIX века (да и современному) они психологически понятнее, чем Ломоносов. Но если бы не жесткая позиция строптивого помора, не борьба, которую он вел всю жизнь, никакого русского образованного сословия, вероятно, не возникло бы.

Впрочем, лично в Нартове Ломоносов, похоже, быстро разочаровался, а Горлицкий с самого начала, видимо, не вызывал у него особой симпатии. В ноябре — декабре 1742 года он уже не участвовал в административных спорах. Силы его занимала работа над новой одой — на прибытие императрицы после коронации в столицу. Соперником его стал в данном случае Михаил Собакин (его стихи цитировались в предыдущей главе. — *В. Ш.)*. В отличие от выпускника Шляхетного корпуса, с живым простодушием описывающего петербургскую улицу, Ломоносов создал грандиозную космическую картину. Мастер «парящих» од обращается к музе:

Дерзай ступить на сильны плечи
Атлантских к небу смежных гор;
Внушай свои вселенной речи;
Блюлись спустить свой долу взор;
На тучи оным простирайся
И выше облак возвышайся…

Муза восходит на «Олимп всесильный», где «великих монархов дщерь» венчают не Зевс и греческие божества, как можно было бы ожидать, а «Ветхий деньми» библейский Бог.

Утешил я в печали Ноя,
Когда потопом мир казнил.
Дугу поставил в знак покоя
И тою с ним завет чинил.
Хотел Россию бед водою
И гневною казнить грозою;
Однако для заслуг твоих
Прибавил милость в людях сих,

Тебя поставил в знак завета
Над знатнейшею частью света.

Все же Ломоносов верил, что грозы, постигшие страну в наказание за пренебрежение петровскими заветами, пронеслись и теперь настало время для плодотворной деятельности. На рубеже 1742–1743 годов он увлеченно работает сразу над несколькими фундаментальными трудами по химии, физике, минералогии. Что до самой оды, то она имела больший успех, чем все написанное Ломоносовым прежде.

Но уйти от академических дрязг не удалось. Опрометчивые поступки, совершенные в октябре, когда Ломоносов был близок к Нартову, стали причиной тяжких мытарств, продолжавшихся полтора года.

5

С самого начала следствие пошло в выгодном Шумахеру, а не его обвинителям направлении.

Отчасти это объяснялось покровительством «сильных людей». Действительно, преданные Шумахеру профессора мобилизовали все свои связи — астролог Крафт поехал к своим клиентам, Штелин, как раз ставший воспитателем цесаревича Петра Федоровича, хлопотал при дворе, Юнкер писал из Германии письма в защиту арестованного советника. Вернувшиеся в начале года из Сибири Миллер и Гмелин тоже примкнули к этой борьбе. Миллер, который развернул особенно кипучую деятельность, стремился таким образом загладить память о старых, десятилетней давности ссорах с Шумахером. Сам он за годы, проведенные в дальних сибирских городах и в степных улусах у татарских князьков, изменился до неузнаваемости. Самоуверенный юноша превратился в сурового и властного великана, не расстающегося с тяжелой тростью, которой он не раз грозно стучал об пол на заседаниях академии. Беспрецедентные материалы, собранные им в Сибири, позволяли ему на равных говорить с самыми заслуженными учеными, хоть с тем же Делилем, а приобретенное за десять лет хорошее знание русского языка и русских нравов помогало в служебных интригах.

В то же время обвинители вели себя неуверенно. Они были явно не готовы с цифрами и фактами в руках доказывать свои утверждения.

Начнем с обвинений в казнокрадстве и денежных

злоупотреблениях… Обвинители насчитали за Шумахером 27 тысяч рублей недоимок, но цифра эта была взята, что называется, с потолка. Советник Академической канцелярии, судя по всему, не особенно строго отделял свой личный карман от казенного и в хорошие годы не упускал случая пополнить первый за счет второго; зато в трудные для академии дни он (по крайней мере, так утверждали его друзья) закладывал свое личное имущество, чтобы заплатить жалованье сотрудникам. Но чтобы разобраться в его двойной бухгалтерии, надо было самому быть таким же опытным дельцом, как господин советник. Доносчики же цеплялись за мелочи: Шумахер, утверждали они, воровал казенное вино, использовал приписанный к академии шлюп для личных целей, оформлял своих лакеев служителями Кунсткамеры и платил им жалованье из академических средств, создавал синекуры для своих родственников и приятелей и т. д. Поскольку таким образом вел себя практически любой начальник в России, комиссия даже не разбирала эти обвинения подробно, ограничиваясь устными объяснениями Шумахера. Так, вино использовалось, по его словам, для «трактирования» посетителей Кунсткамеры и для срочного спиртования свежеприсланных монстров. По бумагам все вроде бы сходилось… Нартов и его товарищи негодовали, что их не допустили к просмотру изъятых следствием документов и вещей: «Требуемые… изъяснения и доказательства должны быть представлены по наличным делам, а не на память…» Секретарь академии Андрей Иванов, преданный Шумахеру, умело «редактировал» материалы дела; более того, он заранее сообщал обо всех доносах и уликах Тауберту и вместе с ним вырабатывал «линию защиты». Когда один из доносителей, Поляков, стал протестовать против этих безобразий, его заковали на две недели «в железы».

На обвинения в том, что Академия наук не ведет педагогической деятельности, Шумахер с достоинством отвечал, что «ученые люди от здешней императорской академии имеются, а именно: князь Антиох Кантемир, доктор Кондоиди[66], доктор Шилин, асессор Адодуров, унтер-библиотекарь Тауберт и прочие, всего по именам девятьсот шестьдесят два человека, которые с начала академии в гимназии разным наукам обучались… И ныне действительно в гимназии находится шестьдесят девять человек, из которых многие уже в вышних классах, и университет имеется…». Среди тех, кто учится «высшим наукам», очень мало русских? Шумахер и верные ему профессора отвечали, что «большая часть русских как родителей, так и детей их к продолжению наук особенной охоты и терпеливости не имеют, чего ради при всех экзаменах случается, что когда некоторые из

детей в русских классах так далеко продвинулись, что они в латинские произведены быть могут, то они сами и их родители, когда о том объявлено бывает, их отговаривают». Это во многом соответствовало действительности. Но академия для того и создавалась, чтобы изменить положение! Увы, профессора-иностранцы не готовы были нести знания в толщу русского общества: в лучшем случае они иногда давали желающим русским, при условии почтительности и благонравия последних, возможность чему-то у себя поучиться. В тот момент этого было явно недостаточно.

Естественно, комиссия вызвала на допрос русских адъюнктов. Они вели себя осторожно, стараясь не навредить себе при любом обороте дела. Замечательны показания Адодурова. На вопрос о том, чему он обучился в академии, этот тонкий человек ответил так: «Кроме языков, обучался при Академии наук истории, географии, философским, математическим и физическим наукам… И может быть, что в оных науках не посредственные познания получил бы, ежели бы для неисправности в тех науках академических переводчиков не принужден был касающихся до оных наук переводов всегда исправлять, которые у меня не малую часть времени отнимали». При желании здесь можно увидеть и подтверждение слов Шумахера (учили, учили русских людей в академии!), и упрек в адрес академического руководства (специалиста, явно способного на большее, используют для правки переводов), и признание низкой квалификации переводчиков, в том числе Горлицкого, Попова и других «доносчиков».

Впрочем, если в академии и есть какие-то нестроения и неполадки, то советник Академической канцелярии не может нести за них ответственности — ведь управляли-то академией президенты, важные и чиновные люди, а он лишь смиренно выполнял их распоряжения. Шумахер и его друзья всячески это подчеркивали.

Тем временем профессора, ободренные явным успехом, начали понемногу сводить счеты со своими противниками. Замахнуться на Нартова или Делиля им было не под силу, Горлицкий и прочая мелкота просто не принимались в расчет. В качестве объекта мести был избран Ломоносов. 21 февраля его лишили права посещения Академического собрания. Разумеется, это было продиктовано не только желанием унизить молодого русского наглеца: в собрании обсуждались вопросы Следственной комиссии и согласованные ответы на них. Ломоносов (дважды безуспешно пытавшийся принять участие в этих обсуждениях) воспринимался как «вражеский агент».

Между тем показания Ломоносова, данные 1 марта, были очень лаконичны и вполне нейтральны. Большинство вопросов касалось, во-первых, обращения в Академическом собрании с переводчиками Ильинским, Сатаровым и Горлицким (предлагал ли им Шумахер сесть), во-вторых, научных познаний этих трех переводчиков (в силах ли были они «профессоров предложения, а иногда и свои от древностей анатомических, философских и прочих показать»). Ни по той, ни по другой части Ломоносов дать объяснений не мог: Ильинского и Сатарова, умерших до его возвращения из Германии, он «в лицо не знавал», а с Горлицким «в разговоры о науках не вступал».

Единственный вопрос, на который Ломоносов счел необходимым ответить подробно, — о том, существует ли в Академии наук университет. На эту тему он подал в Следственную комиссию отдельную записку.

Выводы его совершенно однозначны: «Понеже при здешней Академии наук никакой инавгурации Университета не бывало, профессоров, до Университета надлежащих, полного собрания нет, лекции почти никогда порядочно не читаются, ни ректоров, ни проректоров ежегодно и поочередно из профессоров не выбирают, и никого в докторы, ни в лиценциаты и магистры не производят, студентам никакие университетские не даются публичные диспуты, и екзерциции никогда не бывают, и словом, никаких порядков и поведений, по университете обыкновенных, нет; следовательно, при здешней Академии наук не токмо настоящего университета не бывало, но еще ни образа, ни подобия университетского не видно».

Вопрос об университете был принципиальным, но в начале марта Ломоносову было не до академической смуты. Как раз в это время он решал другие, более насущные проблемы. В течение полутора лет, живя если не впроголодь, то более чем скромно, постоянно страдая от безденежья, он не писал брошенной в Марбурге жене. Трудно сказать, забыл ли он о ней, или ждал изменений к лучшему в своем положении. И вот Елизавета Христина Цильх-Ломоносова сама дала о себе знать.

Штелин описывает это так: «В неведении и беспокойстве обратилась она к российскому посланнику в Гаге, графу Головкину… Она убедительно просила графа… известить ее, для успокоения ее глубокой горести, куда отправился и где теперь находится муж ее, студент Ломоносов. Притом она написала к нему письмо, в котором открывала ему свою нужду и просила помочь как можно скорее. Граф Головкин послал это письмо с своею реляциею к канцлеру графу Бестужеву и просил его доставить ответ. Граф Бестужев, не осведомляясь о содержании

письма… поручил статскому советнику Штелину передать кому следует и доставить непременно ответ…»

Прочитав письмо, Ломоносов, по словам Штелина, воскликнул: «Правда, правда, Боже мой! Я никогда не покидал ее и никогда не покину; только обстоятельства препятствовали мне до сих пор писать к ней и еще менее вызвать ее к себе. Но пусть она приедет, когда хочет…» По словам Штелина, Ломоносов выслал жене 100 рублей на дорогу. Откуда мог он взять эти деньги — он, второй год существовавший грошовыми подачками из книжной лавки? Занять? Но несколько месяцев спустя Ломоносов жаловался (в официальной бумаге!), что ему негде занять на пропитание. Возможно, деньги на дорогу для Елизаветы Христины ссудил тот же Штелин. Если так, причины дружеского отношения к нему Ломоносова особенно понятны.

Однако когда Елизавета Христина прибыла в Петербург, положение ее мужа только ухудшилось.

Дело в том, что уже 12 марта следственная комиссия вынесла свое решение. Шумахер был почти полностью оправдан и освобожден из-под стражи. Правда, лишь 4 декабря он вновь приступил к исполнению своей должности. Нартов был определен «к артиллерийскому делу», где до конца жизни увлеченно работал по своей механической части. Одно время (во второй половине 1740-х годов) он вновь числился «советником Академии», получал при ней жалованье и ведал ее инструментальными мастерскими, но в административных делах участия не принимал.

Комиссия, однако, продолжала работу. Теперь бывшие доносчики стали обвиняемыми, так как их доносы был признаны ложными, а согласно еще Соборному уложению 1649 года «будет кто на кого доводить государево великое дело или измену, а не довел, а сыщется про то напряма, что он такое дело затеял на того напрасно, и тому изветчику то же учинити, чего бы довелся тот, на кого он доводил». Разумеется, никто не собирался привлекать к суду коллежского советника Нартова или знаменитого иностранца Делиля. Но все остальные доносчики, нечиновные и незнаменитые, должны понести наказание. Ибо в том же уложении сказано: «Будет боярина или околь-ничьего или думного человека обесчестит стольник или стряпчий… и их бити кнутом».

Шумахера поддержали почти все профессора, за него хлопотали при дворе, обвинители его оказались не на высоте — все так. Но та готовность, с которой русские сановники встали на сторону «немцев» — вопреки официальной политике елизаветинского двора! — нуждается в объяснении. По словам

С. М. Соловьева, Игнатьев, Юсупов и Головин видели перед собой, прежде всего, «несколько мелких, ничтожных людей, которые осмеливаются обвинять своего начальника». Эти «мелкие, ничтожные люди» обижались на то, что им не дают проявить себя в высокой науке. Но (с точки зрения большинства вельмож той эпохи, и не только вельмож) заморские науки и художества — совсем не то, чем надо заниматься русскому православному человеку. Это дело иноземцев, которых за тем в Россию и приглашают. А дело русских — пахать землю, молиться Богу, воевать, управлять страной и чинить друг над другом суд и расправу. Так должны были рассуждать члены комиссии.

Ломоносова по закону вообще не в чем было обвинить: он лишь выполнял распоряжения Нартова. Однако профессора продолжали бойкотировать «штрейкбрехера». Они по-прежнему не допускали его в Академическое собрание. 21 апреля Ломоносов явочным порядком пришел туда; но Винсгейм (явно радующийся случаю отомстить за свое унижение) в качестве конференц-секретаря зачитал ему указ, запрещающий адъюнкту Ломоносову вплоть до вынесения окончательного приговора комиссии посещать собрание.

Ломоносов ушел; но пять дней спустя снова появился в собрании. Это был не самый удачный поступок в его жизни.

Вот цитата из «Доношения», поданного профессорами 11 мая в сенатскую комиссию:

«Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессоры для конференций заседают и в которой в то время находился профессор Винсгейм и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и, крайне поносный знак (кукиш) самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в оный географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною бранью, что он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профессорского собрания отказали».

Показания свидетелей вносят новые штрихи. В Географическом департаменте находились старые товарищи Ломоносова — Шишкарев, Коврин, Чадов и Старков. По словам Чадова, Ломоносов раздраженно говорил им про Винсгейма: «Что, де, у вас… там, который сидит в Конференции, что, де, чванится, и что, де, он о себе думает?.. Ведь, де, капитан и я, де, капитан, и Календарь, де, сочиню не хуже его…» Любопытна здесь апелляция к формальному классному чину[67]. В ответ на замечание Трускота Ломоносов потребовал, чтобы тот говорил с ним по-латыни. «Тот ответствовал, что я, де, не умею. На что он: „Ты, де, дрянь, никуда не годишься и недостойно произведен“». Забавно, что студентов, которых под предлогом недостаточно совершенного знания латыни годами отказывались чему-либо учить, в конце концов поставили под начало не владеющего латынью адъюнкта, который к тому же был моложе их: Ивану Фомичу, или Джону Трускоту, иначе Трескоту, или Трускотту (Truscott), сыну английского купца, исполнилось всего 22 года.

Затем Ломоносов явился к Винсгейму. Разговор очень быстро пошел на повышенных тонах. По словам академических канцеляристов, Ломоносов называл профессоров, отлучивших его от Академического собрания, «гунсвотами и ворами» («Hundsfötter und Spitzbuben»[68]). Винсгейм потребовал занести эти слова в протокол. Ломоносов ответил: «Ja, ja, schreiben sie nur; ich verstehe so viel wie ein Professor und bin ein Landeskind!»[69] Затем Ломоносов надел шляпу и в таком виде опять последовал в Географический департамент. Здесь адъюнкт уж совсем раздухарился. Он кричал, что он «…(Трускот стыдливо опускает слово. — *В. Ш.)* на всех профессоров и на советника Шумахера», грозился «поправить Шумахеру зубы». Трускот и секретарь Андрей Иванов (тот самый, что способствовал оправданию Шумахера) требовали, чтобы Ломоносов снял шляпу, но тот по-прежнему расхаживал по помещению в головном уборе, демонстрируя тем самым презрение к обоим своим собеседникам. Наконец, отбушевав, подвыпивший великан отправился домой.

Сам Ломоносов не придавал особого значения этой своей выходке. В следующие дни он спокойно занимался своей научной работой: попросил выдать ему для работы два микроскопа, вторично подал проект об организации химической лаборатории. И в то же время он пишет новое прошение о денежном пособии. До конца года ему, невзирая на всю его гордость, еще несколько раз пришлось составлять такие прошения: ведь жалованье по-прежнему не платили!

Между тем уже 11 мая в Следственную комиссию поступила жалоба профессоров. Основным автором ее и инициатором ее

составления был Миллер. Историк еще не знал, как этот поступок повлияет на его последующую жизнь и какого врага он приобрел. Вместе с ним письмо подписали Крафт, Гинсгейм, Гмелин, Сигезбек, Иозиас Вейтбрехт, Иоганн Христиан Вильде, Пьер Луи Ле Рой и — Георг Рихман. На последнего Ломоносов впоследствии не держал зла, как, впрочем, и на Гмелина. Но Миллеру он не смог простить своего унижения до конца дней.

Ломоносова обвиняли не только в непристойном поведении в помещении Академического собрания. Академики постарались собрать воедино все дурное, что можно было сказать об адъюнкте-смутьяне. По их словам, «Ломоносов во всю свою бытность в Академии наук показывал себя во многих поступках не по надежде нашей, и часто пьянствуя, делал многие непорядки и драки, за что в сентябре месяце… 1742 года и под караул в полицию приведен был». Припомнили его, казалось бы, уже прощенные недоразумения с Генкелем. Образцовый молодой «национальный кадр», многообещающий ученый, гордость Академии наук, каким еще несколько месяцев назад выглядел в официальных бумагах наш герой, превратился в отвратительного изгоя, пьяницу, хама и дебошира. Заканчивалось письмо совсем грозно: профессора просят комиссию «учинить надлежащую праведную сатисфакцию, без чего Академия более состоять не может, потому что ежели нам в таком поругании и бесчестии оставаться, то никто из иностранных государств впредь на убылые места приехать не захочет, также и мы себя за бесчестных признавать должны будем без возвращения чести нашей служить Ея Императорскому Величеству при Академии». Другими словами, все профессора покинут Россию и академия закроется из-за нескольких грубых реплик нетрезвого адъюнкта. Странно как-то. Но последняя фраза письма проясняет дело: профессора, пользуясь случаем, «покорнейше просят» выдать наконец жалованье за прошлый 1742 год. Выходка Ломоносова была лишь поводом, чтобы привлечь внимание к бедственному положению академии. Профессорам нечего было терять, и они готовы были шантажировать власти немедленным отъездом из страны.

Двадцать восьмого мая Ломоносова вызвали на допрос в комиссию. Он отказался, ответив, что подчиняется не следственной комиссии, а Академии наук[70]. Опешившие от такой наглости ревизоры распорядились взять адъюнкта под караул. Караульное помещение находилось прямо в здании академии, где работала комиссия. В тот же день Ломоносов был препровожден туда из Бонова дома. Через три дня он вновь отказался давать показания, заявив, на сей раз, что «без воли команды оной же Академии советника Нартова ответствовать не

смеет». Еще через два дня комиссия, не добившись от Ломоносова проку, допросила свидетелей и прояснила для себя картину.

Ломоносов продолжал сидеть под караулом. 23 июня он послал официальное прошение, адресованное опять-таки не комиссии, а академии. Из-за пребывания в заключении, жаловался ученый, «не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое я, нижайший, других бы моим учением пользовать мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит». Арест оторвал его «от сочинения полезных книг и чтения лекций». Михайло Васильевич немного сгущал краски. Если преподавательскую работу пришлось приостановить, то работать над научными и литературными трудами в заключении возможность у него была, и он ею активнейшим образом пользовался. За восемь месяцев из-под его пера вышли три крупные работы по физике и «Краткое руководство к риторике». И именно в эти месяцы он написал лучшие в своей жизни стихи…

Нартов отозвался на жалобу своего подчиненного и потребовал от комиссии освободить Ломоносова. Но голос Нартова уже значил мало. Единственное послабление заключалось в том, что в августе, когда Ломоносов заболел, его перевели под домашний арест. Дело ушло в Сенат, который лишь в начале 1744 года принял решение по делу адъюнкта-скандалиста: «Оного Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных учиненных им предерзостях у профессоров просить прошения». Кроме того, в течение года ему платили половинное жалованье.

К тому времени уже приехала из Германии Елизавета Христина с дочерью (сын Ломоносова, родившийся в отсутствие отца, прожил лишь несколько недель); ее сопровождал в дальний путь брат-погодок Иоганн. Все это лишь усугубило положение опального ученого. Выхода не было. Ни с чем не споря, он расписался 24 января на решении Сената, а три дня спустя прочитал в Академическом собрании утвержденный текст покаяния. На этом его дело было закончено. Если не считать того, что из его и так ополовиненного жалованья (которое, начиная с 1744 года, выдавать все же начали) вычли 65 рублей долга Штурму да еще пытались удерживать деньги, перерасходованные им в Германии. С последним пунктом Ломоносов в конце концов разобрался, доказав, что не он должен академии, а она ему (недочет был компенсирован книгами из академической лавки), но на решение этого вопроса ушло два года.

Окончательный приговор был вынесен в июле после полуторагодового расследования. Шумахер был признан

виновным лишь в хищении вина на сумму 109 рублей с копейками. Эту вину Сенат ему простил, а в возмещение причиненных неприятностей он был даже произведен в статские советники. Обвинители же господина советника были приговорены к наказанию батогами и плетью. Горлицкого, признанного главным зачинщиком, приговорили даже к смертной казни, но потом смягчили приговор, ограничившись наказанием плетью и ссылкой в Оренбург. Но Елизавета помиловала всех и велела принять их обратно на службу в Академию наук. Шумахер чувствовал себя настолько уверенно, что осмелился ослушаться, сославшись на то, что места уволенных уже заняты новыми сотрудниками.

Никита Попов, однако, в академии остался, более того — с этого момента началась его чрезвычайно успешная и быстрая карьера. В 1748 году он уже был адъюнктом, в 1751-м — профессором. Служебному росту Попова не повредила даже его бурная личная жизнь: он сожительствовал с девицей Мадленой Гросс, на которой отказывался жениться, хотя она родила ему двоих детей. Любовники шумно ссорились, сходились и расходились, пока в июле 1749 года адъюнкту Попову не было высочайше приказано обвенчаться с Мадленой, причем на него наложили еще и церковную епитимью. Впрочем, скандалы на амурной почве были в василеостровской «Касталии» обычным делом. Как язвительно замечал Шумахер, «во все времена наши профессора эманципировались в вопросах любви и брака».

Удивительно, но через несколько лет после процесса Шумахера был восстановлен в Академии наук и Горлицкий, прослуживший там до глубокой старости. Вернулся на прежнюю службу и Шишкарев, периодически продолжавший бороться за справедливость (то есть за более высокое жалованье и лучшие условия труда для академических переводчиков). Таким образом, приказ императрицы все же был исполнен, хотя не полностью и с опозданием. Квалифицированных переводчиков было немного, и Шумахеру пришлось переступить через свои обиды.

В связи со всеобщей амнистией весной 1744 года был окончательно прощен и Ломоносов: ему снова стали платить полное адъюнктское жалованье.

Пекарский считает наказание, постигшее молодого ученого, необычно мягким, особенно в сравнении с тем, что в феврале 1740 года пришлось перенести Тредиаковскому. Историк объясняет это успехом од Ломоносова при дворе. Но — Тредиаковского избивал обнаглевший временщик за нанесенную лично ему обиду, а Ломоносова судили законным порядком — сравнивать их участь некорректно. Восемь месяцев заключения и

крупный денежный штраф за словесное оскорбление сослуживцев, причем равных по чину, — кара строгая по понятиям любого времени.

Академическая смута на этом не закончилась. Делиль продолжал бомбардировать Сенат жалобами на Шумахера, уже открыто добиваясь должности «директора» академии. В 1745 году против «канцелярского деспота» восстали те, кто спас его двумя годами раньше, — прежде всего Миллер и Гмелин[71]. По словам Ломоносова, «целый год почти прошел, что в Конференции кроме шуму ничего не происходило». Раньше господин советник относился к ученым как властный, но добродушный отец-командир. Отныне они стали ему почти врагами. «Им не я, Шумахер, отвратителен, а мое звание, — жаловался он. — Они хотят быть господами, в знатных чинах, с огромным жалованием, без всякой заботы обо всем остальном!»[72]

Но Ломоносов, ставший в 1745 году профессором, на сей раз держался в стороне. Он подписал вместе с другими членами академии два «доношения» против самоуправства Шумахера, но никакой инициативы не проявлял. В результате первого из этих «доношений» власть канцелярии была ограничена Профессорским собранием. Год спустя, в 1746 году, академия наконец получила президента. Это был и не тот ученый и авторитетный «россиянин», о котором шли разговоры с самого воцарения Елизаветы, и не ученый вельможа-европеец вроде Корфа. Президенту было всего восемнадцать лет, и он сравнительно недавно научился грамоте. Но если знаниями и заслугами он похвастаться не мог, то политического влияния у него было больше, чем у любого его предшественника. В 1742 году малороссийский певчий Алексей Розум стал графом Разумовским. Накануне молодая государыня вступила с ним в тайный, но законный брак. Образование юного графа Кирилла Разумовского, деверя императрицы, было поручено адъюнкту Теплову. За короткий срок он превратил диковатого казачонка во вполне функционального молодого вельможу. После двухлетней образовательной поездки по Европе графу были доверены российские науки, каковыми он и ведал (по крайней мере, формально) пятьдесят два года.

В академических спорах новый президент, к разочарованию профессоров, встал на сторону Шумахера. В декабре 1747 года, по рассмотрении всех профессорских жалоб, была дана следующая резолюция: «Советник Шумахер во всех своих поступках перед профессорами прав, и ненависть у них одним тем заслужил, что он по ревности своей к пользе и славе государственной принуждал тех профессоров, которые после того всем

замешательствам и напрасным жалобам причиною были и всех возбуждали, к отправлению должности их и к показанию действительных трудов, для чего им столь знатные жалования определены». Без Шумахера и его верного клеврета (а с 1751 года и зятя) Тауберта управлять академией оказалось невозможно. Правда, теперь не меньшую, чем они, роль играл Теплов. Григорий Николаевич Теплов был человеком того же склада, что и Адодуров: талантливым, образованным и утонченным дилетантом в науке, и притом — ловким придворным. Солдатский сын, ученик Феофана Прокоповича, он продолжал образование в Германии, где пережил обязательное увлечение философией Вольфа. Его наследие включает всего понемножку: тут и «диссертации» по ботанике, и книга «Знания, касающиеся вообще до философии…», популяризирующая вольфианство, и романсы (стихи и музыка), и картины (без его натюрморта-обманки до сих пор не обходится любая представительная выставка русской живописи XVIII века). Теплов так и остался адъюнктом, не удостоившись профессорства, — но в 1747 году был избран «почетным членом» академии. Всего лишь адъюнктом был и Тауберт; зато от этих двух адъюнктов зависели все профессора. Такое положение сложилось в Академии наук к концу 1740-х годов.

Ломоносову было тридцать три, когда закончилось его «дело». Молодость уходила. Он, поздно начавший учиться, догнал и перегнал своих сверстников, но нужно было торопиться. Человеческий век в ту эпоху был недолог. Отныне вся его жизнь была посвящена работе.

Но ведь у него была и семья? Да, была. Теперь он жил в том же Боновом доме с женой и дочкой Екатериной. Дочка, впрочем, вскоре умерла — но в 1749-м родилась другая, младшая, названная в честь матери Ломоносова Еленой. Шурин, вероятно, жил отдельно. О жене Ломоносова и его семейной жизни мы знаем на удивление мало. Биографы делают отсюда вывод, что в семье царили мир и благополучие. Что между Ломоносовым и его женой не было склок и бурных скандалов, что их брак не омрачали супружеские измены — вполне вероятно. Но и близости особой между ними быть не могло. Ничто в прежнем поведении Михайлы Васильевича не свидетельствует о страстной любви к Елизавете Христине Цильх. Штелин пишет, что Ломоносов был «в семействе суров», а Пушкин, со слов очевидцев, утверждает, что «дома его все трепетали». Видимо, в общении с женой Ломоносов был властен, требователен и сух. Едва ли он говорил с ней о чем-то, кроме мелких домашних дел. В зрелые годы все его интересы были поглощены наукой, русской литературой,

административными дрязгами и преобразовательными проектами. Во всем этом дочь марбургского пивовара заведомо ничего не понимала. Но могла ли она, по крайней мере, обеспечить ему домашний уют? И это сомнительно. Вот свидетельство, сохраненное Пушкиным: «Жена его хоть была и немка, но, кажется, мало что смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, услышавши, что речь идет о Ломоносове, спросила: „О каком это Ломоносове говорите вы? Не о Михайле ли Васильевиче? Тот-то был пустой человек! Бывало, от него вечно бегали к нам за кофейником. Вот Тредиаковский, Василий Кириллович — вот этот был почтенный и порядочный человек“». Когда в 1747 году супруга Ломоносова заболела, в доме не нашлось денег на лекарства, и Михайле Васильевичу пришлось просить пособия у канцелярии. А ведь он уже получал профессорское жалованье — 500 рублей[73] в год! В следующем году Ломоносовы расплатились с купцом Серебрянниковым векселем на 100 рублей, по которому так и не заплатили денег, несмотря на полученную вскоре государеву «премию». Этот просроченный вексель был предъявлен еще через два года в Академическую канцелярию. Видимо, Елизавета Андреевна Ломоносова, как ее стали называть, была так же непрактична и неряшлива в денежных делах, как и ее муж.

Вскоре после выхода из-под ареста случился еще один скандальный эпизод (драка с переводчиком Голубцовым, «спасским школьником», — Ломоносов ударил его шандалом). Но эта выходка стала последней. Великан научился выражать свои чувства без рукоприкладства и уличной брани (хотя временами это давалось ему с большим трудом). «Пьянство» Ломоносова постоянно обсуждалось и в литературной полемике, и в частных письмах до конца его жизни — но документально зафиксированных публичных скандалов на этой почве после 1744 года, кажется, не было.

Проявления ломоносовского богатырства были теперь темой не полицейских протоколов, а почтительных мемуаров.

«Однажды в прекрасный осенний вечер пошел он один-одинешенек гулять к морю по большому проспекту Васильевского острова. На возвратном пути, когда стало уже смеркаться и он проходил лесом по прорубленному проспекту[74], выскочили вдруг из кустов три матроса и напали на него… Он с отчаянной храбростию оборонялся от этих трех разбойников. Так ударил одного из них, что тот не только не мог встать, но даже не мог опомниться; другого так ударил в лицо, что он весь в крови изо всех сил побежал в кусты; а третьего ему уж нетрудно было одолеть; он повалил его (между тем первый, очнувшись, убежал в

лес) и, держа его под ногами, грозил ему, что убьет его, если он не откроет ему, как зовут других разбойников и что они хотели с ним сделать. Этот сознался, что они хотели только ограбить его и потом отпустить. „А! — каналья! — сказал Ломоносов. — Так я же сам тебя ограблю“. И вор должен был тотчас снять свою куртку, холстинный камзол и штаны и связать все это в узел собственным поясом. Тут Ломоносов ударил еще полунагого матроса по ногам, так что он упал и не мог сдвинуться с места, а сам, положив на плечо узел, пошел домой с своими трофеями, как с завоеванною добычею, и тот час при свежей памяти записал имена обоих разбойников. На другой день он объявил об них в Адмиралтействе; их немедленно поймали, заковали в оковы и провели сквозь строй».

Двуединая природа Ломоносова — разудалого великана, крутого нравом и по-своему остроумного, и в то же время — казенного, «государева» человека, замечательно проявилась в этой истории. С одним из грабителей он расправился по-свойски; но не забыл донести на двух других «по начальству», чтобы негодники, грабящие мирных жителей Васильевского острова, не избежали свирепого, положенного законом наказания.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава шестая
ПИИТИКА И РИТОРИКА

1

Уже на рубеже 1730–1740-х годов научная и литературная работа занимала в жизни Ломоносова центральное место. После 1744 года она стала, по существу, единственным содержанием его жизни. Все остальное происходило как будто на полях жизненной книги, между делом. Биография зрелого Ломоносова — это история его трудов и тех конфликтов, зачастую очень резких, которые в связи с этими трудами возникали у него с коллегами.

Литература и «словесные науки», похоже, не были для Ломоносова главным жизненным делом. По замечанию Пушкина, «Ломоносов сам не дорожил своею поэзией и гораздо больше заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокоторжественный день тезоименитства и пр.». Это правда — по крайней мере отчасти. Но современникам и ближайшим потомкам поэзия Ломоносова была понятнее, чем его научные труды. Во многом именно своему таланту стихотворца и оратора Ломоносов был обязан тем положением и теми связями, которые оказались так кстати для других его свершений. Более того — влияние трудов Ломоносова на русскую литературу и сегодня, несомненно, отчетливо и ощутимо. Вопрос о его реальном влиянии на развитие естественных наук, образования, историографии куда более сложен.

Правда, уже в середине XIX века лишь немногие читатели могли искренне восхищаться стихами Ломоносова. Тот же Пушкин был в первых рядах ниспровергателей ломоносовской поэтической славы: «В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, написанные по образцу тогдашних немецких поэтов, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты… Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым» («Путешествие из Москвы в Петербург»).

Культура модернизма научила нас, что кроме «простоты и точности» у стихов могут быть и другие достоинства и что изысканность — не всегда порок. Да и поэтов барокко, «давно забытых» в пушкинскую эпоху, сто лет спустя вспомнили и оценили. Читать Ломоносова-поэта большинству наших

современников мешает иное. Современные люди привыкли видеть в стихах отражение личности поэта, его персонального опыта, чувств, мыслей. У Ломоносова это присутствует далеко не всегда.

Во всяком случае, в очередных одах «на высокоторжественный день тезоименитства» или «на день восшествия на престол Елизаветы» поэт, как правило, меньше всего самовыражался. Он воспевал то, что надлежало воспеть, — мир в мирные дни, войну в дни брани… Его похвалы государыне абстрактны и несколько однообразны; живой образ, как в державинской «Фелице», не возникает никогда. «Содержание» оды у Ломоносова условно, оно — лишь повод для демонстрации мастерства, для развернутых метафор и описаний, в которых Ломоносов в полной мере дает волю своему дару. Вот, например, две строфы из «Оды на день восшествия на престол Ее Величества Государыни Елизаветы Петровны 1748 года», в которых Ломоносов вспоминает прибытие молодой императрицы из Москвы в декабре 1742 года — то, которое в свое время воспел Собакин и описанием которого Ломоносов в своей тогдашней оде пренебрег:

В луга, усыпанны цветами,
Царица трудолюбных пчел,
Блестящими шумя крылами,
Летит между прохладных сел;
Стекается, оставив розы
И сотом напоенны лозы,
Со тщанием отвсюда рой
Свою царицу окружает,
И тесно вслед ее летает
Усердием вперенный строй.

Подобным жаром воспаленный,
Стекался здесь российский род,
И, радостию восхищенный,
Теснясь, взирал на твой приход.
Младенцы купно с сединою
Спешили следом за тобою.
Тогда великий град Петров
В едину стогну обратился,
Тогда и ветр остановился,
Чтоб плеск всходил до облаков.

Образ «царицы трудолюбных пчел» и окружающего ее роя

ярче, чем само описание петербургского торжества, которое он должен иллюстрировать. В то же время «восторга» и «парения» в этих стихах уже гораздо меньше, чем раньше. Ломоносов воспевает спокойное блаженство державы под скипетром Елизаветы:

Да движутся светила стройно
В предписанных себе кругах,
И реки да текут спокойно
В тебе послушных берегах…

Именно эта ода принесла Ломоносову, может быть, самый большой в его жизни официальный успех. Ему было пожаловано две тысячи рублей. Вручение этой награды сопряжено было с большими техническими сложностями. Дело в том, что в тогдашней России не было монеты номиналом больше, чем двухрублевка (сменившая в 1718 году петровский червонец). В основном во внутреннем обращении были гроши, полушки, копейки, алтыны. Бумажные деньги, ассигнации, появились лишь в 1769 году. Пожалованная Ломоносову премия представляла собой две подводы, груженные монетами, общим весом в три тонны. Они и были доставлены в декабре 1748 года в Бонов дом.

Двор Елизаветы поражал своей, в сравнении с предыдущими эпохами, пышностью и роскошью. «Граф Растреллий» один за другим строил новые дворцы, поражавшие воображение великолепием и изобретательностью. В Царском Селе, Петергофе, Ораниенбауме расширялись и вновь разбивались геометрические французские сады, с боскетами, прямыми аллеями и узорными площадками, выложенными из разноцветных камешков. Почти ежедневно устраивались балы-маскарады, на которых (пока сама Елизавета была молода и стройна) мужчинам предписывалось появляться в женских платьях, а женщинам в мужских… Все это не мешало дщери Петровой с несколько большим усердием, чем ее предшественники и предшественницы, и с заметно большим, чем они, успехом заниматься государственными делами.

При таком дворе поэт должен был, в числе прочего, уметь изображать и обслуживать «галантные празднества». Ломоносову и это было под силу. Вот, к примеру, описание царства любви из «Оды на день бракосочетаний их императорских высочеств государя великого князя Петра Федоровича и государыни великой княжны Екатерины Алексеевны» (1745):

И горлиц нежное вздыханье,
И тихих голубиц лобзанье

Любови там являют власть.
Древа листами помавают,
Друг друга ветвьми обнимают,
В бездушных зрю любовну страсть!
Ручьи вослед ручьям крутятся,
То гонят, то себя манят,
То прямо друг к другу стремятся
И, слившись меж собой, журчат.

Нарцисс над ясною водою
Пленен своею красотою,
Стоит, любуясь сам собой.
Зефир, как ты по брегу дуешь,
Стократ стопы его целуешь
И сладкой те кропишь росой.
Зефир, сих нежных мест хранитель,
Куда ты правишь с них полет?
Зефир, кустов и рощ любитель,
Что прочь от них тебя влечет?

Этот гимн торжествующей любви (в котором — через голову Державина — «предсказана» батюшковская интонация) написан — так уж вышло — в честь самого злополучного и несчастного брака в истории российской монархии.

Одним из любимых развлечений елизаветинского (как прежде петровского) двора были фейерверки и иллюминации (сложные декоративные композиции, подсвеченные разноцветными огнями). Изображение имело определенный смысл и всегда было как-то привязано к цели торжества. Например, иллюминация в честь заключения Ништадтского мира включала изображения двух подающих друг другу руки рыцарей, символизирующих Россию и Швецию. Таким образом, это было не только увеселением, но и формой «наглядной агитации».

Программы для фейерверков и иллюминаций в елизаветинское время составлялись в основном Штелином. Он же сочинял стихотворные надписи к ним — разумеется, по-немецки. Ломоносов участвовал в организации этих «шоу» XVIII века и в качестве специалиста-химика (чтобы получить пламя разных оттенков, проволочные каркасы и пеньковые жгуты пропитывали различными веществами), и в качестве стихотворца: он переводил штелинские надписи на русский язык, а порой писал собственные (если немецкий оригинал казался ему совсем уж слабым). Последнее даже приводило к недоразумениям со Штелином,

ревниво защищавшим свою сферу деятельности от конкурентов. Таких «фейерверковых» и «иллюминационных» стихотворений в собрании сочинений Ломоносова немало. Вот одно из них — «Надпись на иллюминацию, представленную в торжественный день восшествия на престол Ее Величества ноября 25 дня 1750 года, перед зимним домом, где изображен был Вавилон, окруженный зеленеющим садом; по сторонам торжественные столпы».

Во время твоея, монархиня, державы
Сугубой счастливы мы лета красотой.
Одну дает нам Бог, округ веков создавый,
Другую дарствует приход, богиня, твой.
Из Вавилона бед изведены тобою,
Вошли спокойствия в прекрасные сады.
И, ставя нынь столпы с твоею похвалою,
Вкушаем радости приятные плоды.

Едва ли не единственная торжественная ода 1740-х, где мы слышим личный, человеческий голос Ломоносова, — «Ода на день восшествия на всероссийский императорский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ее начальные строки — среди самых знаменитых у Ломоносова:

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Как ты полезна и красна!

«Тишина» наступила совсем недавно. В 1743 году успешно для России закончилась война со Швецией[75]; два года спустя — война за австрийское наследство, в которой Елизавета Петровна поддержала свою союзницу эрцгерцогиню Марию Терезию и ее супруга Франца, претендента на имперский престол. Окончание эпохи почти непрерывных войн, длившихся двенадцать лет, совпало с завершением академической смуты. Ломоносов вновь полон надежд и перемежает стандартные похвалы Елизавете и ее родителям разговорами про «расширение наук». Во второй половине оды он прямо переходит к изложению своей жизненной программы:

Толикое земель пространство

Когда Всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Когда сокровища открыл,
Какими хвалится Индия —
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
Сие злату очистит жилу;
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

Мир полезен, потому что дает силы и время для поставленной историей перед «в труд избранным народом» сверхцели — разумного, по науке, обустройства огромного пространства от Балтики до Камчатки. Здесь и Сибирь, «где мерзлыми Борей крылами твои взвевает знамена», и металлические заводы «верхов Рифейских», и загадочные новые страны, открытые «Колумбом российским» (намек на плавания Беринга и Чирикова, информация о которых была все еще засекречена).

Там, тьмою островов посеян,
Реке подобен океан;
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран…

Огромное поле для работы! Кто же должен ее совершить?

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих, —
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте, ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Так настойчивая мысль о необходимости подготовки национальных кадров (которая должна заменить приглашение специалистов из-за границы) находит себе место не только в академических докладных записках, но и в стихах.

«Хрестоматийный глянец», пожалуй, влияет на наше восприятие следующей строфы. Между тем здесь Ломоносов не просто демонстрирует свое риторическое мастерство — он говорит о том, что лично для него было дороже всего на свете:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Такое наивно-благоговейное отношение к «наукам» едва ли было возможно уже для поэта XIX, а тем более — XX века. Пути естественных наук и изящных искусств разошлись, между ними возникли недоверие и непонимание. А между тем современная теоретическая физика и астрономия, кажется, открывают огромные просторы для самой дерзкой лирической фантазии — никак не меньшие, чем позитивная наука трехвековой давности.

По определению И. З. Сермана, «смелость поэтического словоупотребления, дерзость сопоставлений и тропов, острота и неожиданность в выборе эпитетов — таковы были важнейшие черты ломоносовского поэтического стиля…». Все эти черты проявились не только в придворных одах, но и в другой части ломоносовского наследия — стихотворениях духовного, религиозного содержания.

2

О религиозных взглядах Ломоносова известно не так много. Он был достаточно осторожен, чтобы не высказывать публично суждений, совсем уж откровенно противоречащих церковным догматам. Однако в частных разговорах, видимо, не особенно стеснял себя. Штелин упоминает в своих записях о «религиозных предрассудках» Ломоносова. Имеется в виду, разумеется, не фанатизм или нетерпимость — скорее чрезмерное вольномыслие. Не случайно речь сразу же заходит о ломоносовских сатирах на духовенство. Несомненно, церковная религиозность в тех формах, которые восторжествовали при Елизавете, не была ему близка.

Если при Анне господствовала «феофановская» партия, то теперь реванш взяли последователи Степана Яворского и Феофилакта Лопатинского[76]. Эти люди, воспитанные на католической культуре, снисходительно относились к придворной роскоши, проникавшей и в церковную жизнь, но с подозрением — к естественно-научным исследованиям. Что же думал о богословских материях сам бывший ученик Славяно-греко-латинской академии?

Судя по всему, он, как многие образованные люди XVIII века, был близок к деизму. Другими словами, склонялся к мысли, что Бог однажды сотворил мир, дал материи законы природы, а человеку свободу воли и отказался от дальнейшего непосредственного участия в делах мироздания.

Впрочем, даже такую рационализированную религиозную доктрину нельзя принимать на веру — она нуждается в доказательстве. Что ж, согласно Лейбницу и Вольфу, наш мир — «лучший из миров», потому что его сотворил совершенный Бог. Но ведь справедливо и обратное: разнообразие, совершенство и слаженность творения — вот лучшее доказательство бытия Божия, не так ли?

> Я долго размышлял и долго был в сомненье,
> Что есть ли на землю от высоты смотренье;
> Или по слепоте без ряду всё течет,
> И промыслу с небес во всей вселенной нет.
> Однако, посмотрев светил небесных стройность,
> Земли, морей и рек доброту и пристойность,
> Премену дней, ночей, явления луны,
> Признал, что Божеской мы силой созданы.

В этом стихотворном «символе веры» (датирующемся 1761 годом) чувствуется некая принужденность. Но это не значит, что Ломоносов был лишен живого религиозного чувства. Его поэтический темперамент превратил смиренное вольфианское благоговение перед Творцом в бурный восторг. Он восхищался Богом как гениальным художником и гениальным изобретателем. Он преклонялся перед ним, как перед старшим коллегой.

Два прославленных стихотворения, написанных в 1743 году во время пребывания под арестом, как раз и передают этот восторг. Первое из них, «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния», особенно замечательно тем, как могучая фантазия поэта соединяется с точным взглядом естествоиспытателя.

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах.
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне, —
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен.

С одной стороны, это типичная барочная философская лирика; и страх перед необъятностью пространства, и восхищение ею, и изысканные уподобления второй строфы — все характерно. С другой стороны, Ломоносов, в отличие от большинства своих современников, физически представляет, что происходит с пером в огне; ночное небо для него даже в миг поэтического восторга — не просто искрящаяся стихия:

Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков…

И там, на отдаленных планетах, действуют те же законы природы — «равна сила естества». Каковы же они — «где ж, натура, твой закон»? Тут Ломоносов переходит к своей теме — северному сиянию; причины этого атмосферного явления занимали его как физика, у него были собственные мысли на сей счет, и им, естественно, нашлось место в стихах. Казалось бы, все это должно вредить чисто поэтической стороне. Однако происходит настоящее чудо: четыре строфы занимает краткое изложение и обсуждение научных гипотез — и в них обнаруживается мощная и утонченная поэзия. Притом гипотезы эти высказаны настолько четко, что спустя десятилетие Ломоносов, доказывая свой приоритет в деле изучения атмосферного электричества, будет ссылаться на «Вечернее размышление…»:

Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;

Иль тучных гор верхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в эфир.

Все очень точно и конкретно: например, «эфир» для Ломоносова — это не то, что для Пушкина («Ночной эфир струит зефир…») — не красиво титулованный воздух, а особого рода «тонкая материя», в существование которой верили современные Ломоносову физики. Но как притом красивы эти «тучные горы», эта «жирная мгла», с каким сладострастием заставляет Ломоносов русский язык отражать свои естественно-научные представления!

Не ограничиваясь северным сиянием, Ломоносов вываливает на «премудрых» (на своих собратьев по «премудрости») целый ворох вопросов:

Скажите, что нас так мятет?
Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?

Ломоносова, ученого и поэта, «мятет» огромность и неизученность мира. Восхищаясь, но и робея, смотрит он на этот безграничный мир и думает о Том, Кто его сотворил. Парное стихотворение — «Утреннее размышление о Божием Величестве» — проникнуто, напротив, мажорным духом. В начале появляется образ солнца, которое для Ломоносова, так же как звезды, — не абстрактное «светило». Ни одной минуты не забывает он, что есть солнце с точки зрения физики — «горящий вечно Океан» — и это знание умеет переживать поэтически:

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни как вода кипят,
Горящи там дожди шумят.

Но если «Вечернее размышление…» — в первую очередь о необъятности и сложности «натуры», а уже потом — о Боге и человеке, то в «Утреннем…» — важнее второе. И о солнце поэт говорит лишь затем, чтобы дальше написать;

Сия ужасная громада
Как искра пред тобой одна.
О, коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел…

В общем, ничего нового — Вольф тоже считал, что вся вселенная существует «для наших повседневных дел», но у его ученика эта мысль стала звучать дерзко и потому — поэтично. Солнце — «лампада», которую Бог зажег, чтобы освещать ею повседневные ученые труды адъюнкта Ломоносова. Помоги же мне быть достойным этого дара, говорит тот;

Творец! Покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред тобою
Всегда творити научи,
И, на твою взирая тварь,
Хвалить тебя, бессмертный царь.

Тогда же Ломоносов начал другую работу — переложение псалмов. Поводом послужило общение с двумя собратьями-поэтами — Тредиаковским и Сумароковым. Исписавший в Германии поля «Нового и краткого способа…» оскорбительными ремарками, Ломоносов по приезде в Россию на какое-то время подружился с автором этой книги. Другом его стал и Сумароков, только созревавший как поэт. В 1743 году Тредиаковскому исполнилось сорок лет, Сумарокову — двадцать пять. Ломоносов был на восемь лет моложе первого и почти на столько же старше второго. Очень разным было их происхождение (столбовой дворянин Сумароков, попович Тредиаковский — и «плебей» Ломоносов), столь же разным — общественное положение. Сумароков, выйдя из корпуса, служил адъютантом у графа М. Г. Головкина (а потом — у самого Алексея Разумовского), Тредиаковский и Ломоносов состояли «при Академии». Но любовь к поэзии объединила их — увы, ненадолго. Сумароков, после смерти Ломоносова (которой предшествовали долгие годы вражды между поэтами), с ностальгией вспоминал годы, «когда мы были приятели и ежедневные собеседники и друг от друга принимали благие советы». Когда Ломоносов в 1743–1744 годах сидел под арестом, именно Сумароков и Тредиаковский навещали его чаще других.

Дружба не мешала профессиональным литературным и филологическим спорам. Один раз, желая подкрепить свои теоретические положения живым примером и на практике проверить справедливость своих утверждений, три поэта решили устроить своего рода соревнование: переложить стихами один из псалмов. Выбор пал на псалом 143, приписывающийся традицией царю Давиду.

В современном синодальном переводе его начало звучит так:

> [1] Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани,
>
> [2] милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит мой, — и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой.

Поэты предложили Академии наук напечатать все три переложения отдельным изданием. Им было предложено сделать это «на свой кошт». У Сумарокова деньги были, но как платилось жалованье в Академии наук в 1743 году, мы знаем. На помощь поэтам пришел известный меценат, друг Кантемира князь Никита Юрьевич Трубецкой. В начале 1744-го брошюра увидела свет. Имена всех трех авторов были объявлены публике, «но который из них какую оду сочинил, о том умалчивается: знающие их свойства и дух тотчас узнают сами, которая ода через которого сложена».

В предисловии, написанном Тредиаковским, суть разногласий описывается так: «Разговор их был некоторый род спора, в рассуждении так называемых двусложных стоп, хорея и иамба, которыми ныне составляются российские стихи.

Некоторый из них такое имел мнение, что стопа, называемая иамб, высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится снизу вверх, от чего всякому чувствительно слышна высокость ее и великолепие, и что, следовательно, каждый героический стих, которым обыкновенно высокая и благородная материя поется, долженствует состоять сею стопою; а хорей, с природы нежность и приятную сладость имеющий сам же собою, по его мнению, должен токмо составлять элегический род стихотворения и другие подобные, которые нежных и мягких требуют описаний…

Другой прекословил ему и предлагал, что никоторая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности; но все зависит токмо от изображений, которые стихотворец употребляет в своем сочинении».

Первым был Ломоносов, вторым — сам Тредиаковский. Сумароков поддержал Ломоносова, заявив, что «иамб, возвышая

свой голос, несколько гордости являет, а хорей, упадая, точно изображает любовническое воздыхание».

Когда-то Тредиаковский считал хореическую стопу более достойной, чем ямбическая. С тех пор прошло девять лет; правоту Ломоносова, который первым стал писать «чистые» ямбические и хореические стихи и притом поставил ямб как поэтический размер наравне с хореем, признали все его соперники. Но Тредиаковский не считал связь размера с содержанием и «тоном» стихотворения безусловной. Он полагал, что торжественные, одические стихи можно писать и хореем.

Вопрос этот не решен окончательно до сего времени. Современные исследователи чаще принимают сторону Тредиаковского. Считается, что существуют лишь исторически сложившиеся ассоциации, связанные с использованием той или иной вариации того или иного размера в данной национальной литературе. Но с другой стороны, разные типы ритма не могут одинаково воздействовать на психику человека. И, может быть, есть некая закономерность в том, что выбор Ломоносова, искавшего подходящую форму для торжественных славословий Богу, природе и государству, пал именно на ямб?

Во всяком случае, в соревновании с Тредиаковским и Сумароковым он одержал явную победу. Его переложение псалма 143 намного превосходило произведения его соперников лаконизмом, энергией, силой выражения.

Благословен Господь мой Бог,
Мою десницу укрепивый
И персты в брани научивый
Сотреть врагов взнесенный рог.

Заступник и хранитель мой,
Покров, и милость, и отрада,
Надежда в брани и ограда
Под власть мне дал народ святой…

Адъюнкт, сидящий под арестом за пьяную брань, запутавшийся в академических интригах и сварах, силой поэтического воображения отождествлял себя с самим царем-псалмопевцем Давидом. Ему уже кажется, что он в ответе за весь «в труд избранный народ», что от исхода его споров с профессорским собранием и Академической канцелярией зависит судьба страны и чуть ли не всего мира. Но он слаб, пленен и может только уповать на милость Всевышнего:

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.

Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою;
Скрывают в сердце злобный ков.

Приведем для сравнения начало сумароковской оды;

Благословен Творец вселенны,
Которым днесь я ополчен!
Се руки ныне вознесенны
И дух к победе устремлен;
Вся мысль к Тебе надежду правит;
Твоя рука меня прославит.

Защитник слабыя сей груди,
Невидимой своей рукой!
Тобой почтут мои мя люди
Подвержены под скипетр мой.
Правитель бесконечна века!
Кого Ты помнишь! человека.

А вот хорей Тредиаковского:

Крепкий, чудный, бесконечный,
Полный сил, преславный весь,
Боже! Ты един предвечный
Сый Господь вчера и днесь;
Непостижный, неизменный,
Совершенств пресовершенный,
Неприступно окружен
Сам величества лучами
И огньпальных слуг зарями
О! Будь ввек благословен.

Каждый поэт делает акцент на чем-то своем, и здесь отчетливо проявляется личность каждого. Особенно хорошо это видно в случае Тредиаковского и Ломоносова. В словах молодого

адъюнкта сквозят сила и властность. Напротив, бедный Василий Кириллович даже в образе царя Давида кажется безвольным и беззащитным:

Кто бы толь предивно руки
Без Тебя мне ополчил?
Кто бы пращу, а не луки
В брань направить научил?
Ей бы, меч извлек я тщетно,
Ни копьем сразил бы метно,
Буде б Ты мне не помог…

Таким образом, благодаря таланту Ломоносова ямб в качестве размера высокой одической поэзии окончательно победил хорей. У самого Ломоносова, по подсчетам стиховедов, 96 процентов поэтического наследия написано ямбом. Но и его оппонент Тредиаковский чем дальше, тем чаще обращался к этому размеру.

Трудно сказать, сам Ломоносов или кто-то из его соперников выбрал в данном случае для переложения именно 143-й псалом или выбор был сделан случайно — как открылась Псалтырь. Между тем смысл этого псалма в церковнославянском переводе — и у русских поэтов — оказывается искаженным. Псалмопевец призывал благоденствие на свой народ («Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом…»), а в переводе получалось, что он с завистью описывает благополучную жизнь «сынов иноплеменных». (В синодальном русском переводе, выполненном во второй половине XIX века группой ученых-гебраистов, эта ошибка исправлена.) Именно такие ошибки и неточности в конечном итоге остановили Ломоносова и не позволили ему создать собственную «Псалтирь Рифмотворную». Об этом он откровенно писал в 1749 году в Болдино старику Татищеву, вступившему в переписку с Академией наук и лично с Ломоносовым в связи с изданием своих исторических трудов: «Совет вашего превосходительства о преложении псалмов мне весьма приятен, и сам я давно к тому охоту имею, однако две вещи препятствуют. Первое — недосуга…; второе — опасение, ибо я не смею дать в преложении другого разума, нежели какой стихи в переводе имеют. Так, принявшись прелагать в стихи прекрасный псалом 103, для того покинул, что многие нашел в переводе погрешности, например: „Змий сей, его же создал ругатеси ему“, вместо „се кит, его же создал еси презирать оное“ (то есть море, его пространство)»[77].

Все же Ломоносов переложил восемь псалмов, и некоторые из

его переложений получили громкую славу — совсем не ту официальную, школьную славу, которую имели его придворные оды. Ломоносовские псалмы стали песнями, кантами, и бродячие слепые певцы пели их еще через полвека после смерти автора.

Особенно знаменит был 145-й псалом:

Хвалу Всевышнему Владыке
Потщися, дух мой, воссылать;
Я буду петь в гремящем лике
О нем, пока могу дыхать.

Никто не уповай вовеки
На тщетну власть царей земных:
Их те ж родили человеки,
И нет спасения от них…

В псалмах Ломоносов, пожалуй, трогательнее и лиричнее, чем в чем бы то ни было, написанном им. Здесь мы местами слышим голос не просвещенного деиста, не любознательного естествоиспытателя, не любующегося многообразием мира художника, а человека, в минуты слабости, в час поражения уповающего только на Бога:

Творящего на сильных нищу
По истине в обидах суд,
Дающего голодным пищу,
Когда они возопиют.

Ломоносов был силен и горд, но он знал, что такое нищета, голод, бесправие; все это он пережил. И потому для разговора о Боге и человеческой судьбе ему потребовалась не только «сила» ямба, но и «нежность» хорея:

Господи, кто обитает
В светлом доме выше звезд?
Кто собою населяет
Верьх священный горних мест?

Бог этих стихов — не абстрактный философский принцип и не равнодушный к человеку «Великий Художник». Это тот библейский «живой Бог», с которым возможен личный, даже интимный диалог… В мире, сотворенном таким Богом, есть место

и для жалоб — они не тщетны, и для радостного умиления — оно не бессмысленно и не постыдно.

Но все же ноты жалобы и умиления не могли быть для Ломоносова основными. И вероятно, только что процитированных знаменитых строк самому поэту был дороже «прекрасный псалом 103», в котором описываются разнообразие, крепость и красота Божьего творения. На середине псалма, когда дело дошло до «левиафана», Ломоносов, как мы уже видели, обнаружил несоответствие греческого и славянского текстов и остановился. Так на полпути закончился этот его труд — как и многие другие его работы.

К переложениям псалмов примыкает «Ода, выбранная из Иова». Сюжет библейской Книги Иова общеизвестен: праведник, чья душа стала предметом спора Бога и Дьявола, теряет все — семью, имущество, здоровье. Друзья убеждают его в априорной справедливости Творца; жена советует: «Похули Бога и умри». Но Иов не готов похулить Бога и не может согласиться со справедливостью его суда. Он вызывает Творца на разговор: «О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне…» И Бог отвечает Иову, но странен этот ответ. Как замечает С. С. Аверинцев, «обращенные к Иову вопросы направлены на то, чтобы насильственно расширить его кругозор и принудить его к экстатическому изумлению перед тайнами мира… Ни на один из своих вопросов Иов не получил ответа. Но в его душе наступает катарсис, не поддающийся рассудочному объяснению…». Не справедливость, а мощь, красота, разнообразие, слаженность, точность оправдывают творение и Творца. Именно эта идея близка Ломоносову.

Кто море удержал брегами
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами
Стремиться дале не велел?
Покрытую пучину мглою
Не Я ли сильною рукою
Открыл и разогнал туман
И с суши сдвигнул Океан?
<…>
Стремнинами путей ты разных
Прошел ли моря глубину?
И счел ли чуд многообразных
Стада, ходящие по дну?
Отверзлись ли перед тобою
Всегдашнею покрыты мглою

Со страхом смертные врата?
Ты сперл ли адовы уста?

Из огромного множества явлений, которые приводит Творец как доказательство своей правоты перед человеком, Ломоносову оказываются близки только картины яркие, мощные, поражающие воображение — Бегемот, Левиафан… Он опускает те лиричные места, которые как раз дороже всего современному читателю Библии: «Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы?.. Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?.. Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы при скалах, и замечал ли ты роды ланей?.. Они изгибаются, рождая детенышей своих, выбрасывая свои ноши…»

3

Еще находясь под арестом, Ломоносов написал учебник «Краткое руководство к риторике». По выходе на свободу он немедля представил его Академии наук.

Шумахер отдал работу Ломоносова на рецензию Миллеру. Последний отнюдь не был специалистом-филологом или оратором. К тому же у Ломоносова были основания считать его своим недругом. Отношения между Шумахером и профессором истории тоже начали портиться. Очевидно, что, поручая Миллеру оценку ломоносовской рукописи, хитроумный господин советник «подставлял» его: положительный отзыв означал бы несправедливость характеристики, данной Ломоносову в профессорских жалобах, отрицательный — воспринимался бы как проявление пристрастности.

Миллер сумел найти золотую середину. Он заметил, что труду Ломоносова «нельзя отказать в похвальном отзыве ввиду старательности автора, проявленной им в выборе и переводе на русский язык риторических правил древних, однако краткость руководства может вызвать подозрение, что в нем опущено многое, обычно включаемое в курсы риторики…». Историк предложил написать книгу не по-русски, а по-латыни (с русским переводом), и «дополнить ее, применяясь к вкусу нашего времени, материалом из современных риторов». Такая книга могла бы служить учебником для академической гимназии. «Ведь если пренебречь этой целью и напечатать книгу для людей, занимающихся риторикой вне Академии, то едва ли можно надеяться на достаточное количество покупателей…»

То есть, с одной стороны, работа Ломоносова браковалась, с другой — ему предлагалось создать ее расширенный вариант, который мог бы стать не просто еще одной книжкой, валяющейся в академической лавке, а учебником для гимназии. Ведь об этом, казалось бы, адъюнкт-бунтарь и хлопотал — об «обучении российского юношества»!

Профессора согласились с выводами Миллера. Согласился с ними, по крайней мере внешне, и Ломоносов. Не ко времени было опять вступать в спор с профессорским собранием.

Два года спустя, в 1747 году, он представил новый вариант своей книги. Теперь это был первый том большого труда «Краткое руководство к красноречию», содержащий учение о риторике и снабженный посвящением цесаревичу Петру Федоровичу. Почему именно ему? Престолонаследник был более чем равнодушен к риторике и вообще к гуманитарным наукам: он увлекался математикой, игрой на скрипке и военными экзерциями. Возможно, Ломоносов хотел представить свою работу при дворе через Штелина?

Как и первая работа, «Краткое руководство…» было написано только по-русски. Ломоносов резонно считал, что в еще одном латинском учебнике красноречия нет надобности. Вся соль заключалась в разработке русской терминологии и в создании на русском языке примеров «правильного» стиля.

На взгляд человека последних полутора веков, риторика и поэзия — две разные и даже враждебные стихии. Для людей XVIII века все выглядело иначе. Риторика, наука о словесном витийстве, равно лежит в основе «оратории» и поэзии: это было аксиомой и для Ломоносова, и для его европейских предшественников и современников.

Именно «оратории» и поэзии собирался Ломоносов посвятить две следующие книги своего фундаментального учебного труда и уже начал было работу над ними в 1750-е годы, но так и не нашел времени, чтобы дописать. Публичные речи Ломоносова построены во многом по тем же законам, что и его стихи; иногда в них совпадают даже отдельные образы. «Лирический беспорядок» ломоносовских од не должен вводить в заблуждение. Опытный поэт-ритор твердой рукой проводит нить своей мысли через лабиринт «прыгающих» описаний и развернутых, переходящих одна в другую метафор. Образы, фигуры речи — все так же может быть растолковано «по науке», так же подчиняется правилам, как стихосложение.

А «в сей науке предлагаются правила трех родов. Первые показывают, как изобретать оное, что о предложенной материи говорить должно; другие учат, как изобретенное украшать; третьи

наставляют, как оное располагать надлежит…». Сегодня это может показаться скучноватой схоластикой, и современному человеку трудно понять, почему, когда в июне 1748 года «Краткое руководство…» вышло в свет[78], эта книга стала бестселлером: до конца жизни Ломоносова она переиздавалась еще три раза и общий тираж ее составил 4 тысячи 200 экземпляров — цифра по тем временам огромная. Больших денег она, однако, автору не принесла: в качестве гонорара Ломоносов получил с первого издания 50 экземпляров своей книги. Книжных магазинов, кроме университетской лавки, почти не было, и потому возможностей продавать эти экземпляры у Ломоносова было немного.

Сегодня самое интересное в ломоносовской «Риторике» — его философские рассуждения о природе слов и стоящих за ними понятий. «…Не рассуждаем здесь, как еврейские учители, которые в книге, Зоар[79] называемой, словам без всякого основания приписывают некую потаенную силу, от звезд происходящую и действующую в земных существах…» По всей вероятности, о каббалистических учениях, которые здесь имеются в виду, Ломоносов знал лишь понаслышке (в Германии он мог общаться с адептами так называемой «христианской Каббалы», которых было немало среди лейбницианцев). Но дальше речь идет о спорах средневековых философских школ — номиналистов и реалистов (Ломоносов называет их «именники» и «вещественники»), которые были ему ближе. Рационалист, сын «века разума», естествоиспытатель-экспериментатор, Ломоносов склонялся к точке зрения номиналистов, полагая, что идеи — лишь отражение эмпирических явлений. «От идей, подлинные вещи или действия изображающих», происходят слова.

В основе всякого рассуждения лежит заданная тема. Простые идеи, из которых она состоит, называются терминами. Например, тема — «неусыпный труд препятства преодолевает» имеет в себе четыре термина: «неусыпность», «труд», «препятства» и «преодоление». От терминов происходят «первые идеи», а от них «вторичные». Например, термину «неусыпность» соответствуют такие первые идеи, как «надежда», «послушание», «богатство», «честь», «утро», «день», «ночь», «леность», «гульба», «сила». Первая идея «вечер» порождает вторичные идеи — «темнота, холод, роса, звери, из нор выходящие». Другими словами, речь идет попросту о поэтических ассоциациях, причем достаточно смелых и неожиданных.

Правда, Ломоносов оговаривается, что лучшие сочинители обладают особого рода «душевным дарованием» — «силой сообразования», способностью «с одной вещью, в уме представленной, купно воображать и другие, с ней сопряженные,

например: когда, представив корабль, с ним воображаем купно и море…». Но природное дарование «не всегда и не во всяком случае надежно», а потому необходимы правила.

В сущности, Ломоносов написал пособие, благодаря которому человек, не обладающий исключительными дарованиями, может попытаться стать писателем. Такие книги пользовались успехом в любые времена.

Формально следуя рекомендациям Миллера, Ломоносов включил в книгу примеры из двух современных ораторов, причем не самых крупных — француза Флешье и немца Мосгейма.

Из русских риторов, церковных и светских, — ни одного примера, даже из Прокоповича. В качестве примеров поэтической риторики служат стихи самого Ломоносова и античных классиков — Горация, Сафо, Вергилия, Цицерона, Гомера. Большие фрагменты «Илиады» и «Одиссеи», специально переведенные Ломоносовым для «Краткого руководства…», открывают историю стихотворных переводов Гомера в России.

Для этой же книги Ломоносов перевел одну из од Анакреона (об этом — чуть ниже) и «Памятник» Горация. Если его преемники на этом пути, Державин и Пушкин, использовали горацианскую форму, чтобы предъявить свои заслуги и заявить свои права на бессмертие, Ломоносов просто перевел римского лирика, вступая (как и в случае анакреонтики) в соревнование с покойным Кантемиром, чьи великолепные в своем роде переводы из Горация через три года после его смерти все еще лежали неизданными. Автор «Краткого руководства…» не отступал от оригинала. Но он не мог не отождествлять себя мысленно с тем, кому:

> …беззнатный род препятством не был,
> Чтоб внесть в Италию стихи эольски
> И первому звенеть Алцейской лирой.

Другая фундаментальная работа, «Российская грамматика», относится уже к следующему десятилетию. Здесь у Ломоносова не было предшественников, и огромную подготовительную работу пришлось проделывать самому. Лишь в 1754 году Ломоносов, активно побуждаемый к тому Шуваловым, готов был взяться за перо. 20 сентября следующего года он «поднес» свою завершенную рукопись годовалому Павлу Петровичу. На следующий день в академию поступило распоряжение графа Разумовского о печатании книги. Подготовка рукописи к печати шла, однако, медленно, поскольку Ломоносов без конца вносил исправления в уже беловой текст. Лишь в январе 1757 года книга

вышла в свет.

Ломоносов очень заботился об этом издании. Он лично давал указания касательно оформления книги. Фронтиспис должна была украшать следующая гравюра: «Представьте на возвышенном несколько ступеньками месте престол, на котором сидит Российский язык в лице мужеском, крепком, тучном, мужественном и притом приятном; увенчан лаврами, одет римским мирным одеянием. Левую руку положил на лежащую на столе растворенную книгу, в которой написано: Российская грамматика; другую простирает, указывая на упражняющихся в письме гениев, из которых один пишет сии слова: Российская история, другой: Разные сочинения. Подле сидящего Российского языка три нагие грации, схватись руками, ликуют, и из лежащего на столе подле Грамматики рога изобилия высыпают к гениям цветы, смешанные с антиками и легкими инструментами разных наук и художеств. Перед сим троном, на другой стороне, стоят в куче разные народы, Российской державе подданные, в своих платьях. Наверху, над всем ясно сияющее солнце, которое светлыми лучами и дышащими зефирами прогоняет туман от Российского языка. В середине солнца — литера Е под императорскою короною…» Эти указания исполнены точно за одним исключением: на троне восседает не «Российский язык в лице мужеском», а женщина, похожая на Елизавету Петровну. Академия решила подстраховаться (а то еще усмотрят намек на какого-нибудь возможного претендента на престол — скажем, Иоанна Антоновича)…

При жизни Ломоносова «Российская грамматика» имела меньший успех, чем «Краткое руководство к красноречию». К тому времени, когда она вышла, прежние литературные друзья Ломоносова уже стали его непримиримыми оппонентами и не упустили случая напасть на него. Позднее Ломоносов пережил немало огорчений, когда уже в екатерининское правление готовился немецкий перевод этого труда: издание сопровождалось разного рода интригами и длительными проволочками.

Между тем значение «Грамматики» огромно. Мы уже говорили о том, что для людей первой половины XVIII века русский и церковнославянский язык были еще слабо разделены. Не только лексика, но и грамматические формы этих языков существовали параллельно. К тому же на русский синтаксис оказывали влияние поверхностно усвоенные европейские языки.

«Грамматика» Смотрицкого относилась к церковнославянскому языку, но в чистом виде, как живой язык, тот уже не существовал. В газетах и официальных документах

писали, согласно велению Петра, «словами Посольского приказа», следуя за практикой каждодневной речи и не стесняя себя никакими правилами. Когда же литераторы той поры пытались излагать какую-нибудь историю или выражать свои мысли «красиво» — получалось примерно так: «На корабле прибываше по обыкновению матросскому зело нелестно и прочих всех матросов в науках пребываше. И всем персонам знатным во услужении полюбился, которого все любили и жаловали без меры. И слава об нем велика прошла за его науку и услугу, понеже он знал в науках матросских вельми остро: по морям, где острова и пучины морские, и мели, и быстрины, и ветры, и небесные планеты, и воздух» (анонимная «Гистория о российском матросе Василии Кориотском»). Новомодные иностранные слова причудливо смешивались со славянизмами. Героиня басни Сумарокова, которая сообщила знакомой, что «едет делать кур» (в смысле — едет лечиться, отправляется на курорт), ничем не отличалась от вполне реального князя Б. И. Куракина, дипломата петровской поры, который в своих мемуарах рассказывает о том, как он, будучи в Италии, «был инаморат в молодую читадинку» и «заказал на меморию ее персону» (то есть был «влюблен в горожанку» и «заказал на память ее портрет»).

Серьезные писатели находили свой путь среди этой лингвистической трясины. Так, Кантемир принципиально не пользовался церковнославянскими словами и грамматическими формами, которых нет в разговорной речи, и очень осторожно и экономно употреблял заимствованные слова. Благодаря природному языковому чутью ему удалось выработать очень живую, выразительную и пластичную поэтическую речь. Но для высокой, торжественной лирики этот слог годился плохо. Попович Тредиаковский, напротив, подчеркивал единство русского и церковнославянского языков и выступал за как можно более широкое использование славянизмов. Неудивительно, что споры между филологами на первый взгляд из-за мелких лингвистических проблем (например, дискуссия Ломоносова с Тредиаковским из-за окончаний прилагательных) приобретали такую страстность и напряженность! Писатели хотели понять, на каком, собственно, языке они пишут.

В «Российской грамматике» мы видим все три лица Ломоносова: он — въедливый и эрудированный аналитик; он — администратор, предписывающий родному языку законы; и он — поэт, предвидящий будущую силу и славу этого языка и громогласно ее прославляющий. Знаменитый период из предисловия к «Российской грамматике» — характерный пример ломоносовской высокой риторики. Но, пусть и не без «ипербол»,

Ломоносов выражает здесь свою искреннюю веру.

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятельми, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел в нем великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка… Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и предметы, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствует».

Ломоносов понимал, что он, в общем, не то чтобы выдает желаемое за действительное, но несколько забегает вперед. Те возможности, которые он видел в русском языке, еще предстояло реализовать. И он сам делал на этом пути важнейшие шаги — и своим творчеством, и своей теоретической работой.

Но самым значительным произведением Ломоносова-филолога стала короткая статья «Предисловие о пользе церковных книг в русском языке» (1758). Именно здесь он сформулировал тот языковой канон, который стал обязательным для российской словесности на тридцать с лишним лет — вплоть до Карамзина.

Появление этой статьи во многом связано с обстоятельствами, сложившимися в конце 1757 года вокруг Ломоносова. На него поступил донос членов Синода из-за «Гимна бороде»; автора вольнодумной песенки стали обвинять в безбожии, что в эпоху Елизаветы Петровны могло закончиться скверно. В этой обстановке для Ломоносова полезно было найти и подчеркнуть те нити, которые связывали его с церковной традицией. Одной из таких нитей был язык.

По мысли Ломоносова, величайшая заслуга православия в том, что «церковные книги переведены с греческого языка на славенский». Да, Ломоносов дипломатично дал понять, что переводы эти несовершенны (он убедился в этом, работая над переложениями псалмов). Но все равно — «польза наша весьма велика». «…Сначала переводившие с греческого языка книги на славенский не могли миновать и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств греческих, славенскому языку странных, однако оные через долготу времени слуху славенскому

перестали быть противны, но вошли в обычай».

Итак, благодаря переводам священных книг русский язык позаимствовал многие свойства у греческого. В то же время «поляки… отправляют службу по своему обряду на латинском языке… и потому ни из Греции, ни из Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковые в нашем языке от греческого приобретены». Немецкий язык, утверждает Ломоносов, обязан своим развитием Реформации. «…В католицких областях (Германии. — *В. Ш.),* где одну только латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не находим».

Тут Ломоносов переходит к главному — к «теории трех штилей». Вообще говоря, теория эта очень старая, восходящая к Аристотелю. Эстетика классицизма, в том виде как сформулировали ее Буало и его последователи, привязывала высокий, низкий и средний стиль к определенным жанрам. Высокими жанрами считались, прежде всего, эпопея и ода, к средним относились дружеское послание, сатира, эклога, элегия, «театральные сочинения», к низким — комедии, шуточные стихи, песенки, комические (бурлескные) поэмы.

Заслуга Ломоносова заключается в том, что он связал эти три «штиля» с употреблением русских и церковнославянских слов. Ломоносов делит все слова, которые могут употребляться в литературе, на три категории. К первой относятся слова, которые есть и в русском, и в церковнославянском («Бог», «слава», «рука», «ныне», «почитаю» и др.). Ко второй — церковнославянские слова, которые отсутствуют или малоупотребительны в русском, но понятны «всем грамотным людям» («отверзаю», «Господень», «насажденный», «взываю»). К третьей — русские слова, которых в церковнославянском языке нет («говорю», «ручей», «который», «пока», «лишь»).

В высоком штиле, объявил Ломоносов, могут употребляться слова только первого и второго рода, в среднем — в основном первого, с небольшими вкраплениями второго и третьего, в низком — только первого и третьего. Вовсе исключались из литературной речи, с одной стороны, слова «весьма обветшалые» («обаваю», «рясны», «овогда» и др.), с другой — «презренные», «низкие», «простонародные». Последние, впрочем, исключались лишь теоретически. Ломоносов допускает употребление их в низких жанрах «по рассмотрению». На практике и он, и его ученики, и его оппоненты порою смачно бранились даже в предназначенных для печати стихах.

Заметим, что речь идет не только о лексике, но и пришедших из церковнославянского языка причастных и деепричастных

оборотах, которые, полагал Ломоносов, могут употребляться лишь в произведениях «высокого штиля». Но — не об утраченных живым языком глагольных формах или не соответствующих разговорной практике окончаниях прилагательных, на чем настаивал Тредиаковский. Впрочем, для последнего, как мы уже отмечали, по-прежнему существовал единый «славенороссий» язык, а значит, допустимо было употребление любых, даже напрочь забытых и экзотических церковно-славянских форм рядом с простецкими современными словечками и разговорными оборотами. Именно в этом заключалось его главное разногласие с Ломоносовым, который призывал «соблюдать ровность слога» и «разбирать высокие слова от подлых». Сумароков же в зрелые годы вообще избегал славянизмов.

Ломоносов подчеркивал, что русский язык, благодаря своей связи с церковнославянским, обладает уникальным механизмом для «изображения идей важных и высоких». Впрочем, это еще не все преимущества, которые дали русскому языку церковные книги. «Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например, в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того же немецкого корня».

Русским дан великолепный язык, утверждает Ломоносов, и он обязывает к великим и славным трудам. Потому что «без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа… Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен голос писателей…».

Можно ли сказать, что человек, написавший эти слова, без должного почтения относился к словесному творчеству — своему и чужому?

4

Между тем отношения трех ведущих русских поэтов начали к концу 1740-х годов стремительно ухудшаться.

Сначала поссорились Сумароков и Тредиаковский.

Оба они ориентировались в своем творчестве на эстетику французского классицизма, на традиции Расина, Корнеля, Буало. Тредиаковский, учившийся в Париже и владевший французским

языком как родным, конечно же знал творчество этих писателей глубже. Сумароков прочитал Расина, вероятно, и «Поэтическое искусство» Никола Буало, будучи уже взрослым человеком. Но он быстро овладел тем легким и ясным слогом, которого требовал от стихотворца автор «Поэтического искусства» и который Василию Кирилловичу оставался недоступен. Видимо, ему хотелось подчеркнуть свое превосходство над умудренным летами и тоже «франкоориентированным» соперником.

Может быть, самолюбивого молодого дворянина обидели претензии, которые высказал Тредиаковский к его трагедиям. Как драматург Сумароков дебютировал в 1747 году. В его «aima mater» — Сухопутном шляхетном корпусе — была в эти годы любительская театральная труппа. Выпускник Корпуса, Сумароков решил дать юным «шляхтичам» русскоязычный репертуар, которого на тот момент практически не существовало.

Первыми трагедиями Сумарокова были «Хорев» и «Гамлет». Последняя представляла собой попытку изложения шекспировского сюжета в соответствии с драматургическим каноном Расина и Корнеля. Надо сказать, что Шекспира классицисты XVII–XVIII веков считали «дикарем», «чудовищем», очень талантливым, конечно, но лишенным вкуса и не знавшим правил. У Сумарокова убийца Гамлетова отца — не Клавдий, а Полоний, отец Офелии, что дает колебаниям принца рациональное объяснение. Все заканчивается хорошо: Гамлет восходит на престол и женится на любимой.

Но еще больший успех имел «Хорев». Имена некоторых героев этой пьесы заимствованы из древнейшей русской истории, но все события с начала до конца выдуманы Сумароковым. Хорев, брат киевского князя Кия, любит Оснельду, дочь его предшественника, свергнутого и изгнанного Завлоха. Тем временем Завлох стремится силой оружия вернуть престол. «Первый боярин» Кия, Сталверх, клевещет на Хорева, который якобы изменил брату из-за любви к дочери его врага… На сей раз героев ожидает трагический конец: Оснельду убивают, а Хорев закалывается. Вся эта сложная и трогательная история соответствовала скорее вкусам учеников Шляхетного корпуса и елизаветинских придворных (в начале 1750 года кадеты-актеры с успехом представляли «Хорева» в Зимнем дворце), чем строгим классицистским канонам. Профессор элоквенции Тредиаковский, которому трагедия была дана на отзыв, указывал Сумарокову на его «оплошности» — в частности на несоблюдение «трех единств» (места, времени и действия).

Так или иначе, именно Сумароков сделал первый выстрел в войне трех поэтов, продолжавшейся до конца их жизни. В 1748

году он написал освященным традицией французского классицизма александрийским стихом (шестистопный ямб с цезурой на третьей стопе) две «Эпистолы». Первая из них посвящена языку, вторая — «стихотворству» и представляет собой сокращенный пересказ «Поэтического искусства». Вслед за Буало Сумароков строго классифицирует роды и виды искусства, предписывает законы эпопее и оде, трагедии и комедии, басне и идиллии.

Знай в стихотворстве ты различие родов
И, что начнешь, ищи к тому пристойных слов,
Не раздражая муз худым своим успехом:
Слезами Талию, а Мельпомену смехом.

Восхищенно перечисляя французских классиков («Корнелий и Расин, Депро[80] и Молиер, де Лафонтен и где им следует Вольтер»), о своих русских предшественниках он поминает, мягко говоря, без пиетета.

Преславного Депро прекрасная сатира
Подвигла в Севере разумна Кантемира
Последовать ему и страсти охуждать;
Он знал, как о страстях разумно рассуждать,
Пермесских голос нимф был ввек его утеха,
Стремился на Парнас, но не было успеха.
Хоть упражнялся в том, доколе был он жив,
Однако был Пегас под ним всегда ленив.
Разумный Феофан, которого природа
Произвела красой славенского народа,
Что в красноречии касалось до него,
Достойного в стихах не создал ничего.

Единственный русский поэт, которого Сумароков чтит, — это Ломоносов:

Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен…[81]

Дальше шла оскорбительная строка:

А ты, Штивелиус, лишь только врать способен.

Имя «Штивелиус» заимствовано у датского писателя

Гольдберга, но адресат этой строчки очевиден. Речь идет о Тредиаковском. Обиженный Василий Кириллович, прочитавший эти стихи еще в рукописи, пожаловался похваленному Михайле Васильевичу. Тот ответил дипломатично и лукаво: «Что ж надлежит до стихов Александра Петровича, то не имея к себе прямо ордера, в Канцелярию репортовать не могу; но только на ваше письмо вам ответствую и думаю, что г. сочинителю сих эпистол можно посоветовать, чтоб он их изданием не поторопился, и что не сыщет ли он чего-нибудь сам, что б в рассуждении некоторых персон отменить несколько надо было бы». Когда же Сумароков изъял строки про Кантемира и Феофана, Ломоносов, которому «Эпистолы» на сей раз были официально присланы на отзыв Канцелярией, свидетельствовал (17 ноября 1748 года), что «в сих содержится много изрядных стихов, правдивые правила о стихотворстве в себе имеющих. Сатирические стихи, которые в них находятся, ни до чего важного не касаются, но только содержат в себе критику некоторых дурных писцов без их наименования». А поскольку такого рода сатира разрешена «у всех политических народов», в том числе и в России «сатиры князя Антиоха Дмитриевича Кантемира с общею апробациею приняты, хотя в них страсти всякого чина людей самым острым сатирическим жалом проницаются», — нет препятствий и к публикации сумароковских «Эпистол». Можно предположить, что этой ссылкой Ломоносов дистанцировался от сумароковской оценки князя-сатирика. Но то, что написал младший поэт о нем самом, было ему, без сомнения, приятно.

Зато как неприятно было Тредиаковскому! Тем более что Сумароков не унимался. В 1750 году он написал комедию «Тресотиниус». Легко узнаваемый герой этого незамысловатого произведения — «педант», который «знает по-сирски и по-халдейски» и ведет с другими педантами яростные споры о премуществах одноножного или треножного «твердо» (то есть буквы «т»; подобные споры о графике кириллических букв действительно шли между Тредиаковским и академическим переводчиком Кирьяком Кондратовичем). Тресотиниус влюблен в девушку Кларису, которая предпочитает ему молодого дворянина Доранта. Педант изливает свою любовь в стихах, написанных, как особо подчеркивает автор, «хореическими стопами». Стихи эти (которые по праву можно считать первой русской литературной пародией, не считая, разумеется, фрагмента «Слова о полку Игореве», где пародируются не дошедшие до нас песни Баяна) звучат так:

Красоту на вашу смутря, распалился я, ей-ей!

Изволь мя избавить ты от страсти тем моей!
Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег,
Мучишь ты меня, Климена, и стрелою сбила с ног.
<…>
Иль ты меня, спесиха слатенька, любезный свет,
Завсегда так презираешь, о! увы! моих злых бед!
Хоть, Климена из-под тиха покажи мне склонный вид!
И не делай больше сердцу преобидных ты обид.

Сумароков уже забыл, как сам в юности учился у «Тресотиниуса» и подражал его любовным «виршам».

Нашлось немало желающих раздуть конфликт. Так, Теплов в 1751 году попросил Тредиаковского высказать в письменном виде свое мнение обо всех сочинениях Сумарокова. Василий Кириллович оказался в затруднительном положении. Он должен был отстраненно разбирать в том числе произведения, в которых его осмеивали и оскорбляли, зная притом, что Сумароков и Теплов — друзья. И отказаться выполнять «дружескую просьбу» влиятельного человека он тоже не мог.

Напрочь лишенный чувства юмора, Тредиаковский не нашел правильной линии поведения и подставился самым досадным образом. Вот что пишет он про «Тресотиниуса»: «Каковаж, Государь мой, содержания та комедия? О! праведное солнце… Все в ней происходило так, что Сумбур шел из Сумбура, скоморошество из скоморошества, и, словом недостойная воспоминания негодность из негодности… Особливож Тресотиниусу, которым Автор разумел нашего общего друга, означая его только что неточным прозванием, такие даны были речи, что Скаррон[82], Французский Пиит, поистине не хотел бы быть для того кощунным Пиитом…» Дальше Тредиаковский вспоминает… «Облака» Аристофана, в которых высмеивается «пречесный в язычестве муж Сократ». Но «авторов Тресотиниус есть выше поруганием Облаков Аристофановых».

В общем, умный, тонкий и циничный Теплов получил немало веселых минут, читая эту отповедь нового Сократа. В остальной части письма, однако, есть немало серьезных и дельных критических замечаний. Но и тут Тредиаковский не удерживается от не самых достойных выпадов. Он обвиняет автора «Хорева», «Гамлета», двух од и двух эпистол не только в невежестве («не было еще в свете Пиита, кой бы столь мало знал первыя самыя начала, без которых всякое сочинение не может быть крайне порочно»), не только в несоблюдении трех единств и грамматических погрешностях, но и в нравственно-политической

неблагонадежности, причем на чрезвычайно шатком основании. Один из героев сумароковской трагедии говорит:

Обычай, ты всему устав на свете сем…

«Все сие ложь! — взвивается Тредиаковский. — Все сие нечестие! Сие есть точное учение Спинозино и Гоббезиево[83]; а сии люди давно уже оглашены справедливо Атеистами. Не обычай в свете сем устав всему; но есть право естественное, от Создателя вкорененное в естество».

К подобным приемам полемики Василию Кирилловичу доводилось прибегать и позже. В 1757 году он, к примеру, жаловался Разумовскому, что Сумароков пишет, а Миллер в «Ежемесячных сочинениях» печатает стихи в похвалу «первейшей из богинь бляди, имя которой Венера». Дело доходило и до прямых доносов в Синод, и до анонимных пасквилей. Травля, которой подвергали младшие современники этого заслуженного человека, и его общественное положение, куда более шаткое, чем у его противников, могут служить ему некоторым оправданием. Русская культура Нового времени постепенно накачивала мускулы, приобретала лоск и щеголеватость. К старомодным «педантам» из поповичей молодое поколение не испытывало никакой благодарности. А сами они постоять за себя не могли: не так воспитаны. Вот характерная сценка из академической жизни Тредиаковского в его собственном описании: «Г. Теплов, призванного меня в дом его графского сиятельства (Разумовского), не обличив и не доказав ничем, да и нечем пустым, ругал, как хотел, материл и грозил шпагою заколоть. Тщетная моя была тогда словесная жалоба: и как я на другой день принес письменное прошение его графскому сиятельству, то один из лакеев, увидев меня в прихожей, сказал мне, что меня пускать в камеры не велено. А понеже я с природы не имею нахальства, смею похвалиться, то, услышав такое запрещение от лакея, тотчас вон побежал, чтоб скорее уйти домой и с собой унесть свой стыд…» С 1740 года мало что изменилось… А ведь Василий Кириллович хотя бы был обладателем парижского диплома и личным дворянином. Судьба его оппонента (в вопросах грамматики) Кирьяка Кондратовича была еще более горестной. Выпускник Киево-Печерской академии, он сперва состоял при дворе Анны Иоанновны в шутовском звании «придворного философа» (и по совместительству гусляра), а по ее смерти был милостиво принят в академию переводчиком. Латинско-русский словарь, который он составил, приказано было (в 1750 году) редактировать Ломоносову, но последний под предлогом

занятости и нездоровья откровенно отлынивал от этой работы, а столкнувшись с беднягой Кондратовичем в доме московского архиерея, публично оскорбил его, назвав «дураком»[84]. В конце концов несчастный латинист, «впав в меланхолию», обрезал себе язык и был на три года посажен в дом умалишенных. Меланхолия Кирьяка со временем прошла, язык зажил, но Ломоносов, ставший к тому времени очень влиятельным человеком, продолжал беднягу третировать, а Сумароков однажды прилюдно побил. Кондратовичу в это время (в 1760 году) было уже под шестьдесят. Никакого другого орудия, кроме жалоб в государственные и церковные инстанции, у таких людей, как Тредиаковский и Кондратович, не было.

В споре Тредиаковского с Сумароковым Ломоносов сперва держал нейтралитет. Но это было чуждо его характеру и долго продолжаться не могло. Уже в начале 1750-х годов он ввязался в спор. В это время из-под его пера вышли стихотворения, в которых он вспоминал свои прежние научные разногласия с Тредиаковским. Первое стихотворение — «На сочетание стихов российских» — посвящено давним спорам о чередовании мужских и женских рифм. Споры эти давно минули, Тредиаковский признал правоту Ломоносова, но тому почему-то необходимо было обозначить свое торжество — ценою унижения противника. Для этого он перелицевал употребленный некогда Василием Кирилловичем образ «европской красавицы», которую венчают со столетним арапом:

Я мужа бодрого из давных лет имела,
Однако же вдовой без оного сидела.
Штивелий уверял, что муж мой худ и слаб,
Бессилен, подл, и стар, и дряхлой был арап;
Сказал, что у меня кривясь трясутся ноги
И нет мне никакой к супружеству дороги.
Я думала сама, что вправду такова,
Не годна никуда, увечная вдова.
Однако ныне вся уверена Россия,
Что я красавица, Российска поэзия,
Что мой законный муж завидный молодец,
Кто сделал моему несчастию конец.

До поры до времени Ломоносов, видимо, оставил этот выпад у себя в столе и не пустил его по рукам. Второе стихотворение, написанное в ноябре 1753 года, посвящено полемике из-за окончаний прилагательных. Это стихотворение Ломоносова и ответное послание Тредиаковского — замечательный пример

того, как чисто научная дискуссия между специалистами может переходить в бытовую брань.

Вот Ломоносов:

> Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
> Дабы на букве А всех доле остояться;
> На Е, на О притом умеренность иметь;
> Чрез У и через И с поспешностью лететь:
> Чтоб оным нежному была приятность слуху,
> А сими не принесть несносной скуки уху.
> Великая Москва в языке толь нежна,
> Что А произносить за О велит она.
> В музыке что распев, то над словами сила;
> Природа нас блюсти закон сей научила.
> Без силы береги, но с силой берега,
> И снега без нее мы говорим снега.
> Довольно кажут нам толь ясные доводы,
> Что ищет наш язык везде от И свободы.
> Или уж стало иль; коли уж стало коль;
> Изволи ныне все везде твердят изволь.
> За спиши спишь, и спать мы говорим за спати.
> На что же, Трисотин, к нам тянешь И некстати?
> Напрасно злобной сей ты предприял совет,
> Чтоб, льстя тебе, когда российской принял свет
> Свиныи визги вси и дикии и алый
> И истинныи ти, и лживы и кривым.
> Языка нашего небесна красота
> Не будет никогда попранна от скота.
> От яду твоего он сам себя избавит
> И вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит
> Скончать твой скверной визг стонанием совы,
> Негодным в русской стих и пропастным увы!

Строки про «сову» были особенно обидными: именно так («совой») звали Тредиаковского за его большие круглые глаза, которые хорошо видны на портретах. Над Сумароковым же смеялись из-за его огненно-рыжих волос, которые, впрочем, чаще всего, по моде того времени, скрывал пудреный парик, и из-за картавости.

Ломоносов употребил здесь прозвище «Трисотин» от данного Тредиаковскому Сумароковым «Тресотиниуса». Поэтому Василий Кириллович (все еще не считавший Ломоносова своим врагом) решил, что анонимное стихотворение принадлежит тому же перу, что и пасквильная комедия. В длинном ответном послании он

яростно обличает «рыжую тварь»:

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный…
…Не лоб там, а чело; не щеки, но ланиты;
Не губы и не рот, уста там багряниты;
Не нынь там и не вал, но ныне и волна,
Священна книга вся сих нежностей полна.
Но где ему то знать? Он только что зевает,
Святых он книг, отнюдь, как видно, не читает.
За образец ему в письме пирожный ряд,
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что писать слывет у нас иное,
А просто говорить по-дружески — другое…
…У немцев то не так, и у французов тож:
Им нравен тот язык, что с общим самым схож,
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский.

Тредиаковский переводит разговор с грамматических частностей на принципиальные вещи, утверждая свою концепцию поэтического языка, чуждую и Ломоносову, и Сумарокову. Однако удержаться на этой высоте он не может и сразу же переходит к выяснению личных отношений и к затейливой брани:

Ты ж, ядовитый змий, или, как любишь, змей,
Когда меня язвить престанешь ты, злодей!..
…Поверь мне, крокодил, поверь, клянусь я Богом!
Что знание твое все в роде есть убогом.

Завершает Тредиаковский свое послание так:

Когда по-твоему сова и скот уж я,
То сам ты нетопырь и подлинно свинья.

Если Ломоносов так полемизировал с Тредиаковским и если последний даже путал его с Сумароковым, значит ли это, что «наших дней Мальгерб» и автор «Эпистолы» по-прежнему были союзниками?

Нет, уже не были. Как раз осенью 1753 года произошли события, навсегда положившие конец дружбе между Ломоносовым и Сумароковым. Но литературная война

Ломоносова и Сумарокова — это уже нечто большее, чем словесная дуэль двух поэтов. За каждым из них к середине 1750-х годов уже стояла собственная школа, верная гвардия учеников и приверженцев. Кроме того, оба поэта были к тому времени вхожи в круги, определявшие государственную политику. И их спор был, прямо или косвенно, связан не только с борьбой литературных направлений, но и с социально-политической историей России.

Потому, прежде чем переходить к дальнейшим литературно-батальным зарисовкам, — необходимо описать «диспозицию».

5

Первые подражатели у Ломоносова появились уже в середине 1740-х годов. Одним из них был Иван Голеневский (1723–1786), который в ранней юности стал певчим придворного хора и прослужил в этом качестве больше четверти века. В 1769 году уже немолодому певчему, по его просьбе, был дан первый классный чин (коллежского регистратора) и разрешено было определиться на гражданскую службу; в конце жизни он был судьей по мелким делам в Москве. Голеневский как поэт дебютировал, воспев (параллельно с Ломоносовым и в его стиле) свадьбу Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Своего голоса у него не было, но стихотворческой культурой он превосходил большинство современников. Однако почему-то он не пользовался успехом: может быть, из-за своего непочетного общественного положения.

Но большинство поэтов ломоносовской школы составили студенты первого выпуска Академического университета, который в 1748 году все же начал работать не только на бумаге. Поскольку гимназия по-прежнему никого пригодного для дальнейшего обучения дать не могла, тридцать абитуриентов были, по уже сложившейся традиции, набраны в Славяно-греко-латинской академии и в двух семинариях (Новгородской и Санкт-Петербургской, существовавшей при Александро-Невской лавре). Ломоносов был одним из инициаторов возобновления университетских занятий, но отбором студентов ведал Тредиаковский, а ректором был назначен другой ломоносовский соперник — Миллер[85]. В обязанности Ломоносова в основном входило обучение студентов химии. Но некоторые из них стали его учениками и в стихотворчестве.

Первым следует назвать Николая Никитича Поповского (1730–1760). Сын священника из храма Василия Блаженного, он начал свое образование в Спасских школах и успел добраться до «философии». Прибыв в Петербург, юный Поповский в скором времени зарекомендовал себя лучшим образом, проявив особую склонность к гуманитарным наукам[86] и к стихотворчеству. Зимой 1751 года он написал эклогу, которая вызвала восторг Ломоносова. Сохранилось лишь ее начало:

> Яривщийся Борей раскрыл свой буйный зев,
> И дхнул он хладностию те места прекрасны,
> Где Флора, истощив свои труды ужасны,

Пустила по лугам гулять прелестных дев.

Угрюмы облака и тучи вознеслись,
Покрылися поля зеленые снегами
С растущими на них различными цветами,
И белизною все с уныньем облеклись.

Пустился с востока лед по невским быстринам,
Спиралися бугры, вода под ним кипела
И, с треском несшися в морской залив, шумела,
Крутятся все струи крестами по холмам.

Замечательно, как условный пейзаж двух первых строф (эту условность, однако, русская литература лишь начала осваивать) сменяется в третьей строфе пластически точной и выразительной картиной осеннего наводнения на Неве. Разумеется, дальше, как и положено в эклоге, речь шла о страданиях пастушка Тирса, разлученного с прекрасной Клариссой.

В июне 1751 года Поповский вновь держал экзамен. Его знания «в словесных и философских науках» и стихи на русском и латинском языках получили высокую оценку, и ему предложено было продолжать обучение, «чтобы со временем быть стихотворцем или оратором Академии». С этих пор Ломоносов занимался с ним индивидуально. В феврале 1753 года он ходатайствовал о том, чтобы Поповского «отличить от прочих студентов чином и жалованием и отделить квартирою от их общежития, чтобы он, с хорошими людьми общаясь, привык к пристойному обхождению, ибо между студентами, которые пристойного воспитания не имели и для своей давней фамилиарности не без грубостей поступают, учтивых поступков научиться нельзя». Видимо, была и другая причина, чтобы хлопотать об отдельном жилье для Поповского: он, говоря попросту, «стучал» на товарищей по общежитию начальству, и товарищи относились к нему соответственно.

Еще будучи студентом, Поповский изучил непопулярный в то время английский язык и перевел с него знаменитую поэму Александра Попа (что должно было дать повод для каламбуров) «О назначении человека». Постепенно Ломоносов перепоручил Поповскому опостылевшую ему работу вроде перевода стихов к иллюминациям и фейерверкам. По окончании курса Поповского назначили «конректором» Академической гимназии (ректором был Никита Попов). Вскоре, с основанием Московского университета, для него открылись широкие перспективы. Сын

священника церкви Василия Блаженного вернулся в Первопрестольную, где сперва возглавлял университетскую гимназию, а в 26-летнем возрасте получил звание профессора элоквенции. Кроме чтения лекций, он писал оды, переводил стихи Горация и педагогические труды Локка… Его помнили и спустя полвека после смерти; но сейчас его имя известно лишь специалистам.

Зато имя другого ломоносовского ученика, Ивана Семеновича Баркова, знакомо всем мало-мальски просвещенным россиянам. Под этим именем два с лишним столетия ходили рукописные сочинения, к которым сам Иван Семенович, по большей части, не имел ни малейшего отношения. Начало биографии Баркова было таким же, как и у Поповского: сын священника, семинарист (в Петербурге), потом студент (шестнадцатилетний Барков был болен, когда экзаменовали учеников лаврской семинарии; поправившись, он лично явился к Ломоносову и попросил испытать его). Но если Поповский в юности был отличником-карьеристом, а позднее стал образцом респектабельного молодого ученого, то его товарищ с самого начала свернул в другую сторону.

Сперва он выделялся среди студентов только вспыльчивым и строптивым нравом. Наказанный вместе с другими студентами за мелкую провинность, он врывался домой к ректору Крашенинникову, кричал на него, требуя справедливости, хлопал дверью. Когда-то и юный Ломоносов вел себя так же… Но уже 1 апреля 1751 года с Барковым произошла первая большая неприятность. В пьяном виде его «взяли под караул», и он не нашел ничего лучше, как крикнуть «слово и дело». Человека, произнесшего эти сакраментальные слова, вели, как известно, не на съезжую, а в Тайную канцелярию. Там студента-гуляку продержали две недели, после чего, выяснив, что никаких государственных тайн он не знает, выпустили. Грозный аттестат предупреждал Баркова, что «ежели впредь он явится в пьянстве или худых каких поступках, тогда жестоко наказан и отослан будет в матросскую службу навечно». Но Барков не исправился и в мае того же года был исключен из числа студентов и назначен наборщиком Академической типографии. Правда, ему, как способному юноше, разрешено было посещать лекции, а в типографии работать только во внеучебные часы.

Затем он был определен в копиисты Академической канцелярии. В этом качестве он состоял при Ломоносове, переписывал его труды, в то же время обучаясь словесным наукам. Лишь в тридцать лет, после того как его ода Петру III имела успех при дворе, Барков был повышен до переводчика. В

указе графа Разумовского было отмечено, что он «оказал изрядные опыты своего знания… и при том обещался и в поступках себя совершенно исправить». Барков был в самом деле весьма образованным человеком и плодотворно работал в академии. Он очень качественно (по критериям той эпохи) переводил сатиры Горация и басни Федра, редактировал первое издание стихов Кантемира, восемнадцать лет пролежавших под спудом, когда Тауберт по каким-то своим причинам решил их наконец предать тиснению. Он составлял учебники по истории, готовил к печати летопись Нестора. Но «в поступках» он ничуть не изменился; должно быть, его пьяные выходки досаждали многим, и лишь покровительство Ломоносова заставляло терпеть их. Когда же Ломоносов умер, Барков в 1766 году был изгнан со службы. Можно лишь гадать, чем жил этот «проклятый поэт» XVIII века, кабацкий завсегдатай, в последние два года. В 1768 году он скончался, как утверждают — покончил с собой, оставив записку: «Жил грешно, а умер смешно».

Славу Баркову принесли «срамные» стихи, вошедшие в рукописный сборник «Девичья игрушка». Сам Иван Барков был составителем этой книги, в которую вошли как его собственные стихотворения, так и неудобные к печати произведения поэтов его кружка, например Андрея Нартова-младшего (сына механика и советника Академии наук), и даже шаловливые опусы некоторых важных персон, например статс-секретаря Адама Олсуфьева. Это не «порнография» и уж тем более не «эротика». Большая часть «Девичьей игрушки» — образец чисто филологического юмора. Пародийная перелицовка высоких жанров, которая вполне допускалась классицистской эстетикой, здесь доведена до крайнего предела. В ход идут чуть ли не все формы поэзии XVIII века. Тут и торжественная ода, и трагедия, и басня, и даже рондо. Темой каждого из этих произведений у Баркова чаще всего становится… скажем так — физическая любовь в ее самых простодушных и элементарных формах. Никаких эвфемизмов, все называется собственными именами. Обсценная лексика в этом вывернутом наизнанку мире занимает место торжественных славянизмов и забавно контрастирует с одической патетикой. Трагические герои расиновским александрином и с соответствующим пафосом обсуждают вопросы, которые в наши дни стали темой специальных сексологических пособий. Постепенно этот мир приобретает вполне сюрреалистический характер. Вместо мужчин и женщин в нем действуют ожившие гениталии… Читать Баркова очень смешно, но в его пафосе есть какое-то заражающее и пугающее разрушительное начало. «Тряхнем сыру землю с горами, тряхнем

сине море…» В некоторых стихотворениях возникают образы того мира, в котором проходила жизнь люмпен-пролетария умственного труда. Кабаки, где «дружатся, бьются, пьют, поют», «врут про Фому и про Емелю» мелкие подьячие, где дерутся на кулачках «фабричны храбрые бойцы»…

Человек социального дна, изгой, Барков был притом полон достоинства, насмешлив, самоуверен и дерзок. Пушкин сохранил в своем «Table-talk» несколько анекдотцев о его стычках с Сумароковым:

«Никто не умел так сердить Сумарокова, как Барков. Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда требовал его мнения касательно своих сочинений. Барков, который обычно его не баловал, пришел однажды к Сумарокову: „Сумароков великий человек! Сумароков первый русский стихотворец“. Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал он ему: „Александр Петрович, я тебе солгал: первый русский стихотворец — я, второй Ломоносов, а ты только что третий“. Сумароков чуть его не зарезал».

«Барков заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков заперся в своем кабинете, оставя Баркова в гостиной. Через четверть часа входит Сумароков с готовой одою и не застает уже Баркова. Люди докладывают, что он-де ушел и приказал сказать Александру Петровичу, что-де его дело в шляпе. Сумароков догадывается, что тут какая-то проказа. В самом деле, видит он на полу свою шляпу, и…»

Еще один университетский студент, Адриан Дубровский, автор поэмы «На ослепление страстями», которую некоторые литературоведы приписывали даже самому Ломоносову, и переводчик «Заиры» Вольтера, видимо, закончил свои дни, служа в мелкой должности при русском посольстве в Гааге.

Окружение Сумарокова составляли молодые люди совсем иного рода — выпускники Шляхетного корпуса, участники любительских спектаклей и сочинители песенок. И по общей образованности, и по поэтической культуре всем им было далеко до ломоносовских студентов. Зато это были светские люди, «петиметры», обладатели изящных манер. На это был все больший спрос. Среди этих молодых людей были Иван Шишкин, Павел Свистунов, Иван Елагин, Никита Бекетов. Теплов, вместе с Сумароковым, опекал этих начинающих поэтов-дворян, сочиняя музыку к их песенкам. Позднее, в 1759 году, он издал эти песенки в виде книги с непритязательным названием «Между делом безделье».

Борьба двух формирующихся поэтических школ с самого

начала оказалась тесно связана с большой политикой. Дело в том, что еще в конце 1749-го или начале 1750 года профессор Ломоносов познакомился с неким юношей из хорошей семьи. Молодой человек захотел показать маститому мэтру свои стихотворческие опыты и взять у него несколько уроков поэтического искусства. Во всем этом не было бы ничего необычного, если бы этот молодой человек, Иван Иванович Шувалов, несколькими месяцами раньше не стал фаворитом императрицы.

Род Шуваловых был известен с XVI века. В петровское время служили государю два брата-тезки Иваны Максимовичи Шуваловы. Старший Иван Максимович был комендантом Выборга и при заключении Ништадтского мира участвовал в демаркации границы; младший, обычный гвардейский офицер, следа в истории не оставил. Два сына старшего Ивана Максимовича, Александр Иванович (1710–1771) и Петр Иванович (1711–1762), начинали службу при дворе камер-пажами в конце правления Петра I и при Екатерине I. Потом они долгие годы состояли при Елизавете Петровне. По воцарении же Елизаветы, коему Шуваловы активнейшим образом способствовали, на них стали как из рога изобилия сыпаться милости. Оба брата стали поручиками лейб-кампании (что соответствовало чину генерал-майора) и камергерами; пять лет спустя оба они были возведены в графское достоинство и в чин генерал-адъютанта. К этому стоит добавить многочисленные земельные владения в Лифляндии и все высшие ордена России. Петр Иванович, человек с коммерческой жилкой, выпросил себе монопольное право экспорта леса, сала, тюленьего жира, арендовал казенные металлургические заводы (а уральское железо высоко ценилось на мировом рынке), организовывал самые разные частно-казенные компании, от табачных до рыболовных, в которых имел свою долю. Свое положение он укрепил, женившись в 1742 году на фрейлине Мавре Егоровне Шепелевой — многолетней ближайшей подруге Елизаветы, женщине далеко не юной и не слишком привлекательной, но умной, цепкой и по-своему даровитой (в молодые годы она не чуждалась, между прочим, и литературного творчества).

Но Шуваловым хотелось не только денег: они мечтали о власти. Вскоре они ее получили. В 1747 году умер Андрей Ушаков, престарелый начальник зловещей Тайной канцелярии. Александр Шувалов был назначен на его место. В то время как старший брат возглавил «спецслужбы», Петр Иванович в чине конференц-министра и генерал-фельдцейхмейстера курировал армию, экономику и финансы. В его ведении находилась

Артиллерийская канцелярия. Талантливый изобретатель, Петр Шувалов предложил два новых типа орудий — так называемые «единороги» и «секретные гаубицы», которыми была перевооружена русская артиллерия. В Семилетней войне, пришедшейся на последние годы правления Елизаветы, они показали себя наилучшим образом. Ломоносов воспел их в послании к «его сиятельству генерал-фельдцейхмейстеру»:

> Нам слава, страх врагам в полках твои огни;
> Как прежде, так и впредь: пали, рази, гони…
> …С Елисаветой Бог и храбрость генералов,
> Российски грудь, твои орудия, Шувалов.

Не меньшую пользу России принес принятый по настоянию Шувалова закон об уничтожении внутренних таможен (1753), хотя недруги и утверждали, что конференц-министром, изобретателем и в то же время крупнейшим промышленником двигали в данном случае личные интересы. Чтобы компенсировать потери казны, пришлось чеканить неполновесную монету, что привело, естественно, к росту цен, — но в общем экономика России в шуваловское время скорее процветала, промышленность и торговля росли и, несмотря на огромные затраты двора, государству удавалось не залезать в долги.

Положение Шуваловых вызывало у многих зависть, а разнообразная деятельность Петра Ивановича временами доводила недоброжелателей до бешенства. Необходимо было закрепиться при дворе. И тут кстати оказался юный Иван Шувалов, сын Ивана Максимовича-младшего. Иван Иванович (родившийся в 1727 году) состоял, по милости влиятельных двоюродных братьев, камер-пажом при цесаревне Екатерине Алексеевне. Екатерина впоследствии вспоминала, что «вечно его находила в передней с книгой в руке… этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться… он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава». Петр Иванович и Мавра Егоровна знали, что сорокалетней Елизавете наскучил ее ровесник, граф Разумовский. Молодая сила, красота и свежесть, которым бывший певчий был обязан браком с императрицей, ушли, а других достоинств у Алексея Разумовского не было. Шуваловы позаботились о том, чтобы их юный родич попался на глаза государыне во время паломничества в Троице-Сергиеву лавру. Видимо, благочестивую, но любострастную Елизавету легко было и в такие минуты привлечь совсем не

душеспасительными забавами. 14 сентября 1749 года Иван Шувалов был назначен камер-юнкером императрицы. Это означало «официальный» фавор.

(Кстати, Ломоносову возвышение Шувалова в первый момент принесло одни лишь неприятности. Дело в том, что Михайло Васильевич отвечал за редактирование русских переводов статей для «Санкт-Петербургских ведомостей». В сентябре 1749 года всем, причастным к выходу газеты, был объявлен выговор за то, что, сообщая о производстве в камер-юнкеры Ивана Шувалова, они не указали его отчества. Отчества новоявленного фаворита просто еще никто не знал!)

Шуваловы торжествовали. «Бедный родственник», покорно выполняя волю своих влиятельных кузенов, стал любовником императрицы. Положение Шуваловых упрочилось еще больше. Разумовские, однако, нашли способ помешать счастью своих соперников: зимой 1750/51 года внимание Елизаветы привлек двадцатилетний Никита Афанасьевич Бекетов, недавний выпускник Шляхетного корпуса. Иван Шувалов на некоторое время отошел от двора. Как полагают, «Зима» Поповского представляет собой именно аллегорический отзыв на его опалу; во всяком случае, Ломоносов послал ее Шувалову в мае с письмом, содержащим прозрачную аллегорию: «Дай Боже, чтобы прежестокая минувшей зимы стужа и тяжелой продолжительной весны холод награжден был вам прекрасного лета приятной теплотою…» В самом деле, звезда Бекетова скоро закатилась. Коварный Петр Иванович Шувалов присоветовал юному щеголю крем для сохранения кожи, от которого у того выступили угри. По другим сведениям, Бекетова подвели его занятия поэзией. Никита Афанасьевич и его друг Иван Елагин разучивали свои свежесочиненные песенки с малолетними певчими придворного хора. Мавра Егоровна оговорила Бекетова перед императрицей, «дав дурное толкование» его дружбе с красивыми мальчиками. Иван Шувалов вернулся ко двору и до конца жизни Елизаветы был с ней неразлучен.

Так тихий юноша-книгочей стал всемогущим фаворитом. Больше, чем фаворитом: он был ближайшим помощником Елизаветы, представлял ее в Сенате, участвовал в решении важнейших государственных вопросов, особенно внешнеполитических. Он не занимал никаких официальных постов, демонстративно отказывался от них, утверждая, что «рожден без самолюбия безмерного, без желания честей и знатности», довольствовался чином генерал-поручика и придворным званием обер-камергера; но слово «Камергер» в последние годы жизни Елизаветы стало именем собственным: и

высшие чиновники, иностранные послы хорошо понимали, о каком именно камергере идет речь, и для них не было секретом, насколько влиятелен этот мягкий и учтивый человек. Бывало, что больная императрица неделями не желала видеть никого, кроме Ивана Шувалова.

Наконец, он самостоятельно возложил на себя функции «министра просвещения» и за десять лет сделал (при участии и иногда по проектам Ломоносова) для образования и культуры в России больше, чем кто бы то ни был после Петра и до Екатерины. В сущности, он делал то, чем должен был заниматься, но не занимался Кирилл Разумовский. При этом он был (в отличие от своих двоюродных братьев) подчеркнуто бескорыстен. Впрочем, семейные доходы и подарки императрицы и так позволяли ему жить на самую широкую ногу.

Шувалов старательно учился у Ломоносова — собственноручно полностью законспектировал его «Риторику»! — но писать стихи так и не выучился. Он был начисто лишен не только таланта, но даже версификационных способностей. Вот самый известный образец его стихотворных опытов — стихи на собственный день рождения:

О, Боже мой, Господь, создатель всего света,
Сей день Твоею волею я стал быть человек.
Если жизнь моя полезна, продли ты мои лета,
Если ж та идет превратно, сократи скорей мой век…

Вирши нескладные, но чувства достойные и трогательные.

При чтении писем Ломоносова Ивану Шувалову невольно обращаешь внимание на гипертрофированную почтительность, с которой знаменитый ученый и писатель, зрелый человек обращается к «его превосходительству», к своему «патрону» — двадцатилетнему с небольшим человеку, еще без всяких заслуг. «Нет ни единого дня, в который я бы не поминал о вашей ко мне милости и ей бы не радовался». Уже Пушкину приходилось объяснять подобное поведение Ломоносова. Его слова стоит процитировать: «Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию или панибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равным). Но зато он мог за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда речь шла о торжестве его любимых идей». К этому можно добавить, что Вольтер и французский философ-просветитель Гельвеций, лично от Шувалова никак не

зависевшие, в своих письмах расточали ему не меньшие любезности, чем Ломоносов.

Пушкин ошибся лишь в том, что касается чина Михайлы Васильевича. Как профессор, он был приравнен к чиновникам всего лишь девятого класса — в котором состоял, кстати, и титулярный советник Пушкин; в 1751 году по ходатайству Шувалова он получил звание коллежского советника. Это был прыжок через два чина: теперь Ломоносов был почти в одном ранге с Шумахером, о чем не забывал последнему напомнить; и, что важнее всего, новый чин давал право на потомственное дворянство[87]. Годом раньше Михаила Васильевич был удостоен личной аудиенции у Елизаветы Петровны в Царском Селе — аудиенции, вдохновившей его на одну из лучших его од… Ломоносов дорожил и своим новым статусом, и возможностью бывать при дворе. Получая, как и другие профессора академии, приглашения на приемы, балы, машкерады, он (в отличие от многих своих коллег) не отвечал вежливым отказом, а являлся непременно с супругой. Наконец, 1 марта 1757 года Ломоносов стал советником Академической канцелярии. Отныне ничто в академии не решалось без его участия. Другими словами, за десять лет общественное положение Ломоносова выросло неизмеримо. В немалой степени он был обязан этим своему молодому меценату.

Внимательно вчитавшись в ломоносовские письма Шувалову, замечаешь, однако, что «нижайшие просьбы» ученого частенько звучат как инструкции. При всей своей резкости, Ломоносов, когда хотел, мог великолепно соблюдать внешний ритуал общения — но так, чтобы он оставался только ритуалом. «Предстатель муз» на деле был зачастую (по крайней мере, на первых порах) лишь исполнителем предначертаний своего почтительного и учтивого учителя. Последний же, и общаясь с вельможами, знал себе цену и при случае мог вежливо, но решительно одернуть «патрона». Да Шувалов и сам был слишком умен и благовоспитан, чтобы обходиться с прославленным ученым свысока… Ломоносовым он искренне восхищался и, судя по всему, вполне отдавал себе отчет в том, кем бы он мог стать, если бы не ломоносовские уроки, идеи и прожекты: просто хорошеньким наложником стареющей государыни, игрушкой в руках честолюбивых родственников. Ломоносов был почтителен в письмах — но вот как писал сам Шувалов Ломоносову: «Усердие больше мне молчать не позволило и принудило вас просить, дабы для пользы и славы Отечества в сем похвальном деле[88] обще потрудиться соизволили и чтоб по сердечной моей охоте и любви к российскому слову был рассуждениям вашим сопричастен, не

столько вспоможением в труде вашем, сколько прилежным вниманием и истинным доброжелательством. Благодарствую за вашу ко мне склонность, что не отреклись для произведения сего дела ко мне собраться…» Это что угодно, но не обращение высокомерного вельможи к покровительствуемому им образованному плебею.

Ломоносов и Шувалов сделали сообща немало. Но нет оснований сомневаться, что двух таких разных людей связывали не только общие дела, но и искренняя взаимная привязанность. Некоторые важные подробности детства и юности Ломоносова известны нам из писем «его превосходительству» Ивану Шувалову. А непринужденные и даже грубоватые шутки, которые Ломоносов временами, вдруг забывая все церемонии, отпускает в этих письмах, могли быть допустимы лишь в общении между друзьями.

У Шуваловых было много недоброжелателей: и Разумовские, и канцлер Бестужев-Рюмин, и генерал-прокурор князь Яков Шаховской, и двор цесаревича Петра Федоровича и цесаревны Екатерины Алексеевны (в это время не любящие друг друга и неверные друг другу супруги еще были политическими единомышленниками)… Союзниками же их были графы Воронцовы: Михаил Ларионович (1714–1767), с 1744-го вице-канцлер, сменивший в 1758 году Бестужева в качестве канцлера, и его старший брат Роман. Граф Михаил Воронцов был вторым, наряду с Шуваловым, «патроном» Ломоносова (хронологически — первым: его общение с ученым началось еще в середине 1740-х годов; ему был посвящен перевод «Вольфианской физики»). Муж Анны Карловны, урожденной Скавронской, двоюродной сестры Елизаветы, участник дворцового переворота 1741 года, он считался весьма влиятельным при дворе человеком.

Речь шла не просто о борьбе придворных группировок. Шуваловы (особенно Петр Иванович) были сторонниками промышленного развития страны — того не имеющего аналогов государственного индустриального феодализма, который начал развиваться в России при Петре Великом. Ломоносову это, по всей вероятности, импонировало, потому что такой путь развития способствовал естественно-научным исследованиям и их государственному финансированию.

Основная масса дворян хотела другого. Они мечтали о том, чтобы государство гарантировало им вечное и исключительное владение землями и крепостными, освободив при этом от обязательной службы. «А Россия паче всего на земледелие уповати должна, имея пространные поля, а по пространству земли не весьма довольно поселян… Тамо полезны фабрики, где

мало земли и много крестьян…» — писал Сумароков. Разумеется, при этом он апеллировал к несчастным крепостным, которых фабрики превратили в каторжников. Нельзя сказать, что это совсем не соответствовало истине.

Кроме того, назревала большая европейская война, и все ее потенциальные участники стремились склонить Россию на свою сторону. В России же спорили сторонники разных внешнеполитических союзов. Шуваловы были франкофилами, Бестужев-Рюмин склонялся к союзу с Англией, а цесаревич Петр Федорович был, как известно, горячим приверженцем прусского короля Фридриха Великого.

Впрочем, тому же Сумарокову резко отрицательное отношение к Петру Шувалову (на которого Александр Петрович не постыдился написать злобную эпиграмму, когда тот лежал на смертном одре) не мешало пользоваться, как и Ломоносову, покровительством его двоюродного брата. Роскошный дворец, построенный в 1753–1754 годах для Ивана Шувалова архитектором Чевакинским на Итальянской улице, был доступен и для него.

6

Вызов Ломоносову первым бросил не Сумароков, а один из его учеников — Иван Елагин. Об этом человеке стоит рассказать поподробнее.

Иван Перфильевич Елагин (1725–1794) в зрелые годы, при Екатерине, был директором императорских театров, членом Российской академии, опубликовал исторический трактат «Опыт повествования о России», много переводил, был первым владельцем Елагина острова в Петербурге, но прежде всего он вошел в историю как один из деятельнейших российских масонов второй половины XVIII века. Здесь не место подробно касаться истории масонства, которое именно в 1750-е годы стало важным фактором политической жизни. Многие активные участники событий 1762 года — и со стороны Петра III, и со стороны Екатерины — были вольными каменщиками. Позднее сложилась легенда о том, что основателем масонства в России был сам Петр Великий. Родство масонских жизнестроительных идей с петровским сверхпроектом очевидно. Но так получилось, что первыми русскими масонами были люди, как раз стремившиеся от этого сверхпроекта освободиться, мечтавшие о вольной жизни в своих имениях и вольных странствиях по свету. Масоном был Сумароков, но не Ломоносов. Ко всему прочему, петербургские

масонские ложи были связаны с лондонскими и берлинскими (а последние возглавлял лично Фридрих Великий) и, естественно, объединяли сторонников соответствующих групп влияния. Члены «французской партии» были им враждебны. Впрочем, Роман Воронцов принадлежал к вольным каменщикам.

В 1750-е годы Елагин был всего лишь небогатым молодым дворянином, использующим свои масонские связи, в том числе и в карьерных целях. А кроме того, он был начинающим поэтом. Писал он в разных жанрах; между прочим, соревновался с Барковым в переводе знаменитой своей непристойностью «Оды к Приапу» французского поэта Пирона. Но вскоре такие соревнования между ним и одним из поэтов ломоносовского круга стали невозможны.

Первый укол Ломоносову Елагин нанес еще в самом начале 1750-х годов, написав пародию (сумароковцы любили этот жанр!) на трагедию Ломоносова «Тамира и Селим». Трагедия эта была написана не по своей воле. Посмотрев «Хорева», Елизавета стала горячей театралкой. Сумароков к 1750 году написал еще одну трагедию («Синав и Трувор») и три комедии, но этого репертуара явно не хватало. Ломоносову и Тредиаковскому спешно приказано было сочинить по трагедии.

Ломоносов закончил работу в ноябре 1750 года. В отличие от Сумарокова, чьи пьесы представляют собой чистой воды «фэнтези», с условными именами, заимствованными из летописей, Ломоносов, который в это время уже активно занимался русской историей, решил основать свои вымыслы на реальном историческом факте. В летописи сказано, что Мамай после Куликовской битвы бежал в Крым, в Кафу (Феодосию), и был там убит «от своих». Ломоносов попытался реконструировать это событие. Действие его пьесы происходит в Кафе, которая у Ломоносова оказывается столицей Крымского ханства[89]. Кафа осаждена Селимом, сыном багдадского халифа, который начал войну, раздраженный набегами крымских пиратов. Город остался без защиты: сын крымского хана Мумета, Нарсим, отправился с войском на помощь Мамаю, которому обещана в жены дочь Мумета Тамира. Мумет соглашается наказать разбойников, и Селим снимает осаду. Тем временем между ним и Тамирой вспыхивает любовь. Однако Мумет не может нарушить слова, данного Мамаю… Наконец, сам Мамай прибывает в город с ложной вестью о своей победе.

Дальше события развиваются так: Селим и Мамай сражаются на поединке, Селим одерживает победу, но тут на помощь Мамаю приходят его мурзы. Обо всем этом рассказывает Тамире ее дядя Надир. Считая, что Селим погиб, Тамира хочет заколоться, но тут,

как *deus ex machina,* появляется Нарсим, который спасает своего старого друга Селима, а Мамая изобличает во лжи и убивает его в честном бою. Все эти интересные события происходят, однако, не на глазах у зрителя: герои рассказывают о них в многословных монологах. Чувства сцены у Ломоносова не было, здесь он уступал Сумарокову; зато некоторые фрагменты трагедии отличались истинно поэтической силой — например, монолог Насима, описывающего Куликовскую битву:

Уже чрез пять часов горела брань сурова,
Сквозь пыль, сквозь пар едва давало солнце луч.
В густой крови кипя, тряслась земля багрова,
И стрелы падали дождевых чаще туч.
Уж поле мертвыми наполнилось широко,
Непрядва, трупами спершись, едва текла.
Различный вид смертей там представляло око,
Различным образом сопряжены тела.
Иной с размаху меч занес на сопостата,
Но прежде прободен, удара не скончал;
Другой, забыв врага, прельщался видом злата,
Но молча на корысть желанную упал.
Иной, от сильного удара убегая,
Стремглав на низ летел и стонет под конем,
Иной пронзен, угас, противника пронзая,
Иной врага поверг и умер сам на нем…

«Тамира и Селим» шла при дворе в исполнении кадетов дважды — 1 декабря 1750-го и 9 декабря 1751 года. Вторая трагедия Ломоносова, «Демофонт», законченная в ноябре 1751-го и напечатанная отдельным изданием в сентябре 1752 года, сцены не увидела. Во-первых, любительский театр в Шляхетном корпусе прекратил существование (правда, его место вскоре заняла приглашенная из Ярославля труппа Федора Волкова, на основе которой был в 1756 году создан профессиональный «Российский для представления трагедий и комедий театр»; во главе его был поставлен Сумароков). Во-вторых, как предполагает А. В. Западов, в самом сюжете трагедии, описывающей запутанные интриги при дворе фракийских царей (весь сюжет на сей раз — плод чистого ломоносовского вымысла), могли усмотреть намек на недавние события российской истории.

Так или иначе, Елагин спародировал трагедию Ломоносова, вероятно, желая тем оказать услугу своему учителю. Три года спустя он выступил еще резче и откровеннее.

В 1753 году по рукам стало ходить стихотворение Елагина,

обращенное к Сумарокову:

Ты, которого природа
К просвещению народа
Для стихов произвела,
И прекрасные чертоги,
Где живут парнасски боги,
Мельпомена привела.

Научи, творец «Семиры»[90],
Где искать мне оной лиры,
Ты которую хвалил?
Покажи тот стих прекрасный,
Вольный склад и вместе ясный,
Что в эпистолах сулил?

Где Мальгерб, тобой почтенный,
Где сей Пиндар несравненный,
Что в эпистолах мы чтем?
Тщетно оды я читаю,
Я его не понимаю
И красы не вижу в нем.

Стихи вызвали всеобщее возмущение среди друзей Ломоносова. Поповский ответил Елагину посланием (не сохранившимся), в котором сравнивал Ломоносова с Вергилием. Шувалов написал Михайле Васильевичу письмо, полное похвал и резко осуждающее выходку Елагина. Русский Вергилий со спокойным достоинством отвечал русскому Меценату: «Хотя учинить отпор моим врагам, не знаю и весьма сомневаюсь, не больше ли я им благодарить и их хвалить, нежели мстить и уничтожать должен: благодарить за то, что они, во-первых, меня своей хулой хвалят и к большему приращению малой славы моей не пожалели себя определить в зоилы… второе, что они подали вашему превосходительству повод к составлению нынешнего вашего ко мне письма…»

Вероятно, в эти же дни Ломоносов написал одну из самых выразительных своих эпиграмм:

Отмщать завистнику меня вооружают,
Хотя мне от него вреда отнюдь не чают.
Когда зоилова хула мне не вредит,
Могу ли на него за то я быть сердит?
Однако ж осержусь! я встал, ищу обуха;

Уж поднял, я махну! а кто сидит тут? муха!
Как жаль мне для нее напрасного труда.
Бедняжка, ты летай, ты пой: мне нет вреда.

Но вскоре начался новый скандал. По рукам пошла написанная Елагиным сатира «На петиметра и кокеток», начинающаяся, как и выше процитированные стихи, обращением к Сумарокову.

Открытель таинства любовныя нам лиры,
Творец преславныя и мудрыя «Семиры»,
Из мозгу родшейся богини мудрой сын,
Наперсник Буалов, российский наш Расин,
Защитник истины, гонитель злых пороков,
Благий учитель мой, скажи, о Сумароков!
Где рифмы ты берешь? Ты мне не объяснил?

Дальше идет описание автора, бедного стихотворца, который в поисках рифмы бегает «по горнице», грызя перо.

Когда б мя петиметр увидел в оный час,
Увидел бы, как я по горнице верчуся,
Засыпан табаком, вздыхаю и сержуся!
Что может петиметр смешней сего сыскать,
Который не привык и грамоток писать,
А только новые уборы вымышляет
И ими глупый полк кокеток лишь прельщает?

Пустой светский щеголь, «петиметр» — обычный предмет для сатир той поры. Подобный образ встречается и у Буало, и у Кантемира. Почему же сатира Елагина вызвала бурю? Дело в том, что по тексту рассыпаны были намеки, дающие понять, против кого на самом деле направлены сатирические стрелы. Петиметр, которого высмеивает Елагин, — не кто иной, как Иван Иванович Шувалов. Между прочим, по ходу дела оказывается, что петиметр этот — большой поклонник всего французского, причем не только одежды, причесок, косметики («Когда б из Франции не завезли помады, погиб бы петиметр, как Троя без Паллады»), но и литературы.

Сбирает речи все, в романах что читал,
Которые Даржанс[91] для бедности слагал.

Немецких авторов не зная презирает,
И в них добра найти отнюдь не уповает…

Елагин и Сумароков сами были ориентированы на французскую литературную традицию (хотя немецкий язык, обязательный к изучению в Шляхетном корпусе, был им знаком лучше). Дело тут состояло не в бытовых вкусах, а во внешнеполитическом курсе. За сатирой Елагина стояли враждебные Шуваловым придворные круги, не желавшие дружбы с Парижем.

Досталось и Ломоносову. По ходу дела иронически поминается «пиит», который:

…вписав в свой стих «Россию»,
Любуется, придав ей рифмою «Индию».

Такая рифма была в одной из ломоносовских од.

Сатира Елагина вызвала множество полемических откликов, авторы которых делали вид, что не понимают, о ком и о чем идет речь.

Скажи, зачем из всех страстей сие избрал
И на безвредную другим лишь ты напал?

Спрашивал один полемист (аноним). Другой (Поповский) утверждал:

…ты сам птиметром быть желаешь,
Да больше где занять ты денег уж не знаешь…

Сам Шувалов попросил Ломоносова высказать свое мнение о произведении Елагина. Письмо, в котором Ломоносов это делает, представляет собой замечательный пример тонкого издевательства. Объектом насмешки служит не столько Елагин (его-то Ломоносов попросту, без зазрения совести, поносит), сколько Сумароков.

«Сие особливо сожалительно об Александре Петровиче, что он, хотя его похвалить, не зная толку, весьма нелепо выбранил. В первой строчке почитает Елагин за таинство, как делать любовные песни, чего себе А. П. как священно-таиннику[92] приписать не позволит… „Рожденной из мозгу богини сыном“, то

есть мозговым внуком, не чаю, чтобы А. П. хотел назваться, особливо что нет к тому никакой дороги. Минерва любовных песенок никогда не сочиняла: она — богиня философии, математики и художеств, в которые А. П. как справедливый человек никогда не вклеплется… „Российским Расином“ А. П. по справедливости назван, затем что он не только половину его перевел в своих трагедиях по-русски, но и сам себя Расином называть не гнушается…»

Даже общаясь друг с другом, Ломоносов и Шувалов старательно делают вид, будто елагинская сатира, или «эпистола», не имеет к ним никакого отношения. Впрочем, в первом абзаце Ломоносов спокойно признает, что рифма «Россия — Индия» нехороша, «и потому Елагин врет, будто бы он ей любовался».

Но, не ограничившись тонкой издевкой в частном письме, Ломоносов (возможно, побуждаемый к тому Шуваловым) решился обрушить на Елагина тяжкую сатирическую дубинку. Его послание начинается так:

Златой младых людей и беспечальной век
Кто хочет огорчить, тот сам не человек.
Такого в наши дни мы видим Балабана,
Бессильного младых и глупого тирана,
Которой полюбить всё право потерял
И для ради того против любви восстал.

Дальше поэт (обыгрывая строки из собственного стихотворения Елагина) бестактно намекает на какие-то факты частной жизни своего «завистника»:

Мы помним, как ты сам, хоть ведал перед браком,
Что будешь подлинно на перву ночь свояком,
Что будешь вотчим слыть, на девушке женясь,
Или отец княжне, сам будучи не князь.
Ты, всё то ведая, старался дни и ночи
Наряды прибирать сверх бедности и мочи…

(О браке Елагина с фрейлиной Ратиковой в самом деле ходили сплетни — о них упоминает Екатерина в своих мемуарах.)

Немедленно появился ответ (скорее всего, самим же Елагиным и написанный):

Развратных молодцев испорченный здесь век,

Кто хочет защищать, тот скот — не человек.
Такого в наши дни мы видим Телелюя,
Огромного враля и глупого холуя,
Который Гинтера и многих обокрал
И, мысли их писав, народ наш удивлял…

Не преминул принять участие в этой содержательной полемике и Тредиаковский, написавший «пашквили» и против Елагина, и против Ломоносова. Последнего он титулует так:

Бесстыдный родомонт, иль буйвол, слон, иль кит,
Гора полна мышей, о винной бочки вид!

Соперничество Ломоносова с Сумароковым продолжалось и позднее, принимая с каждым годом все более острые формы. В 1756–1759 годах Сумароков и поэты его круга (в том числе молодой Михаил Херасков) стали постоянными авторами журнала «Ежемесячные сочинения», который (изначально — по инициативе Ломоносова, кстати) стала выпускать Академия наук. Этому способствовали дружеские отношения Сумарокова с редактором журнала, уже хорошо знакомым нам Миллером. Публиковались в журнале и некоторые из учеников Ломоносова (Поповский, Дубровский) — но не сам он. Прямых антиломоносовских выпадов на страницах журнала не встретишь: ведь его материалы проходили «цензуру» Академического собрания. А Михайло Васильевич, ставший в эти годы лицом в академии весьма влиятельным, не чинясь, снимал не нравящиеся ему материалы. Недруги Ломоносова в эти годы по-прежнему отводили душу в рукописных «пашквилях», не отличавшихся разнообразием. Вот, например, начало «Эпистолы от водки и сивухи к Ломоносову»:

Неутомимый наш и ревностный певец,
Защитник, опекун, предстатель и отец!
Коль много обе мы тобой одолжены;
Мы славно по тебе и честью почтены.
Когда б ты в тучное нас чрево не вливал,
Никто б о бедных нас и не воспоминал.
А ныне, пухлые стихи твои читая,
Ни рифм, ни смыслу в них нигде не обретая
И разбирая вздор твоих сумбурных од,
Кричит всяк, что то наш — не твой сей пухлый плод…

Как мы уже отмечали, ломоносовские недруги постоянно эксплуатировали тему его «пьянства». Сумароков, надо сказать, сам пил не меньше, если не больше, чем его соперник. Но стиль полемики того времени предусматривал личные выпады и оскорбления. Ломоносов был очень неудобной мишенью: высокий, красивый, физически сильный, успешный человек, семьянин, труженик и бессребреник… Оставалось две темы: любовь к бутылке и «низкая порода». Их и эксплуатировали. И никто из «пашквилянтов» не отдавал себе отчета в том, что они лупят «Телелюя» им же изобретенным оружием — ямбическим русским стихом.

Впрочем, на Ломоносова писали пасквили и по-немецки. Один из них начинается так:

Жил-был крестьянский паренек
В далеких Холмогорах.
Пошел работать за кусок
К монахам, у которых
Он выучил латынь чуть-чуть
И водку научился дуть.
И в этом деле, тра-ла-ла,
Он стал из самых спорых!
Он храбро дрался с детворой,
С прислугой пил в трактире —
И был прославлен, как герой,
И слава шла все шире,
И тут он был в студенты взят,
И стал с тех пор он, говорят,
Пить дни и ночи, тра-ла-ла —
Никто так не пил в мире![93]

Немец-пасквилянт знал кое-какие подробности о ломоносовской молодости: о его обучении в Марбурге, о романе с Елизаветой Цильх, о принудительной вербовке в прусскую армию и о побеге из нее («Его не повесили — а жаль»)… Все это глумливо, но близко к действительности пересказывается в следующих строфах. В конце песенки есть, между прочим, такие слова: «Подобно Марсию, он готов ославить Сумарокова за то, что смело ввел в русский стих просодию по немецкому образцу». Немецкий стихотворец был явно близок к Сумарокову, а тот уже без зазрения совести приписывал себе заслуги своего соперника. Причем это не было сознательным подлогом: Сумароков в самом деле внушил себе, что изобрел русский силлабо-тонический стих одновременно с автором «Хотинской оды» и независимо от него.

И все же было бы большой ошибкой сводить разногласия Ломоносова и Сумарокова к личному соперничеству, видеть в младшем поэте обыкновенного завистника. «Жалкий Сумароков пролепетал заученную роль…» Нет, все не так просто. Александр Петрович Сумароков был настоящим поэтом. В его песенках, наряду со стандартными галантными излияниями (которые тогдашней русской музе тоже были внове), попадаются строки, поныне не утратившие выразительности:

О темные дубравы, убежище сует!
В приятной вашей тени мирской печали нет;
В вас красные лужочки природа извела,
Как будто бы нарочно, чтоб тут любовь жила…

Лучшее у Сумарокова, как и у Ломоносова, — это «духовные оды». Но если старший поэт возглашает хвалу разнообразию сущего и всемогуществу его Творца, то младший жалуется на несправедливость бытия, на слабость человека. Для этих жалоб Сумароков умел находить органичную и своеобразную форму:

На морских берегах я сижу,
Не в пространное море гляжу,
Но на небо глаза возвожу.
На врагов, кои мучат нахально,
Стон пуская в селение дально,
Сердце жалобы взносит печально.
Милосердие мне сотвори,
Правосудное небо, воззри
И все действа мои разбери!

Если с высокой ломоносовской лирики начинается та линия русской поэзии, которая сто лет спустя породит Тютчева, то в стихотворениях Сумарокова, подобных процитированным выше, как и в его сатирических стихах, видны зачатки некрасовской традиции.

Сумароков был замечательным мастером стиха: ни у кого из современных ему поэтов нет такого ритмического разнообразия. Он ввел новый размер — амфибрахий, доказал необходимость пропусков ударения в ямбе. Много сделал он и как драматург. Его трагедии и комедии, при всей своей подражательности и

некоторой наивности, сыграли важную роль в истории русского театра.

Но Александр Петрович, сильно уступая Ломоносову в образованности и кругозоре, был так же, как его соперник, авторитарен и нетерпим. В зрелые годы он сформулировал собственные эстетические взгляды, став решительным и непримиримым сторонником классицизма. От поэзии, своей и чужой, он требовал ясности, точного и прямого словоупотребления, гибкости и «нежности» стиха. «По-моему, пропади такое великолепие, в котором нет ясности» — так писал он в одной из своих статей; и это было его главным творческим принципом. Мысль о том, что поэзия может быть разной и ставить разные цели, ему в голову не приходила. Ломоносов раздражал его тем, что пишет «не по правилам», а притом временами достигает такого результата, который самому Сумарокову, при всех его талантах, был недоступен. А еще — своим влиянием на молодых поэтов.

«Г. Ломоносов знал недостатки сладкоречия: то есть убожество рифм, затруднение от неразноски литер, выговора, нечистоту стопосложения, темноту склада, рушение грамматики и правописания и все то, что нежному упорно слуху и неповрежденному противно вкусу; но, убегая сей великой трудности, не находя ко стопоположению и довольно имея к одной лирической поэзии способности — а при том опирался на неразборные похвалы, вместо исправления стопоположения, его более и более портил; и став порчи сей образцом, не хуля того в других, чем сам наполнен, открыл легкий путь ко стихотворению; но сей путь на Парнасскую гору не возводит».

Ломоносовский стих казался Сумарокову корявым, негладким, потому что Ломоносов употреблял более сложный инструментарий и не всегда стремился к благозвучию. Ломоносовские метафоры, его сдвинутое словоупотребление доводили «певца Семиры» до бешенства. Ну что это такое: «Блистая с вечной высоты»? — «Можно сказать — вечные льды, вечная весна. Льды потому вечны, что никогда не тают, а вечная весна, что никогда не допускают зимы, а вечная высота, вечная глубина, вечная длина — не имеют никакого знаменования». Или: «„Молчите, пламенные звуки“? Пламенных звуков нет, — возмущается Сумароков, — а есть звуки, которые с пламенем бывают». Так придирчиво разбирает Александр Петрович чуть не каждую строфу знаменитой ломоносовской оды 1747 года.

В то время со смерти Ломоносова уже прошли годы. Сумароков, как живой, считал себя вправе несколько свысока смотреть на мертвого соперника. «Ах, если бы его со мною не

смучали и следовал бы он моим советам. Не был бы он и тогда столько расторопен, сколько от самого искусного стихослагателя требуется, но был бы гораздо исправнее; а способности пиитичествовать, хотя и в одной только оде, имел он весьма много». Но спокойное достоинство трудно давалось уже немолодому, раздраженному своими неудачами, сильно пьющему поэту. Он, на похоронах Ломоносова с неприкрытой злобой отозвавшийся о покойнике, не мог забыть его и годы спустя, постоянно возвращаясь к нему мыслями и пытаясь довести до конца давние споры, доказать свое преимущество и свою правоту.

Пока же Ломоносов и Сумароков были живы, борьба шла нешуточная. Правда, обе стороны были скованы своей дружбой с Шуваловым. Поэтому до конца 1750-х годов на Ломоносова впрямую напали лишь поэты из круга Сумарокова, но не он сам. Ломоносов же написал на своего соперника лишь одну, вполне беззлобную эпиграмму — очень давно, еще в 1748 году, когда дружба «российского Мальгерба» и будущего «певца Семиры» казалась ничем не омраченной; поводом послужил неловкий галлицизм из сумароковского «Гамлета» — Гертруда у него признается, что она «на супружню смерть не тронута взирала». Ломоносов не мог пройти мимо этого забавного оборота и не обыграть его:

Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись, оставил свет.
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть не тронута взирала.

Но когда в 1759 году Сумароков, разойдясь с Миллером, начал издавать собственный журнал «Трудолюбивая пчела», в одном из номеров он попытался напечатать несколько «Вздорных од» — пародий на Ломоносова.

Одна из них начиналась так:

Гром, молнии и вечны льдины
Моря и озера шумят,
Везувий мещет из средины
В подсолнечну горящий ад,
С востока вечна дым восходит,
Ужасны облака возводит
И тьмою кроет горизонт.
Эфес горит, Дамаск пылает,

Тремя Цербер гортаньми лает,
Средьземный возжигает понт.

Сумарокова не интересовал в данном случае пафос ломоносовской поэзии — он вышучивал пышный стиль, мощные и «невнятные» образы, его гиперболы. Человек уже следующей эпохи, он с ее высоты высмеивал устаревшее, как ему казалось, ломоносовское барокко. Получилось похоже и местами — смешно. И все же пародист угодил в собственную ловушку… Дело в том, что некоторые фрагменты «вздорных од», которые Сумарокову казались забавными и убийственными для его недруга, ныне воспринимаются как вполне серьезная и содержательная лирика. Речь идет, прежде всего, о «Дифирамбе»:

Позволь, великий Бахус, нынь
Направите гремящу лиру
И во священном мне восторге
Тебе воспеть похвальну песнь!..
<…>
Тобой стал новый я Орфей!
Сбегайтеся на глас мой, звери,
Слетайтеся ко гласу, птицы,
Сплывайтесь, рыбы, к верху вод.

Сумароков имел в виду все ту же злосчастную склонность Ломоносова к пьянству, которую так эксплуатировали все его оппоненты. В данном случае пьянством объяснялся слишком выспренний и «алогичный» стиль поэта. Но классицист не знал, что настанет время, когда Дионис (он же Вакх, Бахус), «вдохновения грозный бог», по определению Цветаевой, станет в глазах новых поколений таким же законным источником поэзии, как Аполлон. А образ Орфея, вдохновляемого Дионисом-Загреем и обреченного пасть от рук Дионисовых жриц, будет выглядеть не комично, а возвышенно и трагически.

Поскольку «Трудолюбивая пчела» печаталась в университетской типографии, у Ломоносова была возможность предотвратить публикацию, и он этой возможностью воспользовался. Обиженный Сумароков писал Шувалову: «Сочинений мне больше печатать невозможно, ибо Ломоносов останавливает у меня их и принуждает иметь непрестанные хлопоты, а он и истец и судья, а мне, чтоб я всему миру не открыл его крайнего в словесных науках невежества, крайний злодей; а его все в Академии боятся и ему против воли угождают…»

Сумароков преувеличивал. В той же «Трудолюбивой пчеле» затем он совершенно беспрепятственно напечатал несколько очень слабо завуалированных антиломоносовских памфлетов. (Дело в том, что в руководстве академии кроме Ломоносова сидели и его большие «друзья», такие как Тауберт, которые не так уж его и боялись.)

Один из этих памфлетов (напечатанный в шестом номере за 1759 год) принадлежал, как ни странно, Тредиаковскому и представлял собой невинную историческую заметку об искусстве мозаики. Тредиаковский утверждал, что мозаика стоит несравнимо ниже живописи. Поскольку из всех трудов Ломоносова за пределами литературы широкой аудитории были известны, прежде всего, его работы над мозаичными панно и поскольку никто в России кроме него мозаикой не занимался и не интересовался, смысл этого выпада был вполне прозрачен.

Ломоносов был взбешен: его враги, которые и между собой недавно враждовали, объединились против него! Свои чувства оскорбленный поэт, естествоиспытатель и мозаичист выразил в стихотворении под названием «Злобное примирение»:

С Сотином — что за вздор? — Аколаст примирился.
Конечно, третий член к ним леший прилепился.
Дабы три фурии, вместившись на Парнас,
Закрыли криком муз российских чистый глас.
Как много раз театр казал на смех Сотина,
И у Аколаста он слыл всегда скотина.
Аколаст, злобствуя, всем уши раскричал.
Картавил и сипел, качался и мигал,
Сотиновых стихов расхваливая скверность,
А ныне объявил любовь ему и верность,
Дабы Пробиновых хвалу унизить од,
Которы, вознося, российский чтит народ…
…Кто быть желает нем и слушать наглых врак
Меж самохвалами с умом прослыть дурак,
Сдружись с сей парочкой: кто хочет с ними знаться,
Тот думай, каково в крапиву испражняться.

Под «лешим» имеется в виду Тауберт, а «Самохвал» — старая, начала 1750-х годов «басенка» Тредиаковского, в которой некоторые видели выпад против Ломоносова. Второй выпад, тоже направленный против научной деятельности Ломоносова (в третьем номере за 1760 год), принадлежал самому Сумарокову. Стихотворение называлось «Новые изобретения»:

1
Вскоре
Поправить плаванье удобно в море.
Морские камни, мель в водах переморить,
Все волны кормщику под область покорить,
А это хоть и чудно,
Хотя немножко трудно,
Но льзя природу претворить:
А ежели того нельзя никак сварить,
Довольно и того, что льзя поговорить.
2
Разбив стакан, точить куски, а по оточке
Во всяком тут кусочке
Поставить аз:
Так будет из стекла алмаз.
3
Скажу не ложно:
Возможно
Так делать золото из молока, как сыр,
И хитростью такой обогатить весь мир,
Лишь только я при том напоминаю:
Как делать, я не знаю.

В первом фрагменте Сумароков намекает на статью Ломоносова «Рассуждение о большей точности морского пути», во втором речь идет о все той же мозаике, в третьем — о химических и минералогических работах.

«Трудолюбивая пчела» вела завуалированную борьбу не только с Ломоносовым, но и с Шуваловыми (и Воронцовыми). То, что первый номер журнала вышел с посвящением цесаревне Екатерине Алексеевне, яснее ясного говорило о политических симпатиях редактора. Судя по всему, именно представители «шуваловской партии» добились того, что в 1761 году журнал закрылся. Сумароков (которого к тому же накануне сместили с должности директора театра) даже объявил о том, что «расстается с музами» и прекращает литературную деятельность. Естественно, этого обещания он не выполнил.

Но и в эти годы Александр Петрович продолжал быть желанным гостем во дворце на Итальянской, где ему часто приходилось сталкиваться с Ломоносовым. Сохранился поздний рассказ самого Шувалова (в записи известного цензора Тимковского):

«От споров и критики о языке они доходили до преимуществ

с одной стороны лирического и эпического, с другой драматического, то есть каждый своего рода, и такие распри опирались иногда на приносимые книги с текстами… В спорах же чем более Сумароков злился, тем более Ломоносов язвил его; и если оба были не совсем трезвы, то заканчивали ссору бранью, так что приходилось высылать или обоих, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах… то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь о нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходит, или, подслушав, вбегает с криком: не верьте ему, Ваше Превосходительство, он все лжет; удивляюсь, как Вы даете у себя место такому пьянице, негодяю. — Сам ты подлец, пьяница, неуч, под школой учился, сцены твои краденые. — Но иногда мне удавалось примирить их, и тогда они были очень милы».

Выглядит не очень красиво: вельможа-меценат для забавы стравливает поэтов (которые к тому же ведут себя как хармсовские персонажи). Впрочем, к этому рассказу, который отделяет от событий много лет, надо относиться осторожно. Над бешеным нравом Сумарокова подшучивали многие, но с Ломоносовым, как отмечал Пушкин, «шутить было накладно», даже Шувалову. Правда, видимо, в том, что всемогущий фаворит временами тяготился ломоносовской интеллектуальной опекой. Сумароков нужен был ему как противовес (не говоря уж о том, что ему, галломану, сумароковские песенки и пьесы втайне, может быть, были милее ломоносовского «парения»). Глядя на спорящих поэтов, Иван Иванович ощущал себя нейтральным арбитром, покровителем, примирителем — и лишний раз убеждался в собственной независимости и значимости.

В этом качестве Шувалов пытался направить соперничество Ломоносова и Сумарокова в конструктивное русло, и иногда ему это удавалось: так, в начале 1760 года они вновь, как шестнадцать лет назад, вступили в творческое соревнование, переведя «Оду к счастию» Жана Батиста Руссо.

Но вскоре отношения двух поэтов окончательно расстроил инцидент, в котором оказался замешан двоюродный племянник Ивана Шувалова и один из его близких друзей. Чтобы понять суть случившегося, необходимо напомнить о тех политических событиях, которыми ознаменованы последние годы правления Елизаветы Петровны.

Дело в том, что в 1756 году давно ожидаемая война — война, известная в истории как Семилетняя, — все же началась. Фридрих II, он же Великий, в отличие от своего отца Фридриха Вильгельма I был человеком утонченным: писал стихи (исключительно по-французски), играл на флейте,

покровительствовал Вольтеру (некоторое время жившему при его дворе), строил роскошные резиденции и бравировал своим религиозным скептицизмом. Это не мешало ему продолжать отцовское дело, укрепляя армию и с успехом пуская ее в ход. В ходе войны за австрийское наследство он, пользуясь неразберихой в Вене, округлил свои владения за счет Силезии. Дальнейшие аппетиты Фридриха распространялись на соседние германские государства, прибрежные польские земли и шведские владения в Померании. Россию он хотел бы до поры иметь в союзниках, но шуваловско-воронцовская группировка к усилению Пруссии относилась с большой опаской.

Однако войну спровоцировали не пруссаки, а англичане. Дело в том, что у последних шла затяжная борьба с Францией в американских колониях. Поскольку сама Англия находится на острове (злые языки утверждали, что для Елизаветы Петровны эта географическая подробность оказалась внове), вторгнуться туда Людовику XV было затруднительно (напомним, что эта задача впоследствии оказалась не по зубам Наполеону и Гитлеру). Но английский король Георг II одновременно был курфюрстом Ганновера — небольшого государства на северо-западе Германии. Вот по Ганноверу французы и собирались ударить. Но не успели: 16 января 1756 года Англия и Пруссия заключили Вестминстерскую конвенцию, один из пунктов которой гласил: «Если же вопреки всем ожиданиям и в нарушение мира… любая иностранная держава предпримет вторжение в Германию, две договаривающиеся стороны объединят свои усилия для наказания этих нарушителей». Другими словами, на защиту скромного Ганновера могла выступить вся прусская армия.

Франция не могла уступить. В противовес англо-прусскому союзу она заключила в мае 1756 года пакт со своим давним (с XVI века) соперником — Австрией. А 29 августа 1756 года Фридрих начал войну, напав на австрийского союзника — Саксонию.

Россия примкнула к антипрусской коалиции и вступила в войну позже — на рубеже 1756–1757 годов. Целью Елизаветы был захват Восточной Пруссии, которую предполагалось передать Польше; в обмен Август II должен был согласиться на полное присоединение к России Курляндии, которая все еще оставалась формально независимой. В мае 1757 года стотысячное русское войско под командованием С. Ф. Апраксина форсировало Неман и двинулось в Восточную Пруссию. Был взят Мемель, одержана победа при Гросс-Егерсдорфе (в этой битве отличился молодой П. А. Румянцев)… А затем Апраксин стремительно, бросив артиллерию и раненых, вывел войска из Пруссии.

Это необъяснимое бегство стоило фельдмаршалу должности,

а в конечном итоге и жизни: он умер от сердечного припадка, находясь под следствием. В действительности русские военачальники, как предполагают историки, просто боялись одерживать победы: в Петербурге спорили «партия войны» и «партия мира» (или даже союза с Пруссией), и неизвестно было, кто одержит победу. Тем более что Елизавета чувствовала себя все хуже, а симпатии наследника престола не были секретом. Да и на прусско-австрийском фронте дела шли с переменным успехом, а французы откровенно проигрывали пруссакам. Но в 1758 году петербургская «партия войны» (она же шуваловская) добилась больших успехов: Бестужев-Рюмин был смещен и отдан под суд, канцлером назначен Михаил Воронцов; большие неприятности были и у Екатерины Алексеевны, которую уличили в тайной переписке с английским послом. Она чудом избежала высылки из страны — страны, которой ей предстояло тридцать четыре года со славой управлять.

Позиция Ломоносова в данном случае была сложной. С одной стороны, он был слишком тесно связан с Шуваловыми и Воронцовыми, без них вся его деятельность стала бы невозможна. Пацифистом он не был, да и не водилось в ту эпоху принципиальных пацифистов. Но в то же время участие России в войне с неясными целями, отвлекавшее человеческие и денежные ресурсы, сказывавшееся на финансировании научных и образовательных институций, судя по всему, не вызывало у него особого сочувствия. В оде на день рождения императрицы и на рождение Анны Петровны, второго и последнего законного ребенка молодой Екатерины (1757), Ломоносов основное внимание уделил начавшейся войне, но говорит о ней весьма двусмысленно. С одной стороны, он устами Елизаветы объясняет причины конфликта:

> Присяжны преступив союзы,
> Поправши нагло святость прав,
> Царям навергнуть тщится узы
> Желание чужих держав.

Любопытно при этом, что в качестве главного врага выступает не Пруссия, а Англия.

Однако во второй части оды, представляющей собой ответ Бога Елизавете, говорится не о боевых победах, а о радостях мирной жизни:

> Я кротким оком к вам воззрю:
> Жених как выйдет из чертога,

Так с солнцем взойдет радость многа;
Врагов советы разорю.

И лишь после того как русские войска под командованием В. В. Фермора заняли Восточную Пруссию и после поражения при Цорндорфе одержали 1 августа 1759 года решительную победу при Кунерсдорфе, настроение Ломоносова изменилось. Ода, написанная им на кунерсдорфскую победу, полна искреннего воодушевления. Для Ломоносова важно было, между прочим, что победа была одержана во многом благодаря шуваловским гаубицам. Это было не только успехом близкой Ломоносову семьи, но и доказательством важности «высоких технологий».

Франция отныне возлагала на свою восточную союзницу большие надежды. И вот в этой обстановке в Петербурге появился 75-летний аббат Этьен Лефёвр, уже прежде неоднократно бывавший в России — в самые острые, переходные моменты ее истории. Лефёвр состоял священником при французском посольстве, но, судя по косвенным свидетельствам, выполнял также некие конфиденциальные поручения своего правительства.

В это время в Петербурге существовал литературный кружок, основанный двумя чрезвычайно утонченными и очень богатыми молодыми людьми — семнадцатилетним графом Андреем Петровичем Шуваловым, сыном Петра Ивановича, проведшим отрочество в Париже и писавшим стихи (по мнению современников, очень недурные) на французском языке, и 27-летним бароном[94] Александром Сергеевичем Строгановым.

К середине XVIII века потомки купцов и промышленников Строгановых стали исключительно землевладельцами — как и многие выходцы из купеческого сословия, получившие дворянство. Сергей Григорьевич Строганов, барон во втором колене, жил во дворце, построенном Растрелли, и владел неплохой коллекцией европейской живописи. Его сын, первым браком женатый на дочери Михаила Воронцова, провел молодость в путешествиях по Европе, где получил истинно аристократическое образование — несколько поверхностное, но блестящее и разностороннее. Владелец великолепной библиотеки и уникальной нумизматической коллекции, покровитель художников (архитектор Воронихин, происходивший из строгановских крепостных, был у него почти на положении члена семьи), он в конце своей долгой жизни (а умер он в 1811 году, семидесяти восьми лет) возглавил Императорскую Академию художеств и много сделал для ее процветания. Он был одним из главных филантропов России, основал множество школ, помогал

художникам и музыкантам.

Но в жизни Ломоносова с именем Строганова связан эпизод неприятный и унизительный.

Дело в том, что аббат Лефёвр счел необходимым именно в салоне Строганова — Шувалова, собиравшемся в строгановском дворце, произнести небольшую речь «о постепенном развитии изящных наук в России». Стремясь укрепить «единение наших государей» и повлиять на общественное мнение в Петербурге, аббат не скупился на похвалы «творческому гению» державы-союзницы. Зная, что дни Елизаветы сочтены, он счел своим долгом особо отметить достоинства ее наследника («который показывает в своем обучении образец солдата-патриота»), а особенно его супруги, которую французская дипломатия не прочь была переманить на свою сторону.

Наконец, оратор дошел до заявленной темы своей речи и, между прочим, так характеризовал успехи русской словесности:

«Здесь в питомце Урании изящные искусства имеют поэта, философа и божественного оратора. Его мужественная душа, подобно кисти Рафаэля, с трудом снисходит к наивной любви, к изображению наслаждений, грациозного и невинного.

Они имеют изящного писателя Гофолии[95] в великом человеке, который первым заставил Мельпомену говорить на вашем языке… Прелести трагического, наиболее нежного, украшают вашу сцену, а в вашем Горации заключается все величие Корнеля. Если подобная параллель способна охарактеризовать двух гениев-творцов, находящихся среди вас, то, милостивые государи, нам снова остается повторить: изящные искусства обладают здесь всеми своими богатствами».

Среди слушателей речи Лефёвра были и Иван Шувалов, и Михаил Воронцов. (Петра Шувалова, отца Андрея Петровича, не было: отношения между ним и Воронцовым ухудшились.) Были и многочисленные представители французской колонии в Петербурге. Разумеется, содержание этой речи очень быстро стало известно Ломоносову, тем более что Строганов через Миллера, с которым он был близко знаком, вошел в академию с представлением о печатании «Рассуждения о прогрессе изящных искусств» отдельным изданием. Ломоносов воспротивился, а когда его не послушались, он (по словам самого Лефёвра) «подобно тому как ваши казаки нападают на отряд пруссаков, обрушась на издание моей книги, с яростью разбил набор». Однако брошюру снова набрали и напечатали, убрав из нее фразу о «двух гениях-творцах».

Судя по всему, именно эта фраза особенно задела Ломоносова. Признать Сумарокова равным себе «гением-творцом»

он не мог. Его возмущало, что иностранец, «не зная российского языка, рассуждает о российских стихотворцах и ставит тех в параллель, которые в параллели стоять не могут». В бессильной ярости он изливал душу на бумаге: «Genie créateur[96] перевел в свои трагедии из французских стихотворцев, что есть хорошее, кусками, с великим множеством несносных погрешностей в российском языке, и оные сшивал еще гаже своими мыслями. Genie créateur! Стихотворение принял сперва развращенное от Третьякова[97] и на присланные из Фрейберга сродные нашему языку и свойственные правила написал ругательную эпиграмму. Однако после им же последовал и по ним писал все свои трагедии и другие стихи. <…> Genie créateur! Директорство российского театра вел так чиновно, что за многие мечтательные его неудовольствия и неистовства лишен прежней команды. Genie créateur! Сколько ни жилился летать одами, выбирая из других российских сочинений слова и мысли и желая их превысить, однако толь же счастлив был коль Икар… Genie créateur! Сочинял любовные песни и тем весьма счастлив, для того что вся молодежь, то есть пажи, коллежские юнкера, кадеты и гвардии капралы так ему следуют, что он перед многими из них сам на ученика их походит».

Что до Строганова, то с ним у Ломоносова — вероятно, в доме Петра Шувалова — произошло резкое столкновение. Видимо, молодой барон, попеняв ученому за его выходку, позволил себе упомянуть о низком происхождении Ломоносова, которому следовало бы испытывать благодарность за то, что он стал частью высшего общества… Во всяком случае, Ломоносов понял его именно так. Взбешенный, он писал Шувалову (17 апреля 1760 года): «Хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть мне персон выскородных, которые мне низкой моей породою попрекают, видя меня как бельмо на глазе; хотя я своей чести достиг не слепым счастием, но данным мне от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения. И хотя я от Александра Сергеевича мог бы по справедливости требовать удовольствия за такую публичную обиду; однако я уже оное имею через то, что при том постоянные люди сказали, чтобы я причел его молодости, и приятель его то же говорил; а больше всего я тем оправдан, что он, попрекая недворянство, сам поступил не по дворянски». Дворянин в третьем поколении, «попрекающий недворянством» дворянина в первом поколении, — насколько это в духе русского XVIII века! Хотя, конечно, именитые люди Строгановы, сидевшие за царским столом, — это не то что черносошные крестьяне…

Что имелось в виду под «удовольствием» (то есть

удовлетворением) — непонятно. В середине XVIII века это означало жалобу в суд или в Сенат; спустя четверть столетия — дуэль. Несомненно, у Ломоносова в марбургской юности был опыт поединков, к тому же Строганов задел его именно как дворянин дворянина, но все же — в описанный момент ученому было под пятьдесят, он был тучным и уже не очень здоровым человеком: странно представить его дерущимся на рапирах с молодым аристократом. Характерно, что даже смертельно оскорбленный Ломоносов не забыл в этом письме напомнить Шувалову о своей просьбе, касающейся намеченной инаугурации Академического университета.

За Ломоносова заступился Андрей Шувалов, благоговевший перед ним с детства — и знавший, как относится Сумароков к его отцу. Он произнес в том же салоне новую речь на французском языке, которая вскоре была напечатана в парижском журнале «L'Année littéraire» (1760. № 5). В этой речи он воздал пышную хвалу «творческому гению» Ломоносова.

«Он отец нашей поэзии; он первый пытался вступить на путь, который до него никто не открывал, и имел смелость слагать рифмы на языке, который, казалось, весьма неблагодарный материал для стихотворства; он первый устранил все препятствия, которые, мнилось, должны его остановить…» Но даже такой пламенный поклонник Ломоносова, принадлежащий к новому поколению, не мог уже восхищаться им безоговорочно. Вот как характеризовал он ломоносовский стиль: «Мысли свои он выражает с захватывающей читателей порывистостью;…живопись его велика, величественна, поражающа, иногда гигантского характера; поэзия его благородна, изящна, возвышенна, но иногда жестка и надута…» По мнению Шувалова, у Ломоносова есть важный недостаток — «это отсутствие нежности». Ломоносов не умеет «говорить от сердца к сердцу»; «способный чертить мужественные штрихи, он слаб при изображении трогательного». И все же поэту «должно простить то, чего ему недостает, во имя того, чем он обладает… и кто же мог бы вообще отличиться во всех родах». Молодой поэт-аристократ не ограничился этим глубоким и тонким критическим отзывом: он представил франкоязычным слушателям и читателям избранные ломоносовские строфы в собственном переводе. Сумарокова же Шувалов характеризовал исключительно как драматурга, причем — как подражателя Расина, лишенного творческого дарования, но умеющего «трогать нашу чувствительность и увлекать наше сердце».

На сей раз взбешен был Александр Петрович, приписавший этот отзыв враждебности к нему всех Шуваловых (кроме Ивана):

«…отец его, мать, брат и он сам мои злодеи…»

Сумароковские выпады против Ломоносова тем временем продолжались. Еще до скандала из-за речи Лефёвра, в марте 1760 года, в журнале «Праздное время, в пользу употребленное» появилась его басня «Осел во Львовой шкуре»:

Осел, одетый в кожу Львову,
Надев обнову,
Гордиться стал,
И будто Геркулес под оною блистал…

Осел, выдавший себя за льва, стал вести себя гордо и надменно, «ворчал, мычал, рычал, кричал, на всех сердился» — как разбогатевший откупщик из крестьян:

Или когда в чести увидишь дурака
Или в чину урода
Из сама подла рода
Которого пахать произвела природа.

Хама разоблачила умная лисица, пришедшая просить у царя зверей милости — и сразу разобравшаяся, кто перед ней.

Сумароков и писатели его круга в своих произведениях постоянно обличали дворянскую спесь, доказывали, что важен не род, а «добродетель». Но это была теория. На практике, столкнувшись с уверенным в себе, надменным, напористым выходцем из низов, они не могли не попрекнуть его «подлым родом».

Ломоносов ответил басней «Свинья в лисьей шкуре». Он вывернул сюжет наизнанку: свинья, нацепившая шкуру мертвой лисы, приходит ко льву.

Пришла пред льва свинья, и милости просила,
Хоть тварь была подла, но много говорила,
Однако все врала,
И с глупости она ослом льва назвала.
Не вшел тем лев
Во гнев.
С презреньем на нее он, глядя, разсмеялся,
И тако говорил:
«Я мало бы тужил,
Когда б с тобой, свинья, вовек я не видался.
Тот час узнал то я,

Что ты свинья.
Так тщетно тщилась ты лисою подбегать,
Чтоб врать.
Родился я на свет не для свиных поклонов,
Я не страшусь громов.
Нет в свете сем того, чтоб мой смутило дух.
Была б ты не свинья,
Так знала бы, кто я,
И знала б, обо мне какой свет носит слух».

Сумароков еще пытался отругиваться, напечатал еще одну направленную против Ломоносова басню («Обезьяна-стихотворец»), написал несколько эпиграмм… Но самого Ломоносова в последние годы жизни полемика такого рода занимала куда меньше, чем смолоду. Не до того ему было.

Последняя по времени попытка Шувалова помирить двух поэтов послужила поводом для знаменитого ломоносовского письма, отправленного 19 января 1761 года. Накануне, 2 января, статский советник Мизере записал в своем дневнике: «Бешеная выходка бригадира Сумарокова за столом у камергера Ивана Ивановича. Смешная сцена между ним же и г. Ломоносовым».

Спустя две недели эта сцена имела вот такое, уже не очень смешное продолжение: «Никто в жизни меня больше изобидел, как ваше превосходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал может быть какое обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вы отозвали меня и поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! т. е. сделай смех и позор! Свяжись с таким человеком, от коего все бегают, и вы сами не ради. Свяжись с таким человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит, и бедное свое рифмачество выше всего человеческого знания ставит. <…> Не желая вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание, только в последний раз. <…> Ваше превосходительство, имея ныне случай служить отечеству вспомоществованием в науках, можете лутчие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю. И только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Буде он человек знающий, искусной, пускай делает пользу отечеству. Я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким человеком обращения иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, в которых и духу не смыслит. <…> Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого

Господа Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет».

Последняя фраза — одна из самых знаменитых у Ломоносова. Человек, не лишенный слабостей, который мог быть временами мелочно тщеславным и мелочно самолюбивым, нетерпимым и сварливым, здесь вдруг встает во весь свой рост. И мы внезапно видим личность не только несгибаемой силы, но и подлинного духовного аристократизма, до которой Сумарокову, не говоря уж о Тредиаковском, было далеко. Но это письмо многое говорит и о его адресате. Ломоносов понимал, что бескомпромиссность может испортить его отношения с меценатом и другом. «По сие время ужились мы в единодушии. Теперь по вашему миротворчеству должны мы вступить в дурную атмосферу». Но «единодушие» между Ломоносовым и Шуваловым не исчезло, что доказывает ум и благородство всемогущего фаворита.

Сумароков не просто «ничего не знал, кроме своего бедного рифмачества». Он демонстрировал характерное дворянское презрение к естественным наукам. После показного, для Шувалова, примирения «господин Сумароков, привязавшись ко мне на час, столько вздора наговорил, что я еле ноги унес». Вероятно, он иронически высказывался о «новых изобретениях», которым его оппонент посвятил жизнь. Ломоносов, в свою очередь, с таким же презрением относился к сумароковскому окружению, состоявшему в это время по большей части из актеров. «По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний, жена и дочь моя привыкли сидеть дома и не желают с комедиантами обхождения».

Так начался распад доселе единой русской культуры Нового времени на два с трудом сообщающихся русла…

8

Если литературная полемика Ломоносова с Сумароковым в 1750-е годы была связана с шедшей тогда в России политической борьбой, то его последняя по времени полемическая схватка с Тредиаковским стала неожиданным завершением драматического конфликта с церковными властями.

Шестого марта 1757 года Синод подал Елизавете Петровне «всеподданнейший доклад»: «В недавнем времени проявились в народе пашквильные стихи надписанные: Гимн бороде, в которых не довольно того, что пашквилянт под видом якобы на раскольников крайне скверные совести и честности христианской противные ругательства генерально на всех персон, как прежде имевших, так и ныне имеющих бороды, написал; но и тайну

святого крещения, к зазрительным частям человеческого наводя, богопротивно обругал, и чрез название бороду ложных мнений завесой всех святых отец учения и предания еретически похули».

В этом тяжеловесном тексте близко к оригиналу пересказывались некоторые строфы самого знаменитого сатирического стихотворения, вышедшего из-под пера Ломоносова.

Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвальну песнь пою
Волосам, от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.

Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.

Попечительна природа
О блаженстве смертных рода
Несравненной красотой
Окружает бородой
Путь, которым в мир приходим
И наш первой взор возводим.
Не явится борода,
Не открыты ворота.

Борода предорогая!..
<и т. д.>

О прикраса золотая,
О прикраса даровая,
Мать дородства и умов,
Мать достатков и чинов,
Корень действий невозможных,
О завеса мнений ложных!
Чем могу тебя почтить,
Чем заслуги заплатить?

К «раскольникам» непосредственно относились следующие

две строфы:

Борода в казне доходы
Умножает по вся годы:
Керженцам любезной брат
С радостью двойной оклад[98]
В сбор за оную приносит
И с поклоном низким просит
В вечный пропустить покой
Безголовым с бородой.

Борода предорогая!..
<и т. д.>

Не напрасно он дерзает,
Верно свой прибыток знает:
Лишь разгладит он усы,
Смертной не боясь грозы,
Скачут в пламень суеверы;
Сколько с Оби и Печеры
После них богатств домой
Достает он бородой.

Как мы уже писали, новая волна самосожжений была вызвана преследованиями со стороны господствующей церкви. Ломоносов с отвращением относился к старообрядческим вождям, считая их лицемерами, которые побуждают своих последователей к самосожжениям, чтобы завладеть их имуществом. Но и инквизиционная политика церковных властей не вызывала у него сочувствия.

Каковы бы ни были его собственно религиозные убеждения, врагом церкви как таковой Ломоносов не был. В конце концов, он получил духовное образование и сам чуть не стал священником. Какой-нибудь миссионер, несущий жителям отдаленных и пустынных мест завет Христов, а вместе с ним и грамоту, и цивилизацию, должен был вызывать у него живое сочувствие. В своей речи «Явление Венеры на Солнце» (1761) он говорит об этом с присущим ему дерзким гиперболизмом: «Некоторые спрашивают, ежели-де на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? <…> В южных великих землях, коих берега в нынешний век только примечены мореплавательми, тамошние жители, люди видом, языком и всеми поведениями от нас отменные, какой веры? И кто им проповедовал Евангелие? Ежели кто-то знать и обратить и крестить хочет, пусть по

евангельскому слову… туда пойдет. И как свою проповедь окончит, то после пусть поедет для того и на Венеру. Только бы труд его был не напрасен. Может, тамошние люди в Адаме не согрешили, и для того всех из того следствий не надобно»[99].

Но чтобы исполнить эту миссию, Русская православная церковь сама должна была преобразиться, реформироваться. Планы у Ломоносова на сей счет были довольно решительные (впоследствии, в 1761 году, он позволил себе частично предать их бумаге[100]). Сыграв в отношении русского языка роль, подобную роли Лютера, он, по крайней мере, теоретически примерял на себя его образ и в других отношениях. На этом пути он ощущал себя преемником Феофана Прокоповича — не случайна легенда о благословении, которое «спасский школьник» Ломоносов якобы от него получил. Предметом его ненависти были те круги, которые заняли первенствующее место в церкви при Елизавете. Вождями их были Димитрий Сеченов, епископ Рязанский, и Сильвестр Кулябко, архиепископ Санкт-Петербургский. Именно подписи «смиренного Сильвестра» и «смиренного Димитрия» первыми стояли под доносом.

Димитрий (Даниил Андреевич) Сеченов (1708–1767), хорошо знакомый Ломоносову еще по Славяно-греко-латинской академии (окончив курс в 1730 году, молодой Сеченов преподавал там риторику), и Сильвестр (Симеон Петрович) Кулябко (1701–1761) считались лучшими церковными ораторами той эпохи. Сеченов в качестве оратора был во многих отношениях литературным антагонистом Ломоносова. Его стиль — простой, грубоватый, лишенный славянизмов и других примет «высокого слога», сложных грамматических конструкций, изысканных тропов, но притом выразительный, бросал вызов феофановскому и ломоносовскому ученому красноречию. Об успехе проповедей Сеченова может косвенно свидетельствовать тот факт, что за восемь лет работы миссионером в Поволжье он склонил к православию 67 тысяч местных «инородцев»; правда, о степени добровольности и искренности этих обращений есть разные мнения. При этом «смиренный Димитрий» был гибок. Когда при Петре III и Екатерине II опять восторжествовала «феофановская» линия, он стал активным защитником секуляризации монастырских земель и благодаря этому сумел сохранить свое положение. Известно было, что у Сеченова — густая холеная борода, и он очень ею гордится.

В «Гимне бороде» есть прямой выпад против еще одного влиятельного церковника:

Если кто невзрачен телом

Или в разуме незрелом;
Если в скудости рожден
Либо чином не почтен,
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!

Как считают комментаторы, имеется в виду Гедеон Криновский (1726–1763), безвестный монах, понравившийся Елизавете Петровне и ставший придворным проповедником.

Почему Ломоносова так раздражали именно бороды священников? Напомним, что начиная с Петровской эпохи ношение бороды любым дворянином, служилым разночинцем, солдатом не допускалось. Отсутствие бороды означало соответствие человека государственному и общественному сверхпроекту. Борода была дозволена мужикам и купцам, людям, находящимся ниже общества, вне общества как системы, обязанных ему лишь уплатой податей. Священники носили бороду, что означало их автономность, независимость от государства и его целей. Но в то же время они были частью элиты и влияли на политику. Такого человека, как Ломоносов, это не могло не возмущать.

Члены Синода сразу рассудили, что «оной пашквиль, как из слога признавательно, не от простого, а от какого-нибудь школьного человека… произошел», и почему-то подозрение сразу же пало на Ломоносова. Вызванный в Синод для «свидания и разговора», он «исперва начал оной пашквиль шпынски защищать, а потом сверх всякого чаяния сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал, ибо в глаза пред синодальными членами таковые ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от доброго и сущего христианина надеяться отнюдь не возможно».

Угрозы «церковной клятвы» Ломоносова не испугали. Вскоре он «таковой же другой пашквиль в народ издал». Этот последний «пашквиль» уже прямо был направлен против Синода:

О страх! о ужас! гром! ты дернул за штаны,
Которы подо ртом висят у сатаны.
Ты видишь, он зато свирепствует и злится,
Дырявой красной нос, халдейска печь, дымится,
Огнем и жупелом исполнены усы,
О как бы хорошо коптить в них колбасы!
Козлята малые родятся с бородами:

Коль много почтены они перед попами!
О польза, я одной из сих пустых бород
Недавно удобрял бесплодный огород.
Уже и прочие того ж себе желают
И принести плоды обильны обещают.
Чего не можно ждать от толь мохнатых лиц,
Где в тучной бороде премножество площиц?
Сидят и меж собой, как люди, рассуждают,
Других с площицами бород не признавают
И проклинают всех, кто молвит про козлов:
Возможно ль быть у них толь много волосов?

Духовных пастырей особенно обидело сравнение с козлами. В своей жалобе они ссылались на пункт 149 главы 18 Военного артикула Петра Великого, предписывающий «пасквилей сочинителей наказывать, а пасквильные письма через палача под виселицей жечь». Таким образом просили они поступить и с «Гимном бороде», а Ломоносова «для надлежащего увещевания и исправления в Синод отослать».

Кроме Кулябко и Сеченова донос подписали «смиренный Амвросий, епископ Переяславский» и «смиренный Варлаам, архимандрит Донской».

Никаких последствий донос не имел. Иван Шувалов без труда убедил императрицу, что его ученый друг, который пишет такие звучные оды и делает такие красивые картинки из цветных стеклышек, имел в виду исключительно «раскольников». В конце концов Елизавета, при всем своем благочестии, была в первую очередь женщиной и, скорее всего, ей не нравились бородатые мужчины.

За отсутствием других методов члены Синода обратились к литературной полемике.

В начале июля Ломоносов получил письмо, якобы посланное из Холмогор и подписанное именем Христофора Зубницкого. Письмо начиналось так: «Государь мой! Не довольно ли того к чести и награждению ума человеческого, что произведений оного не может остановить никакая дальность стран и никакое может подвергнуть опасности неизвестности, хотя бы кто нарочно скрывать оные старался? Как ни за дальную страну почитается в России отечество ваше, однако и тут сочинение, произошедшее от некоего стихотворца и названное Имн бороде обще от всех читается».

Но, по словам автора письма, «Имн» вызвал в Холмогорах всеобщее осуждение. «Мне не случилось слышать, что бы кто хотя

мало в пользу сочинителя сказал; а все обще говорили, что такое беспутное сочинение от доброго человека, а тем паче от христианина произойти не может». Дальше приводится длинный монолог некоего «знакомца» автора письма, почтенного и доброго человека, который, прочитав «пашквиль», узнал автора, «будто бы по ступени Геркулеса». Вот что сказал этот благородный муж: «Лутшего де ничего нельзя ожидать от безбожного сумасброда и пьяницы. Недовольно того, что сей негодный ярыга, ходя по разным домам и компаниям, в разговоры употребляет всякие насмешки и ругательства закону нашему. <…> Что ж просто и собственно до бороды касается, то не думайте, господа, чтоб я толь ревностный оныя защитник был; я и сам держусь старой латинской пословицы, что не борода делает философа. Однако между бородой и бородой надлежит иметь различие. Расколщики наши… носят оную по упрямству, по предуверению и некоторому ложному надеянию в отношении спасения; а напротив того духовный чин наш носит оную по древнему церковному узаконению и обыкновению».

Ломоносова «знакомец» Зубницкого характеризует так: «Он столько подл духом, столько высокомерен мыслями, столько хвастлив на речах, что нет такой низости, которой бы не предпринял ради своего малейшего интереса, например для чарки вина; однако я ошибся, это — его наибольший интерес! <…> Не велик пред ним Картезий, Невтон и Лейбниц со всеми новыми и толь в свете прославленными их изысканиями; он всегда за лучшие и важнейшие свои почитает являемые в мир откровения, которыми не только никакой пользы отечеству не приносит, но еще напротив вред и убыток употребляя на немалые казенные расходы, а напоследок вместо чаемой хвалы и удивления от ученых людей заслуживая хулу и порицание, чему свидетелем могут быть „Лейпцигские комментарии“».

Все же не зря Ломоносов переводил «Вольфианскую физику» и посылал свой перевод знакомым архиереям. «Бородачи» больше не презирали современную науку: наоборот, они с почтением поминали имена Декарта (Картезия), Ньютона и Лейбница, а Ломоносова упрекали за недостаточное почтение к великим европейским ученым. Автор немецкого пасквиля тоже, кстати, обвинял Ломоносова в хуле на Ньютона и Лейбница. Ломоносов в самом деле не принимал лейбницевской монадологии, и у него были сомнения в универсальности ньютоновской механики.

Однако откуда обо всем этом вообще могли узнать члены Синода? И откуда могли они узнать о неодобрительном отзыве на научные работы Ломоносова, появившемся в 1754 году в журнале «Лейпцигские комментарии»? Вероятно, их информировал кто-то

из коллег ученого по Академии наук — скорее всего, гуманитарий, который сам толком не понимал сути разногласий между естествоиспытателями.

Лишь в одном отношении «знакомец» Зубницкого готов был отдать Ломоносову справедливость: «Правда, что стихотворством своим, и то на одном русском языке мог бы он получить некотору похвалу, ежели б не помрачил оной пьянством и негодным поведением». Почтенный муж из Холмогор советует «сей же самой Имн переворотить и вместо бороды описать пьяную его голову со всеми ее природными свойствами».

Дальше следовал стихотворный текст под названием «Переодетая борода, или Имн пьяной голове». Как многие полемические произведения того времени, этот текст был построен очень незамысловато — по принципу «сам съешь». Полностью воспроизводится структура «Гимна бороде», повторяются даже многие рифмы.

Не напрасно он дерзает;
Пользу в том свою считает,
Чтоб обманом век прожить,
Общество чтоб обольстить
Либо мозаиком ложным,
Или бисером подложным,
Иль сребро сыскав в дерьме,
Хоть к ущербу всей казне.

Голова… <и т. д.>

Есть ли правда чтоб планеты
Нашему подобны свету,
Конче пьяниц так таких,
Нет и сумасбродов злых,
Веру чтоб свою ругали,
Тайны оных осмевали;
Естьли ж появятся тут,
Дельно в срубе их сожгут!

Голова… <и т. д.>

С хмелю безобразен телом
И всегда в уме незрелом,
Ты, преподло быв рожден,
Хоть чинами и почтен;
Но за пребезмерно пьянства,

Бешенства, обман и чванство
Всех когда лишат чинов,
Будешь пьяный рыболов.

Голова… <и т. д.>

«Переодетая борода…» была послана также в «Ежемесячные сочинения» к Миллеру и его соредактору Никите Попову и, кроме того, Тредиаковскому. Разумеется, автор «пашквиля» не рассчитывал всерьез на его публикацию в академическом журнале. Но он надеялся, что Миллер и Тредиаковский, у которых с Ломоносовым были свои давние счеты, не преминут распространить хулящие его стихи. В отношении Тредиаковского эти надежды вполне оправдались. Резонно предположить, что именно Тредиаковский, которого в молодости обвиняли в вольномыслии и чуть ли не в атеизме и который в 1750-е годы был склонен подчеркивать свое благочестие и сблизился с церковными кругами, как раз и был тем человеком, который информировал Синод об академических делах. Однако «Христофор Зубницкий» — явно какое-то другое лицо. И не только потому, что Василий Кириллович был одним из адресатов писем Зубницкого. Литературный стиль Тредиаковского легко узнаваем; «Переодетая борода…» и приложенные к ней письма написаны совершенно иначе. Едва ли, впрочем, автором был сам Сеченов или сам Кулябко: скорее, какой-нибудь молодой человек из их окружения, хорошо овладевший новым стихосложением. Но Ломоносов, вероятно, решил, что какое-то отношение к «пашквилю» Василий Кириллович иметь должен. И потому ответный удар он нанес именно своему давнему литературному противнику. Таким образом, конфликт с церковным руководством, который в конечном итоге мог повредить ломоносовским ученым начинаниям, изящно переводился в русло профессиональной полемики между двумя литераторами и филологами. Вероятно, именно такую цель преследовало послание Ломоносова «Христофору Зубницкому»:

Безбожник и ханжа, подметных писем враль!
Твой мерзкой склад давно и смех нам и печаль:
Печаль, что ты язык российской развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
Наплюем мы на страм твоих поганых врак:
Уже за тридцать лет ты записной дурак;
Давно изгага всем читать твои синички,
Дорогу некошну, вонючие лисички;

Никто не поминай нам подлости ходуль
И к пьянству твоему потребных красоуль.
Хоть ложной святостью ты Бородой скрывался,
Пробин, на злость твою взирая, улыбался:
Учения его и чести и труда
Не можешь повредить ни ты, ни Борода.

Желая побольнее уколоть Тредиаковского, Ломоносов упомянул его несолидную «шутовскую» роль при дворе Анны Иоанновны и неуклюжие рифмы (синички — лисички, ходуль — красоуль) из его незапамятной давности стихов («Песенка, написанная еще дома перед отбытием в чужие края», откуда взята первая рифма, датируется 1726 годом!). Разумеется, Тредиаковский не мог оставить этот выпад без ответа. На сей раз он попытался продемонстрировать тонкую язвительность;

Цыганосов когда с кастильских вод проспится, —
Он буйно лжет на всех, ему кто ни приснится;
Не мало изблевал клевет и на меня,
Безчестя без причин и всячески браня.
Его не раздражал поныне я ни словом,
Не то чтоб на письме в пристрастии суровом.
Пусть так! Я в месть ему хвалами заплачу,
Я лаять так, как пес, и в правде не хочу.
Цыганосов сперва не груб, но добронравен,
Не горд, не самохвал, и в должностях исправен,
Цыганосов не зол, ни подлости в нем нет,
Непостоянства вдруг не зрится ни примет;
Цыганосов есть трезв, невздорлив и небешен,
Он кроток, он учтив, он в дружестве утешен;
Цыганосов притом разумен и учен,
Незнанием во всем отнюдь не помрачен;
Цыганосов всем вся, как дивный грамматист,
Как ритор, как пиит, историк, машинист,
Как физик, музыкант, художник, совершитель
Как правоты нигде в речах ненарушитель;
Цыганосов не враль, а стилем столь высок,
Что все писцы пред ним, как прах или песок;
Цыганосов своим корысти чужд рассудком,
К чухоночкам ему честь только есть побудкам,
Не хульник мужних жен, пронырством не смутник,
Не роет сверстным рва, а тем не наушник;
Цыганосов не плут, да правосерд и верен,
Чист в совести своей, всегда не лицемерен;

Цыганосов святынь любитель, в том не льстив,
Священства чтитель он и внутрь благочестив;
Цыганосов душой, как не ханжа, не ложен,
Благоговенья полн, и верою набожен;
Цыганосов толь благ, почтить коль не могу;
Цыганосов… цыть, цыть! вить похвалу я лгу.

Как и его оппонент, обиженный Тредиаковский обращается к «преданиям старины глубокой». «Кастильские воды» (вместо «кастальские») — опечатка, допущенная при первой публикации «Оды на взятие Хотина». Эта злосчастная опечатка, впрочем, на все лады обыгрывалась литературными противниками Ломоносова до самой его смерти. Что имеет в виду Тредиаковский, говоря о «чухоночках», неясно: едва ли в самом деле речь идет о любовных похождениях стареющего Михайлы Васильевича; скорее — о каком-то эпизоде тех давних лет, когда Ломоносов и Тредиаковский приятельствовали и были в курсе личной жизни друг друга. «Хульник мужних жен» — тоже намек на понятные только двум-трем людям обстоятельства: вероятно, Ломоносов что-то не то сказал о супруге Василия Кирилловича.

Полемика продолжалась еще некоторое время. То ли сам Ломоносов, то ли кто-то из его учеников и приверженцев (скорее всего, Барков) сочинил еще несколько памфлетов, высмеивающих «Трисотина», который «предерзостью своей ободрил бородачей», и нетерпимых церковников. Таким образом, в этой литературной дуэли последнее слово все же осталось за Ломоносовым.

9

В 1751 году Ломоносов выпустил двухтомное собрание сочинений в стихах и в прозе. В него вошло девять од Елизавете Петровне и одна Анне Иоанновне. За пределами книги, естественно, остались две оды несчастному Иоанну Антоновичу. Итого за двенадцать лет — двенадцать од, и это не считая «Вечернего» и «Утреннего размышления…», «Оды выбранной из Иова» и переложений псалмов. За последующие четырнадцать лет жизни Ломоносов написал всего шесть од. Все они созданы в связи с тем или иным официальным поводом и не содержат ничего принципиально нового в сравнении с ломоносовской высокой лирикой 1740-х годов — ни в содержательном, ни в формальном отношении. Последним подлинным шедевром Ломоносова в этом жанре стала «Ода, в которой ее величеству

благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему высочайшую милость в Сарском Селе августа 27 дня 1750 года». Речь идет об аудиенции, которой Ломоносов был удостоен благодаря «предстательству» Шувалова.

В начале этой оды Ломоносов описывает только создающуюся (при участии Растрелли, Чевакинского, Квасова и других зодчих) главную загородную императорскую резиденцию. Ломоносов первым открыл русской поэзии мир петербургских пригородных парков. Но напрасно мы стали бы искать в его стихах реалистических, пусть даже идеализированных описаний царскосельского и петергофского парков (как в державинских «Развалинах» или в пушкинских «Воспоминаниях в Царском Селе»). Пейзаж у Ломоносова, как, собственно, и у любого поэта XVIII века, — это совершенно абстрактные «луга, кустарники, приятны высоты», где шумит листва, благоухают цветы, текут ручейки, веют зефиры и т. д. Единственное, что по-настоящему останавливает взгляд Ломоносова, — это технические приспособления, преобразующие «натуру», например петергофские фонтаны:

> …хитрость мастерства преодолев природу,
> Осенним дням дает весны прекрасный вид
> И принуждает верьх скакать высоко воду,
> Хотя ей тягость вниз и жидкость течь велит.

Так же абстрактно, но по-своему выразительно описывается Сарское Село в оде 1750 года.

> В средине жаждущего лета,
> Когда томит протяжный день,
> От знойной теплоты и света
> Прохладна покрывает тень,
> Где ветвьми преклонясь зелены,
> В союз взаимный сопряженны,
> Отводят влажные лучи.
> Но коль великая отрада
> И томным чувствам тут прохлада,
> Как росу пьют цветы в ночи.

Эта строфа — лучший ответ тем младшим современникам Ломоносова, кто считал, что его перу чужда «нежность», что он не может передавать тонкие оттенки чувств. Во второй части оды Ломоносов, воодушевленный «милостью» императрицы,

удостоившей его аудиенции, снова, как в оде 1747 года, прославляет «счастливые науки» и широкой кистью описывает предстоящие титанические труды:

Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рефейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет…

Однако главные свершения Ломоносова-поэта в 1750–1760-е годы — это произведения иных жанров: «Письмо о пользе стекла» — образец дидактической поэмы в традициях, допустим, Александра Попа, «Петр Великий» — эпопея; к этому надо добавить дружеские послания (в основном тому же Шувалову) и довольно многочисленные «стихи на случай», очень часто восходящие к иноязычному оригиналу. Написал он даже одну идиллию — «Полидор», в связи с «избранием» его непосредственного начальника, Кирилла Разумовского, гетманом Украины[101]. Изменился и стиль: поэт стремился теперь писать более сдержанно, логично, без развернутых метафор, смелых определений, пышных гипербол. Эпоха барокко уходила в прошлое.

Ломоносова, в отличие от Сумарокова и других поэтов-современников, не слишком привлекала роль «исправителя нравов». В его стихах не встретишь многословного изложения просветительских моральных прописей. Его Просвещение — это, прежде всего, развитие науки, изучение и технологическое переустройство мира. «Письмо о пользе стекла» содержит не призывы к добродетели, а увлеченное описание чудесных свойств обыденного, казалось бы, вещества. Описывая природные процессы и их исследования, Ломоносов переживает вдохновение, и его голос начинает звучать в полную силу. Таково, например, описание «рождения» стекла от брака огня и земли:

Внезапно черный дым навел густую тень
И в ночь ужасную преобразился день.
Не баснословного здесь ради Геркулеса
Две ночи сложены в едину от Зевеса:
Но Этна правде сей свидетель вечный нам,
Которая дала путь чудным сим родам.
Из ней разжженная река текла в пучину,

И, свет, отчаясь, мнил, что зрит свою судьбину!
Но ужасу тому последовал конец:
Довольна чадом мать, доволен им отец.
Прогнали долгу ночь и жар свой погасили,
И Солнцу ясному рождение открыли.
Но что ж от недр земных родясь произошло?
Любезное дитя, прекрасное стекло.

В 1756 году Ломоносов начал работу над эпопеей «Петр Великий», которая должна была, по идее, стать его главным поэтическим произведением. Ведь, согласно системе классицизма, именно эпическая поэма, созданная по образцу «Илиады», «Одиссеи» и «Энеиды», является вершинным поэтическим жанром. Но, как правило, чем ближе были эпики той поры к своему образцу, тем реже им улыбалась удача. У поэтов XVIII века гораздо лучше получались пародии на эпос. Никто, кроме специалистов, уже в XIX веке не читал «Генриаду» Вольтера, а его шутливая «Орлеанская девственница» — и ныне живое литературное явление. Так же обстоит дело и в русской поэзии.

Существовали разные мнения и о том, что может быть темой эпоса, и о том, как его писать. Тредиаковский, скажем, считал, что сюжет эпической поэмы должен быть непременно взят из античной мифологии. Он стремился точно воспроизвести античный гекзаметр средствами русского языка (тогда как Ломоносов, Сумароков и другие поэты той поры предпочитали в качестве русского эквивалента гекзаметра александрийский стих). Так написана им «Тилемахида» (1766), завершившая его творческий путь и навлекшая на него новые насмешки. Екатерина II заставляла своих придворных читать отрывки из этой поэмы вслух в наказание за нарушения этикета и другие мелкие проступки. Правда, последующие поколения были к «Тилемахиде» добрее: Радищев взял строку из нее эпиграфом к своей знаменитой книге, Дельвиг, который сам был мастером русского гекзаметра, находил в поэме Тредиаковского удачные места.

Но большинство русских поэтов искали темы для эпоса в отечественной истории. Кантемир начал (но не закончил) поэму «Петрида», а младший современник Ломоносова, Михаил Херасков, в своей пользовавшейся большим успехом «Россияде» воспел взятие Казани Иваном Грозным. В этом ряду находится и поэма Ломоносова.

Две первые части «Петра Великого», посвященные началу

Северной войны — посещению Петром Архангельска и Соловецкого монастыря, осаде и взятию Шлиссельбурга, вышли в 1761 году и были встречены довольно холодно. Сумароков, разумеется, написал злобную эпиграмму — «эпитафию»:

Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер,
Который пел, не знав галиматии мер;
Великого воспеть он мужа устремился:
Отважился, дерзнул, запел, а осрамился,
Оставив про себе потомству вечный смех.
Он море обещал, а вылилася лужа.
Прохожий! Возгласи к душе им пета мужа:
Великая душа, прости вралю сей грех!
Фирс — это Терсит, отрицательный персонаж «Илиады».

Но и эпопеи Ломоносов не закончил, как не закончил он большей части начатых им трудов… Впрочем, Шувалов рассказывал, что это была лишь «проба», исполненная поэтом по его, Шувалова, просьбе, для представления императрице. Императрица вскоре умерла, Шувалов и Воронцов утратили свое влияние — стимула к продолжению работы над «Петром Великим» больше не было.

Еще одна сторона ломоносовского поэтического творчества в поздний период — анакреонтика.

От реального Анакреона (Анакреонта) Теосского (ок. 570–478 до н. э.), считавшегося мастером легкой лирики, простодушным певцом радости, легкого хмеля и безмятежной любви, сохранилось лишь несколько стихотворений и отрывков. Но спустя полтысячелетия, а то и больше, после смерти поэта был составлен сборник под названием «Анакреонтика», куда вошли анонимные стихотворения, написанные в «анакреонтическом духе». Именно их и переводили поэты XVIII–XIX веков, в том числе Кантемир и Ломоносов, в полной уверенности, что имеют дело с подлинными произведениями «Тиского певца». Первый образец анакреонтической поэзии героя нашей книги относится еще к марбургскому периоду[102]. Очень изящное переложение из «Анакреонтики» содержится в «Кратком руководстве к красноречию»:

Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.
Внезапно постучался

У двери Купидон,
Приятной перервался
В начале самом сон.
«Кто так стучится смело?» —
Со гневом я вскричал.
«Согрей обмерзло тело, —
Сквозь дверь он отвечал. —
Чего ты устрашился?
Я мальчик, чуть дышу,
Я ночью заблудился,
Обмок и весь дрожу».

Неблагодарный Купидон ранил гостеприимного хозяина острой стрелой.

Другой образец ломоносовской анакреонтики относится уже к самому последнему периоду его творчества и может служить отличным примером поэтического переосмысления традиционных мотивов. Это «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же»:

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, всё твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.

В последней строке, не имеющей параллелей в греческом стихотворении, мы слышим искреннюю жалобу Ломоносова — утомленного жизнью человека, который взвалил на себя огромные обязательства, чья жизнь проходит в хлопотах. Иногда и этому полному жизни и воли титану хотелось сбросить все желания и заботы и стать «бесплотным», легким, ко всему равнодушным, как кузнечик, сосущий медвяную росу в травах на обочине петергофской дороги.

Между прочим, именно с этой поры кузнечик и другие насекомые прочно поселились в русской поэзии. Здесь можно вспомнить многое — от державинской «Оды комару» до жука,

жужжащего на онегинских страницах, от фетовских пчел до апухтинских мух… Но, конечно, больше всего крохотных тварей заползло и залетело в стихи обэриутов. Что же до кузнечика, его образ стал для российской музы сквозным и традиционным. А все началось с анакреонтического стихотворения Михайлы Васильевича, который, оказывается, иногда был внимателен не только к космическим далям, но и к мелким частностям Натуры.

В 1757–1761 годах Ломоносов создает цикл «Разговор с Анакреоном», состоящий из переводов и «ответов» Ломоносова своему воображаемому древнему собеседнику. Певцу радости и счастья отвечает певец разума и державы. Но какая неуверенность в его ответах, какая тайная ностальгия по блаженной безответственности временами сквозит в его голосе — и как вдохновенно передает он игривые анакреоновские строки! В середине стихотворения появляется неожиданный образ.

От зеркала сюда взгляни, Анакреон,
И слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон:
«Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревности на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь».
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой,
Его угрюмством в Рим не возвращен покой;
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград,
Ножом он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина;
Несходства чудны вдруг и сходства понял я,
Умнее кто из вас, другой будь в том судья.

История Рима знает двух Катонов. Здесь имеется в виду Катон Младший, Утический, противник Цезаря, покончивший с собой в 46 году до н. э. Монархист Ломоносов ощущает неожиданное родство с этим неколебимым республиканцем, подчинившим свою жизнь «общему делу». Ломоносов и Катон противостоят гедонисту Анакреону. Но поэт не может с уверенностью сказать, какой путь лучше и достойнее человека.

«Угрюмством» Катона «не возвращен покой в Рим». Увенчаются ли успехом начинания самого Ломоносова? Он в растерянности, в сомнении. Ему даже видится в судьбах Анакреона и Катона, сквозь все «несходства чудны», некое сходство. Что имеется в виду? Может быть, тщета всех человеческих усилий?

Во всяком случае, эти стихи не случайно остались в рукописи…

Глава седьмая
СОКРОВЕННЫЕ ЧЕРТОГИ НАТУРЫ

1

Заслуги Ломоносова — поэта и филолога ясны и бесспорны. Гораздо сложнее обстоит ситуация с естественными науками, которые сам Ломоносов считал главным делом своей жизни.

В оценке вклада Ломоносова — химика, физика, астронома, минеролога в мировую науку существовало, в разные времена, две крайности. Вплоть до 1860-х годов считалось, что значение трудов Ломоносова-естествоиспытателя — сугубо местное, локальное, что никаких мало-мальски существенных открытий в его активе не числится. Вот что пишет, к примеру, Радищев: «Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел ни малейшия былинки, которую бы не зрели лучшие его очи, не соглядел ниже грубейший пружины в естественности, которую бы не обнаружили его предшественники… Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия великолепные ее описал слогом чистым и внятным». Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» сам не был сведущ в естественных науках, но он повторял общее мнение, восходящее, вероятно, к некоторым коллегам Ломоносова по академии. С другой стороны, в советское время (начиная с 1940-х годов) Ломоносов был провозглашен одним из величайших естествоиспытателей в мировой истории. Однако эта слава почему-то ограничивалась пределами России.

Причины таких противоречий, в общем, понятны. Во-первых, людей, способных оценить стихотворение, во все времена гораздо больше, чем тех, кто может самостоятельно разобраться в актуальном сочинении по теории растворов или по атмосферному электричеству. Поэтому субъективный фактор сказывается здесь гораздо сильнее. Разумеется, по прошествии времени положение меняется — сегодня для понимания естественно-научных трудов Ломоносова, в общем, достаточно знаний в пределах школьной программы. Но многие ли будут для собственного удовольствия читать химические или физические труды двухсотлетней давности?

Во-вторых, история естественных наук как самостоятельная дисциплина сформировалась лишь в конце XIX века. Кроме того, чтобы оценить значение иных открытий или теорий, требуется

иногда очень длительный срок. Наконец, как правило, одно и то же открытие делается одновременно несколькими учеными в разных странах[103]. Проблема приоритета в таких случаях в каждой стране решается обычно исходя из патриотических соображений.

Как же сам Ломоносов оценивал свои научные заслуги? Точнее — какие именно из своих работ он считал имеющими универсальную ценность?

За год до смерти уже тяжело болевший ученый подвел итог своей деятельности во всех областях. Отдельно был составлен (по-латыни) «Список важнейших открытий, которыми постарался обогатить естественные науки Михайло Ломоносов…». В этом списке девять пунктов.

Во-первых, Ломоносов ставит себе в заслугу труд «Размышления о причинах теплоты и холода», «где доказывается, что сила теплоты и разное напряжение ее происходят от вращательного движения собственной материи тел, различно ускоряемого, а холод объясняется замедленным движением частичек… и устраняются смутные домыслы о некоей бродячей, беззаконно скитающейся тепловой материи».

Второй пункт — диссертация «О причине упругости воздуха», в которой автор приходит «к механическому объяснению причин упругости… согласованному во всех своих выводах с нашей теорией теплоты».

Третья заслуга Ломоносова — «основанная на химических опытах и физических началах теория растворов», которая есть «первый пример и образец для основания истинной физической химии».

Затем ученый переходит к своим работам в области металлургии. «В физической республике[104] не было ясного представления о явлениях, производимых природой в царстве минеральном, в недрах земли… пока упомянутый господин Ломоносов, вооружившись физикой и геометрией, в диссертации „О светлости металлов“ („Новые комментарии“, том I) и „Слове о рождении металлов от трясения земли“… <…> не показал, как далеко можно продвинуться таким путем в раскрытии и основательном изучении подземных тайн».

Дальше — работы по изучению электричества, «где на основании… опускания верхней атмосферы в нижнюю даются вполне приемлемые (если не угодно назвать их несомненными) объяснения внезапных холодов, сил молний, северных сияний, хвостов великолепных комет».

Шестое свое достижение Ломоносов видит в том, что в «Слове о происхождении света цветов…» «показывается, сколь прочно и

правильно несравненными мужами Картезием и Мариоттом установлена теория света и числа цветов». Но Ломоносов не только нашел новые аргументы в пользу чужой теории: им также «предлагается новая элементарная система и вводится новое, доселе неизвестное свойство первичных элементов, обозначаемое названием „совмещение“».

Дальше идут три пункта, относящиеся к одной работе — «Рассуждение о большей точности морского пути». По собственному убеждению, Ломоносов с помощью изобретенных им и описанных в этой работе приборов доказал, что центр земной тяжести изменчив и его изменения «приблизительно соответствуют лунным движениям», что сила тяжести на земле также непостоянна и что «изменение высоты обычного барометра зависит не только от различного давления атмосферы».

Какие из этих открытий подлинные, в каких случаях Ломоносов был прав лишь отчасти, в каких — лишь дублировал чужие работы, в каких — шел по ошибочному пути? И какие свои важные, с нынешней точки зрения, открытия он забыл упомянуть? Что думают об этом в наши дни беспристрастные историки науки?

2

Суть всей ученой работы Ломоносова в 1741–1744 годах, особенно интенсивной в те месяцы, когда он находился под арестом, — в попытке создать совершенно новую, физическую, или «математическую», химию. Вслед за Робертом Бойлем и своим учителем Христианом Вольфом Ломоносов пытается выстроить науку о веществе на основе корпускулярной теории, при этом введя в нее те законы и принципы, которые уже были в то время известны математикам и механикам. Работа эта носила по необходимости чисто теоретический характер.

В «Элементах математической химии» (1741) и нескольких работах, созданных два года спустя, незаконченных и оставшихся в рукописи («Опыт теории о нечувствительных частицах тел», «О составляющих физические тела нечувствительных частицах» и др.), Ломоносов пытается систематически описать сложившуюся у него «картину мира» — мира физических явлений. Картина эта довольно проста: все тела состоят из «собственной» и «посторонней» материи. Собственная материя — это несметное множество «мельчайших нечувствительных частиц», которые тоже суть тела: они имеют протяженность, непроницаемы, обладают силой инерции и вообще действуют по законам механики. Между

этими нечувствительными частицами находится «посторонняя материя», которая частью связана силой инерции частиц, частью свободно «струится через промежутки в теле». Все свойства тел и их изменение объясняются соединением, разделением, перемещением и т. д. нечувствительных частиц. Тела бывают «однородные» (состоящие из частиц одного вида) и «разнородные».

Все это вполне соответствует характерным для XVIII века, «столетья безумна и мудра», как позднее назвал его Радищев, представлениям о мире как об отлично слаженной, раз и навсегда заведенной машинке. Ключом к мирозданию тогдашним мыслителям казалась механика, как мыслителям XX века — языкознание и психология.

Как мы уже отмечали, атомистика сама по себе — не изобретение XVIII столетия: она восходит к Демокриту и Лукрецию. Уже современник и соперник Декарта Пьер Гассенди ввел в своем посмертно опубликованном сочинении «Syntagma philosophicum» (1658) термин «молекула». Таким образом французский философ называл соединения атомов, складывающиеся из них, «как слова из букв». Бойль и вслед за ним Ломоносов предпочитали говорить о простых и сложных корпускулах, но в целом у них было вполне отчетливое представление об атомно-молекулярном строении вещества. Оставалось два дискуссионных вопроса. Во-первых, являются ли атомы математической абстракцией, содержащими в себе весь мир лейбницевскими монадами — или просто мельчайшими частицами материи, обладающими весом и заполняющими пространство (Ломоносов, как мы видим, твердо стоял на последней точке зрения). Во-вторых, существует ли между атомами ничем не заполненная пустота. Вслед Декарту Ломоносов считал, что «природа не терпит пустот», но, в отличие от него, не верил в бесконечную делимость корпускул. Поэтому его концепция нуждалась в идее межатомной «посторонней жидкости», чья структура оставалась непроясненной.

Первые работы Ломоносова были написаны вольфовским «математическим методом». Это устраивало молодого ученого, поскольку эти труды писались, вероятно, в первую очередь для себя, с целью систематизации своих фундаментальных представлений. Впоследствии он возвращался к мысли о создании цельной «системы корпускулярной философии», но боялся, что коллеги увидят в ней лишь «незрелый плод скороспелого ума» (письмо Эйлеру от 5 июля 1748 года).

Когда Ломоносов приступил к работам более частного характера, которые предназначались для публикации, сухой

«математический метод», вероятно, вступил в конфликт с риторической выучкой поэта-естествоиспытателя, и Ломоносов отказался от него ради более живой и развернутой манеры изложения.

В конце 1744-го — первой половине 1745 года адъюнкт Ломоносов представил академии три диссертации. Первая называлась «Размышления о причинах теплоты и холода». Восторга у коллег она не вызвала. Как свидетельствуют академические протоколы, по завершении чтения работы 21 января «некоторые из академиков вынесли о ней такое суждение: нужно похвалить охоту и прилежание господина адъюнкта, занявшегося изучением теории теплоты и холода; но им кажется, что он еще слишком преждевременно взялся за дело, которое по-видимому пока еще находится выше его сил. Во-первых, доводы, которыми он попытался частью утвердить, частью опровергнуть различные внутренние движения тел, совершенно недостаточны. <…> Затем господину адъюнкту поставили на вид, что он поносит в своем произведении Бойля, столь известного своими трудами: он извлек из писаний Бойля те места, в которых этот последний как будто говорит вздор, но обошел молчанием очень многие другие, в которых Бойль дал образчики глубокой учености. Г-н адъюнкт отрицал преднамеренность своего поступка».

Ломоносова часто обвиняли в неуважении к предшественникам. В данном случае обвинение едва ли справедливо. Коллег Ломоносова по академии интересовало скорее соблюдение научных условностей. Впрочем, Ломоносов переделал работу с учетом их замечаний, и в таком, переделанном, виде она появилась в первом томе «Новых комментариев» среди работ, одобренных к печати в 1747 и 1748 годах.

Взгляды ученых XVIII века на природу теплоты были характерны для их мировосприятия. Столкнувшись с тем или иным свойством тел, будь то упругость или способность к горению, естествоиспытатель той поры предпочитал объяснять его наличием в составе тела особого рода субстанции, объясняющей именно это свойство. Считалось, что наряду с вещественными химическими элементами существуют и «невещественные», невесомые (например, свет). Одним из таких воображаемых веществ был теплород, или теплотвор. Не все физики верили в его существование, но большинство верило. Некоторые считали, что есть и особое «вещество холода», содержащееся в солях (так как при их растворении происходит охлаждение жидкости). Ломоносов был в числе очень немногих

сторонников кинетической теории теплоты, считавших, что ее источник — в движении частиц. На сходной точке зрения стояли Даниил Бернулли и Рихман. Однако именно Ломоносов создал наиболее развернутую в XVIII веке механическую теорию теплоты.

Разумеется, теория Ломоносова, в основе которой лежала идея вращательного (коловратного) движения частиц, отличается от представлений современной науки, и все же по существу мысли ученого были верны. Но чтобы это стало очевидным, должно было пройти столетие. Еще в 1850-е годы в учебниках писалось, что теплота — это «особенная жидкость, которая располагается между атомами весомых тел». Н. А. Любимов, автор работы «Ломоносов как физик» (1855), считал, что кинетическая теория теплоты без сомнения «имеет только историческое значение». Между тем к тому времени эксперименты Г. Дэви, Д. Джоуля и других подтвердили эту теорию и всего через десять лет она стала общепринятой.

Помимо прочего, историки науки обращают внимание на 25-й параграф ломоносовской работы, где сказано, что при полном прекращении движения частиц достигается крайняя степень холода. Считается, что русский ученый «предсказал» понятие абсолютного нуля, введенного в науку Кельвином лишь в 1870 году.

Другая работа, чтение которой также завершилось 21 января, — «О вольном движении воздуха, в рудниках примечаемом», не содержала никаких сенсационных или спорных гипотез и не вызвала возражения академиков. Здесь Ломоносов впервые коснулся темы, которая впоследствии будет занимать немало места в его исследованиях: зависимость перемещения воздушных масс от их температуры.

«Рассуждение о действии химических растворителей вообще» было первой собственно химической работой петербургского периода. Читалась она 22 марта —12 апреля 1745 года, причем чтение сопровождалось демонстрацией опытов.

Заслуживает внимания вступительный пассаж, с которого начинается эта работа: «Хотя уже с древних времен люди, искусные в химии, положили на нее много труда и забот, а особенно за последние сто лет поборники ее, как бы сговорившись, более совершенно выведывали состав природных тел, тем не менее очень большая часть естественной науки все еще покрыта глубоким мраком и подавлена своей собственною громадою. От нас сокрыты подлинные причины удивительных явлений, которые производит природа своими химическими приемами… Нельзя также не отметить, что хотя имеется немалое количество химических опытов, в достоверности которых мы не

сомневаемся, однако мы по справедливости жалуемся на малое число положений, с которыми можно было бы согласовать выводы, основанные на геометрических доказательствах».

Ломоносов был прав: на сегодняшний взгляд химическая наука XVIII века была в младенчестве. Даже крупнейшие ученые той эпохи, такие как Шталь, Бургаве или тот же Генкель, были лишь экспериментаторами-эмпириками; относительно сути явлений, которые они наблюдали, они могли только строить предположения — чаще всего ложные. Наиболее продвинутые молодые исследователи, в том числе Ломоносов, стремились изменить положение. Но основы современной химии были заложены лишь в конце столетия Антуаном Лавуазье.

Ломоносов попытался объяснить растворение, исходя из корпускулярной теории. Пионером он не был — Шталь, Бургаве и другие ученые рассматривали растворение как «разделение тела на мельчайшие части, которые затем воспринимаются порами растворителя с образованием единой жидкости». Предполагалось, что корпускулы имеют разную форму, что у них есть клинья, крючки и т. д., которыми они и сцепляются друг с другом. Чтобы тело растворялось в данной жидкости, его корпускулы должны соответствовать размерами и формой межкорпускулярным пустотам (порам) растворителя. Ломоносов предлагает другой механизм растворения, основанный на упругости воздуха, на вращательном движении частиц, но тоже выглядевший уже в глазах ученых XIX века вполне наивно.

Ценность представляют прежде всего описанные Ломоносовым опыты — опыты, ставившиеся либо в домашних условиях, либо в физической лаборатории, которую Рихман любезно предоставил в распоряжение коллеги. Адъюнкт Ломоносов действительно сделал интересные наблюдения и с успехом продемонстрировал свои эксперименты коллегам. Другое дело, что те объяснения, которые он давал полученным результатам, были далеки от истины. Например, азотная кислота под вакуумным колпаком, из которого был откачан насосом воздух, растворяла медную монету хуже, чем та, что стояла на открытом воздухе. Ломоносов видел в этом доказательство того, что именно частички воздуха способствуют растворению. В действительности азотная кислота после откачки воздуха просто становится менее концентрированной.

Завершенные работы давали Ломоносову основания претендовать на профессорское звание. 1 мая 1745 года он подал об этом официальное прошение. Однако члены Академического собрания, не расположенные к своему русскому коллеге после бурных событий 1743 года, не торопились удовлетворить его

амбиции. Поскольку формально профессор химии в академии был, у них было основание затянуть вопрос. Ломоносову предложили написать еще одну «диссертацию». Новая работа, представленная в июне, называлась «О металлическом блеске» (или «О светлости металлов», как переводил ее название сам Ломоносов[105]). Ее начало — еще один отличный пример ломоносовской латинской риторики, столь отличной и от математической сухости Вольфа, и от барочной избыточности второго ломоносовского учителя, Генкеля: «Сколь разнообразные и удивительные тела рождает природа в недрах земли, хорошо знают те, кто охотно знакомится с минералами, или те, кто не гнушается ползать по темным грязным рудникам. Некоторые минералы играют и гордятся разнообразными, прекрасными красками; и нередко, выдавая себя за нечто более ценное, обманывают не знающих минералогии. Некоторые покрыты невзрачною одеждою и избегают внимания людей неопытных, представляясь чем-то презренным: так наружность благородных металлов часто бывает невзрачной, а металлов низких — приукрашенной. Наконец, многие из минералов обладают фигурой, при других обстоятельствах свойственной обитателям земли, или воздуха, или вод: это — или действительно существовавшие животные и растения, за очень продолжительный промежуток времени приобретшие твердость камня; или настоящие минералы, принявшие их фигуру в результате трудов игривой природы».

Если как стилист Ломоносов в данном случае выше всяких похвал, то в научном отношении эта работа не представляет особого интереса. Объясняя «светлость» металлов присутствием в них флагестона, Ломоносов следует за своими предшественниками, прежде всего Шталем. Опыты, описанные им, также уже проводились другими учеными. Но именно на основании этой работы он получил профессорское звание.

Этого не произошло бы, если бы не поддержка Миллера и Гмелина. Два друга-профессора, участники Камчатской экспедиции, вступили в борьбу с Шумахером и нуждались в союзниках. На Академическом собрании профессор естественной истории и химии заявил, что намерен сосредоточиться на своей первой и главной научной дисциплине, а потому готов уступить кафедру химии Ломоносову. Миллер со своей стороны активно поддержал эту идею. Между ним и Ломоносовым стояли события 1743 года, но теперь историк не прочь был загладить нанесенную обиду и установить с Михайлой Васильевичем добрые отношения.

И вот 25 июля 1745 года адъюнкт Ломоносов стал ординарным профессором химии с жалованьем 500 рублей в год.

Одновременно Василий Кириллович Тредиаковский наконец-то стал экстраординарным профессором элоквенции. Таким образом, на двадцатом году ее существования в Академии наук появились, наконец, два «коренных россиянина» в качестве профессоров.

Два года спустя Ломоносов, в свою очередь, оказал услугу Гмелину. Дело в том, что ботаник с самого возвращения из Сибири рвался домой, в Германию. В двойном жалованье было отказано, отношения с Шумахером были испорчены — в общем, жизни в Петербурге у Гмелина не было. Обычно никаких проблем с возвращением из России у иностранных ученых не возникало: по окончании контракта они либо продлевали его, либо возвращались на родину. Но те, кто участвовал в Камчатской экспедиции, оказались на особом положении. Во-первых, они считались лицами, допущенными к государственным секретам. Во-вторых, кроме них просто некому было разобрать привезенные огромные коллекции. Поэтому Гмелина не выпускали из России; более того, его заставили по истечении прежнего контракта подписать весной 1745 года новый. В начале 1747 года ботаник попросился в Германию, на время. От него потребовали письменного поручительства двух профессоров, которые обязались бы, в случае невозвращения Гмелина, возместить академии выданные тому при отъезде 715 рублей. Первое согласился дать Миллер, с которым Гмелин провел десять лет в экспедиции бок о бок. Дать второе поручительство Миллер уговорил Ломоносова[106].

Ломоносов согласился. По собственным его утверждениям, на его решение повлияли слова Крашенинникова, который «о Гмелинове добром сердце и о склонности к российским студентам… сказывал, что он-де давал им в Сибири лекции, таясь от Миллера, который в том запрещал». Странно, что Миллер запрещал повышать квалификацию своих же собственных помощников — но его высокомерное и грубое отношение к тому же Крашенинникову проявлялось и позднее. Судя по всему, начальником он был суровым.

Степана Крашенинникова Гмелин подготовил так хорошо, что когда профессора послали его вместо себя[107] на Камчатку, он блестяще справился с заданием, собрав ценный материал. Собрания эти он передал приехавшему три года спустя вслед за ним адъюнкту Георгу Стеллеру. Стеллер, замечательный натуралист (открывший «Стеллерову корову»), был настоящим ученым чудаком-бессребреником, достойным пера Гофмана. Вот как описывает его Миллер: «У него был один сосуд для питья и пива, и меда, и водки… Он имел всего одну посудину, из которой

ел и в которой готовились все его кушанья. Он стряпал все сам, и это с такими малыми затеями, что суп, зелень и говядина клались разом в один и тот же горшок и таким образом варились… Ни парика, ни пудры он не употреблял, и всякий сапог или башмак ему был впору. При этом его нисколько не огорчали лишения в жизни; он был в хорошем расположении, и чем больше круг него было кутерьмы, тем веселее становился он». Но этот безалаберный человек был самолюбив, неуживчив и охвачен чувством справедливости. По пути на Камчатку он конфликтовал с Берингом, на самом полуострове обличал злоупотребления местного начальства и грабежи казаков, заступаясь за аборигенов-камчадалов.

Однако Стеллеру так и не суждено было вернуться в Петербург — он умер в Тюмени (по рассказам очевидцев — замерз пьяным в санях). Крашенинникову достались все лавры пионера-исследователя Камчатского полуострова; именно он составил первое описание этой отдаленной земли. В 1745 году, 34 лет от роду, после тринадцатилетнего «студенчества» его наконец-то произвели в адъюнкты. Пять лет спустя, в 1750 году, он стал третьим русским по происхождению профессором Академии наук.

Так или иначе, Гмелин, с точки зрения Ломоносова, исполнил свой долг перед Россией и в качестве исследователя, и в качестве педагога и заслужил, чтобы русский ученый за него поручился. Да и лично, по-человечески, Ломоносов был ему благодарен.

Гмелин между тем возвращаться в Россию не собирался; 30 августа 1748 года, после более полуторалетнего отсутствия, он уведомил академию, что «принял приглашение его великокняжеской светлости герцога виртембергского» и остается в Германии. Граф Разумовский пришел в ярость (чему, без сомнения, способствовал Шумахер) и приказал на год ополовинить жалованье обоим поручителям. Нетрудно представить, как отреагировал на это Михайло Васильевич. Как сообщил Гмелин Миллеру: «Я получил писанное от г. профессора Ломоносова бешеное письмо, в котором он не постыдился описать меня плутом и вероломным человеком. Он поступил хотя в сием чрезвычайно грубо, однако я от сего моей природной кротости не лишился… Я для вас и для профессора Ломоносова все то сделаю, что в рассуждение старой дружбы за должность мою почитаю. Не извольте опасаться, чтоб я без позволения Академии что в печать издал, но будьте благонадежны, что я по получении указа тотчас все порученные мне письма и рисунки пришлю…»

Если Ломоносов «поступил грубо», то и с ним, надо

признаться, поступили не очень красиво. Миллер отлично знал, что Гмелин не собирается возвращаться, но Михайле Васильевичу об этом не сообщили. Однако после «бешеного письма» Гмелин вернул академии все вывезенные бумаги и рисунки и согласился помогать ей консультациями, а поручителям возместил вычтенную из их жалованья сумму[108]. Инцидент был исчерпан. В «Истории о поведении Академической канцелярии…» Ломоносов говорит о «невозвращенчестве» Гмелина с пониманием. Немецкий ботаник не обязан был до конца жизни терпеть самодурство своего соотечественника-канцеляриста в чужой (и не самой легкой для жизни) стране.

3

Осенью 1747 года все три представленные Ломоносовым в свое время для получения профессорского звания работы были посланы на «апробацию» Эйлеру. Формально это было сделано, чтобы получить заключение о возможности их публикации; но Ломоносов был убежден: Шумахер и другие его недруги рассчитывали, что великий математик (считавшийся и крупным естествоиспытателем) уличит выскочку в каких-то ошибках — и тогда можно будет отнять у него химическую лабораторию. Однако отзыв Эйлера оказался более чем хвалебным; приводим его в переводе самого Ломоносова: «Все сии диссертации не токмо хороши, но и весьма превосходны, ибо он пишет о материях химических и физических, весьма нужных, которых поныне не знали и истолковать не могли самые остроумные люди. Что он учинил с таким успехом, что я совершенно уверен о справедливости его изъяснений. При сем случае г-ну Ломоносову должен отдать справедливость, что имеет превосходное дарование для изъяснения химических и физических явлений. Желать должно, чтобы и другие Академии в состоянии были произвести такие откровения, какие показывает г. Ломоносов».

Ломоносову этот отзыв показал Теплов — тайком от Шумахера. Петербургский профессор немедленно отослал в Берлин восторженное благодарственное письмо.

«Считаю, что на мою долю не могло выпасть ничего более почетного и более благоприятного, чем то, что мои научные занятия в такой степени одобряет тот, чьи достоинства я должен уважать, а оказанную мне благосклонность ценить превыше всего… Не сомневаюсь в том, сколь великим будет для меня благом, если Вы не сочтете меня недостойным беседовать с Вами письменно…»

С этого времени Эйлер на несколько лет становится едва ли не главным научным собеседником Ломоносова. Хотя руководство академии не раз давало швейцарскому ученому понять, что хотело бы от него «беспристрастия», Эйлер к Ломоносову был подчеркнуто благожелателен. Так, когда в начале апреля 1749 года Ломоносов по совету Эйлера послал свою «Диссертацию о рождении и природе селитры» на конкурс Прусской академии наук, Шумахер, сообщая об этом берлинскому математику, намекнул, что граф Разумовский «нисколько не обидится», если ломоносовская статья не будет удостоена премии. В ответ Эйлер написал в Петербург, что одна из представленных на конкурс (под девизами) работ отлична и что он «хотел бы, чтобы она принадлежала господину Ломоносову». Премии Ломоносов не получил (она досталась доктору Питшу), он сам своей работой был не вполне доволен. О причинах он откровенно писал Эйлеру в письме от 27 мая: «Пока я упражнялся в обработке третьей главы, жена моя родила дочь, и из-за этого я едва закончил свой труд». Девочка родилась слабой, много болела — отец сам лечил ее, и вылечил, по книге «великого медика Гофмана».

Однако в приложении к диссертации о селитре Ломоносов послал Прусской академии другой, более значительный труд, «Попытку теории упругой силы воздуха». В этой работе Ломоносов продолжает то направление своей мысли, которое было намечено в «Размышлениях о причинах теплоты и холода». В сентябре того же года Ломоносов представил этот труд на обсуждение Академического собрания и затем дорабатывал его по замечаниям Рихмана.

Предшественником Ломоносова (как и в случае кинетической теории теплоты) был Даниил Бернулли. В своей «Гидродинамике», вышедшей в 1738 году с посвящением Эрнесту Бирону (труд был написан несколькими годами раньше, когда Бернулли работал в Петербурге), Бернулли, считая причиной упругости газа движение составляющих его частиц, дал математический анализ возможных движений этих частиц. Ломоносов сделал следующий шаг, попытавшись создать цельную механическую теорию движения частиц газа. В упрощенном виде она выглядела так: частички «воздуха» находятся на далеком расстоянии друг от друга; эти частицы вращаются (чем быстрее, тем выше температура), а кроме того, под воздействием силы тяжести (в том значении, которое придавал этому понятию Ломоносов) движутся сверху вниз, и в ходе этого движения сталкиваются между собой. Таким образом, Ломоносов соединил мысль о взаимном отталкивании частиц, принадлежащую

Ньютону, с математическими расчетами Бернулли. Однако поскольку элементарные частицы, по мысли Ломоносова, лишены упругости, их отталкивание он объяснял так: у частиц есть выступы и впадины, и потому, соприкасаясь, они отбрасываются центробежной силой.

В общем, атмосфера, в представлении ученого, выглядит таким образом: она «состоит из бесконечного числа атомов воздуха, из коих нижние отталкивают те, которые на них лежат, вверх настолько, насколько это позволяют им все остальные атомы, нагроможденные над ними вплоть до верхней поверхности атмосферы. Чем дальше от земли отстоят остальные атомы, тем меньшую массу толкающих и тяготеющих атомов встречают они в своем стремлении вверх; так что верхние атомы, занимающие самую поверхность атмосферы, только своей собственной тяжестью увлекаются вниз и, оттолкнувшись от ближайших нижних, до тех пор несутся вверх, пока полученные ими от столкновения импульса превышают их вес. Но как только последний возьмет вверх, они снова падают вниз, чтобы снова быть отраженными находящимися ниже. Отсюда следует: 1) что атмосферный воздух должен быть тем реже, чем более он отделен от центра земли; 2) что воздух не может бесконечно расширяться, ибо должен существовать предел, где сила тяжести верхних атомов воздуха превысит силу, воспринятую ими от взаимного столкновения…».

Был ли Ломоносов уверен в этой теории? Видимо, не до конца. Уже замечание Рихмана, сделанное при представлении работы, заставило его обратить внимание на пропорциональную связь между плотностью газа и его упругостью. А это неминуемо вело к следующему вопросу: как связаны между собой плотность вещества (отношение массы к объему) и его вес? Точнее — отражает ли вес тела его массу? В письме Эйлеру от 5 июля 1748 года Ломоносов отрицательно отвечает на этот вопрос, не соглашаясь с Ньютоном. «Это не наносит никакого ущерба законам, определяющим силы тела по их скорости совместно с их сопротивлением; под каким бы названием ни рассматривалось последнее, в механике оно повсюду оценивается по весу тел, и нечего бояться в определении сил крупных тел, так как здесь применяется одно и то же измерение; но я считаю невозможным приложить теорему о пропорциональности массы и веса тела к объяснению тех явлений, которые зависят от мельчайших частиц тел природы…» Другими словами, законы Ньютона действуют в мире человеческих измерений, но не в микромире. Ломоносов, как мы уже замечали, не верил в притяжение тел. Силу тяготения он объяснял движением к земле из космоса «тяготительной

материи» (которое тоже имеет механическое объяснение). Но те части корпускул, которые прилегают друг к другу, воздействию тяготительной жидкости неподвластны. Поэтому «удельный вес тел изменяется пропорционально поверхностям, противопоставляемым тяготительной жидкости непроницаемыми для нее частицами».

К этим мыслям Ломоносов возвращался до конца жизни. Так, в 1755 году он предложил вопрос о соотношении веса и массы в качестве темы для ежегодного академического конкурса, а в 1758 году представил диссертацию «Об отношении количества материи и веса», местами почти дословно повторяющую письмо Эйлеру. Разум Ломоносова, склонный к конкретности и осязаемости, не мог успокоиться на абстрактном принципе «притяжения». Физика XVIII века не знала понятий «энергии» и «поля» и не могла объяснить, почему предметы действуют друг на друга на расстоянии. К тому же существование притяжения противоречило принципу разумной достаточности: если тела могут передавать друг другу движение путем соприкосновения, зачем же природе еще какой-то способ? В притяжение, вслед за Декартом, не верил Лейбниц, в его существовании сомневался Эйлер… Так что, с точки зрения тех представлений о материи, которые существовали в ту эпоху, теория Ломоносова, при всей ее ошибочности, выглядела по-своему цельно и убедительно. Что же касается ньютоновской механики, то она, как известно, и в самом деле не универсальна, но совершенно по иным причинам.

В 1758 году Ломоносов (возглавивший к тому времени Географический департамент академии — тот самый, где он учинил некогда такой скандал) написал труд «Рассуждение о большей точности морского пути». Наряду с множеством предложений, касающихся усовершенствования навигационных приборов, методов определения широты и долготы и т. д., здесь описывается «универсальный барометр»: тот самый, о котором Ломоносов упомянул в предсмертном списке своих наиболее выдающихся научных свершений. Попытки создать прибор, измеряющий колебания силы тяжести, ученый предпринимал начиная с 1749 года. Суть изобретенного им «универсального барометра» в следующем: резервуар, наполненный ртутью, соединяется с другим резервуаром, который наполняют сжатым воздухом. Этот прибор помещается в сосуд, где поддерживается постоянная температура. Таким образом, колебания уровня ртути зависят только от изменений силы тяжести.

Как связаны эти три вещи — барометр, морские путешествия и невозможность взаимодействия тел на расстоянии? Дело в том, что Ломоносов, последовательный в своем заблуждении, не

верил, что приливы и отливы вызываются действием Луны. Его гипотеза заключалась в том, что центр тяжести Земли не совпадает с ее геометрическим центром и в течение суток описывает круг по определенной траектории. В зависимости от этого меняется траектория движения тяготительной жидкости, а следовательно, и сила тяжести на данном участке Земли, что и вызывает приливы. Если знать точно, как сила тяжести меняется, можно точнее предсказать их наступление.

Относительно приливов Ломоносов заблуждался, а сила тяжести на Земле действительно колеблется. Измерить эти колебания с помощью изобретенного Ломоносовым прибора было, однако, совершенно невозможно, поскольку погрешности, происходящие от недостаточно точного соблюдения температурного режима, тысячекратно превышали колебания гравитации. Ломоносов и сам понимал, что эти колебания носят, в масштабе человеческих измерений, микроскопический характер, но все же не до конца осознавал степень их микроскопичности. Однако его прибор во многом предсказывает конструкцию гравиметров, которые вошли в научный обиход лишь накануне Первой мировой войны.

В 1751 году переписка Ломоносова с Эйлером приостановилась. Но Эйлер по-прежнему одобрительно отзывался о работах Ломоносова, в частности по атмосферному электричеству. В начале 1754 года Ломоносов написал Эйлеру большое письмо, в котором извинялся за долгое молчание, ссылаясь на занятость. В течение нескольких месяцев они интенсивно переписывались, обсуждая научные проблемы. Однако вскоре этой эпистолярной дружбе пришел конец. Случилось вот что: практически одновременно недоброжелательные статьи о трудах Ломоносова появились в нескольких немецких журналах — лейпцигском «Журнале естествознания и медицины», в «Гамбургском магазине» и в «Медицинской библиотеке». В Эрлангенском университете магистр Иоганн Христиан Арнольд защитил диссертацию, в которой пытался опровергнуть ломоносовскую тепловую теорию, доказывая, что последняя «по большей мере может показывать некоторые легкие явления теплоты, токмо еще не с довольной способностью, а задает ее изобретателю некоторые вопросы, до трудных случаев теплоты касающиеся». Мнительный Ломоносов решил, «что тут таится нечто, и что столь незаслуженные и оскорбительные поклепы на меня распространяются коварными усилиями какого-нибудь заклятого моего врага». В письме от 28 ноября он попросил Эйлера помочь в публикации написанного им «опровержения», после напечатания которого «с защитой его»

выступил бы какой-нибудь немецкий ученый — а «после этого можно будет поместить в ученом журнале разбор этого выступления против моих врагов». План этот Ломоносов просил никому не выдавать, подозревая, что центр плетущегося против него заговора — в Петербурге. Эйлер отвечал (11 февраля 1755 года): «Недобросовестность и слог немецких газетчиков мне очень хорошо известны и нисколько не трогают меня: я смеюсь, видя как они терзают и стараются уронить прекраснейшие сочинения… Я держусь того мнения, что надо презирать подобные статьи… Я не считаю особенно нужным устроить в защиту вашу, как вы предлагали, академический диспут… Между тем я передал ваш мемуар нашему сочлену, профессору Формею, который мне обещал поместить ваше возражение во французском журнале». Автором насмешливых статей Эйлер считал математика и писателя-сатирика, профессора Гёттингенского университета Абрагама Кестнера.

Ломоносовское «возражение» — «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии», в самом деле, было напечатано (анонимно) в журнале «Немецкая библиотека» (1755, том 16). Приведя примеры неверного понимания и передержек в статьях о своих работах (главным образом в «Журнале естествознания и медицины»), Ломоносов настаивает, что «журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого… но раз уже он этим занялся, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения. <…> Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем их может разрешить самый знающий человек…». Журналист «не должен создавать себе слишком высокого представления о своей авторитетности, о своем превосходстве, о ценности своих суждений».

К сожалению, одновременно Ломоносов позволил себе поместить в выходящем в Петербурге на французском языке журнале «Le Chaméléon littéraire» перевод письма, полученного им от Эйлера, — без предварительного согласия последнего. Раздраженный математик писал Миллеру: «Мне очень больно, что г. Ломоносов напечатал мое письмо в „Хамелеоне“, ибо хотя всем известно, что г. Кестнер большой охотник до насмешек и надеется возвеличить свои маленькие заслуги, унижая других, однако ж я вовсе не желаю из-за этого с ним ссориться». В письме Шумахеру Эйлер прибавляет, что впредь «будет осторожнее» в общении с

Ломоносовым и «отринет всякую откровенность». Впрочем, общение как таковое практически сошло на нет.

4

Став профессором, Ломоносов наконец смог осуществить свою давнюю мечту — организовать в академии химическую лабораторию.

Первое прошение на сей счет было подано им в январе 1742 года — почти сразу же по прибытии в Петербург. Ему отказали «за неимением при Академии денег и за неподтверждением штата». В самом деле, 1742 год был не лучшим временем для таких хлопот, как и следующий, 1743-й. Но Ломоносов не оставлял усилий. Второе прошение, написанное в разгар академической смуты, в мае 1743 года, звучит особенно выразительно:

«Понеже я, нижайший, в состоянии нахожусь не токмо химические эксперименты для приращения натуральной науки в Российской империи в действо производить и о том журналы и сочинения на российском и латинском языке сочинять, но при том еще могу и других обучать физике, химии и натуральной минеральной гистории, и того ради, имею я, нижайший, усердие и искреннее желание наукою моею отечеству пользу чинить… для того чтобы на мое обучение в Германии издержанная е. и. в. сумма и мои в том положенные труды напрасно не потерялись.

И если бы в моей возможности было, чтобы мне, нижайшему, на моем коште лабораторию иметь и химические процессы в действие производить можно было, то я бы, нижайший, Академию наук в том утруждать не стал. Но понеже от долговременного удержания заслуженного мною жалования в крайнюю скудость и почти в неоплатные долги пришел, для того не токмо лаборатории и к тому надлежащих инструментов и материалов завесть мне невозможно, но с великой скудостию и мое пропитание имею…»

К лаборатории Ломоносов просит прикомандировать двух студентов, а именно «Степана Крашенинникова да Алексея Протасова». В конце Ломоносов просит «выдать заслуженное мною жалование все сполна». Так в тот год заканчивались все прошения сотрудников академии, чего бы они ни касались.

В дни, когда писалось прошение об учреждении лаборатории, Ломоносову, пособнику ненавистного Нартова, уже был объявлен бойкот, а пару недель спустя состоялся его злосчастный визит на Академическую конференцию и в Географический департамент.

Разумеется, никто не стал и рассматривать заявление, поданное в такой момент.

Ломоносову, однако, удавалось в 1744–1745 годах время от времени получать от канцелярии деньги на покупку реактивов и оборудования. В марте 1745 года он подает третье прошение, где, между прочим, пишет: «Хотя имею я усердное в химических трудах желание упражняться, однако без лаборатории принужден только одним чтением химических книг и теориею довольствоваться, а практику почти вовсе оставить и для того от ней со временем отвыкнуть».

Канцелярия вновь стала затягивать решение вопроса. Лишь 2 ноября Шумахер отсылает проект Винсгейму для представления «на рассуждение Конференции». Тот, старый неприятель Ломоносова, ответил, что собрание уже обсуждало вопрос и вынесло отрицательную резолюцию. И все же 15 декабря Академическая конференция вновь рассматривает доклад Ломоносова и принимает предложенный им проект письма в Сенат: «Понеже мы все обще усмотрели, что Химическая лаборатория при Академии наук для исследования натуральных вещей весьма нужна и профессор химии без оной надлежащей пользы приносить не может… того ради Правительствующий Сенат все покорнейше просим, дабы по примеру других славных Академий поведено было при Академии наук построить Химическую лабораторию по приложенному при сем рисунку; <…> и на то определить особливую сумму сверх положенной на Академию наук». Последний пункт был, видимо, решающим. Прошение подписали Делиль, Гмелин, Вейтбрехт, Леруа, Рихман, Тредиаковский и Ломоносов.

Тем временем Шумахер вел переговоры с голландским врачом и химиком Авраамом Каау-Бургаве, племянником знаменитого Германа Бургаве, приглашая его в академию и обещая ему место профессора «анатомии и химии», причем в качестве последнего он должен был «направлять занятия Ломоносова». Бургаве было обещано восемьсотрублевое жалованье (обычно профессора получали 500–600 рублей). Таким образом, лаборатория, которую Сенат 1 июля 1746-го распорядился строить «на Васильевском острову за счет кабинета», должна была оказаться в распоряжении не Ломоносова, а Бургаве. Ломоносов узнал об этом и стал жаловаться, выделение денег до выяснения всех обстоятельств затормозили, и в результате строительство началось лишь два года спустя. Тем временем Бургаве, приехавший в Россию в 1747 году, в конце концов удовольствовался кафедрой анатомии. Вернувшийся наконец из Германии Рейзер, которому, по словам

Ломоносова, место профессора химии тоже предлагалось, отказался — «видя худое академическое состояние и непорядки».

По первоначальному проекту лабораторию предполагалось «построить из кирпича со сводами, и чтобы при ней был дом для профессора химии, ибо нередко случается, что химические операции несколько дней непрерывно продолжаются». В конце концов, в августе 1747 года лабораторию решено было строить прямо во дворе Бонова дома.

Лаборатория была заложена здесь 3 августа 1748 года и достроена к 12 октября. Проект разработал академический архитектор Яков Шумахер (младший брат Иоанна Даниила), работами руководил подрядчик Михаил Горбунов. В здании длиной шесть с половиной и шириной четыре сажени (около четырнадцати и восьми с половиной метров соответственно), крытом черепицей, было три комнаты: собственно лаборатория, аудитория для чтения лекций, служившая одновременно кабинетом Ломоносова, и склад. Этот домик (переделанный в начале XIX века под жилье) простоял здесь вплоть до Второй мировой войны.

В центре главного помещения находился большой свод с вытяжной трубой, закрепленной на столбах. Но тяга была, как и во всех лабораториях той поры, плохой, и во время работы лаборатория наполнялась «вредными испарениями». В ломоносовской лаборатории были четыре печи для перегонки, две самодувные печи и одна пробирная. Все эти печи создавались по оригинальным проектам самого ученого. В 1753 году, тоже по собственному чертежу Ломоносова, был изготовлен автоклав — «Папинова машина». Дух изобретательства никогда не покидал Михайлу Васильевича. Так, сохранился чертеж новопридуманого им «инструмента для следования вязкости жидкостей». И, разумеется, в лаборатории было множество весов, микроскопов, измерительных приборов. «Роспись в химической лаборатории потребным инструментам, посуде и материалам и где оные достать» (1748) длинна и довольно выразительна:

> Железная и пробирная печь
> Две пробирных доски медных
> Две формы капельных медных, большая и маленькая
> Пробирные вески со стеклами
> Пробирный развес…

Дальше:

> Буры десять футов (сего требовать от монетной

канцелярии)
Сто банок разной величины зеленого стекла
Пятьдесят маленьких банок из белого стекла
Пузырьков средней руки зеленого стекла сто…

Всего около семидесяти разного вида стеклянных «гельмов», пузырьков и реторт, столько же глиняных и мраморных реторт и «ступок». Дальше — реактивы:

Янтаря мелкого два фунта
Каменного масла два фунта
Нефти два фунта
Терпентину десять фунтов
Амбры пять золотников…

Несмотря на сложные отношения с Академической канцелярией, все эти многочисленные и довольно дорогие вещицы и материалы доставлялись Ломоносову исправно. Позднее, когда он занялся оптическими исследованиями и изготовлением цветных стекол, потребовалось дополнительное оборудование. Но к тому времени у Ломоносова были сильные покровители, да и его влияние в академии перевешивало все возражения его неприятелей.

Если лаборатория Ломоносова с самого начала была в достаточной мере обеспечена оборудованием, то помощников поначалу не было: всю работу приходилось делать самому. В феврале 1749 года ученый докладывал: «А понеже как Канцелярии Академии наук известно, должно мне всякую неделю для академических и исторических собраний по три утра быть в Академии, также и дома случаются такие, до наук относящиеся, дела, которые у химической профессии постоянно быть не допускают, и сверх того, у долговременных опытов, которые несколько дней продолжаются, одному мне всегда быть нельзя, для того должно быть мне такому человеку, который знал бы несколько химической практики…» Прошение поддержал Шумахер, не упустив возможности кольнуть заносчивого энциклопедиста: «Хотя бы господин Ломоносов и никаких других дел, кроме химических, не имел, однако необходим ему опытный лаборатор или такой человек, который с огнем обходиться умеет, понеже профессор сам того еще не знает, да и, упражняясь в теории, столь скоро тому не научится. Ежели такой человек придан не будет, то он больше сосудов испортит и больше материалов потратит, нежели сколько жалования приданный ему

человек получит, а ничего особливого не сделает…» В апреле к Ломоносову был послан мекленбуржец Иоганн Манеке, чьи знания удовлетворили ученого, и в течение двух лет он служил в лаборатории. Его сменил «аптекарский гезель Франц Беттигер», занимавший должность лаборанта до 1756 года. На смену Беттигеру пришел один из ломоносовских учеников.

5

Педагогическая деятельность Ломоносова началась, как мы помним, еще в 1742 году, но сразу же закончилась из-за академических смут. Правда, некоторое время он проводил занятия по физике с двумя академическими студентами — Котельниковым и Протасовым. В 1746 году он выступил с инициативой чтения лекций по физике на русском языке. Идея этих лекций связана была с вышедшим в 1746 году ломоносовским переводом «Экспериментальной физики». Сам ученый старательно готовился к ним. 21 марта он просил у канцелярии разрешения пользоваться во время лекций принадлежащими академии инструментами. Инструменты Рихман (в чьем ведении они были) с удовольствием предоставил, более того, он вызвался сам читать лекции по механике — если найдутся желающие слушатели. В том-то и состояла загвоздка: студентов в академии было раз-два и обчелся, а в том, что экспериментальная физика будет интересна широкой публике, тоже уверенности не было. Ломоносов предлагал прибегнуть к старому способу: набрать семинаристов из Александро-Невской лавры и из Новгорода. 11 июня 1746 года граф Разумовский распорядился «послать промемории» о лекциях в Кадетском корпусе, в Канцелярии главной артиллерии и в Медицинской канцелярии, «и в оных объявить, ежели кто желает указанные лекции слушать, тем позволяется быть в Академии, а какие и с которого и по который час те лекции продолжаться будут, о том для лутчаго усмотрения послать при тех промемориях объявления». Сам Кирилл Разумовский тоже непременно хотел слушать лекции Ломоносова.

Текст «промемории» писал сам Ломоносов — в своем изысканном и пышном стиле.

«Смотреть на роскошь преизобилующая природы, когда она в приятные дни наступающего лета поля, леса и сады нежною зеленью покрывает, и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды с тихим журчанием к морям достигают, и когда обремененную семенами

землю то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущих листьев и внимать сладкое пение птиц, есть чудное и дух восхищающее увеселение. <…> Но высшее всего и сердце и ум наш к небу возводящее спасительное есть дело представлять в уме своем непостижимое величество и непонятную премудрость Всевышнего Зиждителя, показавшего нам толь дивное позорище, сложенное из различных тварей на увеселение и на пользу нашу, и за сие благодарить его щедроте.

Сии суть высшие блаженства рода человеческого и беспорочные преимущества. <…> Но хотя они толь приятны, вожделенны, полезны и святы; однако могут быть приведены в несравненно вышшее достоинство, чего должно искать в подробном познании свойств и причин вещей, от которых сии блаженства и преимущества происходят. Кто, разобрав часы, усмотрел изрядные и приятные фигуры частей, достойное их расположение, взаимной союз и самую причину движения, не больше веселится их красотой… не безопаснее ли полагается на их показание… и хвалит самого мастера, нежели тот, кто смотрит только на внешний вид сея машины, внутреннего строения не зная?»

Мир как часы. Бог как часовщик. Вот дух миросозерцания Ломоносова — и дух эпохи, если угодно.

Гораздо хуже обстояло дело со специальной терминологией. В предисловии к «Экспериментальной физике» Ломоносов предупреждал, что «вынужден искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые сперва покажутся несколько странны…». Достаточно сказать, что такие выражения, как «воздушный насос» или «полюс магнита», введены в русский язык Ломоносовым, не говоря уж о «термометре», «микроскопе» и прочих словах, впервые прозвучавших по-русски именно под его пером.

Лекции предполагалось читать по пятницам с 3 до 5 часов пополудни. Затем решено было, что их можно читать еще и по вторникам. Но на практике состоялась только одна лекция — 30 июня. Зал ломился от «различных военных и гражданских чинов слушателей». Кроме Разумовского, присутствовали и другие придворные. На следующий день молодой президент Академии наук уезжал в Петергоф, где находился двор, и, желая ничего не пропустить, потребовал приостановить лекции до своего возвращения. А там его увлекло что-то другое…

В качестве публичного лектора Ломоносов вновь выступил 6 сентября 1751 года, когда ему было поручено произнести в академии, в день ее 25-летия, публичную речь. Темой речи стала

официальная специальность Ломоносова — химия. Батюшков считал эту речь лучшим образцом ораторской прозы Ломоносова. Но в ней отразились и взгляды ученого на перспективы развития науки о веществе.

«Вижу я, скажете вы, что химия показывает только материи, из которых состоят смешанные тела, а не каждую их частицу особливо. На сие отвечаю, что подлинно по сие время острое исследователей око толь далече во внутренности вещей не могло проникнуть. Но ежели когда-либо сие таинство откроется, то подлинно химия первая тому предводительница будет, первая откроет завесу внутреннейшего сего святилища натуры… Когда от любви беспокоящийся жених желает познать прямо склонность к себе своей невесты, тогда, разговаривая с ней, примечает в лице перемены цвету, очей обращение и речей порядок, наблюдает ее дружества, обходительства и увеселения, выспрашивает рабынь, которые ей при возбуждении при нарядах, при выездах и при домашних упражнениях служат, и так по всему уверяется о точном ее состоянии. Равным образом прекрасный натуры любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, должен высматривать все оных свойства и перемены, а особливо те, которые показывает ближайшая служительница и наперсница, в самые сокровенные ее чертоги вход имеющая, химия…»

Подобный не имеющий прецедента «эротический» взгляд на тайны всемогущей Натуры шел от самых глубин личности Ломоносова, сублимировавшего свои страсти в ученые труды; но он был по-своему понятен и слушателям, далеким от науки.

В 1748 году, как мы уже писали, Академический университет в самом деле начал действовать. В первые годы набранным студентам читались общеобразовательные предметы — философия, математика, история, политика. Ломоносов в это время приватно занимался словесными науками с Поповским, естественных же наук не читал никому. Лишь в 1751 году для студентов, получивших общее образование, настало время специализации. Василий Клементьев, Иван Братковский, Иван Федоровский были направлены изучать под руководством Ломоносова химию. Вместе с ними лекции слушал, с разрешения академии, обучавшийся астрономии Степан Румовский.

Ломоносов читал курс «современной», физической химии. Первая, вводная часть была такой:

«1.0 физической химии и ее назначении. 2. О частичных свойствах составного тела. 3. О химических средствах, которыми изменяются составные тела. 4. О приемах, коими изменяются составные тела. 5. О родах и видах составных тел. 6. О

химической лаборатории и химической посуде. 7. О применении органов чувств и предосторожностях. 8. О химических выражениях и знаках. 9. О методе физической химии. 10. Об употреблении физических опытов и инструментов в химии».

Дальше шли опыты с солями, «соками», металлами, полуметаллами, землями, камнями. Затем — курс «теории составного тела». Составные тела делились на «соляные», «воспламеняющиеся», «металлические», «полуметаллические» и т. д. Каждому типу тел была посвящена особая лекция.

Что касается успехов студентов, то о них свидетельствует отчет, поданный 5 февраля 1753 года. «На чинимые на моих лекциях вопросы способнее других ответствует Степан Румовский, <…> Иван Братковский также мог бы иметь равный успех, если бы не часто лекции прогуливал. Василий Клементьев всех прилежнее и, как по обстоятельствам примечаю, изрядно понимает и помнит, однако на вопросы ответствовать весьма застенчив. <…> Иван Федоровский, хотя нарочитое понятие имеет, однако приметил я в нем невеликую к химии охоту».

Румовский по окончании курса уехал в Берлин, где продолжал обучение под руководством Эйлера. Вернувшись в Петербург, он переписывался со своим вторым учителем, довольно язвительно отзываясь о первом. Братковский был отчислен за пьянство. Клементьев продолжал под руководством Ломоносова упражняться в химических науках.

Тем временем у Ломоносова, занимавшегося одновременно всем — от исследований атмосферного электричества до чтения византийских хронистов и от переводов Анакреона до производства цветного стекла, — оставалось все меньше времени собственно на химию. Стремясь все успеть, он временами делал ошибки. Так, в 1752 году произошел неприятный случай. Ломоносову часто приходилось проводить химический анализ присланных в Петербург образцов руды. И вот в очередной представленной для испытаний породе Ломоносов подтвердил наличие серебра. Но затем выяснилось, что купец Зубарев, привезший эту руду на пробу, — мошенник и что серебра в ней заведомо нет (что и подтвердили повторные испытания). Ученый тяжело переживал этот казус. Тяготясь рутинной работой академического химика, он теперь сам просил пригласить второго профессора этой специальности, который не «направлял бы его деятельность», как должен был (по предположению Шумахера) делать Бургаве, а, напротив, был бы у него в подчинении.

В августе 1754 года Ломоносов, разбирая химические работы, присланные на конкурс, устроенный академией («объяснить причины отделения золота от серебра посредством крепкой водки

и показать при том лучший и дешевейший способ отделения этих металлов»), обратил внимание на одну из работ и заявил, что ее автор (им оказался Карл Дахриц) мог бы занять место второго профессора химии в Петербурге. Но Ломоносова опять подвели спешка и рассеянность. Советник Монетной канцелярии И. А. Шлаттер (тот самый, который раньше раскрыл обман Зубарева) уличил Дахрица в плагиате: его работа была списана из книги знаменитого Глаубера. Прочитав работу внимательнее, Ломоносов вынужден был признать, что Шлаттер во многом прав. В итоге выбор жюри остановился на работе Ульриха Христофора Сальхова, хотя среди присланных диссертаций «не найдено такой, в которой задача была бы совершенно решена». Вслед за этим с Сальховом, без ведома Ломоносова, начались переговоры о работе в Петербурге. Велись эти переговоры через Эйлера, которому молодой химик очень понравился. Имевший мало надежды на приобретение «достойного места по своей науке», Сальхов с радостью согласился ехать в Петербург.

Ломоносов ворчливо вспоминал, как он внезапно увидел, что приехал новый профессор химии и ему «отдана Лаборатория и квартира». Но квартиру Ломоносов сам освободил, переезжая в собственный особняк на Мойке, на месте нынешнего дома № 61 по Малой Морской улице — «на шести погорелых местах на Адмиралтейской части», как раз напротив дворца Петра Шувалова (разрешение на строительство было дано 15 июня 1756 года, а достроен дом был к сентябрю 1757-го). Тогда же он оставил лабораторию, поскольку в собственном доме мог завести новую, небольшую, нужную ему для приватных исследований. Химия постепенно превратилась для него из профессии в хобби. Еще в январе 1753 года он писал Шувалову: «Всякий человек требует себе от трудов отдохновения: для того, оставя настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними препровождения времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом; от чего я давно отказался за тем, что не нашел в них ничего кроме скуки; и так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собирание российской истории и на украшение российского языка полагаю, позволено будет в день несколько часов, чтобы их вместо бильярду употребить на физические или химические опыты, которые мне не только переменою действия вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют». При всем лукавстве, сквозящем в этих словах (Ломоносов понимал, что Шувалову и Елизавете его гуманитарные занятия понятнее и ближе), очевидно некоторое охлаждение к тем физико-химическим трудам, которые были так важны для него в 1740-е годы. Может быть, потому что на

главные вопросы, занимавшие ученого, он так и не нашел убедительного ответа?

Пока лаборатория оставалась в ведении Ломоносова, он добился смены лаборатора. Поводом послужила очередная коммунальная свара в Боновом доме. Вот колоритнейшее письмо Шумахеру от 10 мая 1756 года.

«Вашему высокородию известно, как я неоднократно вам словесно жаловался на неприличные поступки лаборатора Бетигера. <…> Однако все сие пропускал я для того, что он свою лабораторскую должность отправлял по моему указанию как должно, и, надеясь на его исправление, сносил я оскорбления. Но противу моего чаяния, почувствовал я от его домашних большие грубости. Для множества почти денно и ночно часто приходящих на его квартиру гостей разных званий и наций беспокойство так умножилось, а ночью часто стоят полы для приезжающих к нему колясок и одноколок. Сверх тому от служанок чинятся ему напрасные наглые обиды, так что недавно девка его бесчестными словами дочерь мою с крыльца сослала, и как жена моя вышла и спросила, зачем девка сия так поступает, то она, поворотясь задом и опершись о перила, давала грубые ответы. И как уже прежде неоднократно было, что оный Бетигер за обиды, моим домашним учиненные, людей своих не наказывал, а суда на них просить смешно и стыдно, для того велел я ту девчонку посечь лозами…» Почему-то Беттигер, вместо того чтобы «поблагодарить за научение» своего начальника, который отечески посек его служанку, стал жаловаться президенту. Ломоносов в ответ попросил канцелярию уволить беспокойного лаборатора, а на его место принять «холостого одинокого человека», а именно Василия Клементьева, студента Академического университета, закончившего курс в 1753 году.

Клементьев как раз представил диссертацию на физико-химическую тему — «Об увеличении веса, которое некоторые металлы приобретают при осаждении». Шумахер предложил освидетельствовать ее Сальхову, но тот уклонился, не желая, по собственным словам, посягать на прерогативы старшего профессора. Кроме того, его скорее интересовали практические навыки будущего лаборатора, а из работы Клементьева, по его словам, было «не можно никак усмотреть, довольно ли упражнялся он в действительных химических огненных операциях». Однако в конечном итоге рекомендации Ломоносова оказались сильнее, и Клементьева назначили на лабораторскую должность.

После отъезда Ломоносова из Бонова дома лаборатория оказалась, по существу, в единоличном ведении молодого

лаборатора, поскольку Сальхов, сколько можно судить, не баловал ее посещениями. Дело в том, что квартиру Ломоносова занял по его отъезде Тауберт. Сальхову же, как вспоминал Ломоносов, пришлось «долго скитаться по наемным, от Лаборатории отдаленным квартирам». В 1759 году умер, всего двадцати восьми лет от роду, Клементьев — то ли от пьянства, то ли от отравления реактивами. После его смерти Сальхов с приставленным к нему студентом по фамилии Элефант пытался все же составить опись реактивов и инструментов и наладить какую-то работу, требовал назначить нового лаборатора, сведущего и трезвого. Лаборатор, И. М. Клембкен, назначен был, но Сальхову с ним работать не пришлось: в 1760 году профессор химии был с позором, прежде окончания срока контракта выставлен из Петербурга — за невежеством и неспособностью. У него даже был отобран диплом члена академии — случай почти беспрецедентный. Насколько это было заслуженно? Миллер писал Эйлеру, что Сальхов за все время «не написал ничего, достойного опубликования», и что он даже не слышал о знаменитом химическом учебнике Бургаве. Не читал он и никаких лекций. Но Ломоносов, в чьей объективности в данном случае сомневаться не приходится, говорит, что Сальхову просто не дали приступить к работе из-за конфликта с канцелярией. Да и документальные свидетельства подтверждают это.

По отъезде Сальхова лаборатория снова оказалась в ведении Ломоносова — до приезда нового профессора химии, И. Г. Лемана. В начале 1760-х годов Ломоносов пытался подготовить лаборатора из студента Герасима Шпынева, интересовавшегося медициной и притом писавшего стихи, но тот не проявил особых успехов в фундаментальных науках, к тому же любил выпить; после смерти Ломоносова он, вместе с Барковым и другими беспутными ломоносовскими протеже, был отставлен от академии и закончил свои дни гимназическим учителем в Могилеве.

6

В 1746 году с Ломоносовым произошло событие, на много лет повлиявшее на направление и характер его научной работы. Вот как описывает это событие Штелин в своей записке «О мозаике» (дополнение к его работе «Живопись в России»):

> «Когда граф Михаил Ларионович Воронцов… замечательный знаток и любитель изящных искусств… возвратился сюда со своей супругой из путешествия по Франции и Италии, он привез с собой разнообразные и отличные образцы старых мозаик. Насколько мне известно, это были первые вещи этого рода, подобных которым в России прежде не видели.
>
> Среди этих мозаик находилось неподражаемое погрудное изображение плачущего апостола Петра, выполненное кавалером Ридольфи с большого оригинала в церкви Святого Петра в Риме.
>
> Папа подарил эту мозаику графу на память».

Мозаика, выполненная по картине знаменитого итальянского художника Гвидо Рени, потрясла Михайлу Васильевича. Если легенда о его поездке в Киев в 1735 году соответствует действительности, он мог видеть там, в Софийском соборе, византийские мозаики XI века. В таком случае, эти воспоминания могли ожить при виде работы итальянского мастера. Из Византии это искусство, известное еще древним, проникло, с одной стороны, на Русь (где не получило большого развития и вскоре было забыто), с другой — в Италию. Материалом для мозаики могут служить и мрамор разных оттенков (так называемая флорентинская мозаика, зародившаяся в эпоху Ренессанса), и самоцветы, и стекло. Та мозаика, которая, собственно, и привлекла внимание Ломоносова, была выложена из венецианских смальт — непрозрачного цветного стекла, секрет которого строго хранился в итальянских мастерских.

В 1750 году из Италии был доставлен Воронцову портрет Елизаветы Петровны, выполненный по оригиналу петербургского придворного художника, француза Луи Каравакка, мастерами фабрики Алессандро Кокки. 27 октября 1750 года вице-канцлер писал своему итальянскому знакомому, графу Бьеке: «Все любители редкостей и искусства, сколько их здесь есть, как при дворе, так и в городе, спешат увидеть его; он стал даже предметом творчества выдающихся людей, потому что, кроме

прекрасных латинских стихов, сочиненных знаменитым ученым, каждый день появляются новые на этот сюжет».

Можно с большой долей вероятности предположить, что ученый, написавший латинские стихи, — это и есть Ломоносов, а его не сохранившееся латинское стихотворение — авторский перевод следующих стихов:

Фортуну вижу я в тебе или Венеру
И древнего дивлюсь художества примеру.
Богиня по всему, котора ты ни будь,
Ты руку щедрую потщилась протянуть.
Когда Венера ты, то признаю готову
Любителю наук и знаний Воронцову
Златое яблоко отдать за доброту,
Что присудил тебе Парис за красоту.
Когда ж Фортуна ты, то верю несумненно,
Что счастие его пребудет непременно,
Что так недвижно ты установила круг,
Коль истинен патрон и коль он верен друг.

Именно в этот момент, скорее всего, у Ломоносова окончательно созрела мысль об организации мозаичного дела в России. Но еще несколькими годами раньше он начал систематически заниматься опытами по производству цветного стекла. Во всяком случае, 8 января 1750 года он демонстрировал результаты этих опытов в академии. Поясняя свои опыты, Ломоносов указывал, что стекла «употребляют в финифти и на финифтяную живопись, на малевание фарфоровой и финифтяной посуды, на мусию и другие украшения, и сверх того можно делать немалые плиты разных цветов, наподобие аспида и мрамора…». Мозаика (мусия) упоминается, как видим, далеко не в первую очередь. Горячий интерес к ней у Ломоносова вспыхнул лишь несколько месяцев спустя.

Опыты, о которых идет речь, были связаны с созданием оригинальной теории, изложенной в «Слове о происхождении света, новую теорию о цветах представляющем» (1756). Еще прежде, в 1754 году, Ломоносов и Эйлер обсуждали теорию света и цветов в своей переписке.

В XVII–XVIII веках сложилось, как известно, две теории света — корпускулярная и волновая. Основателем первой был Ньютон, второй — Христиан Гюйгенс (1629–1695). В изложении самого Ломоносова спор выглядит так:

«Положив жидкую, тончайшую и неосязаемую

материю света, о чем ныне уже никто не сомневается, три возможные движения в оной находим, которые действительно есть, или нет, — после окажется. Первое движение может быть текущее, или проходное, как Гассенд и Невтон думают, которым эфир (материю света с древними и многими новыми так называю) движется от солнца и от других великих и малых светящих тел во все стороны наподобие реки беспрестанно. Второе движение может в эфире быть зыблющееся по Картезиеву и Гугениеву мнению, которым он наподобие весьма мелких и частых волн во все стороны от солнца действует… Третье движение быть может коловратное, когда каждая нечувствительная частица, эфир составляющая, около своего центра или оси обращается».

Ломоносов и Эйлер были в числе немногих ученых XVIII века, разделявших точку зрения Гюйгенса, а не Ньютона. Другими словами, они считали, что по световому лучу передаются не сами частицы, а их колебательное движение. Позднее наука пришла, как известно, к синтезу корпускулярной и волновой теорий.

Ломоносов, вслед за Декартом, считал, что в мире изначально существует три «элемента», каждый из которых состоит из корпускул определенного размера и формы. Соответственно, существует три базовых цвета — красный, желтый и голубой. Красное свечение передает колебание самых крупных частиц эфира, желтое — средних, а голубое — мелких. Остальные цвета, в том числе белый, вторичны и получаются в результате смешения.

Но почему имеют окраску предметы? Ломоносов объясняет это так: корпускулы эфира обладают не только колебательным, но и «коловратным» движением. Частицы определенного размера и вида, вращаясь вокруг своей оси, вступают в соприкосновение с соответствующими частицами поверхности тела, сцепляются с ними (благодаря все тем же выступам, впадинам и крючкам) и теряют способность к «коловратному» движению. Если на поверхности тела есть все три вида частиц, все они сцепляются с частицами эфира, и тело видится нам как черное. Если же с частицами тела сцепляется лишь один или два вида частиц, образуются другие цвета. Например: «Самые кислые минеральные жидкие материи зеленого цвету не имеют: ибо свободно в воде движутся и Ефира красного в коловратном движении не воспящают. Но как скоро кислые их частицы от какой-нибудь причины к коловратному движению станут неудобны; тогда воспящая Ефир первого рода, красной цвет угашают, и, оставляя

голубой и желтой на свободе, производят цвет зеленой».

Ломоносовская теория цветов была основана на ошибочных предпосылках и наивных представлениях о структуре вещества, но механизм образования дополнительного цвета (то есть цвета предметов, которые видит наш глаз) описан им, в сущности, верно. Руководствуясь своей теорией, он сумел, впервые в России, опытным путем создать стекло разных цветовых оттенков. Уже 15 августа 1751 года он пишет Шувалову: «Его сиятельство граф Михайло Ларионович Воронцов по своей высокой ко мне милости изволил взять от меня пробы мозаичных составов для показания е. в…» Месяцем раньше он просит канцелярию пристроить к химической лаборатории дополнительный «покой» для мозаичных работ. Здесь Ломоносов, по словам Штелина, «приступил к изготовлению изумительного запаса цветных стеклянных сплавов всех оттенков, о которых только можно подумать; начал разрезать их на мелкие и мельчайшие кубики, призмочки и цилиндрики и первым удачно сложил из них образ Божьей Матери по оригиналу Солимены[109]». Эта мозаика была поднесена императрице в день ее тезоименитства. Затем был выполнен портрет Петра Великого по оригиналу придворного художника петровских времен Таннауера. Поскольку сам Ломоносов никогда толком рисованию не учился, Академическая канцелярия, по его просьбе, прикомандировала к нему двух учеников Академической рисовальной школы — Матвея Васильева и Ефима Мельникова. Васильев (сын матроса, родился в 1732 году) с годами стал «мастером мозаичного набора»; последняя дошедшая до нас его работа датируется 1769 годом, а умер он в начале 1780-х.

Тем временем Ломоносов, пользуясь успехом своих первых мозаик, уже осенью 1752 года подает «Предложение об учреждении здесь мозаичного дела».

«Главное к сему делу надобно иметь материю, то есть мозаичные составы, которые через Божию помощь всех цветов с тенью и светом выисканы, для чего учинено мною 2184 опыта в огне и можно оных составов делать здесь желаемое количество из здешних материалов. Доброта изобретенных здесь составов ничем не уступает римским…»

Среди ломоносовских стекол было и «превосходное зеленое, травяного цвета, похожее на настоящий изумруд», и «бледнопурпуровое», и «цвета черной печени». Все эти оттенки достигались благодаря добавлению в раствор различных химических реактивов, прежде всего окисей металлов, а иногда и чистого золота.

Исходя из своего опыта, Ломоносов подсчитал, что фабрика

во главе с «посредственным живописцем, которому способы мною указаны будут», может делать в год 12 квадратных футов мозаики, «которая представляет образа или портреты. <…> Мозаичных ланшафтов, картушей и других украшений, что делать много легче, нежели лица — может делать 5 и 6 квадратных футов в месяц, а мраморного или гладкого поля и по 15 футов на месяц». Поразителен этот ремесленный взгляд на искусство, которое меряется на квадратные футы.

Фабрику предполагалось укомплектовать вольнонаемными рабочими, числом около 25 человек, с жалованьем от 30 (истопник, чернорабочий) до 250 (составной мастер) рублей в месяц. Всего на ее содержание в год должно было уходить 3170 рублей. Казенная фабрика призвана была создавать мозаичный декор для дворцов и церквей — другими словами, выполнять госзаказ. Однако Ломоносов предусмотрел и коммерческую деятельность: «Если позволено будет делать на продажу мозаичные столы, кабинеты, зеркальные рамы, шкатулки, табакерки и другие домашние уборы и галантереи, то будут сии заводы себя окупать и со временем приносить прибыль…»

Однако вскоре намерения Ломоносова меняются. Теперь он решает завести собственную фабрику. Однако начального капитала у него не было и он по-прежнему нуждался в государственной поддержке. «Письмо о пользе стекла», кстати написанное и представленное Шуваловым императрице, ходатайство фаворита, поддержанное вице-канцлером и свойственником Елизаветы, — все это, как и предполагалось, сыграло свою роль, и 16 декабря 1752 года Ломоносов, «аки первый в России тех вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд», получил на тридцать лет монополию на производство цветного стекла в России и государственный кредит на заведение фабрики (который, заметим, так никогда и не был возвращен). Кроме того, фабрика на десять лет освобождалась от внутренних пошлин (они еще не были отменены).

Шестнадцатого марта последовал новый указ, содержание которого сам Ломоносов излагал в письме Эйлеру так: «Императрица пожаловала мне в Ингрии 226 крестьян с 9000 югеров (принимая за югер площадь в 80 сажен в длину, 30 в ширину) земли, так что у меня достаточно полей, пастбищ, рыбных ловель, множество лесов, 4 деревни, из которых самая ближняя отстоит от Петербурга на 64 версты, самая дальняя — на 80 верст. Эта последняя прилегает к морю. А первая орошается речками, и там, кроме дома и уже построенного стеклянного завода, я сооружаю плотину, мельницу и лесопилку, над которой возвышается самопишущая метеорологическая обсерватория…»

Этому предшествовали долгие хлопоты. Ломоносову пришлось самому ехать в Москву, где в то время находилась императрица, а с ней Разумовский и Шувалов. «Для сего Ломоносов просил из Канцелярии отпускного письма, но Шумахер отказал, что он без президентского повеления дать не смеет. Но как зимний путь уже стал худеть, и Ломоносов думал, ему от президента тоже отказ будет и дело его весьма продлится, то испросил он позволения из Сенатской конторы, от князя Голицына, пашпорт и в Москву поехал к президенту, извиняясь своей законной нуждой». Расчет оказался верен — профессор-стеклодел был принят милостиво, удостоен аудиенции, и его просьбы были удовлетворены.

Земля, о которой просил Ломоносов, была отведена к западу от Ораниенбаума, на болотистой и малопригодной для земледелия равнине между Финским заливом и Ижорской возвышенностью. Из 2110 десятин 1035 саженей земли свыше 1539 занимал лес. Но по территории протекала быстрая и чистая река Рудица, а значит, можно было построить водяную мельницу для измельчения породы и работающую на водяной силе лесопилку. Здесь числилось 211 (а не 226) ревизских душ, в том числе на Коважской мызе (в деревнях Шишкиной и в Калище) — 165, на Каревалдайской (или Горье-Валдайской) мызе (деревни Перекусиха и Липовая) — 34, а в Усть-Рудице, где, собственно, и строилась фабрика, — всего двенадцать душ.

Так сын государственного крестьянина стал помещиком. Впрочем, не совсем. Крестьяне были приписаны к заводу, а не к личности владельца. Мануфактуры и фабрики, которые начали активно развиваться в России при Петре и его преемниках, страдали от недостатка рабочих рук — особенно с тех пор, как запрещено было принимать на них «беспашпортных» бродяг. Выход был прост: казна «дарила» владельцам перспективных фабрик целые деревни, превращая государственных крестьян в заводских крепостных. Продавать отдельно от фабрики их было нельзя, использовать на барской запашке — тоже. Из каждой «заводской деревни» поставлялось определенное количество работников на завод: в том и заключалась мирская повинность. Фабричный крепостной лишался земельного надела и жил на выплачиваемое ему жалованье. Фактически он был рабом фабрики.

Ломоносов быстро и с удовольствием вошел в роль заботливого и рачительного хозяина. В мае 1753 года он пишет прошение о том, что в пожалованных ему Коважской и Каревалдайской мызах (составивших усадьбу Усть-Рудица), «в постройке… фабрики и заготовлении на то лесов… чинится мне

великое помешательство». Дело в том, что там стоит постоем Белозерский пехотный полк, который рубит лес «на сделание к полковым надобностям колес и на курение смолы» и к тому же отвлекает на свои нужды крестьян с их лошадьми. Ломоносов просит освободить его деревни от постоя и запретить рубку его лесов. Другое его прошение, поданное в сентябре 1754 года, показывает, что 165 душ на Коважской мызе числились лишь на бумаге: 90 душ мужеска пола с семьями фактически жили в деревнях Савалшино и Голобовицы, куда были переведены по малоземелью. Теперь от них потребовали вернуться на прежнее место, что означало для них «крайнее разорение». Но Ломоносов, которому не нужно было столько рабочих на фабрике, просил оставить этих крестьян в Савалшине и Голобовицах, а вместо поставки работников на фабрику брать с них оброк. Все эти ходатайства были удовлетворены. Позднее Голобовицы были «пожалованы» камергеру Скворцову, и между скворцовскими и ломоносовскими крестьянами начались «споры» из-за земли. Тогда (в 1761 году) Ломоносов добился того, чтобы на его крестьян (40 душ) были на скворцовской земле особо отмежеваны наделы.

Зачем Ломоносову нужны были все эти хлопоты? Первый и, казалось бы, самый очевидный ответ: он надеялся получить прибыль, разбогатеть и приобрести независимость от академического начальства. Общение с Петром Шуваловым открыло ему выгоды крепостной индустрии. Деньги нужны были на научную работу, эксперименты, строительство лабораторий. В знаменитом письме Шувалову от 10 мая 1753 года Ломоносов, рассказывая о своей трудной юности и уверяя мецената, что и сейчас, получив собственное имение, «от наук не отстанет», прибавляет: «Ежели кто еще в том мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример с его стороны Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток для умножения их гордости, а с другой стороны, Невтона, богатого лорда Бойла, который всю славу в науках получил употреблением великой суммы, Волфа, который лекциями и подарками нажил больше пятисот тысяч и сверх того баронство, Слоана в Англии, который после себя такую библиотеку оставил, что никто приватно не в состоянии купить, и для того парламент дал за нее двадцать тысяч фунтов штерлингов». Ученые XVIII века добывали средства для своих исследований самыми разными способами — от Лавуазье, который был королевским откупщиком (и впоследствии, при Робеспьере, вместе с другими королевскими откупщиками принял смерть на гильотине), до сэра Уильяма

Дампира, выдающегося океанографа и притом знаменитого флибустьера.

Но были и другие мотивы. Ученому хотелось продемонстрировать императрице и ее окружению те чудесные возможности, которые дает наука… А в России XVIII века технические открытия могли быть востребованы лишь в двух областях — в армии и в придворном быту. Ломоносов понимал: лучшей пропаганды науки, чем мозаики, украшающие дворцы и церкви, не найти. Впрочем, идея украсить всю страну яркими и способными сохраниться на века картинами, сделанными из чудесных цветных стекол, была близка и его собственному сердцу.

Мозаика, как вид искусства, обладает несколькими специфическими особенностями. Во-первых, она требует больших затрат и разнообразного, технически сложного, а потому коллективного труда. Во-вторых, она гораздо лучше защищена от разрушений, чем живопись, и может без повреждений простоять многие века. Поэтому мозаичное искусство процветало в обществах с высоким уровнем монополизма, в которых есть кто-то (обычно — государственная власть), способный вложить огромные средства в «монументальную пропаганду»; в обществах, где статус художника-одиночки сравнительно невысок; в обществах либо очень старых, привыкших мыслить тысячелетиями, либо молодых, но очень высоко себя ценящих и нацеленных на долгое существование. Такой была Византия, таким был до известного момента Советский Союз (вспомним мозаичные украшения сталинских станций метро и домов отдыха). Была ли такой империя Петра I и его первых преемников? В некоторой степени — да.

Новый статус и новые занятия Ломоносова позволяли ему еще более дерзко вести себя с Шумахером. 15 марта 1753 года советник Академической канцелярии писал Тауберту: «Г. советник Ломоносов весьма несправедлив, когда на меня жалуется: не я с ним, а он со мной поступил невежливо. Если он под невежливым обхождением разумеет то, что не все делается по его воле, в нарушение права и справедливости, в таком случае я должен согласиться, что поступил очень невежливо. Его лаборатор подал в канцелярию доношение с просьбою об отпуске его в Москву, по своим делам… Канцелярия решила его отпустить. День спустя является ко мне в канцелярию г. советник Ломоносов и передает мне на словах, чтобы я выдал лаборатору на прогоны две лошади, так как он посылает его в Москву по своим мозаическим делам…» Шумахер отказал. «Не очень гордитесь, сказал Ломоносов, я сам такой же полковник, как и вы!

Я возразил, что я не полковник, а советник канцелярии, где он ничем не может мне повелевать». Не зря Шумахер так возражал против производства академиков в сколько-нибудь высокие чины, и не случайно Ломоносов так этого добивался… Письмо Шумахера любопытно заканчивается: «Г. Ломоносов может действовать против меня как он хочет, но я всегда скажу, что у него был бы хороший ум и что он стоял бы высоко по своей науке, когда бы притом оставался вежливым. Надменность, скупость и пьянство такие пороки, которые многих довели до несчастия…» Скупостью Ломоносов, кажется, никогда не отличался — скорее был склонен к противоположному пороку. Вероятно, Шумахера раздражало то, что человек, только что получивший четыре тысячи рублей из казны, не желает за счет этих денег оплачивать командировки своих сотрудников.

Фабрика открылась в мае 1754 года. Она состояла из деревянной лаборатории с восемью печами, предназначенными «для откалки деревянной посуды, для кругления бисеру, для делания пронизок и для тянутья материи на мозаику», собственно мозаичной мастерской (состоящей из пяти комнат), плотины с мельницей и служебных построек (слобода для фабричных людей, кузница, «дом для приезду»). Всего на фабрике работало 16 квалифицированных рабочих и 15–20 человек «для грубых работ».

За двенадцать лет ломоносовская фабрика выполнила пятнадцать работ — девять портретов (два Петра I, два Елизаветы Петровны, Петра III, его матери Анны Петровны, Екатерины II, Г. Г. Орлова и П. И. Шувалова), две иконы Богоматери, «нерукотворный Спас», «Александр Невский», «Апостол Петр» и композицию «Полтавская баталия». Ломоносовские смальты отличаются по характеру от итальянских; манера набора тоже не похожа была на принятую в Италии XVIII века: Ломоносов стремился не имитировать живопись, а, напротив, подчеркивать своеобразие мозаики как вида искусства. Сочетание крупных декоративных красочных пятен, набранных крупными смальтами, в самом деле, создает впечатление смелости и монументальности, напоминая древние шедевры Константинополя и Равенны. Но мы не знаем, входил ли этот эффект в намерения мозаичистов. Возможно, Ломоносов и его мастера просто были недостаточно искусны поначалу? Во всяком случае, современниками это воспринималось именно так. Штелин, который был постоянным сотрудником и советником Ломоносова в ходе мозаичных работ, вспоминал, как он, когда Ломоносов показывал в начале 1753 года первый портрет Петра I графу Разумовскому, «отвел графа на 10 шагов назад и сказал Ломоносову, что он никому этой вещи не должен показывать

ближе — так заметны были светлые заполненные замазкой швы между кусочками смальты, они отчетливо были видны даже за шесть шагов». С годами, особенно в портретных работах, ломоносовские мозаичисты все чаще обращаются к миниатюрной технике, пользуясь не колотой, а тянутой, набранной «ленточками» смальтой. Однако мастерство Матвея Васильева и его товарищей часто обесценивалось невзыскательностью при выборе живописного оригинала. Особенно печально сказалось это в «Полтавской баталии».

В 1758 году Ломоносов выступил со смелым проектом: он предложил украсить мозаичными панно Петропавловский собор. Дело в том, что собор сильно пострадал двумя годами раньше во время грозы, обрушившей его первоначальный шпиль, и нуждался в реставрации. Ломоносов предлагал воспользоваться этим для реконструкции внутреннего убранства постройки Трезини.

Проект включал тридцать четыре огромных «картины»: нижняя изображала эпизод из жизни императора, верхняя, над ней расположенная, — параллельный сюжет из Библии.

«Начатие службы великого государя, где представить его как двенадцатилетнего младенца в солдатском простом мундире с ружьем между рядовыми солдатами: перед ним брат его, государь царь Иоанн Алексеевич и родительница государева с фамилиею и с патриархом уговаривают его, чтобы он в чертоги свои возвратился и берег бы своего здоровья; он представляет, что должность его так требует. Наверху история, как Христос Петра и прочих апостолов учит смирению. В разделении надпись: Кто хощет быть из вас болий, да будет всем слуга».

И так далее. Над «историей начинающегося флота» — Христос, ходящий по морю, «аки по суше». Связь между нижним и верхним панно не всегда столь очевидна: зачастую перед нами прихотливые ассоциации, рожденные в сознании барочного ритора и поэта.

«Зачатие и строение Санкт-Петербурга, Кронштадта и Петергофа. Наверху — разговор Петров после преображения со Христом. В разделении: Господи, сотворим здесь три сени — Тебе, Моисею и Илие. Внизу — лапидарным стилем сень Христова, то есть помазанникова столица Санкт-Петербург, сень морепроходца Моисея — Кранштат; сень отшельника — Илии — Петергоф».

Кроме парных панно, предлагалось выполнить меньшие по размеру мозаики аллегорического характера, изображающие Славу, Вечность, Правду и т. д. Между ними Ломоносов задумал поместить серебряные статуи тоже аллегорического характера. Но это было лишь приложение к главному — композициям из

цветного стекла.

О реакции профессоров на это предложение Штелин говорит кратко: «Никто не отважился что-либо сказать во избежание ссоры, но лишь только изобретатель вышел — поднялся общий хохот и оханье».

Проект был внесен Шуваловым в Сенат и, конечно, одобрен (с фаворитом спорить не решались, хотя идея украсить главный собор страны «стекляшками», конечно, веселила сенаторов не меньше, чем академиков). Работы начались, однако, лишь два года спустя.

Ломоносов задумал свой проект как писатель, а не как художник. В его сознании не возникало цельной визуальной картины: он мыслил сюжетно. На самом деле трудно представить себе, как выглядел бы собор, украшенный мозаиками. Но то, что в состоянии сконструировать наше воображение, оказывается подозрительно близким к явлению, которое в XX веке назовут китчем. И, к сожалению, мозаика «Полтавская баталия», которую мы видим ныне на лестнице здания Академии наук в Петербурге, не опровергает этого представления.

Эскиз был заказан Бухгольцу, «городскому живописцу» и портретисту, не имевшему опыта исторической живописи. В помощь ему были направлены ученики Рисовальной школы. Эскиз, созданный этим коллективом, был довольно халтурным. Вялая композиция, аляповатый колорит — не говоря уж о совершенно непропорциональном коне-мутанте, на котором восседает царь. Штелин «по чести просил его (Ломоносова) не начинать мозаики с этой жалкой картины», обещая пригласить хорошего художника из Италии. Придворные живописцы-декораторы, итальянцы Джузеппе Валериани и Стефано Торелли, оба европейские известные мастера, — не скрывали своего отношения к эскизу Бухгольца и удивлялись сумасшедшему профессору, который «хочет делать мозаику с эдакого дерьма». Но Ломоносов торопился и экономил отпущенные деньги. Он знал от Шувалова то, чего, возможно, не знали доподлинно другие: Елизавете оставалось жить считаные месяцы, а вкусы ее наследника не поддавались предсказанию.

Художники и наборщики мозаики (два мастера, два ученика и пять крестьян из Усть-Рудицы) были переведены в Петербург, в ломоносовскую усадьбу на Мойке. Во дворе, рядом с химической лабораторией, была оборудована и мозаичная мастерская. Хозяин дома теперь часто болел, и ему трудно было постоянно ездить в Усть-Рудицы. Там оставалась лаборатория по изготовлению смальт, которой ведал Иоганн (Иван Андреевич) Цильх, ломоносовский шурин. По свидетельству Ломоносова, Цильх

«дошел в своем искусстве столь довольного совершенства, что никто в Европе лучших успехов показать не может». Сам ученый в последние три года жизни в производство стекол «головой не вступался, а производил все оный мой шурин».

К июню 1764 года огромная картина (две сажени высотой и две с половиной в длину) была, наконец, закончена. Престол давно занимала Екатерина. Вместе со всеми сенаторами она осматривала «Полтавскую баталию» в ломоносовской мастерской и вроде бы осталась довольна. Как добавляет Штелин: «Месяца за два до смерти Ломоносова я повез посмотреть эту вещь министра римского императора — князя Лобковича. Ломоносов, у которого были опухшие ноги, велел принести себя в креслах и был вне себя от радости, когда князь Лобкович его заверил, что заплатил в Риме 20 000 скудо за две мозаики, из которых каждая была в половину этой.

На обратном пути, однако, в экипаже князь сказал мне: „Да, 20 тысяч скудо я, правда, заплатил в Италии за каждую мозаику, но это были в 20 раз лучшие работы по композиции, краскам и мозаике“».

Ломоносов умер, веря, что, по крайней мере, «Полтавская баталия» займет свое место в соборе. Мозаичное дело перешло в собственность его жены. По завещанию Ломоносова, изготовлением смальт по-прежнему ведал Цильх, технологией набора — Васильев. Но почти сразу же начались тяжелые конфликты.

Седьмого сентября 1765 года Елизавета Ломоносова пишет Крамаренкову — секретарю Р. Л. Воронцова: «Все дело в том, что данные на нашу фабрику казенные люди сговорились все вообще более не работать и меня не слушаться, как то они уже с два месяца вовсе гуляют.

По некоторым наглым и непристойным поступкам от оных людей, у коих Матвей Васильев предводителем, принуждена я была на них жалобу произвесть у его превосходительства Ивана Ивановича Бецкого, только вместо того, чтобы мне дать сатисфакцию, усмотрела я через разговоры его секретаря, что может быть на уме отнять не только мозаичную работу, но и собственную нашу фабрику…

Но все сие происходит от происков Васильева. Он по судебным местам и по всему городу, а особливо к Ивану Ивановичу и его секретарю бегает, называя себя главным мастером и главным командиром над мозаичными работами, и при том о себе сказывая, будто все рецепты к составлению разноцветных стекол знает…»

Впервые мы слышим голос Елизаветы Андреевны. В дочери

пивовара, которая смолоду так скверно вела хозяйство, а под конец, по свидетельству Шлёцера, «с большим достоинством» играла роль супруги статского советника и дворянина, вдруг пробудилась властная бюргерша. Она била непослушных мозаичных мастеров по щекам, грозилась заковать их в оковы и сечь батожьем… (А может, никакая не властная бюргерша, а просто усталая, раздраженная, больная — через год ее не стало — сорокапятилетняя женщина?)

Тем не менее еще какое-то время мозаики продолжали выпускаться. В числе работ, вышедших из мастерской уже после смерти ее основателя, — портреты М. Л. Воронцова и самого Ломоносова (не сохранился). Художественное руководство мастерской осуществлял известный в то время мастер декоративной живописи Иван Бельский.

Но Иван Иванович Бецкой, «главный директор над строениями», ведавший в 1760-е годы культурной политикой, к мозаичному искусству относился холодно. Выделение средств на панно для Петропавловского собора было прекращено. Уже начатая вторая картина — «Взятие Азова» — осталась незаконченной. Без больших государственных заказов мозаичное дело оказалось невыгодным — да оно никогда и не было особенно прибыльным: «профессор и советник» был, судя по всему, никудышным коммерсантом. В 1768 году дочь Ломоносова и ее муж, придворный библиотекарь Алексей Алексеевич Константинов, просили Сенат о закрытии фабрики, о передаче мозаичного дела в ведение Академической канцелярии от строений и о передаче земли и крестьян Усть-Рудицы в их, наследников Ломоносова, частную собственность. 9 декабря эта по-своему символичная просьба была удовлетворена. Начиналась эпоха вольных и просвещенных рабовладельцев: Ломоносов трудами и талантами обеспечил своим потомкам этот статус. А еще почти двадцать лет спустя, в 1786 году, когда канцелярия от строений благополучно забыла секрет изготовления смальт, престарелый Иван Цильх выражал готовность возродить утраченное производство. Но никому это было уже не нужно. Из всех, кто занимался прежде в России мозаикой, в живых оставались лишь Цильх и Иван Бельский, тоже почти семидесятилетний старик. Матвея Васильева уже не было. В 1798 году мозаичная мастерская (после «приватизации» Усть-Рудиц перешедшая в казну и почти тридцать лет существовавшая лишь на бумаге) была окончательно ликвидирована. Еще одно ломоносовское начинание, казалось бы, на ура воспринятое современниками, почти не пережило своего инициатора.

Стоит упомянуть, что очень недолгое время (в 1762 году, при

Петре III) Михайло Васильевич был директором другой фабрики, фарфоровой, — поныне существующего фарфорового завода, с 1925 года носящего имя Ломоносова. Секрет фарфора, или «порцелина», с которым первым из европейцев столкнулся Марко Поло в Китае, был найден европейцами лишь в XVIII веке. Правда, порцелин, который производили во Франции и большинстве германских княжеств, как указывал старый соученик Ломоносова Дмитрий Виноградов, «ничто иное есть, как то же ординарное стекло, к которому к массе каких-нибудь животных костей примешивают, отчего оно белизну получает и от горячей воды тотчас лопается, также отменной внутренней материи скорлупы или глазуры на себе не имеет: следовательно, за настоящий фарфор почитаться никак не может». Настоящий, не уступающий китайским образцам фарфор умели делать лишь в Саксонии.

В 1744 году некто Гунгер, саксонец, приехал в Россию и выдал себя за мастера, знающего секрет фарфора. Была построена казенная Порцелиновая мануфактура — но спустя четыре года, когда дошло до дела, Гунгер был разоблачен как самозванец. К тому времени Виноградов уже самостоятельно открыл секрет саксонских и китайских мастеров. Именно ломоносовскому однокашнику довелось стать отцом русского фарфора. В течение десяти лет, до смерти в 1758 году, он служил на фарфоровом заводе главным мастером. Обращались с ним при этом скверно, временами даже сажали на цепь (чтобы никому не выдал тайны). А ведь он получил такое же точно образование, как исполненный гордыни «профессор и советник», и, по крайней мере, теоретически мог претендовать на равный с ним статус!

Параллельно с Виноградовым эксперименты с целью создания фарфора ставили профессора Академии наук; в их числе, наряду с Вейтбрехтом и Гмелином, был и Ломоносов. Но его роль в истории завода, названного его именем, весьма незначительна.

7

В Германию Ломоносов был послан изучать прежде всего минералогию и металлургию. Эти специальности, само собой, занимали свое место в его научных трудах.

В 1742–1743 годах им был написан учебник «Первые основания металлургии», изданный лишь двадцать лет спустя. Среди последующих работ наиболее значительны речь «Слово о рождении металлов трясением земли» (1757) и «О слоях земных» (1763) — прибавление к «Первым основаниям…».

По мнению В. И. Вернадского, специально занимавшегося этим вопросом, идеи, изложенные Ломоносовым, были новыми и во многом опередившими научную мысль своего времени. Но ученые конца XVIII века не могли заинтересоваться этими работами из-за старомодной вольфианской философской «упаковки».

Поводом к произнесению «Слова…» явилось ужасное землетрясение, разрушившее Лиссабон, столицу Португалии. Всего погибло тридцать тысяч человек (в самой Португалии и в Северной Африке), исчезли с лица земли бесценные памятники архитектуры, коллекция картин, включавшая великие полотна Рубенса и Тициана, богатейшая королевская библиотека. Но современников потрясли прежде всего человеческие жертвы: к таким цифрам они не привыкли. Для Вольтера, написавшего поэму на разрушение Лиссабона, гибель тысяч невинных стала главным аргументом против лейбницевской и вольфианской идеи предустановленной гармонии:

> Полезно все теперь не скажете мне вы?
> Что, если б Лиссабон земля не поглотила,
> Ужель бы та страна ее отягощила?
> Не мните ль вы, что, все сие предвидя,
> Бог Соделать лучшего для сих людей не мог?[110]

В России Гедеон Криновский, тот самый, что высмеивается в «Гимне бороде», произнес проповедь, традиционно рассматривая землетрясение как Божью кару. Более утонченные русские авторы екатерининского времени, младшие современники Вольтера (В. А. Лёвшин, А. Т. Болотов), положили немало сил, чтобы оправдать в этом случае Творца и объяснить его помыслы по отношению к человеку.

Но Ломоносов, можно сказать, главный русский вольфианец, уже ответил для себя на все вопросы в «Оде, выбранной из Иова». Да, мир опасен для отдельной человеческой личности, несоразмерен и, кажется, даже враждебен ей. Но это потому, что человек еще не осознал красоты мироустройства, его потрясающей механики. «Когда ужасные дела Натуры в мыслях ни обращаю, слушатели, думать всегда принужден бываю, что нет ни единого из них толь опасного и вредного, которое бы купно пользы и услаждения не приносило. Божественным некоторым промыслом присовокуплены приятным вещам противные быть кажутся, дабы мы, рассуждая о противных, большее услаждение чувствовали в рассуждении приятных».

Вот взять хотя бы те же землетрясения — для чего они

нужны? Оказывается, именно от них родятся металлы, без которых немыслима человеческая цивилизация. Картина мира, стоящая за этими рассуждениями, может быть описана примерно так: природа — гигантская фабрика. Гибель людей — результат производственной аварии, печальной, но неизбежной. В конце концов (так должен был думать Ломоносов), при строительстве Петербурга погибло больше народа… В то время как Вольтер размышляет об обреченности человека и о несправедливости Бога, автор «Слова о рождении металлов…» спокойно классифицирует «трясения земли» и показывает механизм их воздействия на минералы.

Открытием Ломоносова стали «нечувствительные землетрясения» (сдвиги земной коры). В результате таких сдвигов на поверхности земли образуются горы; местами земная кора трескается — так рождаются вулканы; земная поверхность оседает в образовавшиеся между подвижными подземными слоями пустоты — так появляются равнины; после землетрясений трещины заполняются разными продуктами, принесенными дождевой водой, — вот разгадка жильных минералов. Причиной же землетрясений Ломоносов считает «внутренний жар земли», порожденный движением корпускул (под огромным внешним давлением). Так работает огромная фабрика Господа Бога.

Работа «О слоях земных» — одно из первых в мировой науке сочинений, в которых ставится вопрос о возрасте и структуре земной коры. Дав развернутый физико-географический очерк всех известных к тому времени континентов, Ломоносов переходит к анализу причин, формирующих земную поверхность. Тут и вулканические явления, и атмосферные воздействия, и разложение живых организмов.

Описывая слои земли, «руками человеческими открытые» при добыче минералов, Ломоносов везде видит следы древних окаменевших тварей. Из останков умерших животных и отцветших растений, утверждает ученый, образуется торф, из него — уголь. В процессе формирования угля из него «выгоняется подземным жаром… бурая, черная и масляная материя». Так образуются нефть, агат, «жидовская смола» (асфальт) и другие горючие вещества. Ломоносов первым догадался, что чернозем — продукт гниения органических существ, а янтарь — застывшая смола. Большинство ученых того времени считали, что животные, чьи окаменевшие останки находятся в земле, погибли во время Всемирного потопа. Некоторые (Моро, позднее, уже после Ломоносова — Паллас и Кювье) были сторонниками теории периодических катастроф. Ломоносов придерживался той точки зрения, что в земной истории одних только «потоплений» без

числа: «Одни от избытку воздушной воды, то есть от сильных и чрезвычайных дождей и от крутого таянья снегу, другие от морей и озер, преступающих берегов своих пределы». «Потопления» эти всегда связаны «с земным трясением или с нечувствительным и долговременным земной поверхности повышением и понижением». В общем, фабрика природы, устроенная и заведенная Богом-механиком, работает без остановки. Человек — потребитель конечной продукции… И в то же время — ходячее сырье.

Ломоносов даже попытался подсчитать возраст мира. Ключом служат найденные в северных широтах кости «слонов». (Этот вопрос, напомним, волновал петербургских натуралистов еще в 1730-е годы.) По мнению Ломоносова, климат Сибири изменился и стал непригоден для обитания южных животных (когда-то там живших), потому что наклон земной оси изменяется: первоначально «эклиптика была к экватору перпендикулярна». Чтобы эти глобальные изменения произошли, требуется, по подсчетам ученого, 399 тысяч лет. Если же по церковному летоисчислению мир гораздо моложе — так ведь летоисчисление это основано на «неявственных и сумнительных числах в еврейском Ветхом Завете» и не есть догмат веры. К тому же и пирамиды египетские явно древнее церковных пяти тысяч лет, прибавляет ученый. «Кто же с сим несогласен, пусть отнесет это ко времени до шестидневного произведения тварей; там не будет никакого спора».

Но если тварей не было — откуда взялись слоны? И кто построил пирамиды? Что-то в подсчетах Ломоносова не сходится…

8

К середине XVIII века человечество сделало лишь первые шаги в изучении электрической энергии. Но именно в ту пору в этой области был совершен огромный рывок.

Еще Фалес Милетский, первый из семи греческих мудрецов, заметил в VII веке до н. э., что янтарь, если его потереть, способен притягивать легкие тела. «Янтарь» по-гречески — электрон. Именно поэтому Уильям Гильберт, лекарь английской королевы Елизаветы I, в 1600 году назвал все тела, которые при трении приобретают это свойство, «электрическими» и отделил от них магнит, обладающий свойством притяжения изначально. В 1672 году немец Отто фон Герике изобрел машину для получения электричества. Это был серный шар, закрепленный на железной

оси. Когда шар приводили во вращение и потом на него нажимали рукой, он начинал притягивать предметы. При этом слышалось легкое потрескивание, а на руке виден был в темноте особый «электрический свет». В последующие десятилетия такие «электрические машины» создавались в разных странах, постепенно усовершенствуясь. Так, серные шары-кондукторы заменили стеклянными. К середине века ученым были известны такие понятия, как «проводник» и «изолятор».

В 1745 году Эвальд Георг фон Клейст из города Каммин впервые в мировой истории получил удар электрическим током: он вложил в бутылку гвоздь, поднес ее на мгновение к электрической машине, а потом коснулся рукой гвоздя. Год спустя лейденский физик Питер ван Мушенбрук попытался наэлектризовать воду в бутылке. Во время опыта его знакомый случайно коснулся рукой кондуктора и получил сильный электрический удар. Так было изобретено устройство, известное как лейденская банка. Этот прибор тоже получил широкое распространение.

Это, в общем, все, что знали об электричестве люди до 1740-х годов, когда опытами с электричеством занялся, за многие тысячи километров от Петербурга, один естествоиспытатель-дилетант. Этому человеку суждено было сыграть в культуре и истории своей страны роль, в каких-то отношениях аналогичную роли нашего героя в русской культуре. А поскольку страна эта стала со временем могущественнейшей державой в мире, имя этого человека, Бенджамина Франклина (1706–1790), известно едва ли не всем на земном шаре.

Сын типографа, сам обучавшийся в юности лишь типографскому делу, Франклин стал прославленным публицистом, памфлетистом, сатириком, родоначальником американской прозы. В качестве дипломата он, уже на склоне лет, добился помощи восставшим североамериканским британским колониям со стороны Франции, что и предопределило успех Войны за независимость. Его ясный дух и здравый смысл, идеализм и практицизм стали родовыми знаками американской культуры.

Электричеством Франклин занялся в 1745 году. Приборы ему доставлялись из Лондона, из Британского королевского общества. Там же зачитывались его письма, в которых он излагал результаты своих экспериментов и возникшую на их основе теорию. Письма эти принесли ему славу. Самоучка, не получивший университетского образования, удостоился докторской мантии и членства во многих научных обществах мира.

Суть теории Франклина заключалась в следующем. Электричество — это особая жидкая субстанция, пронизывающая тела, так же как флогистон или теплород. Если этой жидкости слишком много, тело наэлектризовано положительно; если ее недостает — отрицательно; при натирании электричество возникает, потому что «электрическая жидкость» переходит из одного тела в другое. Наличие положительного и отрицательного электрического заряда — таково было первое открытие Франклина.

Другое открытие заключалось в следующем: металлический шест может отнимать электричество у заряженного кондуктора на далеком расстоянии. Это позволило ему провести опыты, доказавшие существование электрической силы в атмосфере, электрическую природу грома и молнии. (Получен ответ на еще один вопрос, смущавший двадцать лет назад членов Петербургской академии!) Как настоящий янки, Франклин позаботился о практическом применении своих изысканий. «Если грозовые облака действительно наэлектризованы, то нельзя ли в таком случае защитить от удара молнии дома, церкви, корабли и пр. устройством высоких заостренных железных шестов», — писал он в 1750 году. Так был изобретен молниеотвод.

В 1752 году весть об открытиях Франклина дошла до Петербурга. Ими сразу заинтересовался профессор физики Рихман. Этот человек уже не раз упоминался на страницах нашей книги, но сейчас он выходит на авансцену. Поэтому скажем о нем чуть подробнее.

Георг Вильгельм Рихман родился в 1711 году в Пернове (Пярну) в семье казначея. О себе он сообщает, что он «родом лифляндец». Трудно сказать, были его родители немцами или настоящими «лифляндцами» — онемеченными эстонцами. Во всяком случае, он, в отличие от большинства профессоров, родился российским подданным. Учился он «на собственном иждивении» в Галле и Йене, затем состоял при Крафте. Лишь в 1740 году он удостоился звания адъюнкта. Год спустя он стал вторым профессором физики, а в 1744 году, после отъезда Крафта, возглавил физическую кафедру. В том же году была написана первая редакция его главного труда — «Размышления о количестве теплоты, которое должно получаться при смешивании жидкостей, имеющих определенные градусы теплоты», в котором впервые было выведено уравнение теплового баланса. Рихман также открыл, что металлы отличаются по «способности удерживать теплоту».

Все эти исследования приходятся как раз на те годы, когда вопросами теплоты занимался Ломоносов. Два ученых работали

не только в одной академии, но и в одной лаборатории. Правда, Рихмана интересовали чисто количественные характеристики взаимодействия разнотемпературных объектов, а Ломоносова — физический механизм нагревания. Но очевидно, что, занимаясь такими близкими вопросами, они должны были тесно общаться между собой. Вероятно, тогда они и подружились. Весной 1752 года начался новый этап их совместной работы.

Строго говоря, Рихман еще в середине 1740-х годов, наряду с теплотой, занимался электричеством. Независимо от Франклина он изобрел «электрометр» — прибор для измерения величины электрического заряда. Изучая электропроводность и электроемкость различных жидкостей, он произвел сотни опытов. Ему доводилось демонстрировать свои эффектные эксперименты при дворе. Рихман зажигал нефть и спирт, поднося к ним наэлектризованные тела. Императрица была в восторге. Были у профессора опыты еще более эффектные. Как пишет его биограф В. Н. Белюстов, Рихман «электризовал людей и, соединив их между собой проводником, сообщал электрический заряд одному изолированному человеку, а соединив того с другим, ненаэлектризованным, получал искры и „ощутительный свет“». Ломоносова очень увлекали эти опыты друга, и он тоже стал экспериментировать, изучая влияние электричества на человеческий организм. «Если голову под проволоку поставить, то почувствуешь колотье. Так же, когда плечо приложишь к проволоке, то и сквозь платье колотье почувствуешь. <…> Когда молоток приложишь ко лбу и зубам, а другим концом к проволоке, то почувствуешь немалую болезнь. <…> Маленькие животные чувствуют большую болезнь, нежели великие. Я надеюсь, что карлам больнее будет, нежели рослым людям…» — так описывал он свои опыты. Последняя фраза может шокировать современного читателя, но «я надеюсь» на языке XVIII века значит всего лишь «я полагаю». К тому же Ломоносов и Рихман экспериментировали не на карликах, а в основном на себе. Да и опасность, связанная с электричеством, еще не была очевидна. Рихману пришлось убедиться в этом ценой жизни.

В 1747 году, после пожара в академии, опыты с электричеством прекратились, чтобы возобновиться пять лет спустя. Уже в июле Рихман строит в своем доме (на углу Большого проспекта и 5-й линии Васильевского острова) «громовую машину». Ломоносов тем временем строит такие же «машины» в Боновом доме и в Усть-Рудице. Главной частью всех этих машин был двухметровый шест с железным навершием, пропущенный через крышу. К навершию прикреплена была проволока, идущая к воротам дома, а дальше — в комнату, где ее

конец закреплялся шелковой веревкой на вбитом в стену гвозде. На проволоке была навешена железная линейка (к которой привязывалась льняная нить). Во время грозы ученые, извлекая искры из железной линейки, убеждались в наличии «электрической силы». О том, насколько это опасно, они и не догадывались.

Уже 21 июля профессор физики в присутствии своих коллег демонстрировал «электрическую силу громовых туч». Всем желающим предлагалось взять одной рукой «наэлектризованную громом линейку», другой — железную проволоку, соединенную с лейденской банкой. Смельчаки «чувствовали часто потрясение в обеих руках, как то при художественном электризовании делается». Обо всех этих опытах с удовольствием писали «Санкт-Петербургские ведомости», а Ломоносов с восторгом сообщал о новом открытии в «Письме о пользе стекла»:

Вертясь Стеклянный шар дает удары с блеском,
С громовым сходственный сверканием и с треском,
Дивился сходству ум, но, видя малость сил,
До лета прошлого сомнителен в том был.
Внезапно чудный слух по всем странам течет,
Что от громовых туч опасности уж нет!
Что та же сила туч гремящий мрак наводит,
Котора от Стекла движением исходит,
Что зная правила изысканны Стеклом,
Мы можем отвратить от храмин наших гром…

Но слова о том, что «от громовых туч опасности уж нет» были преждевременными, и вскоре ученым пришлось на личном примере в этом убедиться.

Сам Ломоносов тоже сделал несколько важных наблюдений, о которых писал Шувалову 11 мая 1753 года:

«Приметил я у своей громовой машины, 25 числа сего апреля, что без грому и молнии, чтобы слышать и видеть можно было, нитка от железного прута отходила и за рукою гонялась; а в 28 число того же месяца при прохождении дождевого облака без всякого чувствительного грома и молнии происходили от громовой машины сильные удары с ясными искрами и треском далеко слышным…» Ученый видел здесь подтверждение своей давней теории о теплоте «и нынешней — об электрической силе». Ломоносов и Рихман усиленно готовились к «публичному акту»: «Он будет представлять опыты свои, а я теорию и пользу от оной происходящую».

Но «публичному акту» помешало роковое событие,

случившееся 26 июля. Во время очередного заседания академии Ломоносов и Рихман, сидевшие рядом, обсуждали предстоящий «акт», назначенный на 5 сентября. Вскоре, около полудня, ученые заметили признаки подступающей грозы и, не дожидаясь окончания заседания, отправились домой, чтобы приступить к наблюдениям. Рихман взял с собой «грыдоровального мастера» Ивана Алексеевича Соколова, который должен был запечатлеть «электрическую машину» и опыты с ней для «публичного акта».

Вот свидетельства о том, что было дальше.

Показания Соколова: «Когда г. профессор, посмотревши на указателя електрического[111] рассудил, что гром еще далеко отстоит, уверил он грыдоровального мастера Соколова, что теперь нет никакой опасности; однако когда подойдет очень близко, то де может быть опасность. Вскоре после того, как г. профессор, отстоя на фут от железного прута, смотрел на указателя електрического, увидел помянутый Соколов, что из прута, без всякого прикосновения, вышел бледно синеватый огненный клуб, с кулак величиною, шел прямо ко лбу г. профессора, который в самое то время, не издав ни малого голосу, упал назад на стоявший позади его сундук. В самый тот же час последовал такой удар, будто бы из малой пушки выпалено было, отчего и оный грыдоровальный мастер упал назем и почувствовал на спине у себя некоторые удары, о которых после усмотрено, что оные произошли от изорванной проволоки, которая у него на кафтане с плеч до фалд оставила знатные горелые полосы».

Письмо Ломоносова Шувалову (в тот же день): «Что ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. Гром был нарочито силен, дождя не капли. Выставленную громовую машину посмотрев, не увидел ни малейших признаков электрической силы. Однако, когда кушанье на стол ставили, дождался я нарочитых электрических из проволоки искор, и к тому пришла моя жена и другие; и, как я, так и оне беспрестанно до проволоки и до привешенного прута дотыкались, за тем что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мною споривал. Внезапно гром чрезвычайно грянул в самое то время, как я руку держал у железа, и искры трещали. Все от меня прочь побежали. И жена просила, чтобы я прочь шел. Любопытство удержало меня еще две или три минуты, пока мне сказали, что шти простынут, а при том и электрическая сила совсем почти

перестала. Только я за столом посидел несколько минут, внезапно дверь отворил человек покойного Рихмана весь в слезах и в страхе запыхавшись. Я думал, что его кто-нибудь по дороге бил, когда он ко мне был послан[112]. Он чуть выговорил: профессора громом зашибло. В самой возможной страсти, как сил было много, приехав увидел, что он лежит бездыханен. Бедная его вдова и ее мать таковы же, как он, бледны. Мне и минувшая в близости моя смерть, и его бледное тело, и бывшее с ним наше согласие и дружба, и плач его жены, детей и дому были столь чувствительны, что я великому множеству сошедшегося народа не мог ни на что дать слова или ответа, глядя на того, смотря на того лице, с которым за час сидел в Конференции…»

Доктор Кратценштейн: «Я прощупал у него тотчас пульс, но не было уже биения; после пустил я ему ланцетом из руки кровь, но вышла токмо одна капля оной. Я дул ему, как то с задохшимися обыкновенно делается, несколько раз, зажав ноздри, в рот, дабы тем кровь привести паки в движение, но все напрасно; при осмотре нашел я, что у него на лбу, на левой стороне виска, было кровавое красное пятно с рублевик величиною, башмак на левой ноге над меньшим пальцем в двух местах изодрало. Как скинули чулок, то под прошибленным местом нашли кровавое и багровое пятно, а пята была синевата, на теле, сверху у груди и под ребрами на левой стороне, видны были багровые пятна такой же величины, как на лбу».

Рихман был убит шаровой молнией, вошедшей в комнату через дверной проем, а не по проволоке. Об этом свидетельствовали повреждения двери. Шаровая молния — одно из экзотических природных явлений, до сих пор рождающих легенды и суеверия. Но как бы то ни было, гибель Рихмана была связана с осуществлявшимся им экспериментом. Общество было потрясено. Значит, ученые не правы? Значит, гром все-таки опасен?

Какие мысли приходят в голову Ломоносову после того, как он справился с первым потрясением?

Первое: гибель друга становится объектом научного анализа. «Первый удар от привешенной линеи с ниткою пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу; а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Нога и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен. Мы старались движение крови в нем возобновить, за тем, что он еще был тепл; однако голова повреждена и больше нет надежды. Итак, он плачевным опытом уверил, что электрическую силу отвратить можно, однако на шест с железом, который должен стоять на пустом месте, в которое бы гром бил сколько хочет…»

Второе: Ломоносов хлопочет о семье погибшего ученого.

«Между тем, умер господин Рихман прекрасною смертию, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет; но бедная его вдова, теща, сын пяти лет, который добрую показывал надежду, и две дочери, одна двух лет, другая около полугода, как об нем, так и о своем крайнем несчастий плачут. Того ради, ваше превосходительство, как истинный наук любитель и покровитель, будьте милостивый помощник, чтобы бедная вдова лутчего профессора до смерти своей пропитание имела, и сына своего маленького Рихмана могла воспитать, чтобы он такой же был наук любитель, как его отец. Ему жалованья было 860 руб. Милостивый государь! исходатайствуй бедной вдове его или детям до смерти. За такое благодеяние Господь Бог вас наградит, и я буду больше почитать, нежели за свое…»

Можно лишь согласиться с Пушкиным: это письмо трогательно. Ломоносов в порыве чувств даже обращается к Шувалову на «ты» — он, такой внимательный к условностям в общении с высшими по общественному положению! Однако почему-то Иван Иванович в данном случае не счел возможным вмешаться в решение президента Академии наук. Поэтому Ломоносову пришлось обратиться ко второму «патрону». На сей раз он просит для Анны Рихман не исключительной милости (пожизненная пенсия), а того, что причиталось ей по обычаю. «Вдова профессора Винсгейма, которая нынче за профессором Штрубом, осталась от прежнего мужа небедна и детей не имела, однако не токмо тысячу рублев мужнее жалование по смерти его получила, но сверх того сто рублев. А у Рихмановой и за тот день жалование вычтено, в который он скончался, несмотря на то, что он поутру в тот же день был в собрании…»[113] Ломоносов просит Воронцова «преклонить» Разумовского «к оказанию этой милости». Это, вероятно, помогло: вдова Рихмана получила 860 рублей годового жалованья и 100 рублей на похороны мужа. Впоследствии (в 1756 году) она вышла замуж за профессора Иосифа Адама Брауна, друга Рихмана и Ломоносова, — по специальности философа и логика, больше интересовавшегося, однако, естественными науками.

Ни о ком больше никогда в жизни Ломоносов так не хлопотал. Например, нет свидетельств о том, чтобы он пытался помочь действительно бедствовавшей семье Крашенинникова. Что стояло за его хлопотами о Рихманах? Особая человеческая привязанность к покойному или потрясение, вызванное его необычной кончиной? Впрочем, в письме Ломоносова Шувалову есть одна деталь, свидетельствующая, казалось бы, о глубочайшем равнодушии к мелким обстоятельствам своей и

чужой частной жизни: неправильно указан пол младшего ребенка Рихмана. Или это — описка от волнения?

В конце письма Ломоносов выражает беспокойство, чтобы «сей шаг не был истолкован против прибавления наук». Опасения Ломоносова были обоснованы. Если обыватели с испугом относились теперь к самой идее ученого исследования «Божьего грома», то академическое начальство воспользовалось ситуацией против самого Ломоносова[114]. Заседание 5 сентября, на котором должен был выступать теперь один Ломоносов, в последний момент было перенесено, а речь велено представить на «апробацию» президенту. Последнему (точнее, тем, кто принимал решения от его имени) речь, видимо, понравилась. Ломоносов добивался права произнести ее 25 ноября (в день восшествия Елизаветы на престол), и его желание было удовлетворено: «Дабы г-н Ломоносов с новыми своими изобретениями между учеными в Европе людми не опоздал». Оппонентом Ломоносову был назначен молодой профессор астрономии Гришов.

Двадцать шестого октября Гришов, Попов и Браун внесли в академию свои отзывы о работе. Гришова прежде всего смущали вопросы научного приоритета. В самом деле, многие мысли, которые высказывает Ломоносов, отражены в «Письмах об электричестве» в виде догадок и гипотез. Но едва ли мы должны сомневаться в утверждениях Ломоносова, что он пришел к своим умозаключениям самостоятельно, до знакомства с работами американского современника. История науки изобилует такими примерами. Попов полностью не согласился с Ломоносовым (ссылаясь, между прочим, на работы Вольфа), Браун высказал одно незначительное соображение (о возможности разгонять тучи колокольным звоном), прибавив, что остальное — «в личной беседе».

После представленных Ломоносовым разъяснений Академическая конференция «апробировала» его речь, но Попов остался в «сумнении» и даже требовал, чтобы его письмо на сей счет было сохранено в архиве академии.

Так или иначе, 25 ноября Ломоносов поднялся на академическую трибуну и начал говорить: «У древних стихотворцев обычай был, слушатели, что от призывания богов или от похвалы между богами вмешенных героев стихи свои начинали, дабы слогу своему приобрести больше красоты и силы; сему я последовать в рассуждении нынешнего моего слова рассудил за благо. Приступая к предложению материи, которая не токмо сама собой многотрудна и неисчислимыми преткновениями превязана, но сверх того скоропостижным поражением трудолюбивого рачений наших сообщника много

прежнего ужаснее казаться может, к очищению оного мрака, который, как думаю, смутным роком внесен в мысли ваши. Большую плодовитость остроумия, тончайшее проницание рассуждения, изобильнейшее богатство слова иметь я должен, нежели вы от меня чаять можете…»

Для «изведения из помрачения прежнего достоинства предлагаемой вещи» Ломоносов называет имя «между богами вмешенного героя» — Петра Великого. После долгих рассуждений о любви основателя империи к наукам и о его бесстрашии Ломоносов, наконец, добирается до своей мысли: «Оных людей, которые исполинскими трудами или паче исполинской смелостью тайны природы испытать тщатся, не надлежит почитать предерзкими, но мужественными и великодушными…» Дальше Ломоносов переходит к изложению своих теоретических положений. Говорит он очень о многом — о растениях, закрывающих свои цветки на ночь, о северных сияниях, о наступлении внезапных морозов, о грозах, о хвостах комет. По каждому поводу у него есть теория, но суть сводится более или менее к одному: в атмосфере существуют восходящие и нисходящие движения. Последние связаны с тем, что верхние слои воздуха, охлаждаясь (а температура воздуха тем ниже, чем дальше от уровня моря), становятся тяжелее и опускаются. «Электрическая сила» возбуждается «двояким искусством… <…> — трением и теплотою. <…> Электрическое паров трение производится в воздухе погружением верхней и восхождением нижней атмосферы». Так рождается атмосферное электричество.

Эта теория в принципе совершенно верна, хотя в деталях Ломоносов был неточен. Например, температура с подъемом вверх не изменяется так резко, как считал он. Несовершенство термометров того времени привело ученого к фантастическим утверждениям: например, что в городе Енисейске бывают морозы до минус 131 градуса (по Реомюру, что соответствует 160 градусам по Цельсию). Таких морозов не бывает не то что в Сибири, а вообще на земном шаре. Ломоносов был сильнее в теоретическом подходе к вопросам механики и, если можно так выразиться, пластики природных процессов, чем в точных измерениях и расчетах. Поэтому он и Рихман замечательно дополняли друг друга в научных изысканиях. Видимо, было и психологическое взаимодополнение: во всяком случае, это, может быть, единственная в жизни Ломоносова дружба, не омраченная конфликтами и недоразумениями.

Из всех атмосферных явлений, связанных с электричеством, особенно волновали ученого северные сияния, которые он регулярно наблюдал с 1743 года и которым он позднее, в самом

конце жизни, решил посвятить особую работу («Испытание причины северных сияний и других подобных явлений…») — написать он смог лишь самое начало. Но заказать гравюры с изображений северных сияний, сделанных им в разные годы, он успел. Эти доски, числом тринадцать, были найдены Б. Н. Меншуткиным и напечатаны в 1934 году.

Речь Ломоносова в целом была положительно оценена коллегами. Крафт и другой, уже покинувший Петербург член академии, Готфрид Гейнзиус, были благожелательны, но с оговорками. Они сходились в мнении, что ломоносовские идеи нуждаются в дополнительной опытной проверке, однако «размеры сочинения и самый его характер, который необходимо принимать во внимание, поскольку это речь, полностью оправдывают автора». Эйлер счел гипотезу Ломоносова более чем вероятной и вообще с большой похвалой отозвался о его работе. Ответ Шумахера (письмо от 1 января 1754 года) был таков:

«Что у г. советника Ломоносова замечательный ум и что у него особливое перед прочими дарование, того не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия и тщеславия, что будто высказанные им в рассуждении мысли новы и принадлежат ему. <…> В особенности не намерены они простить ему, что в своих примечаниях он дерзнул напасть на мужей, прославившихся в области наук».

Эйлер дипломатично ответил, что перечитал сочинения Ломоносова и не нашел там ничего подобного. «И так он, без сомнения, на словах чаще грешил, и тем огорчал своих со товарищей. Но жаль в особенности ради его прекрасных дарований, когда он допускает увлекаться высокомерием»[115].

Двадцать второго января Шумахер пишет Гейнзиусу: «Ваше мнение касательно препровожденной статьи я велел перевести и послать в Москву к его сиятельству г. президенту. Оно сходится с тем, что говорили здешние профессора. Они соглашаются, что мысль автора хороша, но вовсе, вовсе не нова, так как г. Эйлер, равно и г. Франклин высказывали ее. Гипотеза не есть доказанная истина, но г. автор хочет утверждать, что он первый высказал ее и что его система справедлива…»

Приведенные письма — лучшее подтверждение того, что недоброжелательное отношение Шумахера к Ломоносову в самом деле имело место и не являлось плодом мнительности последнего. Впрочем, может быть, эта была обычная тактика старого советника — стравливать ученых между собой, чтобы не давать им объединиться против академического начальства.

Ломоносов и позднее занимался изучением электричества —

сохранилась программа его опытов в этой области. Что касается своей теории перемещения воздушных масс, то для ее доказательства он даже, как ни фантастически это звучит, сконструировал некий летательный аппарат (близкий к геликоптеру Леонардо да Винчи), который должен был поднимать в заоблачные выси термометры и электрометры. Все это осталось на бумаге.

9

Еще одной стороной деятельности Ломоносова была астрономия. Его устремление к этой области знаний связано с научным интересом к изучению физической структуры мира, в том числе — структуры звездных тел. В 1740-е годы он (вместе с Миллером и Тредиаковским) по просьбе Делиля искал информацию астрономического и метеорологического характера в старинных летописях. Сам он многие годы вел астрономические наблюдения. Обсерватория была им устроена во дворце Шувалова, а затем — в собственном доме на Мойке. И все же астрономические занятия Ломоносова во многом носили дилетантский характер. Однако ему довелось сделать астрономическое открытие — одно из самых значительных в его жизни и притом почти случайное. Как и большая часть работ Ломоносова, оно практически не оказало непосредственного влияния на развитие науки. Тем не менее приоритет его в данном случае несомненен.

Астрономов в академии было множество: в свое время — Делиль и Винсгейм, затем — Гришов, Попов и, наконец, Эпинус, который первоначально был профессором физики, но в 1760 году возглавил и обсерваторию. Об этом незаурядном во многих отношениях человеке стоит поговорить особо.

Франц Ульрих Теодор Эпинус (1724–1802), сын профессора теологии Ростокского университета, в этом же университете и получил образование. Уже в двадцать три года он удостоился докторской степени, затем работал в Берлине и, наконец, в 1757 году, по рекомендации Эйлера, получил профессорское место в Петербурге. К тому времени он успел зарекомендовать себя работами в астрономии (в 1753 году успешно наблюдал прохождение Меркурия через солнечный диск), математике, оптике, физике, механике. Главный след в науке оставили его исследования электрических явлений. В этой области он работал параллельно с Франклином, Рихманом и Ломоносовым и продолжал работать, когда Рихмана не стало, а Ломоносов

отошел от опытов с «электрической силой». Именно «Опыт теории электричества и магнетизма» (1759) принес Эпинусу мировую славу и обеспечил его членство во множестве европейских научных обществ. Научную карьеру он успешно сочетал с придворной. С 1759 года Эпинус был близок ко двору Екатерины Алексеевны, которой давал уроки физики.

Конечно же у Ломоносова было с Эпинусом немало тем для разговора и сначала они подружились. Ломоносовское «Слово о явлениях воздушных…» и «Речь о сходстве электрической силы с магнитною» (явившаяся «черновиком» главной работы ростокского уроженца) были напечатаны в «Новых комментариях» рядом. Но вскоре дружбе пришел конец. Эпинус резко отозвался о проекте «ночезрительной трубы», предложенном Ломоносовым. Главное же — он сблизился с Таубертом, друзей которого Ломоносов по определению считал своими неприятелями.

С этого момента у Михайлы Васильевича, как у советника Академической канцелярии, постоянно возникали конфликты с профессором физики. Они спорили по множеству вопросов — и научно-организационных (оснащение физического кабинета), и чисто научных, и сугубо служебных.

В частности, Ломоносова возмущало нежелание Эпинуса читать лекции в Академическом университете. Точнее, Эпинус вроде бы и соглашался, но на условиях, которые стоит привести: «1) Чтоб упражняться мне в сем труде до тех пор, пока я похочу, и чтоб вольно мне всегда было отказаться от оного, когда пожелаю. Чтобы труды, собственно до Академии принадлежащие, к которым я обязан, дозволено было, яко важнейшие и мне приятнейшие, предпочитать всегда оным упражнениям. Равномерно было б невозбранно стараться мне потом и о слабом своем здоровье. 2) Дать мне таких студентов, о которых доподлинно известно, что труд при их наставлении не тщетен будет. 3) Дано б мне в волю назначить способное к сим лекциям время. 4) Чтобы студенты ходили ко мне домой, ибо невозможно от меня требовать, чтобы я для оного неприятного мне труда тратил деньги, чтобы я держал для того одного лошадей и коляску или и в ненастную погоду ходил в аудиторию». Это письмо было беспрецедентно по тону (так не писал никто и никогда в академии, включая ученых с мировым именем), а упоминание о «слабом здоровье» в устах 35-летнего человека (страдавшего только чрезмерной тучностью и дожившего до глубочайшей по тем временам старости) звучит почти комично.

Разумеется, условия Эпинуса не были приняты и к преподаванию в университете он не приступил; гораздо хуже, что он отказался предоставить инструменты из физической

лаборатории Брауну, который готов был читать лекции не на столь исключительных условиях. А два года спустя несговорчивый профессор, несмотря на все свое отвращение к педагогике, с удовольствием принял преподавательскую должность в Шляхетном корпусе и проработал там десять лет, получая, параллельно с академическим, второе жалованье. Надо признать: Франц Ульрих Теодор Эпинус, при всех своих выдающихся научных талантах, очень себя любил; ему нравились достаток, спокойная жизнь и уют, и он меньше всего готов был жертвовать своими интересами ради науки и тем более — ради просвещения россиян. Позднее «Франц Иванович», как стали его называть, нашел себя вне академической среды: преподавал наследнику Павлу Петровичу, сочинял дипломатические шифры, а на досуге продолжал заниматься астрономией, механикой и физикой (понемногу, но успешно: изобрел ахроматический микроскоп).

В 1760 году еще молодой (34-летний) Гришов, старший профессор астрономии, тяжело заболел и 4 июля умер. Академическая обсерватория перешла в руки Эпинуса и его ближайшего помощника Румовского. У Ломоносова появились новые основания для недовольства. Он жаловался на то, что Эпинус и Румовский редко посещают обсерваторию: на лестнице, ведущей со двора на башню Кунсткамеры, полно снега. Возмущался он и тем, что в обсерваторию поднят заказанный еще при Гришове большой астрономический квадрант — «в бесполезную излишнюю тяжесть башне, в излишнюю беспрочную трату казны и в напрасную трату времени».

Между тем именно в этом году научный мир ждал важного события: прохождения Венеры через диск Солнца. Наблюдение за этим небесным явлением (открытым в свое время Кеплером и происходящим с интервалами от восьми лет до 121 года) с разных точек Земли должно было помочь уточнению солнечного параллакса. В России предполагалось послать наблюдателей в Сибирь — в Тобольск, Селенгинск и Иркутск. Академия обратилась за помощью в Париж. Оттуда прислали астронома Ж. Шаппа д'Отероша, который отправился в Тобольск. В Иркутск поехал Попов, а в Селенгинск — молодой Румовский. Наблюдения в Селенгинске (как и в Иркутске) не вполне удались из-за погоды, Ломоносов же, давно сердитый на «неблагодарного» ученика, обвинил в неудаче лично его.

В Петербурге тем временем происходило следующее. Эпинус напечатал в журнале «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» (который был преемником «Ежемесячных сочинений») статью «Известия о наступающем прохождении

Венеры между Солнцем и Землей». Попов, как коллега-астроном, не вполне согласился с расчетами Эпинуса. Ломоносов встал на его сторону, раскритиковал статью мекленбуржца на заседании Академической конференции и позднее сам составил «Показание пути Венерина по солнечной плоскости, каким образом покажется наблюдателям и смотрителям в разных частях света майя 26 дня 1761 года», оставшееся, правда, в рукописи.

Между тем 12 мая адъюнкт астрономии Андрей Дмитриевич Красильников обратился с письмом в канцелярию. Он просил разрешения «наблюдения чинить на обсерватории с профессором Епинусом вместе, но инструментами порознь».

Красильников, ученик Делиля, опытнейший 55-летний наблюдатель-практик, участник Камчатской экспедиции, имел немало заслуг: он вычислил широту и долготу десятков населенных пунктов в России, почти безошибочно измерил расстояние от западных до восточных рубежей России, написал первый на русском языке учебник астрономии. Впрочем, сам же Ломоносов признавал, что Красильников — всего лишь «добрый обсерватор и геодезист», далекий от «высших наук». Из своего многолетнего опыта Красильников знал, что глаз наблюдателя устает и что поэтому следует время от времени сменять друг друга. Именно так мотивировал он свою просьбу.

По настоянию Ломоносова канцелярия распорядилась удовлетворить просьбу Красильникова. Однако Эпинус отказался наблюдать в одном помещении с адъюнктом, поскольку, по его словам, при таких наблюдениях счет идет на секунды и потому «самой малой и почти неминуемой шорох может в том учинить замешательство». Начались сложные переговоры. Красильникову было предложено вести наблюдения в отдельной комнате, и он сперва согласился, но в последний момент вдруг проявил упорство. Теперь уже Эпинусу предложили «отдельный покой» для наблюдений и расчетов. Вопрос перешел в область престижа и амбиций. В конце концов Эпинус оставил обсерваторию в распоряжение Красильникова и другого адъюнкта, Николая Гавриловича Курганова (более известного как составителя «Письмовника», своего рода популярной энциклопедии своего времени), притом забрав с собой лучшие инструменты.

С помощью этих инструментов он и вел 26 мая наблюдение… в присутствии своей августейшей ученицы и покровительницы, будущей Екатерины II. Она, в отличие от коллег-астрономов, точности наблюдений помешать, как видно, не могла. Правда, и отказать ей Эпинус, скорее всего, не мог, — не то что коллегам-астрономам. Однако Ломоносов упоминает о том, что Тауберт с Эпинусом заранее пригласили на «обсервацию» целую компанию

гостей. Коли так, ссылки профессора физики и астрономии на необходимость одиночества и сосредоточения нельзя не признать лицемерными.

Тем временем Ломоносов и Браун тоже вели наблюдения — у себя дома. Михайло Васильевич не претендовал на астрономические открытия: он «любопытствовал больше для физических примечаний», наблюдая Венеру сквозь небольшую трубу в «весьма не густо копченое стекло». Исходя из этих своих целей, Ломоносов «намерился только примечать начало и конец явления и на то употребить всю силу глаза».

И вот он, «ожидая вступления Венерина на солнце около сорока минут после предписанного в ефемеридах времени, увидел наконец, что солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде равен». Вокруг диска Венеры, частично находящегося на диске Солнца, появился световой ободок. Это заметили многие. Но только «советник Ломоносов», сопоставив свои наблюдения с записями Красильникова и Курганова, сделал решительный вывод: «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается вокруг нашего шара земного».

Четвертого июля того же года на публичном академическом акте Ломоносов произнес свое знаменитое «Слово о явлении Венеры на Солнце». К осени оно было напечатано по-русски и по-немецки. Однако никакого эффекта эта публикация не имела: атмосферу Венеры тридцатью с лишним годами позже заново открыли знаменитый английский астроном У. Гершель и, независимо от него, немец И. Шрётер.

Почему же открытие Ломоносова осталось незамеченным? Зададим себе другой вопрос: а почему он, единственный в мире, совершил его в 1760 году? Ведь за Венерой наблюдали астрономы гораздо более профессиональные и опытные, чем он, и обладавшие лучшими инструментами! Видимо, здесь сказался энциклопедизм Ломоносова, занимавшегося не только астрономией, но и оптикой, да и самыми различными областями науки о веществе. Сказалась и его склонность к смелым гипотезам, которые он не всегда мог доказать, но которые довольно часто оказывались верными. Однако именно в силу всех этих причин его сообщение не было принято всерьез мировым научным миром — тем более что в своей речи, предназначенной для широкой публики, он не столько научно аргументирует свое утверждение, сколько предается поэтическим фантазиям. Наличие атмосферы на Венере — аргумент в пользу «множественности миров». Поэта-естествоиспытателя

вдохновляет мысль, что на Венере «пары восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде всякие прозябания, ими питаются животные». («На далекой звезде Венере… у деревьев синие листья…» — как, не помня, должно быть, о речи Ломоносова, написал поэт другой эпохи.) А может быть, там живут и люди…

Ломоносов демонстрирует в этой речи не только поэтическое воображение и ораторскую мощь, но и пафос просветителя, и ловкость богослова, доказывая соответствие гелиоцентрической системы «истинной» (а не искаженной невежественными церковниками) христианской картине мира. Но к специальным научным дискуссиям все это имело мало отношения.

К тому же из-за скандала с Эпинусом о петербургских наблюдениях мировая научная пресса вообще писала скептически. В частности, резкий отзыв принадлежит французскому астроному А. Пингре. Любопытно, что в этом отзыве нелестно характеризуются наблюдения не только Красильникова и Курганова (которых он не называет по имени), но и Брауна (хотя последний не публиковал своих результатов). «Все трое наделены несомненно и знаниями, и талантами, — писал парижанин, — но недостает им бесспорно одного — опыта в астрономических наблюдениях». В действительности дело обстояло, как мы знаем, прямо противоположным образом: Красильников был опытнейшим наблюдателем, ему не хватало как раз фундаментальных знаний. О Ломоносове же не сказано ни слова: лишний раз ссориться в открытую с профессором и советником канцелярии Эпинус, от которого, вероятно, исходила информация, опасался. Но Ломоносов конечно же увидел и здесь руку своих «врагов». Болезненная мнительность его с годами только усиливалась.

10

Для большинства людей нашего времени, специально не интересующихся историей естествознания, имя Ломоносова в первую очередь ассоциируется с законом сохранения материи (или, точнее, законом сохранения массы веществ), который в советских учебниках именовался «законом Ломоносова» или «законом Ломоносова — Лавуазье».

В учебниках, популярных книгах и статьях имя русского ученого до сих пор связывают с этим законом. При этом смысл излагается всякий раз по-разному: Ломоносов не открывал закона

сохранения материи, а лишь впервые экспериментально доказал; Ломоносов открыл этот закон, но экспериментально доказать не смог из-за несовершенства приборов — это сделал Лавуазье…

Привлекает, однако, внимание то, что Михайло Васильевич «забыл» упомянуть о таком важном, таком глобальном открытии в списке своих научных достижений! Почему?

Подойдем к проблеме с другой стороны: как вообще возникла версия об открытии Ломоносовым этого закона? В уже цитировавшемся письме Эйлеру 1748 года содержится знаменитая формулировка, почти дословно повторенная в «Рассуждении о твердости и жидкости тел»: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому. Так, ежели убудет несколько материи, то умножится в другом месте; сколько часов положит кто на бдение, столько же сну отнимает».

Однако если бы Ломоносов сообщил Эйлеру эту мысль как новую или выразил бы претензии на ее авторство, скорее всего, на этом бы их переписка и закончилась, поскольку у великого немецкого ученого могли бы возникнуть сомнения не то что в компетентности петербургского коллеги, а в его здравом рассудке. Принцип сохранения вещества был высказан еще в VIII–VII веках до н. э. древнеиндийскими мыслителями, у «гимнософистов» его заимствовали греки, а затем, через Аристотеля, христианская Европа. Ломоносов упомянул об этом общеизвестном принципе лишь для того, чтобы перейти к другому, на открытие которого он тоже не претендовал, но который еще был не так четко усвоен тогдашней наукой: «Сей всеобщий закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому». Б. Н. Меншуткин видит заслугу Ломоносова именно в том, что он, соединив оба закона в одной формулировке, осознал связь между ними. Но это не значит, что ему следует приписывать открытие принципа перехода потенциальной энергии в кинетическую. Ломоносов просто верил, что Бог при создании мира вложил в него определенное количество материи и сообщил ей определенное количество движения. Эта идея вполне укладывалась в его деистическую картину мира, не вступая, впрочем, в противоречие и с учением церкви.

Итак, Ломоносов не открывал закона сохранения материи. Может быть, он доказал его?

Сторонники этой точки зрения основываются на опыте, проведенном Ломоносовым, согласно его записям, в 1756 году (то есть во время, когда его интенсивная работа в химической

лаборатории была в основном приостановлена).

«Деланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару; оными опытами нашлось, что славного Роберта Бойла мнение ложно, что без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере».

Это-то и было интерпретировано как доказательство закона сохранения материи. Но если так — почему же сам ученый отнесся к этому потрясающему свершению настолько легкомысленно? Правда, когда в следующем году профессорам академии предложили составить индивидуальные списки тем публичных лекций, в числе пятнадцати тем, представленных Ломоносовым, была и такая — «Об увеличении веса металлов от прокаливания». Но семь лет спустя, подводя итог своей научной работе, он не включил эксперимент «в накрепко запаянных стеклянных сосудах» в число своих главных заслуг.

Что же, собственно, стремился доказать (и доказал) своим опытом Ломоносов? Только одно — что вес металла не возрастает от «чистого жару», то есть от присоединения теплорода, которого, по справедливому мнению Ломоносова, вообще не существует. Но поскольку большинство химиков считали теплород субстанцией невесомой, сам по себе этот опыт не доказывал кинетической теории теплоты, и Ломоносов это понимал. Что же касается закона сохранения массы, то мы знаем, что Ломоносов не верил в абсолютную пропорциональность массы и веса. Так что о массе, о «количестве вещества», как это называл сам ученый, в данном случае не было и речи.

Но, может быть, опыт Ломоносова доказывает, по крайней мере, закон сохранения веса (а не массы) при химических реакциях?

Прежде всего, нужно помнить, что Ломоносов, как и все его современники, придерживался совершенно неправильного представления о процессах, происходящих при горении металла: то, что мы называем окислением, было для них процессом отделения флогистона. При этом вопрос о том, обладает ли флогистон весом и может ли он рассматриваться как химический реагент, оставался открытым. А значит, невозможно было точно сказать, происходила ли в запаянной колбе химическая реакция…

Именно принцип сохранения как веса, так и массы веществ в ходе химических реакций (вытекающий из общего принципа сохранения вещества) был сформулирован Лавуазье — сформулирован, а не открыт! — в его «Элементарном курсе химии» (1789): «Ничто не творится, ни в искусственных процессах, ни в природных, и можно высказать положение, что

при всякой операции имеется одинаковое количество материи до и после операции. <…> На этом принципе основано все искусство делать опыты в химии. <…> Так как виноградный сок дает углекислый газ и спирт, я могу сказать, что виноградный сок = углекислый газ + спирт».

Лавуазье провел, по крайней мере, один опыт, взвесив в запаянном сосуде продукты горения фосфора и убедившись, что их вес равен сумме весов фосфора и кислорода. Принципиальное отличие этого опыта от такого же точно эксперимента Ломоносова в том, что первооткрыватель «оксигена» знал, какая именно реакция происходит во время горения, и что у него не было никаких сомнений относительно пропорциональности массы и веса.

Таким образом, опыт Лавуазье продемонстрировал, что в данном конкретном случае закон сохранения массы действует. Но это ни в коем случае не доказывало его универсальность. Опыты, подтвердившие всеобщий характер этого закона, были проведены лишь в середине XIX века.

Следовательно, те, кто называет закон сохранения материи законом Лавуазье, не до конца правы, а те, кто говорит о законе Ломоносова или законе Ломоносова — Лавуазье, не правы совершенно. Впрочем, у обоих ученых достаточно других заслуг.

11

Таков вкратце современный взгляд на исследования Ломоносова в области «испытания натуры». Как же можно определить его место в истории естествознания?

Разумеется, было бы ошибкой относить его к величайшим ученым в истории человечества, ставить в один ряд с Ньютоном и Линнеем, Менделеевым и Лавуазье, Эйлером и Лобачевским. Михайло Васильевич, при всей своей гордыне, и сам превосходно это понимал. «Меня за Аристотеля, Картезия и Невтона не почитайте…» — это его собственные слова, свидетельствующие о достаточно адекватной самооценке. Но Ломоносов конечно же принадлежал к числу ведущих европейских ученых, способных на высоком научном уровне обсуждать актуальные проблемы естествознания того времени. По каждому из таких вопросов у него было собственное мнение, и в большинстве случаев он стоял на верном пути. Заблуждения его также достойны уважения и свидетельствуют о сильном и своеобразном уме. Некоторые его идеи опередили свое время. И хотя он был уже не единственным в своем поколении естествоиспытателем, чьей родиной была

Россия и родным языком — русский, конечно, ни Попов, ни Теплов, ни даже Крашенинников не могли с ним соперничать ни талантом, ни знаниями, ни кругозором. Не уступал он и подавляющему большинству петербургских профессоров-«немцев», а некоторых, без сомнения, превосходил.

Однако надо признать: труды Ломоносова не оказали существенного влияния на развитие мировой науки. Причин тому несколько.

Во-первых, Ломоносов в зрелые годы не выезжал за пределы России и из крупных европейских ученых, живущих вне Петербурга, состоял в переписке только с Эйлером.

Во-вторых, на судьбе ломоносовских трудов сказался его трудный характер. Слишком со многими он не поладил, слишком многих обидел. Строгое отношение товарищей по академии к его трудам и нежелание их особенно пропагандировать было во многих случаях результатом испорченных личных отношений. Ведь и с Эйлером, так его ценившим, Ломоносов в конечном итоге поссорился…

Но главное — Ломоносов был слишком разносторонен, ему нелегко было сконцентрироваться на каком-то одном исследовательском направлении. Его наследие составляют не фундаментальные монографии, а множество небольших статей разнообразной тематики. Зачастую, высказав верную и даже блестящую гипотезу, он не давал себе труда подтвердить ее достаточным количеством экспериментов. Чаще он больше заботился о литературном стиле своих работ, чем о строгой их обоснованности. Эпинус развил и подробно изложил свою электромагнитную теорию, и она заняла должное место в истории физики; ломоносовская теория атмосферного электричества, высказанная в то же время и не менее ценная в научном отношении, оказалась забытой более чем на столетие. В этой разносторонности, граничившей с «универсальным дилетантизмом», был важный исторический смысл. При всем честолюбии Ломоносова, при всей его заботе о собственной славе и «славе русского имени», для него важнее создать предпосылки к разносторонней научной работе, подготовить хотя бы нескольких учеников, выработать терминологию, сделать русский язык пригодным «к выражению идей трудных». Именно это имел в виду Пушкин, когда говорил, что Ломоносов «сам был нашим первым университетом». Но у окружающих ломоносовский энциклопедизм часто вызывал недоумение.

Интерес к «тайнам натуры» был у Ломоносова искренним и неподдельным. Но и этот интерес он подчинял главной цели своей жизни. Цели, унаследованной от Петра, — обустройству

русского пространства и времени.

Глава восьмая
ОБУСТРОЙСТВО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

1

Ломоносова смолоду тянуло к общественной деятельности. Ему мало было служить тому Делу, участником которого он себя ощущал, учеными изысканиями и поэтическим творчеством. Он мечтал о роли организатора, администратора, законодателя. Этим его амбициям лишь в очень малой степени довелось осуществиться; подавленные, они сублимировались в труды по русской истории и в преобразовательные прожекты.

Началось все с активного участия во внутриакадемической борьбе. Поначалу это участие закончилось очень скверно. Наученный опытом, Ломоносов в 1744–1746 годах старался занимать в академических стычках пассивную позицию. Но сразу же после назначения Разумовского он вновь попал в гущу событий.

В академии, в самом деле, многое изменилось. Стали исправно платить жалованье, наконец-то вновь приступили к «обучению российского юношества»… Регламент академии, принятый в 1747 году, предусматривал ее разделение на собственно академию и университет. «Определены особливые Академики, чтобы составлять академию, и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и студентов, и особливые профессоры, которые учить должны в Университете. <…> Но ежели нужда востребует и время допустит и академикам трудиться в Университете, в таком случае отдается на президентское рассуждение». Академики, числом десять, были разделены на четыре разряда: к первому относились астроном и географ, ко второму — анатом и химик, к третьему — физик-экспериментатор и механик, который обязан был «изобретать всякие машины», к четвертой — математик, «который не только должен давать решения на задания других Академиков, но и то решать, что будет прислано из других мест». Три места академиков оставались резервными. Предусматривалось также девять вакансий иностранных почетных членов.

Что касается университета, то ему полагался ректор (он же историограф) и пять профессоров: элоквенции и стихотворства, логики и метафизики, древностей и «литеральной истории»,

политической истории и юриспруденции, математики и физики. Хотя все эти должности придумывались под конкретных людей (логику и метафизику, к примеру, явно должен был читать Браун, а политическую историю и юриспруденцию — Штрубе де Пирмонт), на практике регламент 1747 года в чистом виде никогда не исполнялся и жесткого разделения на «академиков» и «профессоров» не существовало. Студентов по штату было тридцать, гимназистов латинской гимназии (которая должна была обеспечить университет новыми абитуриентами) двенадцать. Латыни в университете и в гимназии предписывалось отныне учить только посредством русского языка — без употребления французского или немецкого. В университете в качестве языков обучения также не допускались более никакие живые иностранные «диалекты» — только латынь и русский. Учиться в университете и гимназии могли «всех чинов люди смотря по способности, кроме записанных в подушный оклад». То есть — кроме крестьянских, мещанских, купеческих (поскольку в то время подушный оклад распространялся и на купцов) детей. Только дворяне, поповичи, чиновничьи и солдатские сыновья. Именно они в перспективе должны были занять адъюнктские должности (велено было «стараться, чтобы все адъюнкты были из русских»), а потом и сменить иностранцев в звании профессоров.

Во главе университета был поставлен Герард Фридрих Миллер. О непростых отношениях, сложившихся между ним и Ломоносовым к концу 1740-х годов, уже говорилось. Позади были и полугодовой арест Ломоносова, и содействие, оказанное ему Миллером в получении профессорства, и двусмысленная история с поручительством за Гмелина.

Статус Миллера в 1746–1747 годах оставался не совсем определенным. Уезжать из России, как Гмелин или Делиль, он не хотел: его профессией стала русская история, найти работу вне России ему было не так просто, как ботанику или астроному, и он лучше, чем кто бы то ни было, знал, какие сокровища скрываются в архивах империи. Но чтобы работать в этих архивах, нужен был особый статус — больший, чем просто должность профессора истории. К тому же и профессорское жалованье не устраивало Миллера, получавшего в Сибири двойной оклад.

Заключая в 1747 году новый контракт, Миллер потребовал должность историографа. Разумовский согласился. В обмен на исполнение обязанностей ректора Миллер освобождался от чтения лекций. Основной же его обязанностью было сочинение «Сибирской истории», по завершении которой «он, Миллер, употреблен будет к сочинению истории всей Российской империи, в департаменте, который ему от Академии показан быть

имеет, по плану, который им самим сочинен в то время быть имеет и в канцелярии апробирован». Оклад ему предлагался в тысячу рублей. Однако было еще одно условие: Миллер должен был принять российское подданство и обязаться «не токмо из Российского государства не уезжать по смерть, но и академической службы не оставить». Миллер сначала отказался, потом, когда ему предложили 1200 рублей в год, согласился. Альтернативой было или возвращение в Германию (его никто не удерживал, Шумахер рад был бы избавиться от своего неприятеля), или заключение «обычного» академического контракта, без титула историографа, повышенного жалованья и с обязательным чтением лекций. Почему С. В. Бахрушин считает, что Миллера «принудили» принять российское подданство и что это был «унизительный отказ от родины», — непонятно. Историк сам сделал выбор: таковы были правила игры, и он их принял, поставив свою научную работу, а также карьеру и благосостояние выше свободы передвижения.

И вот Герард Фридрих стал «Федором Ивановичем Миллером» (впрочем, он предпочитал подписываться своим настоящим, немецким именем), «верноподданным и присяжным рабом» Елизаветы, историографом и ректором. Высокое жалованье (а он еще и преподавал в Шляхетном корпусе) позволяло ему жить широко и основательно в собственном доме на Васильевском, всегда полном нахлебников, в основном ищущих счастья в России образованных немцев. Его жена, вдова хирурга, на которой он женился в Сибири, была, не в пример Елизавете Ломоносовой, хорошей хозяйкой. Как и Ломоносов, Миллер был вспыльчив и сварлив, но притом довольно добросердечен. Вообще у двух великанов было немало общих черт — потому им так трудно было поладить друг с другом. Таким людям было просто тесно рядом.

Кроме Миллера, в академии был второй профессор истории, Иоганн Эбергард Фишер, личность в своем роде тоже примечательная. В свое время он некоторое время был ректором Академической гимназии. Для этой должности он годился: латинистом он был отменным. В 1739 году он в чине адъюнкта (хотя ему было уже за сорок!) был отправлен в Камчатскую экспедицию. Там он особых открытий не совершил — в основном путался под ногами у Миллера и Гмелина. Зато своим нравом адъюнкт Фишер прославился на всю Сибирь: он, как «государев человек», отказывался платить мяснику (по-русски Фишер без переводчика объясниться не мог, но эти слова знал); он путешествовал по сибирским дорогам на 52 лошадях, с охраной из десяти солдат; во время одного из переездов он «не изволил

ехать на лошади, а велел сделать колыбель или качку и в ней себя везти; <…> и трость свою… велел наперед себя нести таким образом, якобы перед архиереем носят». В конце концов один из солдат, не выдержав, крикнул на Фишера «слово и дело». Незадачливого ученого до 1747 года продержали в Сибири под арестом. Освободившись, он писал Шумахеру: «Подлинно я виноват, да еще и не мало, которая моя вина разве по милости Академии наук прощена быть может». Фишера не только простили, но и дали ему профессорский чин; он помогал Миллеру в работе над «Сибирской историей» и, как в прежние годы, руководил гимназией, благо кроме латыни он и русский язык за годы заключения освоил недурно. Когда же открылся университет, ему поручили надзор за бытом и нравственностью студентов.

Университет открылся в 1748 году. Год этот был для академии трудным: накануне, 5 декабря 1747 года, случился тот самый пожар, который уничтожил набор ломоносовской «Риторики». Как свидетельствует официальный рапорт императрице графа Разумовского, «понеже начало огня учинилось под самой кровлею, а не в палатах, и огня около того времени, ниже топления печей не было, кроме обыкновенного фонаря внизу, при часовом, то по рассуждению моему, где-нибудь труба была проведена возле накатного бруса и так сверху землею, а снизу подмазкой закрыта была, и что… она от худого строения, а больше от ветхости и расселася». Пожар начался в башне, в бывшей квартире Делиля под обсерваторией; по приказу Разумовского там были поселены ученики «грыдоровального и рисовального искусства».

Погибли обсерватория со всеми инструментами, Гольштейн-Готторпский глобус (затем восстановленный), этнографические коллекции, которые Миллер столько лет собирал в Сибири, — «китайские вещи, платье разных сибирских народов, их идолы, бубны». Пострадал архив. Удалось спасти препараты Рюйша, минеральную коллекцию, большую часть библиотеки, восковую персону Петра. Подоспевший на пожар Нартов вынес «собственные токарные инструменты» царя-преобразователя.

Ломоносов, разумеется, винил во всем самоуправство Шумахера, который ради расширения канцелярии перевел другие отделения академии в неудобные и неприспособленные помещения. По его же словам, «разные были о сем пожаре рассуждения, говорено и о Герострате». Академия на некоторое время переехала в старый дом баронов Строгановых на Тучковой набережной…

И все же университет с осени начал работу. Но Ломоносов,

который так хлопотал об образовании российского юношества, так упрекал собратьев в пренебрежении этим призванием, сыграл в этом второстепенную роль. Правда, в 1746 году он подавал прошение о новом наборе студентов по семинариям — и оно, вероятно, подтолкнуло события. Уже в 1748-м он — не по собственной инициативе, а по просьбе Академического собрания — кратко изложил (наряду с другими профессорами) свою точку зрения на будущий университет. По мнению Ломоносова, «в Университете неотменно должно быть трем факультетам: юридическому, медицинскому и философскому (богословский оставляю синодальным училищам), в которых бы производились в магистры, лиценциаты и докторы. А ректору при нем не быть особливому, но все то знать эфору или надзирателю, что во внесенном в Историческое собрание на ректора положено, ибо ректор в университете бывает главный командир, а здесь он будет иметь одно только имя. Не худо, чтобы Университет и Академия имели по примеру иностранных какие-нибудь вольности, а особливо, чтобы они были освобождены от полицейских должностей». Это «мнение» особенно интересно своей близостью к разработанному Ломоносовым проекту Московского университета — проекту, в основном нашедшему воплощение.

В том же году Ломоносов принимает (вместе с Брауном) экзамены у отобранных в Александро-Невской лавре семинаристов (из десяти удовлетворительными знаниями обладали пять, и еще один — Барков — был проэкзаменован дополнительно и признан годным). Но в числе профессоров, которые в первый год приступили к преподаванию, Ломоносова не было. Каждый день утром лекции читали Браун («сокращенная Тиммингом вольфианская философия»), Рихман (математика — «чтобы слушателям приготовить тем путь к самой физике, которую без математики начинать бесполезно»), Христиан Крузиус, древностей и литеральной истории профессор (то есть специалист по античной словесности; впрочем, вскоре Крузиус был уволен за некие «предосудительные Академии поступки»), Пополудни Фишер читал всеобщую историю, Штрубе де Пирмонт — «новейшую историю всех государств в Европе, а потом их внутреннее состояние и каждого с прочими союзы», Тредиаковский — «основания чистого стиля».

Затем, год-два спустя, должен был прийти черед специализации. На этом этапе студентам должны быть предложены, по замыслу учредителей, курсы практической и теоретической астрономии (которые должны были читать Винсгейм и Попов), анатомии (Каау-Бургаве), механики (Кратценштейн) и химии. Этот последний курс и должен был

читать Ломоносов.

О его лекциях, начавшихся в 1750 году, уже сказано в предыдущих главах. Он преподавал лишь три года, и из 27 студентов только восемь чему-то учились непосредственно у него: четверо химии, двое, Котельников и Протасов (в свое время), физике и двое (Поповский и — полуофициально — Барков) словесности. Разумеется, нельзя оценивать педагогическую деятельность Ломоносова только на этом основании. Не забудем, что физике и горному делу, риторике и (об этом ниже) отечественной истории во множестве школ страны десятилетиями обучались по написанным или переведенным им пособиям. Да, сам он учил немного, зато очень заботился о продвижении и росте своих учеников, почти по-отцовски опекал их. Но если и из Поповского, и (по-своему) из Баркова толк вышел, то среди молодых людей, посещавших химические лекции Ломоносова, состоялся по-настоящему лишь Степан Румовский, ученик неверный, с учителем поссорившийся. (Впрочем, из Котельникова и Протасова вышли вполне достойные ученые местного масштаба.) Видимо, при всей своей огромной заботе о просвещении россиян Михайло Васильевич лично не был особенно склонен к учительству — в отличие, скажем, от Брауна, который продолжал с увлечением читать лекции по философии и физике малочисленным слушателям даже в те годы, когда университет находился в анабиозе (между 1753 и 1759 годами). Надо сказать, что и сам Миллер, стоявший во главе университета, от лекций был освобожден и, похоже, особенно читать их не рвался. А между тем значение его чисто организационной работы в этой области переоценить трудно.

Жизнь студентов этого первого в стране университета во многом напоминала студенческую жизнь всех времен и народов. Временами молодые люди пьянствовали, дрались между собой, кто-то приводил в общежитие девиц. Во всем этом разбирался Фишер. За провинности студентов наказывали строго, порой даже «секли лозами». С другой стороны, когда в январе 1749 года группа студентов (Котельников, Барсов, Протасов, Добротворский и др.) обратилась с просьбой бесплатно выдавать им экземпляры «Санкт-Петербургских ведомостей» («понеже мы усмотрели, что к лучшему знанию политической географии, которая нам нынче на русском языке преподается, необходимо и знание политической истории, а особливо нынешних времен»), просьба была удовлетворена в тот же день. Не возникало, не в пример прошлым годам, жалоб на плохое питание, неисправную выдачу стипендии и т. д.

Никакой преемственности между университетом и

гимназией, да и между немецким и латинским классами гимназии по-прежнему не было (хотя латынью гимназисты и студенты иногда занимались вместе). В высшем классе немецкой гимназии в 1748 году училось семь русских по происхождению учеников (в основном дети мелких чиновников; впрочем, был там и сын Ея Величества духовника Михаил Дубянский), в латинском же классе из двенадцати учеников русских было всего трое, в том числе Нартов-сын. Большинство университетских студентов составляли отобранные семинаристы, к которым присоединили двух-трех человек, состоявших в студенческом чине раньше, в том числе Семена Котельникова, и нескольких самостоятельно определившихся в последующие годы (в числе последних, например, Алексей Константинов, сын протоиерея из Брянска, будущий зять Ломоносова). Преподаватели подавали доклады об успехах студентов; периодически проводились экзамены. Лучшими студентами, кроме великовозрастного (в 1748 году ему уже исполнилось двадцать пять лет) Котельникова, считались Антон Барсов, Михайло Софронов и особенно юный, четырнадцатилетний, Румовский. Переросток Котельников и вундеркинд Румовский (оба будущие заграничные пансионеры, затем адъюнкты и, наконец, профессора академии) заслужили наибольшие похвалы и своим поведением. С другой стороны, Никифор Герасимов и братья Павинские досаждали товарищам и начальству «пьянством и бешенством», а Филипп Яремский — болтовней и злословием. О Баркове мы уже писали.

В 1750 году — как раз в то время, когда Ломоносов приступил к преподаванию, — Миллер был отстранен от ректорства и заменен Крашенинниковым. Это стало результатом событий, о которых пойдет речь.

2

Естественно, занятия Ломоносова и Миллера пересекались в эти годы часто и помимо университетских дел.

С 1746 года Ломоносов вместе с Миллером (а также Фишером, Штелином, Тредиаковским, Штрубе де Пирмонтом, Крузиусом, Тепловым и Брауном) входил в Историческое собрание, обсуждавшее академические труды по данной дисциплине. При этом иногда их позиции совпадали, но чаще — нет.

Ломоносов выступил союзником Миллера в 1746 году в «деле Крекшина».

Петр Никифорович Крекшин (1684–1763) — один из тех

колоритных и противоречивых людей, на которых русский XVIII век был так щедр. Новгородский дворянин хорошего рода, смотритель работ в Кронштадте, состоявший одно время под судом за растрату, он прославился как страстный собиратель древних манускриптов (его коллекция, которую он передал Татищеву, позднее попала к А. И. Мусину-Пушкину и сгорела вместе со всем собранием последнего в 1812 году). Крекшин и сам оставил ряд сочинений. В их числе «Экстракт из великославных дел кесарей вост. и зап. и из великославных дел императора Петра Великого», «Экстракт из великославных дел царей и великих князей всероссийских с 862 по 1756 г.», «Описание о начале народа словенского», «Сказание о Петре Великом», «Разговор в царстве мертвых о Петре Великом». Горячий поклонник Петра, влюбленный в то же время в разрушаемый петровской волей мир Древней Руси, Крекшин сам в отношении истории был чисто средневековым человеком. Он совершенно не чувствовал разницы между басней и правдивым повествованием, между благим пожеланием и установленным фактом.

В сентябре 1746 года он подал в академию составленное им «родословие царей и императоров российских», которое содержало потрясающее открытие: Романовы по прямой линии происходят от Рюрика. Работа была отдана на рассмотрение Миллеру; 28 января 1747 года тот представил свой доклад, не оставлявший от работы Крекшина камня на камне. В подтверждение своих замечаний Миллер, полагая, вероятно, что все же имеет дело с дилетантом добросовестным и адекватным, передал Крекшину для ознакомления книгу составленных им выписок из различных исторических источников. 17 февраля у Крекшина потребовали вернуть книгу, но тот отказался — «за написанными тем Миллером во оной поносительными, ложными и укорительными делами, чего де ему Миллеру ниже писать, но и мыслить не подлежало», и обещал подать на историка донос. Миллер потребовал рассмотрения вопроса Историческим собранием. В комиссию вошли Ломоносов, Штрубе де Пирмонт и Тредиаковский.

Что же утверждал Крекшин? «Владимир Святославич великий был царь, венчан царским венцом и помазан, и по нем все великие князья российские были цари». Романовы происходят от ярославского князя Романа Васильевича. Варяги пришли из страны «Вагрия, лежащия по берегам Балтийского моря». Никаких доказательств ни по одному пункту он предоставить не мог. Ломоносов и другие члены комиссии поддержали Миллера (который, кроме того, уличил Крекшина в ряде мелких ошибок,

не имеющих идеологической окраски), на этом дело было закончено. (Однако уже несколько лет спустя вопрос о происхождении варягов вызовет серьезный спор между академиками…)

В 1748 году предметом рассмотрения стала «Сибирская история». Члены Исторического собрания — Штелин, Штрубе, Ломоносов, Браун и Теплов — высказали ряд замечаний к труду Миллера. Многие из них чрезвычайно характерны. Так, Миллер, проводивший в Сибири (первым в России и одним из первых в мире!) археологические раскопки, справедливо счел найденные в курганах каменные наконечники стрел оружием древних людей. Ломоносов, не отрицая такой вероятности, в то же время допускал возможность, что эти артефакты имеют «натуральное происхождение». Но, прежде всего, академиков смутила фраза Миллера о том, что Ермак Тимофеевич «грабежу и разбою чинимому своими, не почитал за прегрешение». Фразу требовали изменить, Миллер не соглашался, говоря, что в таком случае следует вовсе убрать это место. Ломоносов выразил общее мнение, заявив: «Подлинно неизвестно, для себя ли воевал Ермак Сибирь или для всероссийского самодержца; однако сие правда, что он потом поклонился ею всероссийскому монарху. Того ради буде оные рассуждения, которые об его делах с некоторым похулением написаны, не могут быть переменены, лучше их все выключить». Речь шла о внутриакадемической цензуре; несомненно, Ломоносов и его товарищи не хотели, чтобы на академию пали политические нарекания. Но интересно вот что: когда речь, к примеру, шла о докладе по теории электричества, Ломоносов категорически не хотел считаться ни с какими внешними обстоятельствами. Необходимость же немного деформировать историческую истину ради политической конъюнктуры была для него чем-то само собой разумеющимся.

Между прочим, Миллер предложил коллегам поразмыслить над следующим: «Надлежит ли историографу следовать всему, что находится в каком подлиннике, хотя бы то было явно ложное и негодное, или баснословное и постороннее, и вносить оное в свою историю?» Внятного ответа он не получил: сама постановка вопроса была внове. Миллер был, пожалуй, единственным тогда в России историком, умевшим анализировать исторические источники и критически к ним относиться. История в большей степени, чем другие науки, была еще связана со средневековой традицией, а особенно в стране, только начинающей входить в Новое время и обретать соответствующую идентичность.

Главным источником, по которому большинство грамотных русских людей середины XVIII века представляли отечественное

прошлое, был «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа» — книга, вышедшая первым изданием в 1674 году и принадлежащая, по всей вероятности, перу архиепископа Иннокентия (Гизеля), архимандрита Киево-Печерского монастыря. Популярность «Синопсиса…» была огромна: он издавался, по меньшей мере, семнадцать раз, последнее издание вышло в 1836 году. Сохранилось также множество рукописных копий этой книги. Неоднократно выпускала «Синопсис…» Академия наук: практичный Тауберт за счет этого бестселлера окупал собственно научные издания, конечно же совершенно убыточные.

«Синопсис…», созданный вскоре после Переяславской рады, призван был подчеркнуть единство Левобережной Украины с Московией и преемственность обеих по отношению к Киевской Руси. Именно оттуда заимствовал Крекшин идею, что Владимир Святославич был «царем и самодержцем». «Синопсис» — по-гречески «сокращение»; имелось в виду — сокращение того, что содержится в древних летописях. Но настоящие русские летописи, по большей части, были Гизелю недоступны. Источниками для него служили скорее польские исторические сочинения XVI–XVII веков. Именно из хроники «О началах, истоках, деяниях славных рыцарских народа литовского, польского, жмудского, русского…» Мацея Стрыйковского и тому подобных сочинений почерпнул он легенды о необыкновенной древности славянского народа, об участии славян в Троянской войне, о «грамоте», данной им Александром Македонским, о «славенорусском царе» Одонацере (имеется в виду Одоакр, начальник одного из германских отрядов, взявший в 476 году Рим). Есть, правда, в «Синопсисе…» и легенды собственно русского происхождения. Так, о посещении Киева апостолом Андреем рассказывает «Повесть временных лет», о происхождении Рюрика от «Августа Кесаря Римского, владевшего всей вселенною» — «Сказание о князьях владимирских». Время для Гизеля было, как для любого человека традиционной культуры, дискретно: важны были только сакральные события, меняющие мироздание. Поэтому Владимиру Святому было посвящено 42 страницы текста, а Ярославу Мудрому — всего две. Вторым, после крещения, сакральным событием была Куликовская битва (четверть «Синопсиса…» составляло полностью включенное в него «Сказание о Мамаевом побоище»!). О русской истории, начиная с XIV века, никакой сколько-нибудь существенной информации «Синопсис…» не давал: там даже не упоминался, к примеру, Иван Грозный. Зато во всех подробностях рассказывалось о Русско-турецкой войне 1677–1681 годов —

последнем историческом событии, которое успел застать Гизель и описание которого он включил во второе издание своего труда.

Как замечает современный историк А. А. Формозов, популярность «Синопсиса…» в XVIII веке объяснялась тем, что массовый читатель видел в этой книге, написанной уже устаревшим к тому времени языком, подлинный памятник древности. Это придавало тем увлекательным и лестным для национального самолюбия легендам, которые содержатся в сочинении Гизеля, особую достоверность. Ведь для средневекового человека древнее, освященное традицией предание было таким же бесспорным источником истины, как личный опыт. А с точки зрения исторического мышления русские люди XVIII века, повторимся, еще очень во многом принадлежали Средневековью.

Создать альтернативу «Синопсису…» попытался В. Н. Татищев. За много лет он собрал огромную коллекцию старинных летописей и других сочинений. В его распоряжении оказались и ценнейшие собрания князя Дмитрия Голицына и Крекшина. Очень многое из собранного им до нас не дошло, и потому сегодня не всегда возможно оценить, насколько добросовестно он обращался с источниками. Несомненно, иногда он «досочинял», украшал факты своими предположениями, не отделяя первых от вторых. Но не забудем — он был первопроходцем.

К 1749 году Татищев довел свою «Историю Российскую» до смерти царя Федора Иоанновича. В это время шли активные переговоры с академией об издании его труда. Предисловие к нему написал Ломоносов (и это стало поводом для переписки ученых), но в 1750 году Татищев умер, и дело остановилось. «История…» Татищева была издана лишь в 1768–1774 годах с предисловием Миллера (тоже в свое время состоявшего с Василием Никитичем в тесной переписке). Профессионалы воспользовались изысканиями первого отечественного ученого-историка и сохранили ему благодарность, но широкий читатель едва ли мог одолеть пухлые тома, изобилующие датами и фактами и написанные эклектическим волапюком петровской поры.

В 1730-е годы русской историей занимались Байер и молодой Миллер. Но при всей высокой квалификации первого и при всем искреннем энтузиазме второго им мешало незнание языка. Они оказывались в зависимости от переводчиков и повторяли их ошибки. Так, Миллер напечатал в основанном им специальном историческом журнале «Повесть временных лет», переведенную на немецкий язык. Но переводчик Паузе (тот самый, что писал на

русском языке любовные стихи к Деринде, которая «рожам подобна») ошибся, назвав Нестора, монаха Феодосьева монастыря, — Феодосием, а Миллер не мог ошибки исправить! Впоследствии он со стыдом вспоминал об этом эпизоде.

Но Миллер конца 1740-х — начала 1750-х годов был уже другим человеком: не дилетантом, не учеником Байера, а опытным ученым, знатоком русских древностей. После смерти Татищева — едва ли не единственным настоящим их знатоком.

3

Примерно в то же время, когда Миллер вступил в должность ректора вновь образованного университета, а коллеги по академии обсуждали его «Сибирскую историю», он стал героем одного и по сей день не слишком понятного сюжета. Ломоносов в этих событиях также сыграл свою роль.

В июне 1748 года, вслед за Санхесом, звания иностранного почетного члена Санкт-Петербургской академии был со скандалом лишен еще один парижанин — Жозеф Никола Делиль. Выехавший на родину в 1747 году, он взял с собой «свои письма и ландкарты», обещавшись (взамен на должность иностранного почетного члена и 200-рублевую пенсию) консультировать академию, курировать обучающихся во Франции «молодых людей российского народа» и не публиковать ничего, «что касается до российской географии и до учиненных на здешней обсерватории астрономических обсерваций», без разрешения академии. Но год спустя он резким отказом ответил на первый же запрос академии, заявив, что не хочет иметь с ней никаких дел.

Причина такого поворота была, в общем, понятна: в 1748 году «английская партия» при русском дворе добилась перевеса (отчасти благодаря браку сына Бестужева-Рюмина с племянницей Разумовских), отношения с Парижем резко ухудшились, послы были отозваны. Все это было ненадолго (уже год спустя большое влияние обрели франкофилы Шуваловы и началось новое возвышение Воронцовых), но Делилю (не кабинетному ученому, а активному участнику дипломатических и разведывательных игр) не пристало в столь острой ситуации помогать «вероятному противнику».

Двадцать пятого июня вышло распоряжение: «Здешним академикам и профессорам под страхом штрафа запретить, а жалованных почетных членов просить, чтоб с помянутым Делилем никакого сообщения не иметь и ни прямо, ни посторонним образом корреспонденции не вести…» Все письма и

бумаги Делиля, находившиеся в распоряжении профессоров, они должны были передать канцелярии.

В числе прочих это сделал и Миллер, указав в специальном доношении, что после отъезда Делиля получил от него два письма, которые не сохранил, «не рассуждая о них, чтоб они сему довольны были». В этих письмах Делиль, по словам Миллера, просил переслать ему несколько старых документов «весьма неважного содержания», оставленных историку на хранение. Однако Миллер, по собственным словам, просьбы не исполнил.

Неизвестно как, но только спустя два месяца копия одного из этих двух якобы уничтоженных писем попала в Академическую канцелярию. Содержание этого письма было «подозрительным» и не до конца подтверждало прежние показания Миллера.

«С того времени, как я имел счастье в последний раз говорить с Вами при прощании, переменил я мое намерение, касающееся до манускриптов, которые я вначале Вам вручил. Мне показалось полезнее сделать употребление оных вне государства. Того ради, сыскав способ положить оные в безопасных руках, принимаю теперь смелость просить Вас, чтобы Вы вручителю сего письма пожаловали отдать всю оную связку, которая у Вас в руках, связав шнурочками и запечатав. Оная будет соединена со всеми другими и служить будет к нашему предприятию, о котором мы довольно согласились…»

Объяснения, которые дал на сей счет Миллер, не удовлетворили специальную комиссию, которая была создана по этому вопросу и в которую вошли Шумахер, Теплов, Штелин, Винсгейм, Штрубе де Пирмонт, Тредиаковский и Ломоносов. 19 октября принято беспрецедентное решение: «Те письма, которые он в своем ответе показал, что имеются у него, без остатка взять в канцелярию, да и кроме тех все в доме его какие ни были письма на русском и иностранном языках, и рукописные книжки, тетради и свертки, осмотря во всех его каморах, сундуках, ящиках и кабинетах, по тому ж взять в канцелярию, которые запечатать канцелярскою печатью».

Исполнить это приказано было Ломоносову, Тредиаковскому и секретарю академии Петру Ханину. Все трое, ни минуты ни колеблясь, в тот же день учинили обыск в доме собрата по «ученой республике». Пять других образованных, академических людей — один русский и четыре немца — без всяких колебаний подписали приказ об этом обыске. У каждой эпохи своя этика…

Миллер, кажется, склонен был приписывать Ломоносову особую роль в этом деле. Он считал, что профессор химии, как и Шумахер, сводит с ним старые счеты. 25 октября он писал Теплову: «Он сам мне объявил однажды, что не может простить

мне, что я действовал против него вместе с другими профессорами во время его ссоры с г. Винцгеймом, когда он был еще адъюнктом — обида, которую я считал достаточно заглаженною после оказания мною содействия ему, когда он был предложен в профессора…» Не возражая в принципе против досмотра своих личных бумаг, он был лишь против участия в этом Ломоносова и Винсгейма (который «хотя и честный человек, однако не имеет смелости против г. Шумахера»).

В академических дрязгах и образующихся при этом коалициях разобраться не просто. В 1743 году Ломоносов был вместе с Делилем и Нартовым объединен против Шумахера, Винсгейма и Миллера; в 1745-м вместе с Миллером и Делилем — против Шумахера; в 1748-м вместе с Шумахером и Винсгеймом — против Миллера и Делиля… Где заканчивались принципиальные вопросы и начинались личные обиды? И как были связаны академические ссоры с тем, что происходило на практике в политическом мире?

Позднее, в «Истории о поведении Академической Канцелярии», Ломоносов связал «дело Делиля» и обыск у Миллера с публикацией во Франции карты плаваний Беринга (первоначально засекреченной). Но эта публикация состоялась лишь несколько лет спустя, в 1751 году, когда отношения России с Францией давно нормализовались. (Миллер, по заданию академии, написал и напечатал во Франции анонимную статью — «Письмо русского морского офицера», в которой исправил ошибки Делиля; зато с тех пор об открытиях «Колумбов российских» можно было говорить публично.) А в 1748 году о той стороне деятельности Делиля, которая, во всяком случае, по представлениям того времени, почти неминуемо должна была рассматриваться как «шпионаж», видимо, никто не знал: иначе бы это дело пришлось расследовать не Академической канцелярии. Академиков беспокоили прежде всего те порочащие слухи, которые Делиль может распространять о Петербургской академии, которую он язвительно называл «le corpus phantastique»[116].

У Миллера нашли материалы, «касающиеся до Камчатской экспедиции», различные старинные «регламенты, уложенья, указы, репорты, доношения, прожекты», а также множество писем и научных рукописей. Единственное, что насторожило академическое начальство, — генеалогические таблицы. Миллера строго спросили: «собою ли оные сочинял» он или «по прошению»? Генеалогические претензии дворян-Рюриковичей вызывали смутные страхи. Фантазии Крекшина не на голом месте возникли… Но, как видно, в изысканиях Миллера ничего

криминального не усмотрели. Только Ломоносов позднее с презрением отзывался о своем сопернике, который «вместо самого общего государственного дела больше упражнялся в сочинении родословных таблиц в угождение приватным частным особам» (характерный упрек!).

Никаких новых улик, прямо относящихся к делу Делиля, кажется, найдено не было. От историографа снова потребовали письменных показаний. Он представил длинный текст, почему-то на французском языке (который не был родным ни для кого из его судей, кроме эльзасцев Шумахера и Штрубе, и которым к тому же он сам не владел в совершенстве), потом по требованию конференции заменил его другим — более сжатым и по-русски. Правда, и этот документ не убедил обвинителей. Ломоносов заявил, что объяснения Миллера «не токмо не довольны к его оправданию, но и своими между собой прекословными представлениями подал он причину больше думать о его с помянутым Делилем предосудительных для Академии предприятиях». С этим мнением согласился и Разумовский. Миллеру был «учинен пристойный выговор». Однако президент Академии наук выразил уверенность, что историограф «придет в чувство и свои худые намерения отменит» — а «по искусству его в науках ожидать от него можно немалой пользы в академии». Личные бумаги были Миллеру возвращены, а исторические документы направлены в соответствующие академические архивы. Миллер по-прежнему мог ими пользоваться, «брав их с распискою».

Таким образом, дело Делиля — Миллера кончилось ничем. В чем заключался их замысел, содержалось ли в нем что-либо предосудительное и был ли он исполнен — можно только гадать.

4

Следующий — и самый важный акт этого противостояния приходится на 1749 год.

В сентябре планировалось первое публичное торжественное заседание академии, на котором должно было быть произнесено две речи. (Впоследствии это вошло в традицию.) Шумахер старательно выбирал ораторов, заботясь о впечатлении, которое они произведут на аудиторию. При этом он готов был переступить через личную неприязнь. 9 февраля он писал Теплову: «Очень бы желал я, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание, но не знаю такого между академиками. <…> Вы сами, милостивый

государь, знаете, что ни голос, ни наружность гг. Винцгейма и Рихмана, которых бы следовало предпочесть… <…> не позволяют доверить им первую публичную речь, к которой непременно придерутся. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален, чтобы иметь силу для поражения безжалостных насмешников. Разве у нас, милостивый государь, есть кто-нибудь другой в Академии, кто бы превзошел его (конечно, Ломоносова. — *В. Ш.)* в этих качествах? Если бы г. Миллер был в числе академиков, то так как он довольно хорошо произносит по-русски, обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень смахивает на нахальство, то мне бы хотелось предложить его».

Новый регламент только вошел в силу, и на первых порах никак было не разобраться, кто, собственно, «академик», а кто «профессор», кто при академии, а кто при университете. Ректор Миллер вроде бы точно относился к университету. Вскоре об этом разделении забыли, но и в 1749 году ему не стали в конечном итоге придавать значения. Решено было (Разумовским и Тепловым), что речи произнесут Ломоносов и Миллер. 30 марта 1749 года Шумахер пишет: «Я не счел нужным говорить о том г. Ломоносову: у него голова еще полна разнородных паров, которые его сильно беспокоят, ни г. Миллеру, чтобы не возбудить зависти в г. Ломоносове»[117].

С речью Ломоносова не возникло проблем: это был стандартный панегирик императрице. Шумахера только беспокоило, что Ломоносов не доверил переводить свое произведение на латынь Фишеру, а непременно сам («из тщеславия или по самонадеянности») хотел составить его латинскую версию. Это привело к задержке из-за занятости Ломоносова. Впрочем, сам Фишер признавал, что Михайло Васильевич «пишет по-латыни несравненно лучше Миллера».

Между тем Миллер все не предоставлял Академической конференции своей работы. А между тем историк, как ворчливо замечал Шумахер (письмо от 10 августа 1749 года), «выбрал предмет самый скользкий, который не принесет чести Академии, напротив не преминет навлечь на нее упреки и породит ей неприятелей». Шумахер подозревал, что Миллер сознательно затягивает работу, чтобы на заседании «не осталось времени на рассмотрение ее». А ведь дата уже была назначена — 6 сентября — в день празднования тезоименитства Елизаветы!

Буквально за несколько дней до этой даты труд Миллера лег на стол его коллегам. Тему он выбрал и впрямь скользкую — «Происхождение имени и народа Российского». Начиналась его речь так: «При праздновании такого торжественного дня по

Академии Регламенту и по введенному в научных собраниях обыкновению ничего пристойнее быть не кажется… <…> предложить о такой материи, которая не только нынешнему торжеству и сему ученому собранию была прилична, но ясным своим содержанием всякому могла бы служить к удовольствию».

Миллер обещал своим слушателям «представить, как от разных народов произошли ваши предки, которые потом толь тесными союзами соединились, что бывшего между ними прежнего различия никак не осталось».

Прежде всего, историк не соглашается с мифами о происхождении славян, распространенными в XVI–XVIII веках и отразившимися в «Синопсисе…». Он не верит, что предки славян — сарматы (что было в эпоху Гизеля почти аксиомой): сарматы — лишь одно из племен скифов, а «греки… скифами называли всех им недовольно знаемых диких, в невежестве живущих народов, так же как мы татарами называем обычайно всех народов восточных». Он перебирает и одну за другой отвергает различные гипотезы о происхождении «имени российского». «Россиян» производили от сарматского племени «роксолан», от мифического князя Руса, от «рассеяния», от русых волос, от реки Аракс… Все это кажется Миллеру неубедительным, как и отождествление Москвы с упоминаемым у пророка Иезекииля городом Мосх.

Как же видит Миллер отдаленное прошлое России?

«Россияне в сих землях за пришлецов почитаться должны». Аборигены — финно-угры, «чудь». Откуда же взялись нынешние жители? «Прадеды ваши, что… от славных своих дел в древние времена славянами назывались, которых живших тогда у реки Дуная по летописцам Российским выгнали волохи, то есть римляне». Оттуда они пришли (не раньше VII века н. э.) на нынешнюю территорию России. Кия, основателя Киева, Миллер, вслед за Байером, считает готским полководцем, утверждения новгородского летописца о том, что Новгород был построен во времена Моисеевы, просто отказывается принимать всерьез.

На новых, чудских землях славяне встретились с другим народом — с теми, кого византийцы назвали «варангами», а русские источники — «варягами». Вслед за Байером Миллер отождествляет их с норманнами, викингами, попросту говоря — «шведами». Это было почти новостью. Ведь в «Синопсисе…» написано, что Рюрик пришел «из пруссов», а Татищев, не соглашаясь с этим, склонен был считать варягов народом финского корня. Доказательством скандинавского происхождения варягов для Миллера служило имя, которым финны называют шведов — «россалейне»[118] (русских — «венилейне», немцев —

«саксалейне», себя самих — «суомалейне»). Именно «россалейне» принесли с собой (что, кстати, подтверждается летописью Нестора) «имя российское».

Все это, возможно, и не вызвало бы такого взрыва эмоций, если бы не развернутая картина древних событий на севере Восточно-Европейской равнины, которую предложил Миллер. Главным источником для него послужили датские и норвежские хроники, хотя он и не признавал полностью их достоверность. В этих хрониках речь идет о незапамятных временах. «О том, что случилось до прихода славян в наши земли, рассуждать можно, что оно мало до нас касается. <…> Однако из истории рассудить можно, что скандинавы всегда старались наипаче о приобретении себе славы российскими походами». Легендарные датские и норвежские конунги — Фротон, Галфден и другие совершали походы «в Россию» и «благополучно покорили» ее (это слово «благополучно» дорого стоило Миллеру!) — «или лучше сказать Австрию, Острогардию, Гардарику, Голмгардию, Хуннигардию, Гунниландию, которыми именами тогда наши земли от соседей назывались». Речь идет о странах, еще населенных «чудью» и лишь территориально совпадающих с будущей Россией, но Миллер вновь и вновь неосторожно употребляет будущее название страны, рассказывая, между прочим, о «российских царях» — скандинавах — Олимаре, Енепе, Даге и др.

Потом это скандинавское, варяжское иго было свергнуто. Кем? Историк упускает момент, когда, собственно, «чудское» население Восточной Европы сменилось славянским. Но «все ли варяги тогда из России прогнаны, это по летописям не явствует. Надлежит себе представить, что в такое долгое время, которое варяги против России воевали и оную действительно себе покорили, немалое их число как для военной службы, так и для купечества в Россию приезжали. Также вероятно, что владельцы, Россией обладавшие, для поддержания и укрепления своей власти, переведением своего народа Россию населяли…». Легко заметить, что историк модернизирует прошлое, приписывая владыкам архаических, полудиких времен логику и стиль поведения европейских монархов Нового времени. Это шведские короли в XVII веке переселяли финнов на невские земли, чтобы изменить национальный состав населения и удержать новоприобретенную территорию. Но славяне, утверждает историк, освободившись от ига, скорее всего, не изгнали из страны простых варягов. Почему? Это было бы несправедливо, говорит Миллер: ведь те были такими же рядовыми подданными своих правителей, как и сами славяне.

Что это — прекраснодушие или тайный идеологический ход? Миллер настаивал на своей объективности. Историк, по его словам, должен «как бы не имеющим ни отечества, ни государя, ни веры представляться». Но хотел он того или нет, современники могли усмотреть в нарисованной им картине злободневный намек. В самом деле: дни варяжского владычества ассоциировались с бироновщиной; угроза изгнания, нависшая над мирными скандинавскими купцами, — с событиями 1741–1742 годов. Но справедливость восторжествовала… А что потом?

Потом славяне погрязли в смутах и пригласили на престол варягов Рюрика, Трувора и Синеуса. «Когда же… единым велением народным княжение варягам паки вручено было, то число их в России паче прежнего умножилось». И два народа, варяги-россы и славяне, слились в один.

Подобный вариант этнического слияния под властью благодетельных чужестранцев (причем не ассимиляции чужаков, а именно равноправного слияния, в результате которого образуется новый народ) не мог вызвать энтузиазма у русских людей, причем отнюдь не только у агрессивных ксенофобов. Не мог он увлечь и основную массу петербургских немцев, которые вовсе не хотели расставаться со своим положением привилегированных иностранных гостей. Только Миллеру, человеку промежуточного статуса и сложной самоидентификации, иностранцу по рождению, но подданному царицы и патриоту империи, человеку, который уже (по выражению Волошина) «перекипел в котле российской государственности», но с обычной для той эпохи высокомерной отчужденностью относился к русскому «подлому народу», могла прийти в голову подобная картина. Ломоносова могло особенно задеть именно то, что плебейское «молчаливое большинство» страны, из которого он происходил, выносится за скобки и вообще не принимается в расчет: речь могла идти лишь о слиянии — на паритетной основе — новых варягов с русским дворянством, с которым они были сопоставимы по численности. Так, между прочим, во многом и произошло. Миллер, утверждая (а возможно, и искренне думая), что всего лишь рисует объективную картину прошлого, предлагал и предсказывал будущее.

Еще в середине XIX века славянофилы создали легенду о том, что Ломоносов только и делал, что «воевал с немцами» в Академии наук. Но так ли это? В начале 1750-х годов среди профессоров и руководителей академии было пять-шесть русских и с десяток иностранцев, в основном немцев. Обстановка в академии была очень напряженная, то и дело возникали

конфликты, делившие ученых на два лагеря, но никогда (даже в 1743 году) эти лагеря не формировались по национальному признаку. Личными друзьями Ломоносова и его союзниками по академическим баталиям были как раз немцы — Рихман, Браун, отчасти Штелин.

Да, Михайло Васильевич любил первенствовать, стремился к власти, к чинам — разумеется, ради интересов просвещения и науки — и не прочь был при этом, общаясь с влиятельными людьми, сделать упор на свое природно российское происхождение. В чем-то он был прав: приглашенные на несколько лет по контракту иностранные специалисты и вправду не могли ощущать такой же, как сам Ломоносов, связи со страной и государством (для него эти понятия не разделялись), такой же ответственности за «российское просвещение». Да этого от них и не требовалось. Но так или иначе, за жалованье или из энтузиазма — все делали общее дело. И, вне всякого сомнения, Ломоносов, учившийся в Германии, женатый на немке, в быту чаще разговаривавший по-немецки, чем по-русски, а ученые труды писавший по-латыни, вполне естественно чувствовал себя в космополитическом кругу собратьев по ученым делам.

Но с Миллером была особая история. Из всех академических немцев он был как раз самым обрусевшим. Он не просто формально принял подданство и выучил русский язык. Он говорил о России — «наша страна», он предъявлял свои права на русское пространство и время. Ревность, которую испытывал к нему Ломоносов, была сродни его ревности к Сумарокову и Тредиаковскому; и — в случае Миллера — к этому соперничеству не мог не примешиваться национальный оттенок.

5

Уже после того как диссертация Миллера была отпечатана, вместе с ломоносовской речью, члены Исторического собрания, прочитав ее, единогласно признали ее негодной к публикации и публичному произнесению. Чтобы избежать скандала, публичную церемонию перенесли на 25 ноября, годовщину восшествия Елизаветы на престол. Вместо Миллера приказано было подготовить речь «по физической специальности» Рихману и Кратценштейну.

Миллер не согласился с критикой, более того, он обвинил своих оппонентов в пристрастности и потребовал рассмотрения диссертации всеми профессорами. Но большинство «немцев» предпочли уклониться от участия в скользкой дискуссии. Профессора Рихман, Браун, Каау-Бургаве, Кратценштейн и Гебенштрейт и адъюнкт Клейнфельд «сказали, что российская история до их профессии не касается». В итоге высказались шестеро — Штрубе де Пирмонт, Ломоносов, Тредиаковский, Фишер, Крашенинников и Попов.

О характере претензий и уровне полемики дает представление отзыв Тредиаковского. Профессор элоквенции сперва разбирает разные версии происхождения слова «росс» (прежде всего, как и следовало от него ожидать, с филологической точки зрения) — в том числе и довольно неожиданные: «…можно показать, что имя россиян происходит от немалыя шотландския провинции Росс». А потом вдруг такое рассуждение: «Некие рождают нас россами, переселяют от Каспийского к Черному морю россами, описывают деяния у нас Россов… Когда ж мы были славянами?.. Но посему мы, как россы, не будем иметь участия в славных делах, от которых деды и прадеды наши названы».

Главным аргументом становится «природное народам честолюбие». Это святое чувство диктует Василию Кирилловичу следующее: «Роксолане мне уже и чужими кажутся для того, что они не от того колена, которому надлежит быть весьма древнему в Азии, но от крови не знаю каких варваров». Заметим: подобный уровень исторического мышления демонстрирует не какой-нибудь самоучка вроде Крекшина, а крупный поэт и ученый, получивший блестящее европейское образование. Интересно, что против самих «норманнских» теорий Миллера Тредиаковский как будто ничего не имеет — возможно, не разобравшись в них как следует. Но на всякий случай он, однако, оговаривается, что

«когда я заключил, что Миллерова диссертация есть вероятна… то заключил токмо о ее главном грунте, и не так всеконечно разумею, чтоб ей быть в таком состоянии, чтоб она могла быть опубликована». Другие возражали Миллеру резче. Их не устраивали и существо работы, и ее слог, композиция и т. д. Здесь, пожалуй, с академиками можно отчасти согласиться: Миллер не был великим стилистом, его русские переводчики (чью работу он сам подробнейшим образом правил) — тоже, и склонность излишне «растекаться мыслию по древу», несомненно, была ему присуща. Что же касается замечаний по существу, то больше всего их высказал именно Ломоносов.

Споря с Миллером, Ломоносов настаивает, что имя россиян произошло от роксолан, и филологически обосновывает изменение гласных. «Роксоланская земля в древние времена от Черного Моря до Варяжского и до Ильмень-озера». Доказательства? Профессор демонстрирует начитанность в произведениях античных и византийских историков. Так, Страбон говорит, что севернее роксалан никто не живет — «далее стужа жить не попускает». А Ломоносов знал, что стужа попускает человеку жить до самого Ледовитого океана. «После четвертого по Рождестве Христове о роксоланах ничего больше у древних писателей не слышно. А после восьмого веку в девятом, на том же месте, где прежде полагали роксолан, учинился весьма славен народ русский». Но чем же объясняется четырехвековой перерыв? Во-первых, «времена были варварские и писательми скудно», во-вторых, «казаре, сошед на южную часть России, у роксолан или россов сообщение с греками отняли». Звучит вроде бы убедительно, если не знать, что как раз в Византии никакого «варварства» между IV и VIII веками не было и что хазары появились на исторической арене в VII веке, не раньше. К тому же именно в эти века византийские авторы начинают упоминать о славянах.

Рюрика и его братьев Ломоносов считал уроженцами Пруссии — как сказано не только в «Синопсисе…», но и в некоторых подлинных летописях. Споря уже не столько с Миллером, сколько с его учителем Байером, он опять приводит лингвистический аргумент: «Если бы варяги-русь были языком своим от славян так отменны, какую отмену должен иметь скандинавский, то бы от самих варяжских владетелей, от великого множества пришедшего с ними народа и от армей варяжских, которые от 20 до 30 тысяч простирались, от великой гвардии, каковую после Рюрика и до Ярослава великие князья имели из варягов, должен бы российский язык иметь в себе множество слов скандинавских». Однако это не так[119]. Татары, замечает Ломоносов, не держали

гарнизонов в русских городах, только присылали баскаков — а сколько слов татарского корня осталось в русской речи? А финно-угорские («чудские» в терминологии Ломоносова) аборигены Восточной Европы, например пермяки? Они до сих пор сохранили свой язык. Как же могли без следа раствориться варяги? Это возможно только в одном случае: если они говорили на том же (или почти на том же) языке, что и большинство населения. Правда, Байер оспорил мнение, согласно которому пруссы (к XVIII веку уже почти полностью ассимилировавшиеся в немецкоязычной среде) — славяне: их язык, как утверждает немецкий ученый, скорее родствен курляндскому. Но курляндский язык, поправляет Ломоносов, сам происхождения славянского, «так что не токмо большая часть речей, но и склонения и спряжения от славянских весьма мало разнятся». Истина здесь посередине: балтийские языки (прусский, латышский — «курляндский» и литовский) не славянские, но к славянским близки. Из всех аргументов Ломоносова против норманнской теории этот — лингвистический — был бы самым сильным, если бы пруссы в самом деле были славянами и, главное, если бы именно история норманнов не изобиловала примерами, когда завоеватели в течение нескольких поколений полностью перенимали язык завоеванных, отказываясь от собственного (так было во французской Нормандии и в Сицилии). Впрочем, был приведен еще целый ряд доводов — в основном географо-этимологических — в пользу прусского происхождения основателя первой российской династии.

Конечно, ничего не поделать с тем фактом, что первые князья носили скандинавские имена. Но это, говорил Ломоносов, — результат смешанных браков. «Почти все россияне имеют ныне имена греческие или еврейские, однако следует ли из того, чтобы они были греки или евреи или говорили по-гречески или по-еврейски?» Само имя «варяг» Ломоносов считал не племенным, а указывающим на род занятий («морской разбой») и употреблявшимся всеми народами Балтийского моря. Таким образом, известные в византийской истории варанги вполне могли быть скандинавами, а русские варяги — пруссами.

Порою Ломоносов, споря с покойным Байером, не стесняет себя в выражениях. «Последуя своей фантазии, Бейер имена великих князей российских перевертывал весьма смешным и непозволенным образом; так что из Владимира вышел у него Валдамар, из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур и проч. <…> Ежели сии Бейеровы перевертки принять за доказательства, то сие подобным образом заключить можно, что имя Байер[120] происходит от российского „бурлак“».

Вопрос о том, как связаны между собой славянское имя Владимир и германское Waldemar (от *wald* — «власть» и *meri* — «знаменитый»), сложен. Может быть, одно происходит от другого, возможно, оба имени восходят к общему праиндоевропейскому источнику. Фигурирующая в скандинавских сагах «Аллогия», жена Вальдемара, — видимо, результат искажения имени «Ольга» (хотя «Ольга» может восходить к германской «Хельге»), «Визавалдур» — это германская транскрипция «Всеволода». Таким образом, отчасти Ломоносов прав, но грубости его это не объясняет и не оправдывает.

Особенно странен следующий пассаж: «Всего несноснее, что он в таковом своем исступлении или палоумстве опровергает основание, на коем утверждено важное Петра Великого учреждение, то есть орден святого Андрея Первозванного; ибо Бейер то явно отрицает, что Апостол Андрей Первозванный был в земли Российской для проповеди Евангелия. Жаль, что в то время не было такого человека, который поднес бы ему к носу такой химический проницательный состав, от чего он мог бы очнуться».

Ломоносов, как известно, отнюдь не принадлежал к числу фанатиков-традиционалистов, для которых буква церковного предания священна. Разумеется, он мог опасаться, что малограмотные андреевские кавалеры обидятся на ученого-скептика и что это скажется на положении академии. Но почему бы среди своих, среди академиков так прямо и не сказать — вместо грубой брани в адрес покойного выдающегося ученого? Да и потом Миллер апостола Андрея вообще не упоминает; он лишь констатирует, что славяне пришли на днепровские земли много позже I века н. э.

Думается, резкость и неадекватность реакции Ломоносова связаны в данном случае с присущим ему (и не ему одному в то время) глубоким комплексом национальной неполноценности. Да, Российская империя была сильной, могучей мировой державой. Но у русских почти еще не было своих ученых и писателей, а значит, они не могли сами рассказать миру о своем прошлом и зависели в этом смысле от высокомерных иностранцев. Потому так болезненно воспринималось посягательство скептически настроенного ученого мужа на священные, уходящие в глубь веков национальные предания.

По этой же причине Ломоносову так не нравилось, когда Миллер упоминал лишний раз о чьих бы то ни было победах над славянами или над «Россией» (пусть этим словом обозначается страна, населенная доисторической чудью). Историограф отвечал на это: «Не знаю, какого рода представление об исторических рассуждениях составил себе Ломоносов, если он делает мне такие

возражения, каких я, пожалуй, вообще ни от кого не слыхал. Он хочет, чтобы писали о том, что имеет отношение к славе. Не думает ли он, что от воли историка зависит писать, что ему хочется? Или он не знает, каково различие между исторической диссертацией и панегирической речью?»

Ломоносов возражает: ничего подобного он не говорил и не имел в виду. В самом деле, он не призывал своего оппонента лгать, но считал необходимым несколько позолотить пилюлю, изображая неприятные эпизоды лестным для национального самолюбия образом: «Хотя бы то была правда, что славяне для римлян Дунай оставили, однако сие можно было бы изобразить инако. Например: славенский народ, любя свою вольность и не хотя носить римского ига, переселился к северу».

Бестактность некоторых мест в миллеровской речи понимал и опытный «аппаратчик» Шумахер: «Г. Миллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи. Я бы изложил таким образом: происхождение народов весьма неизвестно. Каждый производит их то от богов, то от героев. <…> Я же, основываясь на свидетельствах, сохраненных шведскими писателями, представляю себе, что русская нация ведет свое начало от скандинавских народов. Но откуда бы не производить русский народ, он всегда был храбр, отмечен героическими подвигами, которые следует сохранить в потомстве» (письмо Теплову от 8 октября). Но Миллер не желал считаться с тем, что ему предстоит говорить речь не в академической аудитории. «Невежество некоторых слушателей не может быть поставлено в упрек мне», — надменно отвечал он. Историк выступал от лица новой науки, критически относящейся к источникам, беспощадной к преданиям. Но позиция Миллера была тем более уязвима, что критичность он проявлял избирательно, отвергая с порога недостоверные свидетельства Новгородского летописца, но веря, хотя и с оговорками, столь же малодостоверным датским хроникам. В этом также упрекал его Ломоносов.

Вообще письменная дискуссия между Ломоносовым и Миллером выглядит странно. Обмен серьезными и осмысленными аргументами то и дело переходит в истерические взаимные оскорбления. Но в одном случае Ломоносов вынужден был отступить и по существу признать свою неправоту — или, по крайней мере, оставить за своим оппонентом последнее слово. Речь идет о пассаже относительно Байера и святого Андрея. Миллер достойно заступился за своего учителя, проявив обычно несвойственное ему красноречие.

«Церковь никому не навязывает в качестве евангельских истин исторические сообщения, переданные в житиях святых; наоборот, во всех землях позволено смотреть на эти вещи критически и исследовать, в какой степени они основаны на бесспорной истине. <…> Байер не написал и не издал ничего такого, чего бы не одобрил покойный Феофан, архиепископ Новгородский. <…> Это мнение Байера не препятствует тому, чтобы Русская церковь могла почитать св. Андрея заступником Русского государства. Допустим, он не проник в Россию. Насколько мы знаем, туда не проникал никто другой из апостолов. Андрей занимался проповедью по соседству и, возможно, посылал учеников в наши области. А если он заступник, то вот и не устраненное г. Байером основание, которым воспользовался Петр Великий, чтобы посвятить первый русский орден св. Андрея. То, что добавляет Ломоносов о химическом порошке, ясно показывает, что он говорит о самом себе и уверен, что, будь он в то время в Академии, Байер бы не осмелился написать ничего подобного. О смейтесь со мною все знавшие Байера! Неужели на вас, Ломоносов, и вам подобных посмотрел бы тот, кого горячо любили за его божественный талант и великую ученость первые лица в церкви и в государстве?»

Разговор в Академическом собрании постоянно шел в эти дни на повышенных тонах. Миллер сердился, стучал палкой, Ломоносова обвинял в том, что он действует из личной мести, Теплова называл клеветником и лжецом, Попова — доносчиком, а про Крашенинникова говорил, что тот в Сибири у него, Миллера, «под батожьем ходил» (при всей вспыльчивости Ломоносова, при всем его деспотизме, невозможно представить себе, чтобы он в таких выражениях говорил о коллеге и бывшем ученике!), в общем, сделал все, чтобы еще больше осложнить свое положение. В итоге он был отстранен от ректорства (на его место назначен Крашенинников) и на год переведен из профессоров в адъюнкты. В указе Разумовского перечислялись все старые вины Миллера, истинные и мнимые: и переписка с Делилем, и то, что он, «притворив себе болезнь», послал на Камчатку вместо себя Крашенинникова… За все время академической службы историограф никогда еще не оказывался в такой опале. Впрочем, вскоре расположение звезд переменилось: Миллер был восстановлен в профессорской должности, поставлен во главе Географического департамента и назначен конференц-секретарем академии.

Да, Миллер и Ломоносов были эмоциональными людьми, и это наложило отпечаток на их спор. Но сам спор не сводится к

личному противостоянию или соперничеству. Академический историограф защищал одну из принципиальных идей Нового времени — идею позитивной науки, стремящейся к беспристрастию и верящей в свое беспристрастие; Ломоносов отстаивал другую, новую для той поры, идею — национального государства, этноса в целом (а не только правящей верхушки, чья языковая и культурная идентификация не имеет принципиального значения) как субъекта истории. Оба они смотрели в будущее — и оба одной ногой стояли в прошлом, в Средних веках.

Спор их стал прелюдией к бесконечному противостоянию норманнистов и антинорманнистов. Дискуссия этих научных школ шла, как известно, по двум направлениям: о происхождении варягов и о той роли, которую они сыграли в формировании Киевской Руси. Первый вопрос можно считать разрешенным: археологические раскопки в Старой Ладоге и в других местах однозначно доказали скандинавское присутствие в невских и волховских землях в VIII–X веках. Современные антинорманнисты лишь доказывают, что среди варягов-русь были не только скандинавские викинги (хотя последние, конечно, составляли большинство), но и выходцы из южнобалтийских земель, пруссы и полабские славяне. Есть разногласия и относительно происхождения слова «Русь» (от слова «руотсалайнен», от острова Рюген, от реки Рось). Что касается роли варягов в создании государства, здесь позиции расходятся существенно: одни ученые (Р. Г. Скрынников) говорят о «восточной Нормандии», первоначально создававшейся почти без участия автохтонного населения, другие (А. Н. Сахаров) считают, что у славян к моменту прихода Рюрика уже существовала собственная государственность и речь могла идти в лучшем случае о смене династии.

Впрочем, этому спору предшествовали долгие десятилетия исторического мифотворчества. Исследователи-дилетанты XVIII — начала XIX века придумывали самые фантастические теории о древности и величии славян. Екатерина II искала славянский след даже в Америке, упражняясь в этимологии индейских географических названий («Гватемала — гать малая»). Еще в 1815 году поэт Василий Капнист произнес в «Беседе любителей русского слова» речь, в которой отождествлял славян с древними гиперборейцами, у которых греки позаимствовали всю свою ученость. Когда три года спустя вышел из печати первый том «Истории государства Российского», многие были недовольны началом карамзинского труда. Михаил Орлов, будущий декабрист (и будущий муж ломоносовской правнучки), писал:

«Желаю… чтобы нашелся человек, который, овладев всеми рассказами современных историков, общим соображением преклонил их насильственно к системе нашего древнего величия. <…> Ливий сохранил рассказ о божественном происхождении Ромула, Карамзину должно было сохранить таковое же о величии древних славян и россов». Но Карамзин выбрал иное. Использовав труды Миллера и других въедливых историков-профессионалов, он выстроил для многих поколений русских людей канон национального прошлого, с которым можно сколько угодно спорить, но который невозможно обойти. Он, конечно, создал новую легенду — но легенду на документальной, научной основе.

6

Между тем именно в этом заключалась цель Ломоносова (так и оставшаяся неосуществленной) — и именно поэтому так горячо ввязывался в споры о русской истории, а в 1753 году, приняв предложение Елизаветы и Шувалова, взялся за огромный, отвлекавший его от других забот труд — «Российскую историю».

Пожелание «видеть историю, написанную его слогом», высказала Ломоносову императрица, когда он в феврале — марте 1753 года был в Москве, добиваясь помощи казны в создании мозаичной фабрики. Разумеется, предложение было сделано не случайно: об изысканиях в области отечественной истории шла речь в приватных беседах с Шуваловым. Однако работа над историей стала дополнительной и очень трудной повинностью. Ломоносову пришлось проштудировать множество исторических документов, летописей, хроник на русском, греческом и латинском языках. И все же круг источников у него уже, чем у Миллера и Татищева. В 1758 году был подготовлен к печати первый том — «Древняя российская история», охватывающий период до смерти Ярослава Мудрого. Но свет он увидел лишь в 1766 году, после смерти Ломоносова. На этом работа остановилась: Ломоносова увлекли другие дела. В 1760 году им вместе с А. И. Богдановым был подготовлен и выпущен «Краткий российский летописец» — короткий систематический свод русской истории, предназначенный для учебных целей, потеснивший (но не вытеснивший) «Синопсис…» в школах.

Андрей Иванович Богданов (1692 [или 1707]—1766) — личность во многом загадочная. По одним сведениям, он был сыном порохового мастера из Москвы, по другим — сибиряком и наполовину японцем по происхождению. Окончив уже в зрелом возрасте Академическую гимназию, он много лет служил в

библиотеке под руководством Тауберта; его перу, кроме «Краткого российского летописца», принадлежат «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его с 1703 по 1751 год» (1779) — первый путеводитель по столице и «Краткое ведение и историческое изыскание о начале и произведении вообще всех азбучных слов…» (1755) — первый русский библиографический свод, до 1958 года остававшийся в рукописи. При работе над «Кратким российским летописцем» Богданов помогал Ломоносову прежде всего в подготовке материалов.

В «Древней российской истории» Ломоносов выступает не только как историк-аналитик (это дается ему труднее всего), не только как изысканный стилист, выразительно и сжато рассказывающий стране о ее прошлом. Он пытается выстроить собственную концепцию отечественной истории. Он видит «общее подобие в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась…». Можно упрекнуть Ломоносова в том, что он не видит различия между античной демократией и средневековой феодальной раздробленностью. Но он упоминает и о «вольных городах», Новгороде и Пскове, где «гражданское правление» было подобно Римской республике. Ломоносов вырос среди поморов, у которых существовали институты самоуправления, он бывал в германских вольных городах, он заседал в Академическом собрании, где вопросы решались голосованием. Так что он, без сомнения, понимал, что такое демократия, и отдавал себе отчет в том, какую роль сыграла она в истории. Но для России он считал этот способ государственного устройства совершенно неприемлемым. (Впрочем, и в современной ему Европе преобладал абсолютизм…) В составленном Ломоносовым в 1764 году проекте «живописных картин из российской истории» есть и такой: «Приведение новгородцев под самодержавство. На площади Новгородской, пред церковью святыя Софии великий князь Иван Васильевич,

верхом сидя, повелевает принять от новгородцев грамоты Ярославли своему наместнику при архиерее. Вечевой колокол, или набат, новгородцам служивший к самовольным скопищам, летит сброшен с колокольни. Марфе-посаднице руки назад вяжут. Новгородцы, коих к Москве уводят, прощаются со своими ближними. <…> При великом князе для безопасности копейщики». Никаких сантиментов из тех, что позднее проявляли декабристы. Величие державы для Ломоносова на первом месте. В конце концов, в той России, в которой он жил, просвещение распространялось только сверху, с помощью «петровской дубинки». А раз так — пусть дубинка будет потолще, рука, держащая ее, — посильнее.

Разумеется, бессмысленный деспотизм не был Ломоносову мил. Вот характеристика, которую дает он в «Кратком российском летописце» Ивану Грозному: «Сей бодрый, остроумный и храбрый государь был чрезвычайно крутого нраву, который первая его супруга, великая государыня царица Настасья Романовна умела своим разумом и приятностьми удерживать. После ея преставления обычай его совсем переменился. <…> Наподобие внезапной бури восстала в нем безмерная запальчивость. Неспокойных новгородцев казнил сей государь свирепым наказанием и царевича своего Ивана зашиб в крутом гневе. <…> По таким строгостям назван царь Иван Васильевич Грозным. Его повелением заведено в Москве печатание книжное». Последняя фраза — совершенно ломоносовская! Он вне всякого сомнения осуждает жестокости царя-мучителя, насколько писатель середины XVIII века вообще мог в печати осудить царя, законного русского царя, не узурпатора, каковым считался, скажем, Борис Годунов, — но книгопечатание для него все-таки важнее.

Самое же главное, что ломоносовское описание не дает нам почувствовать личность Ивана Грозного. «Краткий российский летописец» на то и краткий, но и Владимир, Ярослав и прочие князья из «Древней российской истории» — совершенно картонные персонажи, лишенные индивидуальности. Для научного труда этого и не нужно; но сочинение Карамзина именно ярким, парадоксальным, противоречивым психологическим характеристикам, предвещающим великую русскую прозу второй половины XIX века, обязано было немалой частью своей славы. Ломоносов был, как и Карамзин, прекрасным стилистом. Но он был слишком равнодушен к внутреннему миру отдельного человека: его интересовали только природа, государство, народ как единое целое.

Что касается происхождения «россиян», то Ломоносов развивает свои прежние идеи. Славяне, которых он отождествляет

(на сей раз совершенно справедливо) с вендами, венедами, антами, — автохтонные жители Восточно-Европейской равнины. Варяги-россы — одно из славянских племен, происходящее от роксолан и мигрировавшее от Черного моря на территорию будущих Белоруссии, Курляндии и Пруссии. Чудь происходит от скифов (здесь Ломоносов следует за Байером, повторяя его ошибку: скифы, как и сарматы, — конечно, народы иранского корня и ни к славянам, ни к финно-уграм не имеют отношения).

В поисках «славных предков» славянского народа Ломоносов обращается к Плинию, Корнелию Непоту и Титу Ливию, которые возводят италийское племя венетов к енетам, обитателям Пафлагонии, которые «у Трои лишились короля своего Пилимена; для того места к поселению и предводителя искали». Енеты суть венеты, венеты суть венеды, венеды суть славяне: генеалогия славянского племени возводится к Троянской войне. Вольтер, которому Шувалов послал французский перевод «Летописца», смеялся над этим мифологическим подходом к прошлому: «Подобным образом у нас писали историю тысячу лет назад, подобным образом через Франкуса возводили наше происхождение от Гектора». Европейская наука давно оставила подобные бредни… В самом деле? А разве не сам Вольтер, иронизируя над современными ему изысканиями, писал в «Истории Российской империи при Петре Великом»: «Вот, как пример, многие упорствуют теперь, желая доказать, что египтяне — праотцы китайцев: они говорят, что, по сказаниям одного из древних, Сезострис доходил до Гангеса. Итак, если он доходил до Гангеса, то мог дойти и до Китая, который, впрочем, очень далеко от Гангеса; следовательно, он дошел до него; следовательно, Китай еще не был заселен тогда, и, следовательно, нет сомнения, что он заселил его. — Далее говорят, что египтяне во время праздников зажигали свечи, а китайцы зажигают фонари; следовательно, нельзя сомневаться, чтобы китайцы не были колония египетская; сверх сего в Египте есть большая река, и у китайцев также. <…> Какой-нибудь ученый в Тобольске или в Египте мог бы доказать гораздо убедительнее, что французы происходят от троянцев». Этот пассаж хорошо, истинно по-вольтеровски высмеивает уровень исторических знаний и рассуждений той поры. И это — во Франции. В Восточной Европе, в славянских странах все было еще забавнее. Судить Ломоносова-историка надо по меркам того века. Да, он, в отличие от Миллера, стремится не опровергнуть красивые старинные легенды, а найти им подтверждение. Но там, где он не находит никаких, прямых или косвенных, свидетельств, подтверждающих пусть даже самые приятные с точки зрения национального

самолюбия сказки, он скрепя сердце отвергает их: например, о грамоте, которую дал Александр Македонский славянам, или о происхождении Рюрика от императора Августа. «…Многие римляне переселились к россам на славянские берега. Из них, по великой вероятности, были родственники какого-нибудь римского кесаря, которые все под общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались. Таким образом, Рюрик мог быть какого-нибудь Августа, сиречь римского императора, сродник. Вероятности отрешись не могу; достоверности не вижу». Другими словами: способность к анализу и критике исторического материала у Ломоносова была, конечно, ниже, чем у Миллера или Байера, но все же он возвышается в этом отношении над большинством русских и восточноевропейских писателей своей эпохи. Несправедливо, как это иногда делают, уподоблять его самоучкам вроде Крекшина.

Можно обвинять Ломоносова в том, что он в данном случае «взялся не за свое дело», противопоставлять его успешную работу в качестве естествоиспытателя его наивным историческим трудам… Но в том-то и проблема, что все стороны деятельности Ломоносова имеют один источник. Что бы ни казалось ему самому и его биографам, он был по складу личности скорее поэтом, чем ученым. Да, он несравнимо лучше владел методикой химического или физического эксперимента, чем навыками работы с историческим источником; да, его дерзкая интуиция реже обманывала его, когда речь шла о тайнах «натуры». Но и «натуру», и историю страны он видел глазами поэта, а не въедливого и бесстрастного аналитика. И притом этому поэту удалось подчинить свое вдохновение государственному сверхпроекту, империи. А империя в его времена была гораздо менее мягкой и терпимой, чем век-полтора спустя.

Только что прозвучало имя Вольтера. Отношение Ломоносова к личности и творчеству своего великого современника было заинтересованным и пристрастным. Конечно, он смолоду знал «Генриаду» и «Заиру», которые прославили своего автора на всю Европу и которые сейчас мало кто помнит. Тот Вольтер, которого знаем мы, — автор «Кандида», «Простодушного», «Орлеанской девственницы», «Разрушения Лиссабона», политических и религиозных памфлетов — в 1750-е годы только достиг расцвета. Образованные русские с робким интересом открывали для себя эти произведения и стоящий за ними круг идей. Ломоносов в 1753 году не без лукавого удовольствия посылает Шувалову безбожные стишки занозливого француза — подпись к портрету просвещенного монарха-агностика Фридриха II (между тем благочестивый, но любознательный Иван Иванович, читая

Вольтера, на всякий случай то и дело осенял себя крестным знамением). А в дни Семилетней войны Михайло Васильевич перевел Вольтеров стихотворный памфлет, в котором философ, разочаровавшийся во Фридрихе, обличал своего бывшего покровителя.

В 1757 году возникла мысль заказать Вольтеру, уже написавшему «Историю Карла XII…», историю Петра Великого, победителя шведского героя. Французский писатель и философ, с 1746 года — почетный член Петербурской академии, не один год добивался этого заказа. Теперь о нем заговорили всерьез. Ломоносов осторожно приветствовал эту идею. «К сему делу, по правде, г. Вольтера никто не может быть способнее, только о двух обстоятельствах несколько подумать должно. Первое, что он человек опасный и подал в отношении высоких персон дурные примеры своего характера. Второе, хотя довольно может он получить от нас записок, однако перевод их на язык, ему знакомый, великого труда и времени требует. <…> Ускорение сего дела для престарелых Вольтеровых лет весьма необходимо» (письмо от 2 сентября). Престарелый (63 года) Вольтер прожил еще двадцать с лишним лет и на тринадцать лет пережил самого Ломоносова.

Ломоносову, вероятно, самому хотелось написать историю Петра, но, разрывавшийся между множеством дел, он не готов был взяться за этот труд (тем более что и «Древняя российская история» продвигалась медленно) и ограничился подсобной ролью — но роль эту выполнил на совесть: написал, для сведения Вольтера, историю стрелецких бунтов в начале правления Петра, дважды (в сентябре — октябре 1757-го и в 1760 году) просматривал рукопись Вольтера и поправлял ее. Одновременно свои (очень многочисленные) поправки представил и Миллер.

Поправки, внесенные Ломоносовым в вольтеровскую «Историю Российской империи при Петре Великом», двух родов. Во-первых, Ломоносов тщательно следит за «Вольтеровыми букашками», отмечая любую насмешливую и неуважительную, как ему кажется, фразу в адрес Петра и вообще правящей в России династии; он не соглашается с тем, что Петр в детстве боялся воды, а в юности предавался буйным пирам и разврату; его не устраивает слишком мрачное, «поносительное» описание России («описывает г. Вольтер Лапландию, самоедов, а где многолюдные, плодоносные и наполненные городами княжения и провинции: Ярославская, Тферская, Володимер, Нижний…»); он стремится всюду и везде подчеркнуть заслуги «коренных русских людей»: его беспокоит, что при описании экспедиции Беринга опущено имя Алексея Чирикова, «который был главным и прошел

далее»[121]. Все замечания такого рода Вольтер, естественно, просто игнорировал.

Во-вторых, Ломоносов внес немало фактических уточнений. Вольтер воспользовался ими лишь отчасти. Если речь шла о сроке, который Северная Двина покрыта льдом (не девять месяцев, а семь с половиной), или о том, какой по счету дочерью царя Алексея была Софья, он принимал поправки. Но в более важных вещах он проявил упорство — а зря. Основываясь на своих данных, он не поверил Ломоносову, что слово «царь» происходит не от некоего татарского титула, а от «цесаря», и что лопари — родичи финнов.

С конца 1750-х годов работа Ломоносова-историка постепенно сходит на нет. Впрочем, в эти годы он все меньше работает и как поэт, и как естествоиспытатель. Все его главные силы уходят на организационную и административную деятельность.

7

Участие Ломоносова в управлении академией было перманентным. Без него не обходятся, в частности, дискуссии, связанные с приглашением и назначением новых профессоров. Этой теме посвящена его переписка с Миллером, относящаяся к маю 1754 года. Именно Миллер в качестве конференцсекретаря вел переписку с Эйлером, консультировавшим академию по кадровым вопросам.

Письмо Ломоносова Миллеру от 7 мая из Усть-Рудицы интересно не только своим содержанием (речь идет о его давних марбургских знакомых), но и тональностью: «Письмо г. Ейлера прочитал я не без удивления. Шпагенберга и Ебергарда признает за таких людей, которые в Академии негодны, затем что ничего не писали годного в „Комментарии“. Сие учинено против справедливости и против его самого. Он рекомендовал Академии таких людей уже прежде, которых сочинения в „Комментарии“ мало годны, и только на будущее надеялся. Так и и ныне представляет Мейера, Кестнера и Бермана, которые в ученом свете не чудотворцы. Профессор Шпагенберг в Марбурге читал уже лет восемь лекции во всей философии и математике и столько ж, сколько Волф, имел слушателей, а Берман тогда ходил сам к Волфу на лекции. Я его довольно знаю: с год времени за одним столом был у Волфа и учился у него немецкому языку и математике. Бермана превосходит Шпагенберг несравненно: студентом будучи, много лет читал лекции другим студентам с

великою похвалою. А ныне профессором тринадцать лет в том упражняется. Правда, что Академии надобен человек, который изобретать умеет, но еще больше надобен, который учить мастер. Обои достоинства в профессоре Шпагенберге несомнительны. <…> Сверх сего честные его нравы и все поступки Академии наук непостыдны будут. Мне в четыре года студентом и профессором довольно знать его случилось. Мы счастливы, ежели только он поедет. Что же Ебергарта надлежит, то его сочинения весьма не хуже Кранценштейцновых, разве только тем негодны, что он Невтоновой теории в рассуждении цветов держится. Я больше, нежели г. Ейлер, в теории цветов с Невтоном не согласен, однако тем не неприятель, которые инако думают. <…> В рассуждении Котелникова нет ли, право, пристрастия? Г. Ейлер сам был не такой великий математик, когда здесь произведен в профессоры. Все со временем. <…> Сие прошу сообщить его сиятельству г. президенту, а г. Ейлера о том не уведомлять, затем чтобы дружба моя с ним не нарушилась».

Письмо написано раскованно, без всякого напряжения, а последняя фраза даже свидетельствует как будто о доверительных отношениях между автором и адресатом. В ответном письме Миллер обращается к Ломоносову: «Дорогой друг…» Словно четырьмя-пятью годами раньше эти учтивые собеседники не осыпали друг друга публичными оскорблениями! Впрочем, это им еще не раз предстоит. Но, видимо, в их отношениях были разные периоды. В тесном сообществе (весь ученый коллектив академии никогда не превышал 15 человек), да еще и живя по соседству, вечно враждовать было невозможно; да и слишком много общих тем и общих интересов было у Ломоносова и господина историографа. В короткие мирные периоды они могли с увлечением беседовать о быте поморов и сибиряков, о плавании по северным морям, о русских летописях, о немецкой литературе.

Однако академическая жизнь постоянно порождала конфликты. Некоторые из них носили характер почти комический.

Еще в 1746 году профессора, по инициативе Ломоносова, подали прошение о даровании им чинов, причем не причитающегося девятого класса, а более высоких. Но просьба осталась тщетной. Ни Разумовскому с Тепловым, ни Шумахеру чиновные подчиненные были не нужны: ими трудно было бы управлять. Но сам Ломоносов, как мы уже писали, стал в 1751 году коллежским советником — «полковником», как гордо говорил сам он. А в 1753 году на одном из собраний академии произошла на этой почве неприятная история.

Третьего ноября 1753 года на очередном протоколе профессора расписывались, как было заведено, в порядке старшинства службы в академии и производства в профессора. Первым — Миллер (в академии с 1726 года, со дня основания), потом надворный советник Штелин, дальше — Тауберт, Тредиаковский, Ломоносов, Фишер, Браун, Крашенинников, Гришов, Попов и адъюнкт Клейнфельд. Можно было, конечно, оспорить этот список (непонятно, например, что делает адъюнкт Тауберт между двумя профессорами элоквенции, каждый из которых был много старше его и по возрасту, и по служебному стажу). Но Ломоносов поступил иначе: он просто разорвал лист и приказал составить новый, в котором его имя, как старшего по чину, произведенного за свою «отличную науку», стояло бы на первом месте.

Обиженный Тредиаковский (они как раз обменялись с Ломоносовым первой серией стихотворных памфлетов) написал жалобу, представляющую собой, как большая часть вышедших из-под пера Тредиаковского по любому поводу текстов, филологическое исследование: «Ежели б Всемилостивейшая Государыня восхотела его науку признать лучшею перед нашею, то б несомненно изволила то объявить словом „отменная наука“, а не „отличная“…» Тредиаковский негодует: «Что как уж г. Ломоносов собою, и без указа, дает себе первенство в профессорстве; то может он сделать и в публичном академическом собрании; от чего опасно придти в такое собрание, дабы не придти в стыд перед множеством особ и не быть фабулою всему свету».

Пятого ноября, на следующий день, Шумахер написал на имя президента следующее письмо: «Высокопревосходительному Сиятельству представляется, не соблаговолит ли Ваше Сиятельство повелеть, чтобы профессоры, характер[122] имеющие, в академических собраниях… поступали не по рангам, а по старшинству…»

Вопрос о чинах профессоров был, как уже сказано, принципиальным; но едва ли стоит видеть именно в этом инциденте нечто, кроме проявления одной из присущих Ломоносову мелких слабостей. Огромный, могучий, мощный, властный человек, он был порою не только по-детски уязвим, но и по-детски тщеславен.

Однако в конце 1754 года начались конфликты другие, и уж вовсе нешуточные. Спор шел из-за академического регламента.

Старый регламент, принятый в 1747 году, с одной стороны, давал академии определенные преимущества и привилегии, которых не было прежде (например, ни одно государственное

учреждение не имело права пригласить из-за границы специалиста без согласия Академической канцелярии, «дабы не упущен был случай русского человека на то употребить, ежели при Академии имеется, а ежели нет, то она должна выписать, имея большее о том свидетельство, чем все другие места»). Но внутри Академии наук вся полнота власти сосредоточивалась в руках президента и Академической канцелярии. Было велено «ученым людям и учащимся кроме науки их ни во что не вступать». Более того, каждый должен был «в том только трудиться для общества, что до его науки надлежит, а в чужую не вступаться». Это противоречило сложившейся практике академической жизни, когда работу по любой специальности обсуждали сообща все желающие. Президент мог своей властью пригласить нового профессора и отправить в отставку любого из старых. Отдадим должное Разумовскому: он обычно не принимал кадровых решений без консультаций с профессорами. Но процедура таких обсуждений не была прописана, и это порождало конфликты (вспомним эпопею с назначением и изгнанием Сальхова).

В середине 1750-х годов Ломоносов и ряд других профессоров выступили с инициативой об изменении регламента. Ломоносова не устраивало, что регламент, который должен был действовать десятилетиями, написан в расчете на наличный кадровый состав академии (например, там было указано, что ректором университета должен быть историк, поскольку в тот момент на эту должность намечался Миллер). Раздражало его, человека энциклопедических интересов, требование строгой специализации. Возмущало, что к профессорам приставлены штатные переводчики: подразумевается, что ли, что профессорские должности вечно будут замешать по большей части иностранцы? Наконец, совершенно нелогичным казалось ему, что в гимназии полагалось 20 учеников, а в университете — 30 студентов. «…Совсем противным образом быть должно, затем что не всякий школьник произойти может в студенты, и не всякий студент — в профессоры». К этой теме Ломоносов возвращался и позднее — а всего он за шесть лет написал четыре проекта преобразования академии. Удивительно соображение, которое он приводит в сентябре 1760 года: «Сочинитель [регламента] не имел никакого понятия о человеческом роде, не знал, что молодые умирают чаще старых, так что едва сороковой человек до 30 лет доживает, для чего школьников должно быть больше студентов». Странная мысль о том, что «молодые умирают чаще старых» могла прийти Ломоносову в голову под впечатлением внезапной смерти двух его бывших учеников — Клементьева и

Поповского, скончавшихся один за другим соответственно 28 и 30 лет от роду.

Но дальнейшие проекты Ломоносова писались уже в другое время и в других условиях. А пока, на рубеже 1754–1755 годов, комиссия «об излишествах, недостатках и непорядках академических», созванная ясновельможным президентом и гетманом и включавшая Шумахера, Миллера, Теплова, Ломоносова и Штелина, не могла прийти ни к чему. Шумахер защищал существующие порядки, Штелин «за художества стоял больше, нежели за науки», секретарь Ханин плел интриги, добиваясь «единственного смотрения над книжным печатаньем и торгом». Разговор то и дело шел на повышенных тонах. Конфликт обострился настолько, что 30 декабря Ломоносов просит Шувалова «если невозможно, чтобы я по моему всепокорнейшему прошению был произведен в Академии для пресечения коварных предприятий», походатайствовать о переводе его «в другой корпус», лучше всего в Коллегию иностранных дел — под крыло к Воронцову.

Разумеется, Ломоносов не собирался уходить в дипломаты. О подлинном характере его устремлений лучше всего свидетельствует исторический анекдот, сохраненный в записи Пушкина. Ломоносов как-то так рассердил Шувалова, что тот будто бы закричал: «Я отставлю тебя от Академии!» — «Нет, — возразил гордо Ломоносов, — разве Академию от меня отставят». Детали сомнительны: Шувалову Академия наук не подчинялась, и он никогда непосредственно не вмешивался в ее дела, а с Разумовским Ломоносову запросто говорить не приходилось, но суть ломоносовского самоощущения поймана верно. Он считал «науки» в России своим личным, кровным делом, полагал, что без него они пропадут. Он хотел не покинуть академию, а участвовать в управлении ею.

Но пока что в результате этих устремлений он оказался в опале. 10 марта 1755 года при обсуждении регламента у него произошла стычка с Тепловым. Как описывает это сам Михайло Васильевич в письме Шувалову (от 12 марта): «Коварник[123] говорил, что я хочу отнять власть и полномощество президентское; я отвечал, что желаю снять с него беремя, которое выше сил одного человека, каков бы он ни был. Но должно общим согласием производиться, тем более что президент — не полигистор. Владеющие государи имеют своих сенаторов и других чиновных людей, которых он, хотя самодержец, советы принимает, то можно ли тому не быть в науках, которые не в одном государстве, но во весь свет простираются». По словам Ломоносова, он еще «в первом собрании генерально оговорился,

чтоб никто не думал, яко бы я говорил о графе Кирилле Григорьевиче, но рассуждая о президенте генерально, в вечные роды: мы все смертны». Но, напомнив Теплову, что его вельможный покровитель, которому от роду было 27 лет, смертен и, во всяком случае, не вечно будет занимать свой пост, Ломоносов лишь подлил масла в огонь.

В результате ему было вновь, как в 1743 году, запрещено участвовать в работе Академического собрания. Теперь Ломоносов был уже не молод и не стал добиваться правды, устраивая публичные скандалы: у него были другие возможности. Вскоре он был прощен, а 13 февраля 1757 года последовало долгожданное решение.

«Дабы в отсутствии моем в случае иногда болезни г-на Шумахера или иного приключения, которому он по дряхлости и старости лет своих может быть подвержен, Канцелярия Академии праздна не осталась, а паче всего в порядочном течение дел остановки не воспоследовало, с упомянутым г. Шумахером присутствовать в Канцелярии Академической и все текущие по Академии дела обще подписывать г-ну коллежскому советнику и профессору Ломоносову и г-ну коллежскому асессору и унтер-библиотекарю Тауберту».

Шестидесятисемилетний Шумахер фактически и так уже передал часть своих забот зятю (в 1760 году «Иван Данилович» окончательно выйдет в отставку, а год спустя его не станет), так что указ президента лишь приводил формальную сторону дела в соответствие с реальностью. Для Ломоносова же это назначение было принципиальным — оно ставило его наравне с его главными оппонентами. Позднее должность советника Академической канцелярии получил также Штелин, ведавший Комиссией о строениях и художественными мастерскими. В ведении Тауберта были типография, книжная лавка, инструментальные мастерские и Кунсткамера. Ломоносов курировал Профессорское собрание, университет, гимназию и Географический департамент.

Работа Академической канцелярии, в руководство которой вошли такие разные люди, ознаменована была бесконечными спорами и скандалами. При этом окончательное решение оставалось за Разумовским, то есть за Тепловым — «коварником». Последний постоянно лавировал между советниками, становясь то на одну, то на другую сторону. «Сколько раз вы были друг и недруг Шумахеру, Тауберту, Миллеру, и, что удивительно, мне? — писал ему в 1761 году Ломоносов. — В том больше вы следовали стремлению своей страсти, нежели общей академической пользе, и чрез таковые повседневные перемены колебали, как трость, все академическое здание». Тем временем

Тауберт умело сводил приход — расход, заботясь о прибылях академии, но не забывая, судя по всему, и о своем кармане. Он любил книги и, как профессионал-издатель, неплохо разбирался в них, но науки, как таковые, интересовали его мало; он охотно участвовал в интригах, но не упивался, как его тесть, властью над профессорами. А Ломоносов, чей характер с годами не делался мягче и уравновешеннее, во всяком конфликте видел в лучшем случае заговор против себя лично, в худшем — происки «врагов российского просвещения». Он писал многочисленные жалобы на Тауберта, требовал предать его суду. Но когда дело доходило до конкретных претензий — оказывалось, что речь идет о мелких организационных разногласиях: «Для искоренения повседневных требований из Канцелярии на разные расходы и чрез меру частых мелочных покупок, отчего порознь все покупается дороже… <… > представил я, чтобы все заблаговременно вдруг покупать и из магазейна выдавать кому надлежит по пропорции. Однако и поныне все происходит по-прежнему». Или: «…чтобы показать себя чужими трудами и меня выключить от надлежащего мне первого участия в деле глобуса от е. и. в. Павла Петровича, дерзнул оный Тауберт взять помянутое дело глобуса из географического департамента без всякого канцелярского определения и отдать на квартиру адъюнкту Трускоту, у которого жена и дети были тогда во французской болезни…»

Ломоносов выступал с разными идеями: об издании публичных «ведомостей о делах ученых людей» (наподобие, вероятно, «Прибавлений» к «Санкт-Петербургским ведомостям», которые когда-то выпускал Миллер), о копировании старинных фресок с изображениями местных князей, сохранившихся в столицах удельных княжеств. Столкнувшись с малейшим препятствием в осуществлении этих идей, он объяснял это происками Тауберта.

Гораздо хуже, что в качестве академического администратора Ломоносов начал еще резче, чем прежде, конфликтовать с собратьями-профессорами. Его возмущало, в частности, неаккуратное посещение ими Академического собрания. «Ласковые и нежные слова не помогают и за трусость почитаются. Настоящие напоминания по команде за обиду принимаются и рассеваются жалобы». Ломоносов предлагал выдавать профессорам, пришедшим на собрание, жетоны, и тех, у кого таких жетонов наберется недостаточное количество, штрафовать. Он начал ссориться даже со своими немногочисленными друзьями. Так, в 1759 году Браун подготовил для очередного «публичного акта» речь на физическую тему, которая начиналась рассуждениями о преимуществе монархии над республикой.

Ломоносов, прочитав ее, сказал, что это вступление затянуто и в данном случае «неприлично»: «Говорил бы о своей материи, а что до витийства надлежит, того ему Бог не дал». Тауберт, естественно, передал эти слова Брауну — тот обиделся (очень ненадолго, правда). О конфликтах с Эпинусом уже говорилось. Но больше всего разногласий возникало у Ломоносова с Миллером.

Его личные отношения с историографом снова испортились еще во время обсуждений регламента в 1755 году. С этого момента их бесконечная свара продолжалась, почти без перерыва, до смерти Михайлы Васильевича. Любые мелочные служебные дела становились поводом для спора. Например, 17 июня 1757 года Ломоносов от имени канцелярии учинил Миллеру (который ведал, между прочим, аттестацией иностранных учителей) письменный выговор: «Многие учители приходят, которые ничего кроме своего природного языка не знают и правил грамматических никогда не учились… <…> аттестаты даются весьма нетвердые и в сомнительных терминах…» Другой случай связан с П. И. Рычковым, историком-самоучкой из Оренбурга, бывшим помощником Кириллова, который переписывался и с Миллером, и с Ломоносовым. В январе 1759-го Рычков получил в академии звание «корреспондента». Миллер в одной бумаге назвал его «почетным членом». Почему-то это вызвало крайнее раздражение Ломоносова… Может быть, потому, что он считал покровительство таким людям, как Рычков, исключительно своим делом и приревновал оренбуржца к Миллеру.

Но были и принципиальные несогласия.

Так, в марте того же 1757 года — сразу же по своем назначении — Ломоносов запрещает печатать в «Ежемесячных сочинениях» (редактором которых, как мы помним, был Миллер) статью синодального переводчика Г. А. Полетики «О начале, возобновлении и распространении просвещения в России», на том основании, что там ничего не сказано о российских школах (кроме киевских) между X и XVII веками. Миллер возражал, что «ни в каких летописях ниже в других известиях, которые г-н сочинитель к сему сочинению употребил… не упоминается о школах в то время бывших». Разговор быстро перешел на личности и закончился взаимными оскорблениями. Между прочим, Миллер называл Ломоносова «доводчиком» («которым именем называют людей подлых и подозрительных при розыскных делах») и грозил, что от ломоносовского деспотизма с ним снова (как некогда в Сибири) может случиться приступ «ипохондрии».

Наконец, в 1761 году Миллер начал публиковать в «Сочинениях и переводах» свое большое сочинение — «Новую

российскую историю», фрагменты которой уже прежде были им напечатаны по-немецки. Начальной точкой стал для него 1598 год, смерть Федора Иоанновича. С почтением относясь к памяти Татищева и его труду, Миллер начал рассказ с того места, на котором его предшественник закончил.

«…Охотно признаюсь, — писал он, — что сие не то время, которое охотно предстало бы мыслям нашим, или которого память достойно было бы восхвалять потомству. Но есть ли такая земля или государство, которое не имело бы своих неблагополучных времен? История государств уподобляется картине, имеющей тень для того, чтобы ясность и превосходство чрез то казались великолепнее?»

С точки зрения стройности и занимательности повествования, это — лучшая работа Миллера. Разумеется, при этом он, как всегда, демонстрирует эрудицию и аналитические способности. Достойно внимания, что он, не подвергая сомнению факт убийства царевича Димитрия по приказу Годунова, первым в отечественной историографии отдает должное «проницательности» и «великой разума способности» царя Бориса, его заслугам перед страной. Заслуги эти он видит, в частности, в том, что Борис приглашал из-за границы «ученых и искусных мужей, которые бы обучили российское юношество», «имел у себя на службе многих немцев и других иностранных офицеров, также позволяя им носить платье по их обыкновению», позволил построить лютеранскую церковь в Немецкой слободе. Все это правда — и все это, в самом деле, было полезно для России; но, одобряя именно такие (и только такие) заслуги исторического персонажа, имевшего тогда в массовом сознании репутацию злодея, натурализованный иностранец Миллер рисковал навлечь на себя грозу.

И действительно, с третьего номера публикация работы внезапно прекратилась. Очень высока вероятность того, что за этим стоял Ломоносов. Во всяком случае, в начале того же 1761 года он (в служебной записке на имя Разумовского, названной «Для известия об Академических обстоятельствах») обличал Миллера, который «пишет и печатает на немецком языке смутное время Годунова и Расстриги, самую мрачную часть российской истории, из чего чужестранные народы выводить будут худые последствия о нашей славе. Или нет других известий и дел российских, где бы по последней мере добро и зло в равновесии видеть можно?».

Ломоносов даже не ставит Миллеру в вину похвалы Годунову — он возмущается тем, что Миллер вообще пишет о «мрачной части российской истории», особенно на иностранном языке. Но

ведь и в ломоносовском «Кратком российском летописце», который тоже переводился на иностранные языки, об этих временах рассказано достаточно подробно! Видимо, «всероссийский человек» Михайло Васильевич считал историю страны чем-то вроде своей собственности. Он ощущал личную ответственность за ту картину отечественного прошлого, которая складывалась в сознании людей в России и на Западе, — и в принципе не хотел, чтобы что-то в этой области писалось и печаталось без его контроля. Особенно на скользкие, неприятные для национального самолюбия темы. И особенно несимпатичным ему Миллером. А между тем у него самого уже не хватало времени и сил для исторических исследований.

Чувство досады, которое поневоле вызывают подобные эпизоды, еще больше усиливается при чтении упомянутой выше записки «Для известия об Академических обстоятельствах». Ломоносов припоминает все дурное, что можно припомнить об академическом конференц-секретаре и историографе: от лекций, которые он якобы запрещал читать Гмелину в Сибири, до переписки с Делилем. Некоторые упреки звучат совсем странно: «Не токмо в „Ежемесячных“, но и в других своих сочинениях всевозможные по обычаю злокозненные речи включает. Например, описывая чувашу, не мог пройти, чтобы их чистоты в домах не предпочесть российским жителям. Он больше всего высматривает пятна на одежде российского тела…» Имеется в виду следующее замечание Миллера из *«Описания* живущих в *Казанской губернии языческих народов…»:* «Домы у сих народов деланы татарским построем, различающимся от русских крестьянских домов тем, что избы не черные, а белые»[124]. Этот выпад Ломоносова — уже вполне в духе борьбы с безродными космополитами в 1949 году; кстати, в это время его полемика с Миллером часто и с одобрением вспоминалась в советской литературе и прессе.

Разумеется, не надо модернизировать историю. Одни и те же слова и поступки в середине XVIII и середине XX века выглядят по-разному и означают разное. На ранних этапах формирования национального самосознания (а русский этнос в эпоху Елизаветы Петровны был молод) всегда кипят страсти, всегда неизбежны завихрения и перехлесты. Вспомним хотя бы крупного чешского ученого и писателя В. Ганку, который, желая доказать наличие у своего народа древней литературы, сам сочинил фальшивые средневековые тексты, написал их на пергаменте, подбросил в старинный королевский дворец, а потом при свидетелях нашел… А ведь это было уже в 1819 году.

Но на эти неизбежные, обусловленные веком и культурной

ситуацией страсти накладывался крутой и временами сварливый нрав Ломоносова. Впрочем, и Миллер порою вел себя не лучше.

Географический департамент, который в 1757 году был отдан во власть Ломоносову, до этого возглавлял Миллер. За четыре года пребывания в должности он успел написать содержательный труд по истории русских открытий и исследований в Арктике. Но собственно географические и картографические работы при нем подвигались довольно вяло. Приняв дела, Ломоносов попытался придать работе департамента новый импульс.

Прежде всего, речь шла о создании нового географического атласа России — точнее, о корректировке атласа, изданного в 1745 году. Конечно, и он представлял собой шаг вперед в сравнении с картами И. К. Кириллова, но меньший, чем можно было бы ожидать. Делиль готовил карты медленно, но тщательно; если их копии оказывались в Париже, то французский астроном тем более был заинтересован в их точности. Но после его отстранения приказано было в кратчайшие сроки завершить работу. В результате в атласе 1745 года, как обнаружил Ломоносов, «не токмо многие имена мест и положения ложно поставлены, но знатные урочища пропущены и целые уезды, многолюдными волостьми заселенные, пусты представлены». Решено было организовать новую экспедицию для исправления карт; в частности, астрономы (Гришов, Попов, Красильников, адъюнкт Шмидт) должны были отправиться по городам для уточнения долготы и широты. Из этих планов ничего не вышло.

Зато другой проект Ломоносова с самого начала как будто начал осуществляться. Имелась в виду рассылка по городам анкет, по которым можно было бы составить затем описание России. Надо сказать, что Миллер, в качестве члена и бывшего руководителя Географического департамента, был против этой затеи: может быть, потому, что на опросные листы, разосланные им в 1753 году, ответов так и не поступило. Впрочем, после назначения Ломоносова Миллер почти перестал бывать в департаменте — как и Гришов. Ломоносов просил академическое начальство заставить Гришова работать для департамента, поскольку это входит в условия его контракта. Миллера же, напротив, предлагал от работ в Географическом департаменте уволить, поскольку он «не настолько в математике силен, чтобы… мог ландкарты поправлять», и вообще — «сам г. профессор к сему труду больше охоты не имеет, или, может быть, другими делами занят».

Узнав, что Ломоносов все же рассылает опросники, Миллер, преподававший сверх штата в Кадетском (бывшем Шляхетном) корпусе, распорядился разослать почти точно такие же, несколько

дополненные анкеты в те же города от имени этого учебного заведения.

Положим, опросник Географического департамента начинался таким пунктом: «Город чем огражден, каменной стеною или деревянною, или земляным валом, палисадниками или рвами; при сем показать меру их окружности, вышины, глубины, цело ли ограждение или нет». У Миллера этот вопрос звучал точно так же, но имел продолжение: «В котором году город, от кого и для чего построен, сколько в нем самом и в уезде душ мужского пола, какой герб имеет; показать происхождение того гербу; не был ли город осажден или разорен или мужественно оборонялся».

Если в академической анкете вопрос стоял о реках: «У рек, по коим есть судоходство, по которой руке, вниз считая лежит нагорная сторона и где луговая», Миллер дополнительно спрашивал, где реки имеют исток, куда впадают и «через какое протекают расстояние».

Уж кто-кто, а историограф, объездивший в поисках научной добычи десятки глухих местечек в Сибири, хорошо знал, что спрашивать такие вещи у местных властей — вещь безнадежная. Нужно было приехать в город специалистам, порыться в архивах, а может, и произвести съемку местности… В Кадетском корпусе к тому же некому было обрабатывать полученные анкеты: кроме нескольких подрабатывающих сверх штата академиков, там не было никаких ученых. Так что, вероятно, единственным, что двигало Миллером, было соперничество с Ломоносовым и желание «перебить» у него ценный научный материал[125]. Можно было предвидеть, что, получив почти одинаковые вопросы из двух разных учреждений, городничие решат не отвечать никому. Тем не менее из части городов ответы на ломоносовский опросник пришли и позднее (в 1771–1774 годах) были напечатаны. В каких-то губерниях, наоборот, предпочли ответить на анкету Кадетского корпуса. В 1764 году Ломоносов попросил передать Географическому департаменту полученные корпусом ответы. Это было сделано: отчасти потому, возможно, что как раз в этот момент отношения Миллера и Ломоносова в очередной раз ненадолго улучшились.

Есть еще один, совсем уж неприятный момент: грубая немецкая песенка, фрагмент которой в русском переводе приведен в шестой главе, вышла, скорее всего, именно из круга Миллера. Во всяком случае, он был, кажется, единственным из немцев-академиков, кто был знаком и дружен с Сумароковым, которому в этой песенке приписаны ломоносовские заслуги…

Иногда Миллеру и Ломоносову все же приходилось

объединять свои усилия. Так, в марте 1761 года они вместе хлопотали о выплате российской казной компенсации Эйлеру, разоренному из-за военных действий. (Ломоносов поговорил об этом деле с Воронцовым и получил его заверения, но из-за скорой смерти Елизаветы и последовавшей неразберихи решение вопроса затянулось на несколько лет.) Однако таких эпизодов намного меньше, чем бессмысленных ссор, недоразумений и жалоб друг на друга президенту Академии наук.

Враждебная неприязнь двух выдающихся ученых, вызванная сложными причинами, мешала работе обоих. Биографы и историки позднейших эпох, описывая этот сюжет, не избежали упрощений. Некоторые из них (особенно в средне- и позднесоветское время) идеализировали поведение Ломоносова и модернизировали его взгляды; иные, напротив, клеветали на него; третьи судили его поступки по нормам своей эпохи, забывая, что общественная мораль меняется — как и критерии научной истины.

8

Главным устремлением Ломоносова было все же «обучение российского юношества». Он имел прямое отношение к одному из самых достойных начинаний елизаветинского царствования — основанию Московского университета. Но насколько прямое? В советское время на сей счет никаких сомнений не было. Именно Ломоносов был провозглашен главным и чуть ли не единственным основателем старейшего из ныне существующих российских университетов. Но дело в том, что сам Михайло Васильевич после 1753 года в Москве не бывал. Впрочем, и другой человек, которого по праву считают отцом МГУ, Иван Шувалов, впервые переступил порог этого университета лишь через двадцать с лишним лет после его основания.

По словам автора официальной истории Московского университета, поэта и филолога Степана Шевырёва, среди причин, по которым для создания «первого Русского университета» избрали именно старую столицу, были и такие, как дешевизна содержания (по сравнению с Петербургом) и «великое число домашних учителей, содержимых помещиками в Москве». Именно подготовка таких учителей должна была стать одной из функций университета. Наконец (Шевырёв, писавший в середине XIX века, этого уже не помнил), в Петербурге в 1750-е годы университет, по идее, уже был: по крайней мере, считалось, что он существует.

Девятнадцатого июля 1754 года Иван Иванович Шувалов выступил в Сенате с докладом о необходимости организации университета; Сенат официально доложил об этом «на высочайшее имя». Естественно, вопрос был заранее согласован с Елизаветой, но все формальности строго соблюдались.

Двенадцатого (25-го по новому стилю) января 1755 года, в день великомученицы Татьяны (и в именины матушки Ивана Ивановича), был подписан высочайший указ.

Несомненно, идея создания Московского университета если и не была прямо подсказана Шувалову Ломоносовым, то родилась в разговорах с ним. Во всяком случае, доклад в Сенат готовился совместно. В конце июня — начале июля Шувалов посылает Ломоносову черновик этого документа.

Ломоносов ответил следующим письмом: «К великой моей радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерелись. <…> При сем случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше несравненное дарование служить может и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели Московский университет по примеру иностранных учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на отеческую вашего превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение об учреждении Московского университета вообще».

Судя по этому письму, Ломоносов и прежде, в устных беседах, убеждал Шувалова, что план университета надо составлять с прицелом на будущее, чтобы он «служил во все будущие роды». Он предложил «несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольное число» и выделить на их содержание соответствующий ежегодный бюджет, остаток которого (пока не наберется «полный комплект» профессоров и студентов) использовать на пополнение университетской библиотеки.

Штат трех университетских факультетов (юридического, медицинского и философского) включал, по замыслу Ломоносова, 12 профессоров. Юристам должны были читать лекции профессора «всей юриспруденции вообще», юриспруденции российской и «политики». Профессору «политики» вменялось

«показывать взаимные поведения, союзы и поступки государей между собою, как были в прешедшие веки и как состоят в нынешнее время». Медикам следовало прослушать курсы химии, натуральной истории и анатомии. К философскому факультету отнесены были профессора собственно философии, физики, оратории, поэзии, истории и «древностей и критики».

По словам Шувалова, этот план стал отправной точкой для совместной работы. «Ломоносов тогда много упорствовал в своих мнениях и хотел удержать вполне образец Лейденского, с несовместными вольностями. Судили о том, у Красных ли ворот в конце города поместить его, или на средине, как и принято, у Воскресенских ворот, содержать ли гимназию при нем или учредить отдельно».

Гимназии Ломоносов придавал большое значение, считая, что без нее университет, «как пашня без семян». Но до разработки гимназического регламента дело дошло только в 1755 году, когда указ о создании университета уже был подписан. Точнее, речь шла о двух гимназиях.

Первый пункт регламента гласил: «Науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения. Того ради в первую гимназию принимать только детей дворянских или которые дворянского рангу дослужились. В другую принимать разночинцев, кроме тех, которые, состоя в синодальном ведомстве, имеют специально для них заведенные училища. Не принимать никаких крепостных помещичьих детей, кроме того, когда помещик, усмотрев в ком из них особливую остроту, пожелает его обучать в Московской Гимназии и в Университете свободным наукам, должен прежде его объявить вольным, и отказавшись от своего права и власти, которую он над ним имел прежде, дать увольнительное письмо за своею рукою и приписанию свидетелей…» В случае академической неуспешности такого студента-вольноотпущенника он должен был возвратиться к помещику, в случае же успешного обучения вместе с дипломом приобретал полную свободу.

Это ограничение было неизбежным: если бы в России появились рабы с университетским образованием (как появились рабы-художники и рабы-актеры), статус «науки» понизился бы уже бесповоротно. Но любому другому представителю податного сословия дорога к высшему образованию теперь была открыта. Три года спустя Ломоносов добился такого же разрешения и для петербургской Академической гимназии. Правда, ему пришлось оговорить условие: «посадское общество, округ или родственники» должны были до следующей ревизии платить за

такого студента подать (как, напомним, платили за самого Ломоносова). Зато в петербургской гимназии не было никакого разделения детей по сословиям; все должны быть на одинаковом положении, настаивал сын поморского рыбака, «ибо науки являются путем к дворянству, и все идущие по этому пути должны смотреть на себя как на вступающий в дворянство. <…> На военной службе вместе числятся и дворяне и недворяне, так нечего стыдиться этого и при обучении наукам».

Борьба Ломоносова за право на образование для таких же, как он, выходцев из низов — одна из трогательнейших и благороднейших страниц его биографии, и нельзя сказать, что эта борьба была всегда легкой. Критикуя академический устав 1746 года, он писал: «Другие государства многочисленны людьми учеными, однако ни единому человеку не запрещают учиться, кто бы он ни был, а чей он сын, в том нужды нет. <…> Может быть, сочинитель думал, что Российскому государству будет великая тягость, что 40 алтын в год потеряется для получения ученого россиянина, но пусть хотя бы и 40 алтын жалко было, а не жалко 1800 рублей, чтобы иностранца выписать; но чем те виноваты, которые, состоя в подушном окладе, имеют такой достаток, что на своем коште детей в науку отдать могут?» Из-за этого ему приходилось спорить с собратьями-профессорами. Стоит привести возражения Фишеру (октябрь 1759 года): «Удивления достойно, что не впал в ум господину Фишеру, как знающему латынь, Гораций и другие ученые и знатные люди в Риме, которые были выпущенные на волю из рабства, когда толь презренно уволенных помещичьих детей от Гимназии отвергает…» Не первый раз бросается в глаза парадоксальное презрение немецких ученых, большей частью выходцев из бюргерства, к русскому «третьему сословию». Тот же Фишер, участвуя в 1760 году в обсуждении системы народного образования в России, категорически возражал против обучения крестьян чему-либо, кроме чтения и катехизиса. Видимо, именно это и провоцировало Ломоносова на резкие, порою грубые и часто несправедливые ответные выпады. Которые только мешали делу…

Своим примером Михайло Васильевич побуждал русскую молодежь учиться. Оказывается, даже крестьянский сын может достичь науками высокого положения, чинов, дворянства, дружбы со знатными людьми! Это было важным стимулом… А с другой стороны, тот же Тауберт не случайно однажды сказал в узкой компании, что не стоит спешить с производством ученых русского происхождения: «Разве нам надобен-де еще один Ломоносов! Одного довольно!» Эти слова передали Михайле Васильевичу, и

он не раз с бешенством повторял их. Но не было ли и его собственной вины в том, что некоторые «немцы» из академического начальства побаивались образованных русских? Не перебарщивал ли он в своем напоре, в борьбе за то, что казалось ему правдой?

Ломоносов попытался стимулировать распространение просвещения в толще русского общества и такой, на нынешний взгляд, неприглядной мерой, как процентная норма. (Впрочем, всегда ли неприглядной? Квоты для афроамериканцев в университетах США никому не кажутся нарушением прав человека…) По его плану, «на казенном коште» не могли учиться иностранные подданные, а среди остальных этнические русские должны были составлять не менее четырех пятых. Это правило он перенес и в Петербург. При этом за свой счет могли учиться все и без всяких ограничений.

Программа обучения, придуманная Ломоносовым, была довольно своеобразна. Каждый ученик обучался одновременно в трех школах — русской, латинской и «школе начальных оснований наук». Освоив в первом русском классе чтение, письмо и «первые основания грамматики», гимназист должен был перейти в первый латинский класс, где занимался четыре дня в неделю, а остальные два дня изучал арифметику в «школе начальных оснований». По окончании этого курса время распределялось так: два дня в русской школе (чтение современных писателей, совершенствование стиля, изучение «славенских книг церковного круга»), три — в латинской, один день — в «школе оснований наук» (геометрия и география). Старшеклассники изучали философию, которая, в отличие от других общеобразовательных предметов, читалась по-латыни. Живые европейские языки (немецкий, французский, английский и итальянский) преподавались отдельно, по выбору учеников.

Эту систему обучения, которую в основном принял ректор московской гимназии И. М. Шаден и которая доказала свою эффективность, Ломоносов внедрил и в петербургской гимназии. Впрочем, посещение всех занятий было обязательным только для «казеннокоштных». Вольные ученики могли изучать отдельные предметы по выбору родителей.

Университет открылся 26 апреля 1755 года. Казной на его содержание было выделено 15 тысяч рублей в год. Сверх того еще 5 тысяч было выделено на «первое обзаведение». В общей сложности 21 тысячу рублей пожертвовали Демидовы. Это было гораздо меньше средств, выделявшихся на содержание Академии наук. Лаборатории и библиотека Московского университета были беднее петербургских, ученых с мировыми именами среди

профессоров не было, и жалованье их было — в сравнении с Петербургом — сравнительно небольшим (до 400–500 рублей в год[126]). И все же обучение «российского юношества» пошло здесь куда эффективнее, чем в столице.

Основное ядро преподавателей составили молодые, приглашенные из Германии университетские люди — И. М. Шаден, Ф. Г. Дильтей, И. Г. Фроман и другие, рекомендованные Шувалову Миллером. Кроме того, в Москву отправились три выпускника Академического университета, не находившие себе достойного применения в Петербурге, — Николай Поповский, Антон Барсов и Филипп Яремский, а позднее также Алексей Константинов и Данила Савич. Назначенный вместе с Шуваловым куратором нового университета старик Л. Л. Блюментрост (первый президент Академии наук) отнесся к этим молодым петербуржцам не слишком ласково, но вскоре он умер. Директором университета был назначен коллежский советник А. М. Аргамаков, а после его внезапной смерти в 1757 году — Иван Иванович Мелиссино. Именно с этим человеком, занимавшим должность до 1763 года, связано становление университета.

В 1758 году он привез в столицу несколько лучших гимназистов. В их числе был тринадцатилетний Денис Фонвизин. Гимназисты были представлены Шувалову, который (вспоминает Денис Иванович) «принял нас весьма милостиво, и, взяв меня за руку, подвел к человеку, которого вид обратил на себя почтительное мое внимание. То был бессмертный Ломоносов! Он спросил меня: чему я учился? „По-латыни“ — отвечал я. Тут он стал говорить о пользе латинского языка с великим, правду сказать, красноречием».

По воспоминаниям того же Фонвизина, качество обучения в гимназии оставляло желать лучшего: учитель арифметики «пил смертную чашу», на экзамене по географии ни один ученик не мог правильно ответить, в какое море впадает Волга, а во время публичного экзамена по-латыни преподаватель надел кафтан с пятью пуговицами (по числу склонений) и камзол с четырьмя (по числу спряжений) и подсказывал ученикам, трогая пальцем соответствующую пуговицу. И все же именно из первого выпуска гимназии и университета вышли, кроме Фонвизина и его брата Павла (позднее пятого директора Московского университета), также Н. И. Новиков, Г. А. Потёмкин, поэт Ипполит Богданович, вице-директор Академии наук С. Г. Домашнев и др.

В первые годы в университете и в гимназии числилось около ста молодых людей, из них 30 «казеннокоштных». Большую часть вольных составляли молодые дворяне, недолго учившиеся

одному-двум предметам, по большей части иностранным языкам. В 1764 году из сорока восьми университетских студентов восемь назвали себя дворянами (сведения не проверялись). Половина других происходила из солдатских детей, некоторые — из духовного сословия, из канцеляристов, очень немногие из крестьян и посадских; один был сыном крепостного. При поэте Михаиле Хераскове, сменившем в должности директора Мелиссино, и особенно после открытия в 1779 году Благородного пансиона число дворян среди студентов увеличилось. Все больше (несмотря на действовавший одно время запрет на переход в университет из семинарий) было детей священнослужителей. Выходцы из мелкопоместного дворянства и духовного сословия, обер-офицерские дети и внебрачные сыновья русских бар составили костяк студенчества и всего российского интеллигентского класса в середине XIX века, в эпоху славянофилов и западников, Шевырева и Грановского, когда Московский университет стал не только главной национальной «кузницей кадров», но и местом споров о будущем страны. Выучившись, честолюбивые юноши отправлялись осуществлять свои мечты в Петербург — по тому же пути, который когда-то, веком раньше, проделал «спасский школьник» Михайло Ломоносов.

Именно в типографии Московского университета увидело свет в 1757–1759 годах второе собрание сочинений Ломоносова. Так был отмечен его вклад в создание этого учебного заведения. Гравированному портрету автора были предпосланы стихи Поповского:

> Московский здесь Парнас изобразил витию,
> Что чистый род стихов и прозы ввел в Россию.
> Что в Риме Цицерон и что Вергилий был,
> То он один в своем понятии вместил —
> Открыл натуры храм богатым словом россов
> Неподражаемый, бессмертный Ломоносов[127].

К другим шуваловским проектам — созданию Академии художеств (1757) и Казанской гимназии (1760), которая переросла тоже в знаменитый университет и в числе первых учеников которой был Гаврила Державин (из учебных заведений, основанных при Елизавете, вышли люди, действовавшие в Екатерининскую эпоху), — Ломоносов имел отношение более косвенное. Разумеется, в его личных беседах с Шуваловым эти идеи обсуждались. Отделение от Академии наук Академии художеств и ремесел еще в 1742 году не давало покоя Нартову, и

Ломоносов продолжал горячо отстаивать этот замысел. Правда, сам он, как мозаист и сочинитель сюжетов для исторических полотен, и к художествам имел прямое отношение. На торжественном открытии («инавгурации») новой академии, намеченном на 7 июля 1765 года, он собирался произнести речь — и уже написал ее, но не дожил до церемонии двух месяцев.

Что касается гимназии, то с нее должно было начаться создание всероссийской системы государственного образования. План этой системы Шувалов обсуждал со всеми профессорами академии. Ломоносов свое представление о том, как должна строиться средняя и высшая школа в России, высказал еще в 1755 году. Возглавив Академическую гимназию и университет, он получил возможность воплотить эти идеи на практике.

9

Впрочем, университет на тот момент был такой же фикцией, как и пятнадцатью годами раньше, а гимназия опять влачила жалкое существование. Набранные в 1748 году студенты доучились, четверо лучших (Котельников, Протасов, Софронов и Румовский) посланы были совершенствоваться за границу, пятеро отправлены в Москву, остальные «разопределились по местам» — в академии (в основном переводчиками) или вне ее стен.

Крашенинников произвел девять гимназистов в студенты. Ломоносов потребовал, чтобы их предварительно проэкзаменовали. Студенты оказались годны «к слушанию лекций». Да только лекций почти не было: один Браун упорно продолжал читать свой философский и физический курс. Порывался поучить кого-нибудь «российскому штилю» Тредиаковский, но к тому времени Василий Кириллович так всех против себя настроил, что его не подпустили к студентам, а немногим позже, в 1758 году, спровадили в отставку. В 1755 году умер Крашенинников; так называемый университет остался без «командира» и почти вовсе зачах.

Получив два года спустя под свое начало академические школы, Ломоносов прежде всего обратил внимание на содержание и быт учеников. Он обнаружил, что гимназисты и студенты «1) без распорядка в классах и лекциях профессорских не были обучаемы надлежащим образом, 2) живучи далече от Академии, не приходили в надлежащие часы к учению, а иногда и по нескольку недель отгуливали, жалованье получали многие весьма малое, и тем еще поделясь с бедными своими родительми, претерпевали скудость в пище и ходили по большей части в

рубищах, а оттого и досталь теряли охоту к учению».

Ломоносов распорядился поселить всех студентов и гимназистов в общежитии на подворье Троице-Сергиевой лавры. Но и там поначалу не было подходящих условий. Так, 8 сентября 1757 года Ломоносов «ездил в дом Свято-Троицко-Сергиевской лавры для осмотру академических студентов, в каком оные распоряжении находятся, и усмотрел, что те покои, в коих студенты жительство имеют, в крайней нечистоте, да и студенты содержат себя в непорядке, а понеже они в смотрение поручены господину адъюнкту и гимназии инспектору Модераху, чего для ему в том доме отведены покои, и тако происходит оное от недосмотрения его, того ради приказали к нему, Модераху, послать ордер, в котором написать дабы студенческие покои были в чистоте и оные студенты содержали себя порядочно и в том иметь ему крепкое смотрение…».

Модерах-то в данном случае был, видимо, не вполне виноват: просто здание, отведенное под гимназию, находилось, как ныне пишут в официальных бумагах, в аварийном состоянии. Котельников, назначенный на место Модераха по настоянию Ломоносова, жаловался, что «дом беспрестанно приходил в большое разрушение и живущие в нем претерпевали зимой от холода нужду. <…> Учители в зимнее время дают в классах лекции, одевшись в шубу, разминаясь вдоль и поперек по классу, и ученики, не снабженные теплым платьем и не имея свободы встать со своих мест, дрогнут, от чего делается по всему телу обструкция и потом рождаются короста и скорбут». К тому же Троицкое подворье было слишком далеко от академии (на 15-й линии Васильевского острова). Хлопоты Ломоносова о переселении гимназии в Строгановский дом увенчались успехом лишь несколькими годами позже.

Ломоносовская забота о быте гимназистов и студентов принимала порою формы трогательные и почти забавные. Среди своих бесчисленных дел он находил время, чтобы составить меню для студенческой кухни — а то, мол, молодые люди устали от однообразной пищи. В Великий пост 1761 года студентов по его распоряжению кормили осетриной, белужиной, треской сухою, лососиной, кашей гречневой, просовой, овсяной, пирогами с капустой и груздями, студнем, овсяным киселем, свежей редькой, щами с соленой рыбою, ухой свежей, ухой «с клиотскими» и т. д. Совсем неплохо…

Преобразовав гимназию по своему плану, Ломоносов назначил преподавать в ней Григория Козицкого и Николая Мотониса, выпускников Киево-Могилянской академии, многие годы учившихся за границей[128]. К преподаванию в младших

классах были привлечены старые однокашники Ломоносова — Голубцов и Шишкарев. (Учитель начальной школы — вот и все, что вышло из блестящего юноши, чьи латинские стихи когда-то впечатлили Байера.)

Уже к 1759 году многие гимназисты готовы были к «произведению в студенты», а один (Иван Лепёхин, будущий академик) послан «за море». Поскольку Эпинус и Бургаве читать лекции отказались, преподавательский штат составили Браун (философия, «включая экспериментальную и теоретическую физику»), Фишер (толкование латинских авторов), Котельников (математика) и Козицкий (красноречие, латынь и греческий язык). Позднее к ним присоединился Румовский. Кроме того, ботаник Геберштейн проводил занятия в Ботаническом саду. Этого было явно недостаточно, даже в сравнении с тем, что было при Миллере и Крашенинникове. Но Крашенинникова давно не было в живых, не было и Рихмана; Тредиаковского и Штрубе де Пирмонта[129] отправили в отставку. Академическая старая гвардия уходила, а те, кто приходил на смену, все больше думали о своих частных интересах. Тем более что академическое жалованье уже не обеспечивало безбедной жизни; надо было искать приработок.

Как раз это Ломоносов понимал. Он стремился создать в Петербурге, как и в Москве, университет, который мог бы без перемены своего регламента и статуса работать и в будущие дни, когда студентов станет больше. Разработанный им план включает три факультета (те же, что в Москве). Академикам за преподавание на этих факультетах он собирался вытребовать 200 рублей прибавки к жалованью, сторонним профессорам — 660-рублевый годовой оклад.

Количество студентов Ломоносов думал довести до тридцати (в 1761 году их было семнадцать), гимназистов — до шестидесяти. Как ни странно, даже это казалось некоторым из его коллег чрезмерным. Фишер, к примеру, не мог понять, куда Россия денет такое количество образованных людей (тут сказывался его многолетний опыт — образованными людьми в России, в самом деле, распоряжались не самым разумным образом). Но он хотя бы не отказывался от чтения лекций, в отличие от своих более молодых коллег!

Однако главным, что заботило Ломоносова, было обретение университетом официального, признанного международного статуса — а для этого важно было провести церемонию его «инавгурации». Подготовке этой церемонии, детальной разработке ее сценария в 1759–1761 годах Ломоносов посвящает многие часы. Сначала — публичный экзамен гимназистов

старшего класса, потом — «экзамен в градусы» (то есть присвоение званий магистра и доктора) и наконец — «чтение привилегий».

Составленный им проект этих «привилегий» (по сути — университетского устава) летом 1761 года он многократно возил в Петергоф: документ, чтобы получить законный статус, должен быть подписан государыней. Главное, чего Ломоносов добивался, — «чтобы университет имел власть производить в градусы» (докторскую и магистерскую степени) и «чтобы по генеральной табели назначить почетные ранги и на дворянство дипломы». Попытался он все же провести свою любимую идею «освобождения от полицейской должности»: «Студентов не водить в полицию, но прямо в Академию». Наконец, был и такой необычный (но очень характерный) пункт: запретить священникам «ругать науки» в проповедях.

Никто особо не возражал, а дело не двигалось. Елизавета умирала, война с Пруссией продолжалась — в общем, совсем, совсем не до университета было в те дни, и даже Шувалов ничем не мог помочь, хотя Ломоносов наседал на него уже без всяких церемоний: «Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы отечества прошений».

Но было поздно… Ломоносов ссорился с Таубертом, настаивая на том, чтобы бывший студент Протасов не задерживался в Голландии для получения докторской степени, а ехал в Петербург, чтобы получить докторский «градус» нового университета при «инавгурации». Тауберт, должно быть, только пожимал плечами. Он-то понимал: никакой «инавгурации», скорее всего, не будет, и никто не признает докторскую мантию, данную несуществующим университетом. «Справедливые для пользы отечества прошения» предусматривали и повышение статуса самого Ломоносова, который уже мечтал о звании вице-президента академии и о чине статского советника. Ради этой цели он не стеснялся лишний раз похвалиться своими заслугами, пожаловаться, что иностранцы «перевес имеют» в канцелярии, пообещать, что милость царицы «ободрит его на окончание в один год „Петриады“» и т. д. Может быть, как предполагает Е. В. Анисимов, ломоносовские напор и властность начали пугать «патронов», и те не торопились содействовать его ходатайствам. Но Шувалов умел, когда хотел, просто говорить «нет» просителям — в том числе и друзьям. Скорее всего, в тогдашней обстановке просто было не до Ломоносова и его амбиций.

Все же за годы ломоносовского начальствования

гимназиста были произведены в студенты (в том числе старший сын Рихмана Вильгельм). 2 июня 1764 года Михайло Васильевич, уже смертельно больной, ходатайствовал об отправке за границу семи студентов — Легкаго, Шпынева, Горина, Юдина, Иноходцева, Щукина, Кузнецова… Отправили двоих, уже после смерти Михайлы Васильевича. Один из них, Иноходцев, вышел позже в профессора.

Вскоре по кончине Ломоносова Петербургский университет окончательно перестал существовать и был даже не возрожден, а создан заново в 1819 году на основе Педагогического института.

10

Удивления достойно, что именно в те дни, когда уже было яснее ясного, что времена меняются, что дни «дщери Петровой» сочтены, — Ломоносов решает выступить в роли политического прожектера. 1 ноября 1761 года он подал Ивану Шувалову длинный текст, начинающийся так: «Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее и обстоятельнее сообщить их вашему высокопревосходительству…»

По существу, Ломоносов задумал книгу, которую можно было бы назвать, по примеру текста другой эпохи, «Как нам обустроить Россию». Книга должна была состоять из восьми глав: «О сохранении и размножении российского народа», «О истреблении праздности», «О исправлении нравов и большем народа просвещении», «О исправлении земледелия», «О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств», «О лучших пользах купечества», «О лучшей государственной экономии», «О сохранении военного искусства во время долговременного мира».

Напиши Ломоносов всю книгу, у нас был бы совершенно уникальный документ — и в контексте ломоносовской биографии, и просто как памятник российской политической мысли. Впрочем, и одна только первая глава много дает для понимания внутреннего мира Михайлы Васильевича в вершинной точке его жизни, с которой вот-вот должен был начаться мучительный путь под гору.

Самым главным вопросом, определяющим для Ломоносова «величество, могущество и богатство всего государства», является вопрос демографический. Уже это одно придает ныне его работе неожиданную актуальность.

Разговор начинается с указа Елизаветы об отмене смертной

казни, к которому, как полагали, Шувалов имел прямое отношение. Горячо приветствуя этот указ, Ломоносов подчеркивает, что «много есть человекоубивства и еще самоубивства, которого непосредственно указами, без исправления или совершенного истребления некоторых обычаев, и еще некоторых, под именем узаконений вкоренившихся, истребить невозможно».

Ломоносов предлагает меры, направленные на повышение рождаемости и понижение смертности. Надо ли объяснять? — в традиционном обществе, каким, несомненно, была тогдашняя Россия, каждая женщина рожала самое меньшее по пять-шесть раз, но немногие дети оставались в живых. У отца Ломоносова, женатого трижды, только двое детей дожили до взрослого возраста; у самого Михайлы Васильевича выжила одна дочь. В самой работе его приводятся приблизительные выкладки: «По исчислению умерших по приходам, учиненному в Париже, сравнив их лета, умирают в первые три года столько же почти младенцев, сколько в прочие, до ста считая. Итак, положим, что в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит один миллион в таком супружестве, что дети родятся, положив обще, один в два года. Посему на каждый год будет рожденных полмиллиона, из коих в три года умирает половина или еще по здешнему небрежению и больше…»

И все-таки сначала предлагаются меры «до обильнейшего плодородия родящих». Меры эти достаточно радикальны.

Во-первых, Ломоносов предлагает запретить браки маленьких мальчиков со взрослыми девушками («для работниц»), распространенные в русских деревнях. «Первые после женитьбы лета проходят бесплодны, следовательно, такое супружество — не супружество и сверх того вредно размножению народа, затем что взрослая женщина будучи за ровнею, могла бы родить несколько детей обществу. Мальчик, побуждаем будучи от задорной взрослой жены, усиливанием себя прежде времени портит и впредь в свою пору к детородию будет не столько способен, а когда достигнет в мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех лет, когда к детородию была способнее. Хотя она и в малолетство мужнее может обрюхатеть недозволенным образом, однако, боясь бесславия и от мужних родителей попреков и побоев, легко может поступить на детоубивство еще в своей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим и, чтоб за него выйти, мужа своего стравливает или инако убивает, а после изобличена предается казни». Брак старика с молодой девушкой — тоже зло: «…хотя непозволенною любовью недостаток может быть наполнен,

однако сие недружелюбия, подозрения, беспокойства и тяжб в наследстве и больших злоключений причиной бывает».

Знание народного быта, здравый смысл и полное отсутствие сентиментальности выгодно отличают Ломоносова-нравописателя от авторов следующего поколения. Любопытна его снисходительность к «непозволенной любви», против которой он бы, собственно, ничего не имел, если бы не детоубийства и «тяжбы в наследстве». Но авторитарный дух эпохи сказывается в его рекомендациях: запретить браки, в которых невеста старше жениха больше чем на два года, или жених невесты — больше чем на пятнадцать лет. В то же время он категорически против насильственных браков: «Должно венчающим священникам накрепко подтвердить… жениха и невесту не тогда только для виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь к венчанию, но несколько прежде». Видимо, Ломоносов помнил, как отец чуть было не женил его против воли.

Не случайно трижды овдовевший Василий Ломоносов поминается в следующем пункте, в котором предлагается «по примеру других христианских народов» разрешить четвертый и пятый браки: церковь, правда, пока что подобного не допускает, но это «запрещение пришло к нам из Солуня, а не от вселенских соборов или монаршеских и общенародных узаконений». Это бы еще полбеды, но дальше Ломоносов уже открыто бросает вызов церковникам, предлагая запретить пострижение в монахи мужчин и женщин детородного возраста (соответственно до 50 и 45 лет).

Впрочем, к этой теме мы еще вернемся. А пока ученый прожектер переходит к предложениям по уменьшению смертности. Некоторые из них самоочевидны: скажем, организация воспитательных домов для внебрачных детей (чтобы предотвратить детоубийства) или резкое увеличение числа «докторов, лекарей и аптек». Здесь Ломоносов не может не коснуться своей любимой темы: «Для изучения докторства послать довольное число российских студентов в иностранные университеты и учрежденным и впредь учреждаемым внутри государства университетам дать между прочими привилегиями право производить достойных в доктора. <…> Медицинской канцелярии подтвердить накрепко, чтобы как в аптеках, так и при лекарях было довольное число учеников российских…»

При этом представления Ломоносова (как и почти всех врачей и естествоиспытателей той поры) о причинах болезней трогательно наивны. Прошло уже больше полувека со времен Левенгука, наблюдавшего сквозь свой микроскоп микроорганизмы; но Михайло Ломоносов, образованный человек, обучавшийся натуральной истории на медицинском факультете

одного из лучших европейских университетов, считает, что причина поветрий — затмения солнца: «Во время затмения закрывается солнце луною… <…> пресекается круто электрическая сила, которую солнце на все растения весь день изливает…»

Для уменьшения «убивств, кои бывают… от разбойников», предлагается восстановить городские укрепления, обветшавшие за полтораста лет внутреннего мира: «…большая часть малых городов и посадов и многих провинциальных и уездных городов не токмо стен каменных или хотя надежных валов и рвов, но и деревянных палисадников или тынов не имеют, что не без сожаления вижу из ответов, посылаемых на географические запросы в Академию наук». Русские «беспорядочные города», на которые «не без презрения» смотрят иностранцы, надо упорядочить: тогда преступники не найдут в них себе укрытия, а в глухих местах — построить города новые. А глухих мест в стране немало: «…примером может служить лесистое пространство около реки Ветлуги, которая, на 700 верст течением от вершины до устья простираясь, не имеет при себе ни единого города. Туда с Волги укрывается великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть разбойники. Крестьяне содержат их всю зиму за полтину человека, а буде он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая пашпорта…» Не забывает Ломоносов и о «живых покойниках» — крестьянах, уходящих в Польшу. «Побеги бывают от помещичьих отягчений и от солдатских наборов». Ломоносов, не веря в возможность полностью закрыть границу, предлагает «поступить с кротостью»: не проводить в приграничных областях рекрутских наборов и уменьшить подати. С другой стороны, можно привлекать иммигрантов из Европы, где «нынешнее… несчастное военное время принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество».

Ломоносов смотрит на малозаселенное пространство России как рачительный и строгий хозяин. В разговоре с Шуваловым он не стесняется называть вещи своими именами. А как бы обрушился он на Миллера, к примеру, если бы подобные реалистические описания российского неустройства появились в его журнале! Правда, сами по себе предложения об увеличении количества врачей и укреплении городских стен не содержали в себе ничего необычного и дерзкого. Но ими дело не ограничивалось.

Как и в вопросе о возрасте монашествующих, Ломоносов беспощадно вступает в схватку с самыми глубокими отечественными церковными традициями. Он — против крещения

холодной водой, в том числе как физик: попы ссылаются «на предписание в требнике, чтобы вода была натуральная без применения, и вменяют теплоту за примешанную материю». Ломоносов — категорический противник теории теплорода, «однако невеждам-попам толковать физику нет нужды, довольно принудить властию». Он обвиняет «упрямых попов, кои хотят насильно крестить холодною водою», в том, что они «желают после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти». Но это еще не все. Ломоносов обрушивается на церковные посты. На Масленице, «готовясь к воздержанию великого поста, по всей России множество людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны показывают то ясно. Разговенье тому ж подобно. Да и дивиться не для чего. Кроме невоздержанья в заговенные дни питием и пищею, стараются многие на весь великий пост удовольствовать плотским смешением законно и беззаконно, и так себя до чистого понедельника изнуряют, что здоровья своего никою мерою починить не могут, употребляя грубые постные пищи, что и здоровому желудку тягостны». Не говоря уж о том, что «крутопеременное питание» вообще вредно, в России «сие по концам тучное, а в середке сухое время» приходится на зимние месяцы, когда нет свежих плодов и ягод, а крестьяне (из-за отсутствия полевых работ) и купцы (из-за распутицы) «пребывают в праздности, которая в заговенье и разговенье дает повод к необузданной роскоши». Посты, напоминает Ломоносов, были учреждены «в Греции и в земле обетованной»; в северных странах необходимо расположить их заново, перенести на другие месяцы — сообразно климату. «Для толь важного дела можно в России вселенский собор составить: сохранение жизни толь великого множества народа того стоит». И вообще Господа любить надо «сердцем, а не кишками»!

В приложенной к статье записке «Об обязанностях духовенства» Ломоносов высказывается еще определеннее: «Святого и Синода и духовенства не одна должность, что Богу молиться за кого они должны, но и обучать страху Божию и честным нравам словом и примером. <…> Посмотрите в России, посмотрите в благоустроенных государствах. Пусть примером будет Германия.

Тамошние пасторы не ходят никогда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам, не токмо в городах, но и по деревням за стыд то почитают, а ежели мало коего увидят, что он пьет, тотчас лишат места. А у нас при всякой пирушке по городам и деревням попы первые пьяницы. И не довольствуясь тем, с обеда по кабакам ходят, а иногда и до крови дерутся.

Пасторы в своих духовных школах обучающихся детей грамоте наставляют Закону Божию со всей строгостью и прилежанием. <…> А у нас по многим местам и попы сами чуть столько грамоте знают, сколько у них мужичий батрак или коровница».

Взгляды «всероссийского человека» не укладываются ни в славянофильскую, ни в западническую схему. Он страстно желал, чтобы русские люди были не только объектом, но и субъектом истории, чтобы они не только сами собой управляли, но и сами себя лечили по новейшим правилам науки, сами строили корабли и каналы, сами рассказывали миру о своем прошлом и настоящем. Но ни о каком «особом пути развития» речи не шло. Чтобы обходиться без «немцев», нужно было всему у них научиться, самим стать отчасти «немцами».

Проект был — в самом прямом смысле слова — «подарен на день рождения» Ивану Ивановичу. Несомненно, тема записки и раньше обсуждалась Ломоносовым и Шуваловым; но смелость предложений ученого, по свидетельству современников, испугала политика-практика. В самом деле, при Елизавете о том, чтобы переносить посты на более удобное время, ограничивать возраст вступления в монашество или, не дай бог, ставить в пример попам лютеранских пасторов, речи идти не могло. Может быть, Ломоносов не случайно выбрал момент для сочинения своего прожекта? Лютеранские симпатии наследника не были секретом, а опала Шуваловых и Воронцовых вовсе не сама собой разумелась. Ведь еще в конце 1750-х годов два правящих клана искали подходы к «малому двору». Были и другие варианты: в случае смерти императрицы выслать и Петра, и Екатерину из России, возвести на престол маленького Павла и взять всю власть в свои руки. В этом случае дело могло дойти до таких реформ, препятствием для которых был консерватизм Елизаветы Петровны. С другой стороны, Петр Иванович Шувалов тоже был болен — с его смертью Иван Иванович становился во главе клана. Трагедия камергера заключалась в том, что к тридцати четырем годам он только созрел как государственный деятель. Тут бы ему и развернуться… Но все сложилось иначе.

И еще одна вещь поражает при чтении записки «О сохранении и размножении российского народа» — неожиданно острое чувство, с которым немолодой могучий человек говорит о страданиях младенчества, «из которых первое и лютейшее мучение есть самое рождение. Страждет младенец не менее матери, и тем только разнится их томление, что мать оное помнит, не помнит младенец…». «Суровому в семействе» Ломоносову несколько раз приходилось терять совсем маленьких

детей; с трудом спас он последнюю дочь, и все страдания ее крохотного, «нежного тела» — «болезнь при выходе зубов», «грыжи, оспа, сухотка» — были для него, судя по всему, почти невыносимы… Старея, он все больше привязывался к своим немногочисленным близким. Более того, он начал переписываться со сводной сестрой, холмогорской крестьянкой, которой никогда не видел, и выписал к себе в Петербург ее детей — дочь Матрёну, а потом и сына Мишу; они жили в доме Ломоносова на правах членов семьи.

Так ли уж суров был он, как казалось посторонним?

Глава девятая
Я ЖИВ ЕЩЕ…

1

Елизаветы не стало 25 декабря по старому стилю 1761 года. Смерть самой русской из императриц была предсказана знаменитой василеостровской юродивой, ныне канонизированной Ксенией, женщиной в мужнем певческом мундире, по прозвищу Андрей Петрович. Так закончилась эпоха, одним из главных действующих лиц которой был Ломоносов.

Елизавета умирала долго и мучительно. Ее вены распухли, на ногах появились язвы, и она почти не в состоянии была ходить и даже стоять. Все понимали, что дни ее сочтены, — лишь сама она не хотела об этом знать. Панически боясь отравления, она отказывалась принимать лекарства. Когда-то такая расточительная — устроительница пышных празднеств, хозяйка великолепных дворцов, она стала болезненно, ненормально скупой. В ее покоях после ее смерти нашли, по слухам, денег и драгоценностей на три или четыре миллиона рублей, что составляло примерно годовой бюджет страны. Все это хранилось вперемешку с засохшей снедью и всякого рода личными раритетами (в числе которых были и собственноручные записи Петра Великого). Еще 160 тысяч рублей были на хранении у Ивана Шувалова, который немедленно передал их новому императору.

Тем временем как раз достроили новый, нынешний Зимний. Двор переехал туда из временного дворца, что находился между Мойкой и Морской улицей. На площади еще лежали разобранные леса, стояли бараки строителей, но новый государь разрешил горожанам взять этот мусор на свою потребу; в один день, как рассказывают, площадь опустела.

Так, на мажорной ноте, началось правление Петра III, самого нелюбимого музой Клио, самого неудачливого из российских императоров. У тех, кто вспоминал о нем и описывал его царствование, не нашлось для ученика Якова Штелина почти ни единого доброго слова. Образ придурковатого бурбона, играющего в солдатики и пресмыкающегося перед прусским королем, прочно осел на страницах учебников истории. Напротив, в народном сознании с именем несчастного императора были связаны совсем другие легенды. Восемь или

девять самозванцев — не один Пугачев! — принимали его имя. В Черногории шесть лет правил человек, выдававший себя за Петра III. Лишь во второй половине XX века сперва поэт Виктор Соснора в книге-эссе «Властители и судьи», а потом историк А. С. Мыльников выступили в защиту государя-реформатора Петра Федоровича, за 186 дней правления успевшего издать 192 указа: в том числе о секуляризации монастырских земель, о прекращении преследования раскольников, наконец, о вольности дворянства — знаменитый манифест, ставший поворотным в русской истории. Другое дело, насколько велика в этом роль персонально Петра III. Судя по всему, у него не хватало времени серьезно обдумывать что бы то ни было. Он испытывал постоянную нужду двигаться или общаться с людьми и, — если он не учил солдат строевому шагу, то играл на скрипке, если не пил пиво со своими голштинцами, то совершал стремительные инспекционные поездки в самые разные государственные учреждения. Созреть при нем ничего не могло, зато все то, что зрело уже несколько лет, но для чего не хватало политической воли, находило воплощение. Воли к реформам новому государю было не занимать — к сожалению, это было его единственное достоинство как политика.

Другое дело, что реформы, выношенные дворянской элитой, сами в себе несли противоречие. В 1762 году в России впервые появились свободные (в нашем понимании) люди, которым разрешалось выбирать себе род занятий, по собственной воле передвигаться внутри страны и выезжать за ее пределы, попросту люди, защищенные от побоев… Именно с этой точки начался отсчет «двух поколений непоротых дворян». А с другой стороны, обязательность дворянской службы хотя бы теоретически ставила всех подданных на разные ступени одной лестницы. Все должны государству: дворяне — службой, податные сословия — податью, крепостные — необходимостью содержать за свой счет государева, служилого человека (за что, соответственно, уменьшается подать). Но если дворянин может не служить, крепостничество — уже не государственная повинность, а частное рабство. На практике, разумеется, так было и при Елизавете; более того, именно при Елизавете обращение с крестьянами было, в массе, особенно варварским и жестоким, именно тогда совершала свои подвиги Салтычиха — при Екатерине II ее посадили. Но все же именно в 1762 году была пройдена важная черта. Существование появившихся свободных людей обеспечено было именно тем, что они владели рабами.

А потом — массовая раздача частным лицам казенных земель с одновременным закрепощением их обитателей (с 1762 по 1772

год 79 тысяч государственных крестьян таким образом стали крепостными); присоединение безлюдной Тавриды, давшее толчок массовой продаже мужиков «на вывод», то есть без земли; разрешение помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь; запрет крестьянам жаловаться на бар… Парадокс в том, что если не Петр III, то Екатерина II и ее прогрессивные друзья, такие как Панин или Дашкова, лично были, конечно, против крепостного права и, уж по крайней мере, против помещичьих зверств. У рабовладельцев воспитывали (и даже небезуспешно) гуманность по отношению к рабам, одновременно снимая все юридические и административные ограничители барской власти. Количество барщинных дней ограничил лишь деспот Павел I.

И другой парадокс: превращение заводских крестьян в пашенных крепостных и запрет купцам покупать к заводам деревни похоронили феодальную промышленность. Но неожиданно (в стране, где отсутствовала свободная рабочая сила) стала возникать промышленность вполне капиталистическая, основанная на наемном труде — труде крестьян-оброчников; зачастую такими же оброчниками были и фабриканты. К концу века мануфактур в стране было вдвое больше, чем в дни Ломоносова; но выплавка стали, добыча соли, изготовление полотна окончательно стали недворянским делом. Бородатые фабриканты не были вхожи в приличное общество. Лучшие стихи писали теперь не «спасские школьники», а шестисотлетние дворяне, оставившие плебеям практические ремесленные дела, а заодно и скучные науки, колбы и вокабулы.

Едва ли Ломоносов был в восторге от дворянских вольностей, зато переход монастырских земель в казну и прекращение религиозных гонений не могли его не порадовать. Петр III (между прочим, первый император, удостоивший Синод своего личного посещения) в планах русской «реформации» шел дальше Ломоносова. Идея обрить бороды попам, несомненно, была Михаиле Васильевичу симпатична, а вот с мыслью убрать из храмов иконы он бы, скорее всего, не согласился — эдак дело дойдет и до мозаики?

Но Петра III погубили не внутриполитические преобразования, а «немецкое засилье», напомнившее дни бироновщины (вот они, новые варяги, о которых говорил двенадцать лет назад Миллер — как раз в 900-ю годовщину призвания Рюрика!), и, конечно, позорный мир и военный союз с уже побежденной было Пруссией. Ломоносов, видимо, разделял общие чувства. Но вообще нет никаких свидетельств его страстной заинтересованности происходящими переменами. На воцарение Петра III он написал обязательную оду, в которой внук

характеризовался как продолжатель дел великого деда. Это было неоригинально: мало кто из русских императоров хотел бы видеть себя продолжателем дел своего предшественника; все хотели быть непосредственными наследниками Петра Великого (точно так же, как все генсеки КПСС непосредственно наследовали великому Ленину).

Больший успех имела, как уже упоминалось, ода Баркова:

Се пред исправными полками
Тебя зрю в поте и труде;
Но отягченного делами
На кротком вижу вдруг суде.
Искусства там примеры редки,
Здесь живо милосердны предки
В щедротах вобразились нам.
Отринув строгую неволю,
Влил ревность чрез счастливу долю
К усердной службе всем рабам.

Труд удивления достоин,
И милость всех честняй похвал!
Един монарх судья и воин,
Един в двух лицах воссиял!

Видимо, есть логика в том, что именно Баркову, самому карнавальному русскому поэту, суждено было стать певцом Петра III, карнавальнейшего из императоров, вешавшего крысу за съедение сахарного часового, устраивавшего во дворце скачки на одной ноге и т. д. (Между прочим, в манифесте Екатерины в упрек ее мужу поставлено то, что он «судебные места и дела презирал и вовсе о них слышать не хотел».)

Ломоносову было не до политики. В феврале он ощутил, видимо, первый признак болезни, ставшей для него роковой. Судя по симптомам, это был, возможно, артрит или диабет. «Частый лом в ногах и раны» обрекли еще недавно могучего человека на домашнее затворничество. К апрелю болезнь отпустила, и Ломоносов с увлечением занимался метеорологическими наблюдениями: внезапно, после теплой зимы, ударил мороз, что согласно ломоносовской теории было результатом «погружения среднего морозного слоя атмосферы в нижний ради большей оного тягости».

Что касается ломоносовских покровителей, то Воронцов пока сохранил свой пост; Петр Шувалов пережил Елизавету всего на месяц — а хоронили его (по словам Екатерины II) так: «…народ

же ждал для смотрения церемонии с самого утра, день же был весьма холодной. От той нетерпеливости произошли разные в народе рассуждения: иные, вспомня табачный того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине той, что табаком осыпают; другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала; иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески. Тут вспомнили, что ту зиму треску ни за какие деньги получить нельзя, и начали Шувалова бранить и ругать всячески. Наконец, тело его повезли из его дома на Мойке в Невский монастырь. Тогдашний генерал-полицеймейстер Корф ехал верхом пред огромной церемонией, и он сам мне рассказывал в тот же день, что не было ругательства и бранных слов, коих бы он сам не слышал против покойника, так что он, вышед из терпения, несколько из ругателей велел захватить и посадить в полиции, но народ, вступясь за них, отбил было, что видя, он оных отпустить велел, чем предупредил драку и удержал, по его словам, тишину». Екатерина, ненавидевшая Шуваловых, могла сгущать краски, но что правда, то правда: народным любимцем Петр Иванович не был. Народу часто милее патриархальные хищники; им прощают многое, а жестким реформаторам каждое лыко идет в строку. Зато Петр III, демонстративно великодушный к фаворитам прошлого царствования, накануне произвел генерал-фельдцейхмейстера и его старшего брата в фельдмаршалы. Впрочем, в случае Александра Шувалова это был прощальный дар при отставке. Тайная канцелярия была упразднена, роковой клич — «Слово и дело!» — объявлен «не значащим ничего». Конечно же вместо с помпой упраздненной канцелярии была втихую создана Тайная экспедиция при Сенате с точно такими же функциями, но возглавили ее уже новые люди.

Что касается Ивана Ивановича, то проявленная им щепетильность в обращении с доверенными ему Елизаветой деньгами была по достоинству оценена ее преемником. Шувалов вошел в ближайшее окружение Петра III. На поминках по Елизавете он стоял за стулом императора и поддерживал веселый светский разговор. Но женский взгляд Екатерины II заметил на его лице следы ногтей: в припадке отчаяния фаворит покойной императрицы расцарапал себе лицо. Другие очевидцы свидетельствуют, что Шувалов за несколько месяцев как будто постарел на десять лет. Он в самом деле привязался к женщине, которая была намного старше его и чьим спутником он стал не по своей воле, и тяжело переживал ее смерть.

Петр III предложил Ивану Ивановичу пост вице-канцлера; тот

отказался. Вероятно, он не хотел принимать на себя ответственность за противоречившую его взглядам пропрусскую внешнюю политику Петра и опасался неизбежного соперничества с Воронцовым. В конце концов Шувалову предложено было стать во главе Сухопутного шляхетного корпуса. Камергер согласился не без колебаний. 19 марта он писал Вольтеру: «Мне потребовалось собрать все силы моей удрученной души, чтобы исполнять обязанности по должности, превышающей мое честолюбие и мои силы (далее зачеркнуто. — *В. Ш.)* и входить в подробности, отнюдь не соответствующие той философии, которую мне хотелось бы иметь единственным предметом занятий». Когда еще недавно один из первых людей в стране утверждает, что пост директора школы «превышает его честолюбие» — это звучит странно, но не забудем, что шефом Шляхетного корпуса еще недавно, в бытность наследником, был сам Петр Федорович, а до него — Миних, так что эту должность Ивану Ивановичу предложили вполне почетную, с царского плеча[130]. Правда, Шувалов, в отличие от двух своих предшественников, был человеком глубоко штатским, а Шляхетный корпус был все же военно-учебным заведением. «Я все смеюсь, лишь только представлю себе вас в штиблетах, как ходите командовать всем корпусом и громче всех кричите: „На караул!“» — писал Шувалову Иван Чернышев. С другой стороны, ведь основные усилия камергера до сих пор были направлены на создание общенациональной системы образования — в этом смысле назначение имело свою логику.

Тем временем Ломоносов готовился произнести очередную ежегодную речь в академии — «О катадиоптрической трубе». Разумеется, там было упоминание и о новом императоре: «Прошу быть довольными добрым началом и совершенно уверенными, что при Петре III, носителе родовых добродетелей, возрастет и астрономия». Речь была уже отпечатана, и Ломоносов совершенно не предполагал, что из-за этой совершенно стандартной, ни к чему не обязывающей формулы произнести ее не удастся. Он не знал (вероятно, и его высокопоставленные друзья не знали) о том, что творится во дворце и в гвардейских казармах. А между тем его соперники по академии были гораздо осведомленнее. Когда 28 июня в Петербурге произошли события, которые их участники (по крайней мере некоторые из них) радостно называли бескровной революцией, манифест государыни Екатерины Алексеевны, составленный при участии Григория Николаевича Теплова, печатался в академической типографии по личному распоряжению Ивана Ивановича Тауберта.

Ломоносов довольно быстро сориентировался в новой

ситуации и приветствовал переворот новой (последней в своей жизни) одой. Надо сказать, она получилась выразительней, чем предыдущая, посвященная Петру III. Но в ее пафосе заключена роковая двусмысленность. Ломоносов, естественно, обличает свергнутого императора, делая упор (в соответствии с официальной точкой зрения), с одной стороны, на союзе с Пруссией:

Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Отдался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот! —

с другой — на замысленном «поругании православной веры»:

О вы, которым здесь Россия
Дает уже от давних лет
Довольства вольности златыя,
Какой в других державах нет,
Храня к своим соседям дружбу,
Позволила по вере службу
Беспреткновенно приносить,
На то ль склонились к вам монархи
И согласились патриархи,
Чтоб древний наш закон вредить?

И вместо чтобы быть пред нами
В пределах должности своей,
Считать нас вашими рабами
В противность истине вещей?

Без сомнения, Ломоносова-националиста искренне возмущало стремление заезжих иностранцев управлять Россией. Но ведь Ломоносов-просветитель, Ломоносов-реформатор сам же несколькими месяцами ранее предлагал практически то же, что задумал Петр III. Или то, что можно *Landskinder,* не позволено чужакам?

Но сейчас соперники Ломоносова, его личные враги, которых он считал и врагами России, и врагами просвещения, торжествовали победу: одним из первых указов Екатерины Тауберт был произведен в статские советники, в тот чин, который был у его тестя. Коллежский советник Ломоносов был взбешен; и — все против него! — именно в этот момент ему снова

становится физически хуже. 24 июля он пишет Воронцову: «Тяжкая моя болезнь, снова усилившись в другой ноге, не дает мне покоя и свободы не токмо из дому, но ниже из постели вытти…» Ломоносов жалуется канцлеру, что «Тауберт в одной со мной команде, моложее меня, коллежским советником восемь лет, пожалован статским советником без всякой передо мной большей заслуги, или, лучше сказать, за прослуги, за то, что беспрестанно российских ученых гонит и учащихся притесняет». Ломоносов в отчаянии: «Больше бороться не могу; будет с меня и одного неприятеля, то есть недужливой старости. Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления, для чего подал сегодня я челобитную его сиятельству Академии наук президенту».

В «нижайшей челобитной» Ломоносов перечисляет свои заслуги (прилагается «свидетельство о науках» — собрание хвалебных отзывов о Ломоносове-ученом, начиная со студенческих лет; их оказывается не так уж много, и в значительной части они взяты из частных писем) и просит пожаловать ему при увольнении чин действительного статского советника[131] и пенсию в 1800 рублей. «Между тем в покое и в уединении от хлопот, бывающих по должности, пользуясь таковою е. и. в. щедростью, в часы, свободные от болезни, не премину в науках посильно упражняться в пользу отечеству».

Но уже на следующий день настроение Ломоносова изменилось: дело в том, что его навестил некий гость, принесший ему весьма обнадеживающие новости. По-видимому, это был 21-летний Федор Григорьевич Орлов, четвертый по старшинству из пяти братьев, сыгравших такую важную роль в недавней «революции» (кстати, потомкам Федора Орлова и Ломоносова суждено было породниться). Юноша сообщил профессору, что его ода имела успех, и пообещал покровительство своего брата Григория. Григорий Орлов занял при дворе то же блистательное и несколько двусмысленное место, которое недавно занимал Иван Шувалов, и не против был примерить роль покровителя наук и искусств.

Перед Ломоносовым замаячили новые радужные перспективы. В тот же день он отправляет Орлову восторженное письмо: «Ныне время златой век наукам поставить и от презрения (в которое я было сам первый попал) избавить возлюбленный российский род!» В письме, отправленном день спустя Федору Орлову, Ломоносов более конкретен. Его цель — получить чин, более высокий, чем у Тауберта, причем об отставке речь уже не идет. Честолюбивый ученый не забывает напомнить: «В чужих краях жалуют профессоров знатными чинами» (Вольф получил баронство, Линней награжден орденом Северной звезды), «а

книгопродавцев и типографщиков, каков г. Таубергаупт, и других рукомесленных людей никакими чинами не повышают».

Великие люди тоже бывают в иных ситуациях суетны. Понятно, что Ломоносову «знатный чин» нужен был, чтобы иметь преимущество перед «Таубергауптом» («голубиной головой», как язвительно именует Ломоносов своего неприятеля) при решении принципиальных академических вопросов. Но страсть, с которой Михайло Васильевич добивался этого отличия, была явно чрезмерной.

2

А между тем главный противник, «недужливая старость», был посильнее Тауберта. Старость? Ему было немногим за пятьдесят… Но человеческий век был в ту эпоху короток. У пятидесяти одного члена академии, избранных за первые 25 лет ее существования, средняя продолжительность жизни — 44 с половиной года. Ломоносов к тому же слишком много работал, имел дело с вредными реактивами (не забудем, что в лабораториях той поры была скверная вытяжка, а все вещества пробовались на вкус), любил выпить, неправильно питался (заработавшись, он, по свидетельству племянницы Матрёны Евсеевны, мог неделями не есть ничего, кроме хлеба с маслом, и жене, вероятно, не под силу было заставить его по-человечески пообедать), вкладывал душу как в великие начинания, так и в мелкие служебные конфликты, и мучительно их переживал. Все это не укрепляло его здоровья. В последние годы жизни он не покидал города; близ дома на Мойке он разбил садик, и короткие часы отдыха проводил там, «прививая и очищая деревья перочинным ножом, как он видел это в Германии». Там же, в садовой беседке, он в летнее время и работал, прихлебывая ледяное мартовское пиво; там, сидя на крыльце в китайском халате, принимал гостей. Часто останавливалась у сада на берегу Мойки карета Шувалова, запряженная «шестеркой вороных», с гайдуками. Впрочем, дом был открыт и для холмогорских мужиков, которые в летнее время приходили из Архангельска на кораблях, а в зимнее — санным путем, и приносили выбившемуся в большие люди земляку в подарок моченую морошку, сельдь, треску. Ломоносов с удовольствием выпивал и беседовал с ними. Обо всем этом старушка Матрёна Евсеевна рассказывала в 1828 году писателю Свиньину, который, впрочем, горазд был приврать. Еще рассказывала она, что Ломоносов под старость стал «чрезвычайно рассеянным». «Он нередко вместо пера, которое он по школьной

привычке любил класть за ухо, клал ложку, которой хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, когда принимался за щи. Редко, бывало, напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее чернилами вместо песку…» Такого не придумаешь.

Но осенью 1762 года Ломоносову было не до садоводства, не до пирушек с земляками, не до литературных и политических разговоров с Шуваловым и даже не до работы. Несколько месяцев он провел в постели, по всей вероятности, между жизнью и смертью. В короткие моменты облегчения он, видимо, готовил к печати «Древнюю российскую историю».

Тем временем Тауберт еще 25 июля распорядился выпускать академические распоряжения без подписи Ломоносова; тогда же был заготовлен указ за подписью Разумовского о передаче Географического департамента опять под начало Миллера. Однако указу этому был дан ход лишь в январе 1763 года, когда Ломоносову стало лучше и он появился в академии. Сам Михайло Васильевич предполагал (похоже, небезосновательно), что Тауберт «выпросил у президента такой ордер в запас, что ежели Ломоносов не умрет, то оный произвести, чтоб Миллер мог в географическом деле Ломоносову быть соперник; ежели ж умрет, то оный уничтожить, чтобы Миллеру не дать случай себя рекомендовать географическими делами». При этом отстранение Ломоносова мотивировалось не его болезнью, а дурной работой департамента, погрязшего в «бесполезных спорах» и за несколько лет не выпустившего никаких новых карт. Интриги в Географическом департаменте начались еще во время первой болезни Ломоносова. 20 марта 1762 года «чрезвычайная конференция» под председательством Миллера критически оценила карты, составленные адъюнктом Яковом Шмидтом, которому покровительствовал Ломоносов. В результате публикация составленных им карт была отложена — а заодно и карт, составленных Трускотом. Получалось, что департамент в самом деле пять лет работал впустую или почти впустую.

Узнав о назначении Миллера, Ломоносов пишет 5 февраля рапорт Разумовскому, в котором описывает всю проделанную под его руководством работу, подчеркивает, что «с тех пор, как зачался под моим смотрением „Российский атлас“, Миллер и с ним профессор Гришов от Географического департамента отстали и в собрание больше не ходили». Наконец, восклицает он, как можно поручать Миллеру руководство департаментом, когда он не знает математики (что правда), когда он, семь лет возглавляя департамент до Ломоносова, «не положил ниже начала к сочинению Российского атласа» (что тоже близко к истине), и,

наконец, «когда он и главной своей должности, то есть продолжения „Сибирской истории“ не исполняет и первый том наполнил только копиями сибирских архивов и другими мелочьми». Последняя фраза хорошо показывает взгляд Ломоносова на историческую науку. Он искренне не понимал, что архивные материалы и другие такого рода «мелочи» — это и есть главное в работе историка, как в работе химика или физика — лабораторные опыты. Если в естественных науках ему удалось подчинить в себе поэта исследователю-экспериментатору или, по крайней мере, достичь какого-то равновесия между этими сторонами своего «я», то в истории — увы, нет. Но Миллер был примерно таким же картографом (если не худшим), как Ломоносов — историком.

Ордер о назначении Миллера пока что в исполнение приводить не стали, и Ломоносов возобновил активную работу в департаменте. Но 10 марта на заседании Академической конференции у него произошла стычка с Миллером. Историограф, в качестве конференц-секретаря, делал доклад на совершенно постороннюю тему — замещение кафедры ботаники. Ломоносов вдруг прервал его и потребовал пересмотреть принятое год назад решение и напечатать все уже подготовленные карты. Миллер ответил, что под решением стоят подписи всех академиков. Ломоносов ответил, что это ничего не значит, что подписи получить нетрудно и что «полезному делу» хотят воспрепятствовать «мошенническим образом» («auf eine spitzbuerische Weise»), Миллер хлопнул дверью, а Ломоносов, почувствовав, что перегнул палку, добавил, что не имеет в виду никого лично.

После этого он (то ли из-за нездоровья, то ли ожидая разрешения своих споров с Миллером и Таубертом) опять перестал ездить в академию. Тауберт, однако, счел необходимым 4 апреля послать Ломоносову на дом все бумаги, выпущенные канцелярией за время его болезни. Ломоносову предлагалось задним числом подписать их. Тот отказался: «На всех сиих делах резолюции от Его Сиятельства Академии наук Президента». При этом Ломоносов потребовал «до его приезда не чинить в канцелярии никаких дел, а особливо по расходованию денежной казны», и как можно скорее разрешить следующие вопросы: об отправке географической экспедиции, о прикомандировании Попова и Красильникова к Географическому департаменту и о «подаче г. профессором Миллером известия, впредь в Географическом департаменте присутствовать будет ли». Ломоносов выжидал неделю: видимо, оценивал соотношение сил и, в конце концов, решил, что оно не в его пользу. За время его

болезни многое в стране переменилось. А именно — в январе канцлер Воронцов был отпущен «для лечения» за границу; два месяца спустя «разрешение отъехать на некоторое время в чужие края» получил генерал-поручик Иван Шувалов. Это не была эмиграция в полном смысле слова. Воронцов, через несколько месяцев вернувшийся, продолжал именоваться канцлером, хотя Коллегией иностранных дел руководил теперь Никита Панин; Шувалов, остававшийся во Франции и Италии до 1777 года, исполнял кое-какие разовые поручения русского правительства. Но помочь Ломоносову они уже ничем не могли… Тем временем звезда переселившегося в Москву Сумарокова вновь ярко зажглась: данное в честь коронации по его сценарию представление «Торжествующая Минерва» имело успех при дворе, затмив ломоносовскую оду. Видимо, обо всем этом с грустью размышлял обиженный на всех, уставший, раздраженный поэт, профессор и советник между 4 и 11 апреля. В этот день он, переменив свое решение, подписал все старые бумаги.

А шесть дней спустя Екатерина II написала статс-секретарю Олсуфьеву такую записку: «Адам Васильевич, я чаю, Ломоносов беден: свяжись с гетманом, не можно ли ему пенсию дать, и скажи мне ответ». Заявление об отставке с чином и пенсией, поданное в июле прошлого года, никуда не исчезло и продолжало свое путешествие по бюрократическим каналам, независимо от воли автора. Но кому-то надо было дать ему ход именно в тот момент, когда здоровье Ломоносова стало поправляться. Михайло Васильевич обвинял во всем, естественно, Тауберта, Миллера, Трускота и Эпинуса, которые якобы посылали в Москву, где еще находился двор, «сочиненные скопом и заговором разные клеветы» против своего старого врага. 2 мая Екатерина подписывает указ: «Коллежского советника Михайлу Ломоносова всемилостивейше пожаловали мы в статские советники с вечною от службы отставкой с половинным по смерть его жалованием».

Пятнадцатого мая Ломоносов узнает о том, что судьба его решилась. Видимо, это известие было для него тяжелым ударом, хотя вроде бы он сам о нем ходатайствовал. Правда, и чин, и пенсия были меньше запрошенного — а главное, сейчас, после надежд, поданных Орловым, после болезни, после выздоровления он явно рассчитывал на другое. Отказавшись подписывать принесенные ему бумаги, он в тот же день — впервые за долгое время — уезжает из Петербурга в Усть-Рудицу.

Слухи в академии распространялись быстро. Обрадованный Миллер успел сообщить академику Иоганну Христиану Гебенштрейту, несколькими годами раньше вернувшемуся в Германию: «Академия наук освобождена наконец от Ломоносова».

Но Ломоносов рано расстроился, а Миллер рано радовался. Указ об отставке был уже два дня как отменен, не успев дойти до Сената.

Что случилось? Может быть, Екатерине рассказали, что Ломоносову лучше и что он не хочет в отставку? Или сыграло роль вмешательство меценатствующего Орлова? Или наметившееся охлаждение императрицы к Разумовскому?

Положение Ломоносова оставалось неопределенным. Отставка отменялась, но с ней был отнят и вожделенный чин статского советника. 18 июня он набрасывает проект указа: «Всемилостивейше пожаловали мы нашего коллежского советника М. Л. за его отменное искусство в разных науках и за принесенную тем нашей Академии честь и пользу нашим действительным статским советником с произвождение годового жалования по тысячи по осьмисот рублей. И до наук надлежащие академические департаманты… вверяем ему ж, Ломоносову, в единственное расположение и смотрение…» Если прежде речь шла о вице-президентском кресле и о предании Тауберта суду, то теперь амбиции Ломоносова скромнее: цивилизованный развод — один советник руководит «науками», другой — музеями, библиотекой и издательством, с раздельными бюджетами. Альтернативой была по-прежнему отставка. В тот же день Ломоносов писал Воронцову: «Не могу отнюдь тягаться и совсем боюсь иметь г. Тауберта товарищем, или командиром, или подчиненным…»

Но, видимо, на покой Ломоносову очень не хотелось. И он, не дожидаясь решения своей судьбы, снова включается в академические дела. Уже в июле он обсуждает проект «карт российских продуктов», предложенный Сенатом (характерную затею ранней екатерининской поры, когда Вольное экономическое общество, возглавляемое тем же Григорием Орловым, носилось с идеей учета и рационализации российского народного хозяйства). Мысль печатать отдельную карту для каждого продукта показалась начальнику Географического департамента вздорной: «Сколь приятно смотреть на одну и ту же карту, несколько сот раз напечатанную, с малою только отменою, что на одной написано: конопляное масло, на другой: сальные свечи, на третьей: смольчуг…» Вместо этого Ломоносов предлагает издать Экономический лексикон. Все это было живое дело, и тяга к нему пересилила уязвленные амбиции. 7 августа Михайло Васильевич приезжает в академию и объявляет о своем выздоровлении. Начинается последний этап его интенсивной работы.

В декабре он все же получает чин статского советника. А 15

июня 1764 года «Санкт-Петербургские ведомости» публикуют следующее сообщение: «Сего июня 7 дня пополудни в четвертом часу благоизволила ея императорское величество с некоторыми знатнейшими двора своего особами удостоить своим высокомонаршим посещением статского советника и профессора господина Ломоносова в его доме, где изволила смотреть производимые им работы мозаичного художества для монумента вечнославныя памяти государя Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты, чем подать благоволила новое высочайшее уверение о истинном люблении и попечении своем о науках и художествах в отечестве. По окончании шестого часа, оказав всемилостивейшее свое удовольствие, изволила во дворец возвратиться».

Поводом к визиту было избрание Ломоносова почетным членом Академии наук и искусств Болонского института. Этим избранием, как и членством в Шведской королевской академии (1760), он был обязан покровительству Воронцова. Но тогда, четыре года назад, Елизавета не удостоила Ломоносова такой милости — личного визита. Это вообще было прежде немыслимо: государыня приезжает домой к профессору, чтобы посмотреть его опыты!

А ведь Екатерина, по идее, не должна была Ломоносову так уж благоволить. Едва ли ей особенно нравились его пышные стихи: она была человеком другого времени, других вкусов, ей претили барочные дворцы Растрелли и расшитые золотом камзолы елизаветинской эпохи, да и вообще она не слишком любила поэзию. Все интеллектуалы из окружения новой императрицы (Миллер, Эпинус, Сумароков, Теплов) были недругами Ломоносова и не могли сказать о нем ничего хорошего. Наконец, он был связан с враждебной молодой Екатерине придворной партией.

Конечно, за Ломоносова ходатайствовал Орлов, но Екатерина Великая не стала бы делать ничего мало-мальски существенного, чтобы угодить фавориту. Скорее всего, важнее было другое: именно потому, что Екатерина сама была человеком суховатым, рационалистичным, ее чем-то привлекали мощные, необузданные, эксцентричные личности — такие, как Потемкин… или Ломоносов. Кроме того, она просто была любознательна, ей все было интересно: и явление Венеры на Солнце, и мозаики, и физические опыты. Но на первом месте была политика. Визит Екатерины, немки, стремящейся, чтобы как можно реже вспоминали о ее иностранном происхождении, к человеку, воплощавшему европейское просвещение России силами русских

людей и в интересах русских людей, носил знаковый, символический характер.

Ломоносов, воодушевленный этой милостью, наверняка ждал многого и надеялся на многое. Но Михайлу Васильевича ждало разочарование. В разыгравшемся вскоре конфликте с блестящим молодым немецким ученым Екатерина приняла сторону его оппонента.

3

В январе 1761 года молодой человек, немного прихрамывая (в дороге повредил лодыжку), сошел с одного из кораблей, причаливших к пристани близ нынешних Ростральных колонн, и отправился в глубину Васильевского острова, в дом гостеприимного Миллера.

Имя этого человека — Август Людвиг Шлёцер, ему шел двадцать шестой год. Впоследствии он станет крупнейшим историком, знаменитым статистиком (одним из основателей этой науки), самым популярным немецким либеральным публицистом своего времени (его будут называть «грозой тиранов»)… Но и к моменту приезда в Петербург он уже достиг немалого.

Сын пастора из Ганновера, он рано потерял отца и в детстве вынужден был зарабатывать на жизнь уроками. Ему пришлось освоить суровую науку: напористо пробивать себе дорогу, рассчитывая только на свои, в самом деле, незаурядные способности. Он учился в Виттенбергском и Гёттингенском университетах, причем в Гёттингене учителем его был И. Д. Михаэлис — крупнейший европейский гебраист, один из родоначальников критического метода в истории и языкознании. Шлёцер оказался лингвистически гениален: к двадцати пяти годам он владел пятнадцатью языками! По окончании университета отправился домашним учителем в Швецию, чтобы изучить язык и культуру этой страны. Уже спустя два года он публиковал на шведском языке научные работы. Его ранние труды — «Новейшая история учености в Швеции», «Опыт всеобщей истории торговли и мореплавания» и другие — принесли ему известность. На очереди была поездка на Ближний Восток, давно занимавшая воображение молодого семитолога (впрочем, Шлёцер с увлечением занимался самыми разными вещами — от языкознания до медицины). Правда, на нее не было средств: надо было где-то их достать. И тут-то представилась неожиданная перспектива.

В 1760 году кёнигсбергская газета поместила объявление:

историограф Миллер из Петербурга «ищет немецкого студента, который первое время был бы у него домашним учителем, но которому он, в случае его согласия, предоставит участие в своих занятиях и со временем, особенно если он научится по-русски, определит на службу в Академию». Накануне в невскую столицу приехал знакомый Шлёцера, писатель и историк Антон Фридрих Бюшинг. Его пригласила не Академия наук, а лютеранская община: Бюшинг стал пастором церкви Петра и Павла (здесь прослужил он несколько лет, основав, между прочим, знаменитую Петершуле). Бюшинг посоветовал Шлёцеру принять предложение. Тот охотно согласился. В России он надеялся подзаработать денег на задуманное путешествие, а заодно освоить русский язык, повторив свою шведскую эпопею.

По собственному признанию, скромный статус не смущал уже известного и чрезвычайно высоко ценившего себя молодого ученого: «Я считал это так мало унизительным… как в романах молодой маркиз, который, чтобы со страстью овладеть своей донною, исполняет несколько месяцев обязанности егеря при предполагаемом тесте». Он не сомневался, что учительствовать в доме профессора ему придется недолго.

Миллер и Шлёцер сначала очень понравились друг другу. Историограф даже не стал использовать молодого гёттингенца как домашнего учителя для своего сына, сказав: «Вы слишком хороши для этого». Миллер «изливал во всех наших разговорах неисчерпаемое богатство сведений о России». Он с искренней любовью говорил об этой трудной стране. «Горой стоял он за честь России, несмотря на то что тогда держали его еще в черном теле; в суждениях о правительстве был чрезвычайно воздержан». Шлёцер рассказывал о новейших исследованиях: за долгие годы, проведенные вдали от европейских университетов, Миллер успел отстать от передовой науки. К тому же он, один из основателей норманнской теории, не знал шведского языка и шведских исторических исследований.

Характеристика, которую Шлёцер дает Миллеру, — самый развернутый и, в общем, объективный психологический портрет старого историка, чей житейский образ, как житейские образы многих россиян той равнодушной к мелочам поры, во многом ускользает от нас (ведь даже портрета «Федора Ивановича» не сохранилось): «Это был остроумный, находчивый человек; из маленьких его глаз выглядывал сатир. В образе мыслей его было какое-то величие, справедливость, благородство. <…> Достоинства Миллера не были, как должно, оценены, потому что, во-первых, он не мог пресмыкаться; во-вторых, ему чрезвычайно много вредила по службе его горячность. Он нажил себе

множество врагов между товарищами от властолюбия, между подчиненными — от жесткости в обращении. Будучи сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от других обоих этих качеств в одинаковой степени».

Изучение русского языка продвигалось очень быстро, хотя и медленнее, чем Шлёцер рассчитывал: среди пятнадцати знакомых ему языков не было еще ни одного славянского. Но особенно увлекла Августа Людвига русская история: огромное поле деятельности для молодого исследователя-полиглота, усвоившего самую передовую методологию, ученика Михаэлиса и знаменитого шведа Ире. Миллер намекал между тем, что, чтобы заниматься прошлым России, нужно навсегда связать себя с этой страной — так, как это сделал сам он. Этого Шлёцер понять не мог: в новейшей истории еще могут быть какие-то государственные тайны, но почему нельзя изучать древние хроники, будучи иностранцем? Он слишком ценил свободу и независимость (и деньги как средство достижения этих целей), и ему казалось, что Миллер, приняв русское подданство, «обрек себя на невыносимые страдания».

Вскоре между старым и молодым историками начались трения. Миллер предложил Шлёцеру, как было условлено, должность адъюнкта при нем, историографе. Но высокомерного юношу не устраивало, во-первых, адъюнктское жалованье в 300 рублей (Миллер заметил, что он начал академическую службу «с двумястами рублей». Шлёцер отвечал: «Вы начали на двадцатом году жизни, а мне уж скоро будет 27 лет; я уже давно начал, и не на русские деньги». К тому же, во-первых, двести рублей в 1725 году стоили едва ли не больше, чем триста в 1762-м); во-вторых, он не хотел связывать себя даже пятилетним контрактом; в-третьих, вообще не желал ассистировать Миллеру, считая себя гораздо более крупным специалистом. Вообще, чувство собственного превосходства над окружающими позволяло Шлёцеру вести себя крайне бесцеремонно, переступать через любые отношения, не испытывая ни к кому благодарности. В общем-то все это можно простить гениально одаренному молодому человеку. Но свои мемуары о русских годах Шлёцер писал в 66 лет. И, увы, они производят странное впечатление. Всемирно знаменитый ученый не прощает ни одной мелкой обиды, нанесенной ему сорок лет назад, запальчиво спорит с давно умершими людьми из-за каждого слова, и при этом сам ни в чем не раскаивается и ни о чем не сожалеет. Единственное, за что он готов упрекнуть себя, — что все же недостаточно высоко себя ценил, был чрезмерно скромен, недостаточно претенциозен…

Пока что он сблизился с Таубертом, который помог ему получить адъюнктское место на неопределенный срок и без всяких обязательств. Когда старик Миллер в тот же день попросил его составить реестр (указатель) к готовящемуся к печати «Русскому историческому сборнику», Шлёцер ответил: «Составлять реестры слишком унизительно для адъюнкта императорской Академии». Конечно, это было чистейшей воды хамством; но в оправдание вспомним об одном русском студенте, который в 1740 году во Фрейберге отказался растирать сулему: ведь он учился у самого Вольфа!

Тауберт устроил Шлёцера преподавать в так называемую «Академию десятой линии», специальное привилегированное учебное заведение на 10-й линии Васильевского острова, основанное графом Разумовским, где училось всего шесть мальчиков — сыновья самого президента академии и его друзей: Теплова, генерал-рекетмейстера Козлова и статс-секретаря Олсуфьева. Это обеспечило Шлёцеру и заработок, и влиятельных покровителей. Тауберт открыл перед своим новым молодым другом несметные богатства университетской библиотеки, где тот увлеченно изучал и копировал древние манускрипты.

Одновременно Тауберт подал Шлёцеру еще одну (едва не оказавшуюся роковой) идею: написать на немецком языке учебник русской грамматики. Была, правда, «Грамматика» Ломоносова, но Тауберт находил ее затянутой и перегруженной лишним материалом. У Шлёцера, знатока новейших лингвистических методов, тоже были к ломоносовской работе претензии. Но пользоваться трудом своего предшественника он был вынужден. Даже примеры Шлёцер, «из осторожности», брал из ломоносовской «Грамматики». Естественней всего было бы в такой ситуации посетить русского поэта, естествоиспытателя и филолога, выразить ему свое почтение, обсудить план работы… Разумеется, едва ли и в этом случае два гордеца и строптивца, старый и молодой, поладили бы. Ведь даже Миллера, так к нему расположенного, Шлёцер ухитрился сделать своим врагом. Но с Ломоносовым он и говорить не хотел. Более того, его «Грамматика» даже печаталась втайне от Михайлы Васильевича, под именем подставного автора (одного из академических переводчиков).

Почему? Мы знаем, какое представление о Ломоносове было у Шлёцера. Описанию своего «клеветника» и «яростного преследователя» он посвящает четыре типографские страницы. Первая половина — биография Ломоносова, неполная, местами тенденциозно изложенная (дочь почтенного бюргера Елизавета Христина Цильх названа «прачкою», «Хотинская ода» выдается за

перевод «Оды принцу Евгению» и т. д.), но в общем верная. Дальше идут такие слова: «Ломоносов был действительный гений, который мог сделать честь всему северному полюсу и Ледовитому океану. <…> Он так поздно поднялся со своего двинского острова и, несмотря на то, в следующие десять лет приобрел так много и столь разнообразных познаний. Он создал русское стихотворство, и новой русской прозе первый дал свойственные ей силу и выразительность. Благодарное отечество наградило его; его клиенты, которые пользовались его положением для своего преуспеяния, боготворили его и пели: „Вергилий и Цицерон соединились в холмогорце“. Это испортило его. Его тщеславие превратилось в варварскую гордость. <…> Это высокое о себе мнение увлекло его к занятию самыми разными предметами. Если бы он остановился на своих немногих предметах, он бы, вероятно, был в них велик; но он даже в них остался посредственностью, и все-таки почитал себя во всем величайшим. <…> Прибавьте к тому ужасное пьянство; он наконец сделался нечувствительным к менее возбудительному вину и ликерам и придерживался простой водки, которой пил чрез меру. Часто он хмельной приходил заниматься в канцелярию и конференцию: грубость, свойственна ему и тогда, когда он был трезв, переходила в зверство; тогда он при всей конференции вырывал листы из протокола (слышано от Миллера); все трепетало перед сильным человеком, и никто не смел указать на дверь пьяному».

Шлёцер составил себе следующую картину недавней российской истории: Петр Великий преобразил страну, Анна «с помощью своих немцев» кое-как поддерживала его преобразования, а потом настала ужасная тирания Елизаветы, когда все — флот, финансы, промышленность, юстиция, «все, кроме сухопутного войска», пришло в полный упадок, когда всем в стране заправлял злодей Шувалов, а науками — недоучка Ломоносов. «Если бы моя распря с Ломоносовым произошла в правление этих лиц (Елизаветы и Шувалова), в какой из сибирских степей была бы моя могила?» Удивительно, что и под старость Шлёцер, так хорошо знавший и древнюю русскую историю, и современную политику, никак не пересмотрел эти забавные представления (отражавшие — в преувеличенном виде — мнения и настроения «малого двора», как раз ставшего большим). Впрочем, пересматривать свои мысли и вообще сомневаться в своей правоте — это явно было не в его обычае.

Ломоносов был для Шлёцера не просто амбициозным дилетантом, пьяницей и «недругом и гонителем всех иностранцев». Он (точнее, тот его карикатурный образ, который

сложился в сознании ганноверского ученого на основании рассказов Тауберта и Миллера) воплощал то в России, чего Шлёцер, при всех своих симпатиях к этой стране и ее народу, не понимал и боялся — непредсказуемый, жестокий, иррациональный хаос. В конце его жизни этот хаос стал проступать и в европейской истории; Шлёцер, как многие его единомышленники, ужаснулся якобинскому террору, но не пожелал скорректировать свою картину мира и принять на себя долю вины за случившееся…

Личная встреча Шлёцера с Ломоносовым была всего лишь одна. Адъюнкт истории подал Михайле Васильевичу на подпись немецкий перевод какого-то указа. Ломоносову показалось, что одно слово употреблено неточно. Шлёцер не согласился с ним. «Он грубо вскричал, что я еще слишком молод, чтобы поправлять его. <…> Я сказал, что молодой немец осмеливается больше понимать по-немецки, чем старик-русский, и удалился». Другими словами, Шлёцер считал, что лучше Ломоносова знает немецкий язык, потому что он немец, и не хуже Ломоносова разбирается в русском, потому что владеет современной методикой. Он доходит до утверждения, что Ломоносов сколько-нибудь хорошо вообще не знал никаких иностранных языков, и что его исторические труды основаны только на русских источниках (хотя в «Древней российской истории», которая, по иронии судьбы, вышла в 1766 году с предисловием Шлёцера, полно ссылок на греческие и латинские хроники), и что он даже «не слышал имени Византии»[132]. Эта явная несправедливость была, однако, запоздалым ответом на столь же неприкрытую несправедливость Ломоносова.

В мае 1764 года Шлёцер представил в Академическую канцелярию свой труд «Опыт изучения русских древностей в свете греческих источников». Миллер и Фишер сдержанно похвалили работу, а Ломоносов отозвался сухо и резко: «Этот опыт написан так, что всякий читатель, незнакомый с русским языком, обязательно сочтет последний происходящим от греческого языка, а это противоречит истине. Поэтому данный опыт в теперешнем его виде обнародованию не подлежит». Между тем Шлёцер сказал только, что переводы Библии и богослужебных текстов с греческого на русский сильно повлияли на строй русского языка — то есть слово в слово, что раньше писал сам Ломоносов.

Таков был первый конфликт. Спустя две недели Шлёцер подал в академию прошение о своем дальнейшем определении: либо ординарным профессором с окладом не меньше 800 рублей в год, либо иностранным почетным членом с окладом 200 рублей.

Шлёцер просился в отпуск в Германию на три месяца; он хотел, чтобы «Академия соблаговолила объявить мне свое решение еще до моего отъезда». Накануне он (с помощью своих английских связей) уже добился звания профессора Гёттингенского университета[133] — правда, пока что без места и жалованья: и то и другое было обещано через два года. Шлёцер в будущем хотел бы, вернувшись на родину, «обращать в деньги то, что узнал в России». Но было бы неплохо провести на русской службе еще пару лет: либо в профессорском чине и с соответствующим жалованьем поработать в петербургских архивах, либо, в качестве профессора Петербургской академии наук и на средства академии, совершить желанное путешествие на Восток.

Заявление решено было принять к рассмотрению. По просьбе академиков молодой историк представил им уже написанные работы и план своих дальнейших занятий. Точнее, два плана.

Первый представлял собой изложение принципиально новой методики работы над русской историей. Шлёцер был убежден, что история России — это *tabula rasa,* что «ее еще нельзя изучать, должно сначала создать ее». Это потребует лет двадцати. Необходимо критически обработать русские летописи, то есть «собрать возможно больше списков одной и той же летописи и сравнить их весьма различные чтения», а затем объяснить непонятные места с учетом церковнославянской Библии, других славянских языков и «по словесным объяснениям туземцев, много читавших свои древние книги». Основным источником сведений по древней истории страны Шлёцер считал «Повесть временных лет» Нестора, которую следовало очистить от позднейших искажений. Дальше следовало сопоставить показания русских хроник с хрониками всех соседних народов, от византийцев до венгров, от поляков до монголов. Только после завершения всей этой огромной черновой работы, которую Шлёцер готов был принять на себя, можно было заняться систематическим изложением истории. Второй план носил просветительский характер и предусматривал написание и публикацию на русском языке целой серии популярных, доступных книг по истории, статистике, географии и т. д.

Тауберт настоял, чтобы все профессора письменно выразили свое мнение. За назначение Шлёцера стояло абсолютное большинство: Эпинус, Штелин, Фишер, Леман, Браун, Цейгер, Румовский, Протасов; Котельников отказался высказываться по этому вопросу, ссылаясь на свою некомпетентность в истории. Против были только трое — Попов (исключительно из-за отсутствия в академии вакантных мест), Миллер и Ломоносов.

Последнего почему-то возмутило то, что Шлёцер, как он сам

указывал, собирался, наряду с подлинными документами и древними летописями, воспользоваться уже имеющимися работами по русской истории, а именно трудами Ломоносова и Татищева. На полях «Шлёцерова плана» Михайло Васильевич в ярости написал (по-немецки, хотя все заинтересованные стороны отлично владели русским языком): «Я жив еще и пишу сам». Борьба со Шлёцером была на самом деле борьбой с неумолимо подступающей смертью.

На позицию Ломоносова могли повлиять — не в пользу Шлёцера — два обстоятельства. Во-первых, стало известно о профессорстве, которое предложено Августу Людвигу в Гёттингене; во-вторых, Ломоносов наконец узнал про «Грамматику» — и, само собой, рассердился. Особенно возмутила его та часть работы Шлёцера, которая была вполне самостоятельной и содержала наблюдения (в научном плане пророческие — ведь это было за полвека до Якоба Гримма и Вильгельма Гумбольдта, об индоевропеистике никто еще и не думал) о родстве русского, немецкого, латинского и греческого языков. Шлёцер искал параллели между разноязычными корнями — естественно, порой он ошибался, порой его выводы были спорными и натянутыми. Например, русское слово «князь» он сопоставлял с немецким «knecht» — слуга. Ломоносов бегло прочитал текст Шлёцера, не очень вдумываясь, и пришел в ярость. Ему показалось, что наглый адъюнкт производит русское слово от немецкого и намекает, что русские князья были слугами у немцев, что русскую «деву» он производит от нижнесаксонского «Teffe» (сука) и т. д. И вообще — как посмел этот Шлёцер, «зная свою слабость и ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природных россиян», взяться за такое дело и, «как бы некоторый пигмей, поднять Альпийские горы».

Все это, должно быть, сказалось на суждениях Ломоносова о плане Шлёцера. Но личной злобы против молодого немецкого ученого в его отзыве не чувствуется. Скорее он склонен во всем винить своего вечного недруга Тауберта.

> «По прочтении сочинений г. Шлёцера, хвалю старание его об изучении российского языка и успех его в оном; но сожалею о его безрассудном предприятии, которое, однако, извинить можно тем, что он, по-видимому, не своей волей, но наипаче по совету других принялся за такое дело, кое в рассуждении его малого знания в российском языке с силами его несогласно…» Как может какой-то иностранец соперничать с человеком, который «с малолетства спознал общий

российский и славенский языки, а достигши совершенного возраста, с прилежанием прочел почти все древним славено-моравским языком сочиненные и в церкви употребительные книги, сверх того довольно знает все провинциальные диалекты здешней империи, так же слова, употребляемые при дворе, между духовенством и простым народом, разумея при том польский и другие с российским сродные языки. Он же и пред прочими своими согражданами приобрел в отечестве своем особливую похвалу во всем, что до языка и древностей российских надлежит…». Ломоносов, естественно, имел в виду себя. Его возмущало то, что Шлёцер не только перехватывает его, Ломоносова, дело, но и требует, чтобы тот помогал ему консультациями и «уступил собрания свои… молодому иностранцу».

Ломоносова даже не интересует сам план Шлёцера. По существу он сделал лишь пару замечаний (одно из них, кстати, вполне здравое — использовать славянскую Библию как пособие при изучении летописей опасно, так как, во-первых, церковнославянский перевод Святого Писания «не очень исправен», во-вторых, диалекты, на которых говорили и писали в средневековых Киеве и Новгороде, «разнятся от древнего моравского[134] языка» Кирилла и Мефодия). «Впрочем, г. Шлёцер может с пользою употреблять успехи свои в русском языке, не сомневаясь в награждении за прилежание, ежели он, не столь много о себе думая, примет на себя труды по силе своей».

Претензии Миллера были другими: они носили в меньшей степени личный, в большей — политический характер. Хорошо зная Шлёцера, он, в отличие от Ломоносова, не сомневается в его способностях. Но «естьли б он вознамерился, не токмо несколько, но много лет, по состоянию обстоятельств всю свою жизнь препровождать в здешней службе, то мог бы Академии и Обществу, яко профессор и ординарный член Академии оказать не малые услуги. <…> Обязательство на два, три, на пять, да и на десять лет не может быть признано за действительное. Такое обязательство подало бы ему больше известий, которые он по возвратном своем прибытии в Германию мог бы употреблять с большою прибылью; но я не вижу, какой чести и пользы Россия из того ожидать себе имеет». К тому же писать вне России о русской истории трудно: «…писателю останутся… <…> неизвестные обстоятельства, кои ему там никто изъяснить не сможет». И, наконец, «склонность к вольности может подать повод издавать в печать много такого, что здесь будет неприятно». Миллер

напоминает, что это он на свой счет выписал Шлёцера в Россию и содержал его в своем доме полгода. (Шлёцер от любого напоминания об этом приходил в бешенство.) Вот если бы талантливый молодой человек навсегда остался в России — он, Миллер, постепенно передал бы ему все свои труды и собрания. В противном случае «можно определить иностранным членом с пансионом, и за то требовать, чтобы он ничего, что до России касается, в печать не издавал, но паче все свои о России сочинения для напечатания сюда присылал».

На «мнение» Ломоносова Шлёцер не счел нужным отвечать; в его длинном и патетическом тексте, названном «Состояние дела адъюнкта Шлёцера», со страстью обличается Миллер. «Тот человек, который меня сюда призвал, чтобы упражняться в российской истории, который видел, с какой безмерной ревностью следую я своему назначению; самый тот человек делает все возможное, чтобы мне воспрепятствовать…» Адъюнкт настаивает на единстве мировой науки, доказывает, что «издаватель древних летописцев не может повредить честь государства». Да и вообще он не собирается в ближайшие годы выпускать в свет сделанные им копии — ведь «издание российских летописцев не такое дело, чтобы на оное можно было употребить одни свободные от прочих часов труды», а «Георг Третий не для того зовет меня в Гёттинген, чтобы трудиться в сочинении российской истории».

Как видим, именно Миллер первым завел разговор о переписанных Шлёцером манускриптах и о том сомнительном употреблении, которое он может сделать им за границей. Но Ломоносов подхватил тему, более того — он сразу же перешел от слов к делу, написав (первый и последний случай в практике) через голову президента Академии наук (находившегося в отъезде) жалобу в Сенат, в которой потребовал изъять у Шлёцера копии древних российских рукописей. Сенат распорядился сделать это. Однажды утром до смерти смущенный и расстроенный Тауберт приехал домой к своему другу и сообщил ему, что, к сожалению, вынужден исполнить приказ вышестоящего начальства. Естественно, все было осуществлено самым щадящим образом, более того — когда несколько дней спустя Разумовский вернулся в Петербург, отобранные рукописи были возвращены, а Ломоносову пришлось держать ответ за нарушение субординации. В этом «всепокорнейшем ответе» Ломоносов предлагает следующее решение судьбы Шлёцера: либо постараться удержать его в России, назначив не ординарным, конечно, но экстраординарным профессором (с жалованьем 600 рублей) и ректором гимназии, с обязательным чтением в

университете лекций по всеобщей истории, либо «отпустить за поручительством того, кто столь много вверил ему библиотеку без указу[135], и за подпискою, что оный Шлёцер, выехав из России, ничего в других краях об оной издавать не будет, а особливо поносительного и предосудительного, кроме благопристойного, что здешняя Академия ему письменно позволит».

Однако Шлёцер всерьез испугался. Он решил, что Миллер и Ломоносов стремятся не только к удалению его из академии, но и «к моей гибели в серьезном значении». «С давних пор Ирод и Пилат не шли так согласно, рука об руку, как теперь в моем деле». Он уже представлял себе свою могилу в сибирских степях. Храбрость этого неутомимого исследователя, очертя голову отправляющегося в чужие страны, была основана во многом на легкомыслии. Столкнувшись с непривычной для себя реальностью, он становился трусом. Не зная, что предпринять, он попытался — через Брауна — добиться встречи с Ломоносовым и объяснить ему, что он и не хочет оставаться в России и соперничать со здешними учеными, а мечтает о путешествии на Восток. Ломоносов от встречи уклонился, но суть понял. В конце октября он писал в канцелярию: «Что ж надлежит до его освобождения, то я всегда готов и желаю дать ему полную волю на четыре стороны, а паче на восток для собирания там (как он пишет) еще достальных искор (алмазных или каких других, неясно) и оными обогатиться паче всех ювелиров, а не гоняться, как здесь, за пустыми блестками». Однако он не желал, чтобы за Шлёцером в этом случае сохранялась адъюнктская должность и чтобы ему был назначен пенсион. Труды Шлёцера казались ему недостойными того. «Печатающаяся „Российская грамматика“ на немецком языке достойна вечного погашения и забвения. <…> Что же надлежит до исторических изысканий византийского корпуса, то на сей конец уже за несколько лет изыскано мною не токмо все, что до славенских и с ними сплетенных народов надлежит в константинопольских писателях, но и в древнейших греческих». Ломоносов был и против того, чтобы поручить Шлёцеру обучение русских студентов-пансионеров, как тот предлагал. «Не вверяю я Шлёцеру ниже волоса студентского. <…> Есть за морем кроме его довольно славных ученых людей».

Если во «всепокорнейшем ответе» Ломоносов еще нападает на Миллера (которому, дескать, давно пора было подготовить себе русского ученика, а не приглашать неведомого студента из Германии), то в бумагах, написанных осенью, он упоминает об историографе подчеркнуто миролюбиво и уважительно. Два стареющих ученых после многих лет вражды помирились и чуть

ли не подружились снова на почве борьбы с молодым талантливым карьеристом. Оба они искали выход на императрицу, чтобы пожаловаться на Шлёцера. В эти месяцы Ломоносов написал послание-панегирик Орлову, а Миллер (первый случай в практике!) немедленно напечатал его в «Ежемесячных сочинениях». Но мнение Теплова, Олсуфьева и Козлова, очень довольных Шлёцером-учителем, перевесило. Главное же — Екатерина была человеком нового поколения. Она знала цену и Ломоносову, и Миллеру, но понимала, что историческая правота в этом конфликте за Шлёцером, что будущее — за ним.

Двадцать девятого декабря, под Новый год, Шлёцера ожидало радостное известие: он получил звание ординарного профессора и 860 рублей жалованья. Ему был предоставлен трехмесячный отпуск с сохранением содержания. Более того: его труды освобождались от рассмотрения Академическим собранием и могли печататься с личного одобрения императрицы. Такую же точно милость оказал впоследствии Пушкину Николай I: но одно дело, когда государь берет на себя функции цензора, и совсем другое — когда его благоволение заменяет научную экспертизу. При этом академия обязана была предоставлять молодому историку любые книги и манускрипты по первому его требованию.

Разумеется, Шлёцер через два года уехал в Гёттинген. Разумеется, ко второй, популяризаторской части своего плана он так и не приступил. И все же расчет Екатерины оказался верен. Уже первые труды Шлёцера, появившиеся на его родине, — «Изображение российской истории» (1769), «Представление всеобщей истории» (1772) содержали новый для Запада взгляд на прошлое и настоящее нашей страны. Русские были включены в число великих народов — распространителей цивилизации. Получив некогда эстафету от норманнов и Византии, «Россия победоносная», «Россия цветущая» (пришедшая на смену «России разделенной» и «России утесненной») несет ее дальше — вглубь Азии.

Если эти концепции, как и концепции Ломоносова, все-таки принадлежат своему веку, то выдающаяся роль Шлёцера — издателя и комментатора адекватного текста «Повести временных лет» и других летописей, автора монографии «Нестор» (1802) — не подлежит никакому сомнению. Как писал С. М. Соловьев, «заслуга Шлёцера состоит не в установлении верных взглядов на явления всемирной истории, его заслуга состоит в том, что он ввел строгую критику, научное исследование частностей, указал на необходимость полного, подробного изучения

вспомогательных наук для истории; благодаря Шлёцеровой методе наука стала на твердых основаниях, ибо он предпослал изучению исторической физиологии занятие историческою анатомией».

И для всего этого не нужно было ни родиться «природным россиянином», ни «связать себя на всю жизнь», не нужна была даже особая любовь к России (любил Шлёцер, похоже, только себя самого). Достаточно было таланта, трудолюбия и знаний. Для Ломоносова и Миллера, таких разных, наука была формой служения Российской империи, ее обустройству и защите. Это служение, почти солдатское, требовало от человека немалых жертв и продолжалось, в той или иной форме, всю жизнь. Честолюбивые, суровые со своими подчиненными, они были и к себе суровы. Но время таких могучих и цельных личностей уходило. Цивилизационный скачок был, в общем, завершен. Для дальнейшего обустройства России нужны были другие люди: просвещенные и независимые специалисты, все равно — русские или иностранцы.

Таково было первое поражение умирающего Ломоносова — в схватке со временем. В это же время он бросил вызов другому могучему врагу — пространству, и тоже потерпел поражение; но об этом узнать ему уже не довелось.

4

Двадцатого сентября 1763 года Ломоносов закончил работу, которую он не предполагал публиковать и оглашать на заседании академии. Труд этот — «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» — был посвящен девятилетнему цесаревичу, почетному генерал-адмиралу, главе Адмиралтейств-коллегии, и должен был стать обоснованием нового грандиозного и секретного проекта.

Суть заключалась в следующем: Ломоносов предлагал открыть путь в Китай и Индию из Европы через Северный Ледовитый океан. Он, конечно, не был первым, кому эта мысль пришла в голову: поиски северо-западного и северо-восточного прохода из Атлантического океана в Тихий начались еще двумя веками раньше, и Ломоносов превосходно об этом знал. Знал он и о британских экспедициях, предпринимавшихся в Северной Америке как раз в это время. Тем более России «не можно… не иметь благородного и похвального ревнования в том, чтобы не дать предупредить себя от других успехами толь великого и

преславного дела».

Доказывая преимущества северного пути перед обычным в то время, мимо берегов Африки, Ломоносов пишет: «Не на великом пространстве в разных климатах, которые разнятся семидесятью градусами, предпринять долговременный морской путь россиянам нужно, но между 80-м и 65-м северной широты обращаться. Нет страху ни от крутых, море похищающих вихрей, ни от ударов туч, корабли от воды отрывающих, которые в северных морях нигде не примечены. Не опасна долговременная тишина с великими жарами, от чего бы члены человеческие пришли в неудобную к понесению трудов слабость, ни согнитие воды и съестных припасов и рождение в них червей, ниже моровая язва и беженство в людях. Все сие стужею, которой опасаемся, отвращено будет». Да и расстояние между Архангельском и Беринговым проливом гораздо меньше, чем обходной путь через Африку.

Интерес Ломоносова к северным морям был одновременно личным, связанным с обстоятельствами его детства, естествоиспытательским и политико-географическим. Еще в 1760 году он, только что избранный членом Шведской королевской академии, послал в Стокгольм работу, «где вкратце изъясняются явления, свойственные родному вам и нам Северу» — «Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях». Ломоносов доказывал, что айсберги рождаются в устьях больших рек. Отсюда следовало, между прочим, что вокруг Южного полюса есть материк — поскольку в южных морях тоже есть ледяные горы (наличие *Terra Incognita Australia* никем и не оспаривалось до плаваний Кука в 1771 году). Другие следствия, практически более важные, были указаны в «Кратком описании…» и легли в основу задуманного Ломоносовым проекта.

Ломоносов пришел к выводу, что морские льды постоянно перемещаются, и полагал, что вычислил направление их перемещений. При этом они занимают всего одну десятую или даже одну двенадцатую часть Северного океана. Существуют — причем на высоких, близких к полюсу широтах — большие участки воды, постоянно свободные ото льда. На это указывает наличие северных сияний, поскольку, по ломоносовской теории, такого рода явления могут возникать лишь там, где испаряется большое количество влаги и трение перемещающихся воздушных масс рождает электрические разряды. Возможно, что и на самом полюсе вечного льда нет: по расчетам Ломоносова-океанографа, там должен быть расположен остров, который постоянно огибается водными потоками. (О том, что подобные теории еще в середине XIX века не считались безнадежно устаревшими,

свидетельствует роман Жюля Верна «Путешествия и приключения капитана Гаттераса».)

По таким лишенным ледяного покрова участкам моря и должны были пройти корабли. Предлагалось два маршрута. Первый — из Архангельска до северной оконечности Новой Земли и далее на восток. Именно там, в 500–700 верстах от материка, должен находиться, по мнению Ломоносова, свободный ото льда «коридор». Второй маршрут — между Шпицбергеном и Гренландией и дальше вдоль северных берегов Америки. Несмотря на весь свой патриотизм, Ломоносов склонялся ко второму проекту, к северо-западному проходу — и вот почему: поскольку айсберги реже встречаются у американских берегов, Ломоносов пришел к выводу, что «берег Сибирского океана, насупротив к Сибирскому лежащий, должен быть крут, приголуб и много меньше пресной воды изливать, нежели Сибирский». А значит, там и льда должно быть меньше.

«Краткое описание…» начинается историческим экскурсом, и здесь Ломоносову невольно приходится идти по стопам своего вечного соперника Миллера, написавшего в 1758 году историю северных плаваний россиян («Описания морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю с Российской стороны учиненных») и открывшего, между прочим, в якутских архивах отчеты о путешествиях Дежнева и Атласова. Для Ломоносова это лишнее доказательство исполнимости его проекта, но будущее интересует его больше, чем прошлое. Он не был бы самим собой, если бы естественно-научные гипотезы не переходили у него сразу же в политические прожекты. Убежденный, что «российское могущество будет прирастать Сибирью и достигнет до главных поселений европейцев в Азии и Америке», он предлагал заселить новообретенные земли, «по примеру Франции», каторжниками, а также добровольцами, которым надо обещать высокие чины и большое жалованье.

А если расчеты неверны? Что же, все проверяется на опыте. «Что до убытков, то они не только казне, но купцам достаточным сносны будут. <…> Жаление о людях много чувствительнее, однако поставим в сравнение славу и пользу отечества. Для приобретения малого лоскута земли или одного только честолюбия жертвуют многие толпы людей, целые армии, то здесь ли должно жалеть около человек ста для расширения, мореплавания, могущества…» Логично, но не без цинизма сказано, на нынешний гуманистический взгляд. Впрочем, таков Ломоносов: он не лицемерен и не сентиментален.

Указ об организации экспедиции Екатерина подписала 14 мая. К тому времени маршрут уже был определен: свидетельства

поморов-промышленников, бывавших на «Груманте» и Новой Земле, решили дело в пользу западного направления. К тому же против восточного направления выступил сибирский губернатор Федор Соймонов, опытный и образованный сановник, крутой 73-летний старик с вырванными по-каторжному ноздрями (некогда он был осужден, а после оправдан). Соймонов слыхал от промышленников, что близ сибирских берегов на 72-й параллели в океане лед якобы толщиною в сорок сажен (больше 80 метров!), а на 80-й, стало быть, еще толще. А на Шпицбергене, по рассказам, море вовсе не замерзает или быстро оттаивает…

Экспедицию возглавил 38-летний капитан первого ранга Василий Яковлевич Чичагов, опытный и умелый моряк. Он должен был командовать главным судном. В товарищи ему были даны капитан первого ранга Никита Панов и капитан-лейтенант Василий Бабаев. Корабли так и названы были именами своих капитанов — «Чичагов», «Панов» и «Бабаев» (по-другому — «Вера», «Надежда», «Любовь»). Проект был засекречен до предела — даже от собственного Сената, и в официальных бумагах назывался «Экспедицией о возобновлении китовых и других рыбных промыслов».

Подготовка к плаванию шла серьезная. Двенадцать моряков учились в Петербурге астрономии и геодезии — лекции им читали Румовский, а после его отказа — Попов и Красильников. В это время на Архангельских верфях строились три больших (от 72 до 90 футов) корабля. Ломоносов сам составлял подробную инструкцию. Моряки должны были, двигаясь по 78-й параллели, миновать Баффиново море, а потом повернуть на юг. Там их ожидала встреча с экспедицией капитана Креницына, посланной с Камчатки.

Четвертого марта 1765 года на заседании в Адмиралтейств-коллегии был утвержден окончательный вариант инструкции. Ломоносов присутствовал на этом заседании; это был его последний выезд из дома. По дороге он простудился и слег. Простуда эта стала последней каплей, доточившей его тяжелое, некогда сильное, а теперь измученное болезнями тело. Ровно месяц спустя его не стало. Он не успел узнать, что его замысел не удался.

Чичагов вышел из Колы еще через месяц, 9 мая. 20 августа он вернулся в Архангельск — с неудачей: в Гренландском море, примерно на 80-м градусе северной широты, корабли встретили сплошные льды, между которыми не было проходу.

Барон Черкасов, начальник Адмиралтейств-коллегии, раздраженно писал Чичагову: «Хотя по любви моей к вам обрадован я много, получив от вас известие, но правду сказать, не

из того места я его ожидал; а думал, что, буде и действительно вам не возможно свой путь продолжать до желательного места, то хотя, по последней мере, приобретете России сколько-нибудь чести и славы открытием по сие число неизвестных берегов и островов. Надо какой-нибудь другой вояж сделать, чтобы неудачное предприятие прикрыть. <…> Редко случай найтись может, где бы известную всем поговорку употребить можно: синица море зажигала-зажигала, да не зажгла, а славы много наделала».

Видимо, все же многие знали, что стоит за словами «Экспедиция о возобновлении китовых и других рыбных промыслов»: ведь в России, как сказала мадам де Сталь, «все тайна и ничто не секрет». Морские бюрократы думали только о том, как бы прикрыть конфуз… На следующий год все три корабля снова отправились к Шпицбергену — тот же результат. Из семи матросов, оставленных зимовать на Шпицбергене, трое погибли от цинги. Больше жертв не было.

Несмотря ни на что, участники экспедиции были награждены. Чичагов позднее сделал карьеру флотоводца, его победы над шведами решили судьбу войны 1788–1790 годов; он изображен в числе сподвижников Екатерины на ее памятнике — рядом с Потемкиным, Румянцевым, Суворовым, Державиным, Дашковой… Но никаких новых проектов на Севере в екатерининское время больше не затевали.

Северо-Западным проходом лишь в 1903–1905 годах прошел из Атлантики в Тихий океан Руаль Амундсен. Никакого практического значения этот его подвиг не имел. Иначе обстоит дело с сибирскими берегами. Русская полярная эпопея, начатая Дежневым и безвестными поморами, продолженная Берингом, Челюскиным, Лаптевыми, шла дальше и в XIX, и в XX веках. Литке, Анжу, Седов, Толль, Вилькицкий, молодой Колчак — удачники и неудачники, герои и мученики… Правда, первым прошел Северо-Восточным проходом швед Нильс Адольф Эрик Норденшельд (в две навигации, в 1878–1879 годах). Но в 1935 году именно свирепое и могучее государство, которое было тогда Россией, открыло регулярную навигацию по Северному морскому пути. Только это было не совсем так, как представлял Ломоносов. Вот как описал это плавание Николай Заболоцкий (поэт, которому одическая традиция XVIII века была, быть может, ближе, чем кому бы то ни было из его современников):

…на Севере, в средине льдов тяжелых,
Разрезав моря каменную грудь,
Флотилии огромных ледоколов

Необычайный вырубили путь.
Как бронтозавры сказочного века,
Они прошли — созданья человека,
Плавучие вместилища чудес,
Бия винтами, льдам наперерез…

Само собой, и рекомендация касательно заселения дальних земель каторжниками была принята к исполнению; автор стихотворения «Север» сам вскоре оказался в их числе.

5

В последние месяцы жизни Ломоносов чувствовал себя обиженным и ущемленным. Его раздражало назначение Шлёцера, новое усиление Тауберта. Он мечтал о еще одной встрече с императрицей, хотел что-то объяснить, доказать ей… В его бумагах сохранился план разговора. Начало его производит печальное впечатление:

«<…>
4. Беречь нечего. Все открыто Шлёцеру сумасбродному. В Российской библиотеке есть больше секретов. Вверили такому человеку, у которого нет ни ума, ни совести, рекомендованному от моих злодеев…
<…>
6. Нет нигде места и в чужих краях.
7. Все любят, да шумахерщина.
8. Multa tacue, multa pertuli, multa concessi [Многое принял молча, многое снес, во многом уступил]».

В общем, обычные, мелочные служебные жалобы — плюс странное место про «чужие края». Невозможно представить себе Ломоносова-эмигранта, хотя смолоду он, без сомнения, легко нашел бы довольно престижное место за пределами России. Вероятно, можно согласиться с Е. Н. Лебедевым: Ломоносов хочет сказать, что у него, в отличие от приглашенных профессоров-иностранцев, нет возможности вернуться на родину.

И вдруг — высокие, достойные уходящего из мира гиганта слова:

«9. За то терплю, что стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство…

10. Я не тужу о смерти, пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют».

Здесь чувствуется риторическая выучка — но и риторика на краю могилы воспринимается иначе.

К сожалению, Ломоносов то и дело срывается с этой высоты, проявляя свои человеческие слабости — суетность, тщеславие, раздражительность. Он пишет в Париж Шувалову, прося того походатайствовать о своем принятии в Парижскую академию наук. (Зачем ему это надо было? Или он надеялся, что по этому поводу его снова осчастливят высочайшим визитом?) Он снова и снова осыпает проклятиями всех своих недругов, которых стало слишком уж много — от Тауберта и Теплова до Эпинуса и Румовского…

Отношения Ломоносова и Румовского, давно испорченные, в последние годы еще обострились. Поводов было много. Молодой астроном пользовался покровительством Тауберта, дружил со Шлёцером (с которым вместе преподавал в «Академии 10-й линии»). Когда-то признавший свои наблюдения в Селенгинске неудачными, он теперь утверждал, что видел захождение Венеры на диск Солнца и, в частности, наблюдал тот оптический эффект, из которого Ломоносов сделал далеко идущие выводы. Вместе с Эпинусом он нападал на «ночезрительную трубу». Он отказался читать лекции штурманам-чичаговцам из-за их недостаточной подготовки. Наконец, он резко раскритиковал ломоносовский план топографических экспедиций, причем позволил себе личный выпад: «В других Академиях предлагающие подобные предприятия сами оных не только отправлять не отрекаются, но и примером своим поощряют трудов своих самопроизвольных сообщников». С учетом состояния здоровья Ломоносова в 1760-е годы (которое всем было хорошо известно) этот пассаж нельзя не признать бестактным. Михайло Васильевич был слишком властен, самолюбив и влиятелен, чтобы сносить подобную дерзость — даже со стороны очень способного ученого (и к тому же «природного россиянина»).

В конце 1764 года Миллер в письме Эйлеру пожаловался на то, что Ломоносов тиранит Румовского (немедленно по завершении шлёцеровской эпопеи Ломоносов и Миллер снова стали врагами). Эйлер ответил: «Я самым лучшим образом г. Румовского рекомендовал г. канцлеру. Положение его действительно заслуживает сожаления, поскольку против него так сильно восстает г. советник Ломоносов. Конечно, у г. Румовского ум, приносящий много чести русскому народу, и было бы в высшей степени непростительно, если бы его стали утеснять

собственные единоземцы». Миллер зачитал это письмо 21 февраля на Академическом собрании — в отсутствие Ломоносова, хотя письмо было частным и для публичного чтения едва ли предназначалось. Доброхоты, естественно, сделали для Ломоносова список. Ломоносов с Эйлером не переписывался больше десяти лет, но привык считать великого математика своим другом и союзником. То, что Эйлер публично выступил против него в защиту их общего ученика, было воспринято им с болезненной остротой. Ломоносов начал набрасывать письмо Эйлеру; можно лишь порадоваться, что этот текст не был отделан и отправлен адресату. «В высшей степени удивился я тому, что ваше высокородие, великий ученый и человек уже пожилой, а сверх того еще и великий мастер счета, так сильно просчитались в последнем своем вычислении. <…> Вы достаточно хорошо знали, каким плутом был в отношении ученых Шумахер, и знали, что его ученик, зять и преемник еще хуже его; что Миллер — невежда и самыми первыми профессорами прозван бичом профессоров; что он сущий Маккиавель и возмутитель мира в Академии, каким был и всегда. И при том вы не сумели разобраться в лживых инсинуациях, касающихся Таубертовой комнатной собачки, Румовского. Тауберт, как только увидит на улице собаку, которая лает на меня, тотчас готов эту бестию повесить на шею и целовать под хвост. И проделывает это до тех пор, пока не минует надобность в ее лае; тогда он швыряет ее в грязь и натравливает на нее других собак…» Дальше Ломоносов, великий ритор, мастер композиции, начинает совсем уж сбиваться с мысли, вспоминая какие-то незапамятной давности истории (с Бургаве, с «жалким Сальховым» и т. д.). Ему было очень плохо. Против него были время и природа — а он пытался уверить себя, что все зло в его жизни от Тауберта и Миллера.

Немало находилось людей, благоговевших перед Ломоносовым и притом готовых — с самыми лучшими намерениями — лишний раз стравить его с сослуживцами, спровоцировать конфликт. Можно представить, с какими, к примеру, чувствами читали академики памфлет, названный «Сон, виденный в 1765 оду генваря 1-го» и в течение нескольких месяцев ходивший по рукам в Петербурге. Содержание его таково: некая «сухощавая старуха» приводит героя на остров, населенный говорящими зверями. «Старуха повела меня в ученое собрание, которого главный член был ужасный медведь, ничего не знавший и только в том упражняющийся, чтобы вытаскивать мед из чужих ульев и присваивать чужие пасеки к своей норею. <…> Советник сего собрания был прожорливый волк и ненавидел тамошних зверей, потому что он был не того лесу зверь. <…> В оном

собрании был третий член, который совсем не походил на тамошних зверей и имел вид и душу человеческую, он был весьма разумен и всякого почтения достоин, но всем собранием ненавидим за то, что родился в тамошнем лесу, а прочие оного собрания ученые скоты, ищучи своей паствы, зашли на оный остров по случаю». Речь шла, разумеется, о Разумовском, Тауберте и Ломоносове. Автор памфлета, Федор Александрович Эмин, урожденный Мухаммед Али, сам был «не того леса зверем» — он родился в Боснии, на территории Османской империи; в его жилах текла польская, греческая и, может быть, албанская кровь; он учился в Венеции, бывал в Португалии, Франции, Англии и лишь двадцати шести лет от роду прибыл в Россию. Он преподавал в Академии художеств и Сухопутном шляхетном корпусе, а с Академией наук имел дело в качестве переводчика. Славу ему принесли сентиментальные романы, которые читала еще героиня пушкинского «Домика в Коломне». За сочинение «Сна, виденного в 1765 году» его по высочайшему указу «вместо заслуженного им наказания… в знак высочайшего и беспрекладного милосердия» продержали две недели под арестом. Но это было уже после смерти Ломоносова.

Миллер зачитал письмо Эйлера «под занавес» — в тот же день он заявил о своем уходе из академии и сложил с себя обязанности конференц-секретаря. Он принял предложенную ему странную для профессионального ученого-историка должность директора Московского воспитательного дома — только бы быть подальше от Академической канцелярии «и от таковых людей, каков Ломоносов». А ведь ждать оставалось совсем недолго. У 60-летнего историографа впереди были долгие годы плодотворной работы: год спустя он возглавит московский архив Коллегии иностранных дел, потом будет членом Комиссии для подготовки нового Уложения от Академии наук; именно в московские годы он подготовит к печати «Судебник» Ивана Грозного, соберет знаменитые «портфели Миллера» — уникальную коллекцию средневековых исторических документов. А его недруг умирал, жить ему оставалось меньше двух месяцев.

Ломоносов накануне смерти — это неутомимый ученый и организатор, создавший оригинальную и остроумную, пусть и ошибочную, океанографическую теорию и готовящий масштабную экспедицию для ее проверки, это заботливый «главный начальник» университета и гимназии… И он же — раздражительный, издерганный человек, вкладывающий непомерную страсть в академические склоки, несправедливый в оценках, непримиримый во вражде. Но есть еще одно лицо Ломоносова на закате его жизни — трогательное и симпатичное.

Вот его письмо сестре от 2 марта 1765 года:

> «Государыня моя сестрица, Марья Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми.
>
> Весьма приятно мне, что Мишенька приехал в Санкт-Петербург в добром здоровье и что умеет очень хорошо читать и исправно, так же и пишет для ребенка нарочито. С самого приезду сделано ему новое французское платье, сошиты рубашки и совсем одет с головы до ног, и волосы убирает по-нашему, так чтобы его на Матигорах и не узнали. Мне всего удивительнее, что он не застенчив и тотчас к нам и нашему кушанью привык, как бы век у нас жил, не показал никакого виду, чтобы тосковал или плакал. Третьего дня послал я его в школы здешней Академии наук, состоящие под моей командой, где сорок человек дворянских детей и разночинцев обучаются и где он жить будет и учиться под добрым смотрением, а по праздничным и воскресным дням будет у меня обедать, ужинать и ночевать в доме. Учить его приказано от меня латинскому языку, арифметике, чисто и хорошенько писать и танцевать. Вчерашнего вечера был я в школах нарочито смотреть, как он в общежитии со школьниками ужинает и живет в одной камере. Поверь, сестрица, я об нем стараюсь, как должен добрый дядя и отец крестный[136]. Также и хозяйка моя и дочь его любят и всем довольствуют. Я не сомневаюсь, что он через учение счастлив будет…»

Этот Мишенька, Михаил Евсеевич Головин, стал потом математиком (учился у Эйлера, вновь приехавшего в 1766 году в Россию), адъюнктом академии, составлял календари, написал учебники по геометрии и гражданской архитектуре, держал корректуру собрания сочинений дяди, но в 1786 году, не поладив с княгиней Дашковой, вынужден был выйти в отставку. Впрочем, до 1789 года он числился «заштатным адъюнктом» и получал небольшое жалованье. Одновременно он преподавал в Главном народном училище и других учебных заведениях. Преподавателем он, судя по всему, был отличным, но часто пропускал занятия (то ли болел, то ли пил, то ли пил и от этого болел), подвергался штрафам и умер в 1790 году в нищете, холостяком, тридцати четырех лет. Марья Васильевна, приехавшая в 1791 году в Петербург, с трудом выпросила у графа Завадовского, бывшего начальника «Мишеньки», пособие, чтобы заплатить оставшиеся от сына долги.

Но все это происходило уже в другом мире, где Михайло (Михаил, как его теперь чаще называли) Васильевич Ломоносов был не человеком, а легендой, символом, а иногда и фетишем.

Глава десятая
СЛАВА И ХУЛА

1

Восьмого апреля 1765 года Тауберт отправил Миллеру следующее письмо: «Г. статский советник Ломоносов переменил здешнюю временную жизнь на вечную в прошедший понедельник, около 5 часов пополудни, после нового припадка своей прежней болезни, который у него сделался от простуды. За два дня до своей кончины он причащался и испустил дух во время совершения над ним обряда соборования, после прощания, в полном разуме, как со своей женою и дочерью, так и с прочими присутствующими. Сегодня рано он был погребен в Невском монастыре, при огромном стечении народа. На другой день граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, там должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки».

По иронии судьбы, единственное сообщение о похоронах Ломоносова (очень многолюдных, как говорится) содержится в письме одного его давнего неприятеля — другому. «Санкт-Петербургские ведомости», еще недавно сообщавшие о высочайшем визите ученому, обошли вниманием его смерть. Не принято это было — сообщать в газете о смерти какого-то статского советника, пусть и очень знаменитого. Гораздо важнее были наводнение в Неаполе, мятеж на Корсике или новости из Англии — «герцог Глостерский…[137] <…> тою же одержим болезнью, от которой прежде сего немог король» (уж не идет ли речь о припадках безумия, которыми король Георг страдал всю свою долгую жизнь и которые под конец перешли в слабоумие?). А вот еще одно сообщение из Лондона — совсем в другом роде: вор забрался на идущий в Америку корабль и был пойман матросами, которые «без суда учинили ему достойное наказание», а именно «раздели донага, и нагрев смолу в котле, облили оного с головы до ног, потом надели на него его платье и высадили на берег со всей учтивостью…». Как иногда рифмуются разновременные и разнопространственные «анекдоты». Где они, те три матроса, попытавшиеся ограбить Ломоносова на Васильевском острове? В следующем номере газеты, за 12 апреля, между делом, как о чем-то маловажном, сообщается о том, что «Ея Императорское Величество по просьбе Его Сиятельства

Канцлера и Кавалера графа Воронцова уволила его от всех дел по совершенной слабости здоровья». Так окончательно уходит с политической сцены один из ломоносовских меценатов. Через два года и его не станет. Впрочем, он еще успеет поставить на свои средства памятник на могиле Ломоносова — знаменитый памятник, сделанный по рисунку Штелина, с им же сочиненной латинской надписью, стоящий и поныне на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры — в так называемом Некрополе XVIII века.

Бюшинг в те же дни писал Миллеру: «Умер советник Ломоносов. Может быть, эта смерть подаст повод к изменению системы Академии, если только она в три года не разрушится вовсе». Даже те, кто не любил Ломоносова, понимали: ушел большой человек, на котором держалось многое, и, «освободившись» от него, Академия наук может просто развалиться. Но не все враги Михайлы Васильевича у его гроба забыли обиды. Сумароков, увидев бездыханного соперника, вслух сказал: «Угомонился дурак и не может больше шуметь». — «Не советовал бы я вам сказать это ему при жизни», — сухо оборвал его Штелин. Одиннадцатилетний цесаревич, когда воспитатель Порошин (перед Ломоносовым благоговевший) сообщил ему о постигшем страну горе, ответил: «Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал». Мальчик, конечно, повторял чужие слова — но от кого-то же он слышал подобное!

Отпеть Ломоносова стихами оказалось почти некому. Только певчий-стихотворец Голеневский написал эпитафию — начало которой даже не лишено поэтической силы:

> Здесь Ломоносов спит, но кто его возбудит?
> Труба! в последний день, когда на всех вострубит.

Бедный певчий наивно восхищался и талантами, и жизненными успехами своего великого современника:

> Он первый, может быть, да и последний будет,
> Камена никогда его не позабудет.
> Науками любим, трудом обогащен,
> В число писателей великих есть вмещен.

Оду на французском языке написал молодой друг и почитатель Ломоносова, граф Андрей Шувалов. Интереснее самой оды предисловие к ней, содержащее краткую биографию Ломоносова и оценку его литературного творчества. Особенно

выделяет Шувалов «Письмо о пользе стекла» — «произведение столь же необыкновенное, сколь и философское. Это Гамлет, говорящий стихами, и Свифт, тонко забавляющийся».

Через несколько дней после смерти Ломоносова Никола Леклерк, домашний врач Разумовского, был принят иностранным почетным членом в академию. В своей благодарственной речи он счел необходимым помянуть и покойного: «То же самое чувство, которое делает меня столь признательным к оказанной вами благосклонности, должно откликнуться и на вашу справедливую горесть. <…> Не стало человека, имя которого составит эпоху в летописях человеческого разума, обширного и блестящего гения, обнимавшего и озарявшего вдруг многие отрасли…»

Однако Академия наук в те годы никак особенно не стремилась увековечить память Ломоносова и ничего не сделала для его семьи. Даже положенную пенсию Елизавета Андреевна получила не сразу и после хлопот. Правительство, со своей стороны, простило наследникам ученого невыплаченный кредит на обустройство мозаичной фабрики. Год спустя вдова Ломоносова умерла. Дочь, Елена Михайловна, в 1766 году вышла замуж за Константинова, библиотекаря Екатерины II, воспитанника академии, и через шесть лет умерла в родах, 23-летней. Одна из ее дочерей, Софья Алексеевна, вышла замуж за молодого офицера Николая Раевского — будущего легендарного генерала (сестры ее, Екатерина Алексеевна и Анна Алексеевна, умерли незамужними; не имел потомства и единственный внук Ломоносова, Алексей Алексеевич Константинов, скончавшийся в 1814 году). Екатерина Орлова, Мария Волконская, Елена, Софья, Николай, Александр Раевские — правнуки Ломоносова. Пушкин писал: «Имена Ломоносова и Минина вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужели их потомству смешно было бы гордиться сими именами?» Но знал ли он, что речь идет о его ближайших друзьях? Почему-то они редко вспоминали о своем великом предке-плебее — хотя именно правнучкам Раевским пришлось заниматься публикацией (с помощью Свиньина) ломоносовского архива.

Семья Марии Головиной тоже воспользовалась славой своего родича: в 1798 году сестра Ломоносова, ее муж и их дети были освобождены от подушной подати (что не слишком понравилось их односельчанам). Известно, что Мария Головина, ее сын Петр и дочь Матрёна на склоне лет примкнули к старообрядцам-беспоповцам. Их потомки еще несколько поколений жили на Курострове. Некоторые из них потом тоже выбились в люди: например, М. В. Ершов, племянник Ломоносова в третьем колене, купец второй гильдии, в 1881 и 1883–1884 годах был городским

головой Архангельска.

2

В течение полувека после смерти Ломоносова один за другим появлялись многословные панегирики покойному. Их сочиняли виднейшие писатели эпохи — от Николая Новикова до Ипполита Богдановича, от адмирала Шишкова до Батюшкова и его учителя Михаила Муравьева. Даже Елагин, при жизни «Телелюя» обменивавшийся с ним грубыми «пашквилями», спустя несколько лет по кончине Михайлы Васильевича сказал в его адрес свою порцию высокопарностей. Только Сумароков упорно продолжал полемизировать с покойным, но в 1777 году его не стало.

Суть всех этих панегирических текстов хорошо передана одним державинским четверостишием:

> Се Пиндар, Цицерон, Вергилий — слава Россов,
> Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.
> В восторгах жарких он где раз взмахнул пером —
> От пламенных картин доселе слышен гром.

Разумеется, поминалось и о «науках» — науках вообще, без уточнения. Для дворян-гуманитариев все это было более или менее темным лесом. Сложилось устойчивое мнение, что Ломоносов занимался естественно-научными исследованиями «по обязанности» или «в часы досуга» и лишь в художественное творчество, филологические, исторические труды вкладывал душу.

Только Петр Иванович Челищев в несколько неуклюжих, но искренних стихах перечислял едва ли не все занятия холмогорца:

> С Невтоном исчислял в морях — алгебры груз,
> В хаосе вихрей был Картезию соперник,
> Схватил рукою цепь комет и звезд союз,
> Держал что Птолемей, и Тихобрах, Коперник.

Челищев установил Ломоносову на Куростров памятник — пирамиду, украшенную резными изображениями; лира там соседствовала с глобусом и астролябией.

Друг Челищева, Александр Николаевич Радищев, был строже к Ломоносову-естествоиспытателю. Впрочем, и в филологических вопросах Радищев, «по отвращению от общепринятых мнений»

(Пушкин), готов был поддержать осмеянного всеми Тредиаковского. Осуждал он Ломоносова и за «лесть царям». В этом автор «Путешествия из Петербурга в Москву» был не одинок. Вот что писал, скажем, рано умерший поэт Андрей Тургенев (1781–1803): «Смею сказать, что великий Ломоносов, творец русской поэзии, истощая свои дарования на похвалу монархам, много потерял для славы своей. <…> Бог, природа, добродетели, пороки, одним словом, натура человека со всеми ее оттенками — вот предметы, достойные истинного поэта». Это был взгляд из другого времени. Для современников Радищева и Тургенева «предмет», тема стихов имела принципиальное значение и, главное, зависела от авторского выбора. Державин воспевал не абстрактную императрицу, а Фелицу-Екатерину, чей стиль правления и политика ему нравились; увидев вблизи «подлинник со многими недостатками», он перестал посвящать ей стихи. Едва ли Ломоносов не знал о недостатках Елизаветы — просто это не имело отношения к делу.

Наряду с осмыслением деятельности Ломоносова предпринимались попытки написать его биографию. Первые более или менее развернутые жизнеописания, не во всем точные, но содержащие важные житейские детали и колоритные подробности, принадлежат Штелину и Михаилу Веревкину; они были написаны в связи с подготовкой в 1780-е годы собрания сочинений Ломоносова.

Но в большинстве текстов XVIII — начала XIX века «основатель русской поэзии» по-прежнему выступает на котурнах. Бытовые детали и житейские «анекдоты» заинтересовали исследователей лишь спустя полвека с лишним после смерти Михайлы Васильевича, когда уже мало кто мог его вспомнить. Биографы повторяли чьи-то слова, воспроизводили «предания». В том числе и такое: «Сказывают, что Ломоносов любил разгорячать воображение свое и ум крепкими напитками». Об этом впервые написал в 1822 году историк В. М. Перевощиков. После этого в течение всего XIX века эта тема (ставшая в советское время табу) увлеченно обсуждалась. В качестве курьеза можно вспомнить строки из стихотворения поэта Евгения Милькеева «Русское вино», напечатанного в 1842 году (этот «гимн сивухе» вызвал, между прочим, негодование Белинского):

Ты ли, славный Ломоносов,
Сын убогий рыбака,
Непонятный для вопросов
И бессмертный для венка,
Ты ль не ведал чаши мирной,

Как науку пожинал,
И с торжественностью пирной
В небо крылья простирал?

Нет, паря к богам и свету,
Знал ты творчеством вино…

Жизнь Ломоносова стала в эту эпоху предметом не только поэтического осмысления, но и прозы, и драматургии. Первым опытом стала, вероятно, незамысловатая комедия князя Александра Шаховского «Рекрут-стихотворец» (1815). Сюжет ее таков: некая Роза не может выйти замуж за своего любимого Михеля, потому что ее держит взаперти отчим-трактирщик. Михель отправляется в столичный город на поиски справедливости и по дороге встречает «молодого русского стихотворца, который учился в Марбурге». По ходу дела «гусарский вахмистр Трумф» обманом заставляет «молодого русского стихотворца» вступить в прусскую службу. Михель устраивает ему побег, а в благодарность «русский стихотворец», тоскующий по своей оставленной в Марбурге Лизхен, помогает ему соединиться с Розой.

Гораздо интереснее биографический роман Ксенофонта Полевого «Михаил Васильевич Ломоносов» (1836), переиздававшийся до конца XIX века. В этом романе выражено то, что знали и думали о Ломоносове люди эпохи романтизма. Стихи Ломоносова они уже почти не ценили: «несчастная половина XVIII века… когда Вольтер был Аполлоном… когда верили, что поэзии можно учиться», была для поклонников безотчетного вдохновения временем для поэзии убийственным; на взгляд Полевого, Ломоносов был скорее поэтом в своем ученом творчестве, чем в одах. Что касается фактов, то, хотя Полевой явно собирал материал для своей книги, читал уже опубликованные к тому времени документы, его представления довольно наивны, а художественный вымысел беспомощен. Например, описывается, как в Марбурге Ломоносова совращают и вовлекают в кутежи злые бурши Клугеман и Шпрингнагель. Добродетельный Виноградов уговаривает друга пойти домой, Ломоносов не слушает его и после горько раскаивается. И, разумеется, Тредиаковский (как и в примерно тогда же написанном «Ледяном доме» Лажечникова) изображен воплощением подлости и бездарности.

Один эпизод особенно привлекает внимание: это — изображение ссоры Ломоносова и Миллера из-за «Происхождения

народа и имени российского». Мы помним, как обстояло дело в действительности; а вот как изображает его Полевой: Ломоносов хотел произнести панегирик императрице на торжественном заседании академии. Но канцелярия предпочла Миллера, который задумал речь о скандинавском происхождении Рюрика и варягов. Ломоносов написал на Миллера донос, и его речь была уничтожена. Таким образом, Полевой приписывает Ломоносову подлый поступок, которого тот не совершал (если, конечно, не считать мнение, высказанное в ходе открытой научной дискуссии, доносом), чтобы затем многословно оправдывать его «нравственное падение»: «Чувство ненависти к иностранцам, безотчетное и даже извинительное в то время, увлекло его дальше границ чести».

Еще в конце XVIII века стихи Ломоносова прочно вошли в школьную программу. Как все хрестоматийные стихотворения, они становились предметом пародий и перелицовок. Из произведений Ломоносова чаще всего везло в этом смысле «Оде, выбранной из Иова». К примеру, Сергей Марин, поэт и офицер Семеновского полка, в своей пародии на ломоносовскую оду высмеивал императора Павла I, который, как и его отец, был суров к гвардейцам:

О ты, что в горести напрасно
На Бога ропщешь, офицер,
Шумишь и сердишься ужасно,
Что ты давно не кавалер,
Внимай, что царь тебе вещает,
Он гласом сборы прерывает,
Рукой он держит эспантон;
Смотри, каков в штиблетах он…

Начиная с 1830-х годов Ломоносова поднимают на щит представители всех спорящих эстетических школ и политических течений. Для романтика Эдуарда Губера он — гениальная личность, не понятая «толпой». Для поэта и критика Степана Шевырёва, одного из идеологов николаевского официоза, он — поэт державы, воплотивший в своем творчестве идеалы православия, самодержавия и народности. Для славянофила Константина Аксакова — защитник национального начала, враг академических «немцев», оппонент Миллера и Шлёцера. Для западников — поборник западного просвещения. Для «людей 1860-х годов» (например, для видного историка литературы, профессора Н. Н. Булича) — сторонник связи науки с практикой, борец за право на образование для простолюдинов, ценный

прежде всего своей «сознательной любовью к народу». Для церковных риторов (например, для архимандрита Александро-Невской лавры Никанора) — человек, выпестованный Славяно-греко-латинской академией, автор духовных од и «Предисловия о пользе книг церковных», примиривший современную науку с заветами православия.

В этом смысле любопытен спор о Ломоносове между славянофилом Н. В. Савельевым-Ростиславичем и Белинским. Первый восхвалял Ломоносова-историка за то, что тот, «имея предшественниками только Байера с Миллером, игравших созвучиями, и Татищева, чуждого высшей исторической критике — силою собственного воображения вознесся до такой высоты, что смог построить такую замечательную теорию нашей и общеславянской истории». Но увы! «Глас человека благородного, вставшего на защиту народности, не нашел отклика между современниками: они увлечены были пристрастием к направлению исключительно западному». Затравленный, Ломоносов «пал в борьбе за независимость русской мысли». Белинский не без остроумия отвечал на это, что «Ломоносов не падал, сколько нам известно, и умер своей смертью, незадолго до этого осчастливленный визитом Екатерины II… Дай Бог всякому так падать! Правда, Ломоносов умер прежде времени, но это по собственной вине, вследствие некоторого пристрастия к некоторому варяго-русскому напитку, а совсем не потому, что его кто-нибудь преследовал за независимость русской мысли». Что же до истории, то «немецкие ученые, с которыми он так опрометчиво, так запальчиво и так неосновательно вступил в спор, стояли в отношении к истории, как к науке, неизмеримо выше его. <…> Я не вижу уголовного преступления со стороны Ломоносова в том, что он ввязался не в свое дело, но как не стыдно г. Савельеву-Ростиславичу видеть тут что-то, кроме пустой риторики?» («Неистовый Виссарион» преклонялся перед позитивной «немецкой наукой», но сам был, конечно, торопливым в оценках и нетерпимым русским самородком — только менее образованным, чем Ломоносов…)

В 1860-е годы труды и публикации А. А. Куника, П. П. Пекарского, П. С. Билярского, В. И. Ламанского, С. М. Соловьева позволили восстановить полную картину официальной, служебной жизни Ломоносова. Биография, написанная Пекарским и включенная во второй том его «Истории Академии наук в Петербурге», неизмеримо возвышалась по полноте и точности над всем, написанным прежде, да и поныне не утратила значения.

Белым пятном оставались, однако, труды Ломоносова-

естествоиспытателя. Первыми, кто занялся их анализом, были астроном Д. М. Перевощиков (брат помянутого В. М. Перевощикова), врач и востоковед Г. И. Спасский и известный историк науки Н. А. Любимов, автор книги «Ломоносов как физик» (1855). Выводы их были сдержанны: Михаил Ломоносов интересен как участник научных дискуссий своего времени, как человек, умевший понимать актуальные вопросы естествознания и правильно их формулировать — не более того. Однако в конце века этот взгляд был скорректирован, так как некоторые теории Ломоносова, которые казались неверными и устаревшими (например, о кинетических причинах теплоты или волновой природе света), неожиданно приобрели актуальность. Научное наследие Ломоносова было заново просмотрено и оценено В. И. Вернадским и особенно Б. Н. Меншуткиным. Вернадский в «Очерках по истории естествознания в России в XVIII столетии» (1915) так определяет значение Ломоносова: «Мы видим в нем предшественника современной химии, одного из немногих лиц, в руках которых были в то время точные приемы геологической мысли, первоклассного физика… проникавшего далеко в глубь научной мысли последующих поколений». В 1930-е годы благодаря трудам П. Н. Беркова и Г. А. Гуковского была заново изучена и поставлена в более полный исторический контекст поэзия Ломоносова, изучены в деталях его взаимоотношения с Сумароковым и Тредиаковским. О том, что и стихи, и личность его были в ту пору актуальными и живыми для думающих и чувствующих людей, лучше всего свидетельствует стихотворение замечательного русского поэта Сергея Петрова «Похвальное слово Ломоносову», написанное в 1934 году, в молодости, в сибирской ссылке, — его начальные строки стали эпиграфом к этой книге. Вот еще несколько строф:

Слово славы между прочим
ты вписал себе в итог,
над столом клоня рабочим
пукли мудрой завиток.

Век, идеями чреватый,
пал, как хмурая пора,
под полет витиеватый
лебединого пера.
<…>
Над тобою, трудолюбцем,
первый рокот лирных струн.
И Нептун грозит трезубцем,

и свергает Зевс перун.

А когда природа кучей
свалит все на дно ночей,
ты, парик закинув в тучи,
гром низвергнешь из очей.

Позднее, в послевоенные годы, Михайло Васильевич был во многом превращен в икону, в своего рода Ленина — Сталина русской науки, лишенного человеческих слабостей и правого в любом споре с любым оппонентом. В общем-то канонизация Ломоносова именно в эту эпоху — явление закономерное. Более того, канонизация эта имела большие положительные последствия: перечислять ломоносоведческие труды, появившиеся после 1945 года, можно бесконечно. Но огромный фактический материал, собранный исследователями, однобоко и тенденциозно интерпретировался. С годами, конечно, картина несколько смягчалась. Научные и литературные противники Михайлы Васильевича уже не обязательно объявлялись «врагами России» или «бездарностями». Но, скажем, Шумахер и Тауберт, люди со множеством недостатков, но имеющие свои заслуги перед русской культурой, демонизируются даже в книгах начала 1990-х годов.

Лучшим из всего написанного в советское время о Ломоносове остаются труды А. А. Морозова. Его большая биографическая книга, впервые вышедшая в серии «ЖЗЛ» в 1950 году с предисловием С. И. Вавилова, не могла не нести отпечатка эпохи. И все же она производит сильное впечатление цельностью и связностью изложения и тем, как автор, владевший огромным материалом, сумел выбрать главное, коренное, — главное по тогдашним представлениям, конечно. Еще ценнее, может быть, его книги «Ломоносов: путь к зрелости. 1711–1741» (1961) и «Родина Ломоносова» (1975). Знаток Русского Севера и филолог-германист, Морозов сумел поставить свои разнообразные знания на службу своей главной теме, которой стала биография Ломоносова. Достаточно сказать, что он был первым, кто сравнил «Хотинскую оду» с «Одой принцу Евгению» и вообще поэзию Ломоносова — с творчеством влиявших на него немецких поэтов. Э. П. Карпеев, Г. Е. Павлова, Г. Н. Моисеева, Е. Н. Лебедев, Н. А. Шумилов и другие исследователи продолжали труды Морозова. Но в книгах, выходивших массовым тиражом, по условиям времени не удавалось избежать тенденциозности и умолчаний. В беллетристических произведениях, в

киносценариях этой тенденциозности было, конечно, еще больше.

Результат, если говорить о массовом сознании, был обратным задуманному: ходульный образ патриота «без страха и упрека», созданный писателями и кинематографистами, оказался совершенно лишенным той мощи, того обаяния, которые присущи настоящему Ломоносову, и не вызывал ничего, кроме раздражения. Естественно, как противовес этой скучной мифологии в 1990-е годы стали появляться материалы другого рода — в основном статьи в газетах или Интернете. Авторы этих материалов или взахлеб обсуждают любимую тему о Ломоносове — сыне Петра I (находя все новые «неопровержимые доказательства»), или «разоблачают» недавнего кумира.

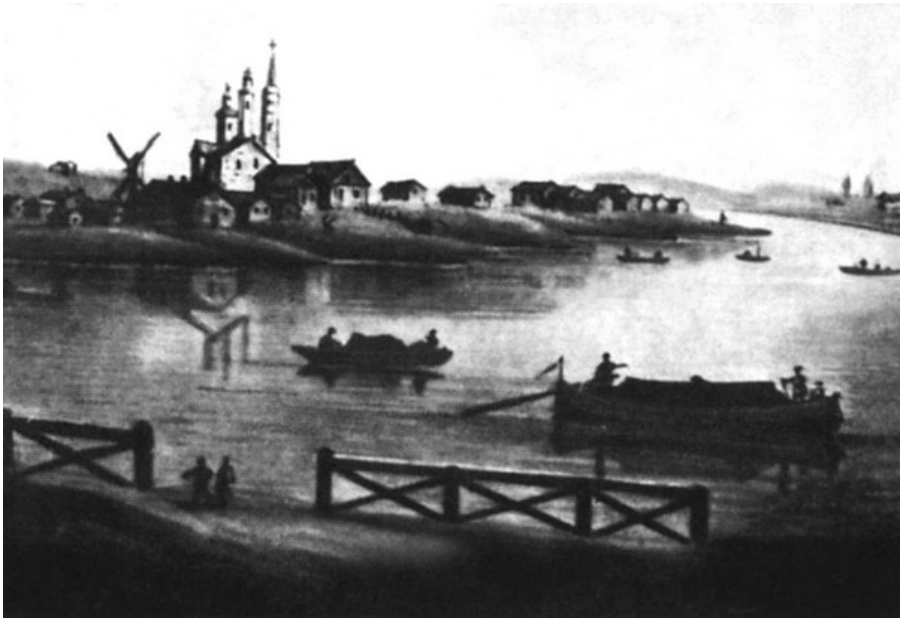
Примерами «разоблачительных» публикаций (претендующих на научную серьезность) могут служить статьи В. К. Новика «Академик Франц Эпинус»[138] и Дмитрия Верхотурова «Неизвестный Михайло Ломоносов»[139]. Статья Новика написана, кстати, по лекалам советских ломоносоведческих работ худшего сорта: академик Эпинус оказывается прав во всем и всегда, ему приписываются самые невероятные заслуги (например, он объявляется основоположником государственного образования в России на том основании, что некоторое время подрабатывал в Шляхетном корпусе), а обилие ссылок на архивные материалы маскирует неполноту и лукавство в изложении известных фактов и событий. Гонителю же Эпинуса дается следующая характеристика: «Научная ценность исследовательских работ Ломоносова даже по меркам XVIII века как минимум — спорна. Его организационная деятельность (академический университет, гимназия, экспедиции) — малорезультативна. Деятельность в Академической канцелярии — сплошная цепь интриг, скандалов и жалоб в Сенат. Поведение в Конференции Академии и историю создания Московского университета — лучше обойти молчанием…» «Как минимум спорна» и «лучше обойти молчанием» — хорошие аргументы, но даже это пристойнее, чем откровенная клевета (утверждения, что Ломоносов писал жалобы в Сенат на своих оппонентов в естественно-научных дискуссиях, только так и можно назвать). Верхотуров, сделавший предметом рассмотрения коллизию из-за писем Делиля к Миллеру, точен фактически, но антиисторичен в оценках. Отрицать порядочность Ломоносова на том основании, что он согласился принять участие в обыске у Миллера, или, скажем, лишать Миллера права называться благородным человеком потому, что он сек батогами своих ассистентов в сибирской экспедиции, — все равно что осуждать Платона и Аристотеля за то, что они были рабовладельцами. А разговор о «ломоносовских традициях

политического сыска и доносительства в Академии» — просто отрыжка культа Ломоносова в самые гнусные дни отечественной истории (но разве сам Михайло Васильевич в этом виноват?).

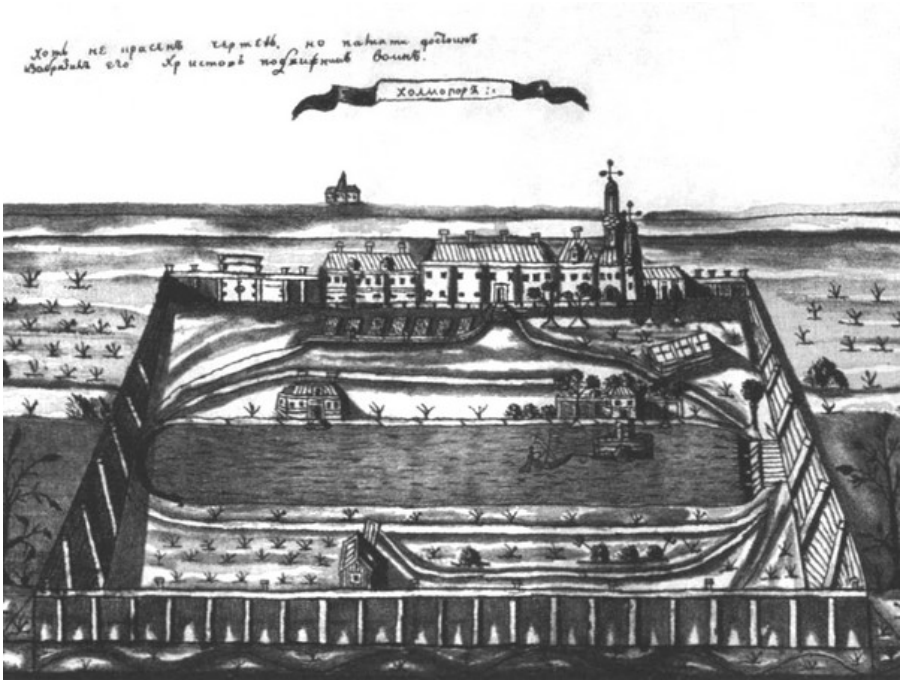
Наряду с такими материалами, впрочем, постоянно появляются работы, авторы которых пытаются объективно взглянуть на личность и эпоху Ломоносова с современной точки зрения, но и с учетом исторической дистанции. Особенно ценен в этом отношении энциклопедический словарь «Ломоносов» (редактор-составитель Э. П. Карпеев), подготовленный в 1999 году Музеем М. В. Ломоносова в составе Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого. Эта книга стала первой вехой в создании новой биографии Ломоносова, отражающей представления и опыт человека уже постсоветской эпохи[140].

Хочется верить, что и в этом жизнеописании Ломоносова удалось сделать еще один, пусть скромный, шаг в том же направлении.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



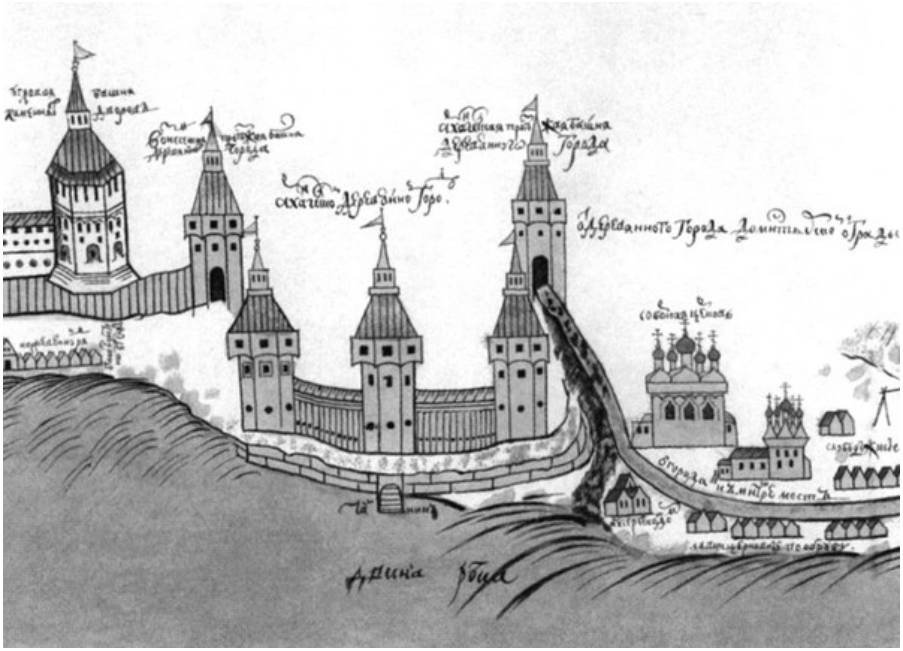
Деревня Мишанинская Куростровской волости, где родился М. В. Ломоносов. Рисунок, XIX в.



Вид Холмогор. Рисунок царевны Екатерины Антоновны, вторая половина XVIII в.



Петр I с аллегорической фигурой Славы. Портрет работы Я. Амикони, между 1732 и 1734 гг.



Архангельск. Гравюра, 1694 г.



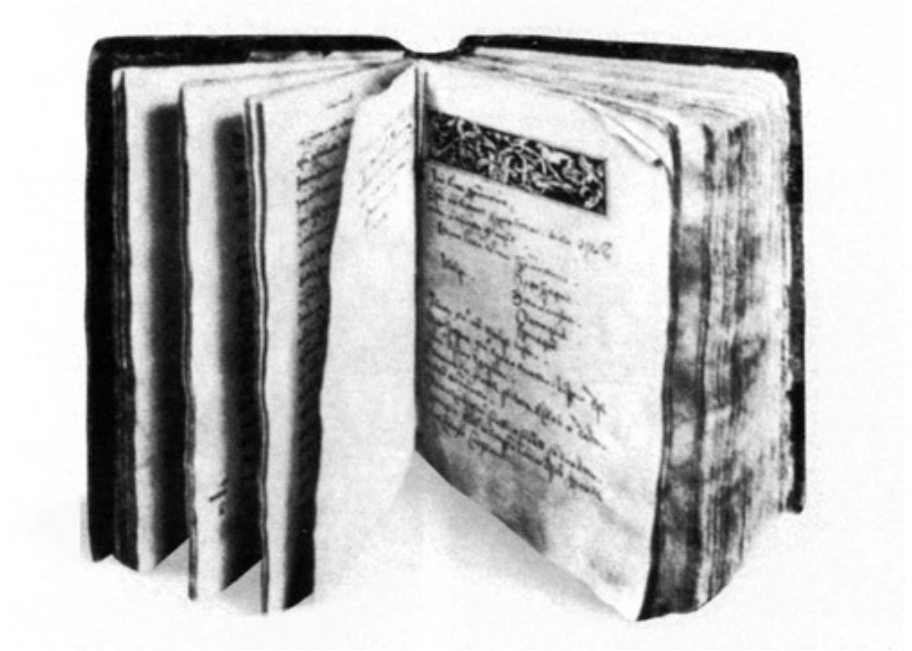
«Арифметика» Леонтия Магницкого. Издана в 1703 году



Гукор. Реконструкция. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)



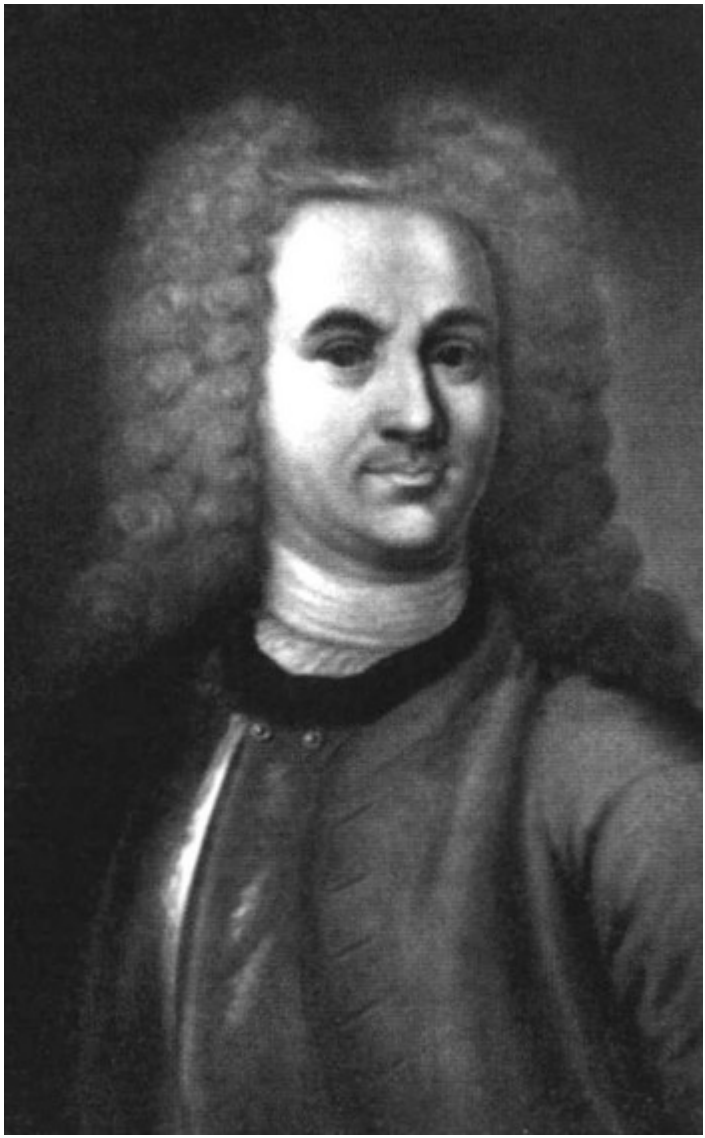
Симеон Полоцкий. Гравюра Н. Соколова, 1821 г.



«Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Издана в 1648 году



Петр II. Портрет работы И. П. Люддена (?), 1739 г.



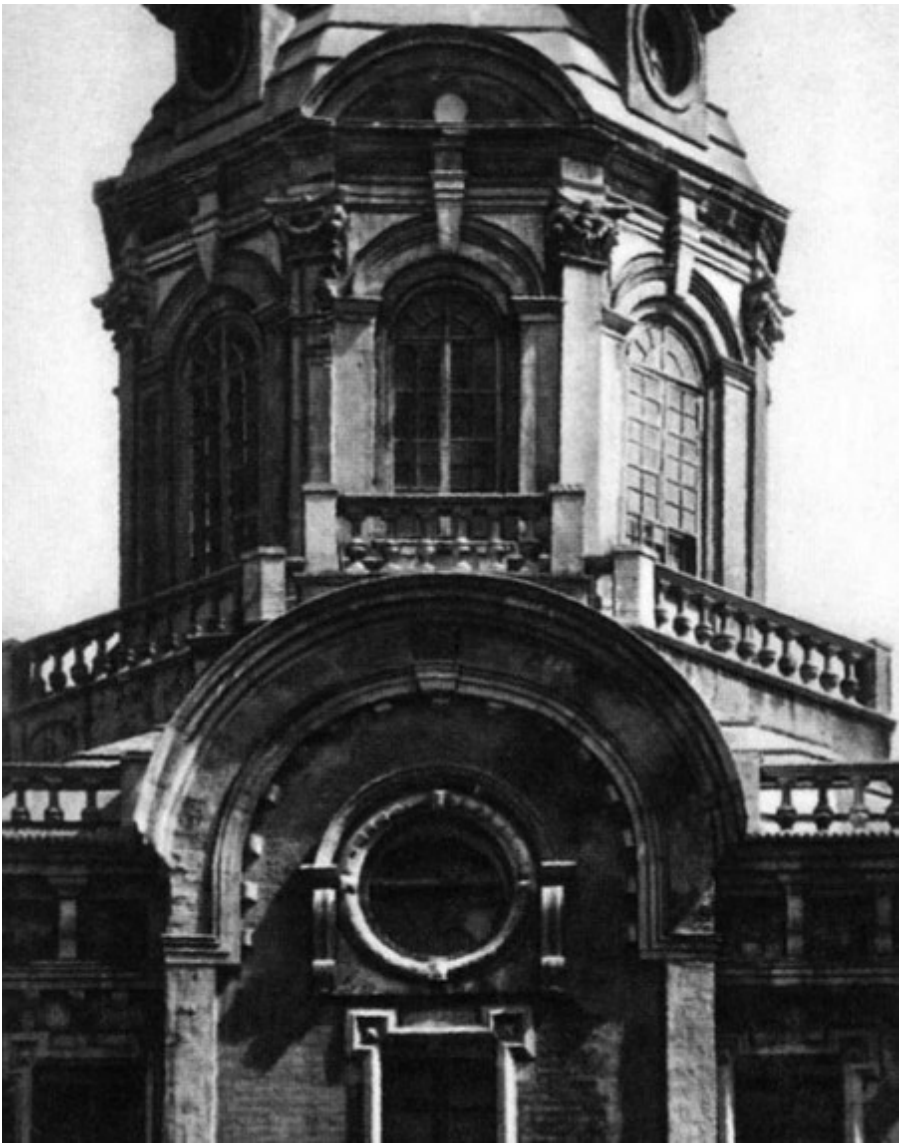
В. Н. Татищев. Портрет, XVIII в.



А. Д. Кантемир. Гравюра Бозана с портрета работы Я. Амикони, 1749 г.



Императрица Анна Иоанновна. Портрет работы Л. Каравака, 1730 г.

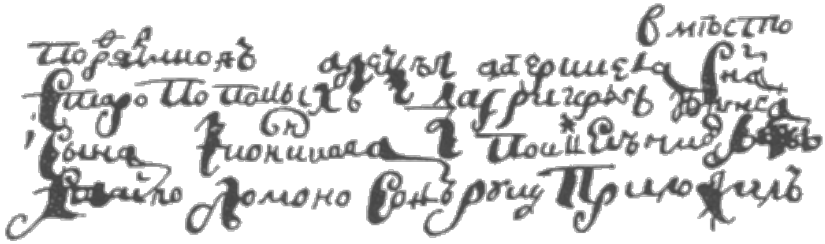


Собор Заиконоспасского монастыря в Москве. Построен в 1711–1720 годах

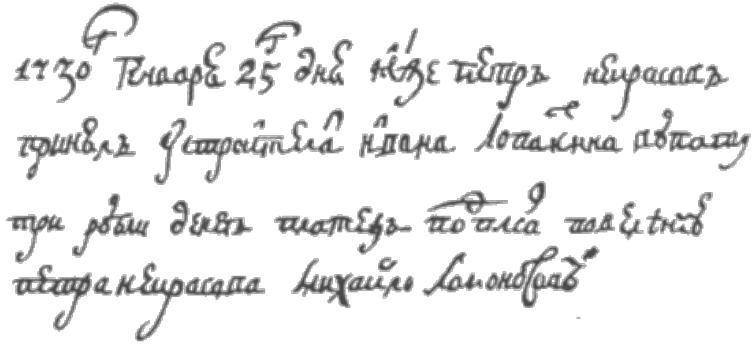


Феофан Прокопович. Гравюра А. Афанасьева, 1821 г.

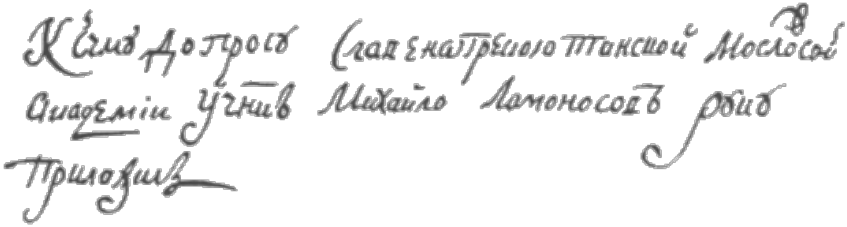
1726 г.



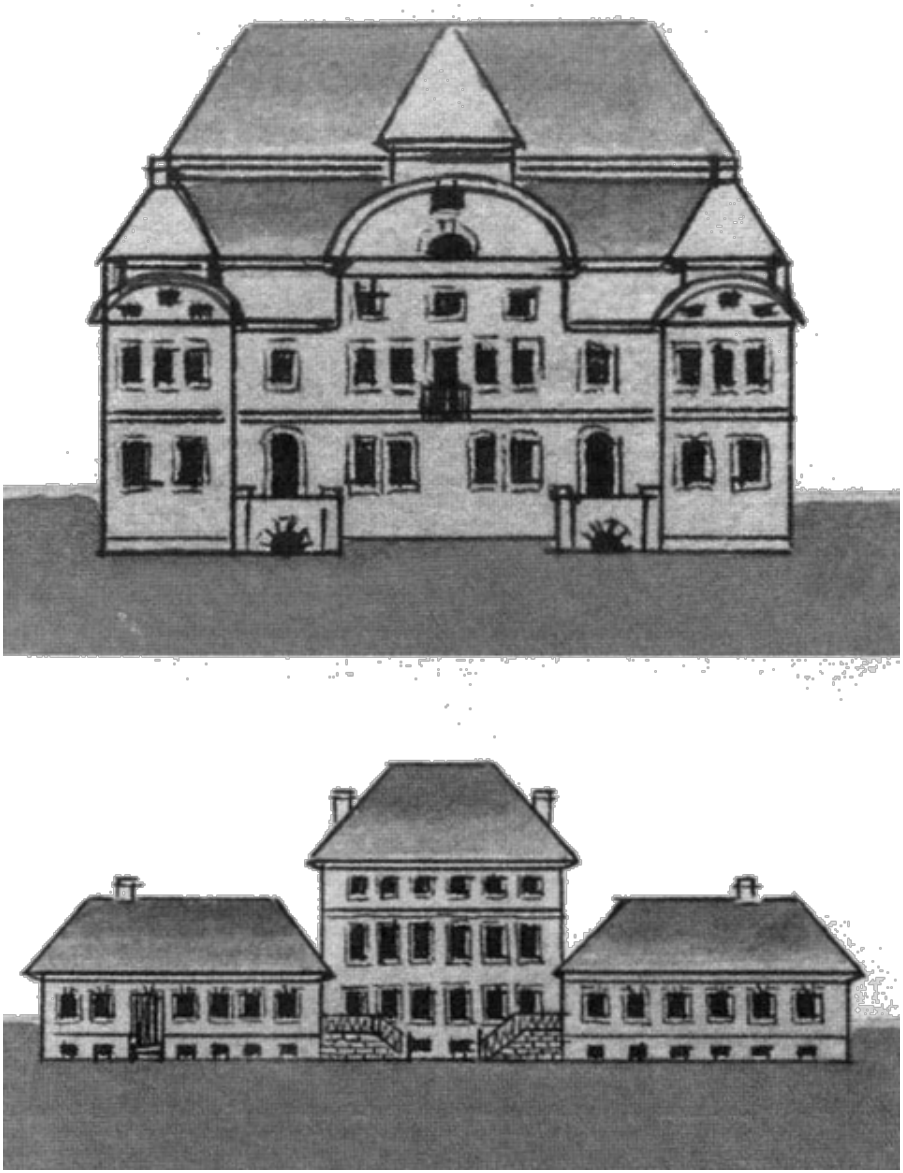
1730 г.



1734 г.



Образцы почерка М. В. Ломоносова разных лет



Первое здание Академии наук (бывший дворец П. П. Шафирова). Реконструкция по рисункам XVIII в.



И. А. Корф. Портрет, XVIII в.



Г. Кейзерлинг. Портрет, XVIII в.



Вид на Кунсткамеру и палаты Академии наук со стороны Зимнего дворца. Гравюра М. И. Махаева, 1750–1752 гг.



В. К. Адодуров. Силуэт, XVIII в.



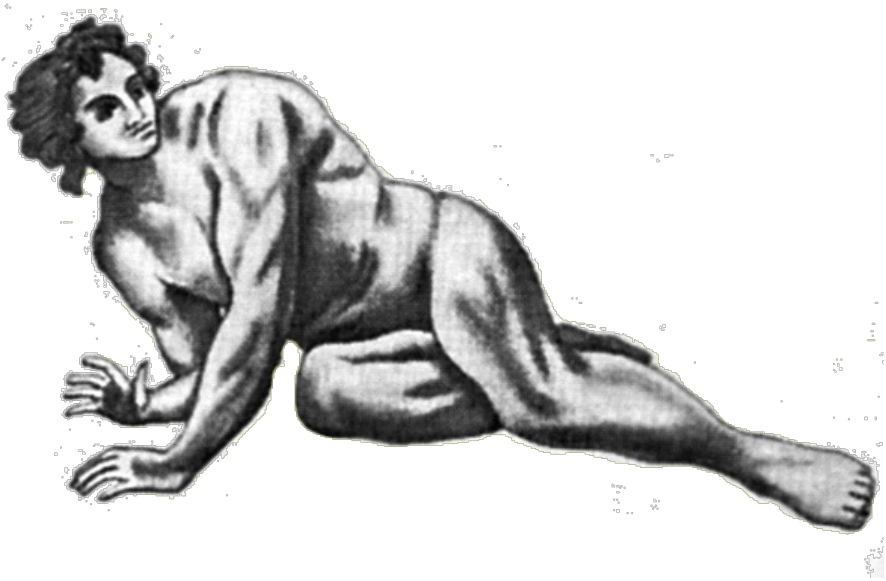
Г. Ф. Миллер. Силуэт, XVIII в.



Марбургский университет. Гравюра, XVIII в. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)



Христиан Вольф. Портрет, XVIII в.



Каин. Студенческий рисунок М. В. Ломоносова, 1730-е гг.



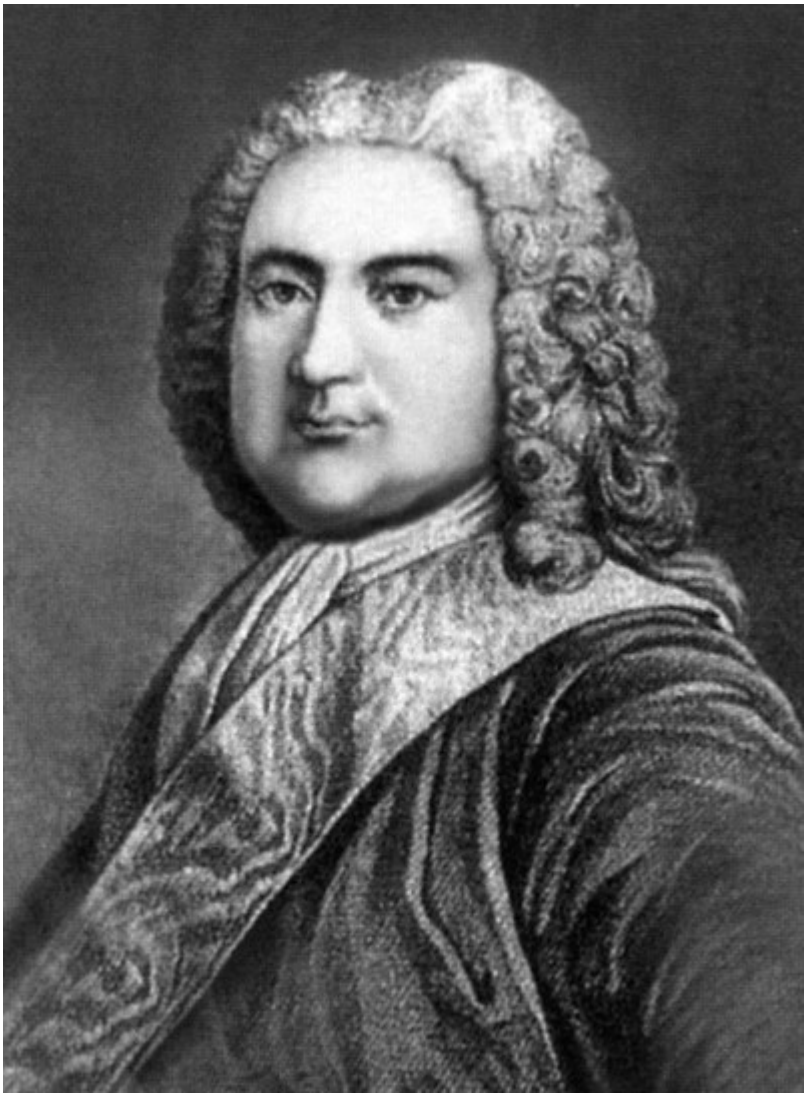
Студент немецкого университета. Акварель, XVIII в.



Вид Фрейберга. Гравюра, XVIII в.



Б. Миних. Портрет, XVIII в.



Э. И. Бирон. Портрет, XVIII в.



Анна Леопольдовна. Портрет, XVIII в.



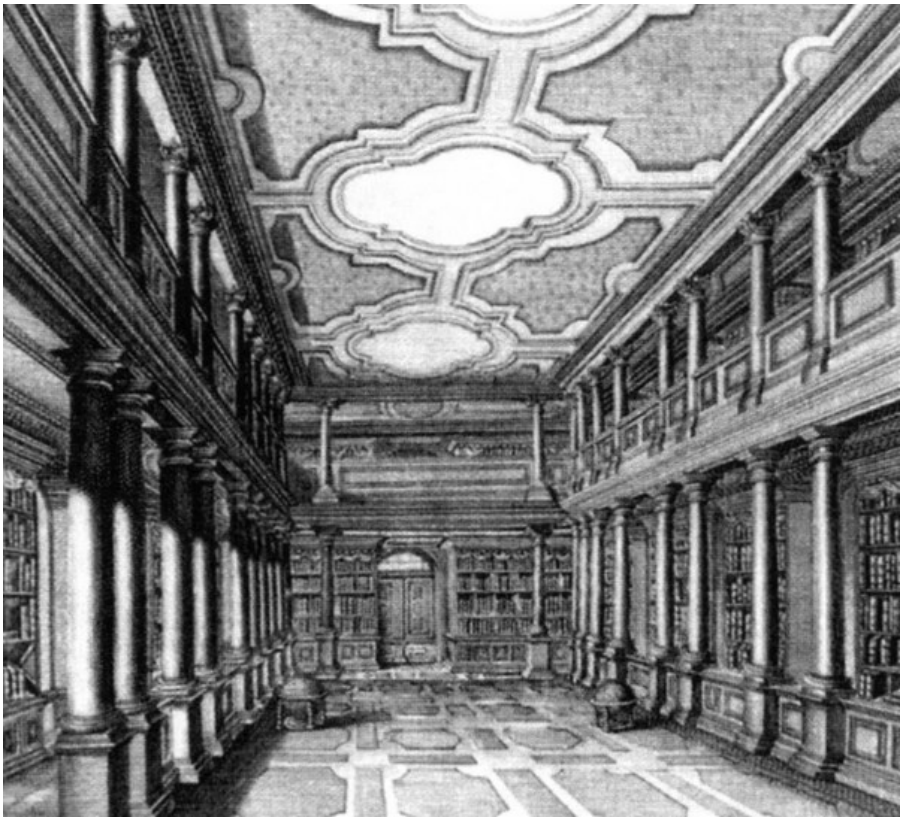
Антон Ульрих Брауншвейгский. Портрет, XVIII в.



Император Иван Антонович. Портрет, XVIII в.



М. В. Ломоносов. Портрет, XVIII в.



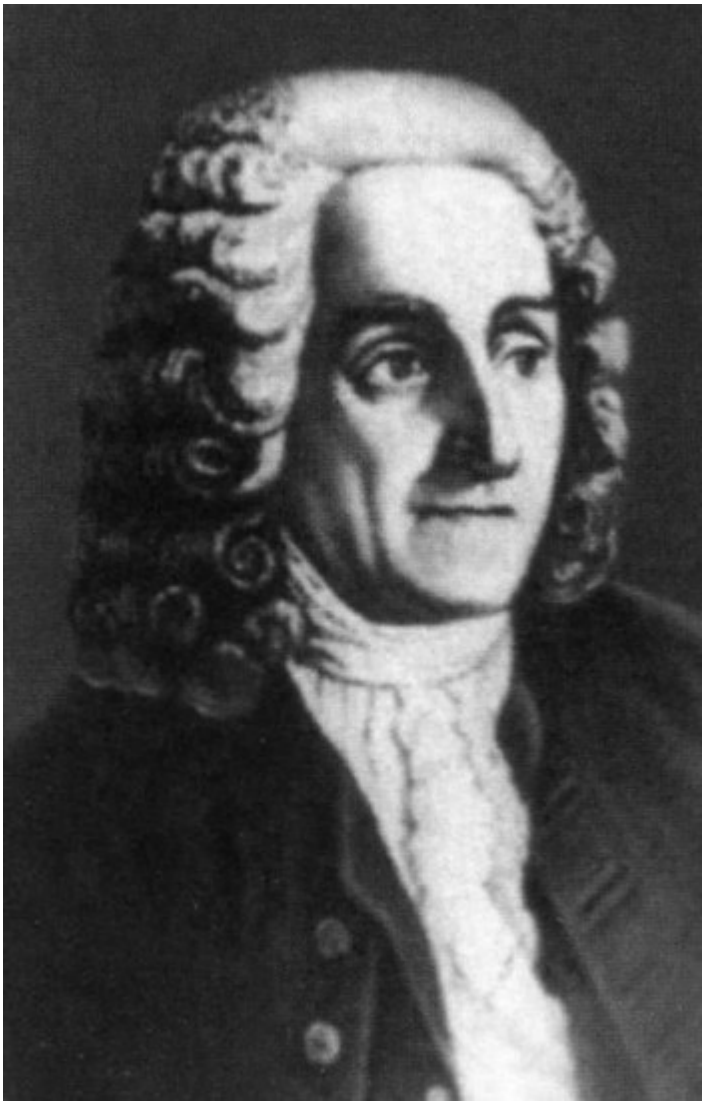
Зал библиотеки Академии наук в Кунсткамере. Гравюра из книги «Палаты Академии наук…» 1741 г.



Якоб Штелин фон Штроксбург. Гравюра И. Штенглина по оригиналу Г. Ф. Шмидта, 1762–1764 гг.



А. Н. Нартов. Портрет, первая половина XVIII в.



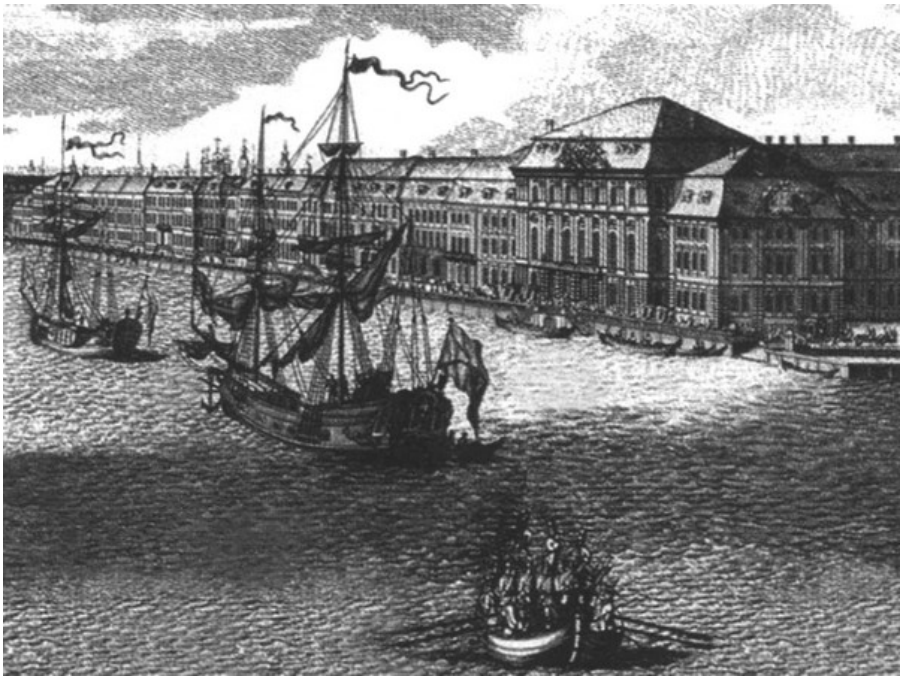
Ж. Н. Делиль. Портрет, XVIII в.



Г. Н. Теплов. Портрет, XVIII в.



Императрица Елизавета Петровна в начале царствования. Портрет работы К. Ванлоо, 1743 г.



Вид на Зимний дворец и императорские яхты. Гравюра М. И. Махаева (фрагмент), 1750-е гг.



Граф К. Г. Разумовский. Гравюра Г. Ф. Шмидта по оригиналу Л. Токе, 1762 г.



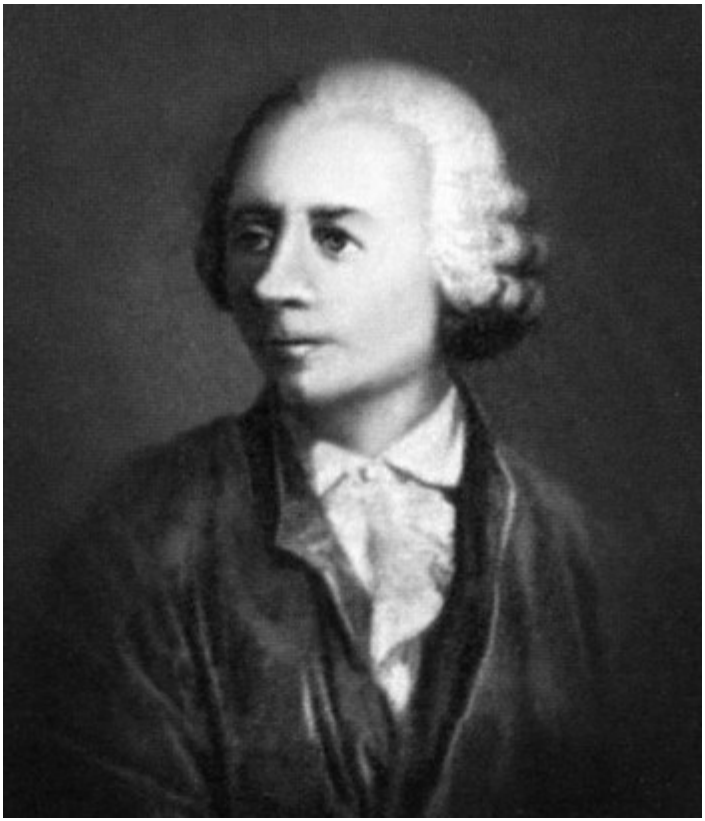
Граф А. Г. Разумовский. Миниатюра, 1740-е гг.



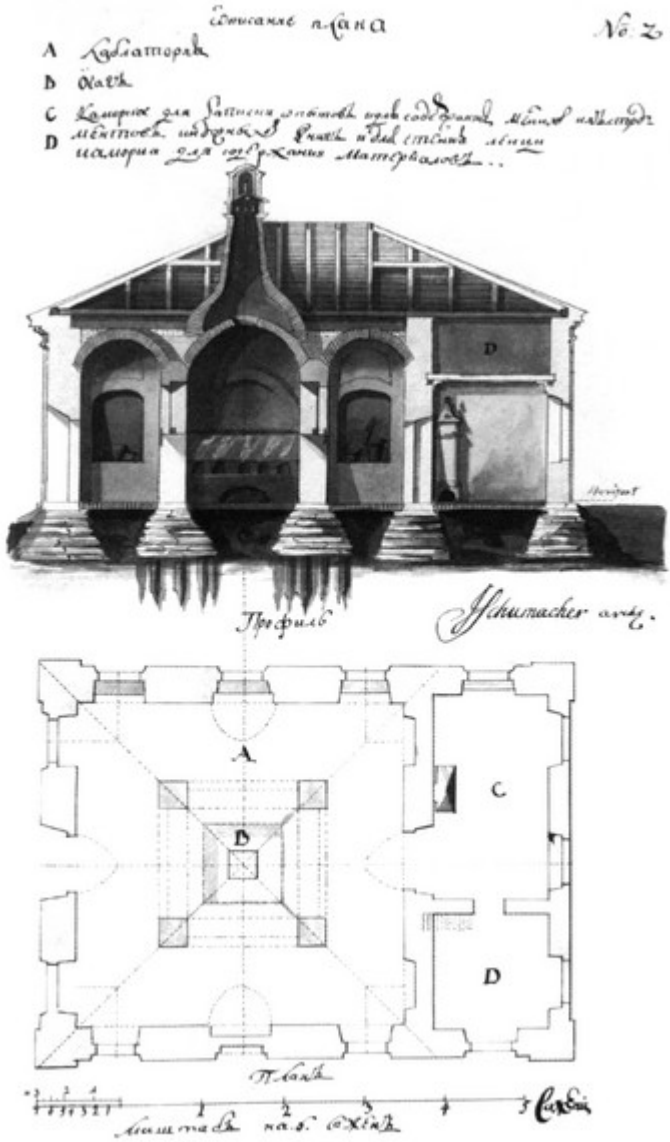
И. Гмелин. Портрет, XVIII в.



М. Л. Воронцов. Гравюра, XVIII в.



Леонард Эйлер. Портрет, XVIII в.



Проект химической лаборатории. Рисунок М. В. Ломоносова, 1748 г. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)



Великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Портрет работы А. Р. Лисевска, 1756 г.



А. И. Шувалов. Портрет, XVIII в.



П. И. Шувалов. Портрет, XVIII в.



И. И. Шувалов. Гравюра Е. Чемесова по портрету П. Ротари, 1760 г.



А. П. Сумароков. Гравюра И. Г. Зейферта, 1800 г.



В. К. Тредиаковский. Портрет работы Ф. С. Рокотова (?)



И. С. Барков. Гравюра К. Н. Афанасьева, 1830-е гг.



И. П. Елагин. Гравюра Д. Г. Герасимова по оригиналу Ж. Л. Вуаля, 1773 г.



Фронтиспис «Российской грамматики» М. В. Ломоносова, исполненный по его указаниям. Издана в 1757 году

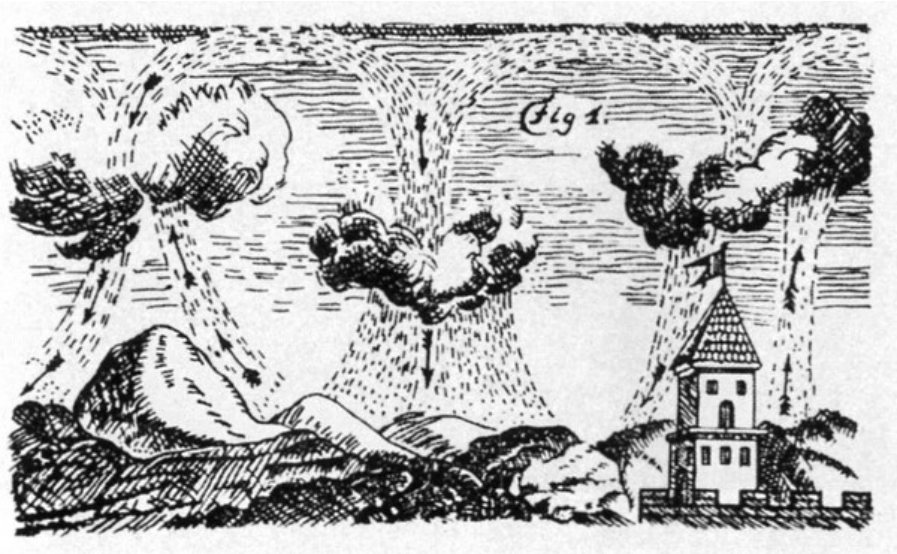
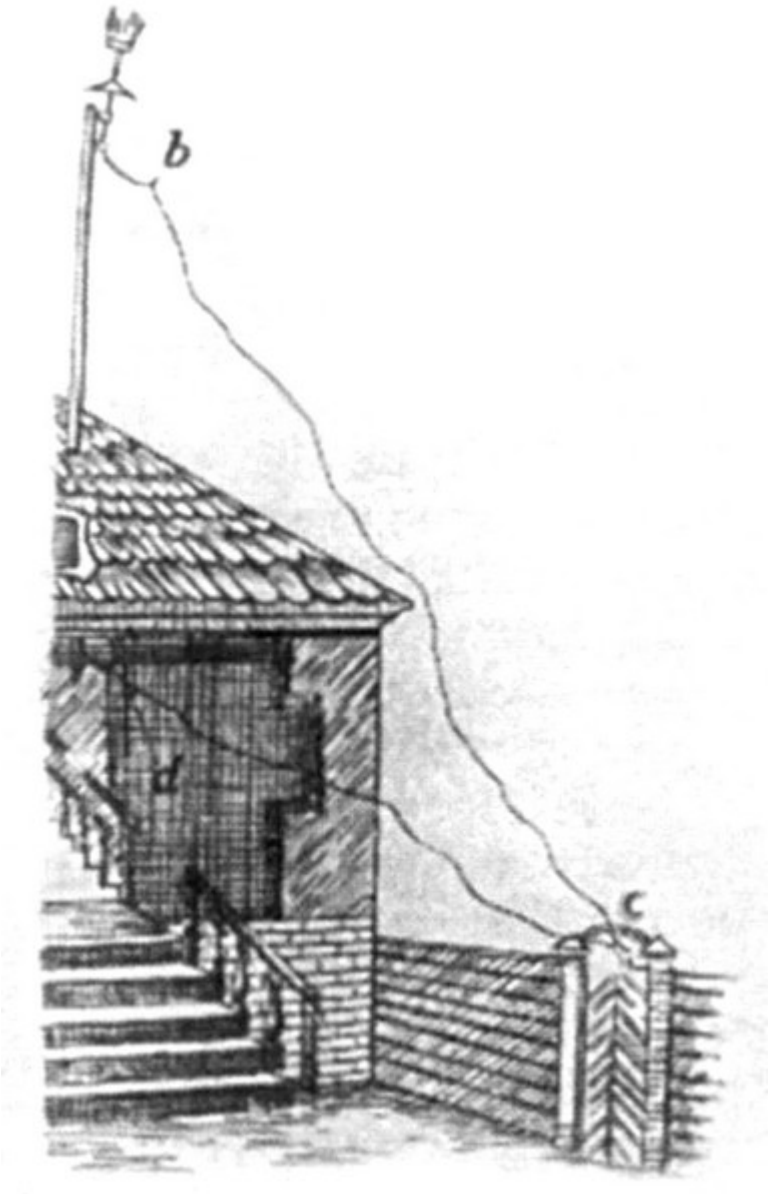
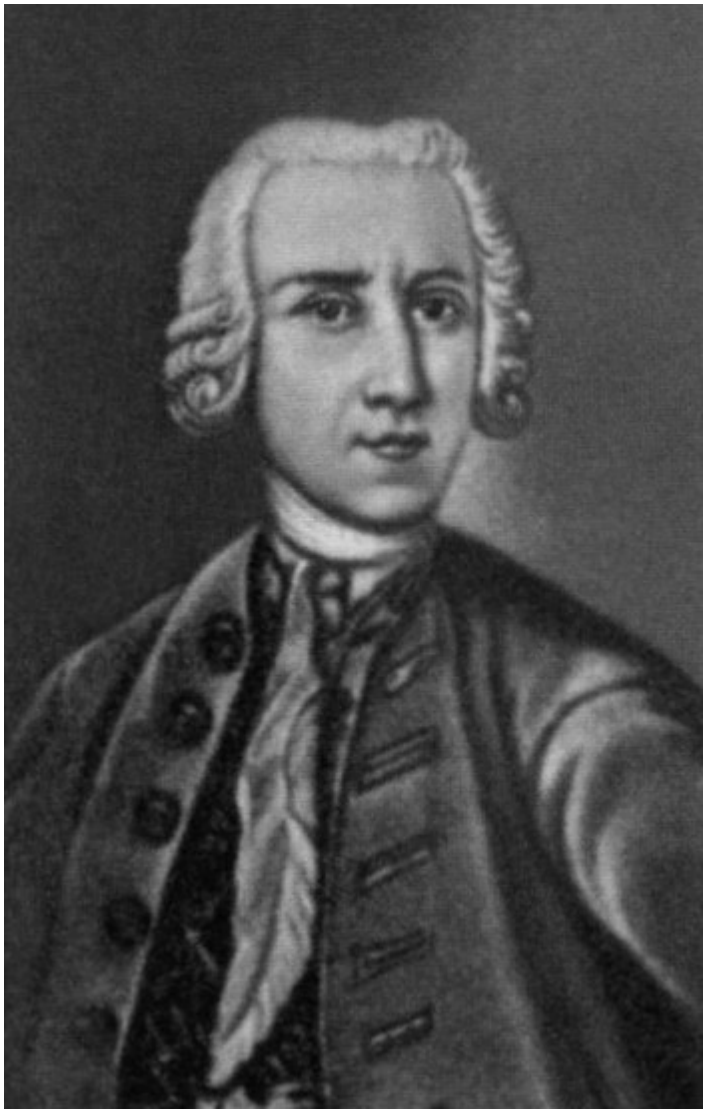


Схема образования вертикальных воздушных потоков в атмосфере. Рисунок М. В. Ломоносова, 1753 г.



Схематическое изображение «громовой машины», установленной М. В. Ломоносовым в своем доме в 1753 году



Г. В. Рихман. Портрет, XVIII в.



Царевна Анна Петровна. Мозаика мастерской М. В. Ломоносова. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)



Г. Г. Орлов. Мозаика мастерской М. В. Ломоносова. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)



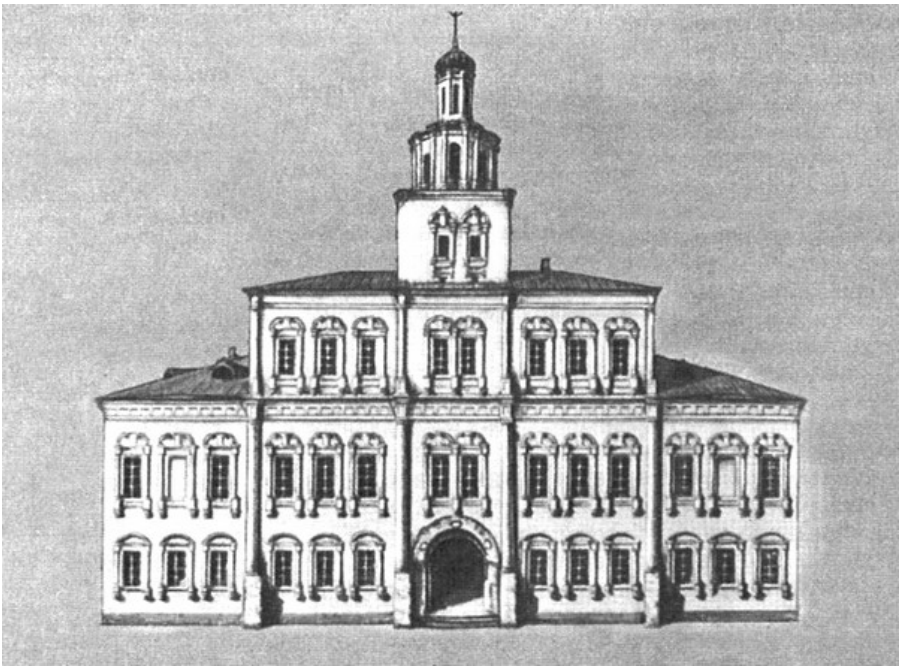
Дом М. В. Ломоносова на Мойке. Акварель, XIX в.



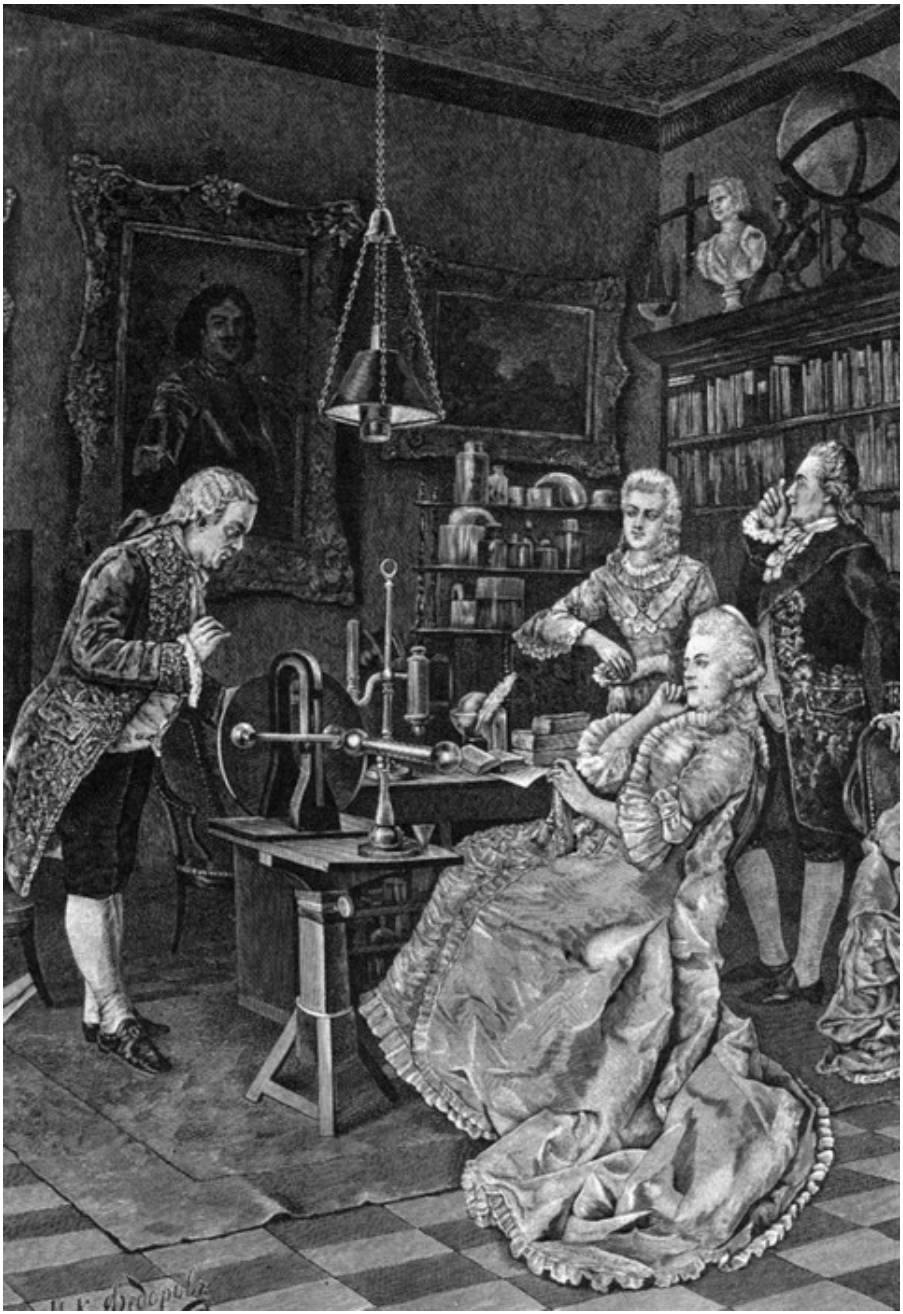
Вольтер. Гравюра, XVIII в.



А. Л. Шлёцер. Портрет, XVIII в.



Первое здание Московского университета, бывший Аптекарский приказ. Фотография, начало XX в.



Визит Екатерины II к М. В. Ломоносову. Рисунок, вторая половина XIX в.



М. В. Ломоносов. Бюст работы Ф. И. Шубина, 1793 г.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. В. ЛОМОНОСОВА

***1711**, 8 (19 по новому стилю) ноября или 12 июля* — в деревне Мишанинской Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии, в семье государственного крестьянина Василия Дорофеевича Ломоносова и его жены Елены Ивановны, урожденной Сивковой, родился сын Михайло.

1719–1720 — смерть Е. И. Ломоносовой. Постройка В. Д. Ломоносовым собственного гукора «Чайка». Вторая женитьба В. Д. Ломоносова.

1721–1727 — выходы с отцом в море. Обучение грамоте. Переписывание церковных книг, служба в церкви псаломщиком. Сближение с семьей Христофора Дудина, в доме которого происходит знакомство со светскими книгами. Рождение брата Ивана (видимо, вскоре умершего). Смерть первой мачехи, Федоры Михайловны. Третий брак В. Д. Ломоносова — с Ириной Семеновной Карельской.

1728–1729 — примыкает к старообрядцам-беспоповцам, «по нерадению» не является к исповеди и не причащается, возможно, некоторое время живет в Выговской пустыни.

***1730**, 9 декабря* — бегство из дома с выправленным накануне паспортом, проживает в Антониеве Сийском монастыре у дяди, затем с рыбным обозом отправляется в Москву.

***1731**, январь* — прибытие в Москву. Поступление в Славяно-греко-латинскую академию (Михайло выдает себя за дворянского сына).

1732 — рождение сестры и смерть мачехи. Первый дошедший до нас стихотворный опыт.

1734 — попытка участия в Оренбургской экспедиции в сане священника; но «разоблачен» как крестьянский сын.

***1735**, лето* — предположительно, совершает поездку в Киев для обучения в Киево-Могилянской академии. Возвращение в Москву.

Декабрь — в числе двенадцати учеников Славяно-греко-латинской академии отправлен в Петербург, в распоряжение Академии наук.

***1736**, 3 января* — прибытие в Петербург; поступает на содержание Академии наук. Начало обучения немецкому языку.

Март — отобран для изучения химии и минералогии в Германии, вместе с Д. И. Виноградовым и Г. У. Рейзером. Знакомство с «Новым и кратким способом…» Тредиаковского.

Сентябрь — ноябрь — вместе с товарищами отправляется морем в Любек, дальше — сухим путем в Марбург.

17 ноября — зачисление в Марбургский университет.

1737–1738 — изучение в университете под общим руководством Х. Вольфа немецкого и французского языков, философии, математики, физики, химии, механики. Берет частные уроки рисования, фехтования и танцев. Отправляет в Петербург первую научную работу «О превращении твердого тела в жидкое в зависимости от движения предсуществующей жидкости», а также перевод «Оды к уединению» Фенелона. Квартирует в доме Цильхов. Расточительность Ломоносова и его товарищей и сделанные ими долги вызывают беспокойство руководства академии.

***1739**, 24 марта* — отправляет в Петербург «специмен» «Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул».

20 июля — перевод для дальнейшего обучения во Фрейберг после выплаты большей части долгов Академией наук и Вольфом. Обучение у И Ф. Генкеля горному делу и минералогии.

Август — декабрь — Ломоносов пользуется покровительством Г. Ф. В. Юнкера, переводит для него труды по солеварению. Сочинение «Оды на взятие Хотина» и «Письма о правилах российского стихотворства», в конце года Юнкер доставляет их в Петербург.

9 ноября — рождение в Марбурге Екатерины Елизаветы, дочери Ломоносова и Елизаветы Христины Цильх.

1740 — начало конфликтов Ломоносова с Генкелем.

16–19 мая — после отказа Генкеля повысить студенческое пособие Ломоносов покидает Фрейберг, отправляется в Лейпциг, а затем в Марбург.

6 июня — венчание с Е. Х. Цильх.

Июль — октябрь — с попыткой возвращения в Россию пешком отправляется в Гаагу, после неудачи возвращается в Марбург. По дороге — посещение шахт, встречи с горными мастерами. Вербовка обманом в прусскую армию, бегство.

***1741**, май* — отъезд в Петербург через Гаагу после получения от Академии наук денег. При мистических обстоятельствах узнает о гибели отца.

Июнь — декабрь — поселяется в Боновом доме. Работа в Петербургской академии наук под руководством И. Аммана. Составление каталога минералогической коллекции. Сочинение двух од Иоанну VI.

Август — представление в академию работ «Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении

корпускул» и «Физико-химические размышления о соответствии серебра и ртути» для получения звания адъюнкта. Написание труда «Элементы математической химии».

Декабрь — рождение в Марбурге сына Ломоносовых Ивана, вскоре умершего.

***1742**, 28 января* — произведение в адъюнкты. Первое прошение об организации в академии химической лаборатории.

Январь — май — перевод стихов Я. Штелина и Г. Ф. В. Юнкера, посвященных новой императрице Елизавете Петровне (по заданию академии). Написание оды «На прибытие из Голстинии и на день рождения Его императорского Высочества Великого князя Петра Федоровича».

1 сентября — начало курса лекций по «географии физической», «химии минералов» и «естественной истории».

25 сентября — драка в Боновом доме с соседом, садовником Штурмом, и его гостями. Вмешательство полиции.

30 сентября — арест советника Академической канцелярии И. Д. Шумахера с отдельными сотрудниками по обвинению в злоупотреблениях. Повод к аресту — жалобы, поданные профессором Ж. Н. Делилем, начальником инструментальных мастерских академии А. К. Нартовым, рядом переводчиков и мелких служащих академии. Ломоносов, единственный из профессоров и адъюнктов, принимает сторону Нартова и Делиля.

Октябрь — Нартов, назначенный на место Шумахера, привлекает Ломоносова к руководству академией, что повлекло конфликты с профессорами.

Декабрь — создание оды «На благополучное прибытие государыни императрицы…».

***1743**, 21 февраля* — решение профессорского состава о лишении Ломоносова права посещения Академического собрания.

1 марта — дача показаний по делу Шумахера.

Начало марта — жена Ломоносова разыскивает его через русского посла, Ломоносов снабжает ее деньгами на переезд в Петербург.

12 марта — оправдание Шумахера по большинству пунктов и освобождение из-под стражи.

26 апреля — самовольная явка Ломоносова в Академическое собрание и оскорбление им конференц-секретаря Х. Винсгейма, адъюнкта Дж. Трускота и секретаря академии А. Иванова.

Май — вторичное прошение об организации химической лаборатории. Официальная жалоба профессоров на поведение Ломоносова.

28 мая — отказ Ломоносова от объяснений перед комиссией Сената. Арест.

Август — переведен под домашний арест.

Август — декабрь — написание работ «Опыт теории о нечувствительных частицах тел», «О составляющих физические тела нечувствительных частицах», «Краткое руководство к риторике», стихотворений «Вечернее…» и «Утреннее размышление о Божием Величестве», и др. Завершение труда «Первые основания металлургии» (издан в 1763 году). Творческое соревнование с Сумароковым и Тредиаковским в переложении Псалма 143 (изданы одной брошюрой в начале 1744 года).

Осень — прибытие в Петербург Елизаветы Ломоносовой с дочерью и братом.

***1744**, 27 января* — по решению Сената публичное извинение перед коллегами, освобождение из-под ареста, решение о наказании половинным уменьшением годового жалованья.

Февраль — май — представление в академию «Краткого руководства к риторике», согласие на его доработку по замечаниям Г. Ф. Миллера. Начало занятий физикой с Котельниковым и Протасовым.

Июль — окончательный приговор по делу Шумахера.

Декабрь — представляет в академию три работы: «Размышления о причинах теплоты и холода», «О вольном движении воздуха, в рудниках примечаемом» и «О действии химических растворителей вообще».

***1745**, январь — апрель* — зачитывание в Академическом собрании представленных трудов. Новое ходатайство об организации химической лаборатории.

1 мая — прошение в академию о производстве в профессора, предложение профессорского собрания о представлении новой работы — «О металлическом блеске».

25 июля — назначение ординарным профессором химии.

Лето — наблюдение за грозовыми явлениями, первые эксперименты с «электрической силой», проводимые совместно с Г. В. Рихманом.

Август — сентябрь — создание «Оды на день бракосочетаний их императорских высочеств государя великого князя Петра Федоровича и государыни великой княжны Екатерины Алексеевны». Подписание трех профессорских жалоб на Шумахера.

Вторая половина года — перевод «Вольфианской физики» (издана в 1746 году). Знакомство с М. Л. Воронцовым.

Декабрь — получение согласия Академической канцелярии на организацию химической лаборатории.

***1746**, февраль* — компенсация невыплаченных денег за время пребывания в Германии книгами из академической Книжной

лавки.

23 мая — назначение графа К. Г. Разумовского президентом академии.

20 июня — выступление Ломоносова с первой (и последней) публичной лекцией по экспериментальной физике.

Июнь — июль — утверждение императрицей и Сенатом решения о строительстве химической лаборатории. Попытки Шумахера пригласить в качестве профессора химии А. Каау-Бургаве и передать лабораторию под его руководство. Приостановка строительства лаборатории по жалобе Ломоносова.

Ноябрь — сочинение «Оды на день восшествия на всероссийский императорский престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1746 года».

***1747**, январь — февраль* — завершение и представление в академию «Краткого руководства к красноречию». Участие в разборе спора Г. Ф. Миллера и П. Н. Крекшина.

Июль — поручительство за И. Г. Гмелина, собирающегося в Германию. Отправка Академической канцелярией работ Ломоносова Л. Эйлеру, получение отзыва, в высшей степени хвалебного.

Ноябрь — создание «Оды на день восшествия на всероссийский императорский престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

5 *декабря* — пожар в Академии наук.

***1748**, зима* — начало переписки с Эйлером. Фактическое начало работы Академического университета.

Июнь — публикация «Краткого руководства к красноречию…».

Июль — письмо Эйлеру с изложением концепции взаимодействия тел.

Август — наложение на Ломоносова и Миллера штрафа в связи с невозвращением Гмелина из-за границы (Гмелин возмещает своим поручителям вычтенную из жалованья сумму).

Октябрь — участие Ломоносова в обыске у Миллера и разборе его бумаг по «делу Делиля». Открытие химической лаборатории.

Ноябрь — написание «Оды на день восшествия на всероссийский императорский престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1748 года».

Декабрь — получение за оду премии в две тысячи рублей.

***1749**, февраль* — ходатайство о приставлении к химической лаборатории лаборатора. Переписка с Татищевым.

21 февраля — рождение дочери Елены.

Апрель — подача «Диссертации о рождении и природе

селитры» на конкурс Прусской академии.

Лето — подготовка речи для публичного заседания академии.

Сентябрь — ноябрь — активное участие в полемике по поводу речи Миллера «Происхождение имени и народа Российского».

26 ноября — речь-панегирик императрице на публичном заседании Академии наук.

***1750**, начало года* — знакомство и сближение с И. И. Шуваловым.

8 января — демонстрация опытов по производству цветного стекла.

Июнь — начало занятий по российской словесности со студентом Академического университета Поповским.

27 августа — аудиенция в Царском Селе у Елизаветы.

Сентябрь — октябрь — создание «Оды, в которой ее величеству благодарение от сочинителя приносится…».

Ноябрь — первое сочинение Ломоносова-драматурга «Тамира и Селим».

***1751**, 1 марта* — получение звания коллежского советника.

Весна — лето — выход собрания сочинений в стихах и прозе. Написание трагедии «Демофонт».

Август — сентябрь — начало занятий химией со студентами Академического университета.

6 сентября — речь «Слово о пользе химии».

***1752**, весна* — возобновление совместных с Рихманом исследований электрических явлений. Отдельное издание «Демофонта».

Осень — подача «Предложения об учреждении здесь мозаичного дела». Написание «Письма о пользе стекла».

16 декабря — получение монополии на производство цветного стекла в России.

***1753**, февраль — март* — посещение Москвы (где в это время находится двор).

Весна — начало работы над «Российской историей». Окончание курса студентами-химиками, обучавшимися у Ломоносова. Начало строительства мозаичной фабрики на Коважской и Каревалдайской мызах. Эксперименты с атмосферным электричеством, подготовка с Рихманом к «публичному акту» для демонстрации опытов.

26 июля — гибель Рихмана от удара молнии.

26 октября — представление в академию исследования «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих…».

3 ноября — конфликт из-за порядка подписей в

академических протоколах.

26 ноября — выступление со «Словом о явлениях воздушных…» на публичном заседании академии.

Декабрь — публичная полемика и разрыв личных отношений с Тредиаковским. Памфлеты Елагина против Ломоносова и Шувалова. Осложнение отношений с А. П. Сумароковым.

***1754**, начало года* — возобновление переписки с Эйлером. Критические высказывания о работах Ломоносова в немецких журналах.

Май — открытие фабрики цветного стекла.

Июнь — июль — разработка проекта Московского университета вместе с Шуваловым.

Август — начало переговоров о приглашении в Петербург второго профессора химии. Написание «Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенного для поддержания свободы философии».

Декабрь — начало дискуссии об изменении академического регламента. Обострение отношений с Г. Н. Тепловым и И. Таубертом.

***1755**, начало года* — проект устава московских гимназий.

10 марта — отстранение от участия в работе Академического собрания из-за столкновения с Тепловым при обсуждении академического регламента.

1756 — начало работы над эпопеей «Петр Великий».

Май — замена лаборатора Ф. Беттигера В. Климентьевым по требованию Ломоносова.

15 июня — разрешение на строительство собственного дома на Мойке.

1 июля — выступление со «Словом о происхождении света, новую теорию о цветах представляющим».

Осень — прибытие в Петербург второго профессора химии У. М. Сальхова.

***1757**, январь* — выход в свет «Российской грамматики». Сочинение «Гимна бороде».

1 марта — назначение советником Академической канцелярии. В ведение Ломоносова попадают Академическое собрание, университет, гимназия и Географический департамент.

26 марта — доклад Синода императрице по поводу «Гимна бороде».

Март — начало публикации собрания сочинений Ломоносова в Москве.

Август — труд «Рассуждение о большей точности морского пути».

6 сентября — выступление со «Словом о рождении металлов

трясением земли».

Сентябрь — октябрь — переселение в собственный дом, отстранение от дел в химической лаборатории. Поправки к «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера. Пишет для Вольтера «Описание стрелецких бунтов» и «Сокращенную историю самозванцев».

***1758**, январь* — завершение диссертаций «Об отношении количества материи и веса» и «Физическая задача о ночезрительной трубе».

Весна — лето — предложение оформления Петропавловского собора мозаичными панно. Завершение первого тома «Российской истории». Написание «Предисловия о пользе книг церковных в русском языке». Дискуссия с Эпинусом о проекте ночезрительной трубы.

Октябрь — выход первого тома собрания сочинений Ломоносова после полуторагодовалой задержки.

1759 — возобновление университетских занятий, прерванных в середине 1750-х годов. Хлопоты об официальной «инавгурации» Санкт-Петербургского университета. Рассылка опросных листов в российские города и попытка организации экспедиции с целью уточнения широты и долготы географических пунктов в статусе начальника Географического департамента. Переделка отозванной из типографии подготовленной к печати «Древней российской истории».

1760 — подготовка и выпуск «Краткого российского летописца».

Начало года — перевод «Оды к счастию» Ж. Б. Руссо в соревновании с Сумароковым, инициированным И. И. Шуваловым.

Апрель — аббат С. Лёфевр произносит в доме Строганова неприятную для Ломоносова речь. Столкновение с бароном А. С. Строгановым. А. П. Шувалов произносит и публикует новую речь, превозносившую Ломоносова. Избрание членом Шведской королевской академии.

Июль — отправление в Шведскую королевскую академию «Рассуждения о происхождении ледяных гор в северных морях».

1761 — выход первой песни «Петра Великого».

Январь — столкновение с Сумароковым в доме Шувалова, неудачные попытки Шувалова примирить поэтов.

Май — конфликт с Эпинусом из-за подготовки к наблюдению за прохождением Венеры через диск Солнца.

26 мая — наблюдение «явления Венеры на Солнце».

4 июля — публичный академический акт, где Ломоносов произносит «Слова о явлении Венеры на Солнце».

1 ноября — записка Шувалову «О сохранении и размножении российского народа».

25 декабря — смерть Елизаветы Петровны.

***1762**, начало года* — возглавляет Фарфоровую мануфактуру. Создание оды Петру III.

Февраль — апрель — первый приступ тяжелой болезни.

Апрель — ведение метеорологических наблюдений.

Июнь — подготовка речи «О катадиоптрической трубе».

28 июня — государственный переворот.

Июль — сочинение оды новой императрице Екатерине II. Обострение болезни. Успехи Тауберта и других недругов Ломоносова. Прошение об отставке. Изменение намерений после визита Ф. Г. Орлова. Ходатайство о повышении в чине.

Осень — новый приступ болезни, несколько месяцев в постели.

***1763**, январь* — возвращение к работе в академии. Передача Географического департамента в ведение Миллера.

Март — отказ от посещений Академического собрания после конфликтов с Миллером и Таубертом.

Май — указ (сразу же отозванный обратно) об отставке Ломоносова с чином статского советника.

Июль — август — возобновление работы в академии. Участие в обсуждении проекта «Карты российских продуктов». Предлагает издание «Экономического лексикона».

20 сентября — представление в Морское ведомство «Краткого описания разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

Декабрь — получение чина статского советника.

1764 — подготовка экспедиции Чичагова.

Апрель — избрание членом Болонской академии наук и искусств.

Май — июль — совместное с Миллером выступление против назначения А. Л. Шлёцера ординарным профессором, по жалобе Ломоносова у Шлёцера изъяты копии архивных материалов.

Июнь — завершение мозаичной картины «Полтавская баталия».

15 июня — Екатерина II посещает Ломоносова в его доме.

Июль — последняя поездка в Усть-Рудицу.

Август — сентябрь — работа над «Краткой историей о поведении академической канцелярии».

***1765**, февраль* — хлопоты о зачислении своего племянника М. Е. Головина в Академическую гимназию.

4 марта — утверждение окончательного регламента экспедиции Чичагова. В тот же день Ломоносов, простудившись,

слег в постель.

4 апреля — смерть на 54-м году жизни.

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII в. Борьба за наследие Петра. М., 1986.

Анисимов Е. В. Шувалов// Вопросы истории. 1985. № 7.

Анисимов Е. В. Шувалов и Ломоносов // Вопросы истории естествознания и техники. 1987. № 1.

Бартенев П. И. И. И. Шувалов: Биография. М., 1857.

Безбородов М. А. Д. И. Виноградов — создатель русского фарфора. М.; Л., 1950.

Безбородов М. А. М. В. Ломоносов и его работа по химии и технологии силикатов. М., 1948.

Белюстов В. А. Георг Вильгельм Рихман // Информационный бюллетень РБА. 2003. № 32.

Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. М.; Л., 1947.

Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997.

Бильбасов В. А. История Екатерины II. СПб., 1890–1891.

Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова: Собраны экстраординарным академиком П. Билярским. СПб., 1865.

Бренева И. В., Моисеева Т. М. Музеи М. В. Ломоносова: Путеводитель. СПб., 1995.

Булич Н. Н. К столетней памяти Ломоносова. Казань, 1865.

Валишевский К. Царство женщин. М., 1989.

Венгеров С. А. Русская поэзия: В 7 т. Т. I: XVIII век. СПб., 1897.

Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М., 1988.

Вирши: Силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Общ. ред. П. Беркова. М.; Л., 1935.

Воскресенский Г. А. Ломоносов и Московская славяно-греко-латинская академия. М., 1891.

Гизе М. Э. Нартов в Петербурге. Л., 1988.

Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук XVIII в. // Труды архива АН СССР. Вып. 6 / Под ред. А. И. Андреева. М.; Л., 1946.

Голубцов Н. Род Ломоносова и его потомство. Архангельск, 1911.

Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы XVIII в.: Дворянская фронда в литературе 1750–1760-х гг. М.; Л., 1936.

Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л., 1938.

Денисов А. П. Леонтий Филиппович Магницкий. М., 1967.

Дорфман Я. Г. Лавуазье (1743–1794). М., 1962.

Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие: Журнал. 1755–1764. Все номера.

Иван Иванович Шувалов — просвещенная личность в российской истории: Сборник материалов научной конференции. СПб., 1998.

Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси.) / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1969.

Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990.

Кобленц И. Н. Андрей Иванович Богданов (1692–1766). М., 1958.

Копелевич Ю. Х. Основание Петербургской академии наук. Л., 1977.

Крестинин В. В. Исторические начатки о Двинском народе. СПб., 1784.

Крестинин В. В. Начертание истории города Холмогор. СПб., 1790.

Куликовский П. Г. М. В. Ломоносов — астроном и астрофизик. М., 1986.

Куник А. А. Сборник материалов для истории Императорской Академии наук в XVIII в.: В 2 ч. СПб., 1865.

Ламанский В. И. Ломоносов и Академия наук // Чтения общества истории и древностей. СПб., 1865. № 1. Отд. 5.

Лебедев Е. Н. Ломоносов. М., 1990.

Летопись жизни и творчества Ломоносова / Под ред. А. В. Топчиева. М.; Л., 1961.

Литературное творчество Ломоносова: Сб. статей / Под ред. П. Н. Беркова. М.; Л., 1962.

Лихоткин Г. А. Ломоносов в Петербурге. Л., 1981.

Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников: Сб. / Сост. Г. Е. Павлова. М.; Л., 1962.

Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1950–1959. Т. 11, доп. Л., 1983.

Ломоносов. Краткий энциклопедический словарь/ Ред. сост. Э. П. Карпеев. СПб., 1999.

Ломоносов: Сб. статей и материалов: В 9 т. М.; Л., 1940–1991. Ломоносовский сборник: 1711–1911. СПб., 1911.

Лысцов В. П. Ломоносов в русской историографии 1750–1850-х гг. Воронеж, 1983.

Лысцов В. П. Ломоносов в русской историографии 1760–1870-х гг. Воронеж, 1992.

Любимов Н. М. Ломоносов как физик. М., 1855.

М. В. Ломоносов и Академия наук // Г. Д. Комков,

Б. В. Левшин, Л. К. Семенов. Академия наук СССР: Краткий исторический очерк: В 2 т. Т. 1: 1724–1917.

Магницкий Л. Ф. Арифметика. М., 1914.

Макаров В. К. Художественное наследие М. В. Ломоносова: Мозаики. М.; Л., 1950.

Материалы для истории Императорской Академии наук: В 10 т. Т. I: 1716–1730. СПб., 1885–1900.

Меншуткин Б. Н. Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. 3-е изд., доп. М.; Л., 1947.

Меншуткин Б. Н. Труды Ломоносова по физике и химии. М.; Л., 1936.

Миллер Г. Ф. История Сибири. М., 1999.

Миллер Г. Ф. Происхождение народа и имени Российского. СПб., 1749.

Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. М., 1996.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи: XVIII — начало XX века. Т. I. М., 1999.

Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. М., 1981.

Морозов А. А. М. В. Ломоносов: Путь к зрелости. 1711–1741. М.; Л., 1961.

Морозов А. А. Михаил Васильевич Ломоносов. 2-е изд., доп. М., 1952.

Морозов А. А. Родина Ломоносова. Архангельск, 1975.

Мыльников А. С. Искушение чудом: «Русский принц» и самодержцы. Л., 1991.

Невская Н. И. Петербургская астрономическая школа XVIII в. Л., 1984.

Немецкие стихи на Ломоносова // Русский архив. 1865. № 1.

Новик В. К. Академик Франц Эпинус // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. № 4.

Орлов А. С., Чепелин М. А. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. М., 1992.

Орлов П. А. История русской литературы XVIII в. М., 1991.

Павлова Г. Е. Степан Яковлевич Румовский. М., 1977.

Павлова Г. Е., Федоров А. С. Михаил Васильевич Ломоносов: Жизнь и творчество. М., 1980.

Палаты Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, Библиотеки и Кунсткамеры с кратким показанием всех находящихся в них художественных и натуральных вещей, сочиненное для охотников, оныя вещи смотреть желающих / Сост. и предисл. А. Д. Шумахера. СПб., 1741. Краткое переизд. СПб., 1744.

Панибратцев А. В. Философия в Славяно-греко-латинской

академии. М., 1997.

Панин Т. В. Литературное творчество Афанасия Холмогорского. Новосибирск, 1996.

Пекарский П. П. История Академии наук в Петербурге Петра Пекарского: В 2 т. СПб., 1870–1873.

Пелчко П. А. Основание Московского университета. М., 1953.

Перевалов В. А. Ломоносов и Арктика. М.; Л., 1949.

Перцев В. Н. Германия в XVIII в. Минск, 1953.

Писаренко К. А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003.

Полевой К. А. Михаил Васильевич Ломоносов: В 2 т. М., 1836.

Полоцкий С. Избранные сочинения. М.; Л., 1953.

Поморские ответы: Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита. Уральск, 1911.

Поэты XVIII в.: В 2 т. / Вступ. ст. Г. П. Макогоненко. Л., 1972.

Прокошина Е. Ф. Мелетий Смотрицкий. Минск, 1966.

Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. Л., 1978.

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. СПб., 1992.

Раскин Н. М. Химическая лаборатория М. В. Ломоносова. Л., 1962.

Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.

Русская проза XVIII века. М., 1971.

Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII веков / Вступ. ст. А. М. Панченко. Л., 1970.

Санкт-Петербургские ведомости. 1764, 15 июня; 1765, 8 апреля, 15 апреля.

Словарь русских писателей XVIII в.: В 3 вып. Л.; СПб., 1988–1999. Вып. 1–2 (А — П): продолж.

Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 10–13. М., 2003.

Соловьев Ю. И. История химии в России. М., 1985.

Соснора В. А. Властители и судьи: Повести. Л., 1986.

Старообрядчество в России (XVII–XX вв.): Сб. науч. тр. М., 1999.

Старообрядчество: лица, события, предания и символы: Опыт энциклопедического словаря. М., 1996.

Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957.

Сумароков А. П. Некоторыя строфы двух авторов. СПб., 1774.

Сумароков А. П. Стихотворения. Л., 1935.

Тальман П. Езда в остров любви / Пер. с фр. на рус. через студента Василья Тредьяковского. М., 1834 (с издания 1730).

Татищев В. Н. Собрание сочинений: В 8 т. М., 1994–1996.

Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л., 1963.

Тредиаковский В. К. Стихотворения. Л., 1935.

Трудолюбивая пчела. 1759–1761.

Формозов А. А. Классики русской литературы и историческая наука. М., 1995.

Фукс Г., Хайнинг К., Керштер Г. Биографии великих химиков. М., 1981.

Шапир М. И. У истоков русского четырехстопного ямба: Генезис и эволюция ритма (К социолингвистической характеристике стиха раннего Ломоносова) — Philologica. 1996. Т. 3. № 5–7.

Шаховской А. А. Ломоносов, или Рекрут — стихотворец: Опера-водевиль в трех действиях. СПб., 1816.

Шевырёв С. П. История Императорского Московского университета. М., 1998.

Шевырёв С. П. Общее обозрение развития российской словесности. М., 1838.

Шлёцер А. Л. Краткое изображение российской истории. М., 1805.

Шлёцер А. Л. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера, им самим описанная. Пребывание и служба в России с 1761 по 1765 г. Известия о тогдашней русской литературе / Пер. и прим. В. Н. Кеневича. СПб., 1875.

Шлёцер А. Л. Русская грамматика: В 2 ч. СПб., 1904.

Günther J. Chr. Gedichte und Studentenlieder. Leipzig, 1961.

Hermelik H., Käler S. A. Philippes-Universität zu Marburg: 1527–1927. Fünf Kapitel aus ihrer Geschichte. (1527–1866). Marburg, 1927.

Koch J. A. Marburg: Seine Geschichte und Sehenswürdigkeiten. Marburg, 1986.

notes

Примечания

1

«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4: 18–19).

2

Форма имени «Михаил» в XVIII веке была сугубо книжной, церковной, как «Иоанн». В просторечии — Михайло. Так называл себя сам Ломоносов во всех документах; так же будем называть его мы.

3

Даты приведены по старому стилю.

4

Упоминается в летописях со времен Ивана Калиты (1328–1340).

Характерно, что возраст и Луки и Василия «округляется». По другим переписям им в 1710 году должно было быть соответственно 64 и 29 лет.

6

А. А. Морозов утверждает, что отец Ломоносова в китобойном промысле лично не участвовал, но, по сведениям М. И. Белова, он нанимался в 1727–1728 годах на корабли компании гарпунером. Это была хорошо оплачиваемая и престижная служба.

7

Мангазея существовала в 1601–1672 годах на правом берегу реки Таз, впадающей в Карское море. То был торгово-промышленный центр и порт. Деревянный, он сгорел в пожарах. Город отстроили в другом месте и до 1780 года называли Новой Мангазеей. С той поры это — Туруханск.

8

В Собрании сочинений — 1747 год; эта же дата в оригинале письма. А. А. Морозов считает, что это результат описки Ломоносова.

9

Ломоносов объясняет «крепость» самоедов мясным питанием. Но, по показаниям иностранцев (того же К. де Бруина), питались они по большей части падалью, и (это уже пояснения современных этнографов) не от хорошей жизни: их места, в сравнении с Мурманом, бедны рыбой. Ягеля (основного корма оленей) на Печоре тоже меньше, чем на Кольском полуострове, поэтому ненцам приходилось (в отличие от саамов) почти беспрерывно кочевать. «Кровавые сражения» — это в основном схватки за кочевья.

10

«Землю же, говорят, Бог сотворил круглой, и также сделал на ней горы. И как полагают некоторые, она подобна очертаниями перцовому зерну: оно неравномерно вытянуто, но кругло. Так же и земля. <…> Небеса велики и намного больше земли. Земля среди них, как перекрестие креста, и в этом месте наряду с водами, то есть морями, поставлена Богом».

11

«Тот, кто дал различную природу яйцам, с их помощью показывает все стихии: тонкое вещество, вложенное в них, как воздух, желтое, как огонь, белое, как вода, и твердое, окружающее его, как земля».

12

Первый шаг сарматской новорожденной Музы, стремящейся навеки поселиться на Парнасе. (Сарматы считались предками славян — подробнее см. в *Главе девятой.)*

Правда, в монастырях в XVI–XVII веках слагались письменные «покаянные стихи», но это было скорее исключение, чем правило; и едва ли юный Ломоносов знал о подобной практике.

14

Петр Прокопьев (1670–1719) — двоюродный брат и близкий сподвижник Андрея Денисова.

15

То есть небедного.

16

Подушная подать с черносошного крестьянина в это время составляла 1 рубль 10 копеек, с барского — 70 копеек.

К тому же, говоря о Петровской эпохе, всегда надо разбираться, о каких именно деньгах идет речь. Чтобы пополнить казну, государство во время Северной войны несколько раз чеканило облегченную, не соответствующую номинальной стоимости монету, которую потом казна выкупала у людей за меньшие деньги и заново «орлила».

18

Имеется в виду светское имя Медведева (Семен, Симеон), которое он носил до пострижения.

Позднее для кантов стали использоваться «обычные» стихи, напечатанные в книгах или журналах, к которым подбирали напев, в том числе и многие стихи самого Ломоносова.

Все эти сведения известны от Тредиаковского, учившегося в Спасских школах вместе с Буслаевым и высоко ценившего его талант.

21

До этого Строгановы носили специально для них придуманный титул «именитых людей».

«Бог» у Буслаева везде со строчной.

23

Алтын — 3 копейки. Денежка — половина копейки. В свою очередь, денежка состояла из двух полушек: это была самая маленькая денежная единица.

24

Календаря на сто лет, по традиции приписывавшегося Я. В. Брюсу. Издан в 1709 году.

25

Вскоре (в 1726 году) умерший, но успевший оставить след в науке.

26

Первоначально звание «адъюнкт» означало продвинутый ученик, старший студент. Так, Миллер в конце 1720-х годов в одних документах именовался «студентом», в других «адъюнктом». Позднее статус адъюнкта повысился. Многие видные специалисты годами и даже десятилетиями ходили в этом звании, почти на равных с профессорами участвуя в собраниях и научной деятельности академии.

27

В обязательном порядке в Шляхетном корпусе учили военным экзерциям, арифметике и Закону Божию; кроме того, все русские кадеты учили немецкий язык, а немецкие — русский, большинство по собственной охоте занимались танцами, и некоторые — французским языком и геометрией.

Возможно, имеется в виду Коврин.

29

Составлением астрологических прогнозов для монархов не брезговали и другие большие ученые XVII–XVIII веков, от Иоганна Кеплера, чьи многочисленные предсказания и сегодня хранятся в «Кеплерниане» Петербургского филиала архива Академии наук, до Эйлера.

30

У студента Бермана, впоследствии профессора в Виттенберге. См. письмо Ломоносова Миллеру от 7 мая 1754 года.

Правда, сам Шталь был химиком старой школы — как и Генкель. Они старались вписать новое вещество в старую систему элементов, считая флогистон производным серы.

Это было довольно дорого для Марбурга тех лет; но Виноградов и Рейзер платили еще больше — вероятно, хозяева пользовались неосведомленностью студентов-иностранцев.

Летом — осенью они прослушали лекции по механике, гидростатике, аэрометрии, гидравлике и основам маркшейдерского искусства, а зимой приступили к изучению экспериментальной физики.

Из них на долю Ломоносова приходилось 613, Виноградова — 899 и Рейзера — 414 рейхсталеров.

35

За два с половиной года было переведено 3400 рублей. Сенатом же к этому моменту перечислено академии 3600 рублей.

36

«Specimen physicum de transmutatione corporis solidi in fluidum a motu fluidi praeexistentis dependente».

37

«Dissertatio physica de corporum mixtorum differentia, quae in cohaesione corpusculorum consistit. Quam exercitii gratia conscripsit Michael Lomonossoff Matheseos et Philosophiae Studiosus, Anno 1739 Mense Martio».

Пошлых шуточек *(лат.)*.

Любопытно на этом фоне недовольство петербургских академиков недостаточным знанием латыни «спасскими школьниками».

40

Буквально «собачья лапа» (*Hundsfott*), распространенное немецкое ругательство — «мерзавец», «подлец» или «сукин сын».

Существуют и четырехсложные стопы — пэоны, но в русском стиховедении они рассматриваются как вариант ямба или хорея.

42

В стиховедении мужскими называются рифмы между словами, в которых ударение падает на последний слог, например «кровь — любовь», а женскими — между словами с ударением на предпоследний слог, например «роза — мороза». В русской поэзии до Тредиаковского употреблялись, под польским влиянием, в основном женские рифмы.

Не забудем, кстати, что чернокожий «Абрам Петров» в 1724 году провел несколько месяцев в Спасских школах, восстанавливая подзабытый за время парижского пансионерства русский язык. Как раз в это время там учился Тредиаковский, так что, скорее всего, они были знакомы.

44

«Уж как пал туман на море синее…» — одну из лучших русских песен сочинил в 1722 году офицер Петр Львов, дед поэта и архитектора Николая Львова. К более раннему времени относятся случайно дошедшие до нашего времени черновики Петра Квашнина-Самарина, тоже офицера и дворянина, писавшего тонические нерифмованные стихи, в подражание народным песням.

45

Поэзия.

46

Логаэд — стихи, в которых ударения разделены неравными (но повторяющимися из строки в строку) слоговыми промежутками, или состоящие из разных двух- и трехсложных стоп, соединенных в строгом порядке внутри каждой строки, или из строк, написанных разным размером и в строгом порядке чередующихся внутри строфы. Очень редкая и экзотическая для русского уха форма стиха.

47

Винительный падеж *(лат.)*.

48

Геркулесово доказательство из конюшни в Аркадии *(лат.)*.

49

Перевод Л. Гинзбурга.

Кроме него Ломоносов мог встречаться в этом городе (как отмечает Морозов) еще с поэтом-самородком из крестьян, юным Готлибом Фуксом. Судьба этого человека была поначалу очень похожа на судьбу самого Ломоносова: он сбежал из дома и восемнадцати лет от роду поступил во фрейбергскую гимназию. Позднее, окончив гимназию, он пешком пошел в Лейпциг, где профессорствовал Готшед. Он оказал юноше покровительство, позволив ему бесплатно слушать лекции и напечатав в своем журнале несколько его стихотворений. Однако вскоре самородок оказался в немилости у Готшеда, подпав под влияние его соперника Гагедорна. При помощи последнего, организовавшего сбор средств в его пользу, Фукс все же окончил университет и стал пастором.

Eugen ist fort. Ihr Musen, nach!
Er steht, beschleusst und ficht schon wieder
Und wo er jährlich Palmen brach,
Erweitet er so Gränz als Glieder.
Sein Schwerd, das S chlag und Sieg vermehlt,
Und, wenn es irrt, aus Grossmuth fehlt
Gebiehrt dem Feind ein neu es Schröcken,
Und stärckt der V ölcker Herz und Macht,
Die unter Adlern, Bliz und Nacht
Die Flügel nach dem Monden strecken.

(Здесь и далее — перевод наш. — *В. Ш.)*

Dort spizt ein voller Tisch das Ohr
Und horcht, wie Nachbars Hans erzehle.
Hans ißt und schneidet doppel t vor
Und schmiert sich dann und wann die Kehle.
Da, spricht er, Schwäger, seht nur her,
Als wenn nur dies die Donau w är,
(Hier macht er einen Strich vor Biere)
Da streiften wir, da stund der Feind,
Da gieng es schärfer, als man meint,
Gott straf, ihr glaubt mir ohne Schwüre.

Позднее, после смерти Анны, публиковалась как «Ода блаженной памяти императрице…».

Сравните, у Гюнтера — апокалипсическая картина:

Трепещет Нил, Дамаск в огне,
Дымятся Аскалона грады.
Весь край восточный, мнится мне,
Во власти смерти, мора, глада.
Порабощенный Иордан Ждет
Навина из дальних стран.
Уж он пришел, и он — германец.
Кто ж он? Узнаем — будет срок,
Но верный подан нам намек,
Кто он таков, небес посланец.

Оригинал:

Nil ers chrickt, Damaskus bre nnt,
Es raucht auf As calons Geb ürgen.
Und durch den ganzen Orient
Herrscht Unruh, Hunger, Pest und Würgen.
Der Jordan steht wie Mauren da,
Als kam ein andrer Josua.
Er kommt auch, doch aus deutschem Saamen.
Wie heist er? Ja, die Schi ckung winckt
Und raubt mir, weil der Vorhang sinckt,
Stand, Vorwiz, Schauplaz, Held und Nahmen.

Подробнее об Анакреоне и анакреонтике см. в *Главе шестой.*

Конечно, не «осенью», как пишет незнакомый с холмогорским климатом Штелин.

Заметим, что у Ломоносова было на руках «свидетельство» Вольфа, а Генкель по запросу Академии наук прислал также в целом вполне положительный отзыв о его знаниях — этот отзыв цитировался в *Главе третьей.*

Такого звания (без указания специальности) в XVIII веке больше ни у кого не было.

И это при том, что при Петре и первых его преемниках в России, несмотря на официальные запреты, жили евреи, сохранявшие верность своей религии (скажем, Липман, доверенное лицо Бирона), а выкресты во втором-третьем поколении, например, Шафиров или первый петербургский полицмейстер Девиер, такой же португальский марран, как Санхес, поднимались к самым вершинам власти. Интересно, что именно с воцарением Елизаветы престарелый Девиер был возвращен в Петербург из многолетней ссылки и назначен на свою прежнюю должность — правда, вскоре (в 1745 году) он умер.

60

Был еще один француз — экстраординарный профессор истории Пьер Леруа (Ле Роа, Ле Рой), креатура Бирона; по всем вопросам он был солидарен с немецкими профессорами.

Патриот Горлицкий эту работу делал неохотно: он опасался, что Корф хочет, «чтобы что у нас в секрете, у них стало известно».

Дело, однако, было заведено и продолжалось производством до 1780-х годов, когда ни одного из участников коммунальной драки уже не было в живых.

63

Проект этой академии был подан Нартовым Петру незадолго до его смерти и получил одобрение.

Вся научная работа Тауберта к этому времени заключалась в том, что он (по собственному утверждению) начал составлять новый русско-немецкий словарь. В отличие от Шумахера, Тауберт был уроженцем России и хорошо знал русский язык. Сам советник Академической канцелярии после четверти века успешной административной работы в Петербурге вынужден был давать показания на следствии через переводчика.

65

Нартов был коллежским советником, что соответствовало военному званию полковника.

66

Павел Захарович Кондоиди (1710–1760) — впоследствии (с 1754 года) возглавлял Медицинскую канцелярию. После Петербургской академии он продолжил обучение в Дрездене, где и получил диплом.

Которого у адъюнктов и профессоров на самом деле не было; по традиции профессора относились к девятому классу, что соответствовало чину титулярного советника или капитана; с адъюнктами ясности еще меньше: Шумахер в своем проекте 1748 года предлагал отнести их к десятому классу (коллежские секретари, капитан-поручики) или к одиннадцатому (губернские секретари, поручики).

Hundsfotter — множественное число от *Hundsfott,* см. прим.40; Spitzbuben — плут, вор, мошенник, жулик *(нем.)*.

69

«Да, да, пишите; я смыслю столько же, сколько и профессор, а притом я уроженец этой страны!» *(нем.)*.

Сторонники и противники Шумахера поменялись ролями: теперь первые ищут на вторых управу в правительственной комиссии, а вторые отстаивают независимость академии.

Вероятно, обиженные на Шумахера, не сдержавшего слова выплачивать им и в Петербурге двойное жалованье, полагавшееся участникам Камчатской экспедиции.

72

Из письма Теплову от 11 февраля 1749 года.

Чтобы оценить эту сумму, заметим, что пуд (16 килограммов) отборной говядины стоил не больше рубля, а десяток яиц — пять копеек.

74

В то время как восточная часть Васильевского острова, примерно до 15-й линии, была с петровских времен застроена и заселена, западную по-прежнему занимал девственный лес, по которому тянулась местная «Большая першпектива» — дорога в Галерную гавань.

Шведы хотели вернуть себе Лифляндию и Эстляндию (Северную Латвию и Эстонию). Цель войны формулировалась гениально: «Избавить достославную русскую нацию… от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании» (то есть тирании остзейских немцев).

Такие, как духовник императрицы Дубянский, Дмитрий Сеченов, Сильвестр Кулябко.

В синодальном русском переводе — не так, как в церковнославянском, но и не так, как у Ломоносова: «25 Это — море великое и пространное… 26 Там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил играть в нем». Ломоносов мог сравнить славянский перевод только с переводом греческим: о древнееврейском языке он имел, видимо, лишь теоретическое представление.

Процесс издания затянулся на полтора года — в знаменитом академическом пожаре 1747 года погиб уже отпечатанный тираж, и книгу пришлось набирать и печатать заново.

То есть «Зогар», «Книга сияния», одно из базовых каббалистических сочинений, относящееся, по мнению современных специалистов, к концу XIII — началу XIV века.

То есть Никола Буало (Буало-Депрео).

81

Франсуа Мальгерб (Малерб) (1555–1628) — поэт-одописец, основоположник французского классицизма; *Пиндар* (518–442 до н. э.) — один из величайших лириков Древней Греции, мастер торжественной оды.

82

Пьер Скаррон (1610–1660) — мастер бурлескной поэзии.

То есть Гоббсово.

Почему-то Ломоносов разбушевался, как в молодые годы: «Проводившего его к квартире служителя не только ругал матерно, но и бить хотел…»

Подробнее см. в *Главе восьмой.*

В математике и философии он выказал на экзамене весной 1750 года лишь «посредственные успехи».

Разница между коллежским советником Ломоносовым и генерал-поручиком Иваном Шуваловым составляла в это время три чина.

В составлении «Российской грамматики».

В действительности столицей ханства был Бахчисарай; Кафа в XIV веке была вольной генуэзской факторией. Любопытно, что «татары» — крымские татары, победу над потомками которых Ломоносов воспевал в «Хотинской оде», в пьесе выведены идеальными рыцарями, благородными и просвещенными; что касается арабского царевича, то он вообще учился в Индии у «премудрых браминов».

90

Трагедия Сумарокова, поставленная в конце 1751 года.

91

Ж. Б. Даржанс, маркиз (1704–1771) — автор авантюрных романов.

То есть масону.

Es war einst einer aus Holmogor,
Wo alle grossen Boven herkommen,
Der war als Bauer-Jung ums Brod
Im Kloster aufgenommen.
Und da studiert er was Latein,
Noch stärker aber im Brantwein,
Tural, tural, tural, tural,
Das ist ihm wohl bekommen.

Mit Knechten, soff er sich herum,
Und prügelt alle Jungen,
Damit erwarb er sich den Ruhm,
Er hab' sich hochgeschwungen.
Darum ward er zu Student gemacht,
Da sofft er Wotka Tag und Nacht,
Tural, tural…

Впоследствии графом (с 1761-го — Священной Римской империи, с 1798-го — русским).

То есть нового Расина, автора трагедии «Гофолия».

Творческий гений *(фр.)*.

Так Ломоносов называет Тредиаковского.

Имеется в виду двойное налогообложение старообрядцев.

Кстати, мысль о том, что жители других планет могут быть свободны от первородного греха, независимо от Ломоносова пришла в 1930-е годы Клайву Льюису (см. его роман «За пределы Безмолвной планеты», 1938).

Об этом см. в *Главе восьмой.*

Идиллия, кстати, получилась несколько двусмысленной: днепровские нимфы и пастушки с радостью говорят о прибытии в их края прекрасного и добродетельного пастушка Полидора. Все бы хорошо, если бы молодому графу Разумовскому в самом деле не приходилось в отроческие годы пасти скот на Украине…

102

См. в *Главе четвертой.*

103

Вспомним кислород, открытый независимо друг от друга шведом Шееле, англичанином Пристли и французом Лавуазье, или неевклидову геометрию, до которой одновременно додумались Лобачевский, Гаусс и Бояйи.

Заслуживающее внимания выражение — именно в устах Ломоносова, с учетом его общественных взглядов, которых мы коснемся в следующей главе.

105

Латинское слово *tinctura,* которое переводится как «светлость» или «блеск», восходит к средневековым алхимикам.

106

Из письма Гмелина Миллеру следует, что обратиться к Миллеру и Ломоносову в качестве поручителей ему официально посоветовали в Академической канцелярии. Но не исключено, что это письмо написано в расчете на перлюстрацию.

Миллера впоследствии часто упрекали за то, что он не доехал до Камчатки. Причиной он называл болезнь (выражавшуюся в «частых сердцебиениях и приступах чрезвычайного страха»). Кроме того, профессора в любом случае не могли ехать в одиночку: с ними были огромные собранные коллекции, штат помощников, обслуга, охрана. Одному человеку добраться до Тихого океана было проще.

То есть сумму, на которую они поручились. В конечном итоге Ломоносов и Миллер были оштрафованы только на эти деньги, а жалованье им вновь стали платить полное.

109

Пьетро Солимена (1657–1747) — известный итальянский художник.

110

Перевод И. Богдановича.

То есть электрометра.

Напомним, что дома, где жили Ломоносов и Рихман, разделяло всего три квартала.

113

Письмо Воронцову от 30 августа 1753 года.

114

О кончине Рихмана сразу стали ходить нелепые слухи — будто ученый намеренно подставил себя под удар молнии, таким образом покончив самоубийством, чтобы избавиться от долгов. Этот бред повторяли и десять лет спустя, что зафиксировал в своих воспоминаниях А. Л. Шлёцер.

115

Письмо от 23 февраля 1754 года.

Фантастическое учреждение *(фр.)*.

117

Есть ряд свидетельств о частых болезнях Ломоносова в 1749–1750-е годы. Шумахер явно намекает на алкогольное происхождение ломоносовского недомогания.

Точнее — «рутсалейне», от шведского rods — гребцы.

Лингвист мог бы возразить Ломоносову, указав на такие параллели, как *torg* (по-шведски площадь), *garde* (крепость, сравните — город) и т. д. Но это либо заимствования из готского языка, относящиеся еще к праславянской эпохе, либо древние индоевропейские слова, которые в славянских и германских языках восходят к общему источнику.

120

Ломоносов пишет то «Бейер», то «Байер».

121

И то и другое неправда: командиром экспедиции был Беринг, Чириков командовал вторым судном, которое, как и корабль Беринга, достигло берегов Аляски и вернулось в Охотск.

То есть чин.

123

Так Ломоносов часто называл Теплова.

Ежемесячные сочинения. 1756. № 7.

Если только за этим не стояли какие-то политические интересы «малого двора». Шефом Кадетского корпуса был цесаревич. 2 декабря 1760 года он подал в Сенат доклад о «сочинении географического описания России», к которому был приложен «миллеровский» вариант опросника. Аналогичный доклад Академии наук был подан полутора годами раньше.

126

В это время профессор Петербургской академии получал не менее 600–800 рублей. В правление Елизаветы инфляция была довольно высокой, и 500 рублей в 1755 году составляли заметно меньшую сумму, чем десятью годами раньше.

127

Новиков впоследствии, ссылаясь на «некую особу», утверждал, что стихотворение это сочинено не Поповским, а самим «графом Шуваловым». Но Иван Иванович (кстати, не граф) не имел для этого способностей (мы видели, на что похожи его стихотворные опыты), граф Петр Шувалов, человек дела, стихов не сочинял, а Андрею Петровичу в 1757 году едва исполнилось четырнадцать лет.

Козицкий впоследствии был редактором журнала «Всякая всячина», где активно сотрудничала Екатерина II.

129

Он не угодил Теплову тем, что отказался бесплатно редактировать франкоязычную газету, задуманную в Петербурге.

Более того, Петр III счел необходимым самолично прибыть в корпус и перед строем передать дела новому начальнику.

131

Действительный статский советник (4-й класс) — соответствует генерал-майору; статский советник (5-й класс) — бригадиру (чин Сумарокова); коллежский советник (6-й класс) — полковнику.

132

Собственно говоря, название «Византийская империя» внедрено немецкими учеными Нового времени. Сами византийцы называли себя римлянами — «ромеями», соседние народы звали их просто «греками». Так их обычно называет и Ломоносов. Но, как будет сказано чуть ниже, термин «Византия» был ему хорошо известен.

133

Геттинген расположен на территории Ганновера, в 1714–1837 годах находившегося в унии с Великобританией.

По современным представлениям — скорее македонского.

135

Имеется в виду Тауберт.

136

Крестным отцом своего племянника Ломоносов был, естественно, через своего «представителя» — сам он на Куростров в зрелые годы никогда не приезжал.

137

Вильям Генри, герцог Глостерский и Эдинбургский, младший брат короля Георга III.

Вопросы естествознания и техники. 1999. № 4. Другой вариант текста, видимо, не прошедший редакционной «цензуры», — на сайте www.cryptography.ru

139

Вопросы истории, естествознания и техники. 1999. № 4. Или — на сайте www.lebed.com

140

Уже после первого издания этой книги *(Шубинский В.* Михаил Ломоносов. Всероссийский человек. СПб.: Вита Нова, 2006) Э. П. Карпеев написал популярный биографический очерк о Ломоносове, вышедший в серии «Имя России» в 2008 году.